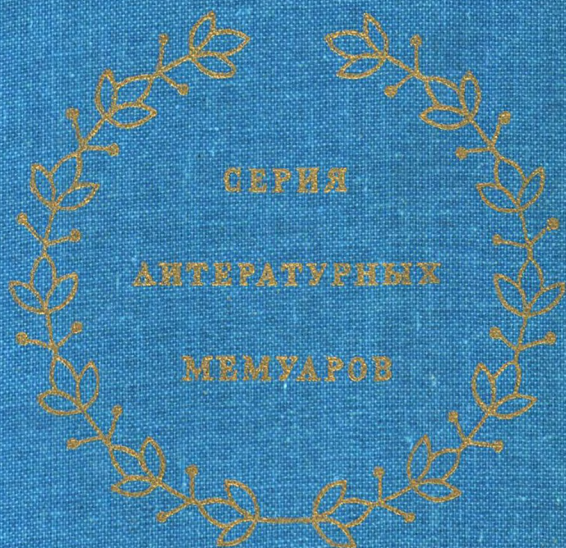


ХЕМИНГУЭЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫХ

МЕМУАРОВ





**СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМОУАРОВ**

Редакционная коллегия:

**Н.И.БАЛАШОВ
Д.В.ЗАТОНСКИЙ
П.В.ПАЛИЕВСКИЙ
А.И.ПУЗИКОВ
Б.Ф.СТАХЕЕВ
Е.П.ЧЕЛЬШЕВ**



**МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1994**

ХЕМИНГУЭЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННОКОВ



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1994

ББК 84.7США
Х37

ERNEST HEMINGWAY
(1899—1961)

*Составление,
вступительная статья,
комментарии, указатель*
Б. ГРИБАНОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Хемингуэй в воспоминаниях современников /
Х37 Редкол.: Н. Балашов, Д. Затонский, П. Палиевский
и др.; Сост., вступ. статья, коммент., указатель
Б. Грибанова. — М.: Худож. лит.: ТЕРРА, 1994. —
543 с. — («Литературные мемуары»).

ISBN 5-85255-451-0

Сборник «Хемингуэй в воспоминаниях современников»
включает фрагменты из воспоминаний не только близких и
друзей Хемингуэя, но и целого ряда выдающихся современни-
ков, лично знавших писателя.

ББК 84.7США

Х 4703010100-041 Без объявл.
А30(03)-94

ISBN 5-85255-451-0

© Составление, вступительная
статья, комментарии, перевод, ука-
затель. Грибанов Б. Т., 1994
© Оформление. Максим В. В., 1994
© Перевод. Ефанова В. К., 1994
© Перевод. Бернштейн И. М., 1994
© Перевод. Чередык Н. Э., 1994
© Перевод. Миронова М. Н., 1994
© Перевод. Штейн А. В., 1994
© Перевод. Гурова И. Г., 1994

МНОГОЛИКИЙ ХЕМИНГУЭЙ

Великий мастер биографического жанра Андре Моруа, словно оправдываясь перед классическим литературоведением, писал: «Мы знаем, что творчество писателя нельзя объяснять только его жизнью; мы знаем, что самые знаменательные события в жизни творца — это его произведения. Но жизненный путь великого человека и сам по себе представляет огромный интерес».

Неубывающая читательская любовь к биографической литературе вполне убедительно говорит о том, что вряд ли есть необходимость в защите этого жанра. Жизнеописания великих писателей прочно заняли свое место в литературе. В том числе и такая их разновидность, как сборники «Писатель в воспоминаниях современников».

Можно, конечно, спорить о достоинствах и недостатках таких сборников. К числу недостатков следует прежде всего отнести неизбежную неравномерность освещения жизненного пути писателя. О каких-то периодах оказывается больше свидетельств очевидцев, о других меньше, а некоторые эпизоды биографии вообще остаются за кадром, потому что о них — так уж случилось — никто из современников не оставил никаких записей. Другим недостатком является опять-таки неизбежный субъективизм авторов воспоминаний.

Впрочем, это тот случай, когда недостатки переходят в достоинства. Конечно, биограф-исследователь, отделенный обычно от своего героя временем и пространством, может и должен быть объективен. Но такой ученый (или популяризатор), как правило, оказывается в плену собственной концепции творчества писателя и своей трактовки определенных эпизодов его жизни, в результате чего зачастую появляется хоть и талантливая, но в чем-то одномерная книга, показывающая объект изображения в одном, максимум в двух измерениях.

Современники, из воспоминаний которых складывается подобный сборник, это, как правило, близкие писателю люди, его родственники, друзья, деловые знакомые, наконец, просто сталкивавшиеся с ним люди. Среди них могут быть и недоброжелатели, и даже враги. Или, например, брошенные жены или любовницы, от которых трудно ожидать беспристрастных суждений. Бывает и так, что один и тот же эпизод жизни или какой-то поступок героя разные очевидцы воспроизводят

или трактуют совершенно по-разному, порой с совершенно противоположных позиций.

А в результате возникает многомерный, иногда в чем-то противоречивый образ человека, увиденного многими глазами, который смотрится таким образом более объемным, более живым.

В применении к Хемингуэю такой спектр восприятия его самыми разными людьми представляется особенно ценным. Тому имеется две причины. Одна из них заключается в том, что мало кого из писателей изображали при жизни, да и после смерти, столь предвзято и недобросовестно, как Хемингуэя. Недоброжелатели и завистники создали образ кровожадного грубияна, упивавшегося в своих книгах изображением всяческих видов насильственной смерти. Рядом с этим образом сосуществовал и другой «портрет» Хемингуэя — физического и нравственного импотента, прикрывающего свою слабость маской охотника, боксера, рыболова, любителя боя быков. Насколько оба эти изображения не совпадали с действительностью, читатель убедится, ознакомившись с предлагаемым ему сборником воспоминаний современников Хемингуэя.

Вторая причина кроется в той степени взаимосвязи, переплетения фактов биографии Хемингуэя с его творениями, которая не раз ставила в тупик критиков. Лучше всех об этой сложной проблеме сказал известный американский поэт и литературовед, друг Хемингуэя на протяжении многих лет, Арчибальд Мак-Лиш. «Писателей, — утверждал он, — обычно судят по их творчеству, но жизнь Хемингуэя с такой угрожающей силой врывается в его творчество, что критики никак не могут сойтись в своих мнениях... Они неправильно понимают взаимоотношения между задачей писателя и его жизнью. Они считают жизнь и творчество разными и даже противоречащими друг другу явлениями... Никто из них не понимает простого факта, что творчество — настоящее творчество — не есть простое производное отдельно изолированного опыта и не есть изолированное создание изолированного человека».

Действительно, жизнь Хемингуэя так тесно переплелась с его творчеством, что у критиков невольно возникал соблазн полностью отождествлять автора с его героями — Ником Адамсом, Джейком Барнсом, Фредериком Генри. Естественно, в каждого из своих героев Хемингуэй вкладывал многие свои черты и даже факты своей биографии, но ставить знак равенства между писателем и персонажами его произведений совершенно неправомерно. Сам Хемингуэй категорически возражал против такого упрощенного восприятия своих книг. «Ник Адамс, — писал он о себе в третьем лице, — в рассказах никогда не был самым автором. Он создал Ника. Конечно, он никогда не видел, как индианка рожала ребенка. И поэтому в рассказе это получилось хорошо. Он видел рожавшую женщину на дороге в Карагач и пытался помочь ей. Вот как это было на самом деле».

Свидетельства современников помогают очистить портрет Хемингуэя от этих литературных ассоциаций, разглядеть в нем — в известной, конечно, степени — живого человека, во всей сложности его характера, со всеми положительными и отрицательными черточками, с его комплексами — а какой человек, и тем более творческая личность, лишен комплексов? — в его многообразных взаимоотношениях с миром, с окружающими людьми.

Интерес к становлению характера подростка Эрнеста Хемингуэя, к формированию его личности возникает у читателя с первых же страниц сборника, при чтении фрагментов из мемуаров его младшего брата Листера, сестры Марселины, школьного товарища Льюиса Кларагана.

Здесь прежде всего бросается в глаза то, что все очевидцы детства и юности Эрнеста Хемингуэя в один голос свидетельствуют о проявившейся очень рано в мальчике горячей, истовой любви к природе. Тем самым начисто опровергается имевшее хождение утверждение, что страсть Хемингуэя к охоте и рыбной ловле, которую он действительно в какой-то мере рекламировал, была всего-навсего составной частью усердно создаваемого им образа мужественного человека. Можно сказать без преувеличения, что эта любовь к природе была одной из граней его писательского и человеческого таланта, что близость к природе, ощущение своего единения с ней во многом оплодотворяли его творчество. Сам Хемингуэй очень четко определял эту неразрывную связь. В 1924 г. в Париже, когда он стремительно утверждался как писатель, он писал своему другу юности, товарищу по сладостным дням, проведенным в лесах Северного Мичигана, Биллу Смитту: «Я ведь точно знаю, как чертовски прекрасно было все, что тогда нас окружало, потому что все, или почти все, что я написал стоящего, написано именно о тех местах. Все это сидит во мне, и, когда я думаю о других странах или что-то пишу, перед моими глазами все равно стоит бывшее — залив, ферма, ловля пятнистой форели, замечательные дни на ферме у тетушки, первые наши замечательные походы на озеро Блэк и на Старден, и люди, которые там живут, и как мы выкапывали картофель, и вообще все наши забавы. Все это живет в нас, и мы не будем терять это». Так мог написать только человек предельно искренний, да и не было у него нужды изображать из себя что-то перед другом юности, которым к тому же владели те же чувства.

Нельзя, однако, обойти вниманием и обнаруживающиеся в этих воспоминаниях указания на некоторые иные стороны характера будущего писателя. Льюис Клараган, в частности, выделяет такую черту Хемингуэя, как жажду быть первым во всем — в охотничьей удаче, в рыбной ловле, в спортивных играх. Стремление первенствовать свойственно всем подросткам, но у Хемингуэя, видимо, эта черта была развита сильнее, чем у многих других. Во всяком случае, желание первенствовать в литературе, как это явствует из многих мемуаров, сопутствовало ему на протяжении всей жизни.

Другой особенностью, которая отличала Хемингуэя среди его сверстников, была его неумная фантазия. Льюис Клараган вспоминает: «Он любил драматизировать все на свете, и я не думаю, что он врал, просто он был склонен преувеличивать любое маленькое событие».

Вероятно, именно эта способность постоянно фантазировать и предопределила его призвание. Уже на склоне лет, в 1958 г., на вопрос интервьюирующего его Дж. Плимптона: «Можете ли вы вспомнить, когда именно вы решили стать писателем?» — Хемингуэй, не задумываясь, ответил: «Нет. Я всегда хотел быть писателем». Он не только мечтал о писательстве, уже в старших классах школы он начал пробовать свои силы — в школьном журнале «Табула» были напечатаны его рассказы: «Суд Маниту», «Все дело в цвете кожи», «Сепи Жинган». Активно сотрудничал он и в школьной газете «Трапиз», печатая там подражания популярному тогда фельетонисту Рингу Ларднеру.

К сожалению, в мемуарах сравнительно бедно отражен недолгий, всего семь месяцев, но довольно насыщенный отрезок времени, когда 18-летний Хемингуэй работал начинающим репортером в Канзас-Сити в местной газете «Стар». Здесь он прошел добротную школу журналистики, которая весьма пригодилась ему в последующие годы. Главные сведения об этом периоде содержатся в книге Листера Хемингуэя «Мой брат, Эрнест Хемингуэй» и в небольшой записи Тэда Брамбака, работавшего вместе с Хемингуэем в канзасской «Стар» и вместе с ним отправившегося в Италию на войну.

О книге Листера Хемингуэя следует сказать особо. Она вышла в свет вскоре после самоубийства Хемингуэя и на какое-то количество лет оказалась по существу наиболее полной и достоверной биографией писателя, основанной на личных воспоминаниях автора и письмах Хемингуэя, часть которых, адресованная семье, оказалась в распоряжении Листера Хемингуэя. Когда в 1981 г. известный биограф Хемингуэя Карлос Бейкер с разрешения его вдовы Мэри опубликовал большой том избранных писем писателя, подтвердилась добросовестность, с которой Листер цитировал или пересказывал письма своего старшего брата.

Достоверность книги Листера Хемингуэя подкрепляется и тем, что он был единственным членом семьи, с которым Хемингуэй на протяжении всей своей жизни — с разной степенью близости в разные периоды — поддерживал близкие отношения. И хотя Листер в ряде случаев пишет о событиях, очевидцем которых ему не довелось быть, его информация обычно основана на том, что рассказывал ему старший брат. Во всяком случае, опубликованные позднее фундаментальные исследования биографии Хемингуэя не только не опровергли сообщенные Листером факты, но в какой-то мере и основывались на его книге.

Короткое пребывание Хемингуэя на итало-австрийском фронте первой мировой войны, полученное им там тяжелое ранение и потом лечение в миланском госпитале сыграли в жизни Хемингуэя исключительно важную роль. Там он увидел, что такое смерть, можно сказать, прикоснулся к ней, там он познал и что такое любовь.

Уже будучи зрелым человеком и известным писателем, Хемингуэй не раз утверждал, что «всякий опыт войны бесценен для писателя», говорил «о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт». Впоследствии Хемингуэю довелось быть очевидцем и даже участником еще трех войн, включая вторую мировую войну. Однако опыт, приобретенный им у итальянской реки Пьяве, был первым и потому посвоему бесценным. Как он вспоминал потом: «Я увидел людей в моменты нечеловеческого напряжения, я увидел, как они ведут себя до этого и после». И, быть может, еще важнее было то, что, по его словам, «я многое узнал про самого себя».

Не менее значительным оказался и опыт первой любви. Госпитальный роман молодого и обаятельного раненого солдата с медицинской сестрой, которая в данном случае была к тому же на семь лет старше его, — история довольно банальная. Такой она, видимо, и выглядела для Агнес фон Куровски, если судить по ее интервью, помещенному в данном томе. Пытаясь соблюсти респектабельность замужней дамы, она даже отрицала, что между ними была физическая близость.

Совершенно иначе воспринимал эту банальную историю молодой солдат Хемингуэй. Он был влюблен со всей страстью, на какую способна первая любовь. Много лет спустя друг Хемингуэя критик Малькольм Каули очень точно сказал о нем: «Он романтик по натуре, и он влюбляется подобно тому, как рушится огромная сосна, сокрушающая окружающий мелкий лес. Кроме того, в нем есть пуританская жилка, которая удерживает его от флирта за коктейлем. Когда он влюбляется, он хочет жениться и жить в браке, и конец брака он воспринимает как личное поражение».

Так было и в этом, первом в его жизни, случае. Он предложил Агнес выйти за него замуж и, когда она обманула его, очень тяжело переживал. Горечь, оставшуюся от обманутой любви, он выплеснул в «Очень коротком рассказе». Однако по прошествии лет горечь улетучилась, и пережитая им в Милане любовная история трансформировалась в романе «Прощай, оружие!» в прекрасную и трагическую любовь американского лейтенанта Фредерика Генри и английской медсестры Кэтрин Беркли.

Но до этого было еще далеко. А пока что он вернулся в родной Оук-Парк, вернулся сумрачный, отделенный от большинства сверстников, да и вообще от окружающих, тяжелым опытом войны. О его состоянии в то время дают представление мемуары Листера и сестры Марселины «В доме у Хемингуэев». Значительно беднее отражен в их книгах последующий этап биографии Хемингуэя — жизнь в Чикаго после того, как он ушел из родительского дома, начало сотрудничества с торонтской газетой «Стар», женитьба на Хэдди Ричардсон. В этом разделе представляет интерес и фрагмент из «Мемуаров» известного американского писателя Шервуда Андерсона, который своими рассказами о Париже разжег у Хемингуэя желание поехать туда и снабдил его рекомендательными письмами к своим парижским друзьям. Этот фрагмент важен и для понимания дальнейших, очень не простых, отношений между Хемингуэем и Андерсоном.

С переездом молодой семьи Хемингуэев в 1922 г. в Париж, где Эрнест стал работать корреспондентом торонтской «Стар», открылась новая глава его биографии. Из воспоминаний Листера Хемингуэя, Хэдли Хемингуэй Моурер, хозяйки парижской книжной лавки «Шекспир и Компания» Сильвии Бич, Гертруды Стайн складывается весьма интересная картина первого этапа жизни Хемингуэя в Париже, спектра его знакомств, его пугешествий по Европе — Швейцария, Испания, Германия, Италия, Греция и Турция, где тогда шла война, его корреспондентская работа на международных конференциях в Генуе и Лозанне. Хотя, конечно, лучше всех написал об этом парижском периоде сам Хемингуэй в посмертно изданной книге «Праздник, который всегда с тобой». Однако мемуары очевидцев дополняют его собственные воспоминания, а в некоторых случаях восполняют в них некоторые пробелы.

Среди воспоминаний, относящихся к первому периоду жизни Хемингуэя в Париже, особого разговора заслуживают мемуары Гертруды Стайн. Эта американка почти всю жизнь прожила в Париже, была известна в узких кругах как интересная представительница авангардизма в литературе, она довольно интересно разрабатывала новые формальные приемы в прозе. Хемингуэй приехал к ней с рекомендательным письмом от Шервуда Андерсона, понравился ей. Гертруде Стайн нравилось то внимание, с которым он выслушивал ее советы и поучения. Это внимание было вполне искренним. В письме Андерсону из Парижа Хемингуэй писал: «Мы с Гертрудой Стайн почти как братья, и мы очень часто видимся с ней». В конце другого письма Андерсону Хемингуэй приписал: «Мы любим Гертруду Стайн». В 1924 г., когда Хемингуэй после недолгого пребывания в Торонто вернулся в Париж и работал в журнале Форда М. Форда «трансатлантик ревью», он приложил много усилий, чтобы напечатать в журнале начало романа Стайн «Возвышение американцев».

Однако по мере того, как крепло мастерство Хемингуэя, становилось ясно, что роль послушного ученика Гертруды Стайн его перестает удерживать. Да и Стайн, наверное, стала испытывать разочарование, видя, что ученик идет своим собственным путем, а совсем не тем, который она проповедовала. А Хемингуэй к тому же подошел тогда к такому рубежу, когда он начал испытывать потребность отсечь пути литературных влияний — этим, вероятно, можно объяснить то, что он тогда написал и опубликовал довольно злую пародию на Шервуда Андерсона «Вешние воды».

Все это вместе не могло не вызывать раздражения Гертруды Стайн. Это раздражение вылилось на страницы ее мемуаров, которые она стилизовала под записки ее подруги и компаньонки Алисы Токлас, фрагменты из которых публикуются в настоящем томе. Гертруда Стайн пыталась убедить всех, что Хемингуэй всего лишь неблагодарный ученик ее и Шервуда Андерсона.

Хемингуэя при его ранимости и обостренном самолюбии это очень сильно задело. Следы этой обиды обнаруживаются даже в написанном

в самом конце жизни «Празднике, который всегда с тобой», где он свел свои счёты с Гертрудой Стайн, хотя, надо признать, и не очень по-джентльменски.

Тема ранимости Хемингуэя возникает здесь не случайно. Именно в те парижские годы — и в первый период его жизни там (1922—1923), но главным образом в следующий период (1924—1927), когда Хемингуэй завоевывает литературную известность и становится популярной фигурой в Париже, — он усердно лепит в глазах окружающих свой, как говорят американцы, имидж — представление о себе. И его первая жена Хэдли, знавшая его лучше, чем кто бы то ни было, предлагает свою версию психологических предпосылок его человеческой позиции. «Жестокость Эрнеста, — рассказывала она спустя много лет, — в значительной степени была естественной, но во многом она призвана была прикрывать его уязвимость. Эрнест был одним из самых уязвимых людей, каких я только знала, и легко ранимым. Большинство людей считало, что он слишком уверен в себе, но я думаю, что у него был комплекс неполноценности, который он тщательно скрывал».

Воспоминания о втором парижском периоде жизни Хемингуэя интересны прежде всего тем, что значительно расширяется круг авторов — рядом с Листером Хемингуэем, который, оставаясь верным избранному им с самого начала принципу, излагает основные события жизни брата, звучат голоса писателей, друживших в те годы с Хемингуэем, — Джона Дос Пассоса, Гарольда Леба, Морли Каллагэна. В их воспоминаниях вырисовывается многомерный, сложный облик Хемингуэя той поры, когда он переживал расцвет своего таланта, когда писался роман «И восходит солнце», принесший его автору мировую славу.

Годы 1927 и 1928 открыли новую главу в биографии Хемингуэя. Этому способствовало несколько обстоятельств — в 1927 г. он развелся со своей первой женой Хэдли и женился на Полине Пфейфер, в 1928 г. переехал в США и поселился в Ки-Уэст, на юге Флориды, в том же году начал работать над романом «Прощай, оружие!».

С переездом в Ки-Уэст в жизнь Хемингуэя вошло новое увлечение, наложившее свой отпечаток на последующие десятилетия его жизни и нашедшее широкое отражение в творчестве писателя, начиная с очерков для журнала «Эквайр» и кончая повестью «Старик и море», — охота на крупную морскую рыбу. Эта страсть подталкивала Хемингуэя на все более дальние рыболовные экспедиции — на Бикини, на Багамские острова, к берегам Кубы, острову, который он полюбил настолько, что после гражданской войны в Испании и женитьбе на Марте Гельхорн избрал его своим домом.

Жизнь в Ки-Уэст означала для Хемингуэя вхождение в совершенно новую для него человеческую среду. Если в Париже он вращался в основном в кругу литературной и художественной богемы, экспатриантов, оторвавшихся от своих корней, то здесь он оказался в самой что ни на есть народной гуще. Правда, довольно специфической — в Ки-Уэст нельзя было встретить заводского рабочего или фермера, здесь жили рыбаки, контрабандисты, доставлявшие с Кубы запрещенный в США сухим за-

коном ром, ветераны первой мировой войны, не нашедшие себе места в мирной жизни и посланные сюда правительством на строительство железной дороги.

Здесь в полной мере проявилась отличительная черта Хемингуэя — его прирожденный демократизм. В его отношениях с местными жителями не было никакого снисхождения или высокомерия. И он не присматривался к ним, как это бывает с писателями, собирающими материал для своей новой книги, — он просто дружил с ними, вместе с ними выходил на лов большой рыбы, выпивал в баре у Джо Рассела, ценил их человеческие качества. Это был не наигранный, а абсолютно естественный демократизм, и это отметил его приятель по тем временам Гарри Сильвестр: «Хемингуэй был близок к людям работающим, к представителям среднего класса, часто испытывал восхищение перед ними».

Начало 30-х годов отмечено и еще одним, весьма существенным обстоятельством — у Хемингуэя начал прорезываться интерес к политике. Как это ни парадоксально, но интерес этот возник первоначально со знаком минус. Связано это было с тем, что обрушившийся в 1929 г. на Америку экономический кризис и вызванный им рост рабочего движения привели к резкому, можно даже сказать демонстративному, полевению значительной части творческой интеллигенции, возникшему у нее интересу к идеям социализма. В воспоминаниях современников практически ничего не говорится об отношении Хемингуэя к этим процессам. Между тем вопрос этот весьма существенный, и пробел этот необходимо заполнить.

У Хемингуэя к революции было свое особое отношение. В 1934 г. в статье «Старый газетчик пишет» он вспоминал о времени после окончания первой мировой войны: «Непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — потому что она была логическим выводом». Через год в статье «В защиту Кинтанильи» Хемингуэй выразит свое преклонение перед подлинными революционерами, теми, кто сражается с оружием в руках, рискуя своей жизнью.

При этом Хемингуэй не скрывал своего презрения к тем, кто «пишет это слово» — революция, но «никогда не стрелял и не был под выстрелами», к тем, кто ради моды или карьеры объявляют себя революционерами, к писателям, которые ангажировали себя в политике. В той же статье «Старый газетчик пишет» Хемингуэй предельно четко сформулировал свое отношение к этой проблеме: «Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее. Если дело партии победит, карьера такого писателя обеспечена. Но все это будет не впрок ему как писателю, если он не внесет своими книгами чего-то нового в человеческие знания».

О своих тогдашних политических взглядах Хемингуэй писал в 1932 г. Джону Дос Пассосу: «Я полагаю, что я анархист — но требуется немало усилий, чтобы понять это. Вот нападают на старика Феррера и на Ма-

латесту, но через 20 лет их имена будут выглядеть более честными, чем имя Сталина... Я не верю и не могу верить в сильное правительство, вне зависимости от того, к каким результатам оно приводит. К черту церковь, когда она становится государством, и к черту государство, когда оно становится церковью. К тому же очень может быть, что разрушение важнее, чем созидание».

Здесь уместно упомянуть и о тогдашних взглядах Хемингуэя на международную политику. Наиболее точно они сформулированы в статье «Заметки о будущей войне», написанной в 1935 г. Надо сказать, что Хемингуэй всегда живо интересовался военными проблемами и не без оснований считал себя серьезным экспертом в этой области. Так вот, в 1935 г., предсказывая через год или два начало европейской войны, он не делал по существу различия между Италией и Германией, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой, и призывал США воздерживаться от возможного вмешательства в европейскую войну. Он называл Гитлера и Муссолини диктаторами, но в статье ни разу не встречается слово «фашизм».

Все это необходимо отметить, чтобы стало более понятным, как развивались взгляды Хемингуэя на политику и международные проблемы в ближайшем будущем.

Событием, заставившим не только Хемингуэя, но и многих представителей западной интеллигенции серьезно пересмотреть свои политические позиции, стала гражданская война в Испании.

Воспоминания очевидцев об этом периоде помогают проследить эволюцию, проделанную Хемингуэем за годы испанской войны. Ошибочно представлять Хемингуэя, отправившегося весной 1937 г. в Испанию, убежденным антифашистом. Напротив, из короткого рассказа Йориса Ивенса об их встрече в Париже с Хемингуэем, который должен был выехать в Испанию, видно, насколько смутно представлял себе Хемингуэй существо разгоревшегося в этой стране политического и военного противоборства — он ненавидел всякую войну и сострадал всем, кто погибает в этой войне или страдает от лишений военного времени.

Прошло совсем немного времени, и он сказал встретившемуся ему в Мадриде Илье Эренбургу: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Разгадка этого проста — между этими двумя разговорами пролегли фронтовые дороги военного корреспондента Хемингуэя, варварские бомбардировки фашистской авиацией Мадрида, когда у него на глазах гибли женщины, дети, старики, его встречи с бойцами Интернациональных бригад — с людьми, приехавшими сюда, в чужую им Испанию, из разных стран, чтобы помочь испанскому народу в его сражении за свободу. Иными словами, Хемингуэй увидел бесчеловечное лицо фашизма и понял, что его долг писателя — сражаться с этим злом. Об этом он без обиняков сказал в июне 1937 г. на II Конгрессе американских писателей в своей знаменитой речи «Писатель и война».

В Испании Хемингуэй в значительной степени пересмотрел и свое отношение к коммунистам. К людям, но не к идеологии. Это нашло отражение в воспоминаниях писателя Джозефа Норта, американского коммуниста, бойца батальона Линкольна. Хемингуэй сказал ему: «Все дело в том, что вы, коммунисты, хороши тогда, когда вы солдаты, но упаси меня Боже от вас, когда вы беретесь за роль проповедников».

В этой связи нельзя не обратить внимания на то место в воспоминаниях Листера Хемингуэя, где он рассказывает, как потрясен был Эрнест казнью одного своего знакомого, совершенно невинного человека: «Чудовищность убийства хорошего и невинного человека стала одной из душевных ран, мучивших Эрнеста. Это терзало его гораздо больше, чем гибель тысяч людей по обе стороны фронта, которых он не знал». А ведь в корреспонденциях Хемингуэя об этом нет ни единого слова. Более того, в статье «По поводу одной информации» он высмеивал некоего иностранного журналиста, утверждавшего, что в республиканском Мадриде свирепствует террор. Чем же может быть объясним такой нравственный компромисс Хемингуэя, выше всего ценившего истину? Скорее всего ключ к этой загадке лежит в одной фразе в романе «По ком звонит колокол» — «Самое главное было выиграть войну». Этот аргумент толкал многих людей во многих странах если не оправдывать преступления, то, во всяком случае, молчать о них. На эту мысль наводят строки, следующие непосредственно за приведенной выше фразой. Хемингуэй говорит о своем герое — кстати, он тоже писатель — слова, которые могли быть с полным основанием отнесены к самому Хемингуэю: «Он принимал участие в этой войне, и куда она шла, он отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому; что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже». И действительно, в романе «По ком звонит колокол», написанном уже после поражения Испанской Республики, Хемингуэй вывел политкомиссара Интербригад, одного из тогдашних руководителей французской компартии, кровавого маньяка, расстреливавшего ни в чем не повинных людей, Андре Марти.

Читатель, конечно, заметит, что почти во всех воспоминаниях тех, кто сталкивался с Хемингуэем во время испанской войны, рядом с ним упоминается молодая красивая американка, блондинка с длинными ногами. Это была Марта Гельхорн, журналистка, которая познакомилась с Хемингуэем еще в Ки-Уэст накануне его отъезда в Испанию и вскоре тоже приехавшая туда в качестве корреспондентки. Их любовь расцвела в атмосфере войны, ежедневной опасности для жизни. В отель «Флорида» в Мадриде, где они жили, то и дело попадали снаряды фашистской артиллерии, на улицы, по которым они ходили, падали с неба бомбы, на фронтах, куда они вместе ездили, смерть вообще ходила рядом.

После окончания испанской войны Хемингуэй и Марта поселились на Кубе, где он купил в местечке Сан-Франсиско-де-Паула дом, называвшийся Финкой-Вихией, ставший на два десятилетия его домом. Вскоре Эрнест оформил развод с Полиной и в ноябре 1940 г. женился на Марте Гельхорн.

Там на Кубе и был им написан роман «По ком звонит колокол». Как вспоминал в 1946 г. Хемингуэй в письме К. Симонову: «После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало».

Времени действительно уже не оставалось — война в Европе началась в сентябре 1939 г., 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз, а 7 декабря того же года в мировую войну оказались вовлеченными и Соединенные Штаты Америки.

Хемингуэй, конечно, не мог остаться в стороне от этой глобальной схватки с фашизмом. Ведь еще в 1940 г. он писал: «Я сражался с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с ним».

По воспоминаниям людей, сталкивавшихся с Хемингуэем в годы второй мировой войны, можно составить довольно полное представление о его бурной деятельности в этот период. С интересом читаются воспоминания Листера Хемингуэя, оказавшегося в Лондоне летом 1944 г., который воспроизводит рассказ Эрнеста о том, как он в течение двух лет (1942—1943) вел на Кубе свою «личную» войну с нацистской Германией, охотясь на своем катере «Пилар» за немецкими подводными лодками.

Недолгое пребывание Хемингуэя в Лондоне оказалось весьма насыщенным. Здесь он летал с истребителями Королевских военно-воздушных сил, участвовал в рейдах английских бомбардировщиков на Германию, здесь он попал в автомобильную катастрофу. Здесь он познакомился с американской журналисткой Мэри Уэлш, влюбился в нее и на восьмой день знакомства сказал ей: «Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Я хочу быть вашим мужем».

А в июле Хемингуэй уже был на борту одного из первых десантных судов, с которых союзные войска высаживались на побережье Нормандии. Потом он прошел с боями вместе с 4-й пехотной дивизией американских войск путь по Франции; в местечке Рамбуйе, неподалеку от Парижа, сколотил из французских партизан мобильный разведывательный отряд и доставлял союзному командованию ценнейшую информацию о противнике, потом было освобождение Парижа, когда Хемингуэй со своей группой первым вошел в этот столь любимый им город. Завершился его боевой путь по Европе тяжелыми боями на линии Зигфрида, на границе немецкой земли.

В уже упоминавшемся письме К. Симонову Хемингуэй писал: «Это лето наступления из Нормандии в Германию было лучшим летом моей жизни, несмотря на войну». Действительно, тут он чувствовал себя на месте — он воевал за правое дело, среди людей, которых он полюбил и которые полюбили его. Художник Джон Грот, разыскавший Хемингуэя на фронте вблизи линии Зигфрида, вспоминал: «Проходившие мимо сол-

даты останавливались, чтобы выпить с ним. Они все его знали, но не как писателя. Они знали его как Папу, который был вместе с ними в течение всего похода через Францию. Он был везде, где были они. Другой рекомендации ему не требовалось».

Отгремели залпы второй мировой войны, взорвались над Хиросимой и Нагасаки американские атомные бомбы, отбросив свой адский отсвет на будущее человечества. Мир изменился, и в этом новом мире писатель должен был определить свое место.

Хемингуэй не замедлил это сделать. Уже в 1946 г. в предисловии к антологии «Сокровища Свободного мира» он писал: «Теперь, когда война кончилась и мертвые мертвы, для нас настало еще более трудное время, когда долг человека — познать мир. В мирное время обязанность человечества заключается в том, чтобы найти возможность для всех людей жить на земле вместе».

В его личной и творческой судьбе открылась новая страница. Он вернулся на Кубу, в свою Финку-Вихию, но уже с новой женой — Мэри, с новыми замыслами. Определился и упорядочился стиль его жизни. Периоды затворничества, когда он напряженно писал, сменялись шумными нашествиями в Финку-Вихию гостей, многодневными экспедициями на «Пилар» в погоне за крупной океанской рыбой, охотой с друзьями в горах американского Среднего Запада, поездками в Европу, где он с наслаждением вдыхал воздух любимого им Парижа, любовался непередаваемой красотой Венеции, кочевал по Испании с одной феерии на другую, глазом знатока оценивая искусство своих друзей-матадоров, отправился на сафари в Африку, едва не закончившееся трагически — он и Мэри попали в две авиационные катастрофы.

Эти полтора десятилетия, отпущенные ему судьбой, счастливые и насыщенные, как, впрочем, насыщенной была вся жизнь Хемингуэя, довольно подробно освещены в воспоминаниях очевидцев. Наиболее полными из них являются мемуары его жены Мэри и его друга, сценариста А.-Е. Хотчнера, много общавшегося с ним в эти годы, часто сопровождавшего его в путешествиях по Франции, Италии, Испании. Но и другие авторы воспоминаний вносят в эту картину свои неповторимые краски и штрихи. Среди них следует выделить «Портрет Хемингуэя», написанный американской журналисткой Лилиан Росс. Ей удалось нарисовать живой, динамичный, лишенный всякого возвеличивания портрет человека и писателя. Представляют несомненный интерес и воспоминания Адрианы Иванчич, молодой и красивой венецианской аристократки, служившей Хемингуэю моделью Ренаты в романе «За рекой, в тени деревьев».

Здесь уместно вспомнить слова Алехо Карпентьера, кубинского писателя, почти всю жизнь прожившего в Париже: «Хемингуэя никогда не окружали интересные люди. К нему больше тянулись личности, которым нравилось похвалиться дружбой со знаменитым писателем. Почти наверняка никто из них никогда не читал его книг». Трудно сказать, чего в этом отзыве больше — недоброжелательства, густо замешенного на зависти, или высокомерного пренебрежения к простым людям. Хемингуэй

действительно больше дружил с кубинскими рыбаками, контрабандистами Ки-Уэста, охотниками Сан-Вэлли и Кетчума, солдатами 4-й пехотной дивизии, партизанами из французских сил Сопротивления, чем с разного рода знаменитостями. Хотя в числе его близких друзей были и знаменитые артисты — Гари Купер, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, писатели, кинорежиссеры, крупные военные — генерал американской армии Ланхем, с которым они вместе воевали во Франции, генерал-лейтенант британской армии Дорман-Смит, видный дипломат Дэвид Брюс, выдающиеся книгоиздатели Чарльз Скрибнер и Максвелл Перкинс. Уже одно это перечисление опровергает измышления Карпентьера. Важно и другое. Из устных рассказов жителей Сан-Франсиско-де-Паула, рыбаков Кохимара, посетителей гаванского бара «Флоридита», записанных кубинским журналистом Норберто Фуэнтесом и опубликованных им в книге «Хемингуэй на Кубе», встает образ обаятельного и душевного человека, который держится абсолютно на равных со всеми окружающими и в свою очередь пользуется их уважением. И эти люди ведут себя с ним без тени подобострастия. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать короткий рассказ Грегорио Фуэнтеса, шкипера «Пилар», о его ссоре с Хемингуэем.

Воспоминания, относящиеся к годам 1946—1958, примечательны еще и тем, что в них больше места уделено высказываниям Хемингуэя о литературе, о собственном творчестве, о живописи. Это и перечисление шедевров мировой литературы, среди которых видное место уделено великим русским писателям XIX века, рекомендованных им для чтения, и интереснейшие его ответы на вопросы школьников старших классов в городке Хейли, записанные Хотчнером, и разговоры его о творчестве с литературоведом Сьюардом.

Последние страницы книги жизни Хемингуэя исполнены трагизма. Трудно даже представить, что этот жизнедеятельный, сильный человек, спортсмен, охотник, рыбак, стал жертвой тяжких болезней. У него сильно повысилось кровяное давление, отказывало зрение. Еще, может быть, страшнее оказалась психическая болезнь — у него обнаружили симптомы шизофрении, мании преследования. Ему казалось, что его преследуют агенты ФБР, что его секретарша Валери Данби-Смит продалась ФБР и работает на них, он был уверен, что федеральные налоги разорили его и он теперь нищий. Переубедить его никто — ни Мэри, ни близкие друзья — не мог. Обо всем этом довольно подробно написано в воспоминаниях Мэри и Хотчнера.

Но самым страшным недугом, поразившим Хемингуэя, стала творческая импотенция. Он, который всю свою жизнь отдал писательскому делу, осознав, что больше писать не может, понял, что жизнь для него теряет всякий смысл. И он сделал свой вывод, поставив на своей жизни точку выстрелом из охотничьего ружья.

На биографический жанр существуют разные взгляды. Марк Твен, например, писал, что «биографическая книга о человеке — это лишь его одежда и пуговицы, а биографию самого человека написать невозможно».

Есть и другая точка зрения, выраженная, в частности, в «Британской энциклопедии», где сказано, что биография — это «верный портрет души в ее полном приключений странствии по жизни».

Хочется надеяться, что предлагаемый читателю сборник воспоминаний современников о Хемингуэе привнесет нечто новое в «портрет его души».

Б. Грибанов

ХЕМИНГУЭЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННИКОВ

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Эрнест целиком весь вышел из викторианской эпохи 90-х годов в том виде, как она сложилась на Среднем Западе.

Наши родители были не совсем обычной парой для этого общества людей среднего класса. Но зато наши бабушки и дедушки в своей благопристойности являлись типичными его представителями — с их беспрекословным подчинением раздутому пузырю, уже тогда известному под именем Общественного мнения.

Наш дедушка Эрнест Миллер Холл по прозвищу Отче был добрым и начитанным английским джентльменом, который занимался изготовлением и продажей ножевого товара в фирме «Рэндол, Холл и Компания», располагавшейся на Уэст-Лейк-стрит в Чикаго. Бабушка Каролина Ханкок Холл была маленькой стремительной женщиной с сильной волей и подлинным художественным талантом. Мягкой, но твердой рукой она направляла жизнь своего мужа и двоих детей. Хотя они жили в Чикаго, для отдыха она предпочитала Нантакет, поэтому на лето семья отправлялась туда.

Дедушка Ансон Тайлер Хемингуэй — беспечный владелец недвижимого имущества, предпочитал жизнь на открытом воздухе добыванию денег. Его привезли из Коннектикута в Чикаго в крытом фургоне, когда ему исполнилось десять лет. Бабушка Аделаида Эдмондс Хемингуэй, целеустремленная сильная женщина, властно управляла семьей из шести детей. Она не знала, что такое

отдых. Однако летом семья предпринимала путешествия на озеро Делаван в Висконсине, в Орегон и в Старвд-Рок в Западном Иллинойсе.

Таковы были эти люди, вырастившие наших родителей, Грейс Эрнестину Холл и Кларенса Эдмондса Хемингуэя, в прочных викторианских традициях. Они оба выросли в Чикаго, Грейс провела свои юные годы в Саут-Сайде, а позднее в Оук-Парке, где Кларенс прожил всю жизнь. Тем не менее, как это широко распространено в мелкобуржуазной среде на Среднем Западе, они верили, что принадлежат к высшему обществу. Они гордились тем, что принимают участие в миссионерской деятельности, своим интересом к искусству. Родители помогали всевозможным добровольным начинаниям — отец, например, основал местное отделение общества Агассиз — протестантского миссионерского общества, призванного распространять Слово Божие по всему миру.

Отец, старший из детей, имел трех братьев и двух сестер. После занятий в средней школе он изучал фотографию и увлекался фотографированием различных сценок жизни Оук-Парка. Кроме того, он играл в футбол. Но главной его любовью была природа. «Когда я был мальчиком, — любил рассказывать он нам, — к северу от Лейк-стрит водилась уйма степных тетеревов». Теперь эти холмистые луга на многие мили застроены домами.

Однажды отец провел три летних месяца с индейцами племени сиу в Южной Дакоте, постигая науку природы и восхищаясь образом жизни индейцев. Другое лето, в бытность его студентом медицинского колледжа в Раше, он работал поваром в правительственной топографической экспедиции в Аппалачских горах в Северной Каролине. Он любил жизнь на природе, но главным делом его жизни стала медицина.

У мамы главной страстью была музыка. Она рано проявила способности к игре на рояле и училась этому всю свою юность. Параллельно она занималась пением — у нее было контральто. К тому времени, когда она окончила среднюю школу, она обладала вполне серьезным музыкальным образованием. Ее отличали независимость и энергия. В сопровождении своего младшего брата Листера она каталась за городом на велосипеде с высокими колесами, что считалось тогда просто дерзостью. Она хотела поехать в Европу заниматься вокалом, но бабушка Холл сочла эти претензии слишком смелыми. Маме удалось все-таки побывать в Англии и во Франции. Но для серьезных занятий музыкой ей пришлось обосноваться в верхнем Манхэттене. В течение года она усердно занималась там у мадам Капиани. Потом

состоялся ее дебют как певицы под руководством Антона Сейдла, дирижера нью-йоркской филармонии. Отзывы критиков были превосходными. Однако она вернулась в Оук-Парк, чтобы выйти замуж за молодого, подающего надежды врача Кларенса Э. Хемингуэя. Они познакомились в школе в Оук-Парке — отец окончил ее в 1889 г., а мама в 1890 г. Закончив курс в медицинском колледже в Раше, отец начал работать в университете Эдинбурга. В письмах они обменивались впечатлениями о Европе, и их влечение друг к другу становилось все сильнее. Холлы одобрили этот союз. Хемингуэи тоже. И тем не менее, когда в конце 1896 г. они поженились, мама считала, что пожертвовала блестящей музыкальной карьерой. Это убеждение жило в ней почти до конца ее дней.

Отец хотел по примеру своего брата Уилла стать врачом-миссионером. Ему предлагали отправиться на Гуам или в Гренландию. С другой стороны, он думал устроиться в Неваде, где он мог по крайней мере не жить в городе. Мать — главный арбитр — решительно покончила с этой его страстью к странствиям. В итоге наш отец обосновался там, где и жил, в Оук-Парке, и стал практиковать — много и успешно. Он служил медицинским экспертом в трех страховых компаниях и в молочной фирме «Борден милк компани», а также возглавлял акушерское отделение в больнице Оук-Парка. За время своей службы он принял более тысяч младенцев.

Наши родители начали свою семейную жизнь в доме № 434 по Норт Оук-Парк авеню, как раз напротив того дома, в котором и сейчас живут бабушка и дедушка Хемингуэи. Оук-Парк, никогда не являвшийся частью Чикаго и представлявший собой самую большую деревню в мире, с гордостью именовался его жителями как «место, где кончаются салуны и начинаются церкви». Эти двадцать кварталов в длину и двадцать четыре в ширину считались тогда идеальным местом для того, чтобы именно там создавать семью.<...>

Летом 1990 г. наши родители побывали на озере Валун в Северном Мичигане, и там они испытали странное чувство встречи с судьбой. Они купили участок — два акра земли вдоль берега в четырех с лишним милях от верховьев озера, которое тогда называлось Медвежьим. Место это находилось в девяти милях от Петоски и приблизительно в трехстах милях к северу от Чикаго. Здесь было значительно холоднее. Они выстроили там коттедж. Сказалось пристрастие мамы к романам Вальтера Скотта, владение назвали Уиндермир, так оно именуется и по сей день.

Дом размером 20 на 40 футов обошелся в 400 долларов, он был выстроен из сосновых бревен и отапливался камином высотой в семь футов, сконструированным отцом. Позднее пристроили крытую веранду и отдельную кухню. Отец устроил на кухне настоящий потоп, пытаясь провести туда ключевую воду. Потом он добавил к дому еще три комнаты.

Лучшим местом в Уиндермире был берег озера. Чистейший песок как нельзя лучше подходил для того, чтобы разбить там лагерь, никаких домов поблизости не было. На популярной в семье фотографии запечатлен годовалый Эрнест и наша сестра Марселина, барахтающиеся на мелководье. Мама распорядилась отпечатать эту фотографию на почтовой открытке, чтобы рассылать родственникам и друзьям.<...>

Стоицизму Эрнест выучился в Уиндермире рано и крепко. Летние каникулы не означали только охоту и рыбалку. Едва ребенок выросстал достаточно, чтобы держать в руках метлу или грабли, он получал на день определенное задание. Пляж нужно было каждое утро разравнивать, другим местом для работы являлся спуск от коттеджа к берегу. Эрнесту поручалось каждый день приносить молоко с фермы Бэконов в полумиле от нас и потом возвращать туда пустые бидоны.

Во время одной такой экспедиции Эрнест чуть не погиб. Темный тенистый овраг отделял холм, на котором стоял Уиндермир, от холма, где располагалась ферма Бэконов. По дну его протекал ручеек, заросший водорослями. Земля по обе стороны ручья представляла бурый перегной разлагающейся древесины.

Однажды утром Эрнест побежал за молоком, в руке у него была короткая палочка. В овраге он споткнулся и упал, инстинктивно вытянув вперед руку с палочкой, чтобы защитить лицо. Палка воткнулась ему в горло, повредив обе миндалины. Хлынула кровь, и он потерял ее довольно много, пока добрался обратно до коттеджа. К счастью, отец оказался дома и остановил кровотечение.

Вид окровавленного сына, бегущего к дому, совершенно потряс маму. Спустя годы, когда я был уже подростком, стоило мне взять в руки палку или даже острый леденец, следовало немедленное предупреждение от кого-нибудь из домашних: «Помни, что случилось с Эрнестом!»

После этого происшествия горло Эрнеста в течение некоторого времени было болезненным. Отец посоветовал

ему, когда хочется плакать, насвистывать, чтобы отвлечься от боли. С тех пор насвистывание помогало Эрнесту стойчески реагировать на боль. На фотографии, где изображен раненый герой в итальянском госпитале во время первой мировой войны, он насвистывает сквозь стиснутые зубы.<...>

В то лето, когда Эрнесту исполнилось пять лет, умер дедушка Холл. Он оставил маме достаточно денег, чтобы построить новый дом, такой, о каком она мечтала годами. Она спланировала пятнадцать комнат, включая музыкальный салон высотой в два этажа, с балконом, — весьма неудобный для отопления, но удобный для концертов.<...>

Новый салон для музыкальных занятий доставил массу радостей нашей талантливой маме. Вскоре она решила, что семейный оркестр более всего нуждается в виолончели, которая дополнит ансамбль из скрипки, рояля и голоса, обеспеченный ею и Марселиной. Желания Эрнеста в счет не шли. У него был слух, а семейный оркестр нуждался в третьем участнике. В результате Эрнест начал заниматься виолончелью, поначалу по полчаса в день. Вскоре он дошел до того, что ежедневный урок длился уже час. Такова была мамина система, которую она применяла к каждому из нас, пока сама не убеждалась в бессмысленности своих усилий. Убедить ее в чем-нибудь было чрезвычайно трудно. Притворство не помогало.

Вот так в течение нескольких лет Эрнест тратил час в день на занятия виолончелью. Его самый правдивый ответ на неизменный вопрос: «Как вы начали писать», люди, не входившие в наш семейный круг, часто принимали за шутку. «Частью моего успеха, — обычно отвечал Эрнест, — я обязан тем часам, когда я бывал один в музыкальном салоне и предполагалось, что я музицирую. А я в это время думал, играя вновь и вновь «Вот идет ласка».

Мама никогда не теряла надежды, что хоть один из ее детей станет великим певцом. «Эрнест был таким разочарованием для меня — я все надеялась, пока ему не исполнилось двенадцать», — не раз говорила она мне. В те годы она руководила детским хором Третьей конгрегационалистской церкви в Чикаго. «Мне нужны были хорошие голоса, а Эрнест пел очень монотонно. Марселина и Урсула пели прекрасно, а у Эрнеста каждая нота звучала как предыдущая».<...>

В те ранние годы Эрнест увлекался гораздо больше стрельбой, чем пением. Однажды осенью, когда ему еще не исполнилось шестнадцать, дедушка Хемингуэй подарил ему ко дню рождения ружье 20-го калибра, отец взял Эрнеста на ферму к дяде Фрэнку Хайнсу, около Карбондейла в Иллинойсе. Это была чудесная местность, где водилось много перепелов, но, хотя поездка планировалась за несколько месяцев, она оказалась полна неприятностей, которые ни отец, ни сын не могли предвидеть.

Маленькое ружье Эрнеста било на редкость кучно. Когда счастье улыбалось ему, он мог настрелять птиц на расстоянии более 50 ярдов. Отец очень гордился, демонстрируя охотничье искусство Эрнеста на голубях, летавших вокруг амбара. Стрелять приходилось с очень неудобных позиций, рядом с домом, где находились женщины и дети.<...>

Эрнест очень скоро понял, что столь нелюбимый им музыкальный салон может быть приспособлен для более приятных занятий. Среди его товарищей по классу частенько вспыхивали споры.

«Пошли ко мне домой, и там мы спокойно все уладим», — обычно предлагал он.

Когда компания являлась, требовалось всего несколько минут на разведку — где находится мать и сестры. Если берег был чист, участники пробирались в музыкальный салон через черный ход с заднего двора. Санни тайком притаскивала боксерские перчатки, ведро с водой и тряпки. Все это было необходимо даже для поединка в один раунд, а большинство боев продолжалось три раунда, так что у каждого участника было достаточно времени, чтобы показать себя. Тоненькая блондинка Санни отсчитывала время и стояла на страже. Эта женственная девочка с мальчишескими ухватками, вероятно, способствовала тому, чтобы поединки проходили честно, и к тому же вдохновляла мальчиков сражаться как можно лучше. Когда ковры скатывали и убирали в сторону, хорошо натертый паркет оказывался идеальной поверхностью, с которой легко можно было смыть следы от разбитых носов. Во время одного из таких матчей шнуровкой боксерской перчатки Эрнесту повредило глаз. Задолго до того, как заходящее солнце заглядывало в окна с западной стороны, музыкальный салон принимал прежний вид.<...>

Позднее, когда Эрнест увидел объявление о школе бокса в гимнастическом зале в Чикаго, он добился у отца разрешения и записался туда. В первый же день Янг О'Хири раз-

бил ему нос. Но это не обескуражило его. Много времени спустя он рассказывал одному своему другу: «Я понял, что он задаст мне трепку, в ту же минуту, как увидел его глаза.

- Ты испугался? — спросил друг.
- Конечно. Он умел драться, как черт.
- Так чего же ты начал с ним бой?
- Я не настолько испугался».〈...〉

Первое охотничье ружье Эрнеста — одноствольный дробовик 20-го калибра — было подарком от дедушки Хемингуэя на его десятилетие. Ружье было очень хорошо для стрельбы по птицам и кроликам. Этот подарок сильно укрепил взаимную привязанность между дедушкой и Эрнестом, который любил слушать рассказы деда о том, как того мальчишкой привезли на Запад в крытом фургоне. Дедушка Хемингуэй рассказывал также волнующие истории о сражениях Гражданской войны. Он сражался добровольцем в Иллинойском пехотном полку и многое знал о тактике боя, а также об отвратительных реалиях войны.

Любимый рассказ дедушки Хемингуэя был о том, как «ему в голову ударил снаряд». Пройдя всю войну без единой царапины, он был серьезно ранен, когда снимал с высокой полки тяжелый снаряд и тот выскользнул у него из рук. Острый кусок металла оставил рану, на которую пришлось наложить несколько швов.〈...〉

Хотя в те годы, когда Эрнест учился в школе, финансовое положение семьи Хемингуэев было вполне прочным, с карманными деньгами его очень ограничивали. Отец был воспитан в правилах бережливости. Он был уверен, что путь в ад вымощен легкими деньгами, поэтому он давал деньги своим детям только за выполнение определенных работ по очень низким ценам. Никогда за все школьные годы Эрнест не получал от семьи больше двадцати пяти центов в неделю — жалкий бюджет даже для того времени.〈...〉

Эрнесту удавалось сэкономить кое-какие деньги от летних работ на озере Валун. На ферме отец договаривался с Эрнестом о всех видах работ, не ограничивая его определенным временем и не требуя, чтобы Эрнест надрывался. Он слишком ценил каникулы, чтобы быть слепым в этом деле. Поэтому в промежутках между различ-

ными работами у Эрнеста находилось время для ловли форели в ручье Хортонс-Крик, в трех милях ходьбы от фермы. Там однажды в сумерках он поймал у старой пристани на западном берегу залива, где Хортонс-Крик впадает в озеро Шарлевуа, большую радужную форель. Он отправил рыбу на конкурс и впервые испытал чувство спортсмена, завоевавшего почетный приз.

Эрнест знал каждый фут этого ручья, от болотца, где он зарождается, и до впадения в Хортонс-Бей у Пайн-Лейк, на всем его пути, через глубокие заводи и леса до дамбы, через поля, под мостом и, наконец, самый опасный участок — заросшее лиственницами болото, где большинство рыбаков уже через полчаса пропадает на целый день.

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Счастливейшие дни нашего детства прошли в коттедже на озере Валун, в штате Мичиган. Первый раз мама и папа отправились на север в августе 1898 года, захватив с собой меня (семимесячную) и мою няню Софи. Жили мы тогда в коттедже, принадлежавшем любимой маминой кузине Мэдлин Рэндал Борд. Первый отрезок довольно-таки изнурительного путешествия проходил на речном пароходе «Стейт оф Огайо», который доставил нас из Чикаго в Харбор-Спрингс. Здесь мои родители перетащили свой багаж на местный поезд, направлявшийся в Петоски. В Петоски они снова выгрузились и пересели на поезд, идущий в деревню под названием «Озеро Валун», где в очередной раз вытащили багаж из вагона и перенесли его на паромчик, который повез их по озеру. Этот маршрут нам предстояло в будущем проделывать ежегодно в течение многих лет.

Первая поездка на озеро доставила маме и папе много радости; большую часть времени они проводили катаясь по нему в гребной лодке. Они восхищались прозрачной родниковой водой, березами и соснами, окружавшими озеро, и, решив, что хорошо бы иметь здесь собственный коттедж, провели две недели в поисках места на берегу, где можно было бы построиться. Участок, который особенно понравился обоим, располагался на изрезанном небольшими бухточками берегу озера в северной его части и находился почти напротив Уайлд-Харбор — фермы, принадлежавшей Генри Бэкону, переселенцу из Канады.

Моим родителям приглянулись здесь широкий песчаный пляж и постепенно уходящее на глубину твердое чистое дно. Белые березы и кедры подступали к самому пля-

жу, а за ними, подалее от воды, росли клены, буки и болиголов. От северо-западных ветров бухту защищал мыс с пристанью, который местные жители называли «Мэрфин мыс». Все здесь нравилось моим родителям. Рыбалка на озере была отличная. Участок, по определению мамы, находился достаточно близко от фермы Бэконов, чтобы брать у них свежее молоко и яйца, но недостаточно близко для того, чтобы к нам долетал запах их свинарника. Сделка была заключена. Перед отъездом в Оук-Парк в сентябре Хемингуэи купили четыре участка общей площадью в один акр.

Коттедж, построенный по замыслу мамы, состоял из гостиной, где по обе стороны огромного, обложенного кирпичом камина стояли широкие диваны, небольшой столовой, кухни и двух спален. Крыльцо с навесом и перилами, ступеньки которого сбегали вниз к озеру. Двустворчатая дверь, запиравшаяся на крючок. Снаружи дом был обшит некрашеными досками, внутри отделан некрашеной сосной. Никакого водопровода, разумеется, не было. В правом углу двора выкопали колодец. Связь с внешним миром осуществлялась по воде. Топившиеся дровами пароходы: «Турист» — величественный, с двумя палубами, с капитаном в форме и машинистом, и «Пикник» — размерами поменьше, четыре раза в день совершали регулярные плавания вокруг озера, иногда устраивались вечерние экскурсии при луне. Когда нам было что-то нужно, мы сигнализировали белым флагом, приглашая пароход подойти к мысу — в дело в таких случаях шел кусок простыни или даже полотенце. Если рулевой не гудел в знак того, что видит нас, мы принимались отчаянно размахивать нашим белым флагом, пока, наконец, не раздавался гудок и пароход не поворачивал к нашей пристани. Если же нам так и не удавалось привлечь внимание рулевого, папа начинал трубить в свой горн. Трубил он в горн и когда требовалось призвать нас домой с поля или когда мы уходили берегом от Уиндермира. Или еще он трубил в бараний рог, похожий на тот, что описан в Библии, который он купил в Швейцарии еще до женитьбы. Хотя издавал этот инструмент только одну ноту, сила этой ноты была прямо-таки потрясающая, и слышали мы его на огромном расстоянии, даже по ту сторону озера.

Ближайший город Петоски находился в девяти милях от нас, и соединялся он с озером немощеной дорогой, проложенной по крутым холмам. Чтобы съездить туда на телеге за продовольствием, фермерам, вроде Генри Бэкона, приходилось тратить целый день. В город ездили только по необходимости. <...>

У нас были две гребные лодки: «Марселина Уиндермирская» и позднее «Урсула Уиндермирская». И то-то была радость, когда году в 1910 папа купил первую моторную лодку. Ее назвали «Санни», она была восемнадцати футов длиной, и приводил ее в движение мотор «Грэй Марин». Но, чтобы завести его, папе приходилось изрядно повозиться! Он крутил ручку и ждал, снова крутил и снова ждал. Иногда проходило с полчаса, прежде чем мотор начинал работать. Бывало, что, неожиданно запыхтев, он опять надолго умолкал. Папа не имел склонности к механике и, заводя мотор, терял всякое терпение.

Нужно сказать, что папа совершенно не переносил, когда кто-нибудь ругался в его присутствии, не любил даже невинных бранных слов, вроде «Проклятие!» или «Черт возьми!». Обычно он ограничивался выражениями «Вот холера!» или «Мерзость какая!». Но поведение мотора доводило его до того, что свои излюбленные восклицания вроде «Экая гадость!» или «Вот нелегкая!» он произносил с таким жаром и экспрессией, с каким обычно выкрикивают самые грубые ругательства. «Эта идиотская машина когда-нибудь прикончит меня!» — жаловался он как-то маме.

Умение разбираться в механизмах не входило в число достоинств моего отца. Он прекрасно обращался с ружьем, с удочкой, с ножом и с хирургическими инструментами. Известно, что в те времена, на заре пластической хирургии, он порой творил просто чудеса, но вот с мотором справиться не мог. Он относился к нему как к личному врагу, и мотор платил ему взаимностью. Даже купленная через несколько лет вторая наша моторная лодка «Кэрол», не такая быстрая и более легкая в управлении, доставляла папе много неприятностей.<...>

Однажды летом папа заказал в Чикаго в «Монтгомери Уорд» стальной капкан и три бочонка глиняных голубей. Незабываемые дни! Папа считал, что мы должны уметь не только плавать, но и стрелять.

Мы, старшие, окончательно освоив духовые ружья, стали учиться стрелять из охотничьего ружья. Тренироваться в стрельбе по целям мы начали, еще не поступив в среднюю школу. Обучая нас приемам обращения с ружьем, папа бывал не менее придирчив, чем когда учил нас плавать.

— С людьми, которые знают, как обращаться с ружьем, несчастных случаев не бывает, — повторял он снова и снова. — Относись к ружью как к другу. Смазывай его,

чисти после употребления и всегда помни: если с ним обходиться небрежно, оно превратится во врага.

Ружье всегда держат дулом к земле! Никогда — даже в шутку — нельзя целиться в кого-то! Эти правила мы знали наизусть. Затвердили их еще в раннем детстве. Папа позволял нам заряжать и разряжать свои охотничьи ружья и свой кольт, но к «Большому Эду» — крупнокалиберной винтовке, которую он купил еще учась в колледже, — имел право прикасаться он один. «Большой Эд» была та самая винтовка, с которой он ходил на Смоки-Хиллс в начале девяностых годов. Стрелять, повернувшись лицом к озеру, нам было строго запрещено.

Папа показывал нам, как набивается ружейный патрон, и давал попробовать едкий на вкус порох, содержащийся в гильзе. Он говорил, что охотники, очутившись в лесу без припасов, нередко пользуются порохом вместо соли, когда жарят дичь.<...>

Впоследствии Эрнест занимался у мисс Маргарет Диксон, а я была сначала в классе мисс Белл, а потом мисс Райт, преподававших английский язык в выпускном классе. Но, как мне кажется, больше всего мы любили два необязательных предмета — «Английский-V» и «Английский-VI», где нашей учительницей была мисс Фанни Биггс. Мисс Биггс, худенькая некрасивая женщина, обладала большим шармом. Она носила очки с толстыми стеклами и закручивала волосы на макушке стародевичьим узлом, но чудесная улыбка делала ее красивой. Тонкое чувство юмора и восторженное отношение к предметам, которые она преподавала, воодушевляли всех ее учеников.

В классе «Английский-V» мы постигали искусство сочинять рассказы. Класс «Английский-VI» занимался журналистикой. Разбирая рассказы, мы проходили различные стили письма, и я помню, как Эрнест приносил новеллы, написанные им в манере По, Ринга Ларднера и О'Генри. Помню, как сама я написала рассказ о каннибалах, пойманных и изжаривших миссионера. Неожиданным финалом в духе По являлось потрясение, испытанное каннибалами, когда они вонзили зубы в ногу миссионера. Нога была деревянная.

В то время местом действия рассказов Эрни были окрестности озера Валун. Он слушал индейцев, сдиравших кору с деревьев в лесном лагере неподалеку от нашего коттеджа, собирал истории, поведенные ему старожилками тех мест, случаи из жизни лесорубов, рассказы о буйных нравах, царивших в лесах севера, и о драках в кабаках

Бойн-Сити. Весь этот колоритный материал он бережно хранил на будущее.

Один из первых его рассказов — «Сепи Джинган» — появился в 1916 году в ноябрьском выпуске нашего литературного ежемесячного журнала «Скрижаль», один экземпляр его до сих пор хранится у меня. Эта новелла с ее короткими отрывистыми фразами, стилизованными повторами и живым естественным разговором является прдтечей его позднейших, всем известных книг.

В классе «Английский-VI» мисс Бигтс вела занятия так, словно это была редакция газеты. Все мы ежедневно получали задания: каждому поручалось осветить какую-то определенную сторону жизни, как это принято делать в газетах небольших городков. По очереди исполняли обязанности редактора, фельетониста, составляли объявления, писали статьи и очерки, отчеты о происшествиях и спортивные новости. Это было замечательно. Сегодня вам могли поручить написать шесть обязательно броских рекламных объявлений, на следующий день это был репортаж и очерк; мы вели также разделы «Светская хроника» и колонку «Спрашивайте — отвечаем».

— Следите за тем, чтобы суть излагаемого умещалась в первом параграфе, затем развивайте подробности, располагая соответственно их значению, — говорила нам мисс Бигтс. — Наименее важные оставляйте на конец. Редактору, возможно, придется сокращать вашу заметку. Поэтому пишите так, чтобы он мог отбросить конец, сохранив, однако, сюжет в неприкосновенности, даже если останется только первый параграф. — Мы должны были также уметь развить материал, содержащийся в одной фразе, так, чтобы получилась небольшая статья.

Мисс Бигтс настаивала, чтобы работы учеников были написаны хорошим слогом. Она была строга и требовала, чтобы каждый день мы сдавали полученные задания точно в одно и то же время. Приходилось всегда быть начеку. Ее увлеченность была заразительна, а язвительные замечания больно жалили. Она не возражала против того, чтобы мы давали волю фантазии, и ее не волновала нелепость тем, избранных нами для рекламных объявлений. Припоминаю кое-какие вещи, разрекламированные нами. Например, ванна, сплетенная из прутьев. Или составленное мною объявление, рекламирующее бесшумные фишки для покера. Я напирала на то, что они незаменимы по вечерам в доме, где уже легли спать супруга и дети. Моррис Мастельман предложил кофейную чашку, обшитую мехом.

Слушателям класса «Английский-VI», конечно, не терпелось испробовать свои силы и подготовку, попав в штат

школьной газеты. Восемь человек, включая Эрнеста и меня, были выбраны в редакционный совет нашей еженедельной газеты «Трапедия». Мы по очереди, меняясь каждый месяц, исполняли обязанности главного редактора. Редактор раздавал задания раз в неделю. Помню, как я была редактором и указывала Эрни, что ему следует написать. Через несколько недель приказания мне отдавал он.

Иногда Эрни писал очерки для «Трапедии» в манере Ринга Ларднера. Сначала шел серьезный отчет о футбольном или бейсбольном матче с соседней школой, после чего Эрни описывал ту же игру «по-ларднеровски» — остроумно и весело и подписывал ее Хемингштейн. Все мячи были отбиты и все удачные перебежки осуществлены Хемингштейном. Вряд ли я солгу, сказав, что в школьные годы самым счастливым временем были часы, проведенные в классе «Английский-VI», работа в нашей газете бок о бок с близкими друзьями, сочинение заголовков и чтение корректур в местной типографии.<...>

1917 год. Президент Вильсон отказался от нейтралитета. Эрнест отложил принятие решения и занялся подыскиванием какой-нибудь работы на время каникул. Наш дядя Альфред Тайлер Хемингуэй из Канзас-Сити был другом полковника Нельсона — редактора «Канзас-Сити Стар», и папа надеялся, что он сможет помочь Эрнесту получить в этой прекрасной газете работу на лето. Дядя Тайлер навел справки, однако выяснилось, что никаких вакансий в «Стар» не предполагается до сентября. Если Эрнест согласен подождать, сказал дядя отцу, его возьмут осенью на должность начинающего репортера. Эрни решил подождать.

Уже до начала каникул Эрни сделал два пеших похода к озеру Валун от низовий озера Мичиган, — туда он добирался от Чикаго на пароходе. Один раз вместе с Льюисом Клараганом, а другой раз долгое путешествие — больше трехсот миль — проделал с ним Гарольд Семпсон. По дороге мальчики делали привалы, спали в крошечных палатках, сами готовили себе еду, вволю купались и удили рыбу и были чрезвычайно благодарны проезжающим автомобилистам, если те подбирали их на дороге и подвозили немного.<...>

Все лето напролет Эрнест работал вместе с папой на ферме Лонгфилд, находившейся по ту сторону озера, напротив Уиндермира. С помощью фермера Уорена Самнера и уореновских мулов они подвели сани для перевозки камней под дом прежнего владельца фермы и передвинули

его на другое место. Затем построили новый ледник под яблонями, и Уорен обещал набить его зимой льдом. Сказал, что, когда озеро замерзнет, он нарежет лед кубами, сложит в ледник, пересыпав каждый ряд опилками, чтобы он сохранился до нашего приезда в будущем году. Папа с Эрнестом помогали полоть и поливать большой огород на Лонгфилде и вдвоем скосили сено почти на двадцати акрах холмистой земли. Сажали они и фруктовые деревья в саду. Но тяжелый труд занимал не все время: у Эрни в то лето гостило несколько мальчиков из Оук-Парка; один раз ужин с танцами устраивался и для меня.

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Эрни не устраивал свиданий с девочками. Он был видный парень и дружил со своими сестрами, так что, я думаю, хорошо понимал девочек, но похоже было, что он их избегал. Я не хочу сказать, что он был застенчив, но мы вообще не так активно ухаживали за девочками, как это делается сейчас. Назначить свидание в наше время было целым делом.

Отец Эрнеста был нашим домашним врачом, а мой отец состоял в должности почтового инспектора и был большим любителем тенниса. У нас во дворе имелся теннисный корт. Эрнест не очень преуспевал в теннисе. Но он не мог допустить, чтобы его побеждали в каком бы то ни было спорте, он всегда хотел быть первым.

Он проводил со мной много времени, потому что наш дом находился на границе прерии и он любил бывать у нас, охотиться и боксировать со мной. Эрнест был крупнее меня и обычно побеждал в наших поединках. В конце концов я решил перестать с ним сражаться. А однажды был такой случай, когда он случайно нажал курок охотничьего ружья, и пуля пролетела в нескольких дюймах от моей головы, так что мне повезло, что я остался жив. Он вообще любил оружие, порох и рисковал даже взрывать в поле небольшие самодельные бомбы.

Из всех видов спорта больше всего Эрнест любил стрельбу и охоту. Меня эти виды не интересовали — мне не нравилось убивать. Всю жизнь Эрнест славился как охотник, а унаследовал он это от своего отца. Его увлекала жизнь на природе, главным образом охота, и мы часто скитались с ним по прерии к северу от нашего дома, где водились фазаны, северные совы, утки и ласки. Эрнест обычно брал с собой на прогулку ружье. Однажды он стрелял по черным дроздам и попал зарядом мелкой дро-

би в хижину. Владелец выскочил с ружьем, и мы убежали домой.

Мы странствовали и по окрестностям Плейнс-Ривер неподалеку от дома Эрнеста, где удили рыбу, плавали на лодках и купались без трусов в укромных местах. Мы спали там несколько ночей, пока нас не выставили. Во время одного нашего длительного похода к озеру Цюрих, милях в двадцати от Оук-Парка, Эрнест позвонил домой, и ему сообщили, что у него появился младший брат Листер.<...>

Он любил драматизировать все на свете, и я не думаю, что он врал, но он склонен был преувеличивать любое маленькое событие. Он любил притворяться, что оскорбляет тебя, но, когда ты начинал обижаться, он принимался смеяться, и становилось ясно, что ничего страшного не произошло. Он всегда жаждал возбуждения, ему хотелось расшевелить все вокруг.

На озере Валун мы спали в маленьком сарае, а чтобы поесть, добирались на лодке до Уиндермира, летнего домика Хемингуэв. В ручье Хортонс-Крик я наловил больше форели, чем он, но я пообещал Эрнесту не хвастаться этим. Просил ли он меня об этом? Я не помню.

Он дружил с Гарольдом Семпсоном и часто заявлялся в Уиндермир вместе с Семпсоном. Я не припомню ни одной ссоры между нами, но с Гарольдом Эрнест часто спорил по всякому поводу. В ссорах он всегда стремился одержать верх, и это его очень возбуждало. Такая у него была манера. Мы с ним хорошо ладили. Он был очень хороший парень и пользовался большой популярностью среди своих соучеников.

Он никогда не говорил, что хочет стать писателем, но однажды затащил меня на третий этаж в их доме и показал последнюю страницу рассказа, который только что написал. Потом он прочитал мне весь рассказ. Он был уверен, что написал нечто очень хорошее.

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

После окончания школы Эрнест больше всего на свете мечтал отправиться на войну. Однако он знал, что отец не разрешит ему записаться в армию. Отец категорически запретил ему это. Выходило, что реализация его замысла откладывается. В нашей семье, когда что-либо категорически запрещалось, то запрет мог длиться неизвестно сколько — от нескольких дней до месяцев.

Все лето в перерывах между работой и рыболовными походами родители продолжали убеждать Эрнеста поступить в Оберлинский колледж, где учились в свое время некоторые члены нашей семьи, или выбрать любой другой колледж. Эрнест же использовал это время на раздумья, расспросы, выработку планов. После совещаний со своими друзьями, друзьями семьи и, наконец, с самой семьей Эрнест решил уехать в Канзас-Сити. Брат отца Тайлер был женат там на девушке из семьи Уайтов и зарабатывал свои деньги на заготовке лесоматериалов. Гораздо важнее было то, что дядя Тай учился в школе вместе с Генри Хаскеллом, видной фигурой в редакции «Канзас-Сити Стар». Эта по-настоящему серьезная газета стала школой для многих писателей Среднего Запада.

Эрнест жаждал приобрести опыт и свободу. «Стар» могла обеспечить ему и то и другое, если он получит возможность показать, на что он способен. Его устраивал и дядя Тай, который любил Эрнеста и хотел, чтобы тот попал в редакцию «Стар». Он был спокоен за журналистскую карьеру мальчика. Да и семья в конце концов будет знать, где сын. И Эрнест заявил, что твердо решил писать и категорически не хочет получать высшее образование.

В Канзас-Сити рекомендация дяди Тайлера помогла ему устроиться на работу. В те времена каждый нанимающийся в «Стар» проходил месячный испытательный срок. Новые сотрудники или быстро овладевали газетным стилем,

писали все, что им поручали, и обретали уверенность в себе, либо оказывались поверженными на обе лопатки — незаменимая система проверки способностей, стимулировавшая каждого начинающего репортера, попадавшего в газету.

«Мне повезло, — рассказывал мне Эрнест спустя годы, — потому что людям нравится видеть молодых людей, которые всюду суют нос и обо всем сообщают. Я быстро нашел свое место, как в футболе. Я выезжал на машинах «скорой помощи», обслуживавших большую больницу. Работа полицейского репортера. Но она давала мне возможность узнать, что думают люди в «Скорой помощи» и как они делают свою работу. Моей удачей стал большой пожар. Даже пожарники вели себя там осторожно. А я пробрался ближе к огню, где мог видеть все, что происходит. Это была занятная история...» Эрнест помолчал и рассмеялся: «Искры сыпались повсюду. На мне был новый коричневый костюм, и искры прожгли в нем дыры. После того как я передал свою информацию по телефону, я включил в счет редакции пятнадцать долларов за испорченный костюм. Но мне в этом было отказано. Это стало для меня хорошим уроком — никогда не рисковать ничем, если ты не готов потерять это, — вот что запомни».

Самым большим выигрышем от работы в Канзас-Сити был выигрыш времени. Время смягчило позицию отца в отношении желания Эрнеста отправиться на войну. После того как Эрнест четыре месяца прожил вдали от дома самостоятельно и работал полицейским репортером, его стремление уехать в Европу на войну уже как-то не связывалось с представлением, что его там обязательно убьют. Вскоре после Рождества отец изменил свою позицию. Эрнест мог завербоваться, если он найдет такой род войск, куда его возьмут.

В феврале 1918 года Эрнест окончательно выяснил, что с его зрением ему не попасть в американские экспедиционные войска. Посоветовавшись с другими сотрудниками «Стар» и познакомившись со всей доступной информацией, он решил, что Полевая служба американского Красного Креста даст ему наилучшую возможность увидеть боевые действия.

Тэд Брамбак, недавно поступивший на работу в «Стар», до этого провел шесть месяцев во Франции в составе Красного Креста. Он был старше Эрнеста, не так уверен в своих физических возможностях из-за травмы глаза и в большей степени романтиком. Он носил берет. Чарли Гопкинс, еще один сотрудник «Стар», и Карл Эд-

гар, друг Эрнеста по Пайн-Лейк, работавший в Канзас-Сити, разделили их энтузиазм. В конце апреля все четверо подписали бумаги и отправились из Канзас-Сити в Нью-Йорк с заездом в Мичиган с тем, чтобы половить форель перед отплытием в Европу. Потом они поспешили на Восток, получили военную форму и прошли парадом по Пятой авеню. Они были зачислены в отделение американского Красного Креста, действовавшее на итальянском фронте.

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Эрни понравился Канзас-Сити. В своих письмах мне и другим членам семьи, написанных в ту осень, он рассказывал о том, какую радость испытывает, став наконец-то самым настоящим репортером в самой настоящей газете. Он сообщил нам, что дает репортажи о пожарах, драках, похоронах и о всяких других событиях, недостаточно значительных для более опытных репортеров. Эрни многому учился. Писал он нам о своих новых друзьях по газете; многие из них были гораздо старше его. Он познакомился со звездой экрана и прислал мне три страницы восторженных излияний по поводу ее.

Сначала Эрнест поселился у дяди Тайлера и тети Арабеллы Уайт Хемингуэй в их доме на Уолнат-стрит, но скоро снял себе комнату в центре города, поближе к редакции «Стар». Он чувствовал себя достаточно взрослым и не хотел ни от кого зависеть. Мои письма к нему звучали, наверное, очень по-детски, потому что единственное, о чем я могла писать ему, это о том, как течет моя жизнь в Оберлине. По мере того как жизненный опыт, обретаемый Эрнестом, придавал ему все больше уверенности в себе и светскости, я, вместо того, чтобы оставаться старшей сестрой, переходила на положение младшей. Эрнест унаследовал от папы редкий дар легко завязывать дружбу. Он умел находить общий язык с людьми любого возраста, принадлежащими к любому слою общества. Истории из жизни других людей он порой выдавал впоследствии за случаи из собственной жизни. Так, например, в его «Рассказах Ника Адамса» многие сюжеты построены на действительных событиях, происшедших с одним из его приятелей-репортеров.

Но под чувством радости, которое давали Эрнесту новые впечатления и его работа в газете, таилось страстное,

непреодолимое желание попасть на войну. Он писал мне, что, стремясь поступить на военную службу, обращался ко всем родам войск, однако и армия, и флот, и морская пехота решительно отвергли его и не потому, что он был несовершеннолетним — ему уже минуло восемнадцать, — а на основании заключения медицинской комиссии, обнаружившей, что он плохо видит одним глазом.

«Мы все унаследовали от мамы дефект в этом глазе, — писал он мне в одном письме. — Но я все равно доберусь до Европы, невзирая ни на какие зрительные изъяны. Не могу допустить, чтобы такой спектакль обошелся без моего участия. Ни одной настоящей войны с тех самых пор, как дед Хемингуэй вел огонь по неприятелю во время битвы за Булл-Ран». То, что дед Хемингуэй служил в Вилксберге и никакого участия в битве за Булл-Ран не принимал, никакого значения в глазах Эрнеста не имело. Я разделяла его чувства.

Эрни писал, что решил не поступать в колледж; ему нравилась работа в газете. И вот в начале 1918 года от него пришло письмо, адресованное всей семье. Письмо было ликующее. Эрнест сообщил нам, что его послали проинтервьюировать группу итальянских офицеров, которые приехали в Соединенные Штаты вербовать добровольцев для Санитарной службы Красного Креста. Когда он брал у них интервью для «Стар», выяснилось, что Красный Крест принимает только тех молодых людей, которые были сочтены непригодными для военной службы в рядах американской армии. Они же принимали людей, в общем, здоровых, которые, однако, в физическом отношении не отвечали требованиям, предъявляемым рекрутам в нашей собственной стране.

— А взяли бы вы человека, плохо видящего на один глаз? — спросил он. Итальянцы ответили утвердительно.

Эрнест был в восторге. Наконец-то он обнаружил род войск, где его зрение не было помехой. Наконец-то нашел возможность попасть на войну в Европу! Он тут же записался добровольцем и был назначен в четвертое подразделение Санитарной службы в Италии, а затем позвонил нескольким своим приятелям об открывавшейся возможности — все они были отвергнуты нашей армией или флотом из-за того или иного дефекта.

Энтузиазм Эрни был заразителен. Теодор Брамбак, сын судьи в Канзас-Сити, тоже был зачислен в подразделение Санитарной службы Красного Креста вместе с Эрнестом. Хотел ехать с ними и Чарльз Хопкинс, редактор «Стар» в городе Маскочи в Оклахоме, но оказалось, что он не освобожден от призыва в действующую армию.

Весной 1918 года Эрнест написал нам, что договорился с приятелями, и они приедут вместе с ним в Оук-Парк, откуда все вместе отправятся в последний раз на рыбалку в северные леса. Он писал, что американский Красный Крест пошлет телеграмму на наш адрес с извещением, когда им надлежит прибыть в Нью-Йорк, чтобы погрузиться на отплывающий в Италию пароход. Точную дату отплытия парохода должны были сообщить Красному Кресту за три недели, не позднее, и Эрнест заверил родителей, что после получения телеграммы и до отхода «Конте Гранде» в их распоряжении останутся целых семь дней. Папа, мама и мы все были страшно рады, что Эрнест с друзьями приедет в Оук-Парк.

Приехало с Эрнестом человек пять-шесть, и приняли мы их всех очень радушно. Папа сделал много фотографий Эрнеста и его приятелей; он не менее Эрни радовался тому, что сын его добился того, что хотел. Папа впервые рассказал нам, что и сам стремился принять участие в испано-американской войне, но так как был женат и у его жены только что родился первый ребенок, ему не удалось попасть врачом на фронт, как он надеялся. Все же, мне кажется, в душе папа был доволен, что Эрнест попал в нестроевую часть. Сам папа работал в это время в местной медицинской комиссии, занимавшейся освидетельствованием призывников в Оук-Парке.

Эрни и его приятелям не терпелось отправиться на рыбную ловлю. Они переоделись во все старое, собрали свои удочки, ножи и прочее лагерное снаряжение и отбыли к намеченному Эрнестом месту на канадской границе. Там и городка никакого не было, только железнодорожная станция — глухое местечко, где поезда останавливались только по данному сигналу. Приехав на эту станцию, мальчики договорились с единственным ее обитателем — канадским телеграфистом, что как только из нашего дома придет телеграмма с датой отплытия парохода, он немедленно пошлет за ними индейца-посыльного. Папа обещал препроводить телеграмму, как только она будет получена в Оук-Парке.

Но когда телеграмма, наконец, была получена, оказалось, что она задержалась в пути и что пароход должен отплыть уже через несколько дней. Папа срочно телеграфировал канадскому телеграфисту; он понимал, что молодые люди с трудом поспеют на пароход, даже если известие достигнет их без малейшей задержки. Уже потом мы узнали, что индеец-посыльный, не теряя ни минуты, кинулся бежать от железнодорожного пути к месту их стоянки, однако, добежав, узнал, что они перенесли свой ла-

герь дальше. Когда запыхавшийся посыльный наконец нашел их, молодые люди не стали медлить. Сломая голову бежали они к железнодорожной станции, подхватили свои чемоданы, оставленные на хранение, и, грязные, небритые, успели-таки на единственный поезд оттуда за две минуты до его отхода. В Нью-Йорк они прибыли вовремя и благополучно погрузились на пароход. Это было французское судно «Чикаго». 28 мая пароход вышел в море, держа курс на Бордо. В Париж они прибыли в начале июня. И спустя двое суток были в Милане.

С ХЕМИНГУЭЕМ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ БЫЛ НАПИСАН РОМАН «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!»

Что-то было неладно с машинкой, на которой барабанил высокий темноволосый парень за соседним столом. Каждая девятая-десятая буква выпрыгивала из ряда и отпечатывалась над строчкой. Его это, по-видимому, нисколько не беспокоило. Как и сцеплявшиеся иной раз клавиши. А это случалось все чаще, по мере того как воодушевлялся он сам.

Отправившись в четвертый раз на водопой к стоявшему в углу бачку, я остановился у него за спиной посмотреть. Это был мой первый день в газете «Канзас-Сити Стар», где я начал работать репортером. Заведующий отделом городских новостей забыл о моем существовании. Делать мне было нечего. Оставалось пить воду и бить себя по коленной чашечке, проверяя, подскочит — не подскочит нога.

Закончив свою статью, высокий парень кликнул раскисшего. И тогда только повернулся ко мне.

— Вон какую я грязь развел, — сказал он с улыбкой. — Стоит мне увлечься, и эта проклятая машинка тут же начинает выкамаривать. Иногда я и сам не могу прочитать, что напечатал. Вот увидите, сейчас меня затребует к себе корректор расшифровывать, что я там наковырял. Издателям надо мной, как могут, однако печатают, что бы я им ни дал.

— У вас мысль бежит впереди пальцев.

— Похоже на то. — Он встал и двинулся ко мне с протянутой рукой. — Моя фамилия Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй. Вы тут новенький?

Так я познакомился с человеком, который впоследствии стал одним из крупнейших наших писателей. К сожалению, не могу погладить себя по головке и во всеуслы-

шание объявить, что тогда же оценил его по достоинству. Не тут-то было. Это произошло позднее. Первоначально я воспринял его как крупного, красивого юнца, у которого энергия бьет через край. Энергия у него была поистине завидная. Репортажей он выдавал за двоих. И никогда в конце дня не выглядел усталым.

Как-то в субботу, после того как мы кончили работу, Хемингуэй пригласил меня переночевать у него. В те дни репортеры еще не разъезжали на собственных автомобилях. Мы залезли в ночной трамвай, направлявшийся в ту часть города, где находились, как он выразился, его «апартаменты». Апартаменты состояли из крошечной унылой комнатухи под самой крышей старого деревянного дома в отнюдь не фешенебельной части города. Ехали мы туда очень долго, и когда наконец добрались до его жилья, я уже совсем засыпал.

— Стихи любишь? — внезапно спросил Хемингуэй.

Пижама на мне свисала складками до полу. Я был значительно меньше ее владельца.

— Конечно. Правда, не все.

— Давай почитаем вслух Браунинга.

— Ты с ума сошел! Ведь ночь уже! — Шел второй час, и я валился с ног от усталости.

— Ерунда! У меня есть кувшин португальского красного. Оно тебя мигом расшевелит. Как ты на это смотришь? Почитаем с полчаса?

— Ну что ж... — Отказать ему в чем-то, да еще когда он смотрит на тебя с такой улыбкой, было довольно-таки трудно. Он достал вино и разлил по рюмкам. Я взял свою и разлегся на полу, подложив под голову подушку.

Хемингуэй начал читать чистым проникновенным голосом. Читал он хорошо, я наслаждался, слушая его, пока глаза мои не начали слипаться. Однако долго дремать он мне не дал.

— Ну, а теперь, — сказал он, — почитай ты. А то я охрип.

Я старался как мог, но мне Браунинг мало что говорил, и очень скоро мне начало казаться, что я несу какую-то тарабарщину. Страннейшее ощущение читать страницу за страницей, ни слова не понимая.

Хемингуэй увидел, как обстоят дела, и отобрал у меня книгу. Я попытался слушать его чтение, но после одной-двух поэм крепко заснул. От неловкого положения у меня заболела шея, и я проснулся. Взглянул на часы. Они показывали четыре. Хемингуэй все читал.

— Господи твоя воля! — воскликнул я. — Эрни, ты что, спятил?

Он улыбнулся. Чтобы оценить его улыбку, надо было ее видеть. Она осветила все его лицо, обнаружив глубокую ямочку на щеке.

— Ну спятил, — ответил он. — Какая разница? Я же видел, что ты спишь. А мне очень нравится читать вслух. Так лучше воспринимается поэзия. Вот я читал себе и читал. Думал, что ты будешь время от времени просыпаться и хоть что-то воспримешь. А ты спишь себе и спишь.

На следующий день он работал как ни в чем не бывало. Иногда мне кажется, что гений отличается от всех остальных именно своей неисчерпаемой энергией. Мы, простые смертные, окончив работу, способны только развлекаться или завалиться в постель. Гений же только-только входит во вкус.

Большинство репортеров, про которых говорят: «Волка ноги кормят», имеет определенные маршруты. Каждый день мы наведывались туда, где можно было разжиться новостями. А иногда нам давались специальные задания. Маршрут Хемингуэя включал городскую больницу и центральный вокзал. Там всегда можно было собрать материал на небольшую заметку или интересный репортаж.

Еще до того, как, много лет спустя, на этом вокзале произошло знаменитое побоище (не сомневаюсь, что Хемингуэй много бы дал, чтобы быть свидетелем), он написал один из важнейших своих репортажей, в основу которого лег материал, полученный именно здесь. Вот как это было:

Однажды, обходя свой участок, он зашел на вокзал и обратил внимание на толпу, собравшуюся в дальнем углу зала ожидания. На каменном полу на носилках лежал закутанный в одеяло человек. Все лицо его было покрыто отвратительными язвами, и собравшиеся вокруг люди держались на почтительном расстоянии. По-видимому, никто из присутствующих не имел к нему никакого отношения. Человек тихонько постанывал.

— Что тут происходит? — спросил Хемингуэй.

— Заразный больной, — ответил кто-то из толпы. — К нему никто прикоснуться не решается. Вот послали за «скорой помощью».

— Что же его тут одного бросили? Неужели никому до него дела нет?

— Двое мужчин сняли его с поезда и принесли сюда, а потом вернулись в вагон. Нищий, наверное. Где ему взять денег, чтобы нанять кого-то за собой ухаживать.

— Давно послали за «скорой помощью»?

— Уже с полчаса как.

Хемингуэй ругнулся.

— Господи, я бы собаку в таком состоянии не бросил. Да что же вы за люди такие! Почему не отправите его на такси в городскую больницу? Можно ведь на носилках из вокзала вынести. У него же оспа. Если не начать его лечить немедленно, он непременно умрет. У меня отец доктор, и я разбираюсь в симптомах. Кто поможет мне вынести его отсюда?

При слове «оспа» толпа подалась назад. Помощников не нашлось.

Хемингуэй обозлился.

— Сборище подлых трусов, вот вы кто! Так и будете стоять и смотреть, как умирает человек?

Поскольку никто и тут не шелохнулся, он сам поднял человека и на руках вынес его на улицу. Там он позвал такси и отвез больного в городскую больницу, отнеся расходы за счет газеты «Стар».

В марте того же года (1918) нам удалось отправиться на войну. Хемингуэй пребывал в страшном возбуждении. Нам предстояло выехать в июне в составе подразделения Красного Креста, работавшего по перевозке раненых. Направлялись мы в Италию. Не куда-нибудь, в Италию!

— Теперь по крайней мере никто не скажет, что я увольняю от военной службы, — сказал он, когда мы получили повестки. Для него это был большой вопрос. Из-за пустяшного дефекта зрения в американскую армию его не взяли. Это угнетало его, а порой и вовсе вгоняло в черную меланхолию. Все мы в те дни рвались на фронт.

Отправили нас в Европу на американском транспортном судне, конвоируемом эсминцами.

Пароход «Чикаго», принадлежащий французской пароходной компании, — судно весьма почтенного возраста — в одиночестве шел через район, где хозяйничали подводные лодки. В ту ночь, когда он с потушенными огнями вышел в открытое море, мы стояли на палубе. Согласно донесениям, какая-то подводная лодка орудовала у берегов Америки, что привело Хемингуэя в радостное возбуждение. Однако кончилось все ничем.

Путешествие на «Чикаго» было одно сплошное разочарование. Разве что учения по размещению в спасательных шлюпках внесли некоторое разнообразие, но тут выяснилось, что все равно всем мест не хватает.

— Подумаешь! — сказал Хемингуэй, поглаживая свой старый спасательный круг. — У нас столько же шансов на спасение, как у тех, кто окажется в шлюпках. К тому же они могут попасть под обстрел.

У меня было на этот счет свое мнение. Сам я предпочел бы место в шлюпке. Но выбирать не приходилось. Французские офицеры только пожимали плечами. Ведь не станем же мы возражать, чтобы первыми заняли места в шлюпках сестры милосердия. Ну а следующие за ними — члены досточтимой организации Христианского союза молодых людей.

Постепенно монотонность существования убаюкала наши страхи. Делать было совершенно нечего, кроме как резаться в покер в баре, где игра шла денно и нощно, или же играть в кости. Но уж тут приходилось держать ухо востро — при расчете вас могли легко обсчитать, поскольку ставки делались в английских, французских, бельгийских, итальянских и американских деньгах. Хемингуэй попробовал было сыграть, но скоро обнаружил, что не тянет, хотя поначалу даже кое-что выиграл. Дилетанту тут делать было нечего.

Бармен — нескладный костлявый француз с моржовыми усами, — говоривший по-английски как житель лондонских трущоб, — заинтересовал Хемингуэя. Во время первых учений по размещению в шлюпках Эрнест, несмотря на отчаянное сопротивление, приволок его на палубу и заставил сняться с нами. Бармен относился к учениям весьма скептически. После первого занятия потеряли к ним интерес и мы.

В день, когда мы подошли к зоне предполагаемой деятельности подводных лодок, случился изрядный переполох. Вахтенный обнаружил на горизонте какой-то плотик, а на нем бочку. Капитан «Чикаго» тут же изменил курс. Поползли слухи, что это какая-то немецкая ловушка. Стоит нам остановиться, чтобы посмотреть, что это такое, как находящаяся поблизости подводная лодка торпедирует нас. Мы так никогда и не выяснили, в чем было дело, да и подводной лодки ни разу не видели. Хемингуэй чувствовал себя обманутым.

Когда мы приехали в Париж, оказалось, что немцы обстреливают столицу из дальнобойных орудий. Это известие потрясло весь мир. Число жертв обстрелов было на удивление невелико, особенно если принять во внимание, что некоторые снаряды падали на запруженные народом улицы. Опомнившись от первого испуга и удивления, парижане вновь принялись за свои обычные дела. Более робкие старались во время обстрела из дому не выходить. Немцы не достигли своей цели — деморализовать французов им не удалось.

Как я уже говорил, приехали мы в Париж как раз во время обстрела. Хемингуэй пришел в такое возбуждение,

словно ему было поручено осветить в печати самое важное событие года. Когда мы покидали вокзал Гар-дю-Норд, канонада доносилась буквально из всех частей города.

— Пошли, Тед! — сказал он. — Мы сейчас кое-что посмотрим. Эй, такси!

Двухцилиндровая колымага — одна из тех, кому обязан Париж своим спасением во время первой битвы на Марне, пыхтя, подкатила к нам. Мы погрузились в нее со всеми своими пожитками.

— Скажи ему, пусть везет нас в район, который сейчас обстреливают, — распорядился Хемингуэй. — Мы им так это распишем, что в редакции, в Канзас-Сити, у людей глаза на лоб полезут.

Мне стало как-то не по себе.

— Послушай, Эрни, тебе не кажется, что надо быть поосторожней? Чего ради зря подвергать себя опасности? Представь, например, в «Стар» такой вот заголовок: «Сегодня, знакомясь с достопримечательностями Парижа, погибли два канзасца!»

Он улыбнулся:

— Да брось ты! Нам это не грозит. В Париже миллионы людей, а сколько из них гибнет от снарядов?! Да их можно на пальцах одной руки пересчитать.

— Все так, — возразил я. — Только парижане-то специально не лезут туда, где рвутся снаряды. Любой француз сочтет тебя идиотом, услышав о твоих намерениях. Пари держу, если я сумею объяснить шоферу, что мы от него хотим, он откажется нас везти.

— Ну, как знаешь! Не хочешь ехать, не надо. Я поеду один.

Ну, что ты будешь делать с таким человеком!

— Ладно! — сказал я. — Поехали.

Когда я с трудом втолковал наконец нашему шоферу, куда нас везти, он разразился ужасной бранью. Я испугался даже, как бы его кондрашка нехватила. Из всего потока красноречия, который он обрушил на меня, я не понял ни единого слова, однако мысль его была ясна. Хотел он сказать, что ехать отказывается.

— Скажи ему, что мы хорошо заплатим, — сказал Хемингуэй.

Я протянул банкнот немалого достоинства. Поток сквернословия мгновенно иссяк. Шофер отвесил поклон и изрек: «*Mais certainement messieurs!*»¹

Итак, мы пустились в путешествие на такси, вероятно, страннейшее в моей жизни. Поскольку немецкая дальнобойная артиллерия находилась довольно далеко от Пари-

¹ Ну, конечно, милостивые государи! (фр.)

жа — милях в семидесяти пяти, как минимум, — вести обстрел какой-то определенной части города было невозможно. Немцы просто палили по городу вообще. Таким образом, снаряды рвались в различных районах, далеко отстоящих друг от друга.

Так вот, хотите верьте — хотите нет, но мы по крайней мере час носились по городу, прежде чем смогли стать свидетелями разрыва снаряда. Он угодил в фасад храма Святой Мадлен, отколол большой кусок камня. Никто при этом не пострадал. Мы слышали свист снаряда над головой. Нам показалось, что он метит прямо в нашу машину. У меня даже дух захватило. После этого немцы смолкли, посчитав, очевидно, что их рабочий день закончен.

Я теперь уж не помню, написал ли Хемингуэй рассказ о наших похождениях в такси. Мне, во всяком случае, он не попадался, но если такой рассказ существует, то написан он должен быть очень хорошо. Сюжет как раз в его духе.

ДЖОН МИЛЛЕР

**ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА
«ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»**

Я познакомился с Хемингуэем на борту парохода «Чикаго», доставлявшего нас, добровольцев Красного Креста, из Нью-Йорка в Европу. Во время плавания он зарабатывал несколько прозвищ: друзья называли его Эрни или Хемми, другие — генерал Беспокойство. Мне он показался болтливым, и я склонен был согласиться с одним прощательным парнем постарше нас, который прозвал его Болтуном и Крикуном.

Хемингуэй самовыражался в довольно грубой манере. Кое-кто считал его остроумным, но если это и было так, то остроумие его носило грубый, даже жестокий характер. В поезде, в котором мы ехали из Франции в Италию, нас в купе сидело шесть человек. И вот дверь с шумом открылась, и в купе вошел Хемингуэй: «Подвиньтесь, вы! Дайте мне место!» Не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что он навеселе — его выдавал запах. Но он не вел себя как пьяный. Напомнил мне выражение моего отца: «Пыльным мешком хлопнувший». Хемингуэй разыгрывал представление. Было ясно, что он хочет произвести на нас впечатление своей грубостью — например, сплевывая через плечо. Я сидел у самой двери, и он сказал мне: «Подвинься, ты, сукин сын, дай мне место!» Я потребовал, чтобы он извинился за то, что обругал мою мать сукой. Тогда он нацелился в меня кулаком, но я увернулся и сшиб у него с головы кепи. Тут все сидевшие в купе вско-

чили и разняли нас. Кто-то сказал: «Убирайся отсюда, Хемингуэй! Ты же видишь, мы сыты тобой по горло». На следующее утро он пришел с застенчивым лицом и признался, что «накануне был чертовски пьян». Он протянул мне руку, и я ее принял. Это стало началом нашей короткой дружбы.

Что касается его литературных симпатий, то я отметил его почти лихорадочное обожание Ринга Ларднера. Я думаю, что он копировал стиль Ларднера.

Когда мы добрались до Италии, большая часть нашей работы на санитарных машинах заключалась в перевозке солдат, заболевших малярией, и некоторого количества с самострельными ранами. Они клали буханку хлеба между дулом винтовки и собственной рукой и нажимали спусковой крючок, добиваясь этим, чтобы рана была чистой, поскольку хлеб поглощал пороховой дым. Таким путем они сматывались с войны по крайней мере на то время, пока рана заживала.

Мы стояли у реки Пьяве на ничейной земле, между итальянскими частями и вражескими — австрийскими — окопами. Реку мы не видели, потому что находились ниже уровня реки — с итальянской стороны река была ограждена земляным валом высотой в десять футов.<...>

Вскоре я навестил Хемингуэя в госпитале и узнал, как он попал под взрыв мины, и смотрел, как он выковыривал кусочки стали, которые вылезали из его ног. Когда он вытаскивал такой кусочек, он бросал его в коробочку и помечал порядковый номер на табличке у изголовья. Количество их уже превышало две сотни. Коробочка выглядела вполне безобидно, но эти осколки стали разрушили какое-то количество нервов, сделали их нечувствительными.

Хемингуэй оказался первым американцем, или одним из первых американцев, раненных в первую мировую войну, и был награжден итальянской серебряной медалью «За отвагу».

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭВ»

Уезжая в Италию служить в Красном Кресте, Эрнест понимал, что будет находиться где-то в тылу. Но, приехав и посидев несколько дней за рулем санитарной кареты, он и его приятель Билл Хорн решили, что место, куда их определили, слишком безопасно и довольно скучно. Скоро они узнали, что имеется возможность устроиться в специальный отдел Красного Креста, именовавшийся «Походный ларек» и действовавший даже на передовых позициях. В письме, написанном в начале июля, Эрнест возбужденно и радостно сообщил нам, что им с Биллом удалось пробыть туда, где что-то происходит. Он вступил в отряд велосипедистов, доставлявших почту, шоколад и табак солдатам, сидевшим в окопах на передовой.

В Италии в это время началось наступление на реке Пьяве, и австрийцы вели артиллерийский огонь по итальянцам, находившимся всего ярдах в пятидесяти на противоположном берегу.

Папа и мама жили письмами Эрнеста. Насколько я помню, в течение первых нескольких дней он написал только раз и то коротко. Эрнест всегда был папиным любимцем. Папа души в нем не чаял, скучал без него и каждый день за него молился. Молилась и мама. Она была уверена, что Господь сохранит его. Мама верила и была спокойна, зато папа постоянно тревожился, боялся за Эрнеста, и нервы его были в очень скверном состоянии. Но он трудился по-прежнему, нисколько не сокращая график работы; посещал своих многочисленных пациентов дома и в больнице и проводил много часов на призывном пункте, обследуя новобранцев.

8 июля 1918 года, когда Эрнест объезжал на велосипеде линию фронта, развозя почту и шоколад (это случилось через шесть дней после того, как он был переведен на

службу в Походный ларек и спустя десять дней после того, как прибыл в действующую армию в Италии), в тот момент, когда он передавал сигареты и плитку шоколада итальянскому солдату, рядом разорвалась мина, засыпав его землей. Он лишился сознания, и в нижнюю часть его тела впились более двухсот крошечных осколков. Очнувшись, он кинулся на помощь раненому итальянцу и снова был ранен, теперь уж из пулемета — пуля попала чуть ниже левого колена. Тед Брамбак написал нам об этом из Милана, и папа, немного погодя, передал это письмо в «Оук-Ливс», и газета опубликовала его в номере от 5 октября 1918 года. Вот что написал нам Тед:

«Я только что вернулся от Эрнеста, который лежит здесь в американском госпитале Красного Креста. Он быстро поправляется и, по словам доктора, сможет выписаться из госпиталя через пару недель здоровым, как прежде.

Хотя воткнулось в него около двухсот осколков, все они расположились ниже тазобедренного сустава. Лишь несколько из этих осколков были настолько велики, что, вынимая их, пришлось делать глубокие надрезы; самые серьезные — это те два, что угодили в колено, и два в правой ступне. Доктор утверждает, что раны должны зажить безо всяких осложнений и что Эрнест будет полностью владеть обеими ногами.

Теперь, после того как я рассказал вам о его состоянии, вы, наверное, захотите узнать подробности случившегося. Разрешите мне сразу же сказать вам — вы можете гордиться поведением своего сына. Он будет награжден серебряной медалью «За отвагу», которая ценится очень высоко и соответствует ордену Почетного легиона во Франции.

В то время, когда его ранили, Эрнест уже не находился на службе в санитарной части, а заведовал Походным ларьком Красного Креста. Эрнест и еще несколько ребят из нашей части, которая расположена в горах, вдали от боевых действий, вызвались спуститься вниз к Пьяве и поработать там в этом походном ларьке. Как раз тогда итальянцы теснили австрийцев назад за реку, и он мог вволю насмотреться на боевые действия.

Эрнеста не удовлетворяла постоянная работа в тылу. Он считал, что может принести гораздо больше пользы, приезжая на передовую. И сказал о своем желании итальянцу, командующему этим отрезком фронта.

Ему выдали велосипед, на котором он каждый день ездил к линии фронта, нагруженный шоколадом, сигаретами и сигарами и почтовыми открытками. Итальянцы,

сидевшие в окопах, привыкли к его улыбающемуся лицу и постоянно спрашивали, где же наш «*giovane Americano*»!

В течение шести дней все было прекрасно. Но на седьмой день около полуночи огромная мина разорвалась совсем рядом с Эрнестом, когда он раздавал плитки шоколада.

Его контузило и засыпало землей. Между Эрнестом и миной находился итальянский солдат. Он был убит на месте. А еще одному, стоявшему в двух шагах, оторвало обе ноги.

Третий итальянец был тяжело ранен, и вот его-то Эрнест, очнувшись, взвалил себе на спину и донес до пункта первой медицинской помощи. Он говорит, что не помнит, как добрался туда, не знает, как доставил туда раненого; только на следующий день офицер-итальянец сказал ему об этом и о том, что решено наградить его медалью «За отвагу».

Поскольку Эрнест американец, ему обеспечены прекрасная медицинская помощь и уход. В полевом госпитале он провел всего полтора дня, а затем его отправили в Милан в лазарет Красного Креста. Там уж его окружили вниманием американские сиделки, так как он один из первых пациентов, доставленных в этот лазарет.

Я в жизни своей не видел такого чистого, аккуратного и нарядного места, как этот лазарет. Вы можете быть покойны — лучшее лечение и уход в Европе вряд ли возможны. И не бойтесь за его будущее — Эрнест сказал мне, что больше никуда не полезет и будет исполнять свои прямые обязанности, сидя за рулем санитарной кареты, а это, по его словам, «почти так же безопасно, как сидеть на диване у себя в комнате».

Уже закончив предыдущий абзац, я снова увиделся с Эрнестом. Он сказал мне, что к нему только что заходил доктор и очень тщательно обследовал его. В результате установлено, что переломов нет и ни один сустав не поврежден, а осколки нанесли лишь поверхностные раны.

К тому времени, как вы получите это письмо, он уже снова будет в своей части. Он не написал сам, так как несколько осколочков засели у него в пальцах. Мы собрали целую коллекцию из осколков и пуль, извлеченных из ноги Эрнеста, и собираемся сделать из них кольца.

Эрни говорит, что скоро напишет сам. Он велит мне передать сердечный привет «другу Айвори», «Юре», «Худышке», «Кукурузке», «тебе, юный Брут».

¹ «Юный американец» (*um.*).

Прошу присоединить к этому приветы и от меня, хотя я и не имею удовольствия быть знакомым с перечисленными. Передайте, пожалуйста, миссис Хемингуэй, что я очень сожалею, что мне не удалось повидать ее в Чикаго».

Постскриптум, причудливо вырисованный рукой Эрнеста, гласил:

«Дорогие родственники!

Я в полном порядке. Сердечный вам привет, родители! Я вовсе не так уж бесшабашен, как пыгается изобразить меня Брамми. Крепко всех целую.

Эрни

Тссс... Не волнуйся, отче!» <...>

Только в конце сентября 1918 года Эрни описал нам во всех подробностях момент, когда он был на волосок от гибели. Письмо это, по предложению папы, было опубликовано в газете «Оук-Ливс». Статья называлась «227 РАНЕНИЙ», и в ней говорилось:

«Доктор Хемингуэй, сын которого Эрнест М. Хемингуэй, состоящий на службе в доблестных частях Красного Креста в Италии и совершивший геройский поступок, о котором рассказывалось в недавнем выпуске «Оук-Ливс», получил письмо от Норты Уинтипа, американского консула в Милане, где тот с большой похвалой отзывается о мужестве сына доктора и сообщает о своем намерении всячески заботиться о нем. А от самого Эрнеста, все еще находящегося в госпитале, пришло письмо следующего содержания:

«Дорогие мои!

Я что хочу сказать, домочадцы! Наверное, по поводу моей гибели под пулями у вас был большой шум! «Оук-Ливс» и листок оппозиции были получены здесь сегодня и заставили меня призадуматься. По всей вероятности, вы недостаточно ценили меня, когда я обитал в лоне семьи. Лучше этого могло бы быть только чтение собственного некролога после того, как ты пал на поле брани!

Знаете, люди говорят, что шутить по поводу этой войны не приходится, и они правы. Не скажу, чтобы это был ад, потому слово это несколько затаскано со времен генерала Шермана, но несколько раз я мечтал очутиться там в надежде, что в аду еще не достигли той степени изуверства, свидетелем которого являюсь сейчас я.

Взять хотя бы окоп во время наступательных действий, в котором среди группы солдат находишься и ты. Снаряд, — если он не угодил в кого-то прямо, — не так уж плох.

Тут все дело в том, попадет в тебя осколок при разрыве или нет. Но, если попадание прямое, ты оказываешься с ног до головы обрызганным тем, что было прежде твоим приятелем, — в буквальном смысле слова обрызган.

В течение шести дней я находился в окопах на передовой, на расстоянии пятидесяти ярдов от австрийцев, и за это время у меня создалась репутация человека неуязвимого. Сама по себе репутация делу помогает мало, но иметь ее чрезвычайно важно. Надеюсь, что у меня она есть. Слышите постукивание? Это я стучу костяшками пальцев по деревянному подносу.

Так вот, теперь я могу поклясться, что был бомбардирован фугасными бомбами, шрапнелью и снарядами, в меня стреляли из минометов, палили из укрытия стрелки, поливали огнем пулеметы, причем не только с земли, но и с аэроплана, который облетал линию фронта. Ручной гранаты в меня никто никогда не бросал, но винтовочная граната упала совсем близко. Может, я когда-нибудь дождусь и ручной.

И во всей этой кутерьме попали в меня только осколки мины, да еще пуля из пулемета в тот момент, когда я, по выражению ирландцев, вел наступление на тыл. Скажите, что я не отделался счастливо. А, домочадцы?

Двести двадцать семь ранений, нанесенных миной, не причинили мне в тот момент никакой боли, только появилось ощущение, что на ногах у меня резиновые сапоги, полные воды (причем горячей), да еще коленная чашечка вела себя как-то странно. Пулеметную пулю я ощутил как удар по ноге обледенелым снежком. Все же с ног он меня свалил. Однако я встал и доставил своего раненого в блиндаж. И уже в блиндаже вроде бы потерял сознание.

Итальянец, которого я тащил, залил меня кровью с ног до головы. Мои куртка и штаны выглядели так, словно кто-то варил в них повидло из красной смородины, а потом натывал массу дырок, чтобы выжать мякоть. Увидев это, наш капитан, большой мой друг (это был его блиндаж), сказал: «Бедняга Хем, скоро он будет УСМ». Упокойтесь с миром, так сказать.

Они, видите ли, решили, что у меня прострелена грудь — это потому что я был залит кровью с ног до головы. Но я заставил их снять с меня и рубашку (нижней на мне не было), и тут выяснилось, что торс мой цел. Тогда они сказали, что, по всей вероятности, я выживу, что меня чрезвычайно обрадовало.

Я сказал им по-итальянски, что хочу посмотреть на свои ноги, хотя глядеть на них мне было страшно. Они сняли с меня штаны, и я убедился, что обе подпорки пока

еще на месте, хотя вид их был поистине ужасен. Они не могли понять, как я умудрился пройти сто пятьдесят ярдов с тяжелой ношей, при том что оба колена мои были прострелены, а правый ботинок продырявлен в двух местах; ну и добавьте к этому более двухсот осколочных ранений.

— О! — говорю я по-итальянски. — Мой капитан, это пустяки. В Америке все проходят через это. Главное, не показать врагу, что ему удалось вывести вас из себя.

Сообщение это потребовало от меня известных лингвистических усилий, но я довел его до конца, а затем ненадолго уснул.

После того как я очнулся, меня отнесли на носилках на перевязочный пункт, находившийся в трех километрах. Носильщикам пришлось идти прямо по полю, так как у дороги были выворочены снарядами все внутренности. Когда летел большой снаряд — «уиии-ииии-и-ба-бахxxx!»), носильщики опускали меня на землю и сами ложились ничком.

В ранках моих тем временем появилась острая боль. Двести двадцать семь дьяволят начали забивать гвоздики в те места, где содрана кожа. Перевязочный пункт после начала наступления был эвакуирован, и в ожидании санитарной кареты я пролежал два часа в конюшне с сорванной крышей. Когда наконец карета прибыла, я распорядился, чтобы они проехали вдоль дороги и подобрали солдат, раненных еще в начале боя. Вернувшись со своим грузом, они забрали и меня.

Артиллерийская дуэль продолжалась с прежней силой, и наши батареи, находившиеся далеко позади, били непрестанно; большие снаряды, державшие курс на Австрию, пронеслись над головой с грохотаньем, точь-в-точь как железнодорожный состав. Немного погодя до нас долетал звук взрыва. Следующим с пронзительным воем неся австрийский снаряд, и снова был слышен грохот разрыва. Но от нас к ним летело больше снарядов, и они были тяжелее, чем те, что посылали они.

Затем вступали в дело полевые орудия, находившиеся позади сарая, — «Бум-бум! Бум-бум!» — и оттуда, поскуливая, неслись к линии фронта австрийцев более легкие снаряды. А в воздух все время взлетали осветительные ракеты, и пулеметы стучали, как клепальщики: «та-та-та-та!»

После небольшой прогулки в итальянской санитарной карете меня выгрузили на перевязочном пункте, где среди военных врачей я имел немало приятелей. Они вкололи мне морфий и противостолбнячную сыворотку, побрили мне ноги и вынули из них двадцать восемь осколков, варьировавшихся от... (следовал рисунок) до... (снова рисунок).

Затем они весьма искусно перебинтовали мои ноги, и каждый пожал мне руку; они расцеловали бы меня, только я сумел отшутиться. Пробыл я в полевом лазарете пять дней и затем был эвакуирован сюда — в главный армейский госпиталь.

Телеграмму я вам послал, чтобы вас успокоить. Нахожусь я здесь уже месяц и двенадцать дней и надеюсь, что через месяц смогу выписаться. Хирург — итальянец, оперировавший мне правое колено и правую ступню, сделал операцию великолепно; он же наложил двадцать восемь швов и сейчас уверяет меня, что ходить я буду ничуть не хуже, чем прежде. Остальные ранки прекрасно зажили, без всяких нагноений. На правую ногу мне наложили гипс, так что все будет в порядке.

Во время последней операции хирург вынул еще несколько осколков — из них получатся прекрасные сувениры. Право, я чувствовал бы себя как-то неловко, исчезни вдруг все мои боли. Хирург обещал снять гипс через неделю, а еще через десять дней мне позволят встать на костыли. Буду заново учиться ходить.

Это самое длинное письмо, которое я когда-либо кому-либо писал, с самым кучьим содержанием. Сердечный привет всем, кто будет интересоваться состоянием моего здоровья. Как говорит Ма Петтинджил: «А уж огонь в домашнем очаге будем поддерживать мы!»

К письму Эрнест приложил свою фотографию — он сидит в постели, обложенный подушками, шнур от потолочного окна привязан к изголовью кровати, губы собраны в трубочку — очевидно, он что-то насвистывает. По всей видимости, он находился в превосходном настроении, несмотря на то, что оптимистические предположения Брамми, что через две недели Эрни будет вполне здоров, оказались весьма далеки от истины. Вскоре он заболел желтухой, выпел из госпиталя лишь спустя много времени, уже после того как на итальянском фронте было заключено перемирие.

В ноябре, когда Эрни наконец встал и начал выходить за пределы госпиталя, он прислал нам свои фотографии в форме шофера санитарной кареты. Вместе с ним были сняты красивый бородатый человек и еще какие-то люди. На обороте снимка Эрни написал, что это граф Греппи с дочерью Бианкой и «сынишкой». Эрнест бывал в гостях у них и у других итальянцев, живущих на озере Комо, и после каждого его письма мы проникались к Италии и итальянцам все большей симпатией.

Хотя все мы с детства постоянно слышали рассказы дедушки Хемингуэя и его друзей — республиканцев, чле-

нов Клуба Долгожителей (так называлась в Оук-Парке организация, в члены которой принимались люди не моложе семидесяти лет), о мужестве и героических поступках, совершавшихся во время Гражданской войны, сейчас мы невольно испытывали разочарование. В воспоминаниях дедушки война казалась чем-то романтическим и блистательным. В День Поминовения погибших во всех войнах дедушка, выступая на школьных утренниках, всегда говорил о «нашей славной армии», о «наших смелых юношах в голубых мундирах», о «наших героях», и золотые шнуры посверкивали на его тщательно отглаженном мундире офицера времен Гражданской войны, который он всегда надевал по торжественным случаям. Однако раны Эрнеста создавали другое впечатление о войне, заставляли думать о ней как о чем-то жестоком и отвратительном.

Папа, нежно любивший Эрнеста, почувствовал большое облегчение, узнав, что он лежит в госпитале под наблюдением лучших докторов и что сейчас, после страшных испытаний, выпавших на его долю, находится в относительной безопасности. Эрнест подробно описал папе, как итальянские доктора вставили ему в коленную чашечку серебряную пластинку и как вынимали осколки из ступней и голеней. По поводу боли он предпочитал шутить.

Как-то той же осенью мы с моей школьной подругой Мэрион Воуз решили сходить поздно вечером в кинематограф недалеко от нашей школы в Чикаго.

В новостях, сразу после рекламы, был показан американский Красный Крест в Италии. Сначала рассказали о новом госпитале в Милане, построенном на средства Красного Креста, а затем показали его. Неожиданно на экране появился Эрнест. Он сидел в кресле-каталке, одетый в форму, и его везла по госпитальной веранде хорошенькая сиделка. Колени его были прикрыты шерстяным одеялом, составленным из разноцветных вязаных квадратиков. Он улыбался камере и поднял в знак приветствия свой костыль. От восторга я чуть не впала в истерику. Когда окончилась картина, мы остались подождать повторения кинохроники. Но ее не показали. Тогда мы с Мэрион пошли к управляющему и, объяснив ему, в чем дело, попросили, нельзя ли нам, пожалуйста, посмотреть ее еще раз. Он отнесся к нам очень хорошо и сказал, что, если мы подождем, пока все разойдутся, он прокрутит кинохронику еще раз, только для нас двоих. Немного погодя он пришел и сел рядом с нами, и мы еще раз увидели улыбающегося Эрни. Затем управляющий сказал нам, в каком кинематографе будет показана эта кинохроника

следующий раз. Несмотря на то, что была уже полночь, я зашла в аптеку и позвонила нашим в Оук-Парк сказать им, где они могут увидеть Эрнеста на следующий день. Папа и мама отправились в тот кинематограф, и я вместе с ними. Все мы утирали слезы радости, смотря на Эрнеста, который, разъезжая в своей каталке по веранде госпиталя, улыбался нам. Мы впервые увидели его с тех пор, как перед отъездом в Италию, месяцев шесть тому назад, он уехал в северные леса на рыбалку. Ну и потом впервые кто-то из нашей семьи появился на экране!

Позднее мама рассказывала мне, что папа следовал за этой кинохроникой по всему Чикаго. Мама и сама посмотрела ее еще два раза, да и мне удалось попасть на нее еще в одном кинематографе недалеко от нас. Ни один фильм никогда не принес ни одной семье такого счастья. Можно было подумать, что Эрни погиб в бою и мы оплакали его, а он вдруг воскрес на киноплёнке. В письме мы спросили Эрнеста о сиделке, которая везла его в кресле, — это что, та самая хорошенькая Агнес, о которой он не раз писал нам?

Нет, это не она, был ответ.

«Такой красотки никто из вас, ребята, еще в жизни не видал, — сообщил он нам. — Подождите, сами убедитесь».

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Эрнест впервые увидел Париж, когда город подвергался артиллерийскому обстрелу. Потом их группа была отправлена в Италию, где 4-й взвод бросили помогать выжившим после взрыва на военном заводе около Милана. После этого потянулись недели бездействия неподалеку от линии фронта, но в тылу, где 4-й взвод заменил другую часть. Казарменное существование на втором этаже бывшей прядильной фабрики казалось бессмысленным, хотя рядом была река, где они купались.

Добившись перевала в войсковую лавку в секторе реки Пьяве, где шли более активные боевые действия, Эрнест отправился туда. Он подружился с командиром части и в конце концов получил возможность бывать в окопах. Около недели он лазал повсюду, раздавая сигареты и шоколад, и наконец увидел непосредственно, что такое атака противника.

Утром 9 июля, когда Эрнест раздавал свои запасы, совсем близко от него разорвалась мина. Из четырех человек, находившихся на месте взрыва, Эрнест оказался ранен. Одного убило наповал, другому оторвало ноги, третий был сильно покалечен. Эрнест взвалил его на спину и потащил в тыл. По пути его дважды настигли пулеметные очереди. Но Эрнест дополз до пункта первой помощи с раненым на спине. И там он потерял сознание.

Все раны, полученные тогда Эрнестом, оказались ниже колен. Так он рассказывал потом семье. Все остальные версии интересны только для их сочинителей. Он не был оскоплен. Он не получил 237 дырок в паху. Его не превратило в решето.

Конечно, ранен он был тяжело и опасно, но выбрался из этого благополучно. Три месяца он пролежал в госпитале, приходя постепенно в себя. Из него вынули более

двадцати осколков. Когда более чем полгода спустя он попал домой, о нем шла молва, что он один из американцев, получивших самые тяжелые ранения за всю войну.

Никто дома не знал тогда, что там, в Италии, Эрнест впервые отчаянно влюбился. Вскоре после того, как его перевели в полевой госпиталь неподалеку от Милана, туда приехала молодая медицинская сестра. Она несла ночные дежурства в миланском госпитале, где Эрнеста оперировали и выхаживали после ранения.

Это была Агнес фон Куровски, выпускница госпиталя в Бельвю. Она завербовалась в американский Красный Крест в Нью-Йорке, но ее паспорт был задержан на некоторое время из-за того, что отец ее был немцем, хотя он и получил американское гражданство и к тому времени уже умер. Это и помешало ей отплыть в Италию с основной группой медсестер Красного Креста.

Мисс фон Куровски была уравновешенная молодая женщина, с хорошим чувством юмора, она обладала гибкой и грациозной фигурой и на редкость чувствительной натурой. В первые же дни между ней и Эрнестом возникло взаимное притяжение, которое с каждой неделей усиливалось. Они рассказывали друг другу случаи из их прошлой жизни и наслаждались теми моментами, когда оказывались наедине.

«Эрни был в некотором смысле не очень послушным пациентом, но среди других больных он пользовался большой популярностью и повсюду находил друзей, — рассказывала она мне спустя годы. — Я какое-то время дежурила по ночам, а он лежал несколько месяцев, пока заживали его ноги. Он часто входил в конфликт с директрисой госпиталя мисс де Лонг, потому что его шкафчик всегда был забит пустыми бутылками из-под коньяка. Ее помощница, мисс Элзи Макдональд, напротив, очень с ним дружила и всегда брала его сторону. «Калоша Макдональд», как прозвала ее Эрнест, до этого командовала медсестрами в больнице в Бельвю. Он еще называл ее «испанской скумбрией».

Позже меня перевели в Падую, а затем в Торре де Мота на реке Ливенца, — рассказывала мисс Куровски. — В Милане он писал мне восхитительные письма, когда я дежурила по ночам, и посылал их мне вниз, в нашу служебную комнату с кем-нибудь из сестер. Когда он приехал ко мне в Падую, он опирался на трость и был увешан медалями. Кое-кто из моих подопечных посмеивались над ним, потому что, хотя он и был ранен, но по его форме было ясно, что служил он в Красном Кресте.

Мы часто с ним гуляли, окрестности были восхитительны. Американский капитан, кажется, это был Джим Геймбл из фирмы «Проктор и Геймбл», предлагал Эрни стать его секретарем и поехать с ним по Европе. У него была вилла на Сицилии, и он собирался время от времени бывать на Мальорке. Я советовала Эрни вернуться домой и найти себе работу. Я боялась, что если он останется здесь, то станет бездельником.

Помню, когда Эрни мог уже отправиться на бега в Милан — это был его первый выход из госпиталя, — мы срочно пришивали на его мундир нашивки за ранения, прежде чем выйти на люди. Бега были одним из немногих мест, куда мы могли ездить развлекаться, служащих Красного Креста пропускали туда бесплатно, и мы частенько бывали там».

Позднее, когда Эрнест попросил Агнес выйти за него замуж, она отложила решение, сказав, что напишет ему в ближайшие недели. Когда же Эрнест получил от нее письмо, он понял, что отвергнут. Агнес упирала на то, что она старше его и решение должна принимать она. Ее отказ поразил Эрнеста подобно еще одному разрыву мины, и ответил он ей в ярости, хотя выбирал при этом самые спокойные и вежливые выражения. Это было трудное время для них обоих. Эрнест с горечью написал мисс Макдональд, что он надеется, что, когда Агнес вернется в Штаты, она споткнется на трапе и выбьет все свои проклятые зубы. Позднее она обручилась с одним итальянским офицером, но вернулась домой, так и не выйдя замуж за итальянца. Эрнест признавался своему другу Хоуэллу Дженкинсу, что ужасно переживает из-за того, что она несчастна, но старается загасить память о ней выпивкой. Через несколько лет, когда Эрнест и его первая жена совершали пещее путешествие по Северной Италии, Эрнест написал Агнес нежное письмо, в котором рассказывал, с какой силой напоминает ему этот край о тех чудесных временах в конце войны, когда они были вместе, и писал о том, какой она замечательный человек. Оба они, каждый по-своему, исцелились от этой ранней любви. Его горечь прошла, и Эрнест вспомнил Агнес, создавая образ Кэтрин Беркли в «Прощай, оружие!».

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Бога ради, он вовсе не был героем! Свои ранения он получил потому, что сделал что-то вопреки приказу. Ему было сказано держаться подальше от линии огня, ведь он был мальчишкой, раздававшим сигареты и тому подобные вещи. Он же отправился туда, где шли бои, чтобы принести шоколад своим друзьям. В это время взорвался крупный снаряд и упал знакомый ему солдат. Тогда Эрнест перепрыгнул через заграждение и получил заряд шrapнели по ногам. Но я никогда не слышала, что он вынес человека в безопасное место.<...>

Он был хорошим пациентом. Его мучили раны на ногах, и он делал из этого целое событие, но я думаю, что они действительно болели. У него под кожей оставались мелкие осколки, и он долго еще выковыривал их. Я не могу сказать, что представляла собой самая большая рана, потому что она была забинтована. Ему делали операцию. Вот и все, что я знаю об этом.

Он был веселый парень, любил шутить и болтать с людьми. Кое-кто из итальянских офицеров заходил к нему, считая его человеком занимательным.

Я знала его всего три месяца. Между нами не было ничего серьезного. Мы были просто друзьями, и я заботилась о нем. Поначалу я не привлекала его. Он был мой больной, а я чаще дежурила по ночам, нежели другие медсестры, потому что они не любили дежурить по ночам, а я не возражала. Я прекрасно отсыпалась днем, а они не могли.

В конечном счете я стала очень уставать от него, потому что он был большой эгоист и всегда уверен в своей правоте.<...>

Зачастую он вел себя как ребенок и писал мне дважды в день, когда я бывала на ночном дежурстве. Он писал записку, и девочки приносили ее мне, когда я просыпалась часа в четыре пополудни.<...>

Он считал, что между нами любовь, а я так не считала. Я была старше его. Мне исполнилось двадцать шесть, а ему девятнадцать. Он злился, что я отослала его домой. Он имел предложение от Джима Геймбла, у которого были деньги, и Геймбл уговаривал его поехать по Европе после того, как кончится война, а я сказала ему, что надо ехать домой и прежде всего повидаться с семьей. Этот Геймбл прямо влюбился в него, преклонялся перед его энергией, и все такое. В результате Хемингуэй отправился домой, а не в поездку по Европе. Он был этим недоволен. Поэтому он злился тогда на меня.<...>

Когда я собиралась возвращаться в Соединенные Штаты, я написала одной пожилой медсестре, которая уехала раньше, она сообщила Хемингуэю, что я еду домой. А он ей ответил: «Я надеюсь, что она споткнется на пристани и выбьет свои передние зубы». Вот так он отнесся ко мне. В этом уже было что-то смешное.

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Долгожданное известие, что Эрнест наконец-то возвращается домой из Италии, мы получили только в начале января 1919 года. Еще до того, как мы узнали время его прибытия в Чикаго, папа услышал от кого-то, что в «Чикаго Ивнинг Америкен» 21 января 1919 года было напечатано интервью, взятое у Эрнеста сразу после того, как он сошел с парохода. Нью-Йоркский корреспондент газеты, рассказывая о прибытии в порт «Джузеппе Верди», писал следующее: «На борту судна, которое шло в Америку из Генуи с заходом в Гибралтар, были четыреста офицеров и нижних чинов — подразделение военно-морских сил Соединенных Штатов, занимавших позиции в Порто-Корсини на Адриатическом побережье Италии. Среди шестидесяти восьми пассажиров первого класса находился также с трудом передвигавшийся человек — как говорилось в газете, «получивший наибольшее число ранений из всех, кто вернулся домой с войны. Это мистер Эрнест М. Хемингуэй из Оук-Парка, Иллинойс, 600 Норт Кенилуорт авеню». «Хемингуэй, — писал дальше корреспондент, — первый американец, раненный на итальянском фронте и получивший от короля Италии серебряную медаль «За отвагу» и итальянский «Croce di Guerra»¹.

Папа получил телеграмму от Эрнеста из Нью-Йорка с известием, что поезд его прибудет в Чикаго поздно вечером. (Ночь он провел у своего приятеля по службе в

¹ Военный орден (*ит.*).

Красном Кресте Билла Хорна.) Папа заехал за мной в школу и взял с собой на вокзал. Вечер был холодный, шел снег, и, когда мы доехали до вокзала на улице Ла-Сал, папа попросил меня не спускаться к путям и ждать Эрнеста наверху, а сам пошел вниз на платформу. Ему хотелось встретить Эрнеста одному. Мама с остальными детьми, разумеется, ждала его дома в Оук-Парке. Я с трудом переносила томительное ожидание, ежась от промозглой, до костей пробиравшей сырости. Напрягая глаза, вглядывалась я в поезда. Слушала пыхтенье приходящих и уходящих паровозов. Каждый раз, когда снизу доносился какой-то новый звук, я решала, что это пришел поезд Эрнеста.

И вдруг я увидела папу и Эрнеста! На Эрни было форменное кепи. Одет он был в форму цвета хаки, английского образца, частично скрытую накинутым на плечи суконным черным плащом, который был скреплен у горла двойной серебряной пряжкой. На нем были коричневые кожаные сапоги до колен, он прихрамывал и опирался на палку. Медленно, приостанавливаясь после каждого шага, поднимался он по лестнице ко мне. Папа пытался взять его под руку. Но вот наконец Эрни добрался до верхней ступеньки.

— Здорово, Айвори! — сказал он, целуя меня. — Как ты, сестренка?

Слезы хлынули у меня из глаз. Эрни снова был дома, он выглядел повзрослевшим и утомленным, но румянец его не поблек, и ямочки были на месте. Густые каштановые волосы, выбивавшиеся из-под кепи, блестели.

Папа суетился вокруг нас. Он был очень возбужден, и ему не терпелось поскорей усадить Эрнеста в машину.

— Сюда, сынок! Сюда, обопрись на меня! — приговаривал он, когда мы стали спускаться по другой длинной лестнице к выходу из вокзала, где нас ждал «форд».

— Слушай, папа, — сказала Эрни. — Я в одиночку проделал весь путь от Милана, и ничего. Думаю, что и здесь справлюсь. Ты, — он указал пальцем на папу, — и Марси идите вперед к машине. А я пойду вслед за вами своим ходом. Дубинка мне здорово помогает. — Это была правда. И все же мы оба подождали и медленно пошли вместе с ним.

Но это был уже не тот Эрнест, старый друг и товарищ детских игр. Хотя меньше года прошло с тех пор, как он уехал в Европу, и только полтора года с тех пор, как мы одновременно окончили школу, жизнь Эрнеста за это время до краев заполнилась новыми впечатлениями: война, зрелище смерти, физические страдания, новые люди, новый язык и, наконец, любовь.

Утром Эрнест не вставал — он оставался лежать в своей большой, покрашенной в зеленый цвет кровати. Весь день в постели он проводил редко, но, по-видимому, для его израненных ног было лучше, если большую часть дня они оставались в покое. Я прекрасно помню, как выделялись на белой подушке его темно-каштановые волосы. Обычно он набрасывал поверх других одеял вязаное покрывало, подаренное ему Красным Крестом, — то самое, которое мы видели в кинохронике, составленное из ярких зеленых, красных, черных, желтых и белых квадратов. Это покрывало он повсюду таскал с собой. Когда мы спрашивали его, почему, — он отвечал, что покрывало помогает ему одолевать тоску по Италии.

Эрни удивительно терпеливо переносил боль, причиняемую ему гноящимися ранками. Крошечные осколки шрапнели, буквально усеивавшие его ноги и ступни, неустанно пробивали себе дорогу на поверхность. Он ездил в городскую больницу, где папа со своими коллегами тщательно обследовали его. Насколько я помню, никаких настоящих операций больше не требовалось, но он должен был находиться под постоянным медицинским наблюдением. Один раз ему все же пришлось лечь в больницу — лечить воспалившуюся ранку.

Раз как-то Эрни высунул ногу из-под одеяла и показал мне, как он умеет шевелить пальцами ноги, растопыривать их, почти как пальцы на руках. Осколки металла перерезали некоторые мускулы, и теперь его ступни, хоть и были сплошь покрыты шрамами, обрели гораздо большую, чем прежде, подвижность. Собственно, даже не ступни, а пальцы ног. Эрни немного гордился тем, что может подбирать предметы — карандаш, например, — своими ставшими вдруг ловкими и подвижными пальцами.

— Хоть что-то хорошее я все-таки с войны привез, — говорил он мне.

Очень часто Эрни испытывал сильные боли, но обычно, спускаясь вниз, он бывал вполне весел. Писал много писем в Италию и, лежа в постели, часами читал. Он перечитал все, что было в доме, включая медицинские вестники из папиного кабинета, а также брал множество книг в городской библиотеке. Хотя утро Эрни, как правило, проводил в постели, к обеду он всегда являлся в своей красивой форме Красного Креста и в высоких сапогах из кордовой кожи. Он очень гордился этими сапогами и ежедневно начищал их до блеска. Пообедав вместе со всей семьей, он надевал кепи, брал свою палку и отправлялся на прогулку. Заглядывал к старым приятелям, но застать дома днем можно было очень немногих — все были заня-

ты: большинство его приятелей работали или же вернулись после демобилизации в колледжи. В конце концов Эрнест начал ходить после обеда в нашу бывшую школу — там он чувствовал себя дома.<...>

Но в промежутках между рассчитанной на публику деятельностью Эрни овладевала тоска, и тогда он удалялся в свою комнату, подальше и от доброжелателей и от людей, одолеваемых лобопытством. Помню, что в один из таких тихих периодов (наверное, это случилось месяц спустя после возвращения Эрни из Европы) я была чем-то — не имевшим к Эрни никакого отношения — очень расстроена. Мне нужно было отнести Эрни почту или журналы, и я поднялась на третий этаж. Эрни лежал в кровати. Он сразу же заметил, что что-то не так.

— В чем дело, Мэдлин? — ласково спросил он. — Кто-нибудь обидел мою сестренку?

Мы поговорили несколько минут, поговорили откровенно, как прежде, до его отъезда в Канзас-Сити, ничего не утаивая и не замалчивая.

Потом Эрнест сказал:

— Вот, пригубь, Мэдлин. — Он протянул мне бутылку, на этикетке которой было написано «Кюммель». Я осторожно попробовала теплую, пахнущую анисом жидкость, подержала ее во рту, но не проглотила.

— Не бойся, — сказал Эрни. — Выпей, сестренка, с тобой ничего не случится. Эта бутылочка приносит утешение. Когда боль становится совсем уж невыносимой, надо выпить несколько глотков, и сразу станет легче. Мэдлин, — продолжал он, — не бойся испробовать все, что может встретиться тебе за пределами Оук-Парка. Жизнь здесь хороша, но ведь, помимо нашего города, существует целый огромный мир, и в нем полно людей, которые остро чувствуют все происходящее. Они живут, и любят, и умирают, не позволив своим чувствам притулиться. Испробуй все на свете, сестра! Не бойся испытать что-то прежде неизведанное просто потому, что никогда не изведывала этого раньше. Иногда мне кажется, что мы живем здесь вполжизни. Итальянцы живут в полную силу. Через что только не прошли некоторые из тех ребят, с которыми я лежал в госпитале! Я мог бы много что тебе порассказать, Мэд..

Я просила его поделиться со мной, но Эрни сказал, что не хочет шокировать меня. Все же кое-что он мне рассказал.

Эрни говорил, что после того как стал лучше понимать разговорный итальянский язык и выучил больше слов,

ему пришлось услышать несколько довольно-таки непристойных историй. Некоторые из них он поведал мне, хотя, по всей вероятности, в сильно смягченной форме. Рассказывая что-нибудь в присутствии всей семьи, Эрнест всегда следил за тем, чтобы не оскорбить чувств наших немного старомодных родителей. Думаю, что, вернувшись домой после ярких приключений, выпавших на его долю, и вновь окунувшись в привычную провинциальную жизнь Оук-Парка, он испытывал чувство человека, посаженного в ящик с плотно пригнанной крышкой. В тот вечер я долго думала, придет ли время, когда Эрни снова будет счастлив, живя дома.

Разумеется, Эрни встречался и со своими новыми друзьями-итальянцами, жившими неподалеку в Чикаго. Итальянский вице-консул «Никки» Нерон был его большим другом. Вот с помощью этого вице-консула и разных итало-американских организаций, члены которых знали о заслугах Эрнеста и полученной им медали, группа итальянцев и устроила у нас дома незабываемый вечер в честь Эрни.

Устроители приехали к папе и маме и рассказали о своем намерении. Сначала папа и мама ничего не поняли. Но почему эти люди вздумали приехать к нам в дом со своей собственной едой? Это же нелепо! Но Эрнест сказал:

— Разрешите им, папа. Пускай приезжают. Они собираются привезти буквально все — еду, оркестр, оперных певцов, вино. И все заботы возьмут на себя.

— Но ведь такой прием будет стоить очень дорого! Мы не можем принять от них этого, — протестовал папа.

— Им *хочется* сделать это, папа! Ты только обидишь их, ответив отказом. Они любят фиесты и хотят показать, что и американцев они очень любят. Успокойся, папа. Тебе самому будет приятно.

На том и порешили. Итальянцы сказали, что мы можем пригласить всех, кого захотим. А с ними приедут их друзья. Угощение они привезут по меньшей мере на пятьдесят человек. У нас дома такое количество народа могло легко разместиться. Это была первая сказочная фиеста, устроенная итальянцами в нашем доме.

Как было условлено, в назначенное воскресенье (вечер мог состояться только в воскресенье, так как большинство людей, входивших в эту группу, шесть дней в неделю работали) в Оук-Парк прикатили машины, битком набитые говорливыми, хохочущими, темноволосыми людьми. Они тащили огромные корзины, доверху наполненные прекрасной едой. Когда итальянцы опорожнили свои корзины и ящики, центр нашего большого обеденного стола оказался застав-

ленным блюдами с мясом и спагетти. Их окружали тарелки с жареными цыплятами, экзотическими рыбными салатами, маленькими пирожными и тающими во рту пирожками, начиненными сыром или молотым мясом со всякого рода пряностями. Рядом лежали длинные батоны итальянского хлеба с хрустящей корочкой, стояли глазированные торты и огромные кувшины с красным и белым вином.

Среди приехавших оказались три хориста Чикагской оперы. Другие — по будним дням главные повара в лучших чикагских ресторанах — тут же облачились в свои передники, отправились на кухню и взяли бразды правления в свои руки.

Певцы дали концерт; оперные арии они исполняли, выразительно жестикулируя и в полную силу голоса, словно находились на сцене. Двое итальянцев привезли с собой гитары, у одного была скрипка, и еще один играл на мандолине. Все вместе они прекрасно аккомпанировали певцам. Концерт, конечно, проходил в маминой музыкальной комнате.

Даже папа, который по-прежнему относился к затее с некоторым предубеждением — главным образом из-за того, что вечер устроили в воскресенье, — принял в конце концов участие в общем веселье. Да и как можно было устоять перед искренним порывом щедрых дружелюбных людей, приехавших специально, чтобы оказать честь твоему сыну.

Наконец один из итальянцев, фотограф-профессионал, собрал вместе всех: и поваров, и музыкантов, и наше семейство и составил группу под хорами в музыкальной комнате, а сам накрывшись с головой черной тряпкой и крикнул:

— Пра-ашу улыбка!

Все улыгнулись. На фотографии запечатлена очень веселая компания.

Мы, Хемингуэи, наслаждались каждой минутой этого чудесного вечера, не важно, что понимали мы лишь часть того, что говорили наши итальянские гости-хозяева. Невозможно было сомневаться в их искренности, когда они объясняли, как счастливы и горды тем, что им удалось отпраздновать возвращение Эрнеста из Италии в его собственном доме.

В одном они были разочарованы — мы пригласили слишком мало собственных друзей, и еда осталась несъеденной. Ничего, скоро приедем опять! Такой красивый дом, восхитили они с чувством, должен быть заполнен друзьями!

Веселая компания выбрала воскресенье и снова прикартила к нам с музыкантами и замечательными яствами. К

тому времени слухи об исключительном гостеприимстве итальянцев распространились по всему Оук-Парку. Друзья Эрнеста, Урсулы и мои были в восторге от того, что могут принять участие в фиесте. Я не вполне уверена, но мне кажется, что явился и кое-кто из детворы, дружившей с Санни. Семилетнюю Кэрол и трехлетнего Леса уложили спать пораньше. Повторная фиеста, продолжавшаяся от полудня до полуночи, наконец закончилась; когда мы с Эрнестом проводили последних, — как мы думали, — поющих и перекликающихся гостей, было уже около часа ночи, и папа не скрывал своего раздражения. Он устал и хотел спать. Нам с Эрни было неприятно, что папа утомлен и недоволен, сами мы считали, что провели время просто прекрасно.

— В своих увеселениях вы зашли слишком далеко, — сказал нам папа. Он прибавил, что громкое пение и выкрики отъезжающих гостей нарушили покой соседей, сухо пожелал нам спокойной ночи и, твердо шагая, отправился спать.

Наконец входная дверь была заперта и электричество внизу погашено.

Мы с Эрни осторожно крались в темноте вверх по лестнице, стараясь не потревожить никого из домашних. Моя комната была на втором этаже. Добравшись до своей, на третьем, и протянув руку к выключателю, Эрни чуть не упал, споткнувшись обо что-то лежащее на полу. Оказалось, что лежит сын наших соседей. Он крепко спал.

Электричество было снова зажжено. Эрни позвал меня, и мы вместе тщательно осмотрели весь дом. Еще один наш приятель был обнаружен в музыкальной комнате; он лежал за кушеткой в бессознательном состоянии, сильно злоупотребив плодами итальянских виноградников. После этого мы нехотя пришли к заключению, что папа, возможно, и прав — увеселения с итальянцами зашли слишком далеко. Больше у нас дома таких вечеров не устраивалось.

Но, несмотря на то, что в нашем доме развеселым пиршествам был положен конец, мы с Эрнестом продолжали ездить на вечеринки к итальянцам в Чикаго. Помню, как мы танцевали тарантеллу в гостях у одного из любезных хозяев нашей домашней фиесты, как я ездила зимой в оперу в компании с несколькими из этих милых людей. Знакомство с радушными итальянцами позволило нам по-новому увидеть Чикаго.

Уже долгое время Эрнест каждый день подкарауливал почтальона. Он нервничал, стал раздражителен. И вот наконец письмо пришло. Прочитав его, Эрни лег в постель,

у него поднялась температура, он совсем расхворался. Сначала мы не понимали, в чем дело. Лекарства не помогали, температура не спадала, и папа очень взволновался. Я пошла наверх посмотреть, не могу ли чем-то помочь. Эрни сунул мне письмо.

— На, прочти! — сказал он, не в силах справиться со своим горем. — Хотя нет. Я сам скажу тебе...

И отвернулся к стене. Только через несколько дней он почувствовал себя немного лучше, но разговор о письме больше не возобновлялся.

Эрни сказал мне, что Аги не думает возвращаться в Америку. Она выходит замуж за итальянского майора.

Но прошло какое-то время, и Эрнест вернулся к жизни. Стал снова встречаться с друзьями. Я не раз думала впоследствии, что из всех писем, полученных когда-либо братом, письмо от Агнес было самым ценным. Быть может, без мучительных воспоминаний о нем «Прощай, оружие!» никогда не было бы написано.<...>

Летом, пока строился коттедж, Эрни жил на озере, а в семье тем временем росла тревога из-за того, что он не выражает никакого желания поступить в колледж или устроиться на работу. Мама разговаривала по этому поводу со Стерлингом Санфордом, спрашивала его совета — как пробудить у Эрнеста интерес к дальнейшему образованию.

— Нельзя же допустить, чтобы молодой человек болтался без дела; он должен чем-то интересоваться, — говорила она.

Эрнест же спал каждый день допоздна, ничего не писал и, насколько мы могли судить, не строил никаких планов на будущее.

К концу лета Эрнест надумал, что останется пожить осенью в нашем коттедже в Уиндермире. Он утверждал, что прекрасно поживет там один, после того как мы все вернемся в Оук-Парк. Ведь сами же мы говорили, как чудно было бы иметь возможность остаться на озере и любоваться роскошными красками осенней природы. Ноги его совсем зажили, и он вполне способен совершать дальние прогулки.

У Стерлинга сохранилось мое письмо из Оук-Парка от 14 октября 1919 года; в нем я писала:

«Эрни снова с нами, но пробудет здесь только неделю. Он приехал на машине с Биллом Смитом в прошлый понедельник и намерен вернуться в Хортонс-Бей на всю зиму. Лично я опасаясь, что он замерзнет там, но его обуревают желание писать — сотворить множество литературных про-

изведений, а, насколько я понимаю, Хортонс-Бей зимой самое тихое и подходящее место на земле для этого».

Но, очевидно, Эрнест считал, что в коттедже ему будет еще лучше, так как он не вернулся в Бей, а вместо этого поздней осенью, когда тепла от камня стало недостаточно, чтобы обогреться, отправился в Петоски.

Насколько я знаю, Эрнест никогда больше не жил в Петоски подолгу. Но в эту осень он познакомился с жителями города лучше, чем кто-либо другой из членов нашей семьи, и у него нашлось время принимать участие в жизни города. Кроме того, живя там в одиночестве, он начал писать, как и собирался. Но ни разу не упомянул в письме и ни разу не обмолвился в разговоре с кем-нибудь из нас, что тогда осенью и ранней зимой он писал в Петоски что-то свое.<...>

С января по май 1920 года Эрнест жил в Торонто. Рассказ о том, как он очутился там, заслуживает внимания. Находясь в Петоски, он незадолго до Рождества 1919 года выступил с военными воспоминаниями; по ходу рассказа он — как это бывало и на вечерах в Оук-Парке — демонстрировал привезенные из Италии сувениры: мундиры разных армий, собственный стальной шлем, украшенную плюмажем шляпу, ракетницу и другие. Среди слушателей находилась миссис Ральф Коннебл из Торонто, гостившая в Петоски у своей матери, миссис Джордж Гридли. После концертной программы ее познакомили в Эрнестом, и, узнав, что он не имеет определенных планов на эту зиму, она подумала, что было бы неплохо, если бы он согласился пожить до весны у них дома в Торонто, пока остальная семья находится на юге, и составить компанию их сыну Ральфу-младшему, который был всего на год моложе Эрнеста. Хотя никто из нашей семьи никогда не встречался с Коннеблами, мой отец и мистер Коннебл были заочно знакомы. Эрнест радостно сообщил нам о приглашении пожить в Торонто и написал, что расходы по поездке туда берут на себя Коннеблы.

Рождество Эрнест провел с нами в Оук-Парке. А в январе уехал в Торонто и поселился у Коннеблов. Пока они жили во Флориде, он регулярно переписывался со своими хозяевами и их дочерью Доротой. Тогда он и написал свое знаменитое письмо ей с советом, как выигрывать в рулетку. А когда Коннеблы вернулись в Торонто, Эрнест, Дороти Коннебл и еще один их приятель Эрнест Смит прекрасно проводили время вместе: катались на коньках, ездили в театр и вообще веселились. Мистер Коннебл, уп-

равлявший всеми уолвортовскими магазинами в Канаде, был занят выше головы, и познакомила Эрнеста с другом их семьи, журналистом из «Торонто Стар», миссис Коннебл. Она говорила мне потом, что именно это знакомство послужило тому, что Эрнест стал писать время от времени очерки в газету. Вскоре Эрнест написал папе о своем первом задании. Его послали проинтервьюировать знаменитого медика. Когда он представил рукопись редактору, тот похвалил его за точность в описании технических деталей и правильность медицинских терминов. Папа был доволен, но не удивлен: по его мнению, это указывало на то, что Эрнест, выросший в семье доктора, получил хорошую подготовку. До конца своего пребывания в Торонто он продолжал изредка писать статьи для «Стар», но штатным сотрудником газеты в тот год еще не стал.

Я была страшно рада, когда Эрнест вернулся домой в Оук-Парк в конце мая 1920 года. Он был оживлен, весел и строил массу планов. Когда я спросила его, не собирается ли он писать для «Торонто Стар», он ответил: «Еще чего! Нет, сестренка, я собираюсь путешествовать». Потом он сообщил мне, что к нам приедет из Канзас-Сити Брамми (Тед Брамбак, тот самый, который служил с ним в корпусе Красного Креста) и еще Билл Смит — его приятель из Сент-Джозефа, Миссури, проводивший иногда лето в Хортонс-Бей у своей тетки, миссис Чарльз. Оба должны приехать в Валун в самом начале июня.

Казалось, Эрнеста не обременяли никакие заботы. Он был здоров, бодр, весел, похож скорее на шестнадцатилетнего мальчишку, чем на мужчину, которому вот-вот исполнится двадцать один год. Он больше не углублялся в себя, как прежде, после возвращения из Италии, не занимался самоанализом. Съездил в Энн-Арбор, где повидался с Джеком Пентекостом, своим одноклассником — тот учился в Мичиганском университете и уже получил паспорт для поездки в восточные страны, — и вместе они обдумывали рискованные путешествия, которые предпримут будущей осенью. Почти каждый вечер у него собирались товарищи. К их компании присоединялась и я, приезжая домой на субботу и воскресенье отдохнуть от занятий в Школе красноречия и от своей работы в Кенилвортской церкви и клубе.<...>

В письме от 1 июня 1920 года Эрнест поведал миссис Коннебл, что он и три его приятеля Билл Смит, Джек Пентекост и Брамми намерены отправиться в путешест-

вие по странам Востока. Они предполагали отработать свой проезд в качестве матросов или кочегаров и сойти с парохода в Йокогаме. Написал он ей также, что лучшим другом его снова стала старшая сестра и о своем горячем желании поскорее познакомиться родителей с Коннеблами. В конце июня приятели его собрались в Оук-Парке и отправились оттуда на машине Билла Смита на озеро Валун разрабатывать детали путешествия. Расстались они все еще полные радужных надежд, и Эрнест провел остаток лета со своими друзьями в Хортонс-Бей — охотился и ходил на дальние прогулки по лесу; за неимением другой цели иногда он стрелял по изоляторам на телеграфных столбах. В то время мы мало с ним виделись — у меня было много дел в Кенилуртском клубе и я готовилась к поступлению в университет. Но Эрнест писал мне часто, так же как и мама.

В то лето мама сильно натерпелась от Эрнеста. Ее возмущали его поведение и его безответственность. Она считала, что восемнадцать месяцев — слишком большой для взрослого человека срок, чтобы сидеть без работы и без какого-либо намерения на работу устроиться, кроме как отправиться матросом на Восток. Она отказалась дать ему деньги на паспорт и на проезд до Сан-Франциско. И сказала, что пора ему братья за ум и начать зарабатывать себе на жизнь.

Мечта Эрни о путешествии на Восток не осуществилась. Прошло уже полтора года со времени возвращения домой, раны его давным-давно зажили, но за это время он проработал всего несколько месяцев в Торонто — исполнял небольшие поручения редакции и писал от случая к случаю очерки для газеты «Торонто Стар». Никаких других попыток стать независимым он не предпринимал.

Эрнест, который умел быть совершенно очаровательным в компании, мог спокойно пренебречь чужими удобствами или неинтересными ему обязанностями. Хотя я и не жила дома тем летом, но знала, что мама чувствует себя не очень хорошо, а папа выбивается из сил, работая в душном и жарком Чикаго, чтобы выправить как-то финансы семьи, пошатнувшиеся в этом году, главным образом из-за того, что мама уже не могла так напряженно трудиться и давать столько уроков. Знала я и о том, что ей приходится экономить, вследствие чего было сокращено число прислуги в коттедже; что они с папой копят деньги на колледж Урсуле. В тот год, живя в девяти милях от города, мама оказалась без машины, без папы, который всегда мог свозить ее куда надо, и без телефона, а покупка провизии была, как всегда, трудным делом.

Перед своим отъездом на север Эрнест обещал отцу, что возьмет на себя все дела, исполнившиеся обычно самим папой. Иными словами, он должен был наколоть дров, привезти с противоположной стороны озера лед, хранившийся на ферме, выкопать глубокие ямы для кухонных отходов. Были и другие трудные работы, столь необходимые при жизни на природе. Эрнест намеревался жить в Хортонс-Бей и приезжать домой помогать нам. Лесу было всего пять лет, он даже не пошел еще в детский сад. Кэрол исполнилось девять, две другие мои сестры были подростками. Все девочки помогали по дому, и только старший брат в трудах не участвовал. Эрнест попросту не сдержал слово — он никак не помогал маме. В коттедж он обычно приезжал без предупреждения, к обеду, и привозил с собой двух-трех рослых и крепких приятелей своего возраста. Хотя мама каждый раз умоляла Эрнеста помочь в чем-то и пыталась поговорить с ним о положении, в котором находится семья, он беспечно отмахивался от ее просьб и умудрялся исчезнуть вместе со своими друзьями сразу после обеда или же уезжал на рыбалку, как раз когда необходимо было что-то сделать. Правда, он всегда обещал сделать это «как-нибудь в другой раз».

Наконец, обеспокоенная сверх всякой меры отсутствием у Эрнеста всякого чувства ответственности, его грубостью и готовностью жить на средства отца или даже чужих людей — например, миссис Чарльз, тетки Билла Смита, мама решила принять крутые меры с тем, чтобы заставить его очнуться. Сразу после дня рождения, когда ему исполнился двадцать один год, она написала Эрнесту письмо, где ему было твердо и решительно заявлено, что он должен или устроиться на работу, или же покинуть дом. Если он собирается и дальше бездельничать, это ни к чему хорошему не приведет. Получив такой ультиматум, Эрнест обиделся. Отношения между ними все лето были натянутыми, и это объясняет отчасти поступок мамы, которая решила одна уехать в Грэйс-коттедж. Папа был встревожен, ему вовсе не хотелось открытого разрыва, но он был на стороне мамы. Горькое лекарство помогло, и в конце лета, когда мы все вернулись в Оук-Парк, Эрнест зашел домой только затем, чтобы собрать свою одежду, после чего переселился к Кенли Смитту — женатому старшему брату Билла, который снимал просторную квартиру в Чикаго. После долгих поисков Эрнест нашел себе работу — помощника редактора в журнале «Кооператив Коммонуэлс»...

Смитты (у которых жил Эрнест) часто приглашали меня в гости по воскресеньям после обеда. Кенли и его очаровательная жена собирали у себя много молодежи. Я постоянно

встречала у них Билла Смита с сестрой Кэтрин (впоследствии ставшей женой писателя Джона Дос Пассоса), Бобби Рауза и Билла Хорна, служивших вместе с Эрни в Италии. Обращала на себя общее внимание прелестная высокая девушка с каштановыми волосами из Сент-Луиса, которая произвела большое впечатление на моего брата. Ее имя было Элизабет Хэдли Ричардсон, но все звали ее Хэдли, а Эрни дал ей прозвище «Каштанка».

Во время поездки в Чикаго Хэдли подвернула ногу, которая так сильно распухла, что надеть туфлю оказалось невозможным. Помню, с каким восхищением рассказывал мне Эрнест о том, как, вместо того чтобы отменить из-за этого условленную встречу, она согласилась пойти с ним на стадион Чикагского университета смотреть футбольный матч. Эрни считал, что она выглядела просто чудесно, когда, бодро прихрамывая, шла по дорожке в ночной туфельке из красного войлока.

— Всякая другая стеснялась бы появиться с забинтованной ногой, — говорил он. — И ты бы постеснялась, Марси. Но Хэдли словно и не замечала, что на ней ночная туфля. Шла с таким видом, будто так и надо. Молодчина!

Прошло несколько месяцев, и Эрнест сообщил нам, что они с Хэдли решили пожениться. Она так нравилась всем нам, что мы были просто вне себя от радости. Когда Эрнест и Хэдли сказали, что им хотелось бы устроить свадьбу летом на севере, мама и папа предложили им провести медовый месяц в Уиндермирском коттедже.

3 сентября 1921 года они обвенчались в Хортонс-Бей, в небольшой белой методистской церковке рядом с универсальным магазином. Прием для родственников и самых близких друзей был устроен в доме тети Бесс Дилуорт, через дорогу от церкви.

Эрнест и его шафера: Билл Смит, Карл Эдгар, Билл Хорн и другие приятели были одеты в синие пиджаки и белые фланелевые брюки. Хэдли была вся в белом и, конечно, в фате. Ее родители умерли, но сестра с мужем, профессором Вашингтонского университета, приехали из Сент-Луиса; присутствовали и Коннеблы, проводившие лето в Петоски, и, разумеется, все семейство Хемингуэв.

Молодая чета провела медовый месяц — чудесный теплый сентябрь — в нашем Уиндермирском коттедже, откуда накануне свадьбы выехали родители с младшими детьми.

Осенью Эрни и Хэдли сняли квартиру в Чикаго, и Эрнест продолжал писать для журнала. 1 октября исполнилось двадцать пять лет со дня маминой и папиной свадь-

бы, и они воспользовались устроенным по этому случаю у нас дома в Оук-Парке приемом, на котором присутствовало около четырехсот человек друзей и соседей, чтобы представить им молодых — мистера и миссис Эрнест Хемингуэй. Это был чудесный прием. Хэдли была ослепительно хороша в тот вечер. Свет ламп зажигал яркие искры в ее золотисто-каштановых волосах. Она надела свое подвенечное платье, и стоявший рядом Эрни, принимая поздравления гостей, сиял улыбкой. Красота моей новой сестры радовала меня. Вспоминая этот вечер, я думаю, что родители наши редко бывали так счастливы — им казалось, что судьба наконец решила улыбнуться Эрнесту, сулила ему хорошее будущее. Они полюбили Хэдли и были уверены, что теперь-то уж, имея такую замечательную жену, он будет держаться за свою работу.

Первый раз стихи Эрнеста были напечатаны, еще когда он не был женат и жил у Смитов. Помню, как он пришел показать их мне в напечатанном виде. Я стояла в кухне у нас дома на Кенилуорт-авеню, и вдруг ворвался он, держа в руке тонкую книжечку в бледно-зеленой обложке.

— Показать тебе кое-что, а, Марси? — спросил он.

— Конечно, — сказала я. — Давай сюда.

Он с каким-то смущением протянул мне книжечку.

— Погляди на оглавление, — сказал он. — Твой брат стал поэтом!

Я листала книжку, пока не дошла до стихов Эрнеста, внизу жирным шрифтом было напечатано ЭРНЕСТ М. ХЕМИНГУЭЙ.

— Здорово, а? — сказал Эрни. Я полностью с ним согласилась.

Стихи были напечатаны в одном из недолговечных журнальчиков тех лет. Не уверена, но мне кажется, что они вошли позднее в подборку, опубликованную в 1923 году в Париже.

Эрнест понес журнал в другую комнату показать маме и папе. Творение Эрнеста произвело на них должное впечатление. Мама была очень довольна, что он пишет что-то помимо статей для журнала какого-то кооператива. И она и папа поощряли Эрнеста в желании стать писателем.

Осенью 1921 года итальянское консульство в Чикаго уведомило Эрнеста, что в Соединенные Штаты прибывает генерал Диац, который вручит ему орден «Croce di Guelfa», заработанный им в Италии. Мама, папа, Хэдли и я были приглашены в Чикаго на банкет и на торжественную церемонию вручения ордена. Генерал был весьма импозантен, хоть и невысок ростом. Наши родители и мы с Эрнестом удостоились чести быть представленными

ему. Церемония, разумеется, была обставлена весьма торжественно, и мы очень гордились Эрнестом, который, получая медаль от генерала, держался с подобающей скромностью. Наш приятель, вице-консул, капитан «Ник» Нерон, тоже был награжден. В то утро, гордо выставив вперед грудь, сплошь завешанную орденами и медалями, он командовал парадом в честь генерала Диаса.

Полученному Эрни ордену сопутствовала пожизненная пенсия — пятьдесят лир в год. Кроме того, он, по словам генерала, становился «почетным кузеном короля». В 1921 году и король и пятьдесят лир еще высоко ценились в Италии.

Из этого восхитительного вечера мне больше всего запомнилось знакомство со свитой генерала — молодыми офицерами (некоторые из них состояли в родстве с королевской семьей), сопровождавшими его в поездке от Нью-Йорка до Западного побережья с остановкой в Чикаго, и ехавшими в том же пульмановском вагоне, что и он. В тот вечер мне был вручен роскошный букет алых роз вместе с предложением присоединиться к компании и проделать с ними остаток путешествия в вагоне генерала. Конечно, папа сразу же отклонил это приглашение. Положа руку на сердце, скажу, что желания принять его не возникло и у меня. Но что там ни говори, приглашение, полученное от настоящего кузена короля, порадовало меня. А изысканные комплименты, которые дарили мне милые офицеры, явились очаровательным завершающим штрихом этого удивительного вечера.

В декабре 1921 года, перед самым Рождеством, Эрнест и Хэдли покинули Чикаго и отправились в Париж. Хэдли досталось от родителей небольшое наследство, и они решили умчаться за границу и, пока хватит денег, жить там. Эрнест рассчитывал, что сможет посылать оттуда очерки в «Торонто Стар». Я поехала с ними на вокзал проводить их; по дороге меня занимала мысль — как себя чувствует человек, отправляясь в Европу, где его ждет совершенно другая жизнь. Смиты, Хоуэл Дженкинс и еще кое-кто из старых приятелей тоже стояли с нами на перроне. Утро было морозное, и, когда, поднимаясь на подножку вагона, Хэдли взялась за стальной поручень, я заметила, что она без перчаток.

— Хэдли, надень перчатки, — крикнула я.

— Да у меня их нет, Марселлин, — ответила она. — Зачем они мне. Скоро мы будем на пароходе.

— Лови, Каштанка! Возьми мои! — сказала я, стаскивая с рук серые шерстяные перчатки и бросая ей — она

стояла на задней площадке вагона. Хэдли поймала перчатки и с улыбкой надела.

— Спасибо, Марси! Вот уж действительно прощальный подарок, — сказала она.

Поезд начал двигаться, Эрни стоял, обняв Хэдли за плечи, и махал нам. Кто-то из молодых людей — Дженкс или, может, Билл Хорн — сорвал с шеи кашне, скатал его и бросил комок Эрнесту.

— А это прощальный подарок тебе, Эрни! — крикнул он.

— Напиши нам из Парижа! — заорал кто-то вслед набирающему скорость поезду.

Эрни и Хэдли махали нам, пока поезд не вышел из-под свода вокзала. И когда они наконец скрылись из вида, не я одна была на грани слез.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

То первое лето дома, после пережитого им одиночества и такого близкого соприкосновения со смертью, было временем его триумфа, но одновременно и унижения, временем неистовых страстей. Эрнест наслаждался прогулками по лесам. Он любил запах хвои и свежескошенного сена, запах только что выловленной форели, выложенной на листьях папоротника, далекий звук коровьих колокольчиков, разносящийся в тихом вечернем воздухе. Он напоминал зверя, который издалека вернулся в свои родные края и жаждет удостовериться, что все здесь осталось таким же, каким жило в его памяти, и что это действительно то самое место.

Он уже освободился от суровой опеки родителей, хотя мать и отец еще не вполне осознали этот факт. Эрнест был личностью, в недавнем прошлом лейтенантом Красного Креста. Как бывший газетный репортер и бывший офицер, гордившийся боями и ранами, Эрнест понимал, что воспринимает жизнь глубже своих сверстников. Он стал угрюмым, часто тосковал и не мог решить, что же ему делать с самим собой. В Петоски он выступил перед группой местных жителей с рассказом о своих военных приключениях. Для этого выступления он надел итальянскую военную форму и позволил сфотографировать себя в ней. Однако безграничный восторг, который он испытывал в первые дни после возвращения домой, улетучился. Ему хотелось видеть старых друзей, рыбачить, но он избегал людей, не обладавших тем опытом, который обрел он.

В то лето в промежутках между рыбалками Эрнест много писал. Писал то, что казалось ему стоящим. Когда же лето кончилось, он решил остаться здесь и продолжать писать. Ему никогда раньше не удавалось пожить в Ми-

чигане осенью, когда охота особенно хороша, и он с радостью предвкушал замечательные осенние штормы, охоту на куропаток, приход зимы на пустынное озеро. Но более всего ему нужно было уединение, которое настанет, когда вся семья уедет в Оук-Парк.

Всю осень в Уиндермире Эрнест напряженно работал. Но ничего из того, что он написал за лето и осень, не удалось пристроить. Все рукописи ему под тем или иным предлогом возвращали, и это вдвойне обескураживало его, поскольку родители не одобряли избранную им стезю. На его счастье, в Петоски у него были друзья, сочувствовавшие ему. Через Эдвина Пейлттропа, по прозвищу Голландец, Эрнест познакомился с Ральфом Коннеблом, главой сети магазинов фирмы «Уолворт» в Канаде. Коннебл собирался увезти Пейлттропа с собой в Торонто, чтобы тот занимался с его сыном, но у Пейлттропа возникли затруднения, и тогда на это место возникла кандидатура Эрнеста. Его такая перспектива заинтересовала, особенно в том случае, если Коннебл согласится познакомить его с кем-нибудь из редакции газеты «Торонто Стар», где Эрнесту хотелось бы поработать.

Вот так и случилось, что зимой 1919 года Эрнест и Голландец отправились в Торонто, где Коннебл представил Эрнеста Грегори Кларку, редактору еженедельного приложения «Уикли Стар». Кларк объяснил, в каких материалах заинтересована газета, сколько они будут платить, в каком виде нужно представлять материал. Таким образом появилась возможность внештатного сотрудничества с газетой. Эрнест мог писать, видеть свою фамилию напечатанной в газете и получать достаточный гонорар, чтобы считать, что зарабатывает себе на жизнь. За зиму и весну он продал газете пятнадцать материалов на сумму примерно в полтораста долларов. Независимость в выборе тем и получаемый гонорар придавали ему уверенность. Зарабатывал он не так уж много, но это было лучше, чем пытаться продать в журналы свои рассказы, которые не покупали.<...>

Весной 1920 года Эрнест вновь заскучал по Северному Мичигану, по ловле форели на червячка и на муху. Он любил там множество мест, где можно было оглядывать дали без того, чтобы увидеть следы человека. И было то время года, которое он любил больше всего. Вот он и вернулся к рекам, ручейкам, лесам, к привольной жизни на северной оконечности полуострова.

В то лето он окончательно и открыто восстал против родителей. Как обычно бывает в такого рода конфликтах, он окончился вроде бы вничью. Внешне ссора была потушена. Но на самом деле ничего уже не могло продолжаться по-прежнему, и обе стороны понимали это.

Наши родители жили сами и направляли жизнь своих детей в соответствии с нормами викторианской морали, в которых были воспитаны. Там существовали правила, которые нельзя было нарушать, и упования, которые должны были свершаться. Личность и ее особые потребности оставались делом вторичным.<...>

Хотя наша мать была человеком темпераментным, в целом она оставалась честной и обязательной. Просто она бывала так поглощена своей точкой зрения, что забывала о возможности существования иной точки зрения. Ситуация на озере Валун в то лето могла оказаться совершенно другой, если бы отцу не пришлось остаться в Оук-Парке наблюдать за пациентами. Однако события и позиции, приведшие к разрыву, созревали в предыдущие годы и здесь вырвались наружу.

В то лето отчужденность родителей достигла своего апогея. Побеждало фарисейство. Вообще непонимание художников и писателей их родителями — дело обычное. Эрнест, насколько я знаю, оказался единственным, уже продемонстрировавшим талант, мужество, юмор и настоящую привязанность к семье, кого вполне официально выгнали из дома сразу после того дня, как ему исполнился двадцать один год. Мать и отец осуществили эту акцию с поразительным единодушием. Они не только сделали это — когда все было кончено, они поздравили друг друга с позицией, которую заняли.

Эрнест жил у своих друзей в Хортонс-Бей, когда семья в начале июня приехала на озеро Валун. Поскольку Эрнест нигде не работал — внештатное занятие журналистикой вряд ли можно было считать занятостью, учитывая его небольшие заработки, — родители считали, что он будет работать по дому, раз он живет рядом. По мнению отца и матери, это было самое малое, что может делать молодой человек, отказывающийся от серьезных планов в жизни. С их точки зрения, они требовали не так уж много. С другой стороны, небрежение Эрнеста не было столь серьезным, как оно изображалось. Ситуация обострялась тем, что семья отказывалась рассматривать его литературные занятия как работу.<...>

Так образовалась эта трещина, которая потом вроде бы заросла. Спустя годы, когда я прочел большое письмо, написанное матерью в день рождения Эрнеста, в котором она запрещала ему показываться в их летнем доме, я был поражен. По накалу страсти, по силе обвинений можно подумать, что были совершены ужасные преступления. Мать осыпала его оскорблениями за недостаток у него вежливости и нежелание зарабатывать, припоминала ему все отклонения с той поры, как он был маленьким дорогим ребенком, перечисляла какие-то совершенно обычные поступки и приказывала ему покинуть Уиндермир и не появляться без специального приглашения.<...>

В октябре, после того, как мать вместе со мной вернулась в Оук-Парк, отец съездил в Уиндермир. Он писал матери, что «видел Эрнеста, собирающего яблоки у миссис Чарльз. Он опять в порядке. Билл Смит лежит с растянутым сухожилием на ноге. Они собираются выехать на следующей неделе, если Билл поправится...».

Но, хотя вражда и утихла, Эрнест и эмоционально и юридически достиг совершеннолетия. Осенью он и Билл Смит поселились в северном районе Чикаго, где у обоих были друзья. Эрнест нашел Билла Хорна, который зарабатывал там продажей машинного оборудования и знал, что Эрнест мечтает писать. Они вместе сняли меблированную комнату и питались в ресторане, как вспоминал Билл Хорн, называвшемся «Китсос», по фамилии его владельцев греков. «Вы могли получить там хороший кусок мяса, жареный картофель и кофе за шестьдесят пять центов, так что мы ходили туда каждый вечер». Стойка в этом маленьком ресторанчике, стулья, окошечко на кухню — все это позднее стало знакомо читателям во всем мире, поскольку именно этот ресторан послужил моделью места действия в рассказе «Убийцы».

Позднее Эрнест и Билл перебрались к Й.-К. Смиту и его жене, у которых была большая квартира на Дивиден-стрит. Смиты обычно проводили лето в Хортонс-Бей, и Эрнест когда-то дружил с младшей сестрой Й.-К. Кэт. Через Й.-К. Эрнест познакомился с Шервудом Андерсоном.

У Смитов Эрнест встретил Хэдди Ричардсон, на которой он следующим летом женился. Хэдди была высокой, с хорошей фигурой и смахивала на англичанку. Она уже несколько лет училась играть на рояле. В ту зиму она приехала из Сент-Луиса навестить Кэт.

«В тот момент, когда она вошла в комнату, — говорил

впоследствии Эрнест, — меня охватило сильнейшее волнение. Я понял, что это та девушка, на которой я женюсь».

Той зимой Эрнест нашел редакторскую работу в «Кооператив Коммонуэлс», журнале организации, название которой звучало хорошо, но на самом деле в ней было что-то подозрительное. Поначалу он был помощником редактора и готовил материалы для журнала. После школы, которую он прошел в двух газетах — в канзасской «Стар» и в торонтской «Стар», работа давалась ему легко. Это была его первая работа в Чикаго, он получал за нее пятьдесят долларов в неделю, что было не так уж плохо. Кроме того, эта служба оставляла ему время для того, чтобы писать для себя. Он продал несколько очерков в «Торонто Стар». То, что он писал для журналов, по-прежнему не продавалось, но он все время учился писать, и ему было в конце концов всего лишь двадцать один год.

Относительное благополучие длилось всего два месяца. Когда он разобрался, чем занимается организация, издававшая журнал, стало ясно, что надо уходить.<...>

Летом 1921 года произошло много событий.

Эрнест и Хэдли решили пожениться. Они хотели избежать суеты и формальностей, неизбежных, если бы свадьба состоялась в городе. Эрнест настаивал на том, чтобы свадьбу устроить в Хортонс-Бей, и Хэдли понравилась идея провести некоторое время после свадьбы в Северном Мичигане.<...>

Эрнест и Хэдли поселились в маленькой квартирке на Ниер-Норт-Сайд в Чикаго. Наши родители недолгое время надеялись, что женитьба — это как раз то, что необходимо Эрнесту, чтобы вписаться в социальные нормы чикагских пригородов. Однако в конце осени молодожены съехали со своей квартиры, решив перебраться в Торонто. К тому же они строили планы поехать в Европу. Отец помогал им выносить вещи. Когда он подошел к машине, где я его ждал, я почувствовал, что что-то неладно. Засунув несколько коробок в багажник и усевшись за руль, он некоторое время сидел, в изумлении качая головой.

— Ой уж эти молодые люди! — вырвалось у него. — Ты знаешь, в чем они варят яйца? Я даже не могу произнести такое!

Машина рванулась с места и влилась в уличное движение на гораздо большей скорости, чем обычно.<...>

Договоренность с «Торонто Стар» была наконец достигнута, и Эрнест с Хэдли получили возможность отправиться в Европу, как они и надеялись, хотя и без гарантированной заработной платы. Эрнест должен был посылать свои материалы почтой, гонорар ему шел только за те статьи, которые печатались, возмещались также его расходы по добыванию данного материала. Это значило, что они должны были сами обеспечивать себя первые несколько недель, пока доберутся до Парижа, где будет их штаб-квартира. Таким образом, «Стар» ничем не рисковала, но такая договоренность предоставляла Эрнесту определенную свободу в те дни, когда ему не приходилось зарабатывать деньги на жизнь статьями для «Стар». Денег, которые были у него скоплены, должно было хватить на первое время. Жизнь в Европе была дешевой, если у вас имелись доллары для обмена.

ШЕРВУД АНДЕРСОН

ИЗ КНИГИ «МЕМУАРЫ»

Я считаю, что это два крупнейших писателя из тех, кто появился в Америке после первой мировой войны. С обоими я познакомился сразу же после ее окончания, еще до того, как они начали печататься, и с тем и с другим был в прекрасных отношениях. С обоими ссорился. И тот и другой на войне были тяжело ранены. Один из них — северянин, другой — южанин. Хемингуэй, насколько я знаю, находился в итальянской армии и сидел за рулем санитарной машины, а Фолкнер служил в английских военно-воздушных силах.

Если вы хотите знать, что произошло с Хемингуэем и как великолепно удалось ему восстановить свое здоровье, прочитайте «И восходит солнце», а потом — «Прощай, оружие!». И, если вы не уловите, в чем было дело, я об этом никогда рассказывать не стану.

Хемингуэй крупного телосложения, а Фолкнер маленький. Наиболее живо представляю я себе Хемингуэя, каким он однажды вечером пришел ко мне домой в Чикаго. Он только что женился, получил работу в Париже, — насколько помню, объединение канадских газет направило его туда корреспондентом, — и на следующий день уезжал в Европу. Всю провизию, которая имелаась у них дома, он упаковал в армейский заплечный мешок.

Принести брату литератору провиант, который все равно нужно бросать, было с его стороны удивительно мило. Огромный мешок был доверху набит консервными банками. Я помню, как он поднимался по лестнице — мощный, широкоплечий и громогласный. А что! В мешке лежало фунтов сто прекрасных продовольственных пайков.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Первые полтора года жизни Эрнеста и Хэдли в Европе местом их пребывания стал Париж. Они отправились туда налегке, оставив большую часть своих вещей в Оук-Парке. Наш практичный отец настоял, чтобы они взяли с собой коробку с продуктами. Мать, по-своему более практичная, сделала им на прощание подарок в виде денежного чека. В Нью-Йорке они повидали друзей, родственники тоже подарили им кое-что на дорогу. Потом они поднялись на борт старого французского парохода «Леопольдина».

Плавание через Северную Атлантику в середине декабря оказалось довольно тяжелым из-за сильных ветров и морозов. Но все равно они радовались путешествию. Хэдли была просто нарасхват благодаря своей игре на рояле. Эрнест боксировал три раунда с Генри Кадди, боксером среднего веса из Солт-Лейк-Сити, направлявшимся тоже в Париж на серию матчей по боксу. Кадди, на которого произвели хорошее впечатление спортивные возможности Эрнеста, убеждал его заняться во Франции профессиональным боксом. Такое признание более всего польстило Эрнесту.

Когда пароход причалил в испанском порту Виго, Эрнест написал семье письмо, рассказывая о рыбе туне, выпрыгивающей из воды на шесть или восемь футов, чтобы поймать брошенные ей сардины. Он писал, что у мыса Финистер они видели кита, сообщал, что гавань Виго служила во время войны прекрасным убежищем для немец-

ких подводных лодок, отмечал, что Хаш (домашнее прозвище Хэдли) разговаривает по-французски с тремя аргентинцами, которые все влюблены в нее.

Они высадились в Гавре и за три дня до Рождества приехали в Париж. Остановились они в отеле «Джакоп», а Эрнест снял для себя маленькую комнату на четвертом этаже, где он мог работать в полном одиночестве. Едва они устроились, как оба свалились с простудой и воспалением миндалин.

В первую неделю января Эрнест написал нам, что собирается снять небольшую квартирку на улице Кардинала Лемуана. Там Хэдли сможет поставить рояль и заниматься Скрябиным. Ей очень нравится Париж, и она счастлива жить здесь. В своих восторженных письмах к нам она в изумлении описывала полный обед, который стоит семь или восемь франков, что равняется шестидесяти центам, и завтраки с превосходным кофе с горячим молоком и рогалями, стоящие в десять раз дешевле.

В то время Париж вновь вошел в моду как рай для художников и писателей, что уже бывало не однажды на протяжении нескольких веков. Каждый раз после войн, когда повсюду царил инфляция, Париж особенно привлекал людей, желавших жить недорого, занимаясь искусством или мечтая заняться им.

Американцы и англичане, жившие тогда в Париже, скоро перезнакомились, как если бы это было в Сохо или Гринич-Виллидж. Благодаря их другу Шервуду Андерсону, зрелому, широко печатавшемуся писателю со Среднего Запада, который жил некоторое время в Париже, Эрнест и Хэдли еще до своего приезда туда были хорошо осведомлены о выдающихся людях, обитавших там.

Вскоре они встретились и подружились с Сильвией Бич, которая владела книжной лавкой «Шекспир и Компания». Благодаря рекомендациям Андерсона они познакомились с Гертрудой Стайн, Алисой Токлас, Эзрой Паундом, Луи Галантье и другими серьезными писателями, а также с множеством плутов и дилетантов.

В первые три месяца жизни в Европе Эрнест совершил короткую поездку в Швейцарию. Оттуда он привез достаточно материала, чтобы заполнить своими очерками несколько толстых конвертов. В конце марта торонтская редакция предложила Эрнесту поехать в Геную, чтобы освещать ход европейской экономической конференции. Эта поездка обернулась двухмесячной работой, а в дальнейшем сильно укрепила его положение в газете, где материалы, подписанные им, стали появляться ежедневно.

Редакция «Стар» подняла его статус до должности зарубежного корреспондента и стала платить ему семьдесят пять долларов в неделю и оплачивать расходы на поездки.

Работа в газете приносила Эрнесту подлинное удовлетворение. На конференции в Генуе он встретился с Муссолини, Стеффенсом, Максом Бирбомом, Максом Истменом и другими.

ИЗ КНИГИ «ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

Клиент, особенно нам нравившийся и не доставлявший никаких хлопот, был тот самый молодой человек, которого можно было увидеть каждое утро в уголке книжной лавки погруженным в чтение какого-нибудь журнала или какой-нибудь книги, например, капитана Мариетта. Это был Эрнест Хемингуэй, появившийся в Париже, насколько я помню, в конце 1921 года. «Лучший клиент» называл он себя, и никто не оспаривал его права на этот титул. Мы очень ценили клиентов, которые не только регулярно заходили в лавку, но и тратили деньги на книги — черта характера весьма привлекательная для владелицы небольшого книжного дела.

Думаю, однако, что я полюбила бы его с той же силой, даже если бы он не потратил и пенни в моей лавке. С первого же дня знакомства Хемингуэй возбудил у меня самые теплые, дружеские чувства.

Шервуд Андерсон дал своим «юным друзьям, мистеру и миссис Хемингуэй», рекомендательное письмо ко мне. Я до сих пор храню его:

«Хочу, чтобы, получив это письмо, — писал Шервуд, — Вы познакомились с моим другом Эрнестом Хемингуэем. Он вместе со своей женой едет в Париж и намеревается поселиться там. Попрошу его бросить письмо в почтовый ящик сразу же по приезде.

Мистер Хемингуэй — американский писатель, который естественно в курсе всего интересного, что происходит здесь, и я уверен, что знакомство с мистером и миссис Хемингуэй будет Вам приятно. Оба они очаровательны...»

Мое знакомство с Хемингуэями состоялось задолго до того, как они вспомнили о том, что должны были вручить мне письмо Андерсона. Просто однажды утром в лавку вошел Хемингуэй.

Я подняла глаза и увидела высокого темноволосого молодого человека и услышала его низкий-низкий голос; он сказал, что зовут его Эрнест Хемингуэй. Я пригласила его сесть и, разговорив немного, узнала, что родом он из Чикаго. Узнала я также, что он два года провалялся в военном госпитале, пока доктора занимались тем, что спасали ему ногу. А что случилось с его ногой? «Видите ли, — сообщил он мне извиняющимся тоном, совсем как мальчишка, признающийся, что принимал участие в драке, — я был ранен в колено, когда воевал в Италии. Хотите посмотреть?» — «Ну, конечно!» Итак, торгую в книжной лавке «Шекспир и К^о» была приостановлена, Хемингуэй снял ботинок и носок и показал мне жуткие шрамы, покрывавшие всю ногу и ступню. Хуже всего пострадало колено, но и ступне, по его словам, хорошо досталось. В госпитале все решили, что ему пришел конец, поговаривали даже, что его надо бы причастить перед смертью. Но первоначальный план пришлось изменить, когда он еле внятно изъявил согласие креститься: «Кто его знает, может, они и правы...»

Значит, Хемингуэя крестили. Крестили или нет, — и я все равно скажу об этом, пусть даже Хемингуэй пристрелит меня, — по моему глубокому убеждению, он очень религиозный человек. Хемингуэй и Джойс были большими друзьями, и Джойс сказал мне как-то, что, по его мнению, Хемингуэй сильно ошибается, считая себя суровым человеком, так же как ошибается Мак-Элмон, пытаясь создать себе репутацию человека чувствительного. Он полагал, что дело обстоит как раз наоборот. Выходит, Джойс разгадал тебя, Хемингуэй!

Хемингуэй поведал мне, что, когда он еще учился в школе, еще не вырос из коротеньких штанишек, трагически погиб его отец, оставив ему в наследство только одно ружье. Он стал главой семьи, у него на содержании оказались мать, братья и сестра. Пришлось уйти из школы и начать зарабатывать. Первые свои деньги он получил за участие в боксерском матче, но, как я поняла, не преуспел на этом поприще. О своем детстве он говорил с горечью.

О том, как сложилась его жизнь после того, как он ушел из школы, он рассказывал мне мало; чтобы заработать на хлеб, приходилось братья за все, что подворачивалось под руку, включая репортерскую работу; потом он поехал в Канаду и зачислился на военную службу. Ему было так мало лет, что пришлось подделать дату рождения, а то бы его не взяли.

Хемингуэй был хорошо образован, он знал много стран и несколько языков, выучил которые не в универси-

тете, а непосредственно в чужих странах. Мне показалось, что он развит несравненно больше и разносторонней, чем большинство знакомых мне молодых писателей. Несмотря на некоторую ребячливость, он производил впечатлительные исключительно умного и уверенного в себе человека. Из Парижа Хемингуэй слал корреспонденции в «Торонто Стар», освещая события спортивной жизни. Без сомнения, он уже тогда пробовал свои силы в художественной прозе.

Он привел познакомиться со мной свою жену Хэдли, прелестную и удивительно жизнерадостную молодую женщину. Конечно же, я взяла их с собой к Адриенне Монье. Хемингуэй прекрасно владел французским языком и как-то умудрялся выкраивать время, чтобы читать все новинки не только нашей, но и французской литературы.

По своей работе ему приходилось бывать на всех спортивных соревнованиях, и это помогало ему пополнить свой лексикон еще и спортивным жаргоном. Мир спорта был совершенно неведом Сильвии и Адриенне — приятельницам Хемингуэя по книжной лавке, но мы были не прочь просветиться, а Хемингуэй готов просвещать нас.

Занятия наши начались с бокса. Как-то вечером наши руководители — Хемингуэй и Хэдли — зашли за нами, и мы все отправились на метро в Менимонтан, район, населенный преимущественно рабочими и спортсменами; проживало там и некоторое количество хулиганов. На станции Пеллепорт мы поднялись по крутым ступенькам вверх. Хэдли, ожидавшая в ту пору Бэмби, слегка задыхнулась, и муж заботливо помог ей. Хемингуэй привел нас на крошечный ринг; чтобы добраться до него, пришлось пройти через несколько задних дворов, а места мы себе нашли на узких скамейках без спинок.

Начались бои, а вместе с тем и наше просвещение. В первых, мало интересных встречах, молодые боксеры яростно размахивали руками и обливались кровью, так что мы в ужасе ждали, что они вот-вот погибнут от потери крови. Хемингуэй успокаивал нас — просто примериваются друг к другу, ну и ненароком по носу получают. Мы узнали в тот день некоторые правила игры, а также и то, что флегматичные типы, заходившие иногда на ринг, чтобы кинуть мимолетный взгляд на боксеров, а затем обсуждавшие что-то между собой, — менеджеры, которые заглядывали в спортивные клубы в надежде найти среди новичков материал, с которым стоит работать.

Когда же дело подошло к главному событию вечера, нашего профессора полностью захватило зрелище сыпавшихся градом ударов, и ученицам пришлось обходиться без него.



Кларенс и Грейс Хемингуэй с детьми
(Эрнест в центре)
(1903 г.)



Дом в Оук-Парке, в котором родился
Эрнест Хемингуэй.



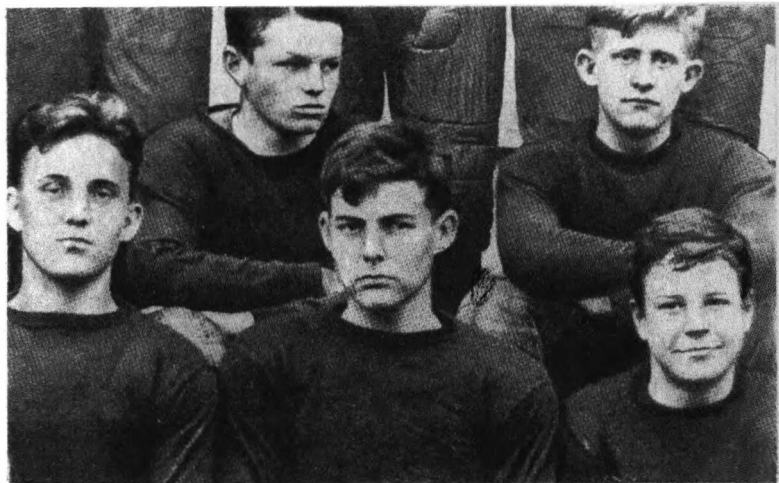
Эрнест удит форель в Хортон-Крик (1904 г.)



Эрнест кормит белку (1910 г.)



Эрнест на озере Валун (1914 г.)



Эрнест (в центре) с товарищами по футбольной команде (1915 г.)

Грейс Хемингуэй со своими детьми (1916 г.)





Хемингуэй в госпитале в Милане (июль 1918 г.)



Агнес фон Куровски (1918 г.)



Хемингуэй после возвращения домой
(февраль 1919 г.)



Хемингуэй в госпитале в Милане (сентябрь 1918 г.)



Хемингуэй в итальянской военной форме (1918 г.)



Хэдли Ричардсон (1918 г.)



Хэдли в подвенечном платье (1921 г.)



Хэдли и Эрнест в день свадьбы (1921 г.)



**Эрнест и Хэдли в Шварц-
вальде (1922 г.)**



**Скотт Фицджеральд с же-
ной и дочерью (1925 г.)**



Хемингуэй в Форарльберге (1926 г.)

Джон Дос Пассос (20-е годы)





Сильвия Бич в своей книжной лавке (20-е годы)



Гертруда Стайн



Скотт Фицджеральд



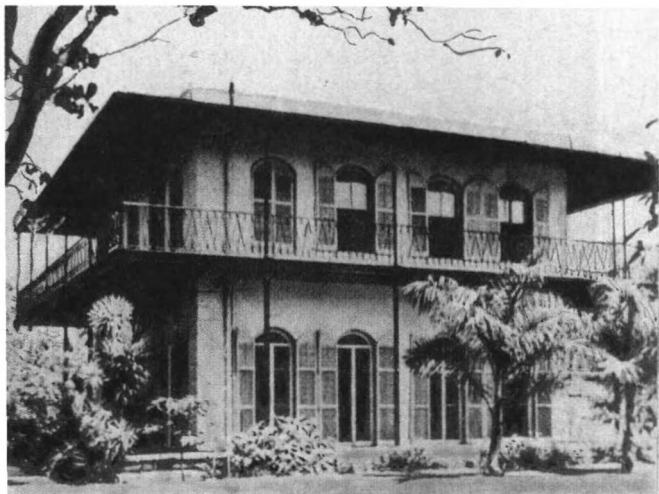
Обложка книги Хемингуэя «в наше время»



Хемвигуэй в Париже (1924 г.)



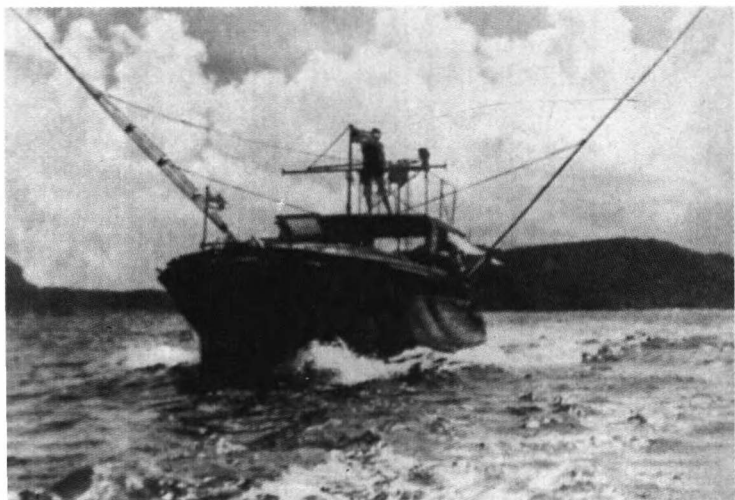
Хемингуэй с сыном Бэмби (1926 г.)



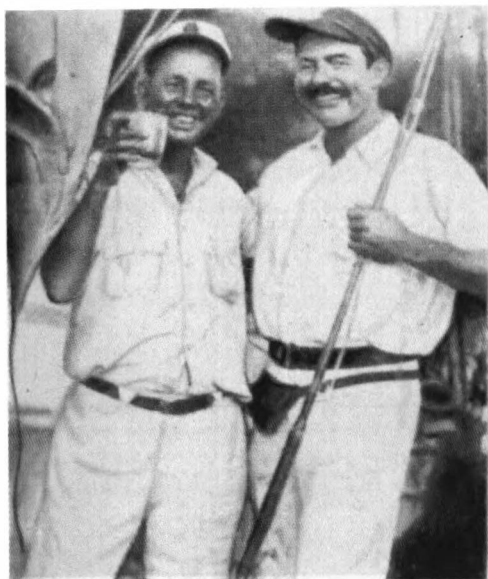
Дом Хемингуэя в Ки-Уэст



Хемингуэй с Полиной Пфейффер (1927 г.)



Катер «Пилар»



Хемингуэй и Джо Рассел после рыбной ловли (Гавана, 1932 г.)

Хемингуэй со своими охотничьими трофеями на ранчо Нордквиста (1932 г.)



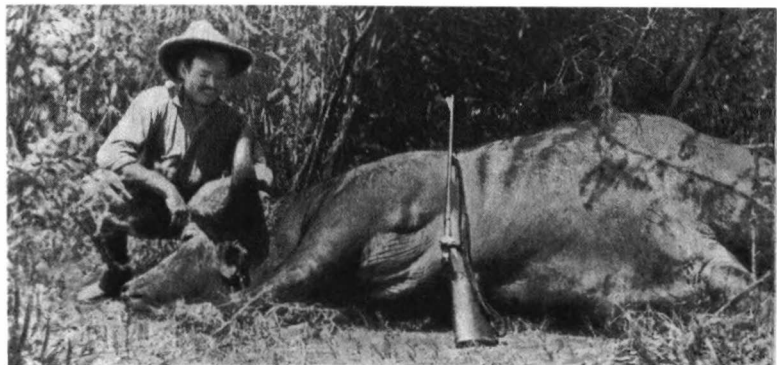


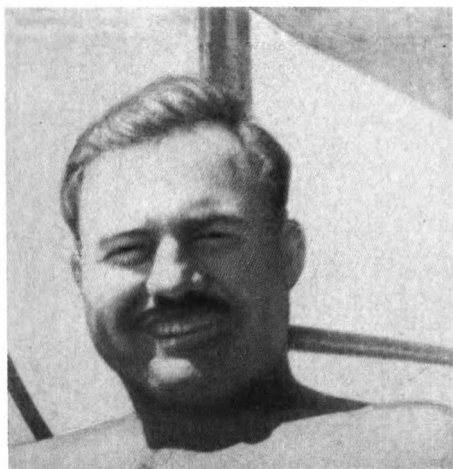
Хемянгуэй с Полюной у застреленного им льва (Серенгети, 1934 г.)

Хемянгуэй и Филип Персиваль с застреленными ими куду (Танганьика, 1934 г.)



Хемянгуэй с убитым им буйволом (Серенгети, 1934 г.)





Хемингуэй на Бимини (1936 г.)

Хемингуэй боксирует на Бимини (1935 г.)



Этот последний бой повлек за собой еще один, в котором приняли участие и зрители. Мнения по поводу решения судьи разделились; люди повскакивали со скамеек, бросались друг на друга — Дикий Запад, да и только. Пинки, удары, крики, людской водоворот напугали нас — мы боялись, что не выберемся из толпы, что в этой потасовке может пострадать Хэдли.

Раздались крики «Le flic! Le flic!»¹, но они, очевидно, не долетали до ушей полицейского, чье присутствие в местах развлечения во Франции совершенно обязательно, будь то Комеди Франсез или боксерский ринг в Менимонтан. Покрывая шум, гремел сердитый голос Хемингуэя: «Et naturellement le flic est dans la pissottiere»².

Затем мы с Адриенной занялись под предводительством Хемингуэя изучением велосипедного спорта; нет, мы не начали кататься на велосипедах, но посетили в обществе нашего профессора «Six-Jours» — шестидневную кольцевую гонку в Вель-д'Ив, бесспорно, самые популярные соревнования парижского сезона. Энтузиасты жили там все эти шесть дней, со всевозрастающей апатией глядя на сгорбившихся мужчин, которые в клубах пыли медленно описывали, иногда неожиданно вырываясь вперед, круг за кругом под неумолчный рев громкоговорителей и под взглядами театральных звезд, — и так день и ночь. Мы старались понять, что говорит нам наш профессор, но в этом шуме редко можно было расслышать хотя бы слово. К несчастью, мы с Адриенной могли уделить этому спорту только один вечер, хотя он и показался нам увлекательным. Но и то сказать, в обществе Хемингуэя увлекательным могло показаться все что угодно.

Но гораздо более волнующее событие ожидало нас впереди. У меня создалось впечатление, что последнее время Хемингуэй энергично работает над рассказами. Как-то он сказал мне, что закончил один из них, и спросил, не хотели бы мы с Адриенной послушать его. Мы радостно согласились, поскольку это имело к нам обоим прямое отношение; мы понимали, что у нас есть что-то общее с флегматичными типами, околавивавшимися возле ринга Пеллепорт в поисках талантов. Может, мы не очень разбирались в боксе, но что касается литературы — дело другое. Представьте себе нашу радость от этой первой встречи с талантом Хемингуэя!

Он прочитал нам рассказ из сборника «в наше время». Мы были поражены его оригинальностью, совсем особым

¹Полицейский! Полицейский! (фр.)

²Полицейский, конечно, пошел в уборную (фр.).

стилем, его мастерством, его точностью, его даром рассказчика и выразительностью... Я могла бы продолжать, но предоставлю слово Адриенне, которая сказала в заключение: «У Хемингуэя темперамент настоящего писателя» («le temperament authentique d'écrivain»).

Бесспорно, в наши дни Хемингуэй — признанный патриарх художественной прозы. Какой бы роман или сборник рассказов вы ни открыли, пусть это будет во Франции, в Англии, в Германии, в Италии, да мало ли где, вы обязательно обнаружите след Хемингуэя. Куски его произведений приводятся в учебниках, и надо считать, что детям очень повезло, так как они гораздо более интересны, чем обычные хрестоматийные отрывки!

Хотя меня никогда не интересовало, кто оказал влияние на того или иного писателя, и я не думаю, чтобы кто-то из зрелых писателей не спал ночами, пытаясь решить, под чьим влиянием он находится, мне кажется, читатели Хемингуэя должны знать, кто научил его писать, — это сделал Эрнест Хемингуэй. И, как все настоящие писатели, он знал, что, для того чтобы преуспеть, необходимо работать.

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС»

Первое, что случилось, когда мы вернулись из Сан-Ремии в Париж, это к нам явился Хемингуэй с рекомендательным письмом от Шервуда Андерсона.

Я очень хорошо помню, какое впечатление произвел на меня Хемингуэй в тот первый день. Это был в высшей степени привлекательный молодой человек двадцати трех лет. Произошло это незадолго до того, как всем исполнилось двадцать шесть. Это был такой период — все молодые люди оказались в возрасте двадцати шести лет. Видимо, для того времени и для того места подходил именно этот возраст. Одному или двум было меньше двадцати, но они не шли в счет, как осторожно объяснила им Гертруда Стайн. Раз они молодые, значит, им двадцать шесть. Позже, много позже, пришло время двадцатидно- и двадцатидвухлетних.

А Хемингуэю исполнилось тогда двадцать три, он выглядел отчасти иностранцем, и глаза у него были скорее заинтересованными, нежели интересными. Он сидел перед Гертрудой Стайн, слушал, слушал и смотрел.

Они разговаривали и разговаривали, очень подолгу разговаривали. Он попросил ее прийти к ним, провести вечер в его квартирке и посмотреть то, что он пишет. Хемингуэй и тогда и всегда обладал замечательным свойством находить квартиры в странных, но привлекательных местах, с хорошими хозяйками и приличной едой. Эта его первая квартира была поблизости от площади Тертре. Мы провели у них целый вечер, они с Гертрудой Стайн просмотрели все, что он сочинил к этому времени. Он начал тогда писать роман, что было неизбежно, и были у него маленькие стихотворения, которые позднее напечатал Мак-Элмон. Гертруде Стайн больше понравились стихи, они были непосредственными, напоминали Кип-

линга, а что касается романа, то он показался ей неудачным. Она сказала, что в нем очень много описаний, и описаний не очень хороших. Начните заново, посоветовала она, и пишите гуще.

Хемингуэй работал тогда парижским корреспондентом канадской газеты. Ему приходилось отражать в своих материалах то, что он называл канадской точкой зрения.

Они с Гертрудой Стайн обычно вместе гуляли и много разговаривали. Однажды она сказала ему: «Послушайте, вы говорили, что у вас и у вашей жены есть небольшие деньги?» — «Есть», — ответил он. «Так используйте их, — сказала она. — Если вы будете продолжать работать для газеты, вы никогда не сможете увидеть вещи, вы сможете увидеть только слова, а этого мало, если вы собираетесь стать писателем». Хемингуэй ответил, что он без сомнения намеревается стать писателем. Они с женой уехали в поездку, и вскоре после этого Хемингуэй появился у нас один. Он пришел к нам около десяти утра и остался на завтрак, пробыл весь день, остался на обед, просидел до десяти вечера и только тогда вдруг сообщил, что его жена беременна, и с величайшей горечью добавил, что он слишком молод для того, чтобы стать отцом. Мы утешили его, как могли, и в конце концов он ушел.

Когда он вновь появился у нас, то объявил, что принял решение. Они вернутся в Америку, и он будет там в течение года упорно работать, и на то, что он заработает, и на то, что у них есть, они где-нибудь обоснуются, он бросит газету и будет писать. Они действительно уехали и через год, как и говорили, вернулись с ребенком. С газетой было покончено.

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Вернувшись из Генуи в Париж, Эрнест слег с большим горлом, но радостно писал нам, что Первое мая прошло спокойно, хотя «товарищи» и подстрелили пару полицейских. Он рассказывал в письме, что встречался с Ллойд Джорджем, Чичериным и Литвиновым, и сообщал, что надеется в ближайшее время поехать от газеты в Россию — путешествие, которое так никогда и не состоялось.

Он жаловался на дурную погоду — дождь всегда на него плохо действовал, — однако описывал природу вокруг Парижа, поля, где черно-белые сороки вышагивают по борозде, и сообщал, что во время одной из прогулок видел клеста. На него произвели сильное впечатление леса, очищенные от подлеска. Вместе с Хаш они проехали на велосипедах сорок миль по лесам Шангильи и Компьена, видели оленя, дикого кабана, лисиц и кроликов. Эрнест предвкушал, как он будет осенью охотиться на дичь. Насчет восстанавливаемых городов восточной Франции Эрнест заметил, что новая французская архитектура уродлива.<...>

Несколько недель спустя Эрнест и Хаш отправились в Монтре ловить форель вместе с другом Эрнеста майором Дорман-Смитом. Они планировали перед возвращением в Париж пройти пешком через перевал Сен-Бернар и спуститься в Италию. Эрнест писал нам, что местность вокруг Монтре радует глаз. Они поднялись на Кап-о-Мойн, коварную крутую вершину, с которой потом спускались, просто сев и скользя вниз. Горные долины были усеяны нарциссами, и Эрнест говорил, что сразу же ниже линии снегов они видели двух куниц.

Эрнесту очень нравилась ловля на муху в долине Роны, где вода была достаточно прозрачной для того, чтобы обмануть форель. Он восстановил свой потерянный за время

последней инфекционной болезни вес, однако горло продолжало его беспокоить. Несмотря на все искусство врачей, Эрнест говорил, что горло будет мучить его до конца жизни. А Хэдли, писал он, выглядит здоровой и загорелой как индианка.

Вот так обстояли дела, когда Эрнест получил наконец согласие от редакции «Стар» на поездку в Россию. Одновременно он получил чек на большую сумму на расходы и готов был отправиться в неизведанную страну, но поездка неожиданно была отменена редакцией без объяснения причин такого решения.

В то лето Эрнест продолжал писать рассказы, представлявшие ему хорошими. Он изложил на бумаге некоторые свои самые сильные впечатления, полученные в Северном Мичигане. В то же время он многому учился у Гертруды Стайн, с которой регулярно обсуждал свою работу. Он узнал также о рискованных попытках некоторых людей начать издание маленьких журналов. Он внимательно прислушивался к разговорам на эту тему. Ему казалось, что публикация в таких журналах может принести быстрое признание.

В июле того года Эрнест и Хэдли вместе с Биллом Бердом из «Консолидейтед пресс» и его женой совершили долгое путешествие по Германии. Они надеялись половить там рыбу и найти материал для очерков. Таким приятным образом они вырвались из городской жары и наловили массу рыбы. Из Триберга Эрнест написал домой о том, как замечательно они проводят время, что Хаш в первый же раз, когда попробовала ловить рыбу, выудила три хороших форели, и что он и Билл ежедневно ловят по нескольку рыб. Он сообщал, что все еще пользуется своим старым спиннингом фирмы «Макджинтис» и этот спиннинг, похоже, завоевывает международную репутацию.

Что его потрясло, так это чудовищная инфляция. Он писал, что из-за того, что марка падает, они сейчас имеют больше денег, чем когда начинали свое путешествие, и если они пробудут в Германии достаточно долго, то смогут жить вообще свободными от налогов. В это письмо он вложил для отца несколько немецких бумажных банкнот. Он писал, что на те шестьдесят две марки, которые он посылает, можно купить шесть кружек пива, десять газет, пять фунтов яблок или билет в театр. Ему нравилось оформление денежных знаков, и он писал, что отложил еще некоторое количество банкнот, но потом истратил их.

Там, где они жили, горы и леса тянулись далеко-далеко. Во Франкфурте они сели на пароход, плывший вниз

по Рейну до Кельна, где находился со своей воинской частью его английский друг. После этого Эрнест и Билл намеревались вернуться к своей работе — сидя за пишущими машинками, зарабатывать на жизнь.<...>

В ту осень Эрнесту и Хэдли пришлось разлучиться на несколько недель. Редакция «Стар» послала его в Константинополь, где во Фракии ожидалось наступление турков на греческую армию. Ситуация грозила началом новой большой войны, и такое задание было заманчивым для молодого писателя, жаждавшего узнать как можно больше о насилии.

Перед отъездом он добился интервью у Клемансо, который был премьер-министром во время войны и о котором говорили, что он убил на дуэлях много людей. Хотя Эрнесту удалось выудить у Клемансо ценные высказывания, «Стар» не напечатала этого материала. Эрнест был так раздосадован этим, что обрадовался возможности уехать прочь от таких интервью, хотя это и означало разлуку с Хэдли.

Перед тем как отправиться в Турцию, Эрнест обратился к Фрэнку Мейсону, который руководил парижским бюро «Интернэшнл ньюс сервис», и предложил ему посылать дополнительные материалы для ИНС под фамилией Джон Хэдли. Мейсон согласился оплачивать его расходы. Это обеспечивало Эрнесту больше денег, поскольку он получал возможность дважды использовать добытую им информацию.

Он был свободен сам решать, куда ему ехать, и распоряжаться собой. Освещать мирные переговоры в Турции было не очень интересно. А вот сражения и эвакуация городов казались перспективными.

Эрнест быстро подружился с людьми, которые обладали информацией и готовы были разговаривать сколько угодно при условии, что на них не будут ссылаться. Он бегло ознакомился с бесконечной сварой в сфере большой политики, придя к убеждению, что обе стороны занимаются манипуляциями с целью установить контроль над нефтяными источниками Среднего Востока. И написал несколько замечательных репортажей о людях, живущих там, и о том, что произошло с ними за время этой войны за нефть.

Следуя за армиями по Фракии на запад, Эрнест понял, что приносит эта ужасная грязная война крестьянам. Проезжая по оккупированным войсками землям, он увидел районы бедствия гражданского населения. Все увиденное

и тот ужас, который он испытал, дали ему материал для описания сцен, потрясших позднее многих читателей. Эти наблюдения убедили его в том, что писать правду — самое важное, что можно сделать в жизни. Он знал о горячей приверженности к миссионерству, царившей в нашей семье. Что же касается его самого, то он убедился в том, что может чем-то помочь людям, изображая жизнь такой, какая она есть, чтобы люди повсюду возмутились и начали что-то делать. Так он начал вырабатывать свое кредо. В более поздние годы он развил его в классическое положение о моральной ответственности.

Когда Эрнест приходил в ярость по поводу какого-нибудь международного события или личного конфликта, он обычно выражал свое ощущение личной сопричастности, говоря: «Если ты, черт тебя возьми, честен, то во всем, что происходит, есть и твоя вина». Эти слова он всегда произносил очень четко и внешне абсолютно спокойно.

Когда Эрнест в октябре вернулся в Париж, они с Хэдли постарались как-то возместить все то время, что были в разлуке. Это был замечательный сезон в Городе Света. Хэдли с восторгом писала нашим родителям: «Я не знаю никого, кто был бы так рад, что кто-то вернулся!» Она с гордостью сообщала, что уверена в том, что Эрнест блестяще делает свою журналистскую работу, и спрашивала, видели ли родители в газете врезку, предварявшую первую статью серии. Однако, добавляла она, Эрнест «заплатил за свою славу большими неудобствами — у него опять болело горло, и он схватил такую лихорадку, что принимал хинин каждый раз вместе с едой. И насекомые — он был просто покрыт ими, — до сих пор не удалось избавиться от некоторых, самых мелких. Ему пришлось остричь волосы накоротко, чтобы вывести этих насекомых! Кроме того, у него было очень много работы и мало денег и совсем мало людей, с которыми можно поболтать. Никто его не поощрял, и никакой рыбной ловли! К тому же мои письма из-за глупости почты не доходили до него... Мы оба чувствовали себя ужасно. Но теперь все позади, и мы опять вместе, и я постаралась получше устроить нашу квартиру, и Эрнесту все очень нравится. Он привез мне цепь из янтаря, украшенного кораллами и серебром, принадлежавшую кому-то из русской царской семьи, кто сейчас служит официантом в Константинополе».

Вскоре, однако, Эрнест получил новое задание. Оно было связано с добыванием информации по весьма сложному делу — по Лозаннской мирной конференции. Как че-

ловец, действительно разбиравшийся в проблемах Греции и Турции, обсуждавшихся там, Эрнест имел возможность раскрывать в своих корреспонденциях закулисные игры, которые велись на конференции.

Благодаря Хэнку Уэлсу из «Чикаго трибюн» Эрнест на Лозаннской конференции подрабатывал, поставляя информацию агентству «Юниверсал ньюс». Это было очень существенно, потому что жизнь в Швейцарии была весьма дорогой. «Стар» оплачивала все его расходы, но только после их утверждения в редакции в Торонто. Все делегации на конференции использовали иностранных корреспондентов для распространения выгодной им информации. Никому из репортеров не давали неофициальных интервью, и это очень затрудняло добывание информации. Результаты оказывались разочаровывающими. Хотя все понимали, что происходит, никто не мог об этом сказать и подтвердить свои утверждения документальными доказательствами.

Многому по части политических маневров научил Эрнеста Билл Райалл из «Манчестер гардиан». Бывший пехотный офицер, Райалл хорошо знал, как функционирует британский Форин офис. Он разбирался в человеческих мотивах, включая холодную, расчетливую жажду власти, маскируемую вежливыми жестами. Позднее, выступая под псевдонимом Уильям Болито, Райалл показал миру глубину своего понимания в книге «Двенадцать против богов». Он искал свой путь и подталкивал к тому же и других. Эрнест часто беседовал с ним, выпивал и вообще стал его горячим приверженцем.

Перед самым Рождеством Хэдли собрала все рукописи Эрнеста, все его рассказы и начало романа, над которым он давно уже работал. Рукописи она уложила в чемодан, свои личные вещи в небольшую сумку и отправилась на вокзал, чтобы ехать на праздники к мужу в Швейцарию. Она туда доехала, но без чемодана, который у нее украли на вокзале в Париже.

Эрнест сделал все возможное, чтобы разыскать чемодан. Но безуспешно. Вор, который скорее всего не читал по-английски и был разочарован тем, что добычу нельзя продать, мог просто уничтожить бесполезное для него содержимое чемодана. Эрнесту пришлось в конце концов смириться с потерей. Позднее он говорил, что к тому времени это было самое тяжелое его переживание.

После рождественских каникул Эрнест написал цикл литературных портретов различных деятелей, участвовавших в Лозаннской конференции. Он описывал турок, русских и их секретную полицию, итальянцев с их фашистским позер-

ством и, в частности, Муссолини. Потом они с Хэдли поехали в Рапалло, чтобы повидаться с Эзрой Паундом.

Эзра познакомил Эрнеста еще с одним американцем, Робертом Мак-Элмоном. Мак-Элмон владел небольшим печатным станком и незадолго перед этим издал книгу Паунда «Кантос». Мак-Элмон заинтересовался тем, что пишет Эрнест. То был тяжелый момент: Эрнесту пришлось объяснить, что почти все его рукописи потеряны. Осталось только несколько стихотворений и разрозненных отрывков. Тем не менее и он и Мак-Элмон хорошо потолковали. Они понравились друг другу и решили, что из их встречи что-нибудь пугное получится. Позднее в том году так оно и вышло.

В Кортина д'Ампеццо в Итальянских Альпах было чудесно кататься на лыжах, и Эрнест с Хэдли провели там несколько счастливых недель, прежде чем вернулись в Париж. Когда они добрались туда, Эрнест получил известие о смерти бабушки Хемингуэй. Искренне огорченный, он написал дедушке, что не может поверить в это — бабушка не из тех, кто умирает. Закончив письмо, он ушел из дома и написал.

В марте редакция «Стар» предложила Эрнесту написать серию репортажей о Руре и о том, что такое французская оккупация Рура. Эрнест написал семье о своих планах и о том, что он собирается писать. Новый цикл, сообщил он, задуман на двенадцать очерков для ежедневной «Стар» и будет печататься в середине апреля. Он писал отцу о том, как ценит его письма, и извинялся, что сам пишет не так же часто. Он рассказывал, что провел тридцать восемь часов в поезде и совершенно одурел. Он проехал за тот год по железным дорогам около 10 тысяч миль, трижды побывал в Италии, совершил шесть поездок из Швейцарии в Париж и посетил Константинополь. Так что в настоящий момент он сыт путешествиями по горло.

После очерков о Руре Эрнест вернулся к собственным рассказам, восстанавливая кое-что из отрывков, оставшихся после пропажи чемодана. Близилась к осуществлению договоренность с Мак-Элмоном об издании его первой книги «Три рассказа и десять стихотворений». А Билл Бёрд подгалкивал его на то, чтобы собрать очерки и рассказы в сборник, который будет назван «в наше время». Летом Эрнест уже правил гранки, одновременно работая над новыми произведениями.<...>

В конце июля 1923 года Мак-Элмон отпечатал в Дижоне, в восточной Франции, первые экземпляры сборника

«Три рассказа и десять стихотворений». Это было скромное издание, тиражом всего триста экземпляров. Однако это была книга, и предназначалась она для продажи.<...>

Когда книга вышла, Хэдли была на шестом месяце беременности. Чтобы обеспечить должное медицинское наблюдение и дать будущему ребенку гражданство США или Канады, они решили, что самое правильное — это в конце августа уехать в Торонто. Эрнест надеялся получить в «Стар» постоянную работу.

ЛИНКОЛЬН СТЕФФЕНС

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ»

Конечно, наиболее обещающим из всех там был Хемингуэй. Он нагрянул ко мне как-то поздним вечером в Лозанне во время мирной конференции, — хотя, может, это было и в Риме, — показал корреспонденцию, якобы поступившую из Греции. Он только что вернулся из Турции, где был свидетелем массового исхода греков, и его телеграмма содержала сжатую, но чрезвычайно яркую и обстоятельную картину того, что он видел, наблюдая скорбный поток голодных, перепуганных изгнанников. Я живо представил себе, что происходило там, и сказал ему об этом.

— Не о том речь, — поправил он меня. — Вы вчитайтесь в текст телеграммы. Вчитайтесь! Чувствуете, какой великолепный язык, а?

И действительно, язык был великолепный. И только позднее, — как я припоминаю, значительно позднее, — он объявил:

— Пришлось бросить корреспондентскую работу. Меня стал слишком уж завораживать язык телеграмм.

В то время я просил его давать мне почитать все его корреспонденции, — именно из-за их наглядности, — забирал отвергнутые рукописи, читал еще не опубликованные рассказы, и все это внушало мне, так же как Гаю Хиккоку и другим журналистам, уверенность в его конечном успехе. Он непременно добьется своего, для этого у него есть все данные. Идешь, бывало, с ним по улице, а он непрерывно то с кем-то боксирует, то будго тащит рыбу из воды, то изображает тореадора — и все его движения безошибочны. В Париже, где к чудакам относятся благожелательно, люди только улыбались, глядя на высокого красивого молодого человека, застывшего в боевой стойке против кого-то невидимого. Он был весел, был сентимен-

тален, но прежде всего он был трудолюбив. Подобно Синклеру Льюису, подобно моему маленькому сыну Питу, он всегда что-то изображал, воплощался в героя произведения, над которым работал. И еще он всегда был прямолинеен, тверд и честен.

Гай Хиккок как-то сказал мне, что у миссис Хемингуэй скоро будет ребенок. Я поинтересовался, откуда эти сведения? «Видишь ли, — сказал Гай. — Хем сидел у меня в кабинете у окна, когда мы с одним посетителем обсуждали разные противозачаточные средства, и вдруг он вскочил и проворчал: «Какие уж там надежные средства!»»

И действительно, в скором времени миссис Хемингуэй шутя произвела на свет великолепного огромного Бэмби Хема, которого до года, а то и больше растила чудаковатая старая консьержка того самого дома, где они жили, пока родители то катались на лыжах где-нибудь в Альпах, то ездили в Испанию на бой быков, отчасти из-за самого спорта, а отчасти в поисках нужных слов.

Как-то ужиная в китайском ресторане в Париже, Дос Пассос с Хемингуэем вскружили моей жене голову, в один голос уверяя ее, что стать писателем может каждый. «И вы можете, — сказал ей Хемингуэй, подперев щеку левой рукой. — Зверски трудно. Чувствуешь себя как выжатый лимон, из кожи вон лезешь, но, в общем, можно. Любой может. Даже вы, Стеф!» И Дос Пассос вторил ему, правда, с меньшим напором. Отличные ребята оба они! Хемингуэй, услышав однажды мои рассказы, сказал, что хочет написать мою биографию, а потом уже в Нью-Йорке, значительно позже, прочитав главу, где я писал о Теодоре Рузвельте-политике, забраковал ее как «никуда не годную» и выразил сожаление, что написана она не им. Однако тут же объявил: «Вы можете сделать ее как следует, Стеф. Вы же можете писать. Любой человек может. Это чертовски трудно; сам я еще не научился, но научусь!»

Мне кажется, он считал, что, для того чтобы писать, требовались абсолютная честность и упорный труд, меня же самого общение с такими писателями, как Хемингуэй, убедило, что все дело в таланте, а вовсе не в каких-то моральных качествах или умственных способностях. Писатели не так уж часто бывают умны. Талант, видимо, дается человеку, когда какая-то фея взмахнет, не задумываясь, волшебной палочкой не над той колыбелью, над которой нужно.

Джо Дэвидсон, единственный из знакомых мне художников, не закрывал глаз, очутившись в водовороте жизни — такой, какой я знал ее. Другие — и уж во всяком случае молодые американцы в Париже — барахтались в воде, и некоторые чуть не погибли в водовороте войны, но увидели они и почувствовали лишь волну, накрывшую их. Хемингуэй был ранен и достаточно сильно пострадал и физически и морально, однако он никогда не задумывался над тем, кто выпустил на волю силы ада. Всю вину он возлагал на итальянцев.

ХЭДЛИ ХЕМИНГУЭЙ МОУРЕР

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Эрнесту в это время предложили работать на полном жалованье в редакции «Стар» в Торонто. Мы хотели, чтобы ребенок родился по эту сторону Атлантики, и Эрнест полагал, что первые год или два после появления ребенка нам нужно иметь постоянный заработок. Так что он принял предложение, и в августе 1923 года мы уехали в Канаду.

Это была большая ошибка. Гарри Хиндмарш, хозяин Эрнеста в «Торонто Стар», перегружал его работой и поручал самые незначительные задания. Я думаю, что он завидовал таланту Эрнеста.

Он послал его в Нью-Йорк освещать приезд Ллойд Джорджа, британского премьер-министра. Наш сын родился как раз, когда Эрнест возвращался поездом в Торонто. Когда он прибежал в больницу, то он просто всхлипывал от усталости и напряжения. А Хиндмарш наорал на него за то, что Эрнест поспешил навестить меня и ребенка вместо того, чтобы сразу явиться в редакцию.

Мы оба пришли к выводу, что возвращение в Канаду было большой ошибкой. Но случилась в это время и радость. Эдвард О'Брайен сообщил Эрнесту, что включает его рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы 1923 года» и посвящает всю книгу ему. Эрнест был в восторге. Но из-за Хиндмарша восторг этот длился недолго.<...>

Однажды Эрнест сказал мне: «Я убью Хиндмарша!»

ИЗ КНИГИ «ТЕМ ЛЕТОМ В ПАРИЖЕ»

К тому времени я уже был в курсе последних редакционных новостей; их сообщал мне зловещим шепотком тщедушный клерк по имени Джимми Коуэн — единственный человек, с которым я разговаривал о литературе. Коуэн знал всех американских писателей, следил за развитием таланта Менкена по старым выпускам журнала «Смарт Сэт», был хорошо осведомлен о жизни обитателей Гринич-Виллидж и даже читал театральную газету «Верайэти». Как-то раз, уже в конце лета, озираясь по сторонам, словно хотел убедиться в том, что никто его не слышит, он шепнул мне:

— Из Европы приезжает хороший журналист. Будет работать у нас в штате. Наш корреспондент в Европе Эрнест Хемингуэй.

Джимми Коуэн рассказал мне, что около четырех лет назад Хемингуэй был в Торонто и что-то там писал для «Стар Уикли». Поскольку я никогда не слышал об этом мистере Хемингуэе, единственное, что я мог сказать в ответ, было:

— Да ну?

Спустя несколько недель, переходя как-то днем через улицу напротив здания «Стар», я увидел в дверях высокого, широкоплечего, кареглазого и румяного человека с густыми черными усами. На нем была фуражка. Он вежливо мне улыбнулся. Улыбка была живая, выразительная, приветливая, а сам он был похож на латиноамериканца. Никто из торонтских журналистов не стал бы ходить в фуражке, и я понял, что он и есть тот самый новичок из Европы — Эрнест Хемингуэй.

Наутро, когда из кабинета мистера Хиндмарша принесли журнал с перечнем дневных заданий и вокруг него сразу же столпились репортеры, я пробежал страницу гла-

зами и отметил по меньшей мере пять упоминаний фамилии Хемингуэй. Мне было интересно, какие задачи ставятся перед важным корреспондентом из Европы, и стал внимательно читать записи. Пять незначительных поручений, которые прекрасно могли бы дать мне самому! Пока я стоял там, вошел Хемингуэй, заглянул в журнал, процедил сквозь зубы выразительное слово из пяти букв и, побелев, выскочил из комнаты. Насколько я понял, произошло следующее: наш мистер Хиндмарш никогда не позволил бы кому-то подумать, что с ним тут будут цацкаться. Как бы то ни было, ругательство, вырвавшееся у стоявшего у меня за спиной Хемингуэя, оставалось единственным словом, которое мне пришлось услышать от него в течение всего следующего месяца.

Думаю, что за эти несколько недель я и видел-то его всего раза два — он носился, не жалея себя, по всей округе в упряжке Хиндмарша. Но я слышал, — а слухи о нем доходили до меня постоянно, — что он привез из Парижа напечатанный за свой счет сборник под названием «Три рассказа и десять стихотворений». Мой приятель Джимми Коуэн одолжил мне его на одну ночь. Помню, как я, кончая заметку, засиделся раз далеко за полночь в отделе городских новостей; напротив меня сидели двое коллег, оба старше меня возрастом, оба хорошо образованные и высокооплачиваемые. Не утерпев, я обратился к ним с вопросом — читали ли они «Три рассказа и десять стихотворений» и как понравилась им книга? Их надменно снисходительный тон привел меня в бешенство. Когда я попробовал спорить, они лишь добродушно отмахнулись от меня. Собственно, они и фамилии-то моей не знали. До сих пор помню терпеливую улыбку старшего из них:

— Одно запомните, мой юный друг, — три ласточки весны не делают.

— А, по-моему, он великий писатель, — запальчиво сказал я. — И со временем вы в этом убедитесь.

Пока что я даже не познакомился с Хемингуэем, но слышал о нем много. Он обладал одним странным — а для себя, я бы сказал, роковым — свойством: возбуждал у окружающих желание говорить о себе. Достаточно ему было споткнуться на улице и ушибить большой палец, как случайно оказавшийся рядом репортер раздувал этот незначительный случай до размеров аварии, грозившей смертельным исходом. Для меня до сих пор остается тайной, каким образом он умудрялся способствовать возникновению подобных легенд. Доходили до меня слухи и о том, что отношения между ним и мистером Хиндмаршем день ото дня портятся. Насколько все это было преувели-

чено, трудно сказать. Знаю только, что любой пустяк, случившийся с Хемингуэем в те дни, кем-то обязательно раздувался. Слышал я также, что у него не нашлось времени хоть немного посидеть со своей женой Хэдли после родов. И вдруг совершенно неожиданно он был переведен вниз и мог отныне наслаждаться беззаботной жизнью в редакции «Стар Уикли».

К тому времени я уже вернулся в школу на осенний семестр, однако три раза в неделю приходил в редакцию, получал задание, а затем спускался в библиотеку и усаживался там писать свой рассказ. Как-то раз, сидя там, я поднял глаза и увидел внимательно смотревшего на меня Хемингуэя. Наверное, ему нечего было делать и он искал, с кем бы поболтать. Даже сейчас, спустя много лет, я все еще иногда гадаю, что привело его ко мне.

Он сел напротив, наклонился ко мне с приятной, удивительно располагающей улыбкой, и я вдруг понял, что его остро, глубоко интересует все, что происходит вокруг. Мы разговорились. Он поведал мне, что приехали они в Торонто, так как он слышал, что в Торонто очень хорошие доктора, а приближался день, когда у его жены должен был родиться ребенок. Но лишь только обстоятельства позволяют, убежденно сказал он, они вернутся в Париж. В Торонто он просто не может писать... Про него говорили, будто он посылал из Торонто рассказы в разные журнальчики в Париже. Это ерунда. Парижские журналы — такие, как «Трансатлантик ревью», «Транзишн», «Зис Куотер» и «Экзайл» Эзры Паунда, в то время не успели открыться.

Приехал он в Торонто полон надежд, а теперь ему кажется, что здесь нечем дышать, хотя у него тут есть хорошие друзья. Я видел, что заботит его не только работа, но не понимал, в чем дело. И в то же время была в нем какая-то неизъяснимая восхитительная искренность, и чем больше я вглядывался в его милое смуглое лицо, в его озабоченные глаза, тем больше он мне нравился.

Речь его не была плавной, но говорил он сдержанно, веско и уверенно. Он вкратце поделился со мной своей оценкой талантов наиболее известных журналистов. Тот был «хорошим газетчиком», другой — «в своей области непревзойденный...». Но в отношении некоторых он был жесток: «Этот? Но он просто стыд потерял...» «А вот в том уже по манере письма можно заподозрить гомосексуалиста...» Потом мы заговорили о литературе. В основе его суждений лежало, казалось, глубокое, страстное убеждение, однако, сообщая его, он как будто делился с вами каким-то секретом.

— Джеймс Джойс — величайший писатель на свете! — сообщил он. — «Геккельбери Финн» — отличная книга. Читал ли я Стендаля? А Флобера? И каждый раз, будто поверяя мне тайну, в меня вглядывался. Ему, очевидно, понравилось, что я восхищаюсь не только прекрасным стилем Стендаля, но и вижу цель, спрятанную за ним писателем. Если меня интересует символизм, стоит почитать «Моби Дик» Мелвилла — замечательное произведение. А что я думаю о Стивене Крейне? Согласен ли я с тем, что «Алый знак доблести» — отличнейший военный роман? Меня удивил его восторг по поводу «Алого знака доблести», особенно когда позже он стал настаивать, что писатель обязан испытать все то, о чем пишет. Книга Крейна была фантазией чистейшей воды.

И вдруг спросил, сколько мне лет. Я ответил, и оказалось, что он на семь лет меня старше. И тут он торжественно объявил:

— А знаете, умом вас Бог не обидел.

— Спасибо, — сказал я, чувствуя себя весьма неловко: мои знакомые в Торонто не обменивались подобными комплиментами.

— А вы беллетристкой не балуетесь? — спросил он.

— Бывает.

— Нет ли у вас какого-нибудь готового рассказа?

— Вообще-то говоря, есть.

— Когда вы снова придете сюда?

— В пятницу.

— Захватите этот рассказ, — сказал он. — Я вас разыщу.

Однако в связи с характером задания, полученного мною на пятницу, я в тот день быть в редакции не смог. В следующий понедельник после обеда я разминулся с Хемингуэем на лестнице. Поднявшись еще ступеньки на четыре выше, он вдруг круто обернулся и, высясь надо мной, мощный и большой, прорычал своим зычным голосом:

— Ну что, рассказ так и не принесли?

— Нет, занят был...

— Понятно, — сказал он и прибавил вдруг грубо и жестко: — Я просто хотел проверить, представляете ли вы что-то из себя или так, очередная пустышка...

Его грубая откровенность больно задела меня, я почувствовал, что заливаюсь краской.

— Мне нужно перепечатать рассказ, — коротко сказал я. — Не беспокойтесь. Я принесу его в следующую среду в три.

— Посмотрим! — сказал он и зашагал вверх по лестнице.

Со стороны могло показаться, что я ему должен деньги и всячески увиливаю от уплаты долга.

В среду в назначенный час я был в библиотеке. Хемингуэй появился через пять минут. В руке он держал листы корректуры.

— Принесли рассказ? — спросил он.

Я передал ему рукопись.

— А я принес вот это, — сказал он, протягивая мне листы.

Это была верстка первого издания «в наше время» — маленькая книжка, изданная в Париже на специальной бумаге, набранная специальным шрифтом.

— Я прочитаю ваш рассказ, — сказал он. — А вы прочтите это.

Мы уселись за стол напротив друг друга и молча погрузились в чтение.

Его произведение состояло из крошечных этюдов, изысканных литературных набросков. Все до одного были прекрасно отшлифованы, напоминая по стилю эпиграммы; каждый этюд написан так ярко, четко, выпукло, что изображаемая сцена буквально вставала перед глазами. Я понимал, что мне дано познакомиться с работой крупного писателя.

Увидев, что я кончил читать верстку, он положил на стол мой рассказ и спокойно сказал:

— Вы настоящий писатель. Это большая литература. Продолжайте писать. Вот все, что вам нужно.

Он сказал это как бы между прочим, но столь веско, что внезапно я понял — усомниться в его искренности просто невозможно. Сам того не ведая, я оказался свидетелем проявления силы, жизненно необходимой ему. Позднее я понял, что ему обязательно нужно верить в непрекаемость своих суждений, чтобы не пасть духом. Будь то бокс, или военная служба, или бой быков, или живопись, он должен был быть уверенным, что по этой части он — авторитет. И умел заставить других в это поверить.

— А что вы скажете насчет этого? — спросил он, указывая на верстку.

Сбивчиво и непрофессионально я попытался передать ему, какое сильное впечатление произвела на меня книга.

— А что говорят о ней ваши друзья в Париже? — спросил я.

— Эзра Паунд утверждает, что это лучшая проза, которую ему пришлось прочитать за последние сорок лет, — невозмутимо ответил он.

В то время поэт Эзра Паунд еще не прослыл знаменитостью в Торонто, но в глазах молодых авторов, пишущих на английском, он был пророком, первооткрывате-

лем, обладателем безукоризненного вкуса. Мне кажется, именно тогда я понял, почему Хемингуэй так рвался прочь из Торонто. Неукротимая гордыня владела им, и хотя среди коллег в Торонто у него было много близких друзей, они и представить себе не могли, что находятся в обществе человека, написавшего лучшее за сорок лет прозаическое произведение. Может, поэтому он и сказал мне так твердо:

— Что бы вы ни написали, не слушайте того, что вам будут говорить по поводу вашего произведения здесь.

С тех пор, придя в редакцию «Стар», я всякий раз поднимался в библиотеку и сидел там в ожидании Хемингуэя — он часто приходил, и мы разговаривали о писателях и о литературе. После каждой такой встречи в жизни моей появлялось что-то новое. Наконец-то я встретил художника, для которого не существовало ничего, кроме искусства, и мог говорить с ним. «Писатель подобен священнослужителю, — слышал я от него, — он должен испытывать те же чувства к своей работе». А другой раз он сказал мне: «Даже если вы убиты горем, даже стоя у постели умирающего отца, вы должны замечать все, что происходит, все до последней мелочи, пусть даже это причиняет вам страдания».

Он говорил отрывисто, иногда даже запинаясь, заикался. Но все время я испытывал чувство, что он ничего и никого, включая себя, не пожалеет, если это будет мешать ему добиваться совершенства в работе.

Да, тогда это был художник, всецело посвятивший себя искусству, но никак не важная персона. Мне кажется, что в те дни Хемингуэй и сам поднял бы на смех человека, предположившего, что когда-нибудь он станет видной общественной фигурой в глазах людей, едва ли знакомых с его творчеством. Что касается меня, то я и представить себе не мог, что он доведет себя до чего-то подобного. Работа — вот что имеет ценность! — казалось, говорил каждый его жест. И когда теперь я думаю о дурацких фильмах о нем, которые мне пришлось повидать за последние несколько лет, или вспоминаю, как он прихотился к пустопорожним разговорам, как многозначительно ронял односложные слова, я возвращаюсь мыслями к нашим разговорам, происходившим несколько лет назад в библиотеке «Стар».

Теперь мне кажется невероятным, просто уму непостижимым, что предметами наших разговоров бывали Шервуд Андерсон, Джеймс Джойс, Эзра Паунд и Скотт Фицджеральд, находившийся в зените славы; все они, казалось, были неизмеримо далеко и от Торонто и от ме-

ня, а выходило, что мы говорим о людях, которых всего через несколько лет я близко узнаю.

Это я завел разговор о Фицджеральде. Я читал его еще в колледже. И был поражен его быстрым успехом. Некоторые его рассказы не произвели на меня никакого впечатления. Но потом я прочел «Бриллиант величиной с Ритц», и мне он понравился. Заинтересовал. Я сказал, что, на мой взгляд, роман «По эту сторону рая» слишком уж литературен, но что написан он живо, оригинально и мило. Эрнест занимал выжидательную позицию относительно этой ранней фицджеральдовской вещи. Не то что не одобрял, а скорее сомневался — в каком направлении будет развиваться его талант. Но не скрывал, что вовсе не в восторге от Фицджеральда. Тогда, в библиотеке, обсуждая творчество Скотта так бесстрастно и рассудительно, могли ли мы предвидеть, что пройдет совсем немного времени, и мы окажемся все вместе в одном городе, и наши жизни запугаются в клубок бурных страстей и уязвленных самолюбий.

Помню наш последний разговор перед отъездом Хемингуэя. Мы встретились после завтрака, и он спросил, есть ли у меня его «Три рассказа и десять стихотворений». У меня этой книжки не было. В те времена на Бей-и-Блур находилась небольшая книжная лавка, где Хемингуэй оставил на продажу несколько экземпляров. Это было недалеко, и мы неторопливо пошли туда, погруженные в разговор. Помню, мы говорили о великом русском писателе Достоевском, и я сказал:

— Как он пишет! Похоже на лесной пожар. Кидается на все, не разбирая.

— Неплохо сказано. Вы знаете Гарри Греб? — Он имел в виду знаменитого боксера, чемпиона среднего веса, который работал руками, наподобие ветряной мельницы. — Так вот, Достоевский пишет совершенно так же, как дерется Гарри Греб. Он обрушивается на вас со всех сторон. Вот так! — И тут же на улице начал боксировать с воображаемым противником.

В книжной лавке мы взяли одну книжечку и пошли в кафе выпить кофе. Хемингуэй написал на титульном листе: «Каллагэну, которому я желаю всего лучшего и многого от него ожидаю!» Следя за тем, как он пишет, я кисло заметил, что теперь, с его отъездом, я лишаюсь своего единственного читателя.

— Нет, — возразил он. — Вот что запомните. Где-нибудь на свете всегда найдется несколько человек, которых интересует хорошая современная литература. В Париже создаются новые журналы.

Он сказал это тоном епископа, читающего проповедь, и снова я поверил, что обязательно дождусь своего.

В последний день его работы в «Стар» я спустился и смело вошел в редакцию попрощаться с ним. Помню, он сидел в компании трех ведущих журналистов еженедельника — своего приятеля Грега Кларка, Чарли Вайнинга и Фреда Гриффина. Когда я подошел к Хемингуэю, все трое с удивлением посмотрели на меня — они даже в лицо меня не знали.

— Напишите мне, как у вас идут дела, и, как только закончите что-нибудь, немедленно отсылайте в Париж, — сказал он. — Я поговорю о вас кое с кем.

— Адрес ваш у меня есть. Увидимся в Париже.

— Пишите на «Гаранти Траст». Так будет лучше.

Пожимая ему руку, я чувствовал на себе удивленные взгляды остальных, щеки мои пылали.

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Всю весну 1923 года Эрнест и Хэдли писали нам регулярно; изредка получала от них отдельные письма и я. Он был зачислен в штат «Торонто Стар», слал из Парижа корреспонденции и был страшно увлечен своей работой. Ему приходилось постоянно бывать в Женеве в Лиге Наций, он брал интервью у дипломатов, встречался с художниками и писателями и, без сомнения, был чрезвычайно доволен жизнью.

Эрни обзавелся еще одним рубцом, — слуховое окно в их парижской квартире, захлопываясь, с силой ударило его по лбу, нанеся треугольную рану. После нее остался заметный шрам, происхождение которого приписывалось впоследствии то войне, то охоте, то боксу — чему угодно, только не слуховому окну.

Осенью 1923 года, накануне появления на свет их первого ребенка, Эрнест привез Хэдли назад в Торонто. Живя в Канаде, он продолжал работать в «Стар» (8 сентября его зачислили в основной штат газеты), и, когда 18 октября родился Джон Хэдли Никанор Хемингуэй, его не было в городе, так как он сопровождал Ллойд Джорджа в поездке по стране и слал в Торонто ежедневные репортажи. Бэмби, как называл его Эрнест, был первым внуком в семье, и родители наши были безумно счастливы.

Мы со Стерлингом приехали в Оук-Парк провести рождественские праздники в моей семье, и именно тогда Эрнест подарил мне первую книгу своих произведений. Он возвращался домой после какого-то задания и по пути заехал на несколько часов повидать родителей. Папа и мама были наверху, а Эрни, Стерлинг и я сидели втроем на диване перед камином в гостиной. Эрнест достал из кармана небольшой томик в темно-зеленой обложке и кинул мне на колени.

— Не показывай ее никому здесь, Марси, — сказал он. — Это только для тебя. Уедешь отсюда, тогда и прочтешь, не раньше.

Я взглянула на название: «Три рассказа и десять стихотворений». Вышла книга в Париже. Я положила ее в чемодан и не открывала до тех самых пор, пока мы со Стерлингом не сели в поезд, идущий в Детройт. Лежа на нижней полке в спальном вагоне, я нетерпеливо открыла книгу, предвкушая удовольствие от чтения. Первый рассказ назывался: «У нас в Мичигане». Как славно, подумала я. Прочитала несколько страниц. Два главных действующих лица в рассказе носили те же имена, что и близкие друзья нашей семьи, люди, к которым мы были чрезвычайно привязаны. Описание их внешности — особенно это касалось мужа — полностью соответствовало внешнему облику наших друзей, и когда, продолжая читать, я поняла, что Эрнест, сочинив пошлую омерзительную историю, вывел в ней этих милых, доброжелательных людей, меня затошнило. И не потому, что на меня произвело отталкивающее впечатление содержание рассказа. Привело меня в ужас отсутствие у Эрнеста элементарной порядочности и уважения к чувствам людей, чьи имена и подробное описание он привел в рассказе. Вероятность была мала, что наши мичиганские друзья когда-нибудь увидят томик в бумажной обложке, подаренный мне Эрнестом, поскольку книжка была издана небольшим тиражом, наверное, только для заграницы, но как мог мой брат быть уверен в том, что она не попадет случайно в руки этих людей когда-то в будущем, не оскорбит их и не причинит им страданий.

Я уверена, что родители наши никогда не видели эту книгу. Сама я хранила молчание, и сомневаюсь, что кто-то другой когда-нибудь упомянул ее. Прочитай они ее, возмущению папы не было бы предела. Его лояльность и преданность друзьям, его душевная утонченность и требовательность к себе не позволили бы ему смолчать, если бы он прочитал отвратительный рассказ Эрнеста. Впоследствии он вошел в сборник рассказов моего брата, называвшийся «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов», но сборник этот вышел в свет уже после смерти папы.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

После скандала Эрнест обрубил все связи с «Торонто Стар» и, взяв с собой Хэдли и маленького Джона, отплыл из Монреаля во Францию. Хэдли согласилась с Эрнестом, что самое логичное для них — вернуться туда, где жизнь дешева, где много друзей и где в ближайшие недели должна была выйти в свет его вторая книга («в наше время») (Париж, 1924 год, ограниченное издание в 170 экземпляров). Теперь Эрнест должен был полагаться исключительно на самого себя и на свою способность выжить благодаря писательству. Он был уверен, что, если он сделает то, что хочет, и так, как сможет, результат оправдает затягивание поясов.

Оказавшись в Париже, они сразу же сняли недорогую квартиру в доме № 113 на улице Нотр-Дам-де-Шан, о которой Хэдли писала, что «на первом этаже вздымались опилки из мастерской плотника, а на втором этаже стучала пишущая машинка — «Корона» Эрнеста». Он должен был спешить со своей работой, потому что сбережения от четырех лихорадочных месяцев жизни в Торонто истощались быстрее, чем он мог что-то заработать своим писательством.

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Эрнест и Хэдли покинули Торонто и вернулись в Париж, когда Бэмби было пять месяцев. Подтолкнуло их отъезд известие, что Эдвард О'Брайен в сборнике «Лучшие рассказы 1923 года» решил напечатать рассказ Эрни «Мой старику», опубликованный впервые в сборнике «Три рассказа и десять стихотворений», и что он хочет посвятить книгу Эрнесту. Эрни немедленно расторг контракт на аренду квартиры в Торонто, договорился со «Стар» и отправился в Париж с женой и ребенком, полный решимости посвятить себя в будущем писательскому труду. Приведу здесь слова Дороти Коннебл: «Он просто засветился весь, когда узнал об этом». Дороти сказала ему: «Это же замечательно. Просто страшно, как бы чего-нибудь не случилось. Вдруг они перепутают и неправильно напишут ваше имя». Все засмеялись, но самое странное, что О'Брайен действительно написал имя неправильно — книга была посвящена «Эрнесту Хеменуэю», и ошибка эта повторилась затем во всех изданиях, с одним лишь исключением.

Уже после того как они вновь поселились в Париже, Хемингуэи в Оук-Парке и мы в Детройте получили от издательства «Три Маунтэнс Пресс» в Париже извещение, что готовится издание второй книги Эрнеста «в наше время». Издание было ограниченное. Я с гордостью смотрела на имя автора: Эрнест Хемингуэй (к тому времени Эрнест уже стал опускать свой второй инициал). Папа заказал полдюжины экземпляров, и я отправила заказ на два. Книга Эрни входила в серию из шести томов под общей редакцией мистера Эзры Паунда. Остальные произведения, входившие в эту серию, были: «Неблагодарные поступки» самого Эзры Паунда, «Женщины и мужчины» — Форда Мэдокса Форда, «Elimus» — Б.-Ч. Уиндлера, «Великий роман Америки» — Уильяма Карлоса Уильямса и «Англия» — Б.-П. Адамса.

Когда через несколько месяцев книги из Парижа пришли, меня поразила странная суперобложка. Она была цвета беж и сплошь испещрена газетными заголовками и фразами, выхваченными из статей и объявлений, взятых из американских и английских газет, там и сям мелькали испанские и русские. На этом ярком газетном фоне отчетливо выступали название книги и имя автора, выполненные жирным черным шрифтом. Пожалуй, я тогда впервые увидела название книги — или имя собственное, — напечатанное строчными буквами, без прописных. На титульном листе стояла дата — 1924 год. Все экземпляры были перенумерованы, а всего их было, — как я выяснила из своего экземпляра, — сто семьдесят.

Издана книга была на особой бумаге с фигурным краем, не имеющей ничего общего с той, на которой обычно печатаются книги. Поскольку нашего старого друга Сэма Андерсона чрезвычайно интересовало новое произведение Эрнеста, я с гордостью послала ему один из своих экземпляров. Позднее я попыталась прикупить еще несколько книг, но издательство сообщило мне, что в свет вышли всего сто семьдесят экземпляров. Неудивительно, что сейчас они — библиографическая редкость. Спустя год вышло американское издание, где название печаталось уже с заглавной буквы.

Я не была дома, когда папа и мама получили свои экземпляры, но, приехав в скором времени погостить к ним со своей крошечной дочкой Кэрол, сразу же почувствовала, что что-то не так. Папа ходил угрюмый, чем-то взбешенный, хотя со мной он был очень мил и приветлив. На лице у мамы я заметила следы недавних слез. Но только дня через два я узнала, что было причиной этих тщательно скрываемых чувств. В день приезда в Оук-Парк я видела, что папа упаковывает в кухне какой-то пакет, но мне не пришлось в голову увязать как-то это обстоятельство с его мрачным видом. Пакет он отнес на почту сам. Мама сказала мне, что, прочитав новую книгу Эрнеста, оба они были возмущены. Особенно шокировала их глава десятая — в американском издании она отсутствует.

Мысль, что его сын мог настолько забыть правила христианской морали, что счел возможным взяться за такую тему и толковать ее в столь вульгарных выражениях, привела папу в такую ярость, что он тут же упаковал и вернул все шесть экземпляров книги издательству в Париже. А потом написал Эрнесту, что порядочные люди нигде, кроме как в кабинете врача, венерические болезни не обсуждают.

Мама тоже осуждала отдельные места в книге, особенно те, где Эрнест писал об Агнесе, но поскольку это была его первая книга, — о том, что до нее была еще одна, родители не знали, — ей хотелось сохранить для себя хотя бы один экземпляр. Папа не разрешил. Он сказал, что все книги должны быть возвращены немедленно. Он не потерпит дома подобной мерзости!

Меня книга Эрнеста встревожила, но не шокировала. Правда, я читала ту, первую, перед которой эта совершенно тускнела. Но я, как и раньше, не могла понять, как он решился писать столь откровенно. Мне было стыдно за папу — неприятно, что он пошел на такую кругую меру и отправил книги назад. Я говорила маме, что, узнав о том, что папа вернул книги издателю, Эрнест очень обидится. Так оно и было. Он просто перестал временно писать им.

В курсе их дел держала нас Хэдли. В начале 1925 года она писала в Торонто Коннеблам «из своей лесопилки на улице Нотр-Дам-де-Шан».

«Бэмби (Джон) уже совсем хорошо ходит. Говорит на своем собственном языке. Эрнест много работает — пишет рассказ за рассказом. Бертрам Хартман все время рисует. А я играю на смешном маленьком пианино. У Эрнеста готова книга, которую он хочет издать в Штатах, и несколько журнальных статей. Он приобретает все большую известность; думаю, издательства купят у него все, что он напишет. Будущим летом мы наедемся съездить в Испанию, в Памплону, а потом поживем с Бэмби где-нибудь на небольшом приморском курорте.

Шлю лучшие пожелания к Новому году и сердечный привет всем!»

Это был тот самый год, когда Эрнест сопровождал Линкольна Стеффенса на Женевскую конференцию. Хэдли оставила двухлетнего сына на попечение няни, жившей недалеко от них, и поехала поездом в Швейцарию. У нее был с собой небольшой чемодан, в котором она везла рукописи Эрнеста и кое-какие принадлежности туалета. На одной из станций она вышла прогуляться по платформе и, вернувшись в вагон, обнаружила, что чемодан исчез. Она позвала проводника, поезд обыскали, но саквояж пропал бесследно. По словам Хэдли, ей пришлось заниматься гребенку и пудру у жен других корреспондентов, тоже ехавших в Женеву.

Среди исчезнувших рукописей были многие рассказы о Нике Адамсе, над которыми Эрнест работал в то время. В Женеву Хэдли приехала в совершенном отчаянии. Когда

она сказала Эрнесту о пропаже, он сначала отнесся к этому спокойно, полагая, что дома в Париже остались машинописные копии. Но, узнав, что в чемодане находились не только оригиналы, но и копии, «он чуть не лишился чувств... Известие это его просто убило...». Хэдли говорила мне, что он не бранил ее, хотя удар был поистине тяжелый — именно сейчас, когда он горел желанием писать что-то новое, ему предстояло сесть за восстановление уже написанных произведений.

ИЗ КНИГИ «ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

Читателей своих Хемингуэй обычно покорял при первом же знакомстве. Помню восторг Джонатана Кейпа, когда он впервые прочел Хемингуэя. Мистер Кейп — издававший в Лондоне полковника Лоуренса и Джойса, приехав как-то в Париж, спросил меня, кого из американцев я посоветовала бы ему издать. «Вот, возьмите Хемингуэя и прочитайте», — сказала я. Так мистер Кейп стал издателем Хемингуэя в Англии.

За что бы ни брался Хемингуэй, он делал это основательно и со знанием дела, даже когда нянчил ребенка. Съездив ненадолго в Канаду, Хэдли и Хемингуэй вернулись в Париж, привезя с собой еще одного «лучшего клиента» — Джона Хэдли Хемингуэя. Зайдя к ним как-то утром и увидев, как Хемингуэй купает сына, я была поражена, — до чего же ловко он обращался с Бэмби. Хемингуэй-реге был по праву горд и спросил, не думаю ли я, что ему обеспечена блестящая карьера в качестве няни.

Бэмби стал частым посетителем «Шекспир и К°» еще до того, как научился ходить. Бережно держа сына, — правда, иногда вверх ногами, — Хемингуэй читал последние журналы; должна сказать, что это требовало известной сноровки. Что касается Бэмби, он был со всем согласен, лишь бы не расставаться со своим обожаемым Папá. Научившись ходить, он начал требовать, чтобы его вели к «Силвер Бич», как он говорил. Я так и вижу их — отца и сына, держась за руки, они идут по улице. Вижу Бэмби, водруженного на высокий стульчик, серьезно наблюдающего за своим «Стариком» и терпеливо ждущего, когда его наконец снимут с насеста. Наверное, иногда ожидание казалось ему невыносимо долгим. Потом я провожала эту пару взглядом, когда они уходили, — не домой, поскольку им нельзя было попадаться Хэдли на глаза, пока она не

закончит домашние дела, — а в бистро за углом; там, усевшись за столик и попивая каждый свое — у Бэмби в стакане был гренадин, — они обсуждали все, что случилось за день.

К тому времени все уже побывали в Испании, и впечатления у всех были самые разнообразные. Гертруда Стайн и Алиса Токлас нашли страну очень занятой. Другие, увидев бой быков, приходили в ужас и ретировались задолго до конца. О бое быков писали и с точки зрения морали и с точки зрения секса, живописали яркие краски, которыми изобилует этот спорт, его зрелищность и так далее. Сами испанцы не раз бывали озадачены тем, что пишут иностранцы о «los toros»¹, и указывали на допущенные неточности.

Хемингуэй действовал не так, как все; вознамерившись писать о быках, он принялся досконально и обстоятельно изучать все, что касалось их. В результате мы имеем «Смерть после полудня», исчерпывающий трактат о боях тореадоров с быками, и мои друзья-испанцы, угодить которым не так-то легко, признают его великолепным. Мне кажется, что лучшие образцы прозы Хемингуэя можно найти именно в этой книге.

Хороший писатель — такая редкость, что, будь я критиком, я старалась бы указывать лишь на то, что заставляет меня верить ему и доставляет радость при чтении. Потому что объяснить тайну творчества, по-моему, невозможно.

Хемингуэй спокойно воспринимает критику — если она исходит от него самого. Никто так сурово не критикует его, как он сам, но, подобно своим братьям писателям, он сверхчувствителен к критике других. Правду сказать, иные критики умеют весьма искусно вонзить острие пера в жертву и с интересом наблюдать ее корчи. Уиндхему Льюису удалось-таки заставить покорчиться Джойса. А его статья, посвященная Хемингуэю и называвшаяся «Тупой бык», на которую тот, к великому моему сожалению, наткнулся в моей лавке, привела его в такую ярость, что он посшибал головки у трех дюжин тюльпанов — подарок, полученный мной на день рождения. В результате ваза перевернулась на книги, после чего Хемингуэй сел за мой стол и выписал мне чек на сумму, вдвое превышающую нанесенный урон.

В качестве книготорговца и библиотекаря я всегда обращала больше внимания на названия книг, чем читатели, которые рвутся к содержанию, не позволяя себе задер-

¹О быках (исп.).

жаться на пороге. Думаю, что названия Хемингуэя должны были бы получить первый приз на любом конкурсе такого рода. Каждое из них — само по себе — поэма, их волшебная сила способствует успеху Хемингуэя у читателей. Они живут собственной жизнью, обогащая словарный запас Америки.〈...〉

Ни для кого не секрет, что герой Улисс имел высокопоставленных друзей, вернее, одного друга — богиню Минерву. Она является то в одном обличье, то в другом. На этот раз она явилась в сугубо мужском образе Эрнеста Хемингуэя.

Я надеюсь, что последующие откровения не принесут Хемингуэю неприятностей с властями — ведь не станут же они придирааться к нобелевскому лауреату, — и признаю, что экземпляры изданного мной «Улисса» проникли в Соединенные Штаты не без участия Хемингуэя.

Я поделилась своими затруднениями с Минервой — Хемингуэем. «Дайте мне сутки!» — сказал он и на следующий день вернулся с готовым планом: со мной свяжется его чикагский друг, некто Бернард Б., очень милый человек, которого он зовет сенбернардом из-за его всегдашней готовности прийти на помощь, и вот этот друг сообщит мне, как можно устроить дело.

В письме, которое я получила от Бернарда Б., было сказано, что он уже сделал кое-какие приготовления и выезжает в Канаду. Он спросил, соглашусь ли я платить за мастерскую, снятую в Торонто, на что я, конечно, сразу же согласилась. Вскоре он прислал мне адрес своего нового обиталища и распорядился, чтобы я отправила книги туда. Что я и сделала. А поскольку в Канаде «Улисс» запрещен не был, все экземпляры благополучно дошли. Теперь ему предстояла работа, требующая от исполнителя незаурядной смелости и ловкости, — нужно было переправить через границу несколько сотен увесистых томов.

Впоследствии Бернард рассказывал мне, как это происходило: он ежедневно заталкивал в брюки одну книгу и садился на паром. В те дни незаконным ввозом спиртного в Америку занимались все, кому не лень, и на пароме всегда находилось несколько личностей с необычными чертами фигуры, но это лишь увеличивало риск подвергнуться обыску.

По мере того как работа продвигалась и на руках у него оставалось всего лишь несколько десятков экземпляров, Бернарду почудилось, что портовые чиновники стали с подозрением поглядывать на него. Он опасался, что они

могут настойчивей поинтересоваться, что за дела заставляют его ездить взад и вперед каждый день, действительно ли он возит на продажу собственные рисунки? Бернард нашел приятеля, который согласился помочь ему, и теперь они уже вдвоем совершали ежедневную поездку на пароме; причем каждый — поскольку надо было поскорей кончать с этим делом, — вез в брюках два экземпляра, один спереди и другой сзади. По всей вероятности, со стороны они выглядели как парочка беременных мужчин.

Какой тяжкий груз свалился с души нашего друга, — да и с тела тоже, — когда он перевез на другой берег последние тяжеленные тома. Если бы Джойс предвидел все эти трудности, он, вероятно, написал бы книгу потоньше.

Во всяком случае, я хочу, чтобы люди, подписавшиеся на «Улисса» и получившие свои книги, знали, что они должны быть благодарны Хемингуэю и его любезному другу за тот солидный пакет, который компания «Америкэн Экспресс» оставила у них на крыльце как-то утром.

ХЭДЛИ ХЕМИНГУЭЙ МОУРЕР

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Мы жили тогда на улице Нотр-Дам-де-Шан над лесопилкой. На другую сторону улицы выходили задние двери лавок, расположенных на бульваре Монпарнас. Одна такая дверь вела в погреб под бакалейной лавкой, и там я держала мой рояль. Зимой в погребе стоял такой холод, что я, играя на рояле, надевала несколько свитеров в то время, когда Эрнест писал или читал чужие рукописи, сидя в соседнем кафе и согреваясь кофе. Эрнест и я были в те парижские годы очень бедны.<...>

Эрнест всегда искал людей, с которыми мог разговаривать на своем уровне, людей одного с ним круга интересов. Джон Дос Пассос был одним из немногих в то время, с которыми Эрнест мог беседовать. Дос жил в смешном маленьком отеле неподалеку от нас. У него всегда под рукой лежал словарь, и он старался улучшить свое зрение, тренируясь на чтении словаря. У них было много чего сказать друг другу. Рядом с Эрнестом не было никого, равного Дос Пассосу.<...>

Жестокость Эрнеста в значительной степени была естественной, но во многом она призвана была прикрывать его уязвимость. Эрнест был одним из самых уязвимых людей, каких я только знала, и легко ранимых. Большинство людей считало, что он слишком уверен в себе, но я думаю, что у него был комплекс неполноценности, который он тщательно скрывал. Иногда он вел себя как бесстыдная обезьяна, чем очень озадачивал меня. Он был очень сложной личностью, и о нем нельзя судить по простым схемам. Эрнест был прекрасным отцом, и Бэмби называл его Папá. Один из наших друзей тоже начал называть его Папой. Эрнест всегда готов был защищать людей, даже тех, кто был много старше его. Я думаю, ему хотелось, чтобы в нем видели защитника.<...>

Однажды Зельда и Скотт Фицджеральд заявили к нам в четыре часа ночи. У нас был ребенок, и мы очень ценили возможность поспать, особенно Эрнест, поскольку

утром он должен был садиться писать. И тем не менее они заявили именно в это неподходящее время. И они были пьяны. Они совершали всякие глупости, взяли, например, рулон туалетной бумаги и, стоя наверху лестницы, раскрутили его вниз. Вопреки ожиданиям, что Эрнест попросит их уйти домой, он этого не сделал. Мы сидели в ночных пижамах и купальных халатах и разговаривали. Я не думаю, что Эрнесту это нравилось, но он в данном случае наблюдал за алкоголиком. Скотт мог выпить одну рюмку и вскоре становился зеленым и терял сознание. Его организм просто не переносил алкоголя. Ну а в Париже, вы сами знаете, ужасно трудно не выпивать.

С первого же раза, как Эрнест увидел Зельду, он решил, что она сумасшедшая. Она изо всех сил старалась показать, что у нее есть талант, и он действительно у нее был. Ее письма превосходны, в них есть чувство языка и эмоциональность.<...>

Для Зельды Эрнест был слишком уверенным в себе мужчиной. Он принадлежал к тому типу людей, к которым тянутся мужчины, женщины, дети и собаки. Он мог пренебрежительно относиться к некоторым людям и мог говорить о них оскорбительные вещи. В нем была жестокость. Но в других случаях преобладала доброта.<...>

Я пережила все, что было связано с созданием «И восходит солнце», и могу почти все припомнить. Диалоги и ситуации в романе очень похожи на то, что, как я помню, происходило в действительности. Для меня это было очень тревожное лето, я даже не знаю почему, ибо в то время мы с Эрнестом еще не расходились. Но все очень много пили, и у всех возникали любовные связи. Мне это казалось отталкивающим.

У Гарольда Леба происходил шумный роман с Дафф Твисден, очень интересной англичанкой, светской женщиной, которая не знала никаких ограничений в сексуальной сфере. Гарольд приехал с ней в Испанию, в Памплону, на бой быков. Многие думают, что у Эрнеста была связь с Дафф. Он ее обожал, но я уверена, что они не спали.<...>

Гарольд Леб так никогда и не смог пережить ту сердечную боль, которую у него вызвал роман Эрнеста. Я однажды целый час говорила с ним об Эрнесте и его способности создавать сложные характеры. Ни один из его персонажей не изображал в точности Леба, или вас, или меня. Он придумывал собирательные образы, нужные ему для сюжета. Но убедить в этом Леба я так и не сумела.<...>

Мне не нравилось, как Эрнест обошелся с Гарольдом. Это было так легко — разрушить его счастье. И я не одобряла то, что он позднее сделал с Шервудом Андерсоном в пародии «Вешние воды».<...>

Мне нравилась Полина. Я была очень бедной молодой женщиной, а Полина работала в парижском бюро журнала «Вог» и происходила из семьи Хаднатов, что означало деньги. Дяде Полины Гэсу принадлежали «Ричард Хаднат перфьюмс», «Скоанс линимент» и «Уильям Уорнер фармацевтикалс». У меня же просто не было денег, потому что Эрнест еще не добился успеха. Подруга Гарольда Леба Кити Каннелл — она была танцовщицей и очень хорошо ко мне относилась — сказала как-то: «У Хэдли нет ни одного приличного платья, это просто позор». Хемингуэй вместо платьев подарил мне тогда ко дню рождения — на самом деле самому себе — замечательную картину Хуана Миро «Ферма».<...>

Когда я поняла, что Эрнест влюбился в Полину, я испытала одновременно два таких взаимоисключающих чувства, как облегчение и ярость. Я заявила им, что они не должны видеть друг друга в течение ста дней и что если к концу этого срока они по-прежнему будут влюблены, я разведусь с Эрнестом. Я ощущала себя ужасно подлой и с радостью могу сказать, что я не настаивала на своем ультиматуме.<...>

После того, как мы разошлись, Эрнест жил в студии Джеральда Мэрфи. В то время он и Арчи Мак-Лиш повсюду бывали вместе. В то лето они вместе навещали меня в моей квартире. Арчи был большим другом Эрнеста, одним из тех, с кем он мог разговаривать на равных.

Эрнест и Полина очень любили друг друга, и это ужасно огорчало меня, потому что я понимала — нельзя стоять на пути у такого чувства. Я заставила их обещать, что они не будут встречаться и переписываться. Она уехала домой в Арканзас. Эрнест и я жили в это время порознь и оставались в дружеских отношениях. Он часто заходил ко мне. Мое сердце вовсе не было разбито. Я любила его в некотором роде даже сильнее, чем когда-либо, но так, словно он был моим ребенком. Наша совместная с ним жизнь была безоблачной, но бывала и изнурительной.<...>

Я знаю, что позже Эрнест намекал, что деньги Полины обладали большой притягательной силой. Но, конечно, он женился на ней не из-за денег.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

В то лето Эрнест вместе с Дональдом Огденом Стюартом, Джоном Дос Пассосом и Бобом Мак-Элмоном поехали в Испанию. Там в Памплоне во время фиесты они сильно выпивали и развлекались. Один инцидент на бое быков получил даже отклик в заголовках американских газет. «Чикаго трибюн» писала:

«Мадрид, 28 июля (1924 г.) — Дональда Огдена Стюарта и Джона Дос Пассоса, двух американских писателей, забодал бык на арене в Памплоне, где они участвовали в фиесте. Мистер Стюарт получил перелом двух ребер, а мистер Хемингуэй рваную рану. Жизни обоих спасены.

Мистеры Стюарт, Хемингуэй, Джон Дос Пассос и Роберт Мак-Элмон, американские писатели, проживающие в Париже, отправились в Испанию, в Памплону, чтобы присутствовать на традиционном празднике. Обычай там таков: в день боя быков по огороженным по бокам улицам быки бегут от загона до арены, а перед ними бежит значительная часть местного населения. После этого одного быка с забинтованными рогами выпускают на арену, где тореадоры прыгают и дразнят его.

В программу развлечений молодых людей в Памплоне входит быть подброшенными быком. В первый день мистер Стюарт и мистер Хемингуэй успешно участвовали в этом развлечении, а на второй день бык подбросил мистера Стюарта. Это случилось, когда он лег на спину быка, дунул табачным дымом ему в глаза и потом свалил его на землю. Главный тореадор преподнес мистеру Стюарту пурпурный плащ, от которого тот не мог отказаться, и во время рукопожатия бык устремился на мистера Стюарта, поднял его на рога, подкинул вверх, а потом пытался забодать его. Мистер Хемингуэй бросился спасать мистера

Стюарта, и бык тоже боднул его, но мистера Хемингуэя спасло от гибели то, что рога быка были забинтованы».〈...〉

Продолжая писать свои собственные вещи, Эрнест периодически отдавал время журналу Форда Мэдокса Форда «трансатлантик ревью». Он работал там помощником редактора без жалования, читая и редактируя рукописи, и, используя свое положение в журнале, помогал людям, которые помогали ему, как, например, Гертруде Стайн. Эрнест убедил других сотрудников журнала, что роман Гертруды «Становление американцев» подходит для того, чтобы печатать его с продолжением. Эрнест собственноручно переписал первые пятьдесят страниц единственного экземпляра ее рукописи, отредактировал их, вычитал гранки, иначе говоря, сделал все, чтобы произведение, годами лежавшее в квартире Гертруды, дошло до проницательного читателя. Журнал послужил стартовой площадкой и для некоторых рассказов Эрнеста.

Дела у Эрнеста шли хорошо, как дома, так и с работой. Бэмби начал говорить, и Эрнест учил его с помощью шуток. Взяв жену и сына, он отправился в местечко Шрунс в Форарльберге, когда там установилась хорошая лыжная погода. До середины марта они жили там в снегах, работая и занимаясь спортом, пока не пришла пора возвращаться в Париж.

Эрнест писал родителям, что в горах, где они жили на высоте более 2-х тысяч метров над уровнем моря, водятся куропатки и много лисиц. Олени и серны обитают ниже.

Он сообщал, что Бэмби весит уже двадцать девять фунтов, играет с совком в куче песка и всегда весел. Его писательские дела шли очень хорошо. «в наше время» вышел из печати и продается по довольно высокой цене, писал он, а некоторые рассказы переведены на русский и немецкий языки. Они с Хаш загорели на солнце так, что выглядят «черными, как сенегальские негры». Он вложил в письмо и фотографию, где они сняты на лыжах около дома, где живут.

Хэдли добавляла кое-какие детали, благодарила семью за рождественские подарки, которые задержались на два месяца на таможнях, но дошли без ущерба для фруктового торта — вершины кулинарного искусства матери помимо мясного салата. Она писала, что у Бэмби замечательная няня, которая остается с ним, когда они с Эрнестом по нескольку дней скитаются по хижинам на

горных склонах в поисках хорошего снега. Самым радостным для них событием в этой поездке было, когда в «Мадленер-Хаус», одну из больших хижин Альпийского клуба, один из друзей привез две телеграммы — от Дона Стюарта и Гарольда Леба о том, что издательство «Бони и Ливрайт» приняло книгу Эрнеста «в наше время». Хэдли упоминала также, что рассказ Эрнеста о рыбной ловле «На Биг-Ривер» печатается в первом номере журнала «Куортер», англо-американского издания, а история матadora Мануэля в рассказе «Непобежденный» появится в мартовском и апрельском номерах журнала «Квершнитт».

Хэдли добавляла, что они все трое ужасно счастливы, ребенок так красив, что просто страшно, и может говорить на трех языках. Эрнест возобновил переписку с Биллом Смитом, и они надеются летом увидеть его и Дженкса в Европе.

Переписка Хэдли с родителями привела к тому, что отец написал, что хотел бы прочитать новые произведения Эрнеста. Ответ Эрнеста, датированный 20 марта 1925 года, был спокойным и ясным изложением его литературных целей. Ему очень хочется, чтобы отец пон и одобрил их, но сам он уже достиг той зрелости, когда может контролировать свои эмоции.

Он писал, что рад, что отцу понравился рассказ о враче («Доктор и его жена»), что он использовал подлинные имена Дика Боултона и Билли Тэйбшо, потому что сомневается, попадет ли им когда-нибудь в руки экземпляр «трансатлантик ревью». Он сообщал, что написал несколько рассказов о Мичигане и что природа, которую он описывает, всегда подлинная, а то, что происходит в расказах придумано.

Эрнест обещал также прислать отцу экземпляр журнала «Куортер», когда он выйдет, ибо он уверен, что отцу понравится рассказ «На Биг-Ривер». Он сообщал, что описал там реку Фокс выше Синея.

Дальше он пошел в открытую. Он писал, что не посылал домой экземпляры своих произведений, потому что мать и отец заранее осуждают его работу со своих пуританских позиций, и однажды уже вернули ему экземпляры сборника «в наше время». Он тогда понял, что они не хотят более читать ничего из того, что он пишет.

Он утверждал, что старается во всех своих рассказах передать ощущение подлинной жизни — не для того, чтобы просто описывать или критиковать. Он надеется, что любой человек, читающий его произведения, будет ощущать каждую вещь. Он убежден, что этого нельзя добиться, если он не будет описывать дурное и отвратительное

наравне с прекрасным. Если он ограничится изображением прекрасного, читатель может не поверить ему, так как это не будет соответствовать действительности. Только показывая обе стороны жизни, показывая эту жизнь в трех измерениях, а, если возможно, то и в четырех, он может достичь того, к чему стремится. Когда отец читает некоторые его рассказы, которые ему не нравятся, Эрнест просит его не забывать, что он искренен и стремится к определенной цели. И хотя какой-то конкретный рассказ может показаться грубым, родители должны понимать, что другое произведение может им понравиться.<...>

Наши родители, прочитав наконец «И восходит солнце», были смущены и шокированы, как девочки из монастыря, попавшие в публичный дом. И это написал их сын! Они не знали, как воспринимать определенные сцены и образы в этой книге. Их моральные основы оказались подорванными, и жизнь в доме, я помню, стала смахивать на хождение по яичной скорлупе с тем, чтобы не повредить ее. О романе они говорили в возмущенном тоне — «Эта книга!».

5 февраля Эрнест написал родителям из Швейцарии. Он сообщал новости о своей семейной жизни — он и Хэдли с прошлого сентября живут порознь, хотя они с Хэдли и остались друзьями. Она и Бэмби счастливы и чувствуют себя хорошо. Эрнест распорядился, чтобы весь гонорар за «И восходит солнце» пошел Хэдли, а книга продается хорошо. К январю вышло уже пять изданий общим тиражом 15 тысяч экземпляров, кроме того, роман издается в Англии под названием «Фиеста».

ИЗ КНИГИ «ВОТ ТАК ЭТО БЫЛО»

«Трансатлантик ревью» — эмигрантский журнал, пользующийся успехом у публики с тонким вкусом, издавал Форд. То ли в целях рекламы, а скорее всего просто потому, что любил компанию, он раз в неделю приглашал друзей и знакомых к себе в контору на «чашку чая». Типография Уильяма Бёрда находилась на первом этаже, а фордовская контора помещалась над ней на галерее. За покрытыми свинцовой пылью окнами степенно катила свои воды одетая в камень, обсаженная деревьями Сена.

На одном из таких приемов я и познакомился с Эрнестом Хемингуэем, который помогал Форду в издании журнала. Его выделяла застенчивая, подкупающая улыбка; по-видимому, он мало интересовался остальными гостями. На нем были теннисные туфли — моя излюбленная обувь — и залатанный пиджак. Мне показалось, что я никогда еще не встречал американца, на котором так мало сказались бы парижская жизнь. <...>

В Латинском квартале появился Натан Аш — сын Шолома Аша; вскоре он зашел ко мне показать свои рассказы. У него с собой был их целый ворох, который он тут же, не дожидаясь приглашения, вытащил из кармана. Рассказы, кстати, были неплохие. Язык его был сдержан, но при этом он явно смаковал сцены насилия. Чего ему не хватало, так это широты художественного обобщения, которая дается созерцательной жизнью, однако говорить об этом молодому человеку не имело смысла. Я постарался ободрить его, но не предложил послать рассказы в журнал «Брум».

Спустя какое-то время Аш отнес их Хемингуэю, успешному прослыть хорошим стилистом, хотя написал он к

тому времени всего несколько небольших рассказов. Эрнест внимательно прочитал рассказы Аша, затем засел с ним и разобрал все их, параграф за параграфом. Меня удивило не столько то, что замечания Хемингуэя были полезны, сколько его готовность помочь.

Столкнувшись как-то с Эрнестом в кафе «Дом», я предложил ему пообедать вместе, и мы условились встретиться в «Ла Негр де Тулуз». Решено было, что он приведет свою жену, а я приду с Лили.

У жены Хема, Хэдли, были рыжеватые волосы и всегда готовая сорваться с губ улыбка. Лили она сразу же понравилась. Мы съели омара по-американски, выпили две бутылки «Прули Фуссе» и заели все сыром Бри. Хем много рассказывал о Форде, на приеме у которого мы с ним познакомились; сотворять себе кумиров было явно не в его духе.

На следующий день мы навестили Хемингуэев в доме на улице Нотр-Дам-де-Шан. Их маленький сын Бэмби был научен подымать кверху кулачки и делать страшное лицо. Мне, однако, показалось, что выражение лица Бэмби, на вкус его отца, могло бы быть и посвирепее. Хем говорил о профессиональном и любительском боксе. Я сказал ему, что предпочитаю теннис, и мы сговорились поиграть, когда подсохнут корты.

Наверное, спустя неделю нам удалось сыграть несколько сетов на платных кортах неподалеку от тюрьмы, где хранится гильотина. Играл Эрнест неважно. Мешало поврежденное колено и дефект зрения в одном глазу — следствия ран, полученных в Италии, когда он служил там в корпусе Красного Креста. Но он очень старался и так радовался каждому удачному удару, что я, несмотря ни на что, получил большое удовольствие. Еще большее удовольствие получил я на следующий день в парной игре, когда к нам примкнули Пол Фишер, высокий молодой архитектор, и Билл Буллит.

С каждой новой встречей я проникался все большей симпатией к Эрнесту. Меня восхищало в нем соединение твердости и чуткости, увлечение спортом и беззаветная преданность литературе. Я давно подозревал, что одна из причин, почему в Соединенных Штатах так мало хороших писателей, объясняется широким распространением мнения — в чем отчасти повинен Оскар Уайльд со своей лилей, — что в художниках преобладает женское начало. Остается только радоваться, что литературой стали заниматься люди, подобные Хемингуэю. <...>

А потом наступил апрель. Воды, залившие луга в пойме Сены, вошли в свои берега. Под лучами прячущегося в легкой дымке солнца зацветали крокусы и нарцисы.

С течением времени Лили начала отзываться о Хемингуэе с некоторым скептицизмом, вероятно, в противовес моим восторгам. Она утверждала, что за «румяным, белозубым, непосредственным, атлетическим, дружелюбным» фасадом он скрывает некоторые свои слабости, и что он слишком уж усердствует, изображая эдакого свирепого, волосатого, очень мужественного тугодума — все для того, чтобы спрятать сострадание, жалость и нежность к себе самому.

И еще она находила, что его притворство становится скучным.

Наши периодически вспыхивавшие споры достигли высшего накала, когда Хем купил «Ферму» Миро. Лили заявила, что возмущает ее вовсе не его вкус, а душевная глухота. «Как только Хэдли это терпит?! Ей же нечего носить. Не в чем показаться на улице. А ведь деньги-то ее...»

Я пытался защищать Хема, доказывал, что вопрос вовсе не в том, хорошо или дурно он поступил, покупая картину. Просто он такой, какой есть. Полотно это нужнее Хему, чем новый костюм. «Может, это и слабость, но в этом весь он. Пьет хорошее вино, а на приличную еду денег не хватает. Покупает картины и латает штаны. Ничего не поделаешь, таков уж он уродился».

— Притворство одно, — сказала Лили.

— А что, по-твоему, не притворство? — спросил я. <...>

Теперь, тринадцать лет спустя, мне казалось, что пусть уж лучше я сам буду боксировать, чем наблюдать, как это делают другие. Хему же в боксе нравилось все, от начала до конца.

Уже позднее мне пришло в голову, что без своей удивительной способности до последней капли впитывать любой жизненный опыт, Хем никогда не достиг бы таких стилистических высот. В отличие от Берко, Коутса, Арагона и многих других прозаиков, публиковавшихся в журнале «Брум», Хем в своих рассказах не описывал удивительных событий, необыкновенных чувств или странных людей. Он писал об обычных вещах, происшедших с ним, потому что знал: любое событие, если пристально к нему приглядеться, окажется не похожим ни на что, уже некогда случавшееся. Он пытался доподлинно передавать то, что было, и стремился прежде всего к точности, а не к красоте слога или другим достоинствам. Таким образом,

рыбная ловля в пересказе Хема становилась небывалым событием, даже в глазах людей, которые полжизни проводят за этим занятием. И вот еще особенность — умение вызвать к жизни какой-нибудь эпизод или мгновение так, чтобы читатель ощутил его острее, чем саму жизнь. Это безусловно привлекало всех.

Однако рассказы неизменно продолжали возвращаться к нему. Правда, два или три взял журнал «Дабл дилер», печатавшийся в Новом Орлеане, а Боб Мак-Элмон и Уильям Бёрд издали сборничек в мягкой обложке, но все это приносило мало денег, а то и вовсе ничего. С деньгами же у Хема было туговато, так как фордовский «трансатлантик ревью» находился на пороге банкротства.

Я не раз задумывался, почему Хем никак не займет достойного его места в литературе. Естественно, разговор о его сочинениях должен был рано или поздно возникнуть у нас. Он и возник как-то дождливым вечером в ресторане на бульваре Монпарнас, куда мы отправились поесть устриц. Мы взяли дюжину устриц и выпили две бутылки «Прули Фуссе», а затем, исполненный благих, хотя и несколько подогретых алкоголем намерений, я отважился высказать несколько замечаний, в которых, как мне казалось, содержалась конструктивная критика. Вне всякого сомнения, не свойственную мне прежде уверенность в правоте своих суждений сообщал мне тот факт, что мой роман был принят одним из крупных издателей.

— Чего в твоих рассказах не хватает, — высказал я предположение, — так это женщин. Женщины и насилие — вот что любит читатель. Насилия у тебя с головой хватает. Значит, дело за женщинами.

— За женщинами? — переспросил Хемингуэй.

— Тебе, можно сказать, повезло, что ты с первого захода так удачно женился. За это надо Бога благодарить. Но человек, который счастлив в семейной жизни, многое упускает.

— А именно?

— Например, — ответил я, — ему страдания недостает.

Хем потемнел и окаменел лицом. Я сообразил, что сказал что-то не то, но мне было невдомек, что я мог серьезно обидеть его, однако губы у него растянулись, слегка обнажив зубы.

— Значит, я никогда не страдал. Так, значит, ты думаешь?

Я жизнерадостно улыбнулся. Мне вовсе не хотелось заводить спор по поводу его страданий. Я любил поспорить насчет вещей, в которых, как мне казалось, я разбираюсь — ну, например, о кое-каких абстракциях. Но Хем

вовсе не собирался спорить об отвлеченностях. По его мнению, все это была чушь собачья.

— Возьмем еще бутылку, — сказал я, разливая по рюмкам остатки вина. — А то дождь все идет и идет. К черту страдания!

Гнев Хема совершенно прошел. Он наморщил лоб и опять сказал:

— Итак, ты считаешь, что мне недостает страданий... Что я так, провинциал какой-то...

— Просто я думал, что тебе немного больше повезло, чем другим, — сказал я.

Но он не слушал. Он рассказывал об одной девушке. Англичанке, которая служила в Красном Кресте в Италии. Она ухаживала за ним, когда его привезли в госпиталь. Они полюбили друг друга. Из этого ничего не вышло. Она оставила его, уехала. Но он до сих пор не может выкинуть ее из головы. Скупое — Хем не любил многословия — он описывал ее волосы, ее грудь, ее тело. Описывал во всех подробностях эту запавшую ему в душу девушку.

Для меня это звучало убедительно. Я был убежден твердо, как никогда, что девушка эта заставляла Хема страдать. Я вертел в пальцах бокал, не зная, что сказать. Сомнений быть не могло, Хему довелось заглянуть в бездну отчаяния. Нет, не по недостатку опыта не впускал он женщин в свои рассказы, а по какой-то другой причине.

— Ну, конечно, — сказал я. — Я мог бы сам догадаться, что может быть тяжелее. И ни один человек, который чего-то стоит, не избежит этой участи.

А Хем все говорил и говорил.

ИЗ КНИГИ «ВСЕ МЫ БЫЛИ ТОГДА ГЕНИЯМИ»

Примерно год спустя многие из нас оказались в Париже, и, вернувшись из Лондона, я заговорил о поездке в Испанию (Хемингуэй очень хотел увидеть бой быков); в конце концов, после целой недели разговоров на эту тему, мы прямым курсом направились в Испанию. У Хемингуэя и Хэдли была страсть к ласковым прозвищам. «Пной папа» (Хемингуэй) с любовью попрощался с «Шустрым котиком» (Хэдли), с «Бэмби» (их сыном) и «Гуттаперчевым щеночком» (его собакой), и мы вдвоем, основательно нагрузившись виски, сели в поезд.

На следующий день на пути в Мадрид наш поезд остановился ненадолго на какой-то промежуточной станции. На путях рядом с нами стоял открытый вагон-платформа, и на ней лежал объединенный червями труп собаки. Чувствуя себя не очень бодро-весело, я отвернулся, но Хемингуэй прочел мне целый трактат о необходимости реально относиться к действительности. Во время войны ему приходилось видеть груды человеческих трупов, точно так же изъеденных червями. Он посоветовал мне внимательно и по-научному взглянуть на труп собаки. Он деликатно втолковывал, что мы, наше поколение, должны приучать себя к проявлениям мрачной действительности. Я сразу припомнил, как Эзра Паунд как-то рассказывал, что Хемингуэй постоянно занимается «самозакаливанием». Наконец он сказал: «Черт возьми, Мак, ведь ты же писатель-реалист. Почему же ты хочешь изобразить нас романтиками?»

Я процедил сквозь зубы какое-то ругательство и отправился в вагон-ресторан заказывать виски. Перед глазами все еще стояла эта дохлая собака, даже вонь от нее я чувствовал в своих ноздрях, а ведь я повидал немало дохлых собак, кошек и человеческих трупов, вынесенных приливами в нью-йоркскую гавань, когда работал на ле-

совозе. А через несколько лет Поль Розенфельд сказал мне, что Хемингуэй рассказывал ему об этом случае в подтверждение своей убежденности в том, что я романтик. Ну а сам Хемингуэй был в достаточной степени реалистом, чтобы присоединиться ко мне в вагоне-ресторане и выпить виски, хотя наверняка успел до этого проанализировать свои ощущения «от вида изъеденной червями дохлой собаки на открытой платформе в Испании, пытаясь при этом понять, что же заставляет содрогаться от ужаса такого парня, как Мак-Элмон, столько повидавшего в жизни».

В тот день, когда нам предстояло увидеть наш первый бой быков, мы решили, что судьба принимавших участие в бое лошадей наверняка нас сильно расстроит, поэтому перед тем, как занять свои места, мы выпили по стаканчику виски. Мы и с собой прихватили бутылку, надеясь, что несколько глотков виски успокоят нас от всех треволнений. Моя реакция на это зрелище была совсем не той, какую я ожидал. Поначалу все происходящее казалось совершенно нереальным, как будто происходящим на экране. Первый бык выскочил на ринг в дикой ярости. Когда выпустили лошадей, он пошел на них лобовой атакой и, подняв на рога, перекинул первую лошадь через голову. Но не пропорол ее рогами.

Вместо того чтобы испытать естественное чувство отвращения, я вскочил со своего места и издал громкий вопль. Все происходило настолько быстро, что я не успевал думать о страданиях лошадей. Однако, когда одна из лошадей в ужасе поскакала по арене, топча свои собственные внутренности, мне это решительно не понравилось. С той поры я сделал открытие, что многие наиболее рьяные поклонники боя быков, а одного из них — брата тореадора — я знал лично, просто по-иному смотрят на такие вещи. Хемингуэй сразу стал поклонником этого зрелища, страстным его любителем, энтузиастом, вознамерившимся узнать о нем досконально все. Из его книги о бое быков («Смерть после полудня»), в которой он так воинственно выступает в защиту этого зрелища, я вынес впечатление, что его стремление полюбить и все узнать об искусстве боя быков возникло под влиянием Гертруды Стайн, расхвалившей это зрелище, и его веры в пользу «самокалывания». Задолго до того лета 1924 года, когда мы с Хемингуэем впервые увидели бой быков, уже очень многие англичане и американцы были страстными его поклонниками, но именно Хемингуэй поднял его на высоту литературного и художественного опыта.

Мое отношение ко всему, что связано с боем быков,

определилось уже к концу того дня и осталось неизменным и сегодня. Мне претит жестокость толпы и то, что зрители швыряют на арену циновки и предметы одежды, когда матадорам грозит наибольшая опасность. Зрители при этом ничем не рисковали. Бык на арене — великолепное животное, этакая хрипящая машина, черный ступок скорости и мощи. Матадоры хорошо исполнили свой танец, грациозно двигались и всерьез играли со смертью. О роли лошадей и отношении к ним я решил не упоминать, ибо оно служит подтверждением жестокости испанцев, которой, по всей видимости, у них не больше, чем у французов или англосаксов.

Билл Бёрд, который сотрудничал в то время со мной в книгоиздательском деле, присоединился к нам с Хемингуэем в Мадриде, и мы побывали в Гренаде, Севилье и Ронде и повидали еще не одну корриду. Бёрду тоже нравился бой быков, но ни он, ни я не занимались суровым «самозакаливанием». После первого же боя быков мы с Биллом стали воспринимать их как нечто вполне естественное, как будто всю жизнь только и делали, что смотрели их и критиковали матадоров столь же безжалостно, как и любой испанец.

До своего отъезда из Парижа Хемингуэй очень увлекался боксом. Когда он шел в кафе, он обычно подпрыгивал, боксируя с тенями, губы его шевелились, поддразнивая воображаемого противника. Вернувшись из Испании, он сменил амплу боксера на роль участника корриды. Он постоянно занимался упражнениями с воображаемой мулетой и шпагой. Потом он отправился в Ки-Уэст, где занялся ловлей барракуды, — интересно, с тем же пылом, как до того корридой, а затем, вернувшись из Африки, — охотой на тени львов? Его всегда отличала мальчишеская страсть быть жестким парнем, бывальым боксером, сильной личностью.

Это боксирование с тенями имело целью, конечно же, держать себя в форме, и, когда несколько лет спустя Морли Каллагэн, тоже любитель бокса, приехал в Париж, они с Хемингуэем частенько устраивали боксерские бои. Рассказ об их знаменитом бое в 1929 году дошел до меня разными путями: от Хемингуэя, от Каллагэна и от Скотта Фицджеральда. Из рассказа Каллагэна следовало, что рефери должен был быть Скотт, предполагалось 3 или 4 раунда по 2 минуты каждый. Хемингуэй был выше и тяжелее, Каллагэн — соответственно ниже и казался полным и каким-то рыхлым. Скотт был уверен, что Хемингуэю достаточно будет нескольких минут, чтобы нокаутировать Каллагэна, не выставляя его в унижительном виде. Однако

с первого раунда все пошло совсем не так, и Скотт забыл объявить о его окончании. Каллагэн съпал ударами, прижав Хемингуэя к веревкам, Хемингуэй тяжело дышал, а бой все не прекращался. Ни один из боксеров не желал признать, что время раунда истекло, но наконец после долгой задержки Скотт объявил, что бой окончен. Каллагэн был уверен, что Хемингуэй считал, будто Скотт намеренно забыл о времени.

По версии Хемингуэя, всю предыдущую ночь онпил напропалую и перед матчем принял для бодрости еще три порции виски, отчего его и подвело дыхание. В конечном итоге ни Хемингуэй, ни Каллагэн не могли решить, чем же закончился их бой. Доказал ли он, что один из них лучший, чем другой, боксер, но не такой хороший писатель, или другой — и лучший писатель и лучший боксер, и кого Скотт подвел больше — одного или другого? В ту пору Хемингуэю казалось, что Каллагэн подражает его стилю, и Каллагэн действительно писал тогда о чемпионах-боксерах, гангстерах и молчаливых бандитах. Но Ринг Ларднер писал обо всем этом задолго до них обоих. Гертруда Стайн уже давно выступала в роли «ребенка-репетитора», а Шервуд Андерсон вдохнул «душу» и наивысшую чувствительность в сердца великовозрастных простаков. Скорее всего их писательский поединок закончился тогда вничью, и финальный колокол еще не прозвонил.

Каллагэна, писателя, по общему признанию, весьма прозаического и даже слегка скучноватого (хотя кое-где на скуку нынче мода), интересуют, видимо, более широкие и более нормальные стороны жизни. По крайней мере лишь в немногих из его произведений мы находим самооправдание и анализ себя самого или тех реакций и эмоций, которые, по его мнению, ему следует иметь. Хемингуэй же вечно противоборствует с самим собой и объясняет свои эмоции, так что возникает желание задаться вопросом, не вступил ли он сам с собой в соглашение, определяющее, какие чувства должен он испытывать в тех или иных обстоятельствах: здесь быть профессионально храбрым, там — жестким, где-то еще — благородным и томно-нежным — жесткий мужчина, такой сдержанный, но Боже, такой тонкий и чувствительный!

В 1924 году в американских журналах и газетах стали во множестве появляться статьи, героями которых были утерявшие корни, порвавшие с родиной изгнанники, которые обосновались в основном в Париже и вели, по утверждению авторов статей, праздную и беспутную жизнь. Один американский журналист, тоже давно уже живший в Париже, рассердился не на шутку и попросил меня со-

ставить список иностранцев из сферы искусства и литературы, которые жили в Париже последний год или около того. Он попросил также отметить, какую работу они проделали за это время и в чем состояло их беспутство, если таковое вообще было. Однажды вечером вместе с несколькими другими иностранцами, уже прожившими какое-то время в Париже, мы составили такой список из 250 англичан и американцев (кое-кто из них были авторами тех самых американских статей, направленных против так называемых парижских изгнанников). Мы занесли в список только активно работающих писателей и художников; один из этих писателей был впоследствии удостоен Нобелевской премии. Книги нескольких других были названы лучшими клубом «Книга месяца» или стали бестселлерами, а сами они — признаны великими писателями.

Нет нужды защищать произведения, созданные парижской эмиграцией. Майна Лой, художник и литератор, между делом приводя в жилой вид свою небольшую и мрачную квартиру, пришла к решению открыть магазин рядом с Елисейскими полями. Известная своей красотой и острым, пожалуй, чересчур острым умом, Майна обладала явным талантом изобретать фантастические вещи. Она делала абстрактные картины и композиции, наклеивая друг на друга разной формы цветные бумажки; она переводила на стеклянные шары и бутылки архаические картинки или карты, вставляла внутрь лампочки и продавала их как настольные лампы. Она придумала скрытое белое освещение, перерыла антикварные лавки в поисках средневековых картинок и гравюр и, зарисовав и раскрасив таким образом интерьер своего магазина, занялась бизнесом. К счастью, ей удалось добиться определенного коммерческого успеха.

Лоренс Вайл устроил выставку своих картин в ее магазине, которую посетила Айседора Дункан. Она выпила довольно много пунша, которым там угощали, а затем перешла в бар-бистро по другую сторону улицы, чтобы добавить еще, и, вернувшись, стала пространно говорить о том, какие картины собирается приобрести. Никто не принимал всерьез бедную Айседору, которая в те времена сама жила почти исключительно на благотворительность. Но магазин процветал. Заказы приходили из Англии и Америки, Майна заключала контракты на континенте и получила патенты на многие из своих композиций. Было время, когда у нее работало до дюжины французских девушек и сама она ежедневно трудилась вместе с ними. Джуна Барнс несколькими годами позже с таким же рвением издавала «Ридер» и «Женский альманах», который

сама же и иллюстрировала. Цветные иллюстрации, сделанные рукой Джуны, украшают сорок книг.

Не менее тяжело трудился и Уильям Бёрд, ибо помимо работы в качестве журналиста он занимался издательским делом и имел собственный ручной печатный станок. И хотя мы с ним объединились, многие из выбранных мною книг были такими толстыми, что мы отдали их печатать в Дижон Дарантье. Бёрд интересовался высокой печатью, книжным переплетным делом, у него была типография на набережной Анжу, рядом с домом, где размещался «трансатлантик ревью» Форда Мэдокса Форда. Поблизости был ресторан, который Шервуд Андерсон и Дос Пассос облюбовали в первые годы после войны, когда он был еще простым бистро с очень хорошей кухней. Форд работал как вол, но обожал чаепития и всякие другие приемы. Еще с той поры, когда он издавал «Инглиш ревью», у него осталась мечта стать «отцом литературы», к которому молодые писатели понесут свои рукописи и пойдут за советом. Чаепития у Форда были не очень интересными, но мы с Бёрдом, часто бывая в своей типографии, заглядывали и к нему.

В тот год умер Конрад, и вскоре после его смерти Форд разослал телеграммы некоторым писателям с просьбой написать о нем и о его месте в английской литературе. Среди них были и Мэри Бутс и Хемингуэй, с которыми я позже разговаривал об этом. Оказалось, каждый из нас полагал, что его статья будет единственной, и насколько я помню, никто из нас никогда не был большим поклонником Конрада. Но Форд ухитрился выпустить этот номер «трансатлантика» таким, что вся слава Конрада выглядела лишь отражением славы самого Форда, ибо он почему-то оказался учителем Конрада в английской прозе и соавтором его лучших романов. <...>

После поездки в Испанию в 1924 году Хемингуэй сделался большим энтузиастом корриды. В одном из его ранних рассказов кто-то из персонажей говорит: «Не смешно, если уже больше не можешь кататься на льжах». Другой отвечает: «Да, не смешно, если уже больше не можешь кататься на льжах». Теперь он перенес эту манеру диалога вместе с интонацией американской речи в рассказы о бое быков. Это была сильная, прямо-таки атлетическая проза, но написанная в том же духе: «Не смешно, если ты уже больше не можешь смотреть бой быков».

Он так много говорил о бое быков, живописуя его как величайшее искусство, поучительный по красоте танец, подчас кончающийся смертью, что как-то летом несколь-

ко человек решились провести неделю фиесты в Памплоне в Испании. Съездив на несколько дней в Египет и вернувшись обратно через Афины и Константинополь, я тоже поспешил в Памплону, где уже были Дональд Огден Стюарт, Дос Пассос, Уильям и Салли Бёрд, молодой Джордж О'Нил, Хэдли и Эрнест Хемингуэй и капитан — английский чемпион из Сандхерста, с которым Хемингуэй познакомился в Милане после окончания войны. Сошлись они тогда, повстречавшись в клубе, на том, что в послевоенные годы нашему потрясенному войной и утерявшему всякие иллюзии поколению будет очень трудно приспособиться к прозе и скучной рутине мирной жизни.

Дни и ночи стояла жара, горячим потом исходившая из плоти и костей. Но уже всех обаял неистовый дух фиесты, и посему каждый стремился поглотить как можно больше перно и забыть о жаре. До полудня в первые два дня до начала корриды в городе было тихо и спокойно, после полудня террасы заполнялись людьми. После ленча улицы снова пустели, а в шесть вечера начиналось праздничное веселье. По городу бродили толпы крестьян, приехавших с гор с гирляндами чеснока вокруг шеи и с перекинутыми через плечо разной формы бурдюками из козлиной кожи с вином. Некоторые бурдюки были сделаны в форме лодок, другие — как куклы или животные. Чтобы выпить из бурдюка, нужно было высоко поднять его одной рукой, а другой — сдавить, и тогда тонкая струйка вина, отдающего козлятиной, текла прямо в раскрытый рот. Это требовало некоторых навыков, но местные жители были тут настоящими виртуозами. Они группками двигались то в одну, то в другую сторону, свистя в свистульки и играя на более или менее примитивных инструментах. То там, то тут образовывался круг, и начинались танцы. У Дональда Огдена Стюарта неожиданно прорезался дар комедианта с прирожденной склонностью к клоунаде, и после первого своего сольного танца он стал другом крестьян всей округи. Он знал, как обыграть свою внешность янки-профессора. До американцев ему ничего не стоило довести свои шуточки и остроты «свихнувшегося придурка», но он как-то ухитрился довести, не зная языка, смысл своего комедийного представления и до испанцев.

В первую и вторую ночь все собравшиеся в Памплоне англичане и американцы постоянно теряли друг друга. Но в конце концов потерявшийся или сам находился и присоединялся к кому-то, или его подхватывала какая-нибудь группа бродячих музыкантов или горцев, и пляски и возлияния начинались с новой силой и продолжались до рас-

света. Город спал далеко за полдень. Затем все мы собирались и отправлялись инспектировать быков, которые будут участвовать в корриде.

На третье утро, в день первого боя быков, к шести часам все уже были на ногах и отправились смотреть прогон выбранных на тот день быков. Сотни мальчишек и юношей стояли вдоль огороженной с обеих сторон улицы или бежали впереди быков, которых гнали на арену. Несколько возбужденные и одуревшие быки боднули и отшвырнули к ограде, но, по счастью, никто серьезно не пострадал и не погиб, как это иной раз случается. Когда свирепых быков загнали в загоны, где им положено было дожидаться послеполуденной корриды, начались любительские забавы. На арену выпускали теленка или некрупного молодого вола или, правда, редко, годовалого бычка. Сотни любителей, жаждущих вступить в схватку, выбегали на арену, и теленок, молодой вол или бычок в панике носились по арене, иногда атакуя, но чаще в поисках возможности улизнуть.

Хемингуэй очень любил поговорить о храбрости, о том, что человеку необходимо испытать себя, чтобы самому себе доказать свою способность к героическим поступкам. Не знаю как, но Хемингуэя уговорили, чтобы он подверг себя такому испытанию. Выйдя на арену, он своим плащом попытался вызвать на себя атаки вола, но две с лишним сотни людей на арене тоже пытались завладеть вниманием одурманенного страхом животного. Хемингуэю все же удалось завладеть воллом, и, схватив его за рога, он попытался повалить его на землю. И ему впрямь удалось под одобрительные вопли толпы пересилить животное, но, когда вол высвободился, он побежал прочь, издавая отчаянное мычание, жалобно помахивая хвостом и с выражением явной обиды на морде.

Билл Бёрд и Дос Пассос оказались либо самыми храбрыми, либо просто ленивцами. Во всяком случае, они не вышли на арену, чтобы поиграть с телятами. Но Джордж О'Нил, которому в ту пору едва исполнилось семнадцать, Дон Стюарт, Хемингуэй, капитан-англичанин из Сандхерста и я — мы все были на арене. В первый день только Хемингуэй выдержал испытание. В мою задачу входило лишь одно — увернуться от рогов, остальные тоже старались не попадаться на глаза разъяренному животному. Но вечером Хемингуэй снова завел разговор о храбрости, на сей раз с Доном Стюартом. Стюарт поделился со мной своим убеждением, что храбрость следует проявлять только в кризисных ситуациях, если, конечно, есть что проявлять. Но на следующий день Стюарт был полон решимо-

сти «проявить» ее, что он и сделал. Молодой вол, разбежавшись с большого расстояния, налетел на него и повалил на землю. Вола почти тотчас же оттащили в сторону. Стюарт сказал, что никаких повреждений не получил, и в тот же день отправился смотреть корриду. Но вечером он уехал в Париж. А несколькими днями позже от него пришло письмо, в котором он сообщил, что в результате нападения вола у него сломано одно из ребер.

Я слишком много пил перно и отдающего козлятиной вина, заедая все это сытной испанской пищей. И мне просто прстила мысль, что теленок, вол или бычок пропорют мой живот. Поэтому я только и делал, что старался вовремя убраться с пути этих представителей крупного рогатого скота, а когда мне казалось, что они преследуют меня, я прыгал на забор. Но наш капитан из Сандхерста был человек другого калибра. Однажды вечером, когда мы совершали с ним прогулку в Фортресс-Хилл, он признался, что во время войны у него было множество случаев проявить храбрость, но определить, обладаешь ли ты таким качеством, заведомо невозможно. На следующий день мы вышли на арену. Он стоял в самом центре и ждал, какое именно животное выпустят. И вот появился внушительных размеров годовалый бык, воинственно размахивавший хвостом и раздувавший ноздри от возбуждения. Наш доблестный британец заявил, что он готов к действию, и стоял как вкопанный, и мне стало ясно, что он не уйдет и рог быка проткнет его. Я выбежал на арену, предусмотрительно держась позади него, и заорал: «Беги, глупец чертов! Этот бык переломает тебе все кости!» Мы забежали за барьер, а этого быка очень скоро вывели с арены. К этому моменту Билл и Салли Бёрд успели отпустить столько шуточек про нас, бесстрашных бойцов с быками, что ни я, ни капитан не чувствовали больше порыва снова продемонстрировать свою храбрость.

Бои, которые вели искусные матадоры, нравились всем членам нашей группы, но ни один из нас все же не стал таким страстным поклонником этого зрелища, каким заделался Хемингуэй. По-настоящему выдающиеся корриды можно увидеть крайне редко: нужно быть завсегдатаем, чтобы хоть несколько раз попасть на истинно прекрасное зрелище. Во всем остальном нет ничего более вульгарного и отвратительного, чем плохой бой быков, а неуклюжее убийство этих животных даже ужаснее, чем та роль, которая выпадает в этих боях на долю лошади. Растерянное выражение глуповатого недоумения на морде быка просто надрывает сердце, особенно если это храбрый бык, который просто не хочет драться и нападать на

лошадей. Чувствуй, что все быки от природы драчуны и задиры. Даже тогда, когда их мучениями доводят до полного бешенства, некоторые все равно остаются храбрыми и гордыми животными и борются только за то, чтобы их оставили в покое.

Но вот фиеста в Памплоне окончилась, и Билл, Салли и я сели в автобус и отправились в Бургете — испанский городок близ французской границы. Небольшой и тихий, с одной-единственной непритязательной деревенской гостиницей и всего несколькими домами. Отары овец и коз паслись на раскинувшихся вокруг холмах, погонщики мулов свозили на ослах вниз по дороге вязанки дров и винные бурдюки. Выше в горах, в нескольких милях от города, находилась старая шахта и ручей, в котором хорошо удилась форель. Через несколько дней к нам присоединились Хемингуэй и Хэдли, и мы ходили туда на рыбалку, и именно там Хемингуэй однажды придумал свой рассказ «На Биг-Ривер». Он так углубленно размышлял, о чем должен думать человек, который удит рыбу, и о чем должен думать Бёрд и я, что упустил очень много форелей, зато набросал главы своего рассказа. Кое-кто объявил этот рассказ большим произведением. Но мне он кажется надуманным и искусственным, и я не верю, что он в нем искренен. На мой взгляд, он очень хороший бизнесмен, искатель популярности, который все заранее предусматривает и просчитывает и скорее использует людей, нежели по-настоящему интересуется ими.

Однажды вечером, во время прогулки в Ронсеваль, местечко, овеянное средневековой романтикой и легендой, песнь о Роланде-Хемингуэе звучала очень печально, ибо он испугался, что снова станет отцом. Он убеждал Хэдли, что вовсе не смешно иметь в его возрасте много детей. Да и ей уже больше не быть хорошим ему партнером. Он был настроен весьма трагически, и Хэдли тоже расстроилась. Наконец Салли Бёрд, шедшая впереди с Биллом и со мной, сказала Хемингуэю: «Прекрати вести себя как дурак и плакса. Ты сам виноват. Либо делай так, чтобы детей не было, либо получай их».

Несколько дней в Бургете прошли безмятежно и идиллически: места вокруг были прекрасные, мы много гуляли. Потом приехали наш британский капитан, Дос Пассос и Джордж О'Нил, и на следующий день троица и я с ними отправились в Пиренеи, намереваясь за две недели нашего похода дойти до конечной цели — маленькой республики Андорры. Хемингуэй прошел с нами около пяти километров, а затем, повинувшись долгу, пошел обратно, к жене.

ИЗ КНИГИ «ХЕМИНГУЭЙ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ДРУГА»

В баре он оказался рядом со мной. Высокий. Лет двадцати пяти, так мне показалось. Небритый и давно нестриженный. Его спортивный пиджак выглядел так, будто он в нем выспался. Тем не менее было очевидно, что здесь он человек случайный. Он с размаху протянул мне большую руку. Наверное, мало кому понравилось бы, если б кто-то замахнулся на него со зла такой ручищей. Рукава пиджака были ему коротки, из них высовывались широкие запястья, густо покрытые черными волосиками. Короткие черные усы повторяли рисунок его же бровей. Лицо расплылось в улыбке. Как мне показалось, очень приветливой. Я поморщился, когда он стиснул мне руку. Ничего себе рукопожатие!

— Привет! — сказал он.

— Привет! — сказал я.

— Вспомнили меня? — сказал он.

— Еще бы! — сказал я.

Кто б он мог быть? — думал я. Видимо, в моем заведении на Монмартре познакомились. Я содержал на Холме ночной бар для американцев, и меня все знали. Парень был янки — это можно было определить по тому, как он держит стакан. Вцепился мертвой хваткой. Будто боится, как бы не отняли. Но это ровным счетом ничего не значило. В Штатах был в то время объявлен сухой закон, и все туристы до одного пили точно так же. Будто боялись, как бы не отняли у них виски. Ничего себе закон! — подумал я.

Вслух же сказал:

— Выпьем?

— Отчего же, — сказал он.

И одним глотком допил то, что оставалось у него в стакане. Что он там пил, я не видел. Стакан был скрыт в огромной руке. Альфонсо принес нам два стаканчика лучшего виски. Стаканчик, еще не опустившись на стойку,

скрылся в его лапиде. Ничего себе ручки! Интересно, чем он занимается, думал я. Может, из скульпторов с Левого берега. Для туриста бедноват. Скорей всего мы с ним познакомились в каком-нибудь баре. Не дурак выпить. Надо бы послушать, что он еще скажет.

— Читал, что вы там пишете в «Бульвардье», — сказал он.

Ага, подумал я, это уже кое-что. Мы с Эрскином Гвином выпускали на Елисейских полях небольшой журнальчик, рассчитанный на изысканный вкус, и я был в нем ведущим автором. Люди читали мои вещички в «Бульвардье» и затем приезжали на Холм познакомиться с автором. Я вел, так сказать, двойную жизнь — днем я литератор, а ночью торгош. Поговорить о своих произведениях я любил. Поэтому, повесив трость на никелированную трубку, опоясывающую стойку, я попросил еще две порции виски. Ни один автор не устоит перед возможностью послушать неллицеприятную критику из уст незнакомца.

— Ну и как — понравилось? — поинтересовался я.

— Нет, — ответил он.

— Да? — сказал я. — А чем, собственно, вы здесь занимаетесь, помимо того что пьете?

— Пишу, — сказал он.

— Что? — спросил я.

— Книгу, — сказал он.

— Да что вы! — сказал я.

А сам подумал: ну и нахал! Небось пошатался по Парижу недели три и теперь книгу, видите ли, о нем пишет. Много таких охотников. Целыми днями сидят на веранде кафе «Дом», хлещут виски и перно и пишут книги о Париже. Но до издания этих книг дело никогда не доходит. Я прожил в Париже шесть лет и до сих пор не знаю о нем достаточно, чтоб можно было книгу написать. Может, жизнь так устроена — чем дольше ты где-то живешь, тем меньше стремишься написать об этом месте книгу.

— Как вам тут — нравится? — сказал я.

— Нет, — сказал он.

И что, думаю, он ломается? От таких лучше держаться подальше. Кто когда-нибудь встречал американца, которому бы не нравился Париж? И если ему мои вещи не нравятся, ничего удивительного. Видно же, что вкусом он не блещет. Я снова повесил палку себе на руку и вежливо ему улыбнулся.

— Рад был снова встретиться с вами, Доктор!

Он оглушительно захохотал и хлопнул меня по спине. Я до сих пор этот удар ощущаю.

— Хемингуэй моя фамилия, — сказал он.

Нет, как вам это нравится, подумал я. Это же Эрнест Миллер Хемингуэй из Оук-Парка. Где еще найдешь человека с такой фамилией. С войны его не видел. Слышал, что он где-то в Европе. Мы одновременно вступили во французские санитарные части в семнадцатом. Только он был в итальянском секторе. Говорили, что он завербовался в итальянскую армию и был тяжело ранен. Я опять повесил свою прость на бар, и мы снова пожали друг другу руки. А что, подумал я, чем уж так его рукопожатие отличается?

— Не узнал тебя с накладными усами, — сказал я.

— И поза у стойки тоже непривычная, — сказал он.

Верно, подумал я. Вторую ногу он всегда упирал в никелированную трубку. Не удивительно, что я не узнал его. Видимо, рана сказывается.

А вслух сказал:

— Выпьем?

— Конечно, — сказал он громко.

Ничуть не изменился, подумал я. И припомнил, что в свое время он увлекался любительским боксом. Уверял, что когда-нибудь станет чемпионом мира в классе тяжеловесов. И, возможно, добился бы своего. Небось ранение эту мысль из головы ему вышибло, думал я.

— Все еще в чемпионы метишь? — спросил я.

— Да, — ответил он. — Но только не в боксе.

— В борьбе? — сказал я.

— Нет, — сказал он.

— Так в чем же?

— В литературе.

— Понятно, — сказал я.

Все такой же фантазер, подумал я. Вечно что-то выдумывает. Одно слово — прожектер. Помню, еще мальчишкой в школе он иногда зарабатывал пять долларов, предлагая себя профессионалам в О'Коннелевском гимнастическом зале в качестве партнера для тренировки. И плевать ему было на их весовую категорию. Стойкий парень! Ладно, если ему что надо, он может положиться на меня. Я здесь все входы и выходы знаю. Сами понимаете, каково бывает, повстречать вдруг где-то парня из своего родного города. Можно будет устроить ему какую-нибудь вещичку на несколько номеров в «Бульвардье». Это ему пригодится для престижа. Если он пипет так же хорошо, как пьет, подумал я, заберу его в свою команду.

Вслух я сказал:

— Ну, а чем ты можешь похвастаться?

— Да вот написал несколько штучек для разминки, — сказал он. — Три повестушки и десять стихотворений и еще сборничек из шести новелл под названием «в наше время».

— Нокауты? — сказал я.

— Нет, — сказал он. — Побоялся, что руки коротки. После следующей схватки перейду в профессионалы. Выиграю восьмираундовую встречу, и я в полуфинале. Ну, а потом уж, когда я пробьюсь на большую арену и очищу самые тугие кошельки Соединенных Штатов, куплю себе яхту, дом на тропическом острове и займусь рыбной ловлей.

— Сделаешь себе имя и уйдешь на покой? — сказал я.

— Нет, — сказал он. — Сделав себе имя, я буду защищать его. Знаешь, как дерутся рывками. Первые две минуты раунда ты только увертываешься, а затем, в последнюю минуту, неожиданно наносишь сильный удар, достойный чемпиона.

У него все это рассчитано, думал я. И похоже, что он собирается свой план проводить в жизнь.

— А что это за вещица на восемь раундов, которую ты пишешь, — спросил я.

— «И восходит солнце».

— Повтори, повтори! — сказал я.

— «И восходит солнце», — сказал он.

И восходит солнце, подумал я. Какого черта! Солнце и Париж? Да вы его здесь просто никогда не видите. Оно встает как раз, когда вы ложитесь, а встаете вы, когда оно садится. Странное название для книги о Париже!

— Лучше назови ее «И луна восходит», — сказал я вслух.

— А Гертруде оно нравится, — сказал он.

— Какой Гертруде? — сказал я.

— Гертруде Стайн, — сказал он. — Она меня тренирует.

Господи Боже, подумал я. Болван он, болван и есть! Если он намерен слушать этих оракулов с Левого берега, очень скоро, вместо того чтобы сражаться кулаками, он начнет метать четырехстопные ямбы. Надо немедленно перетащить его через реку и пристроить на Елисейских полях.

— Эрнест, — сказал я. — Как ты смотришь на то, чтобы выступить в одном раунде в пользу «Бульвардье»? Если у тебя есть какая-нибудь коротенькая, не лишенная приятности штучка с изюминкой, я мог бы ее напечатать. Денег, сам понимаешь, немного, но зато престиж.

— Буду рад оказаться вам полезен, — сказал он.

— Тут и тебе будет кое-какая польза, — сказал я. — Если имя Эрнест иллер Хемингуэй появится рядом с именами Синклер Льюис, Скотт Фицджеральд и со всеми нами — это ведь тоже кое-что значит.

— «Миллер» я уже опустил, — сказал он.

— Есть! — сказал я. — Могу называть тебя хоть Детка Хемингуэй, если пожелаешь. А вообще-то что ты пишешь?

Он сделал обманное движение левой рукой, нанес воображаемый удар правой и взял лежащий на стойке конверт.

— На, держи! — сказал он. — Вот тебе короткий боковой! С расстояния всего восемь дюймов, не более, но весомый. Голову даю на отсечение, что это верный нокаут. Только это не для «Бульвардье». Вы небось с испугу пригнетесь, и пролетит рука у вас над головой. Только и всего!

Прямо уж, подумал я. Развернул рукопись и посмотрел на название. Называлась она «Убийць». Вряд ли подойдет нам, подумал я. «Жаркие губы» устроили бы меня куда больше. Я велел принести нам еще по стаканчику виски, чтобы подкрепиться, и занялся рукописью.

Рассказ был построен в форме диалога. Очень неплохо написан, но совершенно беспредметен. Несколько гангстеров вознамерились убить какого-то шведа. Они пришли в кафе, где этот швед имел обыкновение обедать, и, засунув руки в карманы, стали дожидаться его. Затем ушли. Швед пришел позднее и, когда узнал, что они ищут его, потерял аппетит. Пошел домой в меблированную комнату, которую снимал, и улегся в постель. Тем все и кончилось. Бедный швед ждет в постели своей участи. А вы остаетесь в полном недоумении.

— А продолжение где? — сказал я.

— Какое продолжение?

— Продолжение рассказа, — сказал я.

— Да ты что, в самом деле! — сказал он. — У меня стиль такой.

Ну и ну, подумал я. Действительно стиль!

— В этом виде я отсылаю его в Штаты, — заявил он.

— Послушай, Детка! — сказал я. — Если ты хочешь печататься в Штатах, без голливудской концовки тебе не обойтись. Мой тебе совет — заставь своих убийц прошить шведа автоматной очередью. Пусть выйдут из шкафа и ухлопают его, пока он молится. Это уже кое-что.

— Приму к сведению, — сказал он.

Мне не понравился его тон. Но, подумал я, конец он как пить дать изменит. А не изменит, так его же разнесут в пух и прах. <...>

А все равно, было в нем что-то симпатичное. Взять хотя бы тот случай на Зимнем велодроме. Каждую неделю там происходили поединки боксеров, и как-то раз, когда я сидел в обществе двух очаровательных американочек

в переднем ряду кресел, почти вплотную подступавших к рингу, ко мне подошла какая-то расплющенная рожа, с которой я, как потом выяснилось, уже прежде имел столкновение. И ведь мог я узнать его по изуродованным ушам, так нет — не узнал. Произошло это между схватками боксеров; по-видимому, он был секундантом, так как держал в руке мокрую губку. Я рассеянно протянул ему руку, он протянул свою. Но здороваться со мной, как оказалось, он вовсе не собирался; вместо этого он ткнул мне в лицо мокрую губку и начал поносить меня на чем свет стоит.

Толпе эта выходка пришлась по вкусу. Для них это была комедия в стиле Чарли Чаплина. Джентльмен в смокинге, то есть я, и парень в фуфайке, который вклеил ему торт с кремом прямо в физиономию! Я вскочил, стараясь выхватить у него губку. И тут же двое других парней схватили меня. Трое на одного! Так вот, у меня было немало знакомых среди людей, сидевших в первом ряду, но как вы думаете, кто был тот единственный, кто пришел мне на помощь? Совершенно верно! Месье Хемингуэй. Он возник неизвестно откуда. У него на лице была улыбка до ушей, но он не шутики пришел шутить. Схватил двух боксеров за руки и оттащил их обоих от меня будто маленьких детей.

— Бери Губку, — сказал он, — а я этими сопляками займусь.

Больше никакой помощи мне и не было нужно, ни моральной, ни физической. Я выхватил губку у Рваного Уха и вошел с ним в клинч. Правда, противно было к нему прикасаться. Два жандарма, действуя как рефери, растащили нас по разным углам. Но я умудрился швырнуть Губку. Бросок оказался удачным. Губка, не задев второго жандарма, угодила Уху прямо в рожу. Толпа взвыла от восторга. Захохотали и жандармы, а я раскланялся с галеркой. Но, когда я вернулся на место, желая поднять руку Хемингуэя, его там не оказалось. Он исчез — так же таинственно, как появился.

Какое странное сочетание мужества и скромности, думал я. Без малейшего колебания кинулся на помощь приятелю, противостоял толпе. Мог устроить Бог знает какую бучу, начни кто-нибудь кулаками размахивать. А как только опасность миновала, исчезает со сцены. Чудной парень, ничего не скажешь. Рассказывали, будто когда итальянцы решили наградить его, им пришлось везти медаль ему на дом. Духу не хватило получить медаль перед строем. Участвовать в сражении не возражал, а вот награды испугался! Спутницы мои говорили, что он слегка

прихрамывал. Еще бы не прихрамывать, думал я, — искусственная коленная чашечка и сотня осколков в теле. Но, однако, это его не остановило. Что и говорить, личность незаурядная!

Да, в тот вечер я был очень ему благодарен. До самого конца не переставал думать о том, что произошло. Об этом же думал и Расплющенная Морда, начавший всю эту заварушку. Он все время свирепо на меня поглядывал. И видно было, что намерения у него достаточно серьезные. У нас с ним как-никак произошла крупная ссора, и он собирался со мной расквитаться.

Когда закончилась последняя встреча, я забеспокоился. Ох, как мне захотелось, чтобы мой спаситель был где-нибудь поблизости. Я сказал своим спутникам, чтобы в случае чего шли прямо к машине и ждали меня там. Когда нас сдавила толпа, направлявшаяся к выходу, мне показалось, что кто-то следует за нами по пятам. Я чуть-чуть отстал и через плечо посмотрел назад. И будьте уверены, этот здоровенный парень шел прямо за мной. И по-прежнему улыбался во весь рот.

— Не останавливайтесь, — сказал он. — Я прикрываю тьлы.

Ничего себе, думал я. Вот это настоящий друг! Спаситель он, может, и не Бог весть какой, но храбрости ему не занимать. Я шел впереди него, а впереди меня шли мои девушки, все вместе мы добрались до моей машины и через несколько минут уже были в пути. Я представил его моим американочкам. И тут они сильно меня рассердили.

— А вы не тот ли мистер Хемингуэй, который написал «И восходит солнце»? — в один голос спросили они.

— Каюсь! — сказал он.

— Мы обе читали этот роман и нашли, что он просто замечательный, — зашебетали они. И понесли-понесли, захлебываясь, как гимназисточки. Насчет брюнетки я не больно-то волновался. Она была у меня про запас, но вот рыженькая, на мой вкус, явно перебарщивала. Она сидела впереди рядом со мной, но все время поворачивалась и говорила с ним. Я был доволен, когда он перебил ее. Он ткнул пальцем меня в спину.

— А тебе как книга? — спросил он.

Если он воображает, подумал я, что только за то, что он спас мне жизнь, я стану ему льстить, то он жестоко ошибается. Лучше сказать ему прямо, без обиняков.

— Я не смог ее прочесть, — сказал я.

— Погоди-ка минутку, — сказал он.

— Жду, — сказал я.

— Ты шевелишь губами при чтении? — сказал он.

— Нет, — сказал я.

— То-то и оно, — сказал он.

— Что оно? — сказал я.

— То-то и оно. Я пишу для людей, которые шевелят губами при чтении.

— Да? — сказал я.

Девчонки хохотали до упаду. Но я не смеялся. Бестактно, думал я. Мне хотелось, чтобы он задал мне вопрос — почему я не смог прочесть его роман. У меня было наготове несколько веских критических замечаний. А он шуткой отделался. Мало того. Мне пришлось сидеть и слушать, как по поводу его книги захлебываются мои девицы. Им непременно нужно было узнать все о леди Бретт. Какая замечательная женщина! Это реальное лицо? Спустили бы лучше меня, думал я. Я бы им порассказал. <...>

Дело шло к полуночи, и я предложил всем поехать ко мне и выпить шампанского.

— Прошу прощенья! — сказал он. — Я ведь говорил тебе, что никогда не развлекаюсь, когда работаю. Пишу новую книгу и должен выспаться.

— Ладно! — сказал я. — Отвезу тебя домой. Где ты живешь?

— Поезжай на Монпарнас, — сказал он.

Рыженькая спросила:

— А о чем будет эта книга?

— Сборник рассказов, — ответил он.

Я погнал машину через мост на Левый берег и свернул на бульвар Распай. Так, значит, на этот раз сборник рассказов, думал я. Интересно, включит ли он в него ту дребедень, которую давал почитать мне тогда в баре. «Убийць» или что-то в этом роде. Надеюсь, остальные будут получше.

Вслух я сказал:

— А что это за рассказы?

— Я никогда не говорю о рассказе, пока он не готов. Стоит его пересказать, и он останется ненаписанным. Твоя беда, что ты постоянно рассказываешь содержание своих вещей в этом своем заведении и никогда не пишешь их.

— Да ну?! — сказал я.

— Вот тебе и ну, — сказал он. — Решай наконец, кем ты хочешь быть — писателем или кабатчиком. Если ты хочешь содержать кабак, болтай на здоровье. Если же хочешь стать писателем, садись за пишущую машинку.

— Постушай, — сказал я.

— Еще чего! — сказал он. — Я не платил тебе, чтобы ты разговаривал. Изложи свои мысли на бумаге.

Вы только вдумайтесь! Послушать его, так можно решить, что перед вами Скотт Фицджеральд, как минимум. Весь Париж говорит о моих сочинениях, напечатанных в «Бульвардье», а он будет учить меня, как надо писать. Ведь это же просто смешно! Мало того, что у самого нет ни кола ни двора, он, сидя в моем «жадиллаке», меня же и отчитывает. Наглость какая! Пьет мое шампанское и называет мое заведение кабаком. Я хотел было сказать ему, что я считался лучшим репортером Чикаго, когда он только начинал свою работу в Канзас-Сити, но девчонки продолжали смеяться и болтать с ним, так что у меня не было возможности хотя бы вставить слово. Вот она, благодарность! — думал я.

— А как называется ваша новая книга, мистер Хемингуэй? — спросили они.

— «Мужчины без женщин», — сказал он.

— Как? Как? — переспросил я.

— «Мужчины без женщин», — сказал он.

Вот он, твой шанс, подумал я про себя. Ведь это же надо додуматься — написать в Париже книгу с таким названием. Сперва это было «И восходит солнце», а теперь «Мужчины без женщин». Небось тоже Гертруда Стайн подобрала.

Вслух же я сказал:

— Послушай, Эрнест, давай называть друг друга по имени — Фрэнк и Эрнест. Ты когда-нибудь видел в Париже мужчину без женщины? Ты теперь в Париже, во Франции, друг мой, а не в Париже, штат Иллинойс. Здесь нет мужчин без женщин и нет женщин без мужчин, за исключением разве что леди Бретт.

— Сверни у кладбища налево, — сказал он.

— Ладно, — сказал я. — А пока мы тут, приглядись-ка хорошенько к этому кладбищу. Если ты хотя бы здесь обнаружишь мужчину без женщины, я угощу тебя хорошим обедом. Их хоронят рядом. Живой или мертвый, но в Париже мужчина всегда при женщине.

— Третий дом от угла, — сказал он.

Я затормозил у третьего дома. Это был какой-то кирпичный пережиток времен Второй империи. Окнами он выходил прямо на кладбище, и в одном из них виднелась табличка: «Chambres a louer»¹. Дом не был освещен изнутри, но где-то сбоку возникал временами огонь. Это вспыхивала и гасла световая реклама на соседнем доме, гласившая «Pompes Funebres»². Неплохо для гробовщика. Загораю-

¹ Сдаются комнаты (фр.).

² Похоронное бюро (фр.)

щиеся и гаснущие огни напоминали вам, что сегодня вы здесь, а завтра, может быть, уже там. Двор следующего дома был заставлен мраморными изваяниями. По всей вероятности, здесь была мастерская. Каменные ангелы и другие надгробья выпрыгивали из темноты, когда загоралась реклама. Жизнерадостное местечко, подумал я. Хемингуэй выскочил из машины с таким видом, словно направлялся в Лувр.

— Моя комната на пятом этаже, девочки, — сказал он. — Будет время, забегайте.

— Покойся с миром, — сказал я.

Неудивительно, что он пишет о людях, которых подстерегают убийцы, думал я. Весь день у него перед глазами могилы. Но вот что я хочу сказать. Приходится отдать ему должное. Он всегда оставался самим собой. Естественным, что ли. Взять хотя бы то, как он позволил мне подвезти его к своему логовищу. Очень многие вылезли бы возле «Ритца» и проделали бы остаток пути пешочком. А ему было наплевать. Цельность натуры, что ли, или уверенность в себе, или еще что-то. Скорее всего уверенность. Херстовский представитель рассказывал мне, как однажды он карабкался по этой лестнице на пятый этаж, чтобы предложить Хемингуэю работу в газете. С начальным жалованьем двести долларов в неделю, а он и ел-то в то время не всегда досыта. Так он наотрез отказался. Заявил, что никто больше не будет указывать ему, что писать. И намерен он теперь брать сюжеты из жизни. Вероятно, что-то в нем есть. Только вот сразу не ухватишь, что именно.

Но вот что правда, то правда — работал он действительно не жалея сил. Я раз поехал к нему в эту прикладбищенскую комнатуху. Консьержка сказала мне, что он дома. Я взобрался на пятый этаж и постучал в дверь, но он не впустил меня. Служащий Похоронного бюро, занимавший соседнюю с ним комнату, сказал мне, что он уже неделю сидит взаперти, читает корректуру. Никому не открывает. Хозяйка ставит ему под дверь кофе и круасаны. Разминается он только, когда ходит в уборную в дальнем конце коридора. Если гениальность, как говорят, выражается в том, что человек способен трудиться не покладая рук, то он *конечно* гений, думал я.

Но работа работой, а боксерских встреч он не пропускал никогда. Сомневаюсь, однако, что он считал это развлечением. Бокс входил в его систему тренировки. Я по-

стоянно встречался с ним там. Иногда мы заключали пари, и почти всегда выигрывал он. О книгах его мы больше никогда не говорили. Зачем? Сказать ему что-нибудь было невозможно, а сам он, понятно, тоже помалкивал. Я спокойно относился к проигрышу. Ему деньги нужнее, думал я.

Если же он отсутствовал на боксе, это означало, что он где-то в отлучке. Вот только где он, никогда не было известно. Это могли быть Зеленые Холмы Африки, а может, пропитанные кровью арены Испании или какое-нибудь местечко в Италии. Он никогда не пишет, даже открыток не шлет.

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС»

Гертруда Стайн никогда ничего не правила в чужих произведениях. Она делала замечания только по общим принципам, обращая внимание на то, что писатель избирает в качестве предмета для описания, на соотношение между увиденным и его изображением. Когда видение не полное, слова оказываются плоскими. Это очень просто, настаивала она, здесь не может быть ошибки. Как раз в это время Хемингуэй начал писать короткие рассказы, которые потом были напечатаны в сборнике, названном «в наше время».

Однажды Хемингуэй прибежал к нам чрезвычайно взволнованный — речь шла о Форде Мэдоксе Форде и журнале «трансатлантик». Форд Мэдокс Форд за несколько месяцев до этого начал издание «трансатлантика». <...>

Мы уже слышали, что Форд в Париже, но еще не встречались с ним. Правда, Гертруда Стайн видела экземпляры «трансатлантика» и нашла их интересными, но никаких идей у нее по этому поводу не возникло.

Хемингуэй пришел очень взволнованный и рассказал, что Форд хочет для очередного номера журнала что-нибудь из написанного Гертрудой Стайн, и он, Хемингуэй, решил печатать «Становление американцев» сериалом, с продолжением, и ему необходимо немедленно получить первые пятьдесят страниц. Гертруду эта идея весьма захватила, но у нас был один-единственный экземпляр рукописи. Хемингуэй заявил, что это не имеет значения, — он перепишет. Мы с ним поделили рукопись, переписали ее, и она появилась в следующем номере «трансатлантика». Так впервые был напечатан отрывок из этой монументальной работы, которая стала началом, подлинным началом современной прозы, и мы были счастливы. Позднее, когда отношения между Гертрудой Стайн и Хемин-

гуем испортились, она тем не менее всегда с благодарностью вспоминала, что именно Хемингуэй был первым, кто помог опубликовать отрывок из «Становления американцев». Она всегда говорила, что испытывает слабость к Хемингуэю. В конце концов, вспоминала она, он был первым молодым человеком, который постучался в мою дверь и заставил Форда напечатать начало «Становления американцев».

Что касается меня, то я не была так уж уверена, что это сделал Хемингуэй. Я никогда не знала, как все это происходило, но была уверена, что за всем этим стояло нечто иное. Вот так мне кажется.

Гертруда Стайн и Шервуд Андерсон частенько посмеивались над Хемингуэем. Последний раз, когда Шервуд был в Париже, они часто говорили о нем. Они вдвоем сформировали Хемингуэя, и оба немного гордились и несколько стыдились этого результата творчества их ума. Был такой момент, когда Хемингуэй стал отвергать Шервуда Андерсона и все его творчество, и он тогда написал Шервуду письмо от имени американской литературы, которую он, Хемингуэй, в компании со своими сверстниками, намерен спасти, и высказал в этом письме все, что он думал о творчестве Шервуда, и это отнюдь не были комплименты. Когда Шервуд приехал в Париж, Хемингуэй, естественно, испугался. Шервуд, естественно, ничего не боялся.

Как я уже говорила, Шервуд и Гертруда Стайн не переставали удивляться Хемингуэю. Они допускали, что Хемингуэй труслив. Да, да, настаивала Гертруда Стайн, он совсем как матрос на плоту на Миссисипи, которого описал Марк Твен. Но какой книгой, соглашались они оба, оказалась бы настоящая история Хемингуэя, не то, что он пишет, а исповедь подлинного Хемингуэя? Такая книга была бы интересна другому кругу читателей, не тем, кто сейчас читает Хемингуэя, но это была бы поразительная книга. Потом они оба согласились, что испытывают слабость к Хемингуэю потому, что он такой хороший ученик. Он дрянной ученик, возразила я. Ты ничего не понимаешь, сказали они оба, очень лестно иметь ученика, который учится, сам того не осознавая, иными словами, он воспринимает уроки, а каждый, кто воспринимает уроки, любимый ученик. Они оба признали это своей слабостью. А потом Гертруда Стайн добавила, что он как Дерен. Ты помнишь, что сказал месье де Тюиль, когда я не могла понять, почему Дерен имеет такой успех. Он сказал — это потому, что он выглядит модернистом, а пахнет музеями. Вот так и Хемингуэй, он выглядит модернистом, а пахнет музеями. Но какова была бы история настоящего Хема,

та, которую он должен был бы рассказать самому себе, но, увы, никогда не расскажет. В конце концов, проборотал же он однажды, что существует такое понятие, как карьера.

Однако надо вернуться к тем событиям, которые происходили.

Хемингуэй все сделал. Он переписал рукопись и вычитал гранки. Вычитывание гранок, как я уже раньше говорила, это как стирание пыли, при этом вы узнаете ценность слова, то, чего не дает вам никакое чтение. Выправляя гранки, Хемингуэй многому научился, и он высоко ценил то, чему научился. Именно тогда он написал Гертруде Стайн, что это она написала «Становление американцев», а он и другие обязаны посвятить свою жизнь тому, чтобы книга была напечатана. <...>

Тем временем Мак-Элмон издал три стихотворения и десять рассказов Хемингуэя, а Уильям Бёрд печатал («наше время»), Хемингуэй становился известен. Он познакомился с Дос Пассосом, Фицджеральдом, Бромфилдом и Джорджем Антейлом и вообще со всеми, и Гарольд Леб вновь приехал в Париж. Хемингуэй стал писателем. Он также стал боксером, сражающимся с тенью, благодаря Шервуду, а от меня он услышал про бой быков. Я всегда любила испанские танцы и испанский бой быков и любила показывать фотографию, где мы с Гертрудой Стайн стоим в первом ряду. В те дни Хемингуэй учил одного молодого парня боксу. Парень сам не знал, как это получилось, но он нокаутировал Хемингуэя. Я думаю, что такое иной раз случается. Во всяком случае, в те времена Хемингуэй, хотя и был спортсменом, но быстро уставал. Он совершенно изматывался, пока шел от своего дома до нашего. Но он ведь был тогда измучен войной. Даже теперь он, как говорит Элен про всех мужчин, очень хрупкий. Недавно один его друг здоровяк сказал Гертруде Стайн, что Эрнест очень хрупкий мужчина. Когда он занимается спортом, то обязательно что-нибудь ломает себе — или руку, или ногу, или голову.

В те давние дни Хемингуэй любил всех своих сверстников, за исключением Каммингса. Он обвинял Каммингса в том, что тот подражает. Подражает не кому-то конкретному, а всем. Гертруда Стайн, на которую хорошее впечатление произвела «Ужасная комната», сказала, что Каммингс не подражатель, он естественный наследник традиций Новой Англии с ее сухостью и серостью, но и с ее индивидуальностью. В этом вопросе они не соглаша-

лись. Не соглашались они и насчет Шервуда Андерсона. Гертруда Стайн настаивала на том, что Шервуд Андерсон обладает даром использовать фразу для передачи прямого ощущения, что это лежит в великой американской традиции и что никто в Америке, за исключением Шервуда, не может написать ясную и одновременно наполненную страстью фразу. Хемингуэй в это не верил, ему не нравился вкус Андерсона. Вкус не имеет ничего общего с фразами, настаивала Гертруда Стайн. Она еще добавила, что Фицджеральд — единственный из молодых писателей, который пишет естественными фразами.

ШЕРВУД АНДЕРСОН

ИЗ КНИГИ «МЕМОАРЫ»

Фолкнер был натурой более тонкой и безусловно более щедрой, чем, скажем, Хемингуэй. Я говорю о них вместе еще и потому, что напечатались оба они впервые моими стараниями. Не уверен, что Хемингуэй был этим доволен. Свою литературную карьеру он начал с рассказов, у меня же к тому времени был уже напечатан «Уайнсбург, Огайо». Напечатаны были также «Кони и люди» и «Торжество яйца», и, насколько я знаю, кое-кто из критиков, обсуждая его рассказ, утверждал, что подтолкнул Хемингуэя к литературной деятельности я. Допускаю, что они поговаривали также, будто он находится под сильным моим влиянием.

Подобное случается с каждым писателем в начале его карьеры. Говорили, будто меня самого толкнули на этот путь Драйзер и русские классики, из которых я в то время и не читал-то никого. Как бы то ни было, даже если кто-то и говорил, что направил Хемингуэя по этому пути я, само я никогда ничего подобного не говорил. По-моему, талант его, — так же как талант Фолкнера, — самобытен, и к развитию его никакого отношения я никогда не имел.

Допускаю, что в случае с Хемингуэем замешано что-то еще. Будучи вечно погруженным в собственные мысли, он едва ли был способен ценить хорошее к себе отношение.

Во всяком случае, когда он уезжал в Париж, я нимало не сомневался в том, что мы друзья. Как мне говорили потом, свой поступок он объяснял тем, что его подбил кто-то из приятелей. Я говорю о случае, когда он позволил себе выпад против меня в своих «Вешних водах» — книге-пародии, которая была бы смешна, если бы Макс Бирбом поджал ее так, чтобы она уместилась на двенадцати страничках.

Уже после того, как были напечатаны «Вешние воды», Хемингуэй прислал мне письмо донельзя лицемерное,

причем написанное в крайне высокомерном тоне. Ни с чем подобным мне не приходилось встречаться ни до, ни после.

По его мнению, книга должна была нанести мне смертельный удар. Он утверждал, что написал ее на одном дыхании всего за шесть недель. Цель ее — раз и навсегда развенчать легенду, будто в моих сочинениях «что-то есть». Задача эта была для него чрезвычайно тяжелой, потому что лично ко мне он очень расположен, и сделал он это исключительно в интересах Литературы. Понимаю же я, что Литература несоизмерима по своему значению с любым из нас.

Было в этом письме что-то величественное, некое подобие надгробного слова, произнесенного у края моей могилы. Оно было столь примитивно, столь вычурно, столь покровительственно, что вызывало отвращение и, при всей своей отвратительности, смешило. Но я был поражен. Не помню дословно, что написал я ему в ответ. Сводилось мое письмо к тому, что, на мой взгляд, глупо нам, писателям, тратить время на поиски средств изничтожения друг друга. В своем письме он употребил боксерский термин, объявив, что нанес мне нокаутирующий удар. В своем ответе я сказал, что всегда считал себя неплохим боксером среднего веса, сомневаюсь, однако, что он когда-нибудь попадет в разряд тяжеловесов.

За точность слов не ручаюсь. Копии письма у меня не сохранилось.

После этого инцидента мы с Хемингуэем долго не встречались. Когда он уезжал в Париж, я дал ему записку к своей приятельнице Гертруде Стайн, с которой он тоже находился потом несколько лет в дружеских отношениях. Позднее, рассказывая мне о безобразной выходке Хемингуэя, она говорила, что он вознегодовал, узнав, что опубликованы два моих рассказа: «Ну и дурак же я!» и «Хочу знать — зачем!» По ее предположению, он был твердо убежден, что все, относящееся к спорту, застолблено за ним.

Я показывал письмо Хемингуэя другим приятелям в Париже, в том числе Ральфу Черчу. Черч в то время учился в Оксфорде, на философском факультете, часто бывал в Париже и в течение одного-двух лет был довольно дружен с Хемингуэем.

И вот спустя несколько лет я приехал в Париж. И Черч был там, был и Хемингуэй. Черч придумал себе забаву. Он регулярно заходил к Хемингуэю и сообщал: «Шервуд в Париже. Почему б тебе не повидаться с ним?» По его словам, после каждого такого сообщения Хемингуэй немедленно начинал говорить, как хорошо он ко мне относится.

— Сегодня же зайду, — говорил он всякий раз, но так ни разу и не появился.

Настал день моего отъезда. Я уже упаковал чемодан и сидел в номере, не зная, чем заняться. Вдруг в дверь постучали, и на пороге вырос Хемингуэй: Черч сказал ему, что я собираюсь уезжать.

Он остановился в дверях.

— Пошли выпьем, что ли? — сказал он. Я последовал за ним вниз по лестнице, на ту сторону улицы.

Мы вошли в маленький бар.

— Что будешь пить?

— Пиво.

— А ты?

— Тоже пиво.

— Что ж, за твое здоровье!

— За твое!

Он повернулся и быстро зашагал прочь, надо понимать, доказав себе, что он человек и мужественный и порядочный.

ИЗ КНИГИ «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

Конечно, Хемингуэй был исключением, точно так же, как был исключением Каммингс. В построенный мною для себя мирок пишущей братии вообще — а гринвичвиллиджским и парижским изгоям в частности — доступ был наглухо закрыт. Их взгляд на жизнь был мне отвратителен. Но стоило мне с кем-то из них сойтись поближе, и он (или она) — становился исключением, единственным в своем роде и непогрешимым.

Хотя Дон, Эрнест и я начали часто встречаться только после того, как я познакомился с супругами Мэрфи, мне кажется, что знакомство с Эрнестом произошло в год, когда вышел «Улисс», а сам он работал в Париже от «Торонто Стар». Смутно припоминаю, как я обедал с ним и с Хэдли у Липпы, когда Бэмби еще и в помине не было, и Эрнест чудесно рассказывал о какой-то международной конференции, на которой он недавно побывал. Я в жизни не встречал человека, который умел бы так ловко вывести на чистую воду любые политические притязания, как он в молодые годы. Его знакомство с боксерами-профессионалами и знание жаргона полицейских протоколов, которого он набрался в Канзас-Сити и Торонто, позволили ему выработать лексикон, сообщавший его рассказам особую выпуклость и точность. Все было четко сформулировано. Ядовитые оценки, которые он давал и Клемансо, и Ллойд Джорджу, и Литвинову, приводили меня в восторг. Мы сошлись на том, что всеобщее преклонение перед Либкнехтом и Розой Люксембург до некоторой степени оправдано. Вероятно, тогда он и показал мне короткий стрывок, который позднее вошел в сборник «в наше время», потому что я тут же классифицировал его как человека, который с английским языком на короткой ноге.

Но, где бы ни состоялось наше знакомство, мы впоследствии потратили немало времени, пытаясь восстано-

вить в памяти нашу первую встречу, когда еще ни он, ни я и представить себе не могли, что оба станем тем, кого осмеянный нами за это выражение бедняга Шервуд Андерсон называл «собратьями по перу». Первая встреча, должно быть, произошла в мае 1918-го, когда Эрнест только-только прибыл в Италию с четвертым взводом санитарной службы Красного Креста, а я готовился покинуть первый взвод этой службы в Бассано с несколько подмоченной репутацией. Мы с Фэрбенксом занимались эвакуацией раненых в тыловой госпиталь под Сиё и, видимо, в одну из таких ездов обедали за одним столом с четвертым взводом. Неясные воспоминания об этой встрече у нас с Эрнестом сохранились.

Но только в 1924 году, когда Хем и Хэдли поселились на лесопилке на Нотр-Дам-де-Шан, начали мы играть ощутимую роль в жизни друг друга. Хэдли мне сразу понравилась. Появился на свет Бэмби. Произошло это во время одного из моих внезапных наездов в Париж.

Мы с Хемом время от времени встречались в «Клозери-де-Лила» на углу Сен-Мишель и Монпарнас, чтобы за разговором о трудностях, с которыми сталкивается человек, пытающийся изложить свои мысли на бумаге, выпить какой-нибудь безобидной жидкости, вроде смеси кассиса с вермутом. Мы оба перечитывали Ветхий завет и читали друг другу вслух особенно понравившиеся нам места. Любимыми у нас были «Песнь Деборь», «Числа» и «Книга Царств».

Вышел сборник «в наше время», и я трубил о нем на всех перекрестках. Главный мой довод был, что, строя свои чеканные, лаконичные предложения по образцу телеграфных текстов и исправленного и дополненного перевода Библии, Хем неизбежно займет первое место среди знаменитых американских стилистов.

Вероятно, дело было весной, потому что сидели мы в треугольнике сада, зажато тротуарами двух проспектов, и, как я припоминаю, мне казалось забавным, что, будго в оправдание названия, в «Клозери-де-Лила» и впрямь цвел куст сирени.

Около пяти мы поднимались и, протискиваясь сквозь толпу спешащих по домам служащих, шли на лесопилку и помогали Хэдли купать Бэмби. Бэмби был крупный, крепкий, приветливый младенец и процедуру воспринимал с удовольствием. Затем его укладывали спать и, когда появлялась нянька — француженка, славная грудастая крестьянка, шли в ресторан ужинать. Мне всегда нравилось помогать своим друзьям укладывать спать их детей, прежде чем идти с ними куда-нибудь поужинать, что ста-

ло в некотором роде ритуалом в обществе недавно повзрослевших американцев. Мужчины в женском обществе, как правило, ведут себя менее эгоистично. Ну и потом, молодым людям — как женщинам, так и мужчинам — трудно бывает напускать на себя важность, когда приходится возиться со своими отпрысками.

С Хемом вечно что-то случалось — это было просто бедствие какое-то. В жизни не встречал человека, который так калечил бы собственную плоть. В тот раз, открывая фрамугу в уборной, находившейся в коридоре рядом с их квартирой, он умудрился грохнуть себя рамой по голове, да так, что заработал сотрясение мозга и рваную рану на скальпе, после чего ему понадобилось несколько недель, чтобы оправиться. Шрам сохранился до конца жизни.

Ну а если не было несчастных случаев, так всегда имелось в запасе больное горло. Он был похож на тех атлетов-профессионалов, которые, хоть и здоровы как быки, вечно носятся с каким-нибудь недомоганием. Что касается его увлечения боксом, то тут я старался держаться в отдалении, считая тот факт, что я ношу очки, достаточно веской отговоркой. Мне не было нужды тягаться с ним в этой области — я и на велосипеде-то не умел ездить. А Хем обожал гонять на велосипеде. Он любил наряжаться в полосатый джемпер, как участник соревнований Тур-де-Франс — колени чуть не достают до ушей, подбородок уперт в руль, — и носиться кругами по бульварному кольцу. Мне это казалось глупым, но в те времена Хем довольно легко сносил насмешки.

В нем явно чувствовалась проповедническая жилка; стоило ему загореться какой-нибудь идеей — и он тут же начинал пропагандировать ее среди своих друзей.

Я, например, охотно ходил с ним на шестидневные велосипедные гонки. Эти «Six Jours» на Зимнем стадионе доставляли мне несказанное удовольствие. Было во французских спортивных состязаниях что-то комичное, и это приводило меня в восторг. Обычно мы накупали в ларьках и у лоточников на одной из очень нравившихся нам тесных торговых улочек вина, сыра, хрустящих рогаликов и горшочков с паштетом, а то и холодную курицу, и устраивались наверху на трибунах. Хем знал всех велосипедистов по имени, знал, чего каждый из них стоит, знал всю их подноготную. Энтузиазм его был заразителен, однако о деле он ни на минуту не забывал. Мне же нравилось просто есть, пить и глазеть по сторонам.

Время от времени он вспоминал, что я собрат по перу, то есть конкурент, и замолкал, а иногда предупреждал меня даже довольно резко, чтобы я не вздумал писать о ве-

лосипедных гонках. Это сфера его деятельности. Я заверял его, что спорт — не моя стихия, и, кроме того, с этой темой отлично справился Поль Моран в своей «La Nuit des Six Jours»¹. Возможно, я и зрелищем этим так наслаждаюсь потому, что прочитал Поля Морана. Хотя сам я, так же как и Хем, изо всех сил стараюсь, чтобы все, что я пишу, рождалось из жизни, отделаться от подозрения, что в большинстве случаев это жизнь копирует искусство, мне так и не удалось.

Хем, бывало, заставлял бедную Хэдли просиживать там ночи напролет, я же обычно незаметненько пробирался к выходу, как только на меня нападал сон. С молодых лет Хем был суров с женщинами, входившими в его жизнь. Однако, по-моему, он скорее закалял их, чем сокрушал. К моменту расставания они оказывались куда лучше приспособленными к жизни, чем до встречи с ним. Надо сказать, что в более молодом возрасте он, при всех своих капризах и постоянно сменяющихся пристрастиях, был способен расшевелить кого угодно. За то время, что мы были с ним в дружеских отношениях, он заставил меня по-новому увидеть спорт, без него некоторые аспекты спорта так и остались бы для меня непознанными.

Даже тогда он был человеком настроений. Вечно томился жалостью к себе и особенно жалел себя за то, что не пришлось ему учиться в колледже. Я же всегда утешал его, что тут ему как раз крупно повезло. Только подумать, сколько всякой дряни пришлось бы теперь из мозгов вытряхивать. А вдруг бы он в Йельский университет угодил и напоролся бы на вопрос о Боуне, как это случилось с Доном Стюартом. Он хохотал и соглашался, что тут бы ему крышка.

У Хема было необычайно хорошее зрение. Острый, спокойный глаз охотника. В те дни мне казалось, что он видит все и вся не подкрашенным, не тронутым ни чувствами, ни мыслью. Все было залито холодным ясным белым светом, тем светом, которым пронизаны его лучшие рассказы, «Там, где чисто, светло», например.

В отношении живописи глаз у него был столь же хорошо наметан. Может, его поднатаскала Гертруда Стайн, которая в этой области была далеко не профаном. Он с единого взгляда безошибочно определял высокое качество цвета и композиции. В парижской школе в то время преобладали всевозможные психопаты, так что иной раз смотреть было тошно. Хем, однако, сразу определял достоинство картины и на дребедень никогда бы не клюнул.

¹ «Главная ночь Шестидневных гонок (фр.).»

В политике ли, в литературном труде или в живописи он умел выразить суть любой ситуации одним красноречивым бранным словом.

Я хорошо помню, как он покупал «Ферму» Хуана Миро — как мне кажется, это была последняя картина Миро, написанная в жанре предметной живописи, — поскольку мне пришлось метаться по всему городу, чтобы наскрести на нее денег. Мы все то и дело занимали деньги друг у друга. Он узнал, что можно купить ее за две, ну не больше чем за три, тысячи франков (до смешного мало в пересчете на доллары), готов был лезть на стену при мысли, что кто-то картину у него перехватит, и с торжеством притащил ее домой на лесопилку. Она остается одной из лучших работ Миро. Понятия не имею, сколько она может стоить теперь. Взгляды наши на живопись обычно совпадали.

Увлечения Хема были заразительны. Хотя в меня было прочно заложено отвращение к азартным играм, он однажды затащил на скачки даже меня. Хем уверял, что выигрывает крупные деньги, и в один прекрасный весенний день я потащился с ним в Лонгшан и Отейль. Но интересовало меня скорее само зрелище, а не выигрыш. Понимать толк в лошадях и жокеях научил меня Дега.

Бесплатный совет, на какую лошадь ставить, мы получили от Гарольда Стирнса. Гарольд был личностью незаурядной. Он сделал себе имя как автор ряда статей, напечатанных в «Нью Рипаблюк» и других либеральных журналах, и как редактор одного из первых и наиболее удачных сборников эссе, отражающих различные взгляды на американскую цивилизацию. После чего приехал в Париж.

В Париже Гарольд перестал писать и вообще все бросил. Интерес к женщинам и вину у него угас. Был он худ и бледен, но при этом сохранял какие-то остатки шарма и оставался занятным собеседником. Он вел горькую жизнь кабацкого завсегдатая. На хлеб же зарабатывал, продавая американским туристам сведения о скаковых лошадях, собираемые им по пивным, из которых не вылезал.

На одном из скаковых кругов была объявлена скачка с препятствиями с участием отборных лошадей, и Гарольд посоветовал нам поставить на некую лошадку, отнюдь не фаворита. Шансы на выигрыш, по его словам, были тридцать к одному или близко к тому. Со своих друзей за советы он никогда ничего не берет и сейчас клянется всем, что у него есть святого — мы непременно сорвем огромный куш.

Мы с Хемом наскребли несколько сот франков и ринулись к заветному кругу. Гарольд договорился с коню-

хом, что он даст нам взглянуть на нашу лошадь. Это оказалась крепенькая, низкорослая, гнедая кобыла. Жокей доверительно сообщил нам, что сам ставит на нее все свои сбережения. Мы с вожделием смотрели на лошадь, трепали ее по шее и несли какую-то ерунду на ипподромные темы по-французски и по-английски. Добравшись до окошка тотализатора, мы узнали, что перевес ставок на других лошадей огромен, и начали строить планы, как потратим часть своего выигрыша на роскошный ужин у Фойо.

Лошадь и впрямь легко брала препятствия, однако перед рвом с водой она заартачилась, скинула через голову наездника и понеслась по кругу в обратном направлении. Прежде чем ее изловили, она успела взять немало препятствий; заезд был сорван. Мы чуть не лопнули от смеха. Я вернулся в Париж, значительно укрепившись в своей уверенности, что азарт до добра не доводит. Следующий раз, когда мы заглянули в бар Генри, Гарольд сделал вид, что нас не видит.

Обоим нам такой проигрыш был не по карману, но мы не переставали веселиться по этому поводу. Хем तो ли уже бросил, то ли собирался бросить работу в газете. Зарабатывать на жизнь литературой было очень нелегко. «в наше время» — книга, изданная Робертом Мак-Элмоном и восторженно принятая в кругу «recherche»¹, денег не прибавила. Основным источником доходов Хема были малопрстойные поэмки, которые он писал для немецкого журнала, называющегося «Квершнитт». Название это не переставало нас веселить.<...>

Хема постоянно тянуло в Ангиб, но я не припомню, чтобы мы с ним были там когда-нибудь одновременно. Знаю, что чувствовал он себя у Мэрфи скованно, хотя ему очень нравилась Сара. Рыбаки, как мне кажется, особого удовольствия от купанья в море не получают, и он, наверное, чувствовал бы себя идиотом, загорая на пляже. А чтобы наслаждаться жизнью на вилле «Америка», необходимо было подчиниться ритуалу, тщательно разработанному Джеральдом. Хем и сам к тому времени почувствовал себя режиссером, и ему вовсе не хотелось участвовать в спектаклях, поставленных кем-то другим.

Он тогда уже занимал прочное место в верхнем ярусе пантеона литературного Парижа. Форд Мэдокс Форд хотел заручиться его помощью в издании «трансатлантик ревью». Он был в дружеских отношениях с Эзрой Паун-

¹Тонкие ценители (*фр.*).

дом, часто завтракал с Джойсом. Его опекала Гертруда Стайн. Он подумывал написать книгу о бое быков для «Квершнитт», которую должен был иллюстрировать Пикассо.

Сближал нас с Хемом, помимо прочего, общий восторг от всего решительно испанского. Останавливался я в Париже в большинстве случаев проездом в Испанию или из Испании. Хем с Хэдли, впервые возвращаясь в Европу с Бэмби, плыли пароходом до Виго и явились в Париж с массой чудесных воспоминаний о Компостелле, Астурии и стране басков. Испаномания у Хема достигла апогея, когда он впервые в августовскую жару побывал на фиесте в честь святого Фермина в Памплоне.

Меня не было в Памплоне в год первого великого собрания, подсказавшего Хему сюжет «И восходит солнце», но я был там в августе следующего года. Все мы жили в гостинице «Ла Перла».

Хем был центром всеобщего внимания. В гостинице жила некая довольно-таки прожженная титулованная англичанка, именовавшаяся леди Дафф. Хэдли тогда еще была замужем за Хемом. Но кажется мне, что сестры Пфейфер, Полина и Джинни, вертелись тут же. Ну и еще английский армейский офицер, которого мы прозвали «Азиатом», Дон Стюарт, Билл Бёрд с женой, их юный друг по имени Джордж О'Нил. А также Роберт Мак-Элмон.

О семействе Бёрд ничего плохого сказать не могу, хоть они и были эмигрантами, а вот Мак-Элмон чем-то меня раздражал. И все же было в этом человеке что-то обезоруживающее, заставлявшее меня чувствовать себя перед ним виноватым оттого, что мнение мое о нем столь низко. Возможно, был там и Гарольд Леб. А может, и еще кто-нибудь. После того, как я прочел «И восходит солнце», не могу с уверенностью сказать, какие описанные в этом романе события в действительности имели место, а какие Хем сам напридумывал. Все это напоминало организованную Куком туристическую поездку с Хемом в качестве распорядителя. Как зрелище «ферия Сан-Фермин» была просто грандиозна. Оркестры. Шествия. Взлетающие ракеты. Прибытие быков. Момент, когда их выводят из стойла. Беспорядочный бег животных по улицам. В каждом сквере толпы пляшущих поселян в синих беретах. Из каждого скверика звуки баскских дудок и дробь барабанов или же бляенье галицийских вольноков и перестук кастаньет.

У любой самой маленькой компании имелся свой бурдюк с вином. Но, если мне не изменяет память, озорство никогда не переходило определенных границ. Пристойное

поведение в обществе людей, которые знают и уважают друг друга,— вопрос первейшей важности.

Но с быками полагалось вести себя *muu hombre!* Бежать впереди, когда их гнали на арену, прорываться в загон, где их осматривали судьи. Потом быков выпускали прямо на арену, кишевшую народом.

Быки были совсем молодые и не из самых свирепых, но, попав в кольцо наваррских парней, которые старались раздражить их, взмахивая перед самой мордой куртками и платками, они время от времени грозно бросались на них. Многим из этих ребят порядком доставалось, хотя я не помню, чтобы кто-то в тот год поплатился жизнью.

Я никогда не мечтал провести денек на арене, предназначенной для боя быков, в толпе расхорохорившихся наваррцев, демонстрируя при этом полное незнание правил поведения в таких обстоятельствах, но Хему было просто необходимо находиться там вместе со всеми *aficionados*².

Его соотечественники считали, что и им не мешает проявить свою ретивость. Интересно, что, в дураках в конечном счете остался я — дело в том, что разругав в пух и прах всю затею, я гордо удалился, но на пути нос к носу столкнулся с быком. Он, как выяснилось, перескочил через забор и теперь несся сломя голову по другую сторону барьера. Мы встретились глазами! И решили разойтись подобру-поздорову. Вскрабкаться по выступам в стене до нижнего яруса трибуны не заняло у меня много времени. Впоследствии я это объяснял тем, что искал место повыше, чтобы делать зарисовки.

Было очень весело. Мы вкусно ели и много пили. Но в компании у нас было, на мой взгляд, многовато людей, не сдержанных в проявлении чувств. Вид молодых людей, постоянно старавшихся выставить напоказ свою неустранимость, меня раздражал. Я не прочь был сходить иной раз на бой быков — зрелище, что и говорить, колоритное, — но каждый день, в течение целой недели, это было уж слишком!

Другое дело Хем. Тому, что интересовало его в данный момент, он, в отличие от всех нас, отдавался целиком, без остатка. Будь то шестидневная велосипедная гонка, или бой быков, или льжный спорт, или ловля форели, идущей на нерест, он упорствовал до последнего, пока не постигал наконец всего, что в этой области можно постичь. Он впивался как пиявка, и его было не оторвать,

¹ Очень мужественно (*исп.*).

² Поклонники (болельщики) (*исп.*).

пока он не высосет последовательно все, что хотел узнать. Он завоевывал доверие местных профессионалов и вбирал все, что они говорили, до малейших подробностей изучая предмет. За исключением некоторых знакомых мне ученых, которые готовы ставить опыт за опытом во славу науки, я не встречал человека, столь въедливого. Некоторые из лучших вещей Хемингуэя являются следствием именно этого качества. Описывая смерть матадора в «Смерти после полудня», он прекрасно знал, о чем пишет. <...>

Вероятно, Хем прочел мне «Вешние воды» позднее той же осенью — хотя, может, это было на следующую. Начал он читать повесть под вечер в «Клозери-де-Лиля», когда все кругом было залито красноватым закатным светом. Местами у него получилось действительно забавно, особенно там, где он ввел мичиганских индейцев, — индейцы Хему давались отлично — но я оказался в затруднительном положении. Дело в том, что это я уговорил Хорэса Ливрайта напечатать «в наше время», и Хем считал меня не то чтобы очень, но все же ответственным за подписанный им бессовестный договор, по которому он передавал Ливрайту право на напечатание нескольких своих книг.

Тем временем Скотт, который считал себя в некотором роде открывателем молодых талантов и самоотверженно и щедро помогал печататься другим, сейчас в поте лица трудился, пытаясь заставить Макса Перкинса напечатать Хемингуэя в издательстве Скрибнера. Скотт испытывал к Хему очередную литературную влюбленность. Спортсмен-стилист! Боксер и автор рассказов! Обсуждая Хема как-то вечером, мы со Скоттом решили, что, возможно, из него получится когда-нибудь современный Байрон. Скотт был прав — Хем должен был издаваться у Скрибнера. Но вот что делать с ливрайтовским контрактом?

Я так никогда толком и не понял, что было у Хема на уме, когда он писал «Вешние воды»? Нарочно ли он написал нечто такое, что Ливрайт, как издатель и друг Шервуда Андерсона, никогда не напечатал бы, или же это была просто бессердечная выходка безжалостного мальчишки? Я, естественно, хохотал, когда он читал мне эту вещь вслух, однако постарался отговорить его печатать ее, по крайней мере теперь. Я сказал, что для пародии она не столь уж хороша, что «в наше время» так блестяще сделана, что после нее ему нельзя печатать посредственную вещицу — надо подождать настоящего шедевра.

В тот вечер он с готовностью соглашался, что Шервуд Андерсон — последний человек, чьи чувства он хотел бы ранить. Шервуд был очень добр к Хему, когда тот молодым человеком работал в Чикаго; кроме того, оба мы прекрасно знали его детскую обидчивость. Я соглашался с Хемом, что «Темный смех» сентиментален и что кто-то должен ему об этом сказать, но я не думал, что это следует делать Хему. У Хема была малопривлекательная манера во время разговора вдруг начать напевать что-то себе под нос.

Когда мы в тот вечер расстались, мне казалось, что я отговорил его от публикации «Вешних вод». Пожалуй, нечего мне было совать в это дело свой нос, но в те времена дружба к чему-то обязывала. Однако по-моему не вышло.

В последний раз я встретился в Европе с Хемом и Хэдли в Шрунсе, в австрийском Форарльберге. Это были приятнейшие, веселые, ничем не омраченные каникулы. Льдженный курорт Шрунс они открыли предыдущей зимой. Джеральд и Сара тоже присоединились к нам. Дешевизна была просто неправдоподобная. Мы остановились в очаровательной старой гостинице с изразцовыми печами, которая называлась «Ди Таубе». Мы ели по-особенному приготовленную форель и пили горячий кирш. Кирш подавался в таком изобилии, что мы растирались им после катания на лыжах.

Бегали мы исключительно по пересеченной местности. Поднимаясь в горы, надевали специальные снегоступы. Поход к «Мадленер-Хаус», стоявшему посреди широкого снежного плато, откуда открывался прекрасный вид на город, считался непременно развлечением. «Мадленер-Хаус» был своего рода клубом лыжников. В огромных каминах ревел огонь, а еду подавали обжигающе горячей. Публика, собиравшаяся там, была удивительно приятна. «Gruss Gott»¹ — кричали вам встречные. Все было как на старинной рождественской открытке.

Хем увлекся лыжами не на шутку. Он тренировался с утра до вечера. Ему обязательно надо было всех превзойти. Джеральд шел к совершенству другим путем. Они даже заключили пари, кто из них добьется лучших результатов в четырехдневный срок. Результатов оба добились прекрасных.

Все же, как мне кажется, я проводил время куда приятнее, чем любой из них. Потому что знал с самого начала, что из меня не получится лыжника. Слишком уж я был неповоротлив.

¹ Салют! (нем.)

Пыхтя и обливаясь потом, я лез в гору на своих снегоступах, не переставая в то же время любоваться видом. Было не слишком холодно, а на солнце даже пригревало. Снежные горы струились голубыми и сиреневатыми тенями. Но зевать по сторонам не приходилось, потому что во второй половине дня всегда существовала опасность обвалов. Я был свидетелем такого обвала, когда мы спустились с горы по дороге из «Мадленер-Хаус». И, надо сказать правду, порядком струхнули.

Поднимался в гору я всегда с удовольствием, но для того, чтобы съехать с нее, мне приходилось прибегать к особой тактике, потому что я никак не мог научиться делать лихие виражи. Лучшее, на что я был способен, это научиться профессионально падать. Когда склон становился очень уж крутым, я обычно усаживался на свои лыжи, превращая их в некое подобие салазок. Ну и издевались же надо мной, когда по возвращении в Шрунс выяснилось, что я до дыр протер штаны.

За столом мы столько хохотали, что не успевали есть. Всю эту неделю в Шрунсе, не переставая поддразнивать друг друга, мы поедали огромное количество форели и выпивали немало бутылок вина и кружек пива, а потом спали, как сурки, под пышными перинами. Расставаясь, мы чувствовали, что стали братьями и сестрами, и, когда несколько месяцев спустя, я услышал, что Эрнест оставил Хэдли, это явилось для меня настоящим ударом. Когда симпатизируешь какой-то паре, непременно хочется, чтобы их супружество было нерасторжимым.

ИЗ КНИГИ «ТЕМ ЛЕТОМ В ПАРИЖЕ»

На следующий день я зашел за Хемингуэем. Мы не спеша шагали по улице. У него была с собой сумка, в которой лежали боксерские перчатки и спортивная обувь. Я нес пару сандалий на веревочной подошве. Помню, разговор шел об ирландском писателе Лайме О'Флаэрти, чей роман «Осведомитель» очень мне понравился и который опубликовал еще один роман под названием «Мистер Гиллхули». Эрнест соглашался со мной, что «Осведомитель» прекрасно написан, что же касается «Мистера Гиллхули», то тут, по его мнению, О'Флаэрти допустил ошибку — пустился в слишком пространные рассуждения. Рассуждая на страницах своего произведения, писатель всегда рискует нарваться на неприятность. Читатель непременно догадается, что герой — всего лишь глашатай мыслей автора. Я постепенно поддавался его обаянию. Мы шли не спеша, только тем и занятые, чтобы лучше понять друг друга, и я все больше удостоверивался в том, что тон Эрнеста так же тверд и говорит он так же убежденно, как и пять лет тому назад. Словно время стояло на месте, словно ничего не произошло ни с одним из нас. Я возражал ему. Ведь он же отвергает некий аспект жизни. Пусть он не приемлет какого-то мировоззрения, но нельзя же отрицать его начисто.

Может, и так, — и тут же он упрямо покачал головой, — нет, метафизика и все эти отвлеченные рассуждения не по нем. Писатель должен заниматься реальными вещами, писать о том, что его герой может потрогать, попробовать, ощутить, и мысли его должны следовать велениям этой реальности. Хотя, пожалуй, я ошибаюсь относительно последней фразы — он не мог сказать «велениям этой реальности...». Но все равно, тогда он еще не прибегал к помощи непонятных, бессмысленных фраз, посредством

которых стал со временем отделяться от репортеров. Он говорил медленно, но выражался чрезвычайно точно. Допустим, герой — интеллеktуал чистейшей воды, говорил он, высказывает на страницах книги собственные мысли, как может автор держаться в стороне? Нет, главное — это фабула. Он замкнулся, явно показывая, что не желает продолжать разговор о метафизике; к абстрактному теоретизированию он вообще относился с подозрением. Я же изучал юриспруденцию, немного занимался философией и любил поспорить на отвлеченные темы. Если мы, как-никак христиане и к тому же люди искусства, гуляем по Парижу, то неужели же мы не можем поговорить, скажем, об «Искусстве и Схоластике» Меритэйна. Однако Эрнест смотрел на искусство глазами художника, а не философа. И сейчас еще иногда слышишь: «Похоже, что Хемингуэй не больно-то образован». Консервативные критики, очевидно, хотят этим сказать, что Эрнест не получил общепринятого образования. Но, как, без сомнения, известно философам, художники обладают способностью — назовем ее, если хотите, интуицией — приобретать знания путем, не поддающимся рациональному объяснению. Ну и потом, ведь Эрнест читал все подряд.

Мы пришли в Американский клуб, где Эрнест, по-видимому, был своим человеком. Спустились вниз и вошли в какую-то комнату с цементным полом. В одном углу были навалены маты и стояли параллельные брусья. По всей вероятности, мальшй гимнастический зал для членов клуба. В соседней комнате стоял бильярдный стол. Несколько бильярдистов, увлеченных игрой, не обратили на нас ни малейшего внимания. Мы с Эрнестом разделись до белья. Я надел свои сандалии. Он — спортивные туфли. Мы начали боксировать.

В памяти я хранил немало преданий о мастерстве Хемингуэя и о его беспощадности. Особенный страх нагонял на меня рассказ Макса Перкинса о том, как Хемингуэй выпрыгнул на ринг и первым же ударом нокаутировал чемпиона Франции среднего веса. А с каким пренебрежением отзывался он о Ларри Гейнсе! Эрнест был человек мощного телосложения, выше шести футов, я же едва достигал пяти футов восьми дюймов и был полноват. Единственно, что мне хорошо удавалось в боксе, это увертываться от ударов. По общему признанию, стиль у меня был довольно-таки неортодоксальный — я опускал руки ниже, чем следует, рассчитывая успеть в нужный момент нанести опережающий удар. Быстро передвигаясь по рингу, пригибаясь, приседая, уклоняясь, я выжидал, когда можно будет перейти в контратаку. Эрнеста я слегка побаивался.

Все искусство профессионалов, все легенды, связанные с их именами, нашли, казалось, в нем свое отражение; его стойка, положение рук, пригнутый к груди и немного отведенный в сторону плеча подбородок производили сильное впечатление. Наблюдая за ним исподлобья, я сосредоточенно думал — надо заставить его промахнуться и затем ускользнуть от него. Первые три минуты я только и делал, что ускользал. Отдыхая, мы минуты три лобезно поболтали и затем продолжили бой.

Внезапно он кинулся на меня, замаечил, приняв преувеличенные угрожающие размеры, загнал в угол, где я, пригибаясь все ниже и ниже к полу, съежился, совсем как черепаха под своим панцирем. Тут он остановился с широкой улыбкой.

— Послушайте, Морли, — терпеливо сказал он, — никогда не пригибайтесь так низко. Нанести удар из такого положения невозможно.

Он же еще добродушно поучал меня! Я испытывал мучительное унижение.

Нет, это не бокс, думал я, преисполненный отвращения к самому себе. Что я делал? Просто защищался от человека, о котором ходили самые невероятные легенды! От человека, считавшего себя способным усовершенствовать тактику боя самого Гарри Гейнса! А ведь всю зиму напролет я боксировал со своим приятелем Мейном, который не уступал в размерах Эрнесту и был победителем международного студенческого чемпионата среди боксеров тяжелого веса. Скрывая охватившее меня отвращение к самому себе, я заверил Эрнеста, что больше он не увидит меня в углу скорчившимся, чуть ли не на коленях.

Вскоре выяснилось, что и я свободно могу наносить ему удары. Заметив, что я держу левую руку ниже, чем нужно, он притворялся, что хочет нанести мне левой рукой короткий прямой удар по туловищу, но не доводил его до конца и пускал в дело правую. Однако неважно координировал движения. Я подпускал его поближе, делая вид, что хочу отступить, вызывая этим на длинный удар левой рукой, но тут же делал шаг вперед и сам наносил ему левой сильный удар. Удар правой он рассчитывал правильно, но чуточку запаздывал. Мне каждый раз удавалось опередить его и ударить в голову. Раунд продолжался, и постепенно я становился спокойней и все более уверенным в себе. Мне стало ясно, что, пока он рассуждал о боксе, мечтал о нем, водил дружбу со старыми боксерами и околачивался в разных спортивных залах, сам я по-настоящему боксировал с людьми, знавшими толк в этом деле, а не просто хотевшими поразмяться или

повалить дурака. И раз уж я понял это, мне стало все равно, что он-то едва ли с этим согласится.

Как же он воспринимал удары в голову, которые так и сыпались на него справа? Рассказывали, будто от боли он звереет до того, что может убить. Все это ерунда. Подобные рассказы очень несправедливы по отношению к нему. В тот день он переносил удары в голову не менее стойко, чем любой хороший боксер из студентов, сохраняя при этом благодушие, отдавая должное умению человека, наносившего их. Возможно, он считал, что помог мне своим советом не пригибаться слишком низко, вдохнул в меня уверенность. Собственно, так оно и было — он уязвил мое самолюбие. Не мог же он знать, что я думаю по этому поводу.

Когда мы решили, что пора кончать, и пошли принимать душ, он был в прекрасном расположении духа. Мы отправились выпить чего-нибудь.

На тротуаре возле кафе стояло всего три столика. Разговор наш коснулся спорта. Я почему-то думал, что он хорошо играет в футбол и бейсбол, вспомнил кое-кого из игроков и сказал, что сам я несколько лет подряд был подающим. А какую позицию занимал он, поинтересовался я. Но Эрнест ответил, что не очень любит игры с мячом и не признает командных игр. Он любит лыжи, бокс, рыбную ловлю и охоту — спорт одиночек. Там, где человек отвечает сам за себя. Потом я спросил его, здесь ли Фицджеральд? Понятия не имею, ответил он. Насколько ему известно, Фицджеральды должны быть в Париже только через несколько недель. Больше о Фицджеральде он ничего не сказал, и я переменял тему разговора. <...>

Порывшись в сумке, где у него лежали боксерские перчатки, он спросил, не хочу ли я посмотреть гранки его нового романа «Прощай, оружие!»? Прямо сейчас, сказал он, а то потом нужно будет отнести их Джеймсу Джойсу. Заказав себе еще пива, он молча ждал, пока я читал две первые главы. Стиль его заметно изменился со времени «И восходит солнце». Но главная прелесть заключалась в изумительной гармонии слов. В описаниях природы чувствовалась рука художника, не Сезанна, — его собственная. Я вспомнил, как однажды в Торонто он сказал мне, что иногда думает, лучше бы ему быть художником. Но внимание мое привлекла и еще одна черточка, являвшаяся как бы продолжением общей направленности, которую я выделил, — возможно, ошибочно, — еще читая «И восходит солнце». Тогда я всем нутром своим почувствовал, что Хемингуэя будут отождествлять с героем романа — Дже-

ком Барнсом. А сейчас знак равенства встанет между ним и лейтенантом Генри. Читатели будут уверены, что все, что случилось с этим лейтенантом, произошло в действительности с самим Хемингуэем, и он все быстрее будет утверждаться как писатель. Этого ли он хотел? Не сшибутся ли они когда-нибудь — он прежний и этот, стремительно завоевывающий популярность литератор?

Раньше я не сомневался, что из Хемингуэя получится объективный писатель с широким кругозором, вроде Толстого. Неужели же он полностью сосредоточится на себе, все больше увеличивая с каждой новой книгой значение собственной персоны, как того требуют традиции романтизма? Что ж, каждый хороший писатель идет своим путем. Но, сидя рядом с ним в маленьком кафе, погрузившемся в тень после того, как солнечные лучи покинули его, я не переставал размышлять — не собирается ли он превратить все свое будущее творчество в вереницу событий, героем которых будет он сам. Затем я попытался выразить ему свое восхищение тем, как хорошо удались ему описания природы. Эта книга будет лучше даже, чем «И восходит солнце», сказал я и помню, как расхохотался Эрнест, собирая листы корректуры.

— Такую книгу, как «И восходит солнце», можно написать в шесть недель, — заметил он.

— Как бы то ни было, — возразил я, — редко когда критика встречает так благосклонно появление новой книги, и должен с удовольствием отметить, еще реже она бывает столь права.

Посерьезнев, он сказал с тем глубоким убеждением в голосе, неизменно заставлявшим меня думать, что он обладает огромным запасом скрытой мудрости там, где дело касается писательского труда:

— Вот что стоит запомнить. Если вас хвалят, то вовсе не за то, за что следует. Если к вам приходит популярность, то за это вам нужно благодарить худшие стороны своего творчества. Всегда вас хвалят за худшее. Это правило без исключений.

Слова его успокаивали, вселяли надежду, убеждали в том, что он никогда не поддастся на грубую лесть, не позволит черни лепить из себя, тонкого художника, Бог знает что.

Мне стоит прикрыть глаза, и я вижу нас за столиком в кафе, слышу его рассуждения о том, что приносят популярность именно слабые стороны творчества. И воспоминание это глубоко трогает.

Мы встали и медленно пошли по улице.

На углу он сказал:

— Здесь мы с вами расстанемся, а то я и так опаздываю. Я обещал Джойсу занести эти корректуры. — Тут он,

наверное, уловил завистливый огонек у меня в глазах. И тотчас заговорил извиняющимся тоном, как-то по-мальчишески: — Я понимаю, Морли, что вам хотелось бы познакомиться с Джойсом. Я бы взял вас с собой и познакомил с ним, но он ужасно стесняется посторонних. Если так нагрязнеть на него, ничего хорошего не получится. Он не станет говорить о писателях и о литературе. Вы же сами понимаете, верно?

— Ну, конечно! — сказал я. — Я и не мечтал, что вы меня возьмете. Вы же хотите поговорить с ним о своей вещи... — и я рассмеялся. Мы условились встретиться на следующей неделе и снова побоксировать. Он пошел в одну сторону, я в другую — в направлении «Селекта», где меня ждала Лоретта. Обернувшись, я увидел, что он идет размеренным шагом, помахивая своей сумкой, большой, уверенный в себе, в прекрасном расположении духа.

Если он не познакомит меня с Джойсом, похоже, что мне так никогда и не удастся познакомиться с ним, подумал я. И вдруг успокоился и сам пришел в хорошее настроение. Прошло всего пять лет, и вот он — я! Шагаю по парижской улице и, несмотря на то как сложилась судьба моих рассказов, на недоброжелательство, на собственные сомнения, провожаю взглядом удаляющегося человека, который так щедро оценил мои труды и с которым мы только что чрезвычайно приятно провели несколько часов. <...>

Как-то раз пасмурным днем я зашел за Эрнестом. Лишь только мы вышли на улицу, закапал дождик. Один из тех чудесных летних дождей, которые часто проливаются в Париже в начале лета. Я забыл взять пальто. На Эрнесте был дождевик. Мы могли бы нанять такси, но дождь был такой тихий и воздух такой теплый, что он сказал: «Пошли пешком!»

Вытащив руку из рукава дождевика, он растянул освободившуюся полу надо мной наподобие палатки, поддерживая ее поднятой, как палаточный шест, рукой, и мы побрели. По дороге разговаривали. Ни о чем серьезном. Так болтали о всяких пустяках. Это напомнило мне студенческие годы, когда я мог вот так же зайти за старым приятелем и отправиться погулять с ним под дождем, потому что мне хорошо с ним и я уверен в нем.

И вот как раз в этот день Эрнест впервые совершил поступок, поразивший меня. Придя в Американский клуб, мы разделись и принялись боксировать. К тому времени, хорошо изучив его стиль, я выработал определенный порядок действий. Быстро передвигаясь по рингу, я вынуж-

дал его атаковать первым. Он понимал мой замысел. И, не отводя от меня карих глаз, выжидал удобного случая влепить мне как следует. Когда наконец он попытался нанести мне длинный удар левой, я увернулся, а затем шагнул вперед и в свою очередь ударил его левой рукой в губы. Он прекрасно знал, что для того, чтобы успеть ударить меня, нужно бить правой. И его, наверное, сердило то, что удары ему я всегда наношу левой. Губа оказалась разбитой в кровь. Это случилось и прежде. Бокс есть бокс! Он проводил языком по губам, слизывая кровь. И получил еще один удар в губы; сглатывая кровь, он по-прежнему смотрел мне прямо в глаза. Из губы его продолжала течь кровь. Он шумно втянул ее в себя, следя за мной, выжидая, и я еще раз ударил его прямо в рот. Видя, что я готовлюсь повторить свой маневр, он встал попрочнее. И вдруг плюнул в меня, плюнул кровью, которой был полон рот, плюнул мне прямо в лицо. Моя спортивная рубашка оказалась сплошь забрызганной кровью.

От негодования у меня свалились с рук перчатки. Я стоял потрясенный, не зная, что предпринять, и, по всей вероятности, сильно побледнел. Плюнуть в лицо кому-то — означает нанести этому человеку страшное оскорбление. Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга.

— Так поступают раненые тореадоры. У них это способ выразить презрение, — напыщенно произнес он.

И внезапно улыбнулся, приведя меня в замешательство и тем самым охладив немного мой гнев. Судя по всему, он был настроен дружелюбно, как всегда. Я сделал над собой усилие и рассмеялся. Все же нам пришлось прекратить бокс, чтобы дать мне стереть с лица кровь. Я не сказал ни слова по этому поводу, видя, что его расположение ко мне искренне, как никогда, но я не мог не задать себе вопрос: в каких неведомых тайниках его души мог зародиться позыв на подобный безобразный поступок? И на какие дикие поступки способен он под горячую руку, или из самодурства, или из желания показать себя, или из потребности следовать какому-то сложившемуся у него в уме образу самого себя? И, тем не менее, вот он сидит напротив меня как ни в чем не бывало, снова такой же милый, такой же обаятельный, как прежде. И я уговаривал себя — все образуется, все уладится, просто он поддался мальчишескому желанию удивить своей вечной приверженностью к театральным жестам. Все это был чистойшей воды цирк.

Перед тем как переодеться, мы уселись поболтать, он говорил с воодушевлением и был, казалось, настроен бесечно и весело.

Поднявшись на ноги, он стал рассматривать меня с видом знатока.

— По-настоящему вы — боксер полутяжелого веса, — убежденно говорил он. — Такова ваша конституция. А раньше я думал, что это у вас просто излишний жир.

Я, покривив душой, согласился с ним, хоть и знал, что вещу на двадцать пять фунтов больше, чем следовало бы, отрастил самое обыкновенное брюшко и в душе стъжусь этого. Поестъ я любил. Затем он сказал мне, что написал Максу Перкинсу и попытался рассказать ему, как чудесно проводим мы время вместе и какая у меня необычная стойка.

Он предложил мне пойти к «Фальстафу» — в английский бар, обшитый дубовыми панелями, вблизи Монпарнаса, который принадлежал его приятелю Джимми, англичанину и в прошлом спортсмену — профессиональному боксеру полутяжелого веса. В этот час бар был почти пуст. Восседавший за стойкой Джимми был похож на приветливого Ваньку-Встаньку. Дня два тому назад я задал ему вопрос, что в действительности представляла из себя леди Дафф — леди Бретт из «И восходит солнце»? Навалившись грудью на стойку, Джимми доверительно зашептал:

— А Хемингуэю вы не скажете? Нет? Ну так вот, она была типичная англичанка с короткой стрижкой и английскими замашками, из тех, у кого одни лошади на уме. Хемингуэй-то вообразил, что она из аристократок. Возил ее на танцы в хорошие места. Никогда не мог понять, что он в ней нашел.

Сейчас Джимми, увидев в руке Эрнеста сумку с боксерскими перчатками и нас самих, чистых, с мокрыми волосами, как и подобает людям, хорошо потренировавшимся, а потом принявшим душ, расплылся в понимающей улыбке.

— Небось боксировали?

Эрнест, засияв, дотронулся до своей распухшей губы, слегка оттянул ее вниз и показал старому боксеру. Помню, как он сказал при этом:

— Пока Морли в состоянии разбивать мне рот подобным образом, буду считать его своим большим другом.

Мы все посмеялись. Но Эрнест действительно был настроен очень хорошо и весело. Можно было подумать, что его отличному настроению и разговорчивости способствует именно разбитый и распухший рот. Он говорил о том, как замечательно дрался Джимми. Настоял, чтобы тот выпил с нами виски. И, что самое странное, несмотря на то, что Эрнест плюнул кровью мне в лицо, никогда прежде я не испытывал к нему таких прямо-таки родственных чувств.

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭВ»

Что-то изменилось в папе после его возвращения с Кубы, хотя он по-прежнему ездил по вызовам, принимал пациентов дома и навещал их в больнице — пациенты и семья всегда стояли у него на первом месте, вот о своем здоровье заботился он мало. Он знал, что у него грудная жаба — тяжелая, сопровождавшаяся сильными болями болезнь сердца, но не обращал внимания на советы коллег и просьбы мамы отдохнуть немного. Впечатление было, что он сторонился людей, разлуженных к нему, не хочет ни от кого ни понимания, ни помощи. Собственно говоря, отец изменился уже до поездки на Кубу; из чувствительного, энергичного, решительного человека, с веселой искоркой в глазах, он превратился в раздражительного и подозрительного. Стал обидчив, отказывался верить в искренность чьих бы то ни было побуждений. Стал надолго запирается у себя в кабинете. Держал на замке ящики письменного стола и шкаф. Мама, делившая с ним стальню, видела, что он не доверяет даже ей, и это больно задевало и обижало ее.

Приступы грудной жабы мучили его все чаще и чаще. Он всегда носил в кармане пузырек с лекарством, которое принимал при болях. Наконец-то мы поняли причину, почему он не хочет брать никого из детей с собой в машину — боялся, что может потерять управление ею, если приступ произойдет, когда он сидит за рулем.

Мама умоляла его отказаться от практики, лечь в постель и полечиться, и он знал, что это необходимо. Но

бросить работу не мог, хотя при подобных обстоятельствах заставил бы поступить так любого своего пациента. Мама дошла до отчаяния. Она писала мне о своих опасениях, но высказывала их очень осторожно — она всегда бодрилась в письмах, не любила портить другим настроение своими жалобами.

«Хорошо бы ты снова приехала погостить к нам и привезла с собой дорожную крошку Кэрол, — писала мне мама поздней осенью 1928 года. — Папа так любит ее. Может, увидев ее, он приободрится».

Приближалось 1 декабря — день, когда нужно было делать очередной платеж за земли во Флориде, в большом количестве приобретенные папой и мамой в 1925 году. Долг этот тревожил папу, а болезнь, конечно, усугубляла его беспокойство. Он решил посоветоваться со своим братом Джорджем — владельцем конторы по продаже недвижимого имущества и директором банка. «Как мне быть? — спросил папа. — Мне нужно сделать очередной взнос за флоридские земли до 10 декабря. Придется снова обратиться в банк за займом». Дядя Джордж сказал, что, по его мнению, участки во Флориде вряд ли будут еще подниматься в цене, что папа и мама купили слишком много участков и было бы лучше, если бы папа продал какую-то часть их, сохранив лишь те, где они думают поселиться, после того как он уйдет на покой.

Вот что мы узнали от дяди Джорджа об этом разговоре.

— Сбрось груз с плеч, Эд, — сказал он папе. — Не пытайся нести непосильную для себя ношу. Продай сейчас же какую-то часть участков, вздохни свободно. Цены на землю в большинстве случаев и так уже сильно завьшпены.

— Но как бы мне достать денег сейчас? — снова спросил папа.

— Если тебе и сейчас трудно делать платежи банку, зачем взваливать на себя еще лишний долг? — сказал дядя Джордж. — Ты только обременишь себя еще больше. Ведь к теперешним платежам прибавятся еще новые.

— Но я просто не понимаю, как я могу продать эти участки. Они же куплены для семьи, для того чтобы обеспечить наше будущее, — настаивал папа.

— Ты сможешь себе и своей семье гораздо больше, если продашь их сейчас, выплатишь долг, отдохнешь хорошенько и приведешь себя в порядок, — сказал дядя Джордж. — Поверь мне, Эд! Я в недвижимой собственности разбираюсь неплохо. Ажиотаж вокруг Флориды начинает спадать, но пока что, если поторопиться, ты сможешь продать свои земли за хорошую цену. Сохрани несколько участков получше, но освободись от остальных и спи спокойно.

Утром 6 декабря папа проснулся от боли в ступне. Будучи доктором, он сразу понял, в чем дело: следствием запущенного диабета часто бывает гангрена ступней. Одному из папиных пациентов пришлось ампутировать из-за этого ногу. Утром за завтраком папа вскользь упомянул о боли. Мама встревожилась, но папа обещал ей, что, когда заедет днем в больницу к пациенту, попросит кого-нибудь из докторов осмотреть его.

Упомянул он боль и в разговоре с одним из приятелей, но обследоваться не стал. Навестив своих пациентов, он около полудня вернулся домой. Выглядел он очень плохо и был бледен.

— Как Лес? — спросил он маму, медленно снимая пальто и шляпу и кладя докторский чемоданчик черной кожи на стул у себя в кабинете.

— Простуда у него лучше, но я решила поддержать его в постели еще один день. Думаю, он спит сейчас, — ответила мама.

— Тогда я прилягу до обеда. Позови меня, когда он будет готов, — устало сказал папа. Он медленно пошел наверх, держась за перила. Закрыв за собой дверь. Раздался выстрел. Так папа разрешил все свои проблемы.

Эрнест узнал о смерти папы, находясь в поезде — он ехал с пятилетним Бэмби, своим старшим сыном, в Ки-Уэст. Встретив в Нью-Йорке пароход, на котором приплыла из Франции Хэдди, он теперь вез мальчика на юг, куда тот ехал впервые. Маленький Бэмби говорил на смеси французского и английского языков.

Эрни быстро принял решение. Он объяснил Бэмби, что ему придется сойти с поезда и поехать к бабушке, потому что тот заболел, а Бэмби поедет дальше и должен слушаться цветного проводника.

— Хорошо, папá, — сказал мальчик. — Я все сделаю, как ты сказал. Я все сделаю, как скажет черный месье. Мама сказала мне, что я должен быть как взрослый, и я буду. Ты сам увидишь.

Эрнест рассказал нам об этом по приезде. К тому времени, как он добрался до Оук-Парка, я уже уехала с мамой договариваться насчет похорон.

Перед тем как сойти с поезда, Эрнест написал несколько телеграмм, адресованных в Оук-Парк, дал денег проводнику и попросил его отправлять эти телеграммы с каждой станции, где будет останавливаться ночью поезд. Он очень беспокоился, оставляя маленького сына одного в поезде в первый же день приезда его в Америку, но что

ему еще оставалось делать? Он телеграфировал Полине, чтобы она встретила Бэмби, так как сам он должен ехать прямо в Оук-Парк. Надо сказать, что маме и всем нам он оказал большую поддержку. Эрнест, который еще раньше перешел в веру Полины, сказал нам, что он уже отслужил заупокойную службу по папе, и, прежде чем мы отправились в Конгрегационную церковь на отпевание, собрал нас всех в музыкальной комнате, где лежал папа, и громко прочел «Отче наш».

Проводить своего любимого доктора явился весь город. Как писала газета «Оук-Ливс»: «Он облегчил страдания сотням людей».

Начиная с утра и до поздней ночи Эрнест звонил на телеграф, добываясь, почему ему до сих пор не доставили телеграмму от проводника. Он безумно волновался. Наконец телеграмма пришла. К тексту, составленному Эрнестом, проводник прибавил: «Мальчик хорошо проспал всю ночь». Только тогда Эрнест успокоился. Он был уверен, что на вокзале в Ки-Уэст Бэмби встретит Полина.

На следующий день после похорон вся семья собралась за обедом, мы были печальны, но и испытывали облегчение, свойственное людям, когда от них больше не требуется напряжение сил. Эрнест заговорил о книге, которую только что закончил. Он еще не решил, как назвать ее. Перечислил несколько названий и спросил всех нас по очереди, какое нравится нам больше. Мы повторяли их вслух, прикидывая, как они звучат и какое впечатление производят. Одно название Эрнест, казалось, повторял чаще других. Мне оно тоже нравилось. Это было «Прощай, оружие!».

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Эрнест и Полина приехали из Европы в начале 1928 года, когда выяснилось, что Полина беременна. Зимняя погода в Арканзасе была неблагоприятной для болезненного горла Эрнеста. Чтобы обеспечить Полине наилучшие условия, чтобы было много солнца и покоя, они отправились во Флориду, решив обосноваться там как можно южнее.

Они ехали на желтом «форде» модели «А» через мосты и переправы и наконец достигли Ки-Уэст. Это самый южный городок в Соединенных Штатах, он так отделен от остальной Флориды, что большой бум со спекуляцией земельными участками сюда тогда еще не дошел. Это был тихий городок в субтропиках, который пережил свое последнее потрясение за тридцать лет до этого, когда во время испано-американской войны здешний порт превратился в убежище для судов и пункт для пересылки донесений.

В эту осень Эрнест и Полина отдыхали, занимались рыбной ловлей и впервые в жизни любовались пустынными болотистыми равнинами и заброшенными заливами. Эрнесту здесь хорошо писалось.<...>

Когда они в первый раз приехали в Ки-Уэст, Эрнест арендовал дом, расположенный прямо напротив почты. За последующие четыре года они сменили по крайней мере еще три дома. Один был в Кончтауне, неподалеку от залива Гаррисона. Два других находились около Саут-Бич, не более чем в миле друг от друга. Эрнест и Полина опробовали разные районы острова, прежде чем окончательно выбрать.

Подходящее место было в конце концов найдено, когда Эрнест купил старый испанский дом № 907 на Уайтхед-стрит, напротив маяка, где жил комендант береговой

охраны. Полина сказала, что этот дом можно перестроить соответствующим образом. И она начала расширять его, переделывать, пристраивать сзади новые помещения. Там, где потом устроили бассейн с душами, раздевалками и прачечной, на втором этаже была рабочая комната Эрнеста. Она была отделена от главного дома, но в нее можно было пройти по узкому мостику, соединявшему балконы второго этажа.<...>

Вскоре Эрнест наладил в Ки-Уэст относительно спокойную жизнь. Однако, как это бывает с животными, попадающими на новое место, он должен был исследовать окрестные места. Большая Флоридская бухта лежала к северу, пустынные бухточки тянулись на запад, а за ними находился Драй Тортугас — конец цепи рифов, тянущихся более чем на две сотни миль к западу от Майами.

Первые плавания совершались на катере Бра Сандерса, на котором были установлены большой, неторопливо пыхтящий палмеровский мотор и два кресла для рыбаков на крыше кубрика. Еще за год до этого Эрнест обнаружил, что весной здесь очень хорошо ловится тарпон. Каждый сезон Эрнест с Полиной, Чарльз Томпсон и его жена Лоррейн и Бра Сандерс отправлялись по каналу Калда, прорезавшему на север и восток главный канал, идущий на северо-запад к Флоридскому заливу.

Патрика, а позднее и Грегори, родившегося в 1931 году, обычно оставляли с няней Адой. Полина упаковывала охлажденные бутылки с джином, сахар и термосы с холодной водой. Потом все это грузилось в машину и отправлялось на пристань.

Полина, моя вторая любимая невестка, обладала редким чувством юмора, изящной фигурой и была заядлой любительницей спорта. Чарльз Томпсон был замечательным другом и тоже любителем спорта. Он держал на острове лавку скобяных изделий. В ней можно было купить машинки для обработки ананасов, для консервирования мяса черепах, холодильники, принадлежности для рыбной ловли, даже катер. Крупный, хорошо сложенный мужчина с большим лбом и спокойными манерами бизнесмена, он был самым дружественным и практичным членом компании. Остроумная Лоррейн Томпсон происходила из Джорджии. Бра Сандерс был настоящим морским бродягой. Его предки, выходцы из Англии, первоначально обосновались на Грин-Тартл-Кей на Багамах. У Бра были светлые водянистые глаза — они становятся такими, когда человек годами смотрит на сверкающую от солнца

гладь океана. Он отличался худобой, жилистостью и готовностью отправиться на любое дело, куда позовут.

Доминировал в компании Эрнест. В те дни он был строен, но его баскские голубые в полоску рубашки для рыбной ловли всегда плотно обтягивали его могучий бочкообразный торс. Он никогда не заботился о том, чтобы вдеть пояс в петли своих брюк цвета хаки. Вместо этого он затягивал его ниже живота. Как сказала в ужасе одна дама: «Он всегда выглядит так, как будто он только что натянул штаны и в любую минуту готов опять спустить их».〈...〉

После того как вышел в свет роман «Прощай, оружие!», как раз перед великим крахом 1929 года, Эрнест решил, что пришло время открывать новые места. Спортивная ловля рыбы у берегов Кубы тогда только начиналась.

Гавана представляла собой один из самых очаровательных, порочных, таинственных и колдовских городов в мире. Он расположен в девяноста милях к югу от Санд-Ки, что на конце Флоридского рифа. Это самый большой город, из тех, что расположен у берегов Гольфстрима. Здесь огромное разнообразие кочующей по морям рыбы.

Эрнест впервые услышал о замечательной рыбной ловле по ту сторону Гольфстрима от Джози Рассела. Джо в течение ряда лет регулярно плавал между Кубой и Флоридским рифом, перевозя дорогостоящий булькающий груз. Он был отважен во всех смыслах этого слова. Гарри Морган в романе «Иметь и не иметь» во многом списан с Джози.

Эрнест обычно заглядывал в бар Джози на Дувал-стрит выпить пива и поболтать. Однажды, сидя с Эрнестом в темном и прохладном уголке своего бара, подальше от дверей, Джози сказал, что «охота на этих больших рыб — самое волнующее дело». Он описывал охотников на марлинов, которых часто наблюдал в их открытых лодках за много миль от берега. Джози говорил, что они ловят, рискуя своим временем и рыболовными снастями в неравной борьбе с марлином ради добывания средств к существованию. Но в этом есть смысл, потому что там действительно водится крупная рыба.

Для начала Эрнест нанял «Аниту», рыболовный катер Джози, длиной 36 футов. Вместе с Джози они пересекли Гольфстрим и ловили рыбу у берегов Гаваны, используя Кохимар, а потом Мариэль и Бахия Хонда в качестве баз. Наживку они покупали у местных рыбаков и уходили на ловлю то в восточном направлении, то в западном, в зависимости от сообщений об улове, глубин скоплений рыбы.

«Анита» представляла собой катер с низкими бортами, предназначенный для ловли губок. В ее кабине нельзя было даже выпрямиться. Но зато она легко шла против ветра.<...>

Спортивная охота на рыб тем не менее не могла удерживать Эрнеста на Кубе каждый сезон. В перерывах между азартными схватками с первой сотней его марлинов он жил в Ки-Уэст, побывал вновь в Канзас-Сити, когда там родился его третий сын Грегори, охотился на куропадок в Арканзасе, неподалеку от Пиготта, где жили родственники Полины. Осенью он любил охотиться на крупного зверя в Вайоминге.

Там на Западе осенью 1930 года во время охоты на оленей открытый «форд» Эрнеста вынужден был свернуть с дороги, чтобы не столкнуться с встречным грузовиком. Машина перевернулась, правая рука Эрнеста оказалась зажатой ветровым стеклом и сломана так, что кость вылезла наружу. Путь более чем в сорок миль по плохой дороге до больницы был очень мучительным. Эрнест зажал свою правую руку между коленями и левой рукой старался вправить сломанную кость, чтобы она не рвала мускулы. И все-таки часть тканей пришлось удалить.<...>

В ноябре 1933 года, когда Эрнест и Полина приехали в Париж, их ожидало там несколько маленьких, но приятных сюрпризов. В книжной лавке Сильвии Бич Эрнест увидел первые экземпляры сборника «Победитель не получает ничего», присланные издательством Скрибнеров. Ему понравилась суперобложка, которую он до этого не видел, поскольку гранки он правил по телефону и не мог непосредственно следить за издательским процессом.

Попал ему в руки и первый номер журнала «Эсквайр». Эрнесту очень понравилось, как выглядели две его статьи о боксе, и он написал Джингричу о своем впечатлении от журнала. Эрнест высказывал убеждение, что по крайней мере одна треть журнала должна быть «вызывающей». Он подчеркивал, что бокс и рыбная ловля безусловно являются двумя такими «вызывающими» темами, хотя ему кажется, что они должны так выглядеть из-за рекламы.

Последние две недели в Париже прошли как в лихорадке. Эрнест собирал вещи, которые понадобятся им в ближайшие месяцы, написал Арнольду Джингричу третью статью для его журнала. Оказалось к тому же, что надо написать массу писем родственникам, в банки, детям, друзьям и издателям. После последнего раунда приемов и нескольких обязательных встреч со старыми друзь-

ями, узнавшими, что он в городе, экспедиция двинулась на юг Франции и поднялась на борт парохода, который должен был доставить их в Восточную Африку. Перед тем как войти в Красное море, пароход остановился в Порт-Саиде, и Эрнест съел там что-то, оказавшееся в его кишечнике бомбой замедленного действия.

К югу от Каира плавание превратилось в сплошную цепь открытий. Эрнест взял с собой книги о путешествиях в этих краях и справочные издания, но очень многое выглядело совершенно иначе, чем в книгах. Рассказывая о своих впечатлениях о холмах Британской Восточной Африки, Эрнест впоследствии заметил, что ни одна прочитанная им книга не дала ему подлинного представления об этой стране. Равнины, говорил он, необозримы, а удивительная жизнь животных такая насыщенная, как и тысячи лет назад.

Когда Эрнест, Полина и Чарльз Томпсон оказались на месте, первое, что они ощутили, была высота. Семнадцать дней они провели в море, и теперь разница в высоте резко ощущалась. Эрнест испытывал сильный упадок сил и заявил, что у него не хватает энергии на то, чтобы писать. Потребовалось несколько томительных ночей, чтобы акклиматизироваться. По ночам приходилось укрываться двумя одеялами. Даже утром, когда выглядывало солнце, они мерзли под холодным ветром с долин Капити. В первую неделю Эрнест отделил прекрасные головы у газелей, застреленных Томпсоном, а также головы конгоны и импалы. Чарльз проявил себя отличным стрелком. Полина, получившая кличку «Бедная Старая Мама», была зрителем и выражала свое одобрение охотникам.

Эрнест сам еще не знал о том, что серьезно болен амебной дизентерией, подхваченной им в Порт-Саиде. Верным признаком стал упадок сил. В последующие несколько недель он слег с безошибочными симптомами. Однако позже, в декабре, он охотился на куду, а потом хотел даже принять участие в охоте на льва, буйвола и носорога.<...>

Полина спустя несколько месяцев рассказывала мне: «Неожиданно из Эрнеста стало ежедневно выливаться около литра крови». Однако, несмотря на сильное кровотечение и упадок сил, болезнь продолжалась недолго благодаря правильному лечению. Филипп Персиваль знал об опасности этого заболевания и прервал сафари, чтобы Эрнест мог провести несколько дней в больнице.

После этого, напичканный хинином и эметинном до та-

кой степени, что он клялся, что не в состоянии управлять своей головой, Эрнест стал обдумывать некоторые из своих лучших рассказов и написал кучу писем, отвечая на почту, дошедшую наконец до них из Найроби.

Охота в долине Серенгети оказалась потрясающей. Эрнест не мог нарадоваться на свой «спрингфилд». Он стрелял из него на американском Западе по оленям и антилопам. Теперь, стреляя более тяжелыми пулями, он успешно из этого же ружья подбил двух буйволов и всех добытых им львов.<...>

Как рассказывал мне позднее Эрнест, самый захватывающий момент был тот, когда он ранил буйвола и подошел к нему, а буйвол бросился на него, и Эрнесту удалось уложить его, когда тот уже был так близко, что до него можно было дотронуться рукой.

Полина особенно увлеклась львами. Они несколько раз показывались в утреннем тумане, выслеживая стадо гну, в котором было, наверное, больше миллиона голов. Полина говорила, что однажды охотники тихонько подкрались к львам, но, когда львы увидели их, они все, кроме одного, ушли. А одинокий лев стоял, с любопытством разглядывая людей. «Он выглядел так, словно не прочь был подружиться с нами»,— сказала она.<...>

Когда первый курс лечения дизентерии кончился, Эрнест заявил, что снова отправится на охоту пешком. Никто из участников сафари не мог отговорить его. Он твердо вознамерился подстрелить большого куду, которого хотел выследить и убить в одиночку. И ему это удалось, несмотря на периодически возобновлявшиеся болезненные приступы дизентерии. Когда он в конце концов исполнил свое желание и все они двинулись к Малинди, Эрнест вновь сильно потерял в весе и во второй раз вынужден был прибегнуть к прописанному ему лечению.

Когда охота на холмах закончилась, Эрнест и Полина уговорили Филиппа Персиваля отвлечься на время от опасной игры, в которой он так преуспел, и на несколько недель присоединиться к ним и принять участие в охоте на большую рыбу у побережья. Там уж Чарльз и Эрнест могли выступать учителями вместо того, чтобы быть учениками. Вся компания предвкушала эту поездку.

«Это было замечательное время,— вспоминала впоследствии Полина.— Мистер Ф. вел себя как истый спортсмен, а катер, который арендовал Эрнест, оказался невероятно ко-

мическим судном. Его мотор глох каждый раз, когда мы приближались к рыбе. Как будто он понимал, что к чему».〈...〉

Возвращение в Европу на пароходе «Кринсхольм» было приятным. Когда остановились в Хайфе, к ним присоединилась Лоррейн Томпсон, приехавшая туда, чтобы встретить их. Судно было быстроходным, в помещениях прохладно, имелся плавательный бассейн. В Париже Эрнест занялся проявлением сделанных им фотографий и кинолент и отправил их в редакцию «Эсквайра» с точными указаниями, как разместить их на страницах журнала.

К этому времени Эрнест с удовольствием стал писать для журнала «Письма спортсмена». Ему нравилось общение с читателями в колонке «Письма редактору». Поскольку Джингрич собирался перевести журнал с ежеквартального на ежемесячный, Эрнест предложил ему, что будет давать дополнительно еще десять материалов по той же ставке. Он предложил, чтобы Джингрич пригласил его друзей Альфреда Вандербильта и Ивена Шипмена, больших знатоков конного спорта, освещать в журнале скачки и бега. Он откровенно писал Джингричу, что надеется, что новый журнал будет давать прибыль, потому что сам он разорен, и будет жаль писать такие хорошие очерки и получать за них ничтожно мало. Он ведь в своих очерках сообщает столько сведений, на изучение которых у него уходило многие тысячи долларов. Кроме того, он хочет обзавестись таким катером, какой ему нужен, а это будет стоить семь тысяч долларов. Дважды он был близок к этому, но каждый раз деньги расходились. Теперь он знает, как добыть половину требуемой суммы. А вот со второй половиной пока не ясно.

Когда в начале апреля экспедиция вернулась в Ки-Уэст, их ждали там хорошие вести. Арнольд Джингрич прислал чек на три тысячи долларов в качестве аванса за следующие десять очерков. С этими деньгами и с теми, какие он еще мог добыть, Эрнест заказал компании «Уилер» в Нью-Йорке построить ему такой катер, о котором он давно мечтал. Еще год назад он обсуждал с представителями фирмы все детали усовершенствования катера. Ему обещали доставить катер через шесть недель, поскольку несколько подобных корпусов изготавливаются для обычных яхт, а переделки, которых он требует, могут быть сделаны только на верфи. Катер будет переправлен по железной дороге в Майами и там спущен на воду. В

Ки-Уэст, где Полина ненавязчиво управляла всем домом, Эрнест сразу же принялся писать. Он переживал то, что называл *belle époque*¹. Его подсознание, скованное в течение столь длительного времени, когда он накапливал моменты ожидания и действия и впитывал девственную красоту Африки, стало давать обильные всходы. Он уверенно работал, превращая свои путевые записки в главы книги «Зеленые холмы Африки». Помимо того он начал обдумывать большой роман, который будет называться «Иметь и не иметь». Для этого он изучал Ки-Уэст и его обитателей, как раньше изучал кубинцев — как дружественный, но объективный наблюдатель.

Когда кончался его рабочий день, Эрнест целиком отдавался новому судну. Он перепроверял его размеры, придумывал всяческие доделки, пока все не было наконец закончено. Катер был длиною в 38 футов, из белых кедровых досок, отделанных по краям мореным дубом, с узким корпусом. На носу имелся кубрик, на крыше которого были закреплены запасные якоря, с выдвинутым вперед люком, обеспечивавшим вентиляцию и проход в носовую каюту. За ней располагалась другая каюта с двумя койками и маленький камбуз еще с двумя койками и ящиком со льдом под выдвинутой вперед частью палубной каюты.

Заднюю часть кубрика Эрнест приказал срезать на целый фут, чтобы меньше было расстояние от воды и легче было вытаскивать рыбу. Над транцем он устроил деревянный накат более шести футов шириной, по которому удобно было вытаскивать рыбу.<...>

Катер называли «Пилар».<...>

Работа по утрам по-прежнему доставляла Эрнесту радость. Он не любил менять что-либо в своем распорядке дня, будучи убежден, что любое изменение может спугнуть удачу, помешать свободному рождению прозы.

К середине июня он дошел до 147 страницы своей новой книги. Он уже три раза, рассказывал Эрнест, переписывал ее от начала до конца. Погода стояла отличная, неделями дул ровный восточный бриз. По вечерам становилось холодно и приходилось натягивать на себя свитера. Хотя Эрнест был очень доволен своей работой, он начал испытывать некоторое разочарование в отноше-

¹ Прекрасная пора (*фр.*).

нии рыбной ловли. Он рвался обратно в Африку несмотря на то, что все еще страдал от амебной дизентерии, которую там подхватил.<...>

В тот день мы поймали восемь марлинов, все весом больше двадцати пяти фунтов, и, кроме того, еще девять скумбрий, несколько барракуд и макрелей.<...>

По дороге домой Эрнест разговорился за стаканом виски, и я понял, что он начинает скучать. Что-то его мучило, и ему необходимо было от этого освободиться. Он любил какие-то вещи до известного предела, а потом ему все переставало нравиться. Давняя страсть к Африке не проходила, и он начал осознавать, как мало значит для него то, что еще несколько часов раньше казалось таким существенным. Я в те дни многое записывал и поэтому могу воспроизвести его разговоры.<...>

— У меня одна жизнь, — говорил он, — и, клянусь Богом, я хочу отправиться туда, где мне интересно жить. Меня не привлекает американская действительность. Она меня не трогает. Я хочу заработать достаточно денег, чтобы я мог вернуться в Африку. Я много работал и написал несколько хороших рассказов, и еще напишу — хотя на прошлой неделе бывали минуты, когда ничего не получалось. Я могу об этом говорить, потому что это позади. Сейчас я опять в хорошей форме, и похоже, что я еще не кончился как писатель.

— Может быть, тебе нужна Гертруда Стайн здесь на борту, чтобы она показала тебе, как писать, — подзадорил я его.

— Конечно, — засмеялся он. — Уж она бы показала. — Он помолчал, а потом добавил: — Но я действительно кое-чему научился у этой женщины. Тогда же я учился еще у Джойса и Эзры. Гертруда была замечательной женщиной, пока не стала лесбиянкой. До тех пор она была чертовски умной. Но потом она решила, что всякий талантливый человек должен быть гомосексуалистом. На этом она совсем тронулась и убедила себя, что каждый гомосексуалист талантлив. Но прежде, чем она свихнулась, я многому научился у нее. — Эрнест сделал большой глоток. — Другим писателем, у которого я учился, был Андерсон, но только очень короткое время. У Д. Лоуренса я научился описывать землю. — Эрнест помолчал еще с минуту, прислушиваясь к стуку мотора и всматриваясь в волны. По-

том добавил: — Но, Бог мой, эта книга, которую Стайн выпустила в прошлом году, она же полна злобной грязи. Я всегда был лоялен по отношению к ней, пока она не отшвырнула меня. Ты думаешь, она на самом деле верит, что научила меня, как писать промежуточные главы в книге «в наше время»? Неужели она думает, что она или Андерсон научили меня, как сочинить первую и последнюю главы в «Прощай, оружие!»? Или «Белых слонов», или главы о фиесте в «И восходит солнце»? Черт побери! Я действительно обсуждал с ней эту книгу. Но это было через год после того, как я ее написал. Я даже не видел Гертруду ни разу с двадцать первого июля, когда я начал писать роман, и до шестого сентября, когда закончил.

Но что меня совсем взбесило, так это когда она пришла к выводу, что у меня хрупкие кости. Будь я проклят, но единственный раз в жизни, когда я ломал себе кости, это когда я был ранен и когда я сломал себе руку, когда мой «форд» перевернулся, там, на Западе. На руке остались шрамы в тех местах, где пришлось срезать мясо. Хирург вынужден был подпиливать концы кости прежде, чем соединить их. Старуха Гертруда умеет находить хрупких людей!

Последовала еще минута молчания. Потом он сказал:

— Она умышленно называет меня трусливым. Но ты знаешь — я до сих пор доволен, что оставался лояльным и добрым, даже после того, как она перестала быть мне другом. Можно сказать, что последний год не был самым счастливым для меня — с этой книгой Стайн и тем, что Макс Истмен написал обо мне в «Нью Рипаблик». И все равно я писал хорошо. Сам не знаю почему. Может быть, потому, что мне представляется такой приятательной Африка.

Эрнест погремел кусочками льда в своем пустом стакане.

— Налей-ка мне еще.<...>

В тот сезон Эрнест совершил ряд спортивных подвигов. Он победил марлина весом в 243 фунта за двадцать девять минут. Потом он буквально за три минуты выгасил полосатого марлина в 120 фунтов, совершенно свеженького и полного сил.

— Сезона два назад, — сказал он, — на эту рыбу мне потребовалось бы около часа. — Ну, а что касается той большой рыбы, то он предположил, что «на нее ушло бы

не меньше двух с половиной часов». — Они были пойманы как полагается, на удочку. С обеими все было в абсолютном порядке. Просто мы стали лучше понимать их.

Эрнест показал мне некоторые письма от читателей «Осквайра», которые сомневались в правдивости его репортажей. Но я-то видел, что он делал, и знал, что он пишет правду.

— Почему они так реагируют? — спросил я.

— Есть люди, — сказал он, — которые слышали эхо и думают, что эти звуки исходят от них. Они слышали или где-то прочитали, что я человек фальшивый, и это застряло у них в мозгах. Вот Хейвуд Браун заклеил меня как плохого боксера. Он, наверное, почерпнул эту идею, читая Гертруду Стайн, и она ему понравилась. Потом она стала его собственной идеей. Мне уже изрядно надоела эта клевета, а она еще будет продолжаться. — Эрнест сделал еще один глоток и добавил: — Единственное, в чем я выгляжу странным, — я изображаю вещи так, что они выглядят настоящими. Но ведь ты-то знаешь меня — и в рыбной ловле, и в стрельбе, и в боксе. Разве я жульничаю?

— Никогда.

— Вот мы и дальше будем идти так. Но нельзя волноваться из-за этой клеветы, чтобы это не мешало работе над книгой. Эта книга — мой шанс заработать кое-какие деньги, и это очень важно. Потому что на деньги покупается свобода.<...>

Вскоре Эрнест вернулся в Ки-Уэст, чтобы устроить кое-какие свои дела. К концу сентября он вернулся на Кубу, чтобы сделать последний рывок и закончить рукопись «Зеленых холмов Африки». К концу работы он писал двадцать — двадцать пять страниц в день, хотя обычно его нормой было около пяти страниц. Написанный от руки текст составил 492 страницы. Он собирался на следующий же день начать работать над новым произведением.

Как только книга была закончена, то даже ураганные ветры, обрушившиеся во второй половине дня, не могли удержать его от выхода в океан для охоты на больших марлинов. В середине октября у него началось воспаление указательного пальца на правой руке, угрожавшее общим заражением крови, что его очень испугало. Палец опух, потом опухоль пошла выше, и могла начаться гангрена. Письма он отстукивал на машинке одним пальцем, и они были еще более шутивными, чем обычно.<...>

Свирепый ураган обрушился на южный берег Кубы. К концу октября Эрнест перевел «Пилар» обратно в Ки-

Уэст. Он был выше головы занят организацией выставки гравюр своего друга Луиса Кинтанильи, испанского художника, в галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. Выставка планировалась на ноябрь. Сам Кинтанилья сидел в Мадриде в тюрьме по обвинению в том, что он входил в состав революционного комитета во время октябрьских волнений. Эрнест написал предисловие к каталогу выставки и уговорил Джона Дос Пассоса написать другое. Эрнест финансировал выставку, он оплатил печатание оттисков, будучи убежден, что эти гравюры «дьявольски хороши». Он писал всем своим друзьям, что его, конечно, можно подозревать в предубежденности, поскольку они с Кинтанильей друзья, но это действительно лучшие гравюры, исполненные сухой иглой, какие только он видел в своей жизни. Эрнест оплатил пошлину за провоз гравюр, дал деньги на рекламу и обещал купить пятнадцать гравюр, если на выставке не будет продано достаточное их количество. И тем не менее он все волновался из-за денег. Из отложенных им денег Эрнест весной и летом одолжил крупные суммы нескольким приятелям, и никто еще не вернул долг.

Осенью волна холода достигла Ки-Уэст, и на мелководье погибло много рыбы от свиней и собак. Но холод не помешал спортивной ловле рыбы на больших глубинах и в Гольфстриме. Эрнест соблазнил Арнольда Джингрича, и они вдвоем удачно охотились на туну и на рыбу-парусник, поймали и несколько больших барракуд. И Арнольд вновь разрешил все срочные финансовые трудности Эрнеста.<...>

Опять наступил сезон ураганов, и Эрнест считал, что лучшие гавани — это те, которые хорошо знаешь. Погода становилась все более сырой и теплой, и он начал испытывать беспокойство. С годами он приобрел так называемый «комплекс восприимчивости куропатки» и теперь вдруг заторопился с отплытием. Как только прибыли заказанные им запасные части, Эрнест в последней неделе августа совершил быстрый переход в американские воды и прошел на «Пилар» весь путь вдоль полосы рифов до Ки-Уэст. Он хотел найти для судна безопасное укрытие от любого шторма и обнаружил такую гавань на базе подводных лодок в Ки-Уэст. Его предчувствие оказалось совершенно оправданным.

Жестокий ураган налетел в День труда с востока. Эрнест обезопасил «Пилар» линиями, которыми опутал весь корпус, двойными бриделями закрепил катер с четырех сто-

рон, чтобы он не разбился о пирсы внутри базы. Лины разошлись, но катер, между прочим не застрахованный, перенес удар, не получив повреждений.

Когда центр урагана сместился дальше, выяснилось, что всякая связь между Ки-Уэст и материком оборвана. Только через день стали известны масштабы бедствия. Железнодорожное полотно на протяжении многих миль оказалось смыто с эстакады. Сотни ветеранов первой мировой войны, живших в одноэтажных бараках около Индиан-Ки, утонули, когда ураган, сопровождаемый огромной волной, обрушился на район между Исламорадой и Матекумбе.

Эрнест глубоко переживал гибель людей и разрушения. Он с горечью писал о том, что бюро погоды не дало своевременного предупреждения.<...>

Осенью друзья пригласили Эрнеста на зиму в Кению на охоту. Он хотел еще побывать в Абиссинии, чтобы посмотреть и написать об итальянском вторжении в эту страну. Его очень волновал и соблазнял этот план, но потом он отказался от него. Одному своему другу он объяснил это так: однажды в жизни он уже видел, как воюют итальянцы, и если это не показалось ему привлекательным в двадцать лет, то он не видит причин, почему это может заинтересовать его в тридцать восемь. На самом деле ему тогда было тридцать шесть. Почти всю свою жизнь Эрнест прибавлял себе пару лет и старался выдать себя за более взрослого человека, чем это было на самом деле.

В течение октября и ноября Эрнест и Дос Пассос дважды съездили в Нью-Йорк, останавливаясь у Джеральда Мэрфи. Дом Мэрфи на Французской Ривьере много лет был открыт для Дос Пассоса и других серьезных писателей. Не считая этих поездок в Нью-Йорк, Эрнест напряженно работал в Ки-Уэст над новыми главами «Иметь и не иметь» и вновь начал писать рассказы. Это была очень продуктивная зима. К апрелю он закончил несколько рассказов, добрался до шестидесятой страницы большого рассказа и был на середине романа. Гарри Бартон из «Космополитена» приехал в Ки-Уэст с заманчивым предложением печатать новый роман с продолжением и обещал рекордную гонорарную ставку за рассказы.

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Я проводил в Ки-Уэст свой медовый месяц, а Хемингуэй приехал туда с Кубы. Он щедро дарил всем свое время, и я, конечно, познакомился с ним. Он любил бокс, я тоже. Думается, что у нас обоих было несколько преувеличенное представление о наших боксерских способностях. Ему серьезно мешали раны, полученные в первую мировую войну, но я не думаю, что его реакция была очень уж хороша даже в лучшие времена. Он был крупный мужчина и весил тогда значительно больше нормы. Ему полагалось иметь от 180 до 185 фунтов веса, а он весил 200 фунтов, а то и больше. Но в нем чувствовалась огромная энергия. Создавалось впечатление, что перед вами интеллигентный медведь.<...>

Одним из его друзей в Ки-Уэст был Чарли Томпсон, выведенный под именем Карла в «Зеленых холмах Африки», владелец лавки скобяных товаров. Дружил он еще с Джимом Сэлливаном, которого Хемингуэй называл «Кипятильником». Джим торговал моторами, и около его магазинчика всегда пришвартовывалось много моторных лодок. Хемингуэй испытывал восхищение и был близок к рабочим и к людям среднего класса, о чем он писал мне в своих письмах из Испании во время гражданской войны. Он много раз — Сэлливан сам рассказывал мне об этом — говорил Сэлливану, что хочет покончить жизнь самоубийством. Никто, конечно, не принимал этого всерьез.<...>

Он обычно как-то уклонялся от разговора, когда заходила речь о его католицизме. У них с Полиной были серьезные проблемы в отношении использования противоза-

чаточных средств, но я никогда не касался таких вопросов. Они выглядели счастливой парой, но он находился тогда на грани разрыва с Полиной. Они расстались, и он крутился вокруг Марты Гельхорн. Он злился сам на себя и хотел «оправдаться» в собственных глазах. Будучи в таком настроении, он как-то сказал про Полину, что она шлюха. Моя жена возразила ему: «Вы прекрасно знаете, что это не так». Его реакция была очень смешной. Он просто задохнулся. Когда ему возражали — а он не привык к этому — я не найду более точного слова, — он начинал задыхаться. Он хотел что-то сказать, но не мог. Мне казалось, что он старается найти себе оправдание в своем желании жениться на Марте Гельхорн. Поэтому он так отреагировал на реплику моей жены, — как будто его поймали на лжи. Он был сложный мужик и в какой-то мере склонный к самообману. Думаю, что мы все к этому склонны.

Перед тем как уехать в Испанию весной 1937 года, Хемингуэй написал мне из Ки-Уэст. Он отзывался об этой войне, как о плохой войне, в которой нет правых, но писал, что ему важно постараться облегчить страдания людей. Он писал, что ни с позиций христианства, ни с позиций католицизма нельзя оправдать убийство раненых в толедском госпитале при помощи ручных гранат или бомбардировки рабочих кварталов Мадрида с единственной целью — убивать бедных. Он знал, что там убивали священников и епископов, но не мог понять, почему церковь стоит на стороне угнетателей, а не угнетенных. Хемингуэй писал, что его симпатии всегда были на стороне эксплуатируемых, а не помещиков. И что хотя он выпивает и стреляет голубей вместе с помещиками, он готов стрелять по помещикам, как по дичи. Еще он писал, что, как он полагает, в России дурное правительство, но ведь ему не нравится ни одно правительство в мире.

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Я попал на Бимини осенью 1935 года, сразу после того, как Хемингуэй впервые поймал двух огромных тун. Незадолго перед этим я вернулся из Испании и только что прочитал его книгу о бое быков «Смерть после полудня». Я подошел к нему в баре «Источник молодости» и спросил: «Вы мистер Хемингуэй?» Он ответил: «Меня здесь никто не называет мистер Хемингуэй».

Я представился и сказал, что провел лето в Испании, знакомясь с боем быков, прочитал его книгу и считаю ее превосходной. «Но не могу с вами согласиться насчет...» — я упомянул тореадора, имя которого теперь забыл. Хемингуэй поставил свой стакан с виски и спросил: «Сколько боев быков вы видели?» Я сказал: «Наверное, двадцать». На что он заметил: «Будем разговаривать, когда вы посмотрите сотни три», и повернулся ко мне спиной. Я сказал: «Извините, я не хотел критиковать вас». — «Ладно, хватит об этом, — прервал он меня. — Давайте выпьем». Что мы и сделали.

Позднее мы устроили на берегу тренировочный матч боксеров. Он оказался сильным боксером. Я довольно много занимался боксом, но он был тяжелее меня. Он ударял и сваливал вас навзничь. Не было и речи о том, чтобы отрабатывать технику. Он знал одно — сильный удар. Обычно он говорил: «Вы живы, пока прикрываетесь левым плечом». <...>

После этой первой встречи на Бимини я и моя жена навестили его на ранчо Нордквиста в Вайоминге. Там и в Монтане мы с Эрнестом охотились на гризли, оленей и антилоп. <...>

Удивительно, как часто он говорил о самоубийстве. Образ Хемингуэя как человека жестокого, почти кровавого, сформировавшийся из-за его любви к охоте и бою быков, сильно преувеличен. Он был в высшей степени

интеллигентный человек, много читавший. Когда он не писал, то обязательно читал. Он читал все, начиная от Сартра и кончая Джеймсом Бондом. Он всегда всем интересовался. Он старался отстраниться от политики, а его старались втягивать в политику. Он был сложный, очень трудный человек, обладавший огромным вкусом к жизни, и когда его что-то занимало, то он отдавался этому со всем размахом, не останавливаясь на полпути.

Когда мы охотились на Западе, он попросил меня прочитать рукопись первого варианта романа «Иметь и не иметь», который он только закончил. Я внимательно прочитал рукопись и сделал кое-какие пометки. Он посмотрел мои замечания, ужасно рассердился и выбросил рукопись из окна в снег. Она лежала там три дня. Когда он наконец успокоился и мы выгребли ее из-под снега, я сказал ему: «Я не писатель. И раз мы такие хорошие друзья, зачем вы просили меня критиковать вашу рукопись?» На что он ответил: «Черт меня подери, если я сам знаю. Больше никогда не сделаю этого». И с того дня он забыл об этом эпизоде.

Он проявлял чрезвычайную чувствительность, когда недоброжелательно отзывались о его произведениях. Так что это был первый и последний случай, когда он показывал мне что-то из своих работ до публикации. Он совсем мало пил, когда писал, когда охотился и когда занимался серьезной рыбной ловлей. Но если охота на рыбу не шла, мы все время сильно накачивались. Потом он завязывал на неделю и писал новый рассказ.

Хотя я и преклонялся перед ним, но всегда был насто-роже из-за его вспыльчивого характера. Я знал, что некоторые вещи наверняка заденут его, и я, например, никогда не мешал ему, когда он писал.

Хемингуэй чувствовал себя абсолютно уверенным на охоте или во время рыбной ловли. Но он ужасно стеснялся, если ему приходилось идти на званый обед. Ни за что на свете не пошел бы он на светский прием в Палм-Бич, отчасти потому, что был застенчив, а частично потому, что ни в грош не ставил всех этих людей. При этом он наверняка оскорбил бы там кого-нибудь. Он обладал потрясающим чувством юмора, но ненавидел, когда шутили над ним. Да у вас и у самих не возникало желания разыгрывать его и даже посмеиваться над ним.

Иногда он становился задирой, особенно когда выпивал, хотя я никогда не говорил ему об этом. Мы получали массу удовольствия, стреляя по голубям. Мы приглашали гостей и вместо голубей подбрасывали в воздух омаров и устриц. Часто мы устраивали веселье проделки и с ружьями наших гостей, когда, например, вместо пули из дула вылетал американский флаг.

ИЗ КНИГИ «ХЕМИНГУЭЙ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ДРУГА»

Отплыли мы на Бимини на четвертый день рано утром. Ветер и дождь прекратились, но продолжалось сильное накатное волнение. На пристани мы спросили про Эрнеста, но оказалось, что он еще не возвращался. Мы забеспокоились. Я позвонил в Береговую охрану. Услышав фамилию Хемингуэй, человек на противоположном конце провода оглушительно захохотал.

— Да этот парень знает здешние воды лучше нашего, — сказал он.

Начальник дока тоже не разделял наших страхов.

— Если этот субъект когда-нибудь потеряется на море, — сказал он, — знайте, что он висит на рее.

На закате мы завидели Бимини. Зрелище просто замечательное! Небольшая диадема из ярких тропических цветов в изумрудной оправе. Туземцы утверждают, что во время своего первого путешествия Колумб именно здесь бросил якорь. И назвал это место Сан-Сальвадор. Я об этом никогда не слышал, но готов пари держать, что Христофор едва ли обрадовался при виде земли больше, чем обрадовались мы в тот момент.

Бимини — самый маленький из Багамской группы Вест-Индских островов. Собственно говоря, это два острова, но один из них необитаем. Он расположен в ста милях к востоку от Майами и, если не считать небольшой гостиницы, выглядит приблизительно так же, как и во времена Колумба. Население состоит из пары сотен туземцев, и живут они и выглядят приблизительно так же, как в пятнадцатом веке, разве что слушают по радио передачи о боксе или о баскетбольном матче. Похож на все тропические островки, что показывают в кино: сплошные кокосовые пальмы и белый песок. В Атласе мира он отмечен крошечным пятнышком и одной строчкой: «Бимини: ма-

ленький остров из содружества Багамских в Вест-Индии, на котором, как говорят, Понс де Леон открыл источник молодости».

Я попросил у капитана бинокль. Рассмотрел док — длинный узкий мол, но никаких признаков хемингуэвской яхты не обнаружил. На моле стояло человек пятьдесят туземцев, среди них не замечалось ни одного белого. Возможно, заходил и дальше отправился, подумал я. Во всяком случае была у меня такая надежда.

Но, как выяснилось, он не заходил. Это мы узнали от помогавших нам пришвартоваться туземцев. Прежде всего они спросили нас, не видели ли его мы. Когда мы сказали им, что видели его четыре дня тому назад, перед отплытием сюда, на Бимини, они расплылись в улыбках. Я не уловил, что уж такого смешного в том, что кто-то несколько дней провел в море во время шторма. А вот их, по-видимому, это веселило.

— Папа шторма не страшно, — сказал один туземец. — Шторма кончилась. Теперь он приходит.

Мы надеялись, что они правы, но некоторые опасения по этому поводу имелись. В начале мола мы заметили небольшой бар и направились туда. Море весь день было довольно бурное, и нам хотелось как можно скорей лечь в постель. Несколько туземцев взялись помочь нам и безо всякой с нашей стороны просьбы прямым ходом доставили нас в бар. Войдя в бар, мы плюхнулись на стоявшие там табуретки. И только выпив по паре стаканчиков доброго шотландского виски, которым славятся Британские острова, начали понемногу приходить в себя.

Но участь Эрнеста продолжала нас беспокоить. Гиб хотел позвонить в Ки-Уэст и объявить его пропавшим без вести. На Бимини имелся радиотелефон, и такая возможность была, но если бы мы это сделали, а он потом явился бы целым и невредимым, его это взбесило бы. Он терпеть не мог, когда начинали совать нос в его личную жизнь. Любой газетчик, знающий его, это подтвердит. О книгах своих распространяться не желал, куда уж там о собственной персоне. Тут приходится отдать ему должное. Вспомните, что он отмочил, когда я напечатал хвалебную статью о нем в «Бульвардье».

Так что вместо этого мы добрались до гостиницы и завалились спать.

С рассветом мы получили благую весть. Слуга, который принес нам кофе, так и сиял улыбкой. Папина яхта ковыляет в направлении порта, объявил он, ее уже видно. Еще час или около того — он подойдет к молу, и тогда весь остров выйдет встречать его. Прямо будто сам Христофор Колумб решил навеститься сюда снова, подумал я.

Но и мы с Гибом были там вместе со всеми, когда «Пилар», пыхтя, подошла к молу. Яхту сильно потрепало. Что и говорить, штормяга был нешуточный. Тем не менее оттуда, где мы стояли, Эрнест, казалось, выглядел вполне сносно. На моле-то нас не было. Там не хватило места. Мы ждали его у входа в бар. Знали, куда он рванет сразу по прибытии. Но надо было видеть и слышать, как его приветствовали! Даже с музыкой! Раздобыли откуда-то трех музыкантов. Если бы не неуместная музыка, — а наяривал оркестр: «Боже, храни короля!», можно было бы подумать, что это Линдберг едет по Пятой авеню. И обращались они с ним соответственно. Все смеялись, сияли и что-то выкрикивали и были рады его видеть не меньше нашего.

Наш расчет оказался верен — он напрямик отправился в бар, с улыбкой продираясь сквозь множество полуобнаженных тел. Он и сам был полуголый и так обожен солнцем и ветром, что мало чем отличался от них. Он ступал босыми ногами по утыканному гвоздями, топорщившемуся занозами молу, как по пушистому ковру. Ничего себе подошвы! Прямо носорожьи. Правда, вид у него был довольно-таки усталый, как мне показалось. Его все еще изрядно шатало. Но его окружали друзья, не дававшие ему упасть. Впечатление было, что он по-детски счастлив свидеться с ними. Молоденький кубинец — его помощник — отсутствовал. Он уже спал крепчайшим сном в своей каюте. И неудивительно, после того как их столько времени трепало в море. Но на самом Эрнесте все это сказалося мало, подумал я.<...>

Совершенно очевидно, шторм никак не сказалося на намерении Эрнеста выпить. Он вломился в бар и, глазом не моргнув, опорожнил два стаканчика неразбавленного виски. Затем пожал нам руки, и я обнаружил, что и на рукопожатии его шторм тоже не очень сказалося. Мозоли на ладонях оставляли вмятины. Казалось, ты сжимаешь в руке пригоршню стеклянных шариков.

— Каким тебе показался Атлантический океан? — спросил я.

— Огромным, — сказал он.

— Приятное было плаванье? — осведомился Флойд Гиббонс.

— Нет! — сказал он.

— Что так? — спросил я.

— Виски кончилось, — ответил он.

— Кошмар! — сказал Гиб.

— А как обстояло с продуктами? — сказал я.

— Ели летучих рыб сырыми, — сказал он.

Вот и все, чего мы от него смогли добиться. Разговор, сжатый до предела, вроде тех, что попадают в его книгах. Будто он просто вернулся из Центрального парка с лодочной прогулки. Ничего себе прогулочка! Мы прихватили с собой бутылку и отправились в гостиницу, где наблюдали, как он поглощает огромный бифштекс. Такого хватило бы на семью из четырех человек.

— Как бы нам заполучить историю этого путешествия по бурному морю? — сказал Гиб. — Подождать, пока ты его опишешь, и затем купить в магазине?

— Да никакой истории не было, — сказал он. — Просто поднял якорь и носился по морю, всячески увертываясь от ударов, пока волнение немного не улеглось.

— Всего-то? — сказал я.

— Как в ожесточенной драке, — сказал он. — Надо пригнуть голову и держаться до последнего издыхания.

— А как насчет той драки на Дювал-стрит? — сказал я.

— Какой драки? — сказал он.

Большинство особей мужского пола любит порассказать о том, как им случалось оказаться в центре затеянной кем-то в баре драки. Сам я постоянно рассказываю одни и те же случаи одним и тем же слушателям. Это доставляет мне большое удовольствие. Но разговорить Хемингуэя было просто невозможно. Большинство людей, выпив, становятся болтливыми. А этот с каждым стаканчиком замыкался все больше и больше. Никакого смысла поить его, чтоб развязать ему язык. Кончаешь тем, что сам заводишься и начинаешь рассказывать *ему*, как ты отделал того верзилу прошлой ночью.

Мы еще сидели в столовой, когда вдруг появились два посетителя. Ну, сейчас начнется представление, подумал я. Для этого парня они готовы в лепешку расшибиться. Но он предупредил нас, чтобы мы не смеялись. Дело предстояло нешуточное. Один из посетителей был по всем признакам важной персоной на острове. Он был в шелковом цилиндре и во фраке. Вопрос, какой галстук надеть — черный или белый, он разрешил, на мой взгляд, с большим тактом, явившись вообще без галстука. Собственно, на нем и рубашки-то не было. Босые ступни были, как и полагается, черны.

На втором туземце не было ничего, кроме спортивных красных трусов. Но зато какое сложение! Он выглядел как нечто среднее между Максом Байером и Джо Луисом. Росту в нем было приблизительно шесть футов два дюйма; длинные сильные руки свисали почти до колен. Дистанция

удара хоть куда! И при каждом движении можно было видеть, как подрагивают, извиваясь словно змея, продолговатые, эластичные мьшцы. У него была походка тигра, и на вид ему нельзя было дать больше двадцати одного года.

Приблизившись к нашему столику, обладатель цилиндра изящным движением снял его с головы и, сплющив, прижал к груди. Говорил он с оксфордским акцентом.

— Мое почтение, джентльмены, — сказал он. — Мне поручено передать вам вызов мистера Дизраэли.

Мы с Гибом только переглянулись. Представить, в чем смысл происходящего, мы при всем желании не могли. Все это походило на дуэль. Но Эрнест, по-видимому, знал в чем дело. Он поклонился в ответ.

— Ладно, — сказал он, — доставайте перчатки и готовьте ринг. Еще пару стаканчиков выпью и приду.

Тот, что был чертовски наряден, светским жестом, со щелчком раскрыл свой цилиндр, и они удалились так же бесшумно, как вошли. Мы повернулись за объяснением к Эрнесту. Мне показалось, что он несколько смущен.

— Я уже давно предложил десять фунтов любому туземцу, который выстоит против меня два раунда, вот теперь Диззи и решил попытать счастья. Только и всего.

— Только и всего? — сказал Гиб. — Ты что, хочешь сказать, что собираешься боксировать с этим детиной прямо сейчас?

— Почему бы нет? — сказал Эрнест.

— Потому что ты не в форме, — сказал Гиб.

— Отложи до завтра, — сказал я.

— Невозможно, — сказал он. — Они меня уже неделю ждут. Я обещал, перед тем как отправился в Ки-Уэст, что встречусь с ним сразу же по возвращении. Я вернулся и не хочу терять лицо.

— Но так ты обязательно лицо потеряешь, — сказал я.

— Ерунда! — сказал он.

Он что, совсем слурел, думал я. Ему тридцать пять лет, он четверо суток боролся со стихией, питаясь исключительно сырой рыбой, без сна, без пресной воды и теперь хочет драться с человеком моложе его и крупнее. И вдобавок на полный желудок. Я, может, и поставил бы на него, будь он в форме, но он ведь еще и на ногах твердо не стоит. Надо снова попробовать отговорить его.

— Два раунда ты не потянешь, — сказал я.

— Хочешь пари? — сказал он.

— Не хочу, — сказал я. А черт с ним, подумал я. В конце концов его дело. Ведь этому болвану ничего сказать нельзя ни о его книгах, ни о боксе.

Мы выпили еще несколько хайболов; затем он взял со стола колокольчик и вручил его мне.

— Ты будешь хронометристом и судьей, — сказал он. — Много работать тебе не придется. Не считай слишком быстро, когда надо объявить его выбывшим из состязания. Я обычно растягиваю счет. И не вздумай растаскивать нас, если мы войдем в клинч. Можешь ненароком схлопотать. Если он меня укусит, не дисквалифицируй его. Лучше я сам укушу его в ответ. Внимательно следи за временем и по прошествии трех минут сразу же звони в колокольчик. Если после двух раундов он все еще будет держаться на ногах, победа за ним.

До чего ж самоуверен! — думал я. Даже мысли не допускает, что может проиграть. Что бокс, что литература! Проиграв в первом раунде, обязательно даст нокаут во втором. Надо надеяться, что дерется он лучше, чем пишет. Хемингуэй протянул мне десять долларов.

— Это мне? — сказал я.

— Приз проигравшего, — сказал он. — Сунь ему сразу же после встречи.

Как это вам нравится? Ну и нахал!

Едва мы вышли из гостиницы, с пляжа донеслись приветственные крики, которые, на мой взгляд, должны были докатиться до самого Майами. Приветствовали они на английский манер: «Хип-Хип-Ура!»

За свою жизнь я немало повидал боксерских поединков, но такую публику видел впервые. Должно быть, все обитатели острова были здесь. Они стояли на пляже, образуя кольцо. Передние — так сказать, первый ряд, — крепко взявшись за руки, сдерживали напор задних. Это практиковалось в старые времена в Англии, когда только зарождался профессиональный бокс. Наверное, потому-то современные квадратные площадки для бокса по-прежнему называются «рингами», то есть «кольцами».

На глаз размер ринга был правильным. Поскольку никаких канатов, кроме рук туземцев, не было, размеры его, разумеется, могли меняться. Но меня это мало беспокоило. Тем труднее будет Диззи швырнуть моего боксера на канаты.

Пока мы протискивались сквозь восторженно ревушую толпу, стало очевидно, что фаворит здесь безусловно Папа. Так приветствуют надежду родного города, перед тем как он выйдет защищать честь своего клуба. И видно было, что все это ему очень нравится. Он всегда хотел быть чемпионом и получал от всего происходящего огромное удовольствие. Он был похож на выходящего на ринг Демпси, только грудь у него была поволосатей и брюшко покруглей.

Когда мы добрались до ринга, молодые люди, избравшие столбы, подняли сомкнутые руки и пропустили нас, напомнив мне известную детскую игру. Но, увидев боксерские перчатки, я понял, что это отнюдь не детские игрушки. Предстояло серьезное дело.

Пока боксеры надевали перчатки, я попытался трезво оценить обоих. И не смог разделить уверенности Эрнеста. Крошка Дизразли в красных трусах был по меньшей мере десятью годами моложе его и десятью фунтами тяжелее. Руки у него были длиннее, а живот поменьше. Но, повторяю, это была не моя забота. Я подобрал пару кокосовых орехов и выкинул их с ринга. Босоногий боксер легко мог сломать палец, споткнувшись о такой орех. Взглянул на крыльцо и увидел там Гиба, восседавшего в качалке. Он занимал место в ложе верхнего яруса и весело смеялся. Я пожалел, что не нахожусь там же, вместе с ним. Увертываться от двух тяжеловесов на сыпучем песке будет задачей не из легких.

Я присел на песок и тут же вскочил. Глаголы «ожечься», «нажечься» часто употребляют в переносном смысле. Со мной это произошло в самом прямом. Ощущение было такое, будто я уселся на раскаленную плиту! Уму непостижимо, как можно стоять на этом песке босиком, не говоря уж о том, чтоб боксировать. Но Эрнесту, казалось, все было нипочем. Из чего должны были быть у него подошвы, просто невозможно себе представить. Наверняка он мог бы ходить по раскаленным углям по примеру индийских факиров.

Когда они объявили о своей готовности, я пригласил обоих боксеров на середину ринга, чтобы дать им, как полагается, инструкции, но оба участника остались по своим углам.

— У нас свои правила, — сказал Хемингуэй. — Позвони в колокольчик и отойди в сторонку.

Я объявил, что поединок этот проводится за звание чемпиона Бимини. В ответ последовали восторженные возгласы. Затем я взглянул на свои часы и позвонил в колокольчик.

При его звуке великан в красных трусах вылетел из своего угла, как разъяренный носорог. Кулаки его мелькали в воздухе, и было совершенно очевидно, что он способен быка свалить хоть правой, хоть левой рукой. Вмажет один раз, и Старик с моря снова потерпит кораблекрушение. Но удары сыпались мимо. Белокожий боксер каждый раз заставлял его промахнуться. Он грациозно отклонялся то в одну сторону, то в другую вроде тореадоров, которых он так любил описывать в своих

книгах. Каждый раз, когда казалось, что ему крышка, выходило, что ничего подобного — жив курилка! Просто непостижимо, как мог человек его размеров передвигаться с такой быстротой по мельчайшему песку, да еще имея металлическую коленную чашечку. Не попадаться им под руку было ох как не просто. Я набрал полные ботинки песка и пыхтел поуже их. Раунд, по всей вероятности, подходил к концу, но я не решился взглянуть на часы. Чтоб не схлопотать от них ненароком.

До сих пор Хемингуэй еще ни разу не стукнул его. Первые две минуты он только увертывался, думал я. А вот сейчас, наверное, возьмется за дело и в последний момент, как и говорил, влепит ему по-настоящему. Но этого не случилось. Претендент снова бросился на него, и на этот раз ему удалось кинуть Папу на живые канаты, после чего он размахнулся правой рукой с такой страшной силой, что голова чемпиона слетела бы с плеч, придиись удар по назначению. Но в том-то и дело, что он не пришелся. Папа нырнул, а вместо него свалились с копыт два столба. Диапазон действия поразительный! Я не знал, что мне как рефери надлежит делать. Зрители, однако, знали. Из толпы выдвинулись два новых столба, заступили место павших, сомкнули руки, и канат, ограждающий ринг, снова оказался в целости. Наверное, это случилось не впервые.

Инцидент дал мне возможность взглянуть на часы. Бог мой! Раунд, оказывается, продолжался четыре минуты. Я позвонил в колокольчик, и бой прекратился. Боксеры не разошлись по своим углам. Собственно говоря, и углов-то не было. Они просто легли на песок и заслонили глаза от солнца. Солнце же явно вознамерилось прикончить меня пока-утом. Зрители неистовствовали. Как я узнал потом, в тот раз туземцу впервые удалось продержаться целый раунд.

Один из официантов пришел из бара и присел рядом с Эрнестом. Повадки у него были определенно секундантские. Он дал Эрнесту бутылку с водой прополоскать рот, как принято у профессионалов. У меня горло пересохло не меньше, чем у него, и, схватив бутылку, я сделал большой глоток. И чуть не отдал Богу душу. Виски со льдом! Неудивительно, что он не выплюнул его. Между прочим, и я тоже.

Я взглянул туда, где находился претендент, и ахнул. Красные трусы был на ногах и боксировал с воображаемым противником. Это что же такое получается — мало ему лишней минуты боя, чтобы поразмяться? Он даже дышал почти ровно. Минутный перерыв закончился, но я решил, что по справедливости нам с Эрнестом можно дать еще минутку. Папа лежал навзничь, и я видел, как живот

его вздымается и опадает — словно морской прибой. Я подумал, что он спит. Но не успел я оглянуться, как он уже был на ногах и принял боевую стойку. Инстинкт, наверное, сработал, подумал я. И надо было ему лезть в литературу! Мог бы стать чемпионом мира, а потом открыл бы бар. Как и прочие чемпионы.

Когда я снова позвонил в колокольчик, объявляя начало второго раунда, мне показалось, что какая-то огромная тень закрыла на мгновение солнце, и тут же порыв горячего ветра налетел на меня. Я подумал, что это один из тех штормов, которые вдруг возникают в Карибском море. На самом же деле это оказалась темная туча в красных трусах, рванувшаяся мимо меня к своей добыче! Что там ваш тайфун Джексонс! Этот парень был как три тайфуна, слившие воедино свои силы. Пронесся мимо меня, как ветряная мельница на льдах. Слышен был свист ее лопастей, когда она, держа курс на юго-запад, устремилась напрямик к цели. Сейчас он обрушит всю свою мощь на нашего ки-уэстовского моряка, думал я. Теперь в лобой момент придется провозгласить: «Победителем и *новым* чемпионом стал...»

Но Старик с моря лишь покачнулся под порывом ветра, как многими бурями умудренная пальма. Его огромные ступни зарылись в песок, цепкие пальцы ног ухватились за него, как корни пальмы. Видели когда-нибудь, как эти корни уходят все глубже и глубже во время урагана? Кажется, что они только и ждут затишья. Пальма гнется, но не кланяется. Мне случалось видеть, как мелькают в воздухе кокосовые орехи во Флориде в дни осенних тайфунов — точь-в-точь бейсбольные мячи на весенних тренировках. Но мне никогда не приходилось видеть, чтобы один человек сумел уклониться от стольких ударов за такой короткий отрезок времени. Они летели на Папу со всех сторон одновременно. Но он твердо помнил, что перенял у пальмы и то, что было отработано поколениями тореадоров. Жаль только, что на нем не было красного плаща, за которым можно было бы спрятаться, думал я.

И вот наконец мы оказались в эпицентре бури! С громом, молнией и всеми прочими атрибутами. Надвинувшись, темная туча грохотала, собирая все свои силы. Он чувствовал победу и забыл об осторожности. Я увидел, как поднимается его правая рука, годная для забивки свай. Кулак был похож на снаряд, при помощи которого в Штатах разбивают старые здания. Сейчас, думал я, вот сейчас...

И действительно, долго ждать не пришлось. Но произошло не то, что я ожидал. Левая рука белокожего с быстрой молнией прочертила воздух и угодила в самый

центр темной тучи. Проследить, откуда она взялась, было невозможно, но то, что ударила она во всю силу, было очевидно.

Видели вы когда-нибудь, как падает бык при последнем ударе, направленном прямо в сердце? Вот так же упал и он, медленно-медленно, словно устав. Опустился на колени, как для молитвы. А затем повернулся на бок и уснул.

Не было даже нужды считать. Однако я все-таки посчитал. Замедленно, по-чикагски. Но он и не шелохнулся. Белый выиграл нокаутом в первые десять секунд второго раунда. Я схватил его ручищу и по всем правилам поднял кверху. Он дышал так тяжело, что чуть не сдунул меня с ног.

— Победитель и по-прежнему чемпион — Папа! — объявил я.

— Кончай с этим, и пошли в бар, — сказал он. Пойти куда-то еще я не мог бы при всем желании. В одно мгновение от ринга не осталось и следа: все перемешались между собой и ринулись в бар. Туда же внесла и меня толпа радостно орущих поклонников бокса. Переполнив бар, они выплеснулись на мол. По-видимому, таков у них тут ритуал, подумал я. Хотя на поклонников бокса они мало походили. Скорее на толпу мальчишек, вырвавшихся из школы.

И самым неистовым мальчишкой среди них был Хемингуэй. Он демонстрировал им, как увернулся от того удара справа, а четыре бармена разносили в это время прохладительные напитки. Я заметил, что *сам-то он* пил напиток отнюдь не прохладительный. Зрители могут получить все, что душе угодно, сообщил он мне, но они предпочитают что-нибудь сладенькое. Я взял себе виски. И спросил его, уж не праздник ли какой-нибудь сегодня? Почему никто на острове не работает?

— А здесь что ни день, то праздник, — сказал он. — Ведь не назовешь же ты работой рыбную ловлю.

Пока мы стояли там, вошел потерпевший поражение боксер; его встретили бурными аплодисментами и, расступившись, расчистили для него проход к стойке. Он еще был нетверд на ногах, но заказал себе безалкогольное пиво. Я сунул ему десять долларов, и он вежливо поблагодарил меня.

— Скажите на милость, — сказал он. — Как же это могло произойти?

— Ты забыл пригнуться, — сказал Эрнест.

Нам с Гибом страшно понравилось, как этот огромный детина произнес: «Скажите на милость!», а затем стал потягивать через соломинку безалкогольное пиво. Может, не так уж он непрошибаем, подумал я. Знаете, как бывает.

Когда увидите парня, потерявшего сознание после того, как его хорошенько стукнули, он уже больше не кажется непрошибаемым. И вы начинаете сердиться на того, кто его звезданул.

Эрнест, по-видимому, прочитал мои мысли.

— Как тебе понравилась схватка? — сказал он.

— Очень уж однобокая, — сказал я. — И с налетом садизма. Зачем тебе понадобилось бить этого несмышлениша с такой силой?

Это замечание наверняка возмутит его, подумал я. Но он не возмутился. Просто обнял меня за плечи и прошипел мне в ухо:

— Ставлю тысячу долларов против твоей сотни, что ты не выстоишь два раунда против него вот сейчас.

Деньги немалые. Тысяча долларов за шесть минут работы! Я оглянулся на проигравшего. Эти ребята умеют быстро очухаться, подумал я.

— Не мели вздор! — сказал я вслух.

— Ну, мне пора соснуть, — сказал он и направился в гостиницу. Было около полудня, и мы не видели его весь этот день и всю ночь. Он проспал часов восемнадцать подряд! Ничего себе соснул!

ИЗ КНИГИ «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

Некоторые из лучших моих воспоминаний того времени связаны с днями, проведенными в Ки-Уэст с Хемом и Полиной. Особенно запомнился мне период с конца апреля по начало мая 1929 года.

Приехал я, насколько помню, на пароходе, принадлежавшем компании «Мерчантс и Майнерс», собственно не на пароходе, а на какой-то старой калоше. Перед этим я чуть ума не решился, пытаясь работать с Театром Новых драматургов. Театр — предприятие, объединяющее работу многих людей. А когда являешься автором репертуарной пьесы, то особенно остро чувствуешь ответственность за многих замечательных людей, которые, не считаясь со временем суток, транжирят свое время и силы на постановку. Им нужно было платить, даже когда пьеса шла не на Бродвее. Я лично дошел до того, что прикладывал собственные нелегко дававшиеся мне деньги, только бы чертово представление продержалось на сцене лишних пару недель.

Джек Лоусон и Фрэнсис Фараго, у которых были на руках семьи, подрядились на работу в студиях Голливуда. Партийность довлекла над «Нью Мэссиз» и вот-вот должна была подчинить себе экспериментальные театры. Это была изнурительная, ни на минуту не прекращавшаяся борьба за право оставаться свободной личностью. И не так нужен мне был отдых, как хотелось скорей вернуться к планомерной работе над рассказами. Когда я поднимался по трапу на борт парохода, мое заявление об уходе было уже отослано. Я отряхал театральный прах со своих ног.

Хем слал мне восторженные письма о громадных косяках скумбрии и испанской макрели и еще о том, как он каждый день объедается крабами и речными раками.

Чарльз Томпсон поймал бычка восьми футов длиной! Маркизские острова кишат бекасами! Он уверял, что Гольфстрим стал куда лучше, чем в прошлом году, когда я там был.

Хему непременно хотелось как следует поохотиться, порыбачить. Это было как раз той зимой, когда выстрелом из револьвера покончил с собой его отец, доктор Хемингуэй.

Я уж не помню, от меня ли услышал Хем о Ки-Уэст или сам напал на него. Я об этом острове без устали рассказывал всем своим приятелям с тех самых пор, как впервые очутился на нем во время странствий по Флориде, то пешком, то на попутных машинах. Усталый до смерти, пропадая от жажды и голода, я оказался на маленькой железнодорожной станции. Подошел поезд. Я спросил кондуктора, куда он идет? Кондуктор назвал Ки-Уэст, и я сказал — вот и хорошо, и каким-то чудом у меня нашлись деньги на проезд. Никогда не забуду ощущения нереальности, пока поезд шел по виадуку Олд-Флэглер, соединявшему Ки-Лагро с Ки-Уэст.

В ту пору Ки-Уэст и впрямь был островом. Угольным портом. В его гавань заходили пароходы. В воздухе пахло Гольфстримом. Другого такого места во Флориде не было. Кэйо-Хуэсо, как его называла половина населения, был связан паромами с Гаваной. Большую часть населения составляли кубинцы и испанцы, которых привлекли сюда сигарные фабрики. Фабричные рабочие были публикой осведомленной и во многих случаях на удивление начитанной — люди, с которыми интересно было поговорить. Умение скручивать сигары ручным способом ценилось высоко и считалось квалифицированным трудом. У них было заведено нанимать специального человека, чтобы он читал им, пока они работают. Такой чтец сидел за каждым длинным столом. Они жадно слушали не только статьи из социалистических газет, но и испанские романы XIX века, и переводы Достоевского и Толстого. Это были люди, имевшие обо всем собственное мнение.

Англоязычное население состояло из железнодорожников, давнишних флоридских поселенцев, потомков выходцев из Новой Англии, застрявших в Ки-Уэст со времен, когда здесь занимались китобойным промыслом, и рыбаков из таких чисто белых колоний, как Спэниш Уэлс на Багамских островах. В их речи не было ни тени гнусавости, свойственной белокожему сброду из Джорджии или Флориды. Невольно вспоминалось, что на протяжении всей гражданской войны Ки-Уэст оставался в руках северян.

Там имелась пара погруженных в дремоту гостиниц, где иногда останавливались приехавшие сюда поездом

люди, направлявшиеся на Кубу или на Малые Антильские острова. Пальмы. Перечные деревья. Тенистые улочки, вдоль которых выстроились некрашенные каркасные домики, слегка напоминали Новую Англию. Автомобили были редкостью, потому что шоссе, соединяющего городок с материком, не было, только виадук, по которому была проложена одноколейка. Судоремонтный завод закрылся. С позволения сторожа можно было купаться прямо с каменных ступеней, прыгать в лазурную воду закрытой бухты. Остерегаться приходилось только барракуд, в остальном все было просто чудесно.

Испанцы открыли здесь несколько неплохих ресторанчиков, с приличным запасом испанских вин. В случае необходимости можно было без труда нанять хорошую няню из цветных. Поскольку Хем с Полиной успели обзавестись двумя маленькими мальчиками (один из них, Патрик, стал вскоре известен как Мексиканский мьшенок, другого — Джиджи — Хем неизвестно по какой причине прозвал Ирландским еврейчиком), для них это было большим преимуществом. Никто, по-видимому, никогда не слышал здесь ни о сухом законе, ни о том, что охота регулируется законом. Лучшего места для Хема было не придумать.

Вокруг него вечно толклись какие-то люди. Помню, он был не один, когда встречал в то ясное утро мой пароход. Он только дал мне время забросить чемодан в гостиницу «Оверсиз» и сменить приличный костюм на какое-то старье, после чего все мы дружно отправились на лов тарпона, пока прилив был в благоприятной для этого фазе.

Чарльз Томпсон, чьим родителям принадлежал самый большой в городе магазин скобяных товаров и рыболовных принадлежностей, предложил вывезти нас в море на своей моторной лодке. Его милая жена Лоррейн тоже собралась с нами, а также Уолдо Пирс, прихватив свою борду, этюдники и ящики с красками.

Уолдо был родом из Бангора, штат Мэн. Это был здоровенный мужик с лицом, густо заросшим волосами, похожий на Нептуна, украшающего в Риме один из фонтанов в стиле барокко. Он учился в Гарвардском университете на одном курсе с Джеком Ридом. За ним числился один подвиг: он шагнул за борт судна для перевозки скота, на котором они с Джеком отправились в Европу вскоре после окончания колледжа. Лишь только они отплыли от Санди-Хук, Уолдо решил, что ему не нравится тон третьего помощника капитана, ступил за борт, доплыл до берега, купил себе билет первого класса и встретил судно, когда оно причалило по другую сторону океа-

на. Существовала версия, что Джек Рид доехал до места встречи в наручниках, так как его заподозрили в убийстве. Уолдо писал картины с поразительной легкостью. В его цветовой гамме было что-то ренуаровское. Он без усталы рисовал, делал наброски и к тому же, не закрывая рта, болтал.

Мне нравились все, кто был на моторной лодке, но по-настоящему завладела моим воображением одна Кэти. Кэтрин Смит выросла вместе с Хемингуэями. Их семьи проводили лето на одном курорте в северной части штата Мичиган. Хем и ее младший брат Билл в детстве были неразлучны. Она звала Хема Грязнулей и обращалась с ним ласково-снисходительно, как обычно обращаются девочки с младшими братьями. Когда Хем работал в Чикаго, перед тем как поехать с Красным Крестом в Италию, он жил на правах своего в квартире — вроде бы кооперативной, — которой заведовал старший брат Кэти — Кенни. Она в свое время дружила с Хэдди, а с Полиной и ее сестрой Джинни была знакома по Миссурийскому университету. Все это были закадычные друзья. С самого первого момента я оказался неспособным думать ни о чем, кроме ее зеленых глаз.

В апреле, когда стихает пассат, в Ки-Уэст становится жарко. Мы ловили рыбу на блесну между верфями и старым белым пароходом, некогда во время урагана севшим на риф. Он лишился своей трубы, а машинное отделение потихоньку растащили. Уолдо запечатлел его на холсте, и картина эта до сих пор висит в верхнем зале «Спенсерс Пойнта». Когда Чарльз приводил свою моторную лодку в какую-нибудь бухту, подальше от города, неправдоподобной прелести аромат цветущих лаймовых деревьев доносился до нас, вместе с комарами, плодящимися в мангровых чащах.

Хем прихватил с собой пару бутылок шампанского, их положили на лед, где сохранялась в свежести кефаль для наживки. По нашим правилам, никто не имел права прикоснуться к спиртному до поимки первой рыбки. Солнце село, окрасив западный небосклон в дикие розовые и охряные цвета. Вышла луна, а мы все рыбачили. Не уверен, поймали ли мы в тот вечер хоть одного тарпона, но на крючок один нам таки попался, потому что я отчетливо помню дугу из темного серебра на фоне лунной дорожки в тот миг, когда рыба выпрыгнула из воды.

По-видимому, тарпоны предпочитали клевать во время отлива, в мелкой прогретой солнцем воде. Когда рыба перестала брать наживку, а мы допили шампанское, Чарльз, зевнув, сказал, что завтра ему в магазин на работу к семи утра, и направил моторку к берегу, в сторону дока.

Что до меня, то я скорее был рад, что нам не удалось вытащить ни одного тарпона — лов их всегда казался мне бессмысленным и ненужным. Мне было тошно смотреть на этих огромных серебристых рыбин, сваленных на пыльном причале. В пищу они непригодны. Разве что чучела из них делают, только и всего. Некоторые, правда, мастерят из высушенной чешуи всевозможные безделушки, но вообще я считаю, что ловят тарпона просто из баловства.

Мы зашли к астурицу перехватить чего-нибудь на сон грядущий. Жаренные в масле желтохвосты и пеламида под томатным соусом были здесь *specialite de la maison*¹. И так приятно было болтать миролюбиво о чем угодно, не спотыкаясь о линию партии, будь она неладна. Никаких запретных тем — все говорили первое, что взбредет в голову. После идеологических перепалок в нью-йоркском театре Ки-Уэст казался райским садом.

Когда все шло гладко, Хем в компании был просто незаменим. Та весна оказалась благоприятной для лова тарпона. Каждый вечер Чарльз забирал нас, и мы ехали ловить его. Мы рыбачили допоздна, и пили, и без конца говорили, большую часть лунной ночи. Днем, выполнив свой урок, — а оба мы были ранними пташками, — мы с Хемом отправлялись в сопровождении Бра на скалы.

Бра был кончем. Так называют на Багамских островах белых, переселившихся туда из Спэниш Уэллса. Настоящее имя его было Сандерс. Хем, который рядом с ним сразу же превратился в конча, уговорил капитана Сандерса прокатить нас на своей посудине. Никто из здешних не слыхал о существовании увеселительных судов. Пятнадцать долларов в день показались ему вполне приемлемой ценой.

Все рыболовные суда здесь числились парусниками вне зависимости от того, были на них паруса или нет. В центр лодки непременно был встроен садок для рыбы. В Ки-Уэст имелся завод искусственного льда, но, когда вы покупали на рыбном рынке желтохвоста, его вылавливали сачком из громадного чана. Второй чан был полон зеленых черепах. Торговля морскими черепахами приносила немалый доход жителям.

Было нечто невыразимо завораживающее в разнообразии существ, которых мы ловили среди рифов. Будучи не Бог весть каким любителем-рыболовом, я тем не менее, любил присоединиться к более солидной публике, хотя бы для того, чтобы побыть на водном просторе, кишящем всяческой живностью. Я всегда объявлял, что весь свой

¹ Фирменное блюдо (*фр.*).

улов отдаю в общий котел. Хотя по части соревновательского духа Хем не уступал любой скаковой лошади, он еще не успел к тому времени увлечься рыбной ловлей настолько, чтобы мешать окружающим веселиться. Что касается меня, то я был совершенно очарован большущими, шальными, бледными, но отливавшими золотом луцианами, известными среди местного населения под названием «морской баран», так что Кэти даже начала называть меня «морским барашком». На какое-то время прозвище пристало.

Мы поженились в августе, в Элсуорте, штат Мэн. Одно из самых милых писем, которые мы получили, было от Хема, который проводил лето в Испании, переезжая из города в город вслед за «togos»¹. Он писал, что был чертовски рад слышать, что «вы, граждане», поженились. До этого я писал ему, что кончаю первый том того, что, к моему ужасу и совершенно для меня неожиданно, обернулось трилогией. «Трилогия — это самое оно, — взять хоть бы Отца и Сына и Святого Духа! Что может быть выше!»

Это был один из немногих случаев, когда в нашей переписке мы затронули религию. Эрнест перешел в католичество, чтобы жениться на Полине: путем каких-то ухищрений он сумел добиться, чтобы их брак с Хэдли был аннулирован.

Далее в письме подводились итоги жизни наших друзей: Дона Стюарта погубил контракт на двадцать пять тысяч долларов и знакомство с семейством Уитни. «Полагаюсь на тебя, сделай все, чтобы этого избежать — ничего не подписывай, беги прочь, как только увидишь Уитни». Джона Бишоп погубила женитьба на невесте с приданым. «Не подпускай Кэти к деньгам». Фицджеральдов сгубила их вечная молодость. «Старься, Пассос, отцветайте, Кэти!» Старика Хема сгубило то, что застрелился его отец. Следовал совет — держать ружья подальше от Кэтино предка.

Прежде чем пускаться в триумфальное турне, которое я задумал, чтобы показать Кэти мои излюбленные места в Европе и познакомить ее со старыми друзьями, мне предстояло прочитать корректуру «Сорок второй параллели». Я написал Хему, чтобы он молился за меня — авось это поможет мне в битве за сохранение непристойных выражений. Согласившись на ничью, мы все-таки ухитрились сесть 23 ноября на французский пассажирский пароход «Roussillon».<...>

¹ Быки (исп.).

Хем с Полиной и Джинни Пфейфер приехали из Испании, и мы все вместе поехали в Монта Вермала в швейцарских Альпах, чтобы провести там Рождество с семейством Мэрфи. Джеральд и Сара проявляли в своем несчастье достойную уважения выдержку. Предполагалось, что если держать Патрика на нужной высоте над уровнем моря, то у мальчика будет шанс победить болезнь. Мэрфи твердо решили не давать никому повода себя жалеть.

Приехала к нам и Дороти Паркер, как всегда отпускавшая остроумные, полные сарказма замечания с глазами, полными слез. Мы катались на лыжах и хохотали до упаду, сидя вечерами у пылающего камина и поглощая омлет с сыром, который запивался великолепным местным белым вином. Все мы были твердо намерены не давать Джеральду и Саре падать духом. Некоторое время это нам удавалось.

После этого мы с Кэти провели неделю с Сендраром в нетопленной старой гостинице в городке Монпазье, окруженном крепостной стеной с бойницами. Там нас кормили диким гусем и олениной, которые жарились в огромном старинном очаге, и каждый день в час дня подавали на завтрак омлет с трюфелями.

Сендрар потерял на войне кисть руки. Было до ужаса страшно петлять с ним по горным дорогам. Он правил одной рукой, а скорости на своем французском автомобильчике переводил культей. Мы побывали в Лезизье и во всех остальных доисторических пещерах, до которых смогли добраться. Повороты Сендрар брал всегда залхватски, на двух колесах.

Тем не менее мы все-таки остались целы и через Лангедок направились на юг, в Испанию. Точно не помню, но, пожалуй, сели мы на маленький испанский пароход, называвшийся «Антонио Лопес», в Кадисе, и он не спеша повез нас в Гавану, с заходом на Канарские острова. Это было восхитительное путешествие. У нас была просторная каюта на палубе. Я развлекался тем, что писал акварели и переводил на английский язык «Le Panama et Mes Sept Oncles»¹ Сендрара. На английском, не считая нас, говорил один-единственный пассажир — некто Лумис, служащий госдепартамента. Мистер Лумис долго жил в Африке и был хорошим рассказчиком. У него был изрядный запас кошмарных историй о ритуальных убийствах в Либерии, от которых у вас мороз шел по коже. Ничего хорошего от нынешних гражданских свобод он не ожидал.

¹ «Панама и семь моих дядюшек» (фр.).

Когда мы спросили его, почему он взял две каюты, он ответил: «А где вы мне прикажете держать свою обувь?», чем расположил к себе нас обоих.

К середине апреля мы уже снова были в Ки-Уэст и все с тем же Хемом на суденьшке Бра ловили дельфинов и макрель.

Осенью я побывал на организованной Хемом охоте на лося под городом Кук в штате Монтана. Дядя Полины — Гэс взялся оплатить это предприятие. Дядя Гэс был маленький, печальный человечек, крупная шишка в нью-йоркской фирме «Хаднат». Денег у него куры не клевали, но был он абсолютно одинок — ни ребенка, ни цыпленка, как говаривали в старину, и всячески баловал своих хорошеньких и умненьких племянниц. Эрнест же его просто обворожил. Охотник, рыболов, писатель! Ему хотелось помочь Хему совершить все то, чего сам он, делая деньги, так и не сумел осуществить. Тот же дядя Гэс финансировал и первые африканские сафари.

Мы выступили с вьючными мулами, нанятыми на близлежащем ранчо, и, обогнув Йеллоустонский национальный парк, отправились дальше. Пока я находился рядом, лоси, обладающие исключительно острым обонянием, моментально учуивали нас и удирали в парк, где были в безопасности. Неспособный, по близорукости, управляться с ружьем, я больше любовался ландшафтом, смотрел, как плещутся в водоеме медведи и бобры, и наблюдал за действиями Хема-охотника. Он никогда не курил: берег свою способность остро реагировать на запахи. Хем порой мог унюхать сохатого чуть ли не раньше, чем тот почует его.

Из батраков, работавших на ранчо, Хем сразу же начал вить веревки: они решили, что такой отличный парень им впервые в жизни встретился. Что там говорить, он безусловно был прирожденным вожаком. Я подумал, что из него мог бы получиться прославленный командир партизанского отряда. Вдобавок он прекрасно, не хуже любого военного тактика, ориентировался на местности. Еще не одолев скальную гряду, Хем точно представлял себе рельеф раскинувшейся за ней долины.

Когда мы возвращались в хемингуэвском «форде» в Биллингс, он нас вывалил в канаву. Дорога была узкая, и его ослепила фарами встречная машина. Винили все в этом меня и мои слепые глаза, однако я готов поклясться, что за рулем сидел Хем. Конечно, выпили мы тогда больше, чем нужно. Автомобиль перевернулся вверх колесами. Остальные кое-как выползли из-под него, а вот Хем получил сложный перелом плеча и провалился в Биллингской

больнице больше месяца. Типично для Хема, вернее, для известной стороны его характера: после того как Арчи Мак-Лиш, не пожалев времени и сил, приехал в такую даль навестить его, Хем стал рассказывать другим своим приятелям, что Арчи приехал специально затем, чтобы присутствовать при его кончине.<...>

После этого несколько зим подряд мы с Кэти делали все, чтобы провести в Ки-Уэст как можно больше времени. Собственно, назвать здешний климат субтропическим было нельзя, но он был весьма близок к тому. Трудно представить себе другое докторское предписание, которое было бы столь приятно выполнять.

Железная дорога прекратила свое существование, и теперь сюда нужно было добираться на пароме от некоего пункта на материке, пониже Хоумстеда. Приходилось трижды менять паром, а в промежутках шагать по пыльным дорогам песчаных, поросших чахлым кустарником островков. На это уходило полдня, и это было приятнейшее путешествие, во время которого можно было наблюдать длинные очереди пеликанов, гуськом выбиравшихся по крутому берегу из воды, и чаек, парящих в небе, и олушей на буйках, и кефаль, прыгающую на вспененном до молочной белизны мелководье.

Мы с Хемом давно подумывали побывать на Бимини, но нам постоянно приходилось по каким-то причинам поездку откладывать. В первый раз не успели мы добраться до сиреневых вод Гольфстрима, как Хем прострелил себе ногу — к счастью, не задев кость. Он, видите ли, хотел подстрелить акулу, позарившуюся на бычка, которого кто-то поблизости от нас подтянул к лодке, намереваясь забагрить. Пришлось возвращаться и тащить его в больницу к хирургу. Кэти пришла в такую ярость, что почти с ним не разговаривала.

Не успела нога у Хема зажить, как ему пришла посылка из Оук-Парка. От матери. В ней был шоколадный торт и свернутые в трубку картины миссис Хемингуэй, под общим названием «Сад богов», — она полагала, что он мог бы выставить их в Салоне, когда в следующий раз поедет в Париж, — а также ружье, из которого застрелился его отец. Кэти, знавшая ее с незапамятных времен, объяснила мне, что миссис Хемингуэй — женщина с большими странностями. Хем был единственный знакомый мне человек, который ненавидел собственную мать.

Наконец мы все же отправились на Багамские острова на первой из принадлежавших Хему яхт, носившей назва-

ние «Пилар». Рассчитанный на толстосумов Клуб рыболовов «Кат-Ки» прогорел в результате краха, которым окончился первый взлет благосостояния Флориды, и пока что продолжал оставаться закрытым. Несколько яхтсменов и рыболовов-любителей там еще существовало, но вообще-то сам остров Бимини был крошечный и находился совсем на отшибе. Была там, правда, пристань и несколько туземных хижин под кокосовыми пальмами, и лавка, к которой примыкал бар, где мы по вечерам попивали ром, и со стороны, выходящей на Гольфстрим, великолепный широченный пляж. В дюнах находились резиденция представителя метрополии и пара выгоревших на солнце домиков с верандами, где люди спасались от мощкары металлической сеткой на окнах и дверях. Мы с Кэти занимали один из них в течение недели, чтобы не стеснять Хема на «Пилар».

За безапелляционный тон, отучить от которого его было невозможно, мы стали звать Хема «Маэстро», а иногда «Махатмой» — это после того как он однажды приплыл на гребной лодке в тюрбане из полотенца на голове, чтобы не напекло солнцем. Он несносничал чаще, чем когда-либо прежде, но зато, когда хотел, мог любого расшевелить. Жизнь продолжала казаться нам всем невыразимо комичной. Никто никогда не впадал в такую ярость, чтобы его нельзя было привести в чувство удачной шуткой. Пили мы много, но пили весело, и все нам было трин-трава.

Если я не ошибаюсь, в эту поездку на Бимини наш Маэстро впервые затеял выйти в море на тунца. Незадолго перед тем он прочел книгу Зейна Грея, где тот описывал лов тунца на всех, без изъятия, океанах (кстати, отлично написанная книга), и решил Зейна Грея переплюнуть.

По пути от верховья Хоук Ченнел через Гольфстрим нам удалось поймать несколько паршивеньких желтоперов и еще небольшое количество переливающихся всеми цветами радуги дельфинов. Дело было весной, и люди знающие уверяли, что тунец идет косяком.

Мы с Кэти были в восторге от острова. Нам никогда не надоедало гулять по берегу и наблюдать за суетливыми сухопутными крабами, которые сновали среди опавших кокосов, прямо как рысаки на бегах. Мы валялись на просторном пляже и много купались в ласковом морском прибое. Хем отнесся довольно-таки пренебрежительно к нашей коллекции ракушек.

Познакомились мы с симпатичным негром, склонным рассказывать всевозможные небылицы, обладателем небольшой парусной лодочки, который взялся покатать нас по забеленным мергалем водам Большой Багамской от-

мели и половить рыбу-саблю на мелководье между коралловыми рифами. Наш Махатма потом дразнил нас по поводу нашей склонности кататься вдвоем на лодочке, говорил, что люди, как правило, занимаются этим до свадьбы, а не после.

Негры, живущие на Бимини, были очень заняты. Они слагали песни буквально обо всем, что случилось за день. Любая пустячная работенка, — ну хотя бы вытягивание лодки на берег, — должна была сейчас же быть воспета. Никто из нас никогда прежде не слышал ничего подобного:

Моя мама не хочет ни гороха,
Ни риса, ни масла кокоса,
А хочется ей
Коньячку четвертинку да шампанеи...

Они немедленно сложили песни о Хеме. Жаль, я не запомнил слов. Все мои воспоминания той недели приправлены веселым ритмичным напевом их песен.

Как бы то ни было, пока мы с Кэти беспардонно осматривали достопримечательности острова, ходили на лодке, под парусом и на веслах, и изучали, правда, довольно-таки поверхностно, фольклор — занятия, естественно, порицавшиеся серьезными рыболовами, — Маэстро наш регулярно выходил на глубину. Он привез с собой снасть для ловли тунца и теперь ловил на блесну с присутствием ему нетерпеливым упорством.

Мы были на берегу, когда Маэстро впервые встретился со своим огромным тунцом. Рыба попалась на крючок рано утром человеку по имени Кук — заведующему клубом рыболовов. Должно быть, рыбина была невероятных размеров: стоило ей нырнуть, и она взяла всю леску; когда Кук передал ее Эрнесту, подошедшему к нему вскоре после полудня на «Пилар», руки у него были сплошь изрезаны. Хем продолжал вываживание рыбы с лодки Кука, а «Пилар» послал за нами, чтобы и мы посмотрели. Я уж не помню, кто был у руля, но все время, пока продолжалась схватка, мы шли борт о борт.

Среди собравшихся яхтсменов был некто Уильям Лидс, владелец большой белой яхты «Моана» — человек хорошо известный в международных кругах. За пару дней до этого он пригласил Маэстро к себе на яхту, и Маэстро вернулся совершенно очарованный оказанным ему гостеприимством, а главное, тем обстоятельством, что Лидс оказался обладателем пистолета-пулемета Томсона. Именно о таком пистолете в данный момент Маэстро мечтал больше всего на свете.

Он с детства любил огнестрельное оружие, но теперь пистолет-пулемет был нужен ему как средство борьбы с

акулами. Море у Бимини в тот сезон кишело ими. Даже когда мы приходили на пляж купаться, акулы представляли некоторую опасность. Но что самое худшее, у них была отвратительная манера хватать попавшую на крючок рыбу как раз в тот момент, когда вы готовились втащить ее в лодку. Маэстро пробовал палить по ним из своего ружья, но, увы, для того, чтобы ружейная пуля произвела на акулу какое-то впечатление, надо было угодить ей прямо в крохотный мозг. Вечером, накануне героической битвы с тунцом Хем за стаканом грога и так и эдак пытался выманить у Лидса его пистолет. Он и в орлянку предлагал на него сыграть, и разыграть в покер, и в цель пострелять — кто кого. Не исключено, что он даже предлагал купить пистолет. Но Лидс не желал расставаться со своим оружием, поскольку получил его — как он мне потом говорил — в подарок от сына изобретателя, своего близкого друга.

На поле брани мы с Кэти прибыли уже под вечер. К наступлению сумерек тунец начал заметно терять силы. Маэстро потихоньку наматывал леску. Все были крайне напряжены. Однако сомневаться не приходилось — тунец все еще был на крючке. Мысль, что мы будем присутствовать при финале, возбуждала всех нас. Вокруг образовалось кольцо из лодок с любопытными; среди них был и Лидс со своим пистолетом-пулеметом, подошедший на катере с «Моань».

Темнело. Ветер стих, но на горизонте разрасталась тучка, не сулившая ничего хорошего. Перед тем как нас окончательно накрыла тьма, Маэстро подтянул рыбу к борту. Никто ее еще не видел. Кто-то держал острогу наготове; остальные столпились на крыше каюты «Пилар», шаря в воде лучами карманных фонариков.

Тунца мы все увидели одновременно. Темного, отсвечивающего серебром, исполинского. Восемьсот фунтов? Девятьсот? Тысяча? — перешептывались люди, не веря своим глазам. Я понял лишь то, что рыба действительно огромна. Движения ее были замедленны. Казалось, что она больше не способна сопротивляться. Человек с остройгой замахнулся и промазал. Серебро вспыхнуло и погасло. Жалобно заныла катушка, и рыба ушла на глубину.

Маэстро выругался сдавленным голосом.

Рыба забрала половину лески. Затем Маэстро снова начал ее подтягивать. Что-то было с ней не то. Кто-то даже высказал предположение — уж не уснула ли она. До этого Билл Лидс при помощи своего пистолета держал акул на почтительном расстоянии, но теперь он это дело бросил,

опасаясь, как бы пуля ненароком не попала в кого-нибудь. А Маэстро все мотал и мотал.

Штормовая туча затянула треть усыпанного звездами неба. По краям ее засверкали молнии. Большинство мелких суденьшек двинулось к берегу.

Лидс со своего катера звал нас укрыться на его яхте, но Маэстро упорно продолжал сматывать леску.

Наконец, сверкнув серебром, в тяжелом, пенистом накате волны тунец вышел на поверхность в десяти — пятнадцати ярдах от нашей лодки. Акулы его так и не тронули, и нам было видно его огромное отполированное тело во всю длину. Маэстро судорожно сматывал леску. И тут они вдруг появились! В свете своих электрических фонарей мы увидели акул, стремительно прочерчивающих черную воду. Как торпеды! Как быстроходные катера! Цапнула одна! Другая! Еще одна! Вода погустела от крови. К тому времени как мы втащили тунца на борт, от него остались только голова да хребет с хвостом.

Чтобы загнать нас с Кэти на борт «Моань», Хему пришлось потратить немало сил. Ему непременно хотелось заколотить дружбу с Лидсом, во-первых, из-за пистолета, ну и, может, потому еще, что Лидс в его представлении был возмутительно богат. Кэти же почему-то невзлюбила Лидса и объявила, что скорее согласна умереть, чем подняться к нему на яхту. К тому же среди его гостей был некий прыщеватый и слащавый старый испанец, с елейными манерами, прозванный нами «Дон Подхалимо», которого дружно невзлюбили мы оба. Как бы то ни было, победа осталась за Эрнестом. Шторм достиг такой силы, что нам ничего не оставалось, как спастись на яхте. Подниматься по сходням пришлось как раз, когда хлынул дождь и подхваченные ветром струи ударили по нам сбоку. Мы уселись, промокшие и дрожащие от холода, под вентиляционной трубой в кают-компании. Оба мы заработали насморк — и поделом, — нечего было кочевряжиться.

Лидс гостеприимно предоставил нам ночлег. Мы улеглись рано и потому так и не узнали, как это произошло, но, когда мы отваливали от яхты прелестным ранним ясным утром, Маэстро нежно прижимал к груди тот самый пистолет-пулемет. По всей вероятности, он получил его во временное пользование, так как Лидс позднее писал мне, что подарил Хему свой пистолет только года два спустя, когда тот уезжал в Испанию на гражданскую войну. Лидс был согласен со мной, что события, свидетелями ко-

торых мы были в тот вечер, легли в основу повести «Старик и море», хотя истории, рассказанные Хему в Гаване рыбаком с Канарских островов, тоже сыграли свою роль. Вряд ли кому-нибудь когда-нибудь удавалось добраться до истоков какой-нибудь рыбацкой байки!<...>

Скорее всего наняли мы с Хемом и Уолдо лодку у Бра, чтобы сплавать на Драй Тортугас следующей весной. Драй Тортугас — самые западные из цепи коралловых островков, составляющих Флорида-Кис. На море была зыбь, и мы долго плыли между рифами в надежде нагнать один из косяков крупной макрели, которые по весне идут из Мексиканского залива на восток и на север. Большого количества крупных рыбин поймать нам не удалось.

Уолдо установил свой мольберт у одной из амбразур внушительного каменного форта и принялся рисовать. Я выбрал себе другой тенистый уголок и устроился там со своей походной кроватью и блокнотом. Солнце палило нещадно, но пассат охлаждал воздух. Крепость была огромная и совершенно обезлюдевшая. Я все ждал, что вот-вот из какого-нибудь перехода мне навстречу выйдет бедный старый доктор Мадда. Никаких звуков, кроме раздраженных выкриков крачек. Неправдоподобно прозрачная вода, купаться в которой было одно удовольствие. Нам ни разу не попалось ни акулы, ни барракуды, только рыба, водящаяся в коралловых рифах: желтохвост, длинноперый морской лещ, трехглавый морской петух да еще существа, будто выгоченные из драгоценных камней, чьих названий мы не знали, которые сновали в верхних слоях воды между коралловыми рифами. Прошло несколько дней. Это был один из тех случаев, когда мне становился понятен смысл словосочетания «тишь да гладь».

Эрнест прихватил с собой Арнольда Джингрича, который тогда еще только начинал издавать журнал «Эскавайр». Тот просто ошалел от восторга. Это был мир, который он не представлял себе даже в мечтах. Его кусали москиты, укачивало в лодке, жгло солнце. Он был поражен, полуиспуган и полусчастлив. Наблюдать, как Хем вываживает издателя, было не менее занятно, чем наблюдать, как он вываживает меч-рыбу.

Джингрич ни на минуту не спускал с Хема зачарованных глаз. Хем сматывал леску потихоньку, оставляя своей жертве иллюзию свободы. На крючок издатель попался таки. Разумеется, он будет печатать все, что Хемингуэй благоволит ему дать, по тысяче долларов за публикацию (в те времена никому из нас и в голову не приходило, что кто-то может получать больше). Мы жили здесь вдали от мира агентов и нью-йоркских завтраков, на которых со-

бирались знаменитости. Эрнест еще только разрабатывал приемы, которые намеревался впоследствии применять, имея дело с тузами, финансирующими литературу. Он так приручил Джингрича, что даже всучил ему несколько моих вещей для «ровного счета».

Бра тем временем занимался тем, что вылавливал сеть раковины. В Ки-Уэст объявлялись туристы, и Бра, к своему немалому удивлению, обнаружил, что они готовы платить большие деньги за громадные розовые, рогатые раковины. Ими он завалил нос лодки. Накануне нашего отплытия в Ки-Уэст он сварил нам вечером вкуснейшую похлебку из моллюсков со свининой, сухарями и овощами — такой я в жизни не едал. За похлебкой последовал жареный желтохвост, сбрызнутый смесью тузлука с соком плода лайма, которую Бра называл «кислинкой». Обед получился поистине королевский, и запили мы его ромом баккарди в количестве несколько большем, чем следовало.

Мы стояли на приколе у причала, напротив форта. Пока мы ели и пили, рядом пришвартовались два одномачтовых кубинских суденьки, промышлявших на глубине красного луциана. Экипаж их состоял из иссушенных солнцем, дружелюбных оборванцев. Мы налили им в оловянные кружки рома. Хем говорил по-испански все свободней и свободней. Из глубин своей бородачи Уолдо извлекал смесь французского, итальянского и ломаного кастильского языков, которая годами служила ему верой и правдой в скитаниях по странам Средиземноморья. Бра, находивший, что разговаривать на иностранных языках ниже его достоинства, выражал расположение пожиманием плечей и урчанием. Джингрич таращил глаза и не говорил ни слова. Мы же, остальные, лазили из лодки в лодку, издавая при этом нечленораздельные звуки, подобно стае обезьян.

Мы мерялись силой, рассказывали друг другу об огромных голубых меч-рыбах, пойманных на крючок и затем упущенных, о крокодилах, замеченных в Заливе, и о гремучих змеях, футов по двадцать длиной, уплывающих в море. Спустилась ночь, совершенно безветренная и безлунная. Новые знакомые оттолкнулись от нашего причала, бросили якорь где-то в сотне футов от нас и завалились спать. Мы отошли от причала, чтобы поймать в паруса хоть сколько-нибудь ветра. Звезды, усыпавшие небо, отражались в море, непривычно большие и напоминающие елочные игрушки. Три лодчонки казались подвешенными в центре огромной, утыканной звездами темно-синей небесной сферы.

В каюте было жарко. Придавленные жарой и ромом, мы лежали на узких койках и обливались потом. Сон поглотил нас спящим зноем.

Нас разбудил стук — кто-то стучался в палубу, как в дверь. Это оказался пожилой, седоватый человек — шкипер с одного из вчерашних суденьшек. «Amigos, para despedirnos!»,— сказал он. С головами как котел, с багровыми глазами мы кое-как выкарабкались на палубу. Он указывал куда-то вдаль. На фоне первых сиреневых мазков в восточной части неба можно было различить очертания человека, стоявшего на носу одной из наших знакомых лодок, который потрясал в воздухе бутылку с какой-то жидкостью. Они собираются отплыть в Гавану с первым дуновением ветерка. Им хотелось бы выпить с нами на прощание за дружбу!

Все вылезли на узкий настил причала. Льда, разумеется, ни у кого не было. В качестве питья нам предлагался тепловатый «Эг-ног», приготовленный на дешевой, отдающей древесным спиртом водке. Мы покорно вынесли свои оловянные кружки. Мы страдали с перепоя. Нам было тошно. Воротило с души. Но не могли же мы обидеть своих amigos. Мы подозревали, что это пошло нас прикончит, но они были нашими amigos, и мы его выпили.

И вот тут Эрнест принес свой пистолет и принялся палить из него. К тому времени на смену тьме пришел серебристый полумрак. Чувствовалось, что где-то за горизонтом разгорается день. Он подстрелил банку из-под тушеных бобов, качавшуюся на волнах. Мы повыкидывали для него еще банок. Потом палил по бумажкам, которые кубинцы нацепили на принесенные со своих суденьшек прутья. Подстрелил несколько крачек. Прострелил шест, стоявший у края причала. Стоило нам указать на что-то, и он тотчас прицеливался, стрелял и попадал. Он стрелял сидя. Стрелял стоя. Стрелял лежа на животе. Стрелял вперед. Стрелял назад, зажав пистолет между коленями. Насколько мы могли судить, он ни разу не промахнулся. Мы допили рыбацкий пунш, amigos попрощались с нами за руку. Amigos помахали нам, подняли якорь, подняли на своих лодках замызганные паруса и пошли в крутой бейдевинд, держа курс на восток, при первом дыхании пассата, сразу освежившего воздух.

Мы двинулись назад в Ки-Уэст. На обратном пути над рифами перекачивались благоприятствующие нам волны.

¹ Друзья, давайте выпьем на прощание (*исп.*).

Весь ветер, какой только был, сосредоточился на нашей корме. Раковины, набранные Бра, начали разлагаться и несусветно вонять. «Эг-ног» неприятно бродил в желудке, физиономии у всех были зеленые. Губы холодные. Никого из нас не вывернуло в полном смысле этого слова, но выглядели мы довольно уныло и больше помалкивали, пока наконец не добрались до затишка на подступах к Ки-Уэст, где начинались первые низкорослые рощицы мангового дерева. <...>

Эрнест с Полиной купили себе в Ки-Уэст прелестный старый домик, ошпукатуренный, с высокими потолками. Полина была мила, как всегда, Джиджи и Мексиканский мышонок — смьшлены и симпатичны, дети, каких редко встретишь.

Вот только между мной и Эрнестом стали все чаще возникать трения. Возможно, я был в этом виноват не меньше, чем он. Мы с Кэти решили отнести это за счет неравенства нашего положения в литературе. Еще бы! Знаменитый писатель. Прославленный рыболов-любитель. Герой африканских сафари. Мы старались шуточками не давать ему заноситься. Иной раз мы ему подыгрывали, особенно когда у него болело горло и он укладывался в постель, не дожидаясь ужина, а все мы, принеся ему что-нибудь выпить, рассаживались со своими тарелками у него в спальне. Это у нас называлось *lit royal*¹. Я никогда не встречал другого такого физически здорового мужчину, который столько времени проводил бы в постели, как Эрнест.

Случалось, что тучи расходились, и все становилось, как в былые времена. Вспомнить хотя бы затяжные, сопровождавшиеся большим количеством вина завтраки, которыми угощал нас Клод Бауэрс у «Боттин» в Мадриде.

Я неоднократно встречался с Клодом Бауэрсом — другом детства Пакса Хиббена — на великолепных обедах, которые давала в Нью-Йорке Шийла Хиббен. Теперь Клод был послан и профессиональным политиком, то есть принадлежал к категории лиц, к которым мы с Хемом склонны были относиться с известным недоверием; однако помимо всего прочего он был крупным историком, приятным собеседником, человеком с широким кругозором. Он любил иногда, забыв о своем высоком звании, выскользнуть из посольства и встретиться с нами у «Боттин» — старинной мадридской харчевни, тогда еще неведомой американцам.

¹ У постели короля (*фр.*).

Клод прекрасно разбирался в испанской политике — и в испанских винах, кстати, тоже, — но он никак не мог осилить язык. Картины Гойи для него так и оставались «гойями». Хем без конца разглагольствовал о быках, о живописи и испанской душе. Я демонстрировал свою осведомленность в политике. Это были первые дни Второй Республики. Все мои друзья были республиканцами. Все мои надежды были связаны с расцветом испанского идеализма XIX века, столь тронувшего меня, когда я впервые узнал Мадрид. Мы так и не смогли научить Клода обращаться с глаголами, однако его комментарии в отношении *políticos* были тонки и проницательны.

Хема все это нимало не интересовало. Душа его принадлежала *Toggeros*¹. Эти завтраки явились для нас с Хемом последней возможностью поговорить об испанских делах, не выходя из себя.

В один прекрасный день мы с Кэти приехали в Ки-Уэст и узнали, что какой-то негодяй-скульптор изваял бюст Эрнеста. Гипсовая копия его стояла в вестибюле. Бюст был поистине ужасен. Впечатление было, что он слеплен из мыла. Увидев его в первый раз, мы долго и громко хохотали. Мы даже представить себе не могли, что Эрнест может относиться к нему серьезно. Той зимой я завел моду накидывать свою панаму на голову извания, лишь только переступал порог дома. Однажды Эрнест поймал меня за этим. Он бросил в мою сторону кислый взгляд и шляпу с головы снял. Весь остаток дня он ходил надутый. Ничего по этому поводу сказано не было, но с тех пор все изменилось, не к лучшему.

¹ Торсадоры (*ист.*).

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Уже в течение нескольких месяцев Эрнест узнавал из газет, что ситуация в Испании становится все более напряженной. Но сообщения 18 июля о мятеже нескольких генералов против законно избранного правительства были не просто тревожными. Эрнест знал, на что способны эти люди, если войска пойдут за ними. Новости последующих дней подтвердили его предположения.

Испанская война началась.

Но Эрнест в это лето был целиком поглощен своей работой. Роман должен был быть закончен. Эрнест весь сконцентрировался на книге, но из головы у него не выходила Испания. Первые месяцы испанской войны оказались для него очень продуктивными. Однако он продолжал с жадностью прочитывать ежедневные газеты, чтобы быть в курсе обстоятельств и иметь возможность судить о них. Заканчивая свою дневную работу, он подолгу разговаривал с друзьями о войне. В декабре роман «Иметь и не иметь» принял окончательную форму. Теперь Эрнест был свободен и мог предпринимать определенные шаги в отношении Испании.

В январе он подписал контракт с Джоном Уиллером, президентом Синдиката североамериканских газет, представлявшего два десятка самых крупных ежедневных газет в Соединенных Штатах, в соответствии с которым Эрнест брался на ближайшие несколько месяцев быть военным кор-

респондентом Синдиката в Испании. Он должен был получать пятьсот долларов за каждое телеграфное сообщение размером от 250 до 400 слов и тысячу долларов за отправленные почтой статьи примерно в 1200 слов, с тем, что Синдикат получает исключительное право продавать его материалы газетам.

С января, когда Эрнест подписал этот контракт, и до марта, когда он приехал во Францию и готовился пересечь испанскую границу, он был занят тем, что звонил по телефону и писал в Вашингтон и Нью-Йорк, мобилизуя своих друзей в помощь различным проектам.

Первым таким проектом было создание документального фильма, в котором он хотел показать, какой была жизнь в типичной испанской деревне до войны и насколько война порушила и изменила эту жизнь.

Эрнест знал, что деньги на фильм ему придется добывать самому, но он надеялся на свое умение красочно и с большой долей драматизма писать репортажи и на то, что издатели газет по всей стране будут кричать: «Еще, еще!»

Он не собирался в Испанию надолго. Его контракт предусматривал поездку на два-три месяца и оговаривал, что Эрнест посылает свои материалы, если того требуют события либо если требует Синдикат. Кроме того, Синдикат оставлял за собой право отменивать число телеграфных сообщений, если это будет обусловлено развитием событий. Для Эрнеста очень важным было то обстоятельство, что контракт позволял ему писать статьи или рассказы для журналов или книги.

Эрнест затратил много усилий, чтобы в Испанию его сопровождал давний приятель Сидней Франклин, тореадор из Бруклина, который говорил по-испански даже лучше, чем Эрнест. У Франклина были друзья и поклонники среди миллионов испанцев. Он был человеком ловким и обладал известной репутацией. Однако в политике он оставался до того наивным, что, когда началась война, он спросил Эрнеста: «А на чьей стороне мы, Папа?»

Когда 12 марта Эрнест выслал из Парижа свой первый материал Синдикату, он еще надеялся получить для Сиднея официальное разрешение на въезд в Испанию. В этом материале он рассказывал о своих приготовлениях к поездке в республиканскую Испанию и о том, что только что встретил одного своего друга, который приехал из Испании с весьма деликатной миссией — с известием, что более 100 тысяч немецких и итальянских солдат помогают мятежникам.<...>

18 марта Эрнест вылетел самолетом в Испанию. Они приземлились в Барселоне как раз сразу после бомбардировки города. Потом он продолжил свой путь к восточному побережью, к Аликанте с его пейзажами, напоминающими африканские, и дальше в Валенсию, где за городом еще можно было достать свежее мясо и где население было исполнено энтузиазма по поводу войны.

На следующей неделе Эрнест отправился на гвадалахарский фронт, где правительственные войска разбили итальянцев — это была их первая победа за восемь месяцев войны против агрессоров. Под холодным дождем и снегом он пробирался вперед, не обращая внимания на артиллерийский обстрел. Его взволновал вид мертвых итальянцев, которые верили, что их посылают в Африку для несения гарнизонной службы, а вместо этого они попали под прицельный огонь, в том числе и противотанковых орудий, который покончил с их так называемыми непобедимыми механизированными колоннами. <...>

Эрнест очень спешил с приготовлениями к съемкам документального фильма. Йорис Ивенс, режиссер, уже приехал в Испанию. Прибыл сюда и оператор Джон Ферно, тоже привлеченный к этому делу. Большая часть дневных съемок производилась вне Мадрида, в деревне Моралес, но потребовались и другие эпизоды. Для того чтобы отснять подлинные боевые сцены, Эрнест уводил операторов с их портативным оборудованием в такие места, где они могли снимать танки в бою при хорошем освещении. С ним часто бывал Хэнк Горелл из «Юнайтед пресс». 9 апреля они наблюдали вторую за четыре дня атаку республиканцев, предпринятую для того, чтобы ослабить давление противника на Университетский городок. В этот день их дважды обстреляли вражеские снайперы. В первый раз они обосновались в хорошем месте, откуда открывался вид на поле боя. Но вражеские пули стали откалывать щепки у них над головами, и они поторопились убраться, пока снайперы не успели скорректировать свои прицелы. К концу дня они сняли прекрасные кадры, установив камеру на третьем этаже разбомбленного дома, где они могли работать, оставаясь невидимыми.

Через несколько дней они сопровождали атаку пехоты и танков, которая впоследствии помогла разорвать осаду Мадрида. Эрнест отправлял в Штаты очерки, в которых был свист пуль, запах пороха и таинственные вспышки огня за кустарником, где готовились к атаке войска.

22 апреля Эрнест вместе с несколькими сотнями тысяч

других людей оказался под бомбежкой, которая продолжалась одиннадцать дней. Он описал этот ад, начиная от стрельбы из легкого оружия до минометов и орудий, и как каждый из этих снарядов бьет по домам и по людям.

Позднее Эрнест рассказывал мне: «Когда Сидней Франклин в конце концов добрался до Мадрида, где мы обосновались, все стало значительно проще. Сидней был потрясающим пронырой, организатором и добыгчиком, что оказалось весьма существенно для голодных людей в республиканской Испании. Он мог уговорить совершенно незнакомого человека отдать полную шапку яиц с такой же легкостью, как большинство людей просят прикурить сигарету. Он был удивителен».

У Эрнеста у самого был талант добывать свежее мясо. Он взял на время у одного друга охотничье ружье и на корреспондентской машине уехал на фронт в районе Пардо на другом конце города от отеля «Флорида», где жил. Там за несколько часов он подстрелил четырех кроликов, утку, куропатку и одинокую сову, которую принял за вальдшнепа, когда она пролетала за деревьями.<...>

В начале мая Эрнест отправил свою последнюю корреспонденцию из Мадрида и стал готовиться к возвращению во Францию, а оттуда в Соединенные Штаты. Он написал около дюжины очерков, часть которых отправлял почтой через правительственную цензуру, а также несколько материалов для журналов, просмотрел большое количество киноплёнки для будущего фильма «Испанская земля», готовил заготовки для дикторского текста к фильму.

Когда Эрнест приехал в Нью-Йорк, он намеревался провести там большую часть времени. Он уже разрабатывал план возвращения в Испанию осенью. Он знал, как много деталей надо предварительно продумать, чтобы поездка оказалась удачной. Он хотел помочь в монтаже фильма и проследить, чтобы не выпали некоторые эпизоды. Он хотел вызвать этим фильмом сенсацию и таким путем собрать пожертвования на приобретение санитарных машин, медицинского оборудования и других вещей, необходимых Испанской Республике и тем, кто сражается за ее спасение.

Он сделал все, что от него зависело, для фильма и написал еще несколько материалов для Синдиката. По телефону переговорил с Арнольдом Джингричем и рассказал ему о своих новых планах. После этого отправился в Ки-Уэст повидать Полину и детей, по которым очень соскучился за последние месяцы.

В конце мая, перед тем как отплыть на Бимини, Эрнест написал мне. Он писал, что опыт Испании оказался весьма поучительным, что он видел то, что осталось после битвы под Гвадалахарой и еще одной, сопровождая пехоту в атаке, и снял одну контратаку. В Мадриде он пережил девятнадцать дней страшной бомбардировки и писал, что Синдикат платил ему так много за корреспонденции, потому что они думали, что примерно после четвертого материала он будет убит и таким образом их расходы окупятся. Он злился на то, что Синдикат ограничивает его одним материалом в неделю и он вынужден был в одном телеграфном сообщении объединить описание двух атак. Однако он характеризовал накопленный материал как подходящий фарш для дальнейшей работы и сообщал, что намерен вернуться в Испанию позднее, летом. Он хотел лично убедиться, как все там происходит.

В то время я завершал свой второй год в качестве репортера и редактора в «Чикаго дейли ньюс» в отделе местных новостей. Вскоре после того как я начал там работать, я познакомился с Мэри Уэлш, которая служила там помощником редактора отдела светской хроники. Поскольку отдел местных новостей и светская хроника помещались рядом, мы часто сталкивались и болтали. Мэри была веселой маленькой блондинкой из Миннесоты, которая любила разговаривать, сидя на столе и болтая ногами. «Как это здорово иметь знаменитого брата! Расскажи-ка мне о нем», — подзадоривала она меня.

Мэри прочитала все, написанное Эрнестом, что могла достать, и было видно, что она очарована им. «Расскажи мне, что он на самом деле представляет из себя?» — нередко спрашивала она меня. У меня была небольшая парусная лодка, и мы на ней плавали вместе. После этого Мэри, смеясь, называла ее «наша лодка». Наши отношения были совершенно невинными и зиждились в основном на ее интересе к Эрнесту. Позднее она уехала на восток и работала там для изданий Льюса. Спустя многие годы она в конце концов встретила своего героя в Европе.

Лето 1937 года стало для Эрнеста временем принятия решений. Он с горячностью убеждал друзей и знакомых организовывать помощь и сбор средств для Испанской Республики. Благодаря своему увлечению спортивной охотой на большую рыбу он был знаком со многими богатыми наследниками крупных состояний Америки. Эрнест сосредоточился на этих людях, понимая, что, если они проявят социальное сознание, они могут быстро и эффективно помочь делу Испании через контролируемые ими большие капиталы.

Однако его постигло разочарование. То, что для него казалось совершенно очевидным, для других выглядело темным и полным скрытых ловушек. Когда он просил их помочь с медицинским оборудованием и облегчить тем самым страдания раненых у обеих сражающихся сторон, многие его друзья не захотели иметь с этим проектом ничего общего. Кое-кто боялся, что их помощь попадает только к коммунистам, о которых было известно, что они сражаются на стороне испанского правительства против немцев, итальянцев и мятежных испанских генералов.<...>

Премьера фильма «Испанская земля» состоялась в Белом доме. Йорис Ивенс и Эрнест приехали из Нью-Йорка, чтобы перед показом фильма присутствовать на обеде у президента. Обед прошел хорошо, и оба они в тот вечер были гостями Белого дома.

— Ты знаешь, — рассказывал он мне позднее, — у них там настоящие фрукты в комнатах для гостей. Не муляжи из воска, как на витринах, а зрелые груши и яблоки и персики в большой вазе. Я утянул парочку яблок, когда уходил. Они оказались очень вкусными.

В то лето случилось одно событие, сильно повлиявшее на дальнейшую карьеру Эрнеста и его личную жизнь. Когда он был в Ки-Уэст, Марта Гельхорн, молодая писательница, опубликовавшая одну книгу и начавшая хорошо выступать в журналах, приехала туда, чтобы взять у Эрнеста интервью. Марта была высокой блондинкой с исключительно красивыми ногами, хорошим чувством юмора и несомненными писательскими способностями. Она обосновалась в баре у Мокрого Джо, увидела на одном табулете у стойки бара имя Эрнеста и спросила, действительно ли он здесь бывает, как говорят об этом слухи.

— Конечно, когда он в городе, он бывает здесь, — ответил Скиннер, большой сильный негр, который присматривал за баром в отсутствие хозяина Джо Рассела. — Сейчас уже около трех часов. Если он в городе, он скоро придет.

Через несколько минут действительно появился Эрнест, огляделся вокруг и остался доволен. Его познакомили с Мартой, и они сразу же стали разговаривать как старые друзья, даже еще до первой рюмки. Эрнесту понравилась идея ее статьи, и он держался открыто, был внимателен и обаятелен.

Марта со своей стороны обнаружила, что очарована Эрнестом. Он разговаривал так же хорошо, как и писал,

и мог быть, если хотел, весьма занимательным. Он исповедовал идею, что талант — это еще не все. Талант должен быть использован для того, чтобы сделать мир хорошим местом для жизни, и это включает необходимость сражаться за человеческую свободу везде, где ей угрожают. Он вынашивал тогда планы новой поездки в Испанию и стал убеждать Марту, если она может, поехать туда и самой увидеть, что там происходит. Марта в своей первой книге выступала против проявлений бесчеловечности и охотно разделила с Эрнестом его убежденность в том, что писатели должны делать все, что в их силах, чтобы защитить права человека и его достоинство.

В Нью-Йорке в середине августа, готовясь к поездке в Испанию, Эрнест зашел в кабинет Макса Перкинса в издательстве «Скрибнерс» и столкнулся там с писателем Максом Истменом. Истмен критически высказывался о писательской позиции Эрнеста, заявляя, что в его произведениях чувствуются «фальшивые волосы на груди». В литературных кругах его критика была воспринята сочувственно. И вот так случилось, что два эти человека впервые оказались вместе в одной комнате. Вежливый разговор вскоре сменился взаимными оскорблениями, и, когда Макс Перкинс вышел из кабинета, дело дошло до рукоприкладства. Потом каждый из них предложил газетчикам свою версию происшедшего. Истмен утверждал, что он сопротивлялся, когда Эрнест набросился на него с кулаками, и вышел победителем. Эрнест же заявил, что он «наказал» Истмена, и показывал книгу с кровавым пятном на одной из страниц как доказательство своей победы. Это событие дало литературному миру материал для красочных сплетен, которые обсуждались в течение нескольких месяцев в колонке светских новостей и в литературных салонах.

Летом на Бимини Эрнест вносил поправки и вычитывал последние гранки романа «Иметь и не иметь», который должен был осенью выйти из печати. Некоторые персонажи романа до удивительного напоминали его недавних друзей. Если уж Эрнест невзлюбил кого-то, то он относился к нему, как няня в больничной палате, когда туда влетает муха.

Его новая книга, первая, в которой он перешел от удовольствия экспериментирования к оправданию собственной жизни, представлялась ему, как он говорил мне, самым значительным произведением из всего, что он до тех пор написал. До этого его совершенно не интересовало, что происходит в жизни, лишь бы он мог успешно писать. Теперь же он действительно оказался озабочен жизнью других людей.

Летом он выступил с речью на съезде Лиги американских писателей в Карнеги-холле. Он назвал эту речь «единственным политическим выступлением, какое я когда-либо собирался сделать». Он говорил о том, что увидел в Испании, какое это произвело на него впечатление и как он собирается обращаться с фашизмом, где бы он с ним ни столкнулся.

Речь была серьезной и сразу же выдвинула Эрнеста. Он всегда оказывался на высоте, когда приходилось принимать какие-либо трудные решения. С этого момента он считал себя обязанным действовать в соответствии со своими убеждениями. В конце лета, когда он вновь приехал в Нью-Йорк, готовясь к более длительному пребыванию в Испании, он в частном порядке собрал 40 тысяч долларов, взяв авансы у своих издателей и добыв деньги из других источников, и пожертвовал их на приобретение медицинского оборудования в дар правительству Испании.

Перед самым отъездом Эрнест много пил. В разговоре с Джоном Уиллером он сказал, что напишет для Синдиката статью и не станет получать за нее гонорар, потому что очень доволен тем, что Синдикат вновь распространяет его материалы в дюжину самых больших в стране ежедневных газет, включая «Нью-Йорк таймс». И у него еще будет возможность, если война продлится, узнать больше о том, какое влияние оказывает она на жизнь всех его друзей и знакомых в Испании.

В этот второй свой приезд в Испанию первой корреспонденцией Эрнеста стал очерк с арагонского фронта, где ему случилось разговаривать с огрубевшими, закаленными войной американцами, которые прошли первый год войны и выжили. Он отметил, что раненые, трупы и романтики исчезли, остались хорошие, убежденные бойцы. Как раз ко времени его возвращения в Испанию эти солдаты захватили Куэнци и Бельчите, используя боевую тактику индейцев. Он прошел по полю сражения в Бельчите в сопровождении Роберта Мэрримана, в прошлом профессора Калифорнийского университета, который теперь был офицером штаба 15-й бригады и командовал взятием старинных укреплений в Бельчите. Запах тления был настолько сильным, что похоронные команды вынуждены были работать в противогазах.

Эрнест сконцентрировал свои усилия на анализе событий на арагонском фронте, где создался тупик в военных действиях. Эрнест так просто и ясно писал о целях обеих воюющих сторон, что даже читатели, совершенно незнакомые с военной тактикой, могли понять различные военные ситуации.

Спустя неделю он написал корреспонденцию об опорном пункте мятежников — крепости Теруэль, возвышавшейся над равниной, подобно большому кораблю в море. Это была естественная крепость, столетиями выдерживавшая атаки, с самого начала войны она находилась в руках мятежников. Эрнест понимал, что она должна сыграть историческую роль в ходе войны.

Эрнест решил, что его военный опыт и вообще все, что он знает о войне, лучше всего может найти свое выражение в пьесе. То, что он раньше никогда не занимался драматургией, его не смущало. Он считался мастером диалога. Всю жизнь он тяготел к драматизму, искал крутые повороты и катаклизмы, как другие ищут безопасности и общественного положения. Он начал набрасывать план пьесы, продолжая в то же время помогать советами в съемках дополнительного материала в деревне под Мадридом.

Романтический образ жизни, который он вел, получил новый стимул, когда в столицу Испании в качестве корреспондента приехала Марта Гельхорн. Марту и Эрнеста тянуло друг к другу. Оба они были романтики, решившие внести свой вклад в борьбу против тирании. Оба высоко ценили друг друга. Они жили в отеле «Флорида», где обособились практически все корреспонденты. Эрнест объединил усилия многих своих коллег в деле добывания продуктов, в организации развлечений, в создании атмосферы товарищества и превратил свой номер в одно из немногих мест (хотя он время от времени менял номер), где друзья и приезжающие могли получить выпивку, иногда легкую закуску и даже мясо. У него можно было послушать хорошую музыку на маленьком ручном патефоне под аккомпанемент пишущей машинки, выстукивавшей фразы, которые вскоре будут читать во всем мире. Эрнест работал над своими репортажами, помогал Марте, она в свою очередь перепечатывала его материалы, они вместе многое обдумывали, и порой в их очерках даже встречались одни и те же фразы.<...>

Эрнест в своих репортажах подчеркивал, что война в Испании идет на фронте, растянувшемся на 800 миль через всю страну. Между укрепленными городами, выдерживавшими осады с времен средних веков, фронт был весьма подвижен. Города подвергались атакам, войска проходили мимо них, окружали, проникали в них и грабили раньше, чем фронт успевал реально продвинуться. Людские силы и количество военного снаряжения у обеих сто-

рон бывало достаточным для выполнения задачи только при условии большой концентрации сил — так великолепно создавалась в средние века оборона против врагов.

В конце сентября Эрнест, Герберт Мэттьюз и Марта Гельхорн отправились в рискованное путешествие через горы на север, чтобы посмотреть своими глазами, что представляет собой такой вот «затерянный фронт». Они оказались первыми американскими корреспондентами, которым разрешили ознакомиться с положением в тех местах. Готовясь к поездке, они закупили одеяла и спальный мешок, взяли с собой сколько возможно продуктов. Используя грузовик в качестве базы, они отправлялись на позиции в горы верхом. Они разбивали лагерь и готовили себе еду, иногда удавалось купить у крестьян случайно оставшиеся у них хлеб и вино.

«Эрнест и Марта были замечательными товарищами по путешествию,— рассказывал мне позднее Герберт Мэттьюз.— К ночи всегда находили что-нибудь выпить. И даже если мы ночевали под открытым небом, Эрнест не отказывал себе в маленьком удобстве спать в пижаме».

Всю эту осень Эрнест много работал. Он отделявал очерки для «Эсквайра», давал советы по монтажу фильма, написал несколько превосходных сцен для пьесы «Пятая колонна» и завоевал несколько сердец обитателей Мадрида. Самым восприимчивым и вдохновляющим было сердце Марты Гельхорн. Они так много значили друг для друга, как только могут значить люди, живущие под ежедневной угрозой смерти, и к тому же люди творческие.

Полина каким-то образом узнала или почувствовала по письмам Эрнеста, что их прежних отношений больше не существует. Эрнест оставался таким же убежденным католиком, как и она. Патрик и Грегори воспитывались в этой же вере. Однако брак Эрнеста и Полины оказался подвергнутым испытаниям этой испанской войны, в которой со всей страстью участвовали люди из самых разных стран — России, Чехословакии, Венгрии, Германии, Италии, Северной Америки. К середине 1937 года Испания была разделена на две части. Про каждую из этих сторон можно было многое сказать и «за» и «против». В Америке либерально настроенные читатели и писатели всем сердцем поддерживали Испанскую Республику в ее борьбе против фашистов, на стороне которых были Гитлер, Муссолини и Франко.

Полина была полна решимости сражаться за то, чем обладала и что надеялась сохранить. В начале декабря она задумала поехать на Рождество в Париж, с тем чтобы Эрнест присоединился там к ней. Плавание из-за декабрьских

штормов оказалось очень тяжелым, но Полина стойко перенесла все трудности, твердо решив сохранить мужа.

Эрнест был так занят, что за два с лишним месяца не послал ни одного телеграфного сообщения. И только 10 декабря, после того, как он в течение трех дней наблюдал атаку республиканцев на Теруэль, он отправил телеграмму, в которой высказывал свои надежды и обрисовывал ситуацию. К тому моменту правительственные войска почти окружили город, страдая при этом от зимней непогоды и ударов врага. Внешний мир ожидал наступления генерала Франко, однако правительственные войска перехватили инициативу и при нулевой температуре, под сильными порывами ветра и снежными метелями совершили поразительный переход на высоте 4 тысячи футов.

23 декабря Эрнест описал падение Теруэля, освобождение дороги Валенсия — Барселона от опасности оказаться перерезанной, что дало большую безопасность Мадриду. Вместе с Гербертом Мэттьюзом Эрнест проник в ту зону, где никто из гражданских лиц не мог находиться, где снаряды рвались с таким звуком, словно чьи-то могучие руки рвали огромные куски шелка.

Они увидели прошагавшую мимо них группу, так нагруженную взрывчаткой, что это заставило бы содрогнуться любого страхового агента. Эрнест, Мэттьюз и Делмер быстро получили от офицера разрешение и стали пробираться вслед за молодыми динамитчиками, которые прокладывали себе взрывами путь в город. Красные всплшки пламени и клубы черного дыма от их бомб и гранат оказались единственными указателями дороги писателям, когда те взобрались на высоту и очутились среди лавок и заборов самого города.

Вскоре после этого Эрнест договорился о том, чтобы вылететь во Францию, и на Рождество появился в Париже. Несколько дней ушло на визиты вместе с Полиной, потом они уехали в Нью-Йорк, а оттуда в Ки-Уэст, оставив позади целый хвост друзей, знакомых, деловых партнеров и просто людей симпатизирующих, которые понимали, какое трудное время им предстоит пережить.

У Эрнеста оставалось много работы, которую нужно было завершить, и вообще в известном смысле часть его души осталась в Испании. Он знал, что должен вернуться туда. Но не хотел обсуждать это с кем бы то ни было. Потребность вернуться в Испанию была настолько силь-

на, что он избегал всяких разговоров о своих планах на будущее.

Он понимал, что зимняя погода помешает обоим воюющим сторонам в ближайшие месяцы проводить вылазки патрулей и рейды. Но у него были свои собственные серьезные, хотя и не совсем еще созревшие планы. Теперь он советовался только с самим собой, подобно хорошему генералу, который не доверяет больше своим советникам или не уверен в ценности их советов. Как и многие исторические персонажи, Эрнест добивался лучших результатов, не советуясь с другими. Он брал новую высоту.

Во время его пребывания в Испании осенью 1937 года Эрнест явно испытывал острые угрызения совести. Это заметно хотя бы по тому, как он вспоминал свой сад в Ки-Уэст, описывая в очередной корреспонденции разрушения от бомбардировки и странное чувство, охватившее его, когда он смотрел на колышущиеся голубые цветы, выросшие вскоре после того, как взрывы и огонь смели с поверхности земли всякую жизнь.

Первое время, хотя он и не сталкивался с этим непосредственно, он начал ощущать трагедийность ситуации, в которой оказались его друзья. Он был потрясен, когда пришел в дом своего друга, крупного испанского художника Луиса Кинтанильи. Несколько членов семьи Луиса спаслись. Но дом был разрушен. Все прекрасные картины, создававшиеся годами, погибли. Их обрывки висели на сохранившихся руинах стен. В одном углу он увидел несколько больших свертков. Он поспешил туда в надежде, что хоть какие-то книги остались невредимыми. Он тронул один сверток, другой. Они рассыпались. Тлеющий огонь превратил их в пепел.

Роберт Капа приехал в Испанию через Центральную Европу в качестве фотокорреспондента. Он появлялся там, где появлялся Эрнест, пил то, что пил Эрнест, придумывал шутки, которым смеялся Эрнест, и вообще зарекомендовал себя славным парнем. И вот здесь он наконец нашел ту единственную девушку. Капа влюбился. Глядя на этого коротенького, смуглого простака со страниц Вольтера с «лейкой» на шее, так же трудно было представить его влюбленным, как вообразить Аль Капоне в монастыре.

Если с Капой что-то происходило, то об этом тотчас узнавал весь мир. Его девушка, Герда, была нежным, меднолосым созданием, раскрывшим в этом венгерском художнике с фотоаппаратом все лучшее. Для Роберта она была самым дорогим существом. И однажды эта девушка, чтобы лучше разглядеть атаку республиканцев, встала на

подножку корреспондентской машины. А мимо шла моторизованная колонна, и один танк, не рассчитав расстояния, срезал край машины, девушка была убита на месте. Эрнест взял на себя все печальные хлопоты и помог Капе пережить разбитые надежды.

Когда Валенсию захлестнула волна арестов, Эрнест узнал, что его друга профессора Роблеса схватили, поспешно судили и казнили. Вскоре после этого приехал Джон Дос Пассос и начал розыски Роблеса, предполагая, что у последнего из-за его взглядов могут быть неприятности. Потребовались дни — это были мучительные дни — прежде чем Эрнест убедился в точности информации. После этого ему предстояло сообщить о случившемся Дос Пассосу. Сам этот факт, невозможность в течение некоторого времени получить правдивую информацию и чудовищность убийства хорошего и невинного человека стали одной из душевных ран, мучивших Эрнеста. Это терзало его гораздо больше, чем гибель тысяч людей по обе линии фронта, которых он не знал.

Эрнест мог посмеиваться над толстыми дамами, спасающимися в укрытиях от штурмующих самолетов. Но его глаза наполнялись ужасом при виде убитых детей. Айра Уолферт рассказывал мне, как потрясен был Эрнест и как он повторял: «О боже, эти маленькие, белые лица — они как растоптанные цветы. Невинные и чистые души — уничтоженные навсегда».

Рассказывая мне следующей весной о войне, Эрнест упоминал и о смешных эпизодах. Он вспоминал о своей первой встрече с венгром генералом Лукачем, командовавшим 12-й Интернациональной бригадой. «Он устроил в мою честь большой банкет, — смеялся Эрнест, — и мне стоило большого труда сохранять серьезное лицо. А дело в том, что в действительности почетными гостями были самые прелестные девушки из деревни. Он пригласил их тоже».

Однажды ночью в Мадриде он отправился в кино посмотреть фильм с Марлен Дитрих. И как раз в тот момент, когда Марлен, игравшую роль Мата Хари, должны были расстрелять, рядом с кинотеатром разорвался снаряд. Здание содрогнулось, однако, рассказывал Эрнест, зрители не двинулись с места, только хохотали над таким совпадением.

Ранней весной 1938 года в Ки-Уэст Эрнест переписывал «Пятую колонну» и, обдумывая будущее, мечтал о большом романе, в котором найдут свое место предательство, мужество, самопожертвование — все, что он увидел в Испании за последние месяцы.

Рыбная ловля в водах, омывающих Ки-Уэст, по-прежнему была превосходна. Но Эрнест был захвачем совсем другим. Он держал «Пилар» в Ки-Уэст, отказываясь тратить время и силы на плавание на Бимини или в Гавану, где не только можно было поймать большую рыбу, но и повстречаться с яхтсменами, которые контролировали крупнейшие состояния в Америке. В былые годы Эрнест учил их, как получать наслаждение от жизни, занимаясь рыбной ловлей и знакомясь с океанскими глубинами. Но в 1937 году это его уже не занимало. Он был озабочен одним — как помочь Республиканской Испании.<...>

Тихая семейная жизнь в Ки-Уэст неожиданно оборвалась однажды утром международным телефонным звонком. Эрнест взял трубку в нижнем холле, потом крикнул, чтобы ему принесли карандаш и бумагу. Я побежал за ними.

— Говоришь, они начали движение? Это может быть наступление по направлению к морю. Если они заблокируют границу, остальная часть страны окажется отрезанной. Конечно, я приеду. Отсюда есть дневной самолет. Нет, увидимся, когда я приеду. Пока.

Полина сохраняла спокойствие. Потом она спросила:

— Чем я могу помочь тебе?

— Упакуй одежду, и теплую тоже. Бедная Старая Мама, — сердитые глаза Эрнеста потеплели. — Черт побери! Дела шли так хорошо, что я должен был понимать, что все это лопнет, — теплота ушла из его глаз, он отстранил Полину, хотя и продолжал обращаться к ней. — Это будет война в горах, и мне нужна будет теплая одежда, несмотря на то, что наступает лето. Я не хочу никаких осложнений с моим проклятым горлом, чтобы потом не пришлось полоскать его виски, которое стоит так дорого. В весеннюю оттепель все только и будут что мечтать, чтобы война кончилась через месяц. Выйдем со мной, я хочу поговорить с тобой, — обратился он ко мне.

Мы ушли в комнату и по-быстрому выпили по глотку прямо из бутылки, не пачкая стаканов.

— Послушай, — сказал он, — я могу гарантировать тебе чин капитана в бригаде Линкольна, если ты хочешь поехать туда. Это решит твои проблемы, и ты узнаешь массу нужных вещей. Война скоро кончится, потому что надвигается большая война. Ну так как?

Я объяснил ему, что не могу поехать из-за денег: я должен обеспечивать жену и маленького сына. Я был не прочь изобразить, что его предложение очень заманчиво для меня.

— Тогда приезжай в аэропорт и проводи меня. И, пожалуйста, оставайтесь все здесь как можно дольше, чтобы Бедная Старая Мама чувствовала себя хорошо.— Он пошел звонить Арнольду Джингричу. Он был очень взволнован предстоящей поездкой. Часа через два, перед отлетом самолета в Майами, все необходимые вещи были упакованы в чемоданы, и мы распрощались с ним.<...>

Он пересек пароходом Атлантику и вылетел в Республиканскую Испанию уже знакомым путем с остановкой в Барселоне. Оттуда 3 апреля он отправил свой первый репортаж из нового цикла, посвященный ситуации, сложившейся после прорыва у Гандесы. Он описывал беженцев, уходивших по дорогам под обстрелами с самолетов, розовые цветы миндаля, покрывающие залитые солнцем холмы.

Теперь его интересовала судьба американцев из батальона Линкольна — Вашингтона, который был окружен на холме около Гандесы. Американцы уходили с величайшей осторожностью. Их целью было переплыть Эбро, оказаться в безопасности и найти возможность вновь сражаться. Они пробирались по ночам через позиции фашистов. Некоторые из них в кромешной тьме в буквальном смысле наступали на спящих фашистских солдат.

Проделав в конце первой недели апреля весь путь через долину Эбро с тем, чтобы выяснить, взята ли Тортоса, Эрнест обнаружил, что город подвергся сильным бомбардировкам, но мосты и дороги остались невредимыми. Силы Франко двигались к морю очень медленно, а боевой дух правительственных войск оставался весьма высоким. Позднее он обследовал весь фронт между Средиземным морем и Пиренеями и обнаружил, что наибольшая опасность успешного наступления фашистов сохраняется на севере. Здесь горы создавали у правительственных войск ощущение безопасности, и они сражались не столь упорно, как могли бы. Эрнест с пренебрежением относился к итальянской пехоте — она наступала только тогда, когда позиции противника подвергались усиленному обстрелу и очищались танковыми частями. На это уходило много времени, в котором не нуждались наваррцы и марокканцы.

15 апреля Эрнест стал свидетелем бомбардировки фашистами дороги Барселона — Валенсия. Город скрылся в тучах желтой пыли. Когда видимость восстановилась, он и его друзья перебрались по временному мосту. Он писал, что ощущал себя альпинистом, обследующим лунные кратеры.

В дельте Эбро новое весеннее поколение лягушек заполняло каналы. Там Эрнест нашел и съел дикий лук, наблюдая тем временем за приготовлениями к новой битве — войска фашистов прокладывали себе путь к морю.

В ту весну в Барселоне Эрнест взял интервью у Джеймса Ларднера, двадцатитрехлетнего корреспондента «Нью-Йорк геральд трибюн». Джеймс, один из сыновей покойного Ринга Ларднера, только что вступил в Интернациональную бригаду. Он считал, что корреспондентов в Испании хватает, а вот артиллеристы в республиканской армии весьма нужны. Несколько месяцев спустя Джеймс был убит.

Добравшись пешком до Лериды, которая на одну треть была занята фашистскими войсками, Эрнест записал свои ощущения и восприятие тех, кто пробрался сюда под огнем вражеских пулеметов. Значение этого города заключалось в том, что он контролировал дороги, ведущие в Каталонию, и поэтому правительственные войска, державшие под своим контролем значительную часть города, упорно оборонялись. Они надеялись, что дожди повысят уровень воды в реке Сегре и это укрепит защиту города от танковой атаки.

Спустя неделю Эрнест посетил Каstellон на юге и увидел там поразительную систему подземной обороны, созданную жителями города для защиты от итальянских бомбардировщиков. Четыреста бомб, сброшенных на город за день до его приезда, убили только трех человек. Он вновь побывал в Аликанте и Валенсии и поразился обилию хороших продуктов. В этих портах по-прежнему причаливали суда со всего мира.

10 мая Эрнест отправил из Мадрида свою последнюю корреспонденцию с испанской войны. Он был рад увидеть в столице старых друзей и отметить, что за месяцы передышки на этом фронте здесь созданы отличные оборонительные сооружения. Боевой дух войск, офицеров, саперов, гражданских лиц был очень высок. Правда, они, похоже, предпочитали вести свою собственную войну, не заботясь о других городах. Положение с продуктами уже в течение некоторого времени оставалось тяжелым. Но зато было много военного снаряжения, достаточного, чтобы выстоять новую осаду. Хотя дипломаты были уверены, что война кончится через месяц или около того, Эрнест считал, что она может продлиться еще год. История показала, что его прогноз оказался правильным.

Перед тем как вылететь из Испании, Эрнест просмотрел все свои бумаги и многие из них — личные и профессиональные — уничтожил.

— Я накопил такое количество информации, — рассказывал он мне впоследствии, — часть которой было очень трудно добыть, что я оказался бы весьма ценной добычей, если бы наш самолет посадили на вражеской территории. Было чертовски жалко уничтожать собственные записи.

Перед тем как отплыть в Нью-Йорк и вновь столкнуться с реальностями мирной жизни на родине, Эрнест и Марта, которая тоже возвращалась из Испании, несколько дней развлекались в Париже. Там им однажды представили молодого человека по имени Том Беннет, который пробирался из Республиканской Испании, где он год назад был трижды ранен. Беннет в прошлом был федеральным служащим в Штатах, он поехал в Испанию по собственной воле, желая посмотреть, что он может там сделать, и в начале войны вступил в батальон Линкольна. Он бывал в Европе и раньше, встречал Сомерсета Моэма и лет десять мечтал увидеть Хемингуэя. Он рассказывал, что его сильнее, чем пуля, сразило то обстоятельство, что, когда он попал в госпиталь, один больной сказал ему: «Тебе надо было попасть сюда вчера. Эрнест Хемингуэй был здесь».

Когда они познакомились в Париже в книжной лавке Брентано, Эрнест сказал ему:

— Слушай, парень, тебе надо ехать домой и лечить ноги. Ты без денег?

Том, одетый в поношенную военную форму, молча кивнул головой.

— Держи, — Эрнест сунул ему деньги. — Иди в магазин за углом и купи себе одежду. И жди меня здесь послезавтра в три часа дня. Поедешь домой вместе с нами. У тебя есть где прожить до послезавтра?

Том рассказывал, что впервые за долгое время ощутил человеческую теплоту. Через два дня он явился в назначенное место и уже вспотел от волнения, когда наконец появились Эрнест и Марта. Эрнест махнул ему рукой:

— Машина ждет. Двигайся. Ты не против того, чтобы плыть в туристском классе? Хорошо. Сможешь каждый день приходиться к нам в каюту.

Том вспоминал, что это плавание домой было сплошным праздником. После всего, что они увидели и узнали на войне, все много пили. Но по мере того как «Нормандия» приближалась к Нью-Йорку, Эрнест становился все более озабоченным, а потом и вовсе помрачнел. К тому моменту, когда «Нормандия» швартовалась в порту, Эрнест был сосредоточен, резок, и его ответы репортерам были весьма сдержанны. Он не сделал никаких предсказаний и постарался как можно скорее удалиться.

Он всегда больше уставал от напряжения, чем от активной деятельности, и сразу же отправился в Ки-Уэст. Он знал, что у него заготовлено несколько хороших рассказов, и чем скорее он их напишет, тем лучше будет себя чувствовать. Но эти соображения не помогали. Эрнест стал угрюмым, его раздирали противоречивые чувства. Полина была так рада иметь его в целостности и сохранности, что в течение какого-то времени, казалось, можно было надеяться, что в семье восстановится мир и согласие.

Эрнест с головой ушел в дела, связанные с постановкой «Пятой колонны». Он сталкивался все с новыми трудностями. Вместо того чтобы расслабиться на Багамах или уединиться в Гаване, где ему обычно удавалось отдохнуть и продуктивно поработать, июнь и июль он провел в Ки-Уэст, чтобы легче было связываться с нужными людьми в Нью-Йорке. В конце июля он вместе с Полиной, Патриком и Грегори отправился в Кук-Сити в Монтане, где он мог пожить вольной жизнью на ранчо и полностью переменить обстановку. Но ему хватило месяца, чтобы разобратся в своих чувствах. В конце августа он опять отплыл в Европу на борту «Нормандии». Он решил вернуться в Испанию.

На некоторое время Эрнест задержался в Париже. Уже после второй поездки в Испанию он начал думать о большой книге, о романе, который он чувствовал и который хотел продумать прежде, чем начать писать. Когда я спустя два года в Гаване спросил его о романе, значительная часть книги была уже написана и Эрнест оказался не прочь поговорить о нем. Он знал тогда, от какого мучительного гнета избавилось его сознание. Этот поиск уводил Эрнеста в малоизвестные уголки Испании и вновь возвращал в Монтану, где он мог почувствовать те места, откуда мог выйти симпатичный молодой идеалист. Теперь он нашел все это и исследовал, он прислушивался к другим персонажам, присматривался к другим местам. Его чувство вкуса не уступало его таланту. Вкус удерживал талант от того, чтобы он растрачивался на малозначительные вещи.

Когда Эрнест вновь оказался в Испании, чтобы в качестве корреспондента освещать ход военных действий, республиканцы уже проигрывали войну. Эрнест не застал самый пик битвы при Эбро, выпавший на влажную августовскую жару, но успел увидеть конец этого сражения. Фронт на Эбро оставался последней надеждой республиканцев. Положение там некоторое время тревожило фашистов, но, когда фронт правительственных войск начал разваливаться, с ним рухнули и надежды республиканцев. В октябре Негрин, премьер-министр Испанской Республи-

ки, пришел к убеждению, что имеющиеся в его распоряжении силы не могут остановить наступление фашистов.

В середине ноября Эрнест и Герберт Мэттьюз побывали вместе с Винсентом Шином на западном берегу Эбро как раз перед тем, как фронт рухнул. В воздухе стоял осенний туман, смещавший перспективу, и Шин спросил у прохожего, где расположен фронт:

— Разве он не там?

— Совершенно не для печати, — отозвался Эрнест, — но вы, Джимми, утратили ориентацию. Фронт проходит вон там. — Им удалось благополучно выбраться. Через несколько дней они оказались среди последних солдат, переправлявшихся через Эбро по мере того, как развивалось наступление фашистов. Эрнест понимал, что война идет к концу, и уехал из Испании, не написав более ни одной корреспонденции. Газетный Синдикат полагал, что события в Испании не вызывают более интереса у американских читателей.

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Я впервые встретил Хемингуэя в Париже в кафе «Де Маго» и спросил его, что он собирается делать в Испании. Он сказал:

— Писать правду — что всякая война — гадость.

На что я сказал:

— Прекрасно, приезжайте.

В Испании он увидел, что происходит в действительности, и стал антифашистом. Он понял, что большинство его тамошних друзей — матадоры, бармены и все другие, кого он знал до войны, сражаются на стороне Республики, против Франко и мятежников.

Хемингуэй любил ездить со мной, потому что мои прямые контакты с генеральным штабом республиканской армии и с Интернациональными бригадами давали мне возможность бывать ближе к линии фронта, чем другим корреспондентам. Мы с Хемингуэем стали хорошими друзьями. Поскольку он был сильный мужик, то он таскал киноаппарат. Он же сочинял сюжет для документального фильма «Испанская земля», который я снимал как режиссер. Позднее в США он написал текст для фильма и читал его для записи на пленку.

ОН БЫЛ С НАМИ В ИСПАНИИ

Недавно, уже после трагической смерти Хемингуэя, Фолкнер сказал, что он был почти так же хорош, как его книги. Трудно выразиться лучше...

Мне посчастливилось познакомиться с Хемингуэем довольно близко. С начала января и до середины мая 1937 года, когда наша XII Интербригада, только что успевшая разрастись под командованием генерала Лукача в 45-ю Интердивизию, была переброшена под Узску, Хемингуэй постоянно приезжал к нам в штаб. Чаще, чем нас, он навещал разве что американских добровольцев из батальона Линкольна, входившего в XV Интербригаду.

Впервые увидев этого большого, с виду несколько неуклюжего, небрежно одетого человека, в старомодных очках на круглом лице, с жесткой щеточкой коротких усов и с наморщенным лбом под измятым беретом, я испытал наивное разочарование, до такой степени Хемингуэй был не похож на самого себя, если считать, что автор хоть немного, но должен походить на своих любимых героев, — а я незадолго перед тем прочитал «Фиесту». В свои тогдашние сорок лет Хемингуэй скорее напоминал потерявшего форму спортсмена или тренера из скаковой конюшни средней руки, при том условии, конечно, что у отставного кавалериста мог быть такой серьезный взгляд.

Но еще больше, чем внешностью, я был поражен поведением Хемингуэя. Оно никак не соответствовало его положению уже в те времена всемирно известного писателя. Ни в скупых его жестах, ни в сдержанном голосе, ни в выражении лица не проявлялось ничего особенного, оригинального, никаких признаков избранности, ни тени значительности. Хемингуэй был обескураживающе обыкновенен, обидно прост — был как все. Больше того, я не помню случая, когда, находясь среди нас, он сделался бы

центром внимания, громко заговорил о происходящем, вступил в литературный спор, безапелляционно высказал свое мнение о театре, живописи или музыке. Не затрагивал он подобных тем, по крайней мере, первый, и в тех случаях, когда через мое посредство объяснялся с Лукачем. Если же кто-нибудь из наших боевых товарищей заводил речь о том, что он тоже с интересом прочитал «Прощай, оружие!» и что это, мол, неплохой антивоенный роман, Хемингуэй смущался, даже краснел сквозь загар и старался переменить тему разговора. При этом у него был такой вид, словно ему стыдно, что при его физической силе приходится вот заниматься каким-то несолидным, немужским делом — писать книжки, вместо того чтобы корчевать пни или объезжать диких коней.

Но в обыденной наружности Хемингуэя была одна необыденная черта: его улыбка. Улыбался он сравнительно редко, зато, когда улыбался, казалось, распахивался изнутри, и тогда выяснялось, что он весь преисполнен веселья. Так, как улыбался Хемингуэй, улыбаются только здоровые счастливые дети. Однажды всегда мрачный, вечно всем недовольный боец охраны штаба Гурский, польский шахтер из-под Лилля, рослый, под стать Хемингуэю, увидев его, спросил: «Кто тен товажш ешь?» Я ответил. Гурский медленно перевел на меня тяжелый взгляд и сказал, что про такого писателя он никогда не слыхивал и не знает, хороший ли то писатель, а вот что хороший человек — знает: плохой человек так не улыбается.

Дорогу к нам в штаб, помещавшийся тогда в особняке мадридского предместья Фуэнкарраль, открыл Хемингуэю наш самый частый гость — Михаил Кольцов. Произошло это вскоре после окончания удачной новогодней операции, проведенной нами в горах, очень далеко отсюда. Явился Кольцов, как всегда неожиданно, но совершенно кстати: к утреннему кофе. Мы услышали остановившуюся возле штаба автомашину, в ту же секунду отворилась входная дверь и быстрой подпрыгивающей походкой вошел Кольцов. За ним, согнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, шагнул незнакомец в защитного цвета шерстяных брюках и блузе; разница в росте была такова, что становилось страшно, как бы он не наступил на Кольцова.

— Вот вам еще один писатель в Испании, — проговорил Кольцов. — Знакомьтесь: Хемингуэй. Хороши, нечего сказать, конквистадоры, — продолжал он без паузы. — В то время, пока вы там завоевывали какие-то аулы, фашисты, не будь дураки, прорвались здесь, поближе к делу...

Замечание выглядело, в общем, справедливым, но никто из нас не принял его близко к сердцу, поскольку, не-

взирая на обращение, оно явно было направлено в адрес командования фронтом.

Лукач, не только давно хорошо знавший и любивший Кольцова, но и всегда подчеркнуто выражавший свое к нему уважение, очень обрадовался и Хемингуэю, как, впрочем, всегда радовался знакомству с любым писателем, независимо от степени его талантливости или известности.

Начав печататься с восемнадцати лет, Лукач тем не менее был начисто лишен писательской зависти или ревности. Наоборот, он представлял собой идеальный тип читателя: с равным удовольствием он читал всех, всеми восхищался, будто и мысли не допускал, что существуют плохие писатели, резкий отзыв о ком-нибудь причинял ему боль, он с заранее готовой нежностью относился ко всякому человеку, посвятившему себя литературе. Но я сразу заметил в его отношении к Хемингуэю повышенную даже для Лукача приветливость. Лишь через несколько лет, прочитав «Доберто», я понял, как Хемингуэй должен был импонировать автору этого романа. Несмотря на то что они не могли побеседовать по душам (Лукач, за исключением венгерского, знал немецкий и русский языки, а Хемингуэй, кроме английского, — итальянск , испанский и французск), между ними сразу возник нек душевный контакт, что-то в них обоих было склеено из одного теста. Что касается Лукача, то из всех романов о мировой войне он выделял «Прощай, оружие!», противопоставляя его роману Ремарка.

— У того не сострадание, а страх, — говаривал он. — Страх хотя и вполне естественное человеческое чувство, но не самое красивое... А вам Хемингуэй нравится? — в который раз спрашивал он меня. — И мне тоже. Очень. Скромный какой, краснеет, как девушка. Ведь огромный же талант, а смотрите, бросил все и сидит здесь, вместе с нами, жизнью рискует. Боюсь я, знаете, за него... Вот кто об Испании напишет! Все ахнут, увидите!..

Приятно было наблюдать их вдвоем. Лукач обращался с Хемингуэем с какой-то осторожной ласковостью, словно с выздоравливающим после ранения (Хемингуэй, собственно, и можно было считать таковым: еще в юности на итальянском фронте он в один присест получил 217 осколков австрийской мины) или будто Хемингуэй — огромная фарфоровая ваза, которую при неловком движении легко разбить. Лукач брал его за локоть, усаживал на стул, собственноручно накладывал ему на тарелку того, что находил повкуснее, сам наливал стакан — одним словом, всячески нянчился с ним. Хемингуэй в свою очередь

смотрел на Лукача с откровенным удовольствием и еще с каким-то настойчивым любопытством — должно быть, Лукач удивлял его своей законченностью, своей цельностью. О том, как Хемингуэй к нему относился, свидетельствует написанный в 1938 году сценарий фильма «Испанская земля», вернее, его лирическое послесловие, то место, где Хемингуэй говорит, что теперь не придает смерти никакого значения, только ненавидит ее за людей, которых она уносит, и прибавляет типично по-хемингуэевски: «И думается: плохо организована смерть на войне, — вот и все. Но хотелось бы поделиться этой мыслью с Хейльбрунном, он, наверное, посмеялся бы, или с Лукачем — он-то понял бы ее отлично».

Очень хорошо запомнился мне и устроенный нашим главным врачом первомайский вечер в Моралехе, о котором так тепло рассказывает Хемингуэй. Я помню, что Лукач как старший гость сидел за огромным столом на председательском месте, а Хейльбрунн в качестве хозяина — на противоположном конце. Хемингуэя поместили по правую руку от Лукача. Я устроился между ними и, словно это было вчера, вижу, с какой восхищенной завистью Хемингуэй смотрел на Лукача, выбивавшего пальцами на карандаше, приставленном к зубам, «Яблочко» и «Буденновский марш», звук, в самом деле, «ясный и нежный, походил на звук флейты». Давно уже нет в живых убитых под Уэской и Лукача и Хейльбрунна, а теперь не стало и Хемингуэя.

Если мне не изменяет память, Хемингуэй в последний раз видел Лукача именно в Моралехе, не потому ли он и описал этот вечер? Мне сейчас гораздо явственнее представляется другой вечер, тот, на котором Хемингуэй да и все мы впервые услышали, как Лукач играет на карандаше.

Хотя Кольцов и обозвал нас «конквистадорами», мы вечером того же дня, когда он привез к нам Хемингуэя, собирались торжественно отпраздновать свою победу, а заодно, с недельным опозданием, встретить Новый, 1937 год, и ничьи, даже кольцовские, насмешки не могли нас в этом намерении поколебать. Правда, пока три наших батальона наступали к северу от Гвадалахары, враг, еще в ноябре занявший западные окраины Мадрида, обрадовавшись такому использованию нашим командованием единственных своих резервов, несколько суток ожесточенно и небезуспешно атаковал столицу с северо-запада. Несмотря на это и даже на понесенные нами горькие потери, мы все же продолжали чувствовать себя именинниками: вражеское наступление быстро захлебнулось, а наша победа как-никак была первой победой молодой республиканской армии, и победой настоящей, с отбитыми у фашистов тре-

мя населенными пунктами, с трофеями и пленными. Особенно прославился Паччарди, командир итальянского батальона имени Гарибальди. Гарибальдийцы не только взяли больше всех пленных и оружия, но еще и штабные документы.

Неудивительно, что на наше празднество съехалось множество людей. Приехал и Хемингуэй вместе с такой же высокой, как он, стройной, красивой и надменной американской журналисткой (ее недоброжелательный портрет можно узнать в героине «Пятой колонны»). На этом вечере Хемингуэй и познакомился с героем дня — нашим Рандольфо Паччарди. А недавно, читая «За рекой, в тени деревьев», я рассмеялся — с таким упорством главный герой романа Хемингуэя расправляется с «досточтимым Паччарди». Да, это тот самый республиканец-антифашист Паччарди, бывший наш товарищ по испанской войне. Хемингуэй издевается над ним с таким упорством потому, что не может понять, каким образом человек, которого он знал в Испании командиром батальона Гарибальди, согласился занять пост военного министра, стать лакеем тех самых генералов-бизнесменов, к каким и герой Хемингуэя и он сам относятся с отвращением.

Раз навсегда произнеся свое «Прощай, оружие!», Хемингуэй как писатель, для которого слово было делом, как настоящий мужчина, отвечающий за свои слова, и в Испании оставался безоружным. Впрочем, очень может быть, что, кроме верности слову, в том был и расчет: нацепив на пояс хотя бы дамский пистолет, он терял право претендовать на беспристрастность, а он приехал в Испанию, как он сам говорил, в качестве беспристрастного военного корреспондента. Известно, однако, что этот беспристрастный корреспондент перед отъездом из Америки набрал всюду, где только мог, авансов под свои будущие статьи и рассказы и, собрав сорок тысяч долларов, приобрел на них в дар Республиканской Испании санитарные машины и медикаменты. Роль Хемингуэя как корреспондента заключалась не столько в том, вернее, не только в том, что он был первым американским журналистом, телеграфировавшим правду об Испании, но и в том, что правда, которую он сообщал, мешала остальным американским журналистам передавать неправду.

Несмотря на то, что Хемингуэй был безоружен, все мы не раз видели его и под пулями, и под артиллерийским огнем, и под бомбежкой. Все мы при этом были свидетелями хладнокровия, с каким он выполнял то, что считал своим долгом. В Мадриде он немедленно присоединился к голландскому кинорежиссеру-коммунисту Йорису Ивен-

су, начавшему снимать документальный фильм об испанской войне, и не следует думать, что участие Хемингуэя в этом фильме ограничилось написанием сценария «Испанская земля». Нет, вместе с Йорисом Ивенсом и оператором Джоном Ферно он делал все. Вместе с ними производил съемки под обстрелом, вместе с ними ползал на животе, подгаскивая запасной материал, и когда в «Послесловии» он пишет: «Оттого что в молодости пришлось повидать войну, ты знал, что Ивенс и Ферно будут убиты, если они и дальше будут так рисковать», то это в равной степени относилось и к нему самому. Свою «Пятую колонну» он писал в мадридском отеле «Флорида», в который за это время попало до тридцати снарядов фашистской дальнобойной артиллерии. Друзья неоднократно уговаривали Хемингуэя перебраться в другое, менее шумное место, но он упрямо отказывался, ссылаясь на то, что раньше, приезжая в Мадрид, всегда останавливался только во «Флориде», и, если теперь из нее переедет, получится, будто Франко выбил его с этой позиции и тем самым как бы немножко взял Мадрид.

В последний раз я встретился с Хемингуэем в Валенсии, на улице, совершенно случайно. Стояла невыносимая июньская жара. Прошла всего неделя, как похоронили Лукача, и мы с Хемингуэем, обменявшись долгим рукопожатием, некоторое время простояли на солнцепеке молча. Потом Хемингуэй сказал, что уезжает из Испании и не знает, когда вернется и вернется ли вообще. Мне стало грустно, и мы опять помолчали. Ковырнув носком солдатского ботинка тротуар, Хемингуэй пригласил меня, когда война кончится, приехать к нему в Америку погостить; насколько помню, он жил тогда во Флориде (может быть, он и за мадридскую «Флориду» держался так оттого, что она напоминала ему о родине?). Я ответил, что вряд ли мне это удастся, но на всякий случай спросил адрес. Хемингуэй вытащил из нагрудного кармана спортивной куртки чековую книжку, вырвал чек, заполнил его на предъявителя, оставив мне возможность проставить любую сумму, расчеркнулся, на оборотной стороне записал адрес и сунул чек в карман моего френча. Мы обнялись. Больше я никогда его не видал.

Два года назад, впервые после Испании встретившись с Ивенсом, я почти сразу спросил его, как поживает Хемингуэй. Это происходило еще до поездки А. И. Микояна на Кубу, и о Хемингуэе у нас тогда толком ничего не было известно. Ивенс ответил, что не виделся с Хемингуэем с 1952 года, но что тот в порядке, сильно, правда, постарел, но душой остался таким же, каким был прежде.

— Я считаю, знаешь ли, очень важным и радуюсь, что он никогда не выступал против нас,— сказал Ивенс.

— В то время как удобная возможность представлялась неоднократно,— вмешался присутствовавший при этом разговоре незнакомый мне французский корреспондент...

В последний свой приезд в Москву, вскоре после смерти Хемингуэя, Ивенс поделился с группой московских журналистов неизвестными подробностями своей совместной с Хемингуэем работы над фильмом «Испанская земля».

Хотя «Испанская земля», напечатанная во втором томе «Избранных произведений», называется сценарием, это вовсе не сценарий, а текст, написанный к уже смонтированному фильму. Но когда Хемингуэй представил свой текст, Ивенс пришел в ужас: слов было слишком много. Ивенс с юмором рассказывал, как ему пришлось взяться за красный карандаш и начать с содроганием «резать» Хемингуэя. Он сократил его текст ровно наполовину. Хемингуэй сначала рассвирепел:

— Что ты наделал, проклятый голландец! — завопил он. Но потом, увидев, что так в самом деле лучше, согласился.

Для чтения хемингуэевского текста Ивенс пригласил знаменитого тогда голливудского актера. Но его голос и бродвейские интонации «не звучали» в этом фильме. Тогда Хемингуэй, чтобы объяснить, как следует произносить текст, прочитал его сам. И тут все услышали, что мужественный голос Хемингуэя нераздельно сливается с боевым содержанием картины. И его голос был записан на ленту.

Сейчас, когда я читаю, как хемингуэевский полковник Кантуэлл поносит генерала Франко, я вижу, что и в своем отношении к фашизму, и в своем отношении к войне, и в своем отношении к людям Хемингуэй до последних дней своих не изменился. И, вспомнив, что сказал над его гробом Фолкнер, я как один из тех, кому привелось встречаться с Хемингуэем во время испанской гражданской войны, хотел бы подтвердить: да, Хемингуэй был действительно на редкость хорош, настолько хорош, что его человеческие достоинства были заметны и под осажденным Мадридом, а там, под Мадридом, чего-чего, но хороших людей хватало.

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Я познакомился с ним так: в 1937 году, после того как завершились операции на Мадридском фронте, нас отвели в район западнее столицы для пополнения. Поскольку мы находились в боях непрерывно с ноября 36-го года и участвовали в сражениях при Каса-дель-Кампо, Эль Пардо, Лас-Росас и Вильянуэва-дель-Пардильо, мы потеряли много людей. Всю тяжесть этих боев вынесла на себе XII Интернациональная бригада. В последние дни декабря мы успешно провели быстрое наступление на Бриуэгу. Оставили там части IV корпуса и вернулись в Мадрид. Однако после боев под Мадридом и у Лас-Росас бригада находилась в плачевном состоянии, так как из строя вышло много людей и оружия. В небольшом городке Мората-де-Тахунья, к востоку от Мадрида, мы получили пополнение. Здесь расположился один наш батальон, а второй был расквартирован в Пералесе. Словом, наши части были рассредоточены, поскольку для отдыха бригады никогда не отводилось какое-то одно место. И вот как-то после обеда пришел к нам немец Вернер Хейльбрунн, начальник медицинской службы бригады, и говорит мне:

— Вы одеты лучше других офицеров, так что поезжайте в Мадрид и привезите сюда одну американскую журналистку, которая изъявила желание провести у нас несколько дней и написать репортаж. В Мадриде, в отеле «Флорида», вас будет ждать моя жена Матильда.

И в самом деле, когда я туда приехал, там уже была жена Вернера вместе с американкой Мартой Гельхорн, будущей женой Эрнесто. Мы сели в машину и поехали обратно. В Мората мы разместились в госпитале. Вообще госпиталь XII бригады скорее напоминал гостиницу для туристов.

В то время Эрнесто был влюблен в Марту. Сам он чуть раньше уехал на южный фронт под Гетафу, в те ме-

ста. Когда он вернулся в отель и не застал там Марту, то начал расспрашивать, где, мол, Марта. «За ней приехали из XII бригады, и она сейчас там», — ответили ему. На следующий день он прибыл в XII бригаду. Марта оставалась у нас несколько дней, и Хемингуэй сопровождал ее. Похоже, что XII бригада ему понравилась, потому что стала местом их последующих встреч. Большую часть времени он жил вместе с нами и отсюда уезжал по заданиям в другие части.

В течение долгого времени он был нашим гостем. Ну а впервые он побывал у нас в начале 37-го года, когда мы стояли в Мората-де-Тахунье. Позже Хемингуэй был с нами во время наступления на Хараму, почти месяц. Потом он был на других фронтах, пока мы проводили операцию против итальянцев под Гвадалахарой. Там его не было. Когда он понял, что это очень важное наступление, он сразу же присоединился к нам и появился как раз в последний момент, когда мы только что свернули наш госпиталь во дворец... Приехав туда и не застав нас, он сделал несколько фотографий дворца, которые хранятся у него дома, на Финке Вихии.

Поэтому ему пришлось отправиться вслед за нами в Моралеху, куда нас отвели на отдых. Там мы играли в футбол. Потом Эрнесто снова уехал. От Арагона мы направились к Уэске и провели там операцию, ту самую, перед которой убили генерала Лукача. По возвращении в Мадрид мы встретились еще раз. И снова Хемингуэй не покидал позиций бригады. Затем наши пути разошлись надолго, потому что бригаду преобразовали в дивизию и мы отправились на фронт... Мы не виделись несколько месяцев и встретились, когда началось наступление и был взят Теруэль. Эрнесто всегда появлялся там, где проводились самые важные операции. Так что мы снова были вместе, но только несколько дней, потому что он опять уехал на другой фронт, и мы потеряли друг друга. Снова мы встретились уже после того, как я приехал на Кубу.

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно было согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, про бой быков, может быть, это вам поможет разобраться...» Я прочитал, раздобыл «Прощай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидев рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил

со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?» — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!» — «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas» — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленные фразы»...» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горячее...»

Многие тогда удивлялись: а что действительно Хемингуэй делает в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гранвиа в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все время была фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо...» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги. А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помолодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хорошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разбирался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии, красные, похожие на крупную клубнику, усмехался: «Побросали все... Узнаю...»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя, — изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость», — вздыхая, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал: — Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов...» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы... Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море...»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй выгнул из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется, — говорил он, — никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода —

описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан, Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский...»

...Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флоридь» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый...

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает. В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов — точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и мечтал о лишнем рогаликке. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. А там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сендрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл... Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера воз-

ле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент... Мы говорили Бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большого дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился,— нужно отогнать их от Мадрида. Это — как дважды два...» — И, помолчав, Хемингуэй добавил: — Видишь, как получается,— хотел распрощаться с оружием, а не вышло...»

Он писал тогда: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился мне еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело...»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль?» — спросил он. — Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо... Но говорят, что фашисты подтягивают резервь». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со мной» — и начал выгаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

...Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу; с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся...

ИЗ КНИГИ «НО ПАСАРАНЬ»

Несколько строк из моей корреспонденции в «Известиях», отправленной в дни, когда фашистские войска предприняли большое наступление на берегах Харамы, имевшее целью отрезать Мадрид от Валенсии: «В эти дни на передовых линиях борьбы за Валенсийскую дорогу я несколько раз встречал человека, неуклюже шагавшего по окопам. Он пробирался на самый передний край, присаживался к бойцам Интербригады, беседовал с ними. Это — известный американский писатель Эрнест Хемингуэй, он вместе с голландским кинооператором Йорисом Ивенсом снимает фильм о борьбе испанского народа...»

Был тяжелый день. Бои шли в районе Марата де Тахунья, где фашисты наступали большими силами, гоня в атаки массы марокканцев. На самом трудном участке оборону держала 12-я Интернациональная бригада. В бой были введены советские танки.

Утром Ивенс на лету познакомил меня с Хемингуэем, а в течение дня я дважды видел их издали — Хемингуэя, Ивенса и оператора Джона Ферно, они шагали с камерой по окопам, взбирались на холмы, отлеживались, прижавшись к земле во время артиллерийских налетов. Цель у них, как и у меня, была одна — снять боевые кадры. Очевидно, описывая один из тех дней, когда мы встретились на Хараме, Хемингуэй писал в своей фронтальной корреспонденции:

«...Это вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдал так близко. Первая проходила в серых с оливковыми деревьями изрытых холмах в секторе Марата де Тахунья, куда я направился с Йорисом Ивенсом снимать пехоту и наступающие танки в момент, когда они, точно наземные корабли, взбирались со скрежетом по крутому склону и вступали в бой.

Резкий, холодный ветер гнал поднятую снарядами пыль в нос, в рот и в глаза, и, когда я плюхался на землю при близком разрыве и лежал, слушая, как поют осколки, разлетаясь по каменистому нагорью, рот у меня был полон земли. Ваш корреспондент известен тем, что всегда не прочь выпить, но никогда еще меня так не мучила жажда, как в этой атаке. Хотелось, правда, воды».

Мы встретились пополудни около НП 12-й Интербригады. Утомленные многочасовой ходьбой по окопам, лазаньем по каменистым склонам холмов, присели, отдышались. Было ясно — трудовой день окончен, бой стихал. Штаб 12-й даже в боевой обстановке был гостеприимным домом. Мате Залка, высунувшись из блиндажа, взглянул в нашу сторону и сказал:

— Потерпите немного, по договоренности с фашистами наступает обеденный перерыв, скоро нам принесут чего-нибудь поесть.

Хемингуэй, вздохнув, полез в задний карман своих пижонных штанов, извлек объемистую флягу.

— Пока генерал Лукач нас кормит обещаниями, давайте-ка выпьем, ребята. — Отвинтив закрывающий горловину фляги алюминиевый стаканчик, он, держа его на уровне глаз, налил коньяку. Пили по очереди, Хемингуэй выпил последним. Завинчивая флягу, сказал:

— Мы выпили за русских танкистов. Они сегодня хорошо проутюжили окопы марокканцев у той оливковой рощи.

Хемингуэй был одет в легкий светлый плащ, вымазанный в окопной глине. Под плащом — свитер и мешковатый пиджак. Грубые, на толстой подошве башмаки. На голове черный баскский берет. Под черными дугами бровей — очки в круглой железной оправе. Черные, большие, чуть свисающие к углам рта усы.

Пробежавшему мимо адъютанту Лукача Леше Эйсне-ру я сунул в руки «лейку», он щелкнул нас — Ивенса, Хемингуэя и меня, сидящих на земле. На снимке Хемингуэй смотрит в аппарат с внимательным прищуром едва заметной улыбки. Снимок сохранился, он очень мне дорог.

Жил Хемингуэй в Мадриде в отеле «Флорида». Раньше там жили и мы с Кольцовым, до того, как переехали в «Палас-отель». Несколько вечеров я провел у Хемингуэя. Обычно комната его была забита людьми, большинство которых были одеты в военную форму Интербригад, — грубую суконную куртку, такие же шаровары, заправленные в высокие ботинки на толстой подошве, с огромными пистолетами на поясе. У двери всегда стояли прислоненные к стене две-три винтовки. Хозяин встречал входивших приветливым «кэлло», кивал на стол, уставленный бутыл-

ками, вскрытыми консервами, апельсинами, лежавшими прямо гроздью вместе с веткой. Звучала речь — английская, испанская, кто-то болтал по-французски, по-немецки. Окна были зашгорены, комната утопала в сизом тумане табачного дыма. Помню, в один из вечеров на кровати полулежала одетая в военную форму очень красивая молодая женщина, рассыпав на подушке золотую гриву пышных волос. Ее ботинки были вымазаны глиной, говорила она на немецком языке, пересыпая речь испанскими словами, пила неразбавленное виски. Кто-то сказал мне, что она врач одной из Интербригад, немка. Хозяин дома подсаживался к ней, подолгу беседовал.

Когда духота и облака табачного дыма становились невыносимыми, в комнате выключали свет, распахивали окно, тогда становились слышны шумы боя — ружейная трескотня и короткие пулеметные очереди. До передовой отсюда, от улицы Гран-виа, было рукой подать, линия фронта проходила в Университетском городке, в парке Каса-дель-Кампо, на реке Мансанарес, все это было рядом. На расстоянии квартала от «Флоридь» на Паласа де Республика, опоясанной каменными баррикадами Дон Кихот, сидящий верхом на Россинанте, был обложен мешками с песком.

Когда спустя много лет вспоминаю эти вечера, встречи на разных участках фронта, охватывает чувство горечи — почему не записал в блокнот слова Хемингуэя, его шутку, гневную реплику, не запомнил, кто был его гостями? Почему не было тогда ощущения, что встречи с этим человеком, с простым собеседником, радушным хозяином номера «Флоридь», станут бесценным воспоминанием? И никто не ловил каждое сказанное им слово — балагурили, обменивались репликами, отпускали крепкие слова в адрес фашистов или просто молча сидели рядом с человеком в железных очках, немного возбужденным от выпитого, громко смеявшимся, умеющим слушать, не перебивая собеседника, пытливого, вдруг погружавшегося в раздумье.

Он расспрашивал меня о съемках, был увлечен работой по созданию фильма «Испанская земля», тепло говорил об Ивенсе.

Как-то я спросил его, не собирается ли он приехать в Советский Союз, он сказал, что мечтает об этом. И с улыбкой добавил, что ему рассказывали, что в нашей стране есть места, где великолепно ловится форель.

Встречались редко. Бывало, приедешь куда-то, говорят, что только что здесь был Хемингуэй. Мы, к примеру, ни разу не столкнулись с ним на Гвадалахаре, где был

разгромлен итальянский экспедиционный корпус, а рыскали одними и теми же путями. В деревне Бриузга, откуда выбили итальянских фашистов, я снимал, как бойцы Листера соскабливали со стен лозунги «Вива Муссолини!», а спустя час Людвиг Ренн, которого я встретил на дороге, спросил: «Ты не видел Хемингуэя, он поехал в Бриузгу». Первого мая командир 14-й Интербригады Сверчевский-Вальтер закатил роскошный праздничный ужин, был туда приглашен и Хемингуэй. Я провел вечер у Сверчевского, а Хемингуэй в этот вечер был в штабе 12-й в Моралехе, его не отпустил из-за праздничного стола Мате Залка. Наутро я вылетел в окруженный фашистами Бильбао, там я узнал о гибели Мате Залки. Это тяжелое известие дошло до Хемингуэя шестнадцатого мая в Бимини.

ИЗ КНИГИ «СТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТА»

Анализ того, что именно позвало каждого из тех, кто приехал в Испанию из Нового и Старого Света, из поработанных стран, из приютов для беженцев, из коммунистических ячеек и университетов, из шахт и контор, занял бы слишком много времени. Интернационалисты написали бы еще одну, очередную книгу, — и многие книги уже действительно написаны, — среди них такие знаменитые, как «По ком звонит колокол» Хемингуэя или «Люди в бою» Альвы Бесси. Но этот рассказ в основном мой собственный, хотя многие мои убеждения сложились под влиянием бойцов иностранных бригад — прекраснейших людей, каких я когда-либо знал или мог надеяться узнать в своей жизни.

Они были первыми, кто научил меня, что в нашей жизни и в нашем веке главное — это борьба с фашизмом, в какой бы форме он ни выражался и где бы он ни появлялся. Они боролись, ибо были убеждены, что если победит фашизм, то в этом мире не стоит жить, и, пока я жив, я тоже буду сражаться с ним. Пройдет время, и мне захочется разобраться во всем этом получше, потому что сейчас мои убеждения все более выкристаллизовываются в форму ненависти к тоталитаризму во всех его формах, ну, а в те годы главным врагом был фашизм, и здесь именно на этом мы и остановимся.<...>

Гвадалахара стала первым поражением фашизма, потом были и другие успехи, но именно тогда мир увидел, что с фашизмом можно сражаться и его можно победить. И напрасно Муссолини назвал это сражение победой, хвастаясь тем, что Италия выиграла его для Франко, и демонстрируя силу и численность своих частей. Маска была сорвана именно под Гвадалахарой.

Стратегически для мятежников изменился весь ход войны. Их надежды захватить Мадрид пришлось временно отложить. По предложению немцев решено было сначала прочесать северные провинции. Они были отрезаны и оставлены без помощи с малочисленными и плохо экипированными войсками и скудным продовольствием, и исход не оставлял сомнений. Все мы знали, что Муссолини не сможет переварить такое оскорбление, нанесенное его гордости и итальянскому престижу. Мы понимали, что он попытается взять реванш либо прогорит дотла в Испании. Генерал Миаха с его врожденной мудростью предостерегал нас от чрезмерных восторгов. Я помню, мне потом говорили, что я и все остальные, кто рекламировал перед восхищенным миром унижительное поражение итальянцев, на самом деле оказали республиканскому правительству медвежью услугу, потому что после этого Муссолини ничего не оставалось, как доказать свою силу. Но это все лишь обычное заблуждение, будто хроникер творит историю.

В марте, во время событий в Гвадалахаре, я поселился в отеле «Флорида», где собралась группа блестящих журналистов, следовавших за наступлением правительственных войск на Каса-дель-Кампо. Были там Эрнест Хемингуэй, Сефтон Делмер из лондонского «Дейли экспресс», Генри Бакли из «Дейли телеграф», Марта Гельхорн из «Кольера», Вирджиния Каули, Джон Дос Пассос. Мы наблюдали за битвой из разбитого многоквартирного дома на Пасео-де-Росалес, который Хемингуэй окрестил «Старое поселение». Это было первым, но далеко не последним событием, которое мы с ним вместе освещали в печати.

Мадрид, в ряду многих других счастливых воспоминаний, связан для меня и с этим — воспоминанием о великом времени, проведенном с человеком, который служил для меня в этом довольно мрачном мире воплощением тех ценностей, какими являются храбрость, добро и справедливость. Эрнест Хемингуэй — человек большого и подетски непосредственного сердца, может быть, немножко сумасшедший, и как хотелось бы, чтобы в мире было больше таких, как он, но это невозможно. Он, и Марта Гельхорн (впоследствии миссис Хемингуэй), и я, и долгие поездки, и холодные ночи на фронте, и еда, на скорую руку приготовленная в номере «Флоридь» под грохот рвущихся в отель и вокруг него немецких снарядов, и «Мазурка» Шопена на граммофоне, — таким было это прекрасное время.

Но один день выделяется из всех — день, когда Эрнест и я и еще Сефтон Делмер брали Теруэль. Всю осень 1937

года в Мадриде мы жили в ожидании того главного наступления мятежников, которое, согласно Франко и его сторонников, должно было привести к концу войны. Вместо этого 15 декабря правительство первым начало наступление, и оно стало самым удивительным и благотворным успехом в ходе войны. Теруэль, расположенный высоко на краю хребта Универсаль, был самым укрепленным городом мятежников, местом, из которого, по предсказаниям всех экспертов по географическим картам, Франко двинется вниз на Валенсию.

Нам не верилось, что это было главным наступлением, поэтому необходимо было увидеть его, и 17 декабря Хемингуэй, Делмер и я отправились в Валенсию. Ранним утром 18-го мы были в штаб-квартире командующего армией Леванта полковника Эрнандеса Сарабья, действовавшего под командой начальника Генерального штаба генерала Винсента Рохо. В последовавшие несколько месяцев мне предстояло не раз быть в этой штаб-квартире, но она никогда не потеряла для меня своих романтических и живописных впечатлений. Железная дорога на Валенсию проходит на отрезке пути до Теруэля через множество тоннелей, и в одном из них, сразу за станцией Моррадель-Рубьелос, республиканское командование поставило свой поезд. Из одного конца тоннеля высовывался паровоз, из другого — вагон или два, но остальной состав был так уютно и безопасно укрыт от бомбежки, как никакое другое место в Испании. Одним из незабываемых впечатлений от того наступления было очутиться в ледящего уличного холода в жарко натопленном пульмановском вагоне. Когда мы поднимались к поезду в то первое морозное утро, мы увидели несколько солдат, сидевших вокруг котла и гревшихся на нем апельсины: это и был наш завтрак.

Солдаты сказали, что Сарабья где-то на наблюдательном пункте, и мы в конце концов разыскали его на самой вершине горы, обозревавшим поле сражения. Ничто не произвело на меня такого сильного впечатления за всю эту кампанию, как неописуемо ужасная погода во время сражения, и я уверен, что для военных историков она явится предметом обого исследования. Более всего угнетал резкий ветер. Невозможно было спастись от его ледяных порывов, с пронзительным воем налетавших с севера и проникавших через любую одежду. Он так резал глаза, что они постоянно слезились; пальцы опухали и немели; ноги коченели до полной потери чувствительности. Перехватывало дыхание, трудно было устоять на месте и вести наблюдение в бинокль, ибо ветер, словно чемпион по бок-

су, бил и выколачивал душу. От прикосновения бинокля к лицу кидало в дрожь, словно к глазам прижимались два куска льда. Этот ветер, с ревом несущийся вниз со скоростью 50 миль в час, дул в течение всех четырех долгих дней битвы, два дня при этом валил густой снег, и все под ногами превращалось в лед. И все это время, день за днем, правительственные войска упорно продвигались с боями вперед, а самолеты снова и снова поднимались в воздух на бомбардировку позиций мятежников. Всего хватало в Теруэле — и плохого и хорошего, но более всего он был триумфом человеческой стойкости и современной авиации в невообразимо суровых условиях.

Сарабья, бывший военный министр Республики, один из немногих действительно лояльных офицеров старой армии, был неизменно воплощением вежливости и дружелюбности. С этой точки зрения это был превосходный военный в правительственной Испании. Внизу, в своем теплом блиндаже, полковник показал нам по своим картам, как развивались события с того момента, когда 15 числа в 7 часов 10 минут войска начали продвижение вперед.

Толпы ополченцев, охваченных в той или иной степени энтузиазмом, плохо экипированные, несоординированные, были наконец сколочены в армию, костяк которой составляли не добровольцы, а призывники. Катастрофическая нехватка офицерского и сержантского состава частично восполнялась офицерами из подготовительных офицерских школ. Боевая техника, закупленная в каких только можно странах мира, включая Италию и Германию, и поставляемая по завышенным ценам (за исключением России, назначившей нормальные цены), пополнялась значительными поставками испанской промышленности. Иностранная помощь уже не играла исключительной роли, и армия, которая захватила Теруэль, была на 100 процентов испанской.

Четыре армейских корпуса в полном составе — 90 тыс. человек и боевая техника — были сформированы в строгой тайне и брошены в бой. При этом мятежники не проявили никаких признаков того, что догадывались о происходившем. Гарнизон в Теруэле не был ни усилен, ни предупрежден, и Энрике Листер на правом фланге повторил свой искусный маневр, примененный им в летнем наступлении при Брунете, и к 10 утра пошел на штурм Конкуда, рядом с основной дорогой за Теруэлем. Одновременно анархистская дивизия продвинулась вверх на крайний левый фланг, чтобы захватить Кампилло, перекрыв тем самым последний выход из Теруэля.

В тот день снег начал падать в 9 часов утра, и на сле-

дующий день погода стала настолько ужасной, что люди умирали от холода в ожидании приказа о наступлении, а число обмороженных перевалило за тысячи. Листер продолжал укреплять свои позиции; левое крыло медленно поднималось наверх, завершая окружение Теруэля сзади, и две колонны с юго-запада и с северо-запада с боями постепенно продвигались вперед, сдерживаемые не столько войсками мятежников, сколько погодными условиями. 17 числа снежная буря оборвала связь с Листером, и правительство в отчаянии разработало план проложить «линию жизни» вниз от Монтальбана на север. Но на следующий день погода прояснилась, и правоцентральные части прорвались вперед и соединились с Листером на 179 километре Сарагосского шоссе.

Пока мы находились в блиндаже Сарабьи, Листер отбивал пятую контратаку, ибо, как всегда, он занимал решающую позицию. Когда мы уже собрались покинуть блиндаж, в него вошли Негрин и Прието — оба очень довольные, особенно Прието, который многое поставил на это наступление: на него, как на министра национальной обороны, была возложена вся тяжесть подготовки и принятия решений. Со стороны правительства это было одним из непонятных и неудачных актов. Оно не назначило главнокомандующего — ни Наполеона, ни — Англия есть Англия — Веллингтона. Офицеры старой армии были явно не на высоте, новой — не имели достаточного опыта, и те и другие не доверяли друг другу. В итоге военную судьбу Второй Испанской Республики отдали на откуп велеречивому социалисту-политикану, который в глаза не видел даже учебника по военному делу и не особенно верил в победу. Он уже успел своим антикоммунизмом ослабить моральный дух армии, и теперь ему и начальнику его штаба, этой простой душе — Винсенту Рохо, — оставалось только растерять плоды теруэльской победы из-за полного неумения действовать смело и решительно.

Однако в полдень 18 декабря мы еще не знали этого. Военные цели были ясны: предупредить запланированное мятежниками наступление обходным маневром и заставить Франко начать большое контр наступление на местности, выбранной правительством. Первый шаг к этому — взятие Теруэля, и операция проходила прекрасно. Мы кинулись в Валенсию, чтобы с курьером передать новости в Мадрид, и на рассвете 21-го уже снова были в железнодорожном поезде в тоннеле. Этому дню суждено было стать величайшим днем войны для республиканской армии и, по случайному стечению обстоятельств, одним из величайших дней в моей жизни. К нам троим (Хемин-

гуэй, Делмер и я) присоединился Мэтью Корман, одержимый корреспондент-бельгиец, и всем нам выпала редкая удача вместе с войсками передовой линии фронта участвовать в победоносном штурме огромного города. На этот раз прорваться через шоссе Сагунту и взять Теруэль предстояло центральной войсковой колонне.

После нашего предыдущего посещения перевал Пуэрто Эскандон в районе шоссе был взят, и хорошо укрепленные позиции в Панчо Вилья над ним обошли с флангов так стремительно, что мятежникам пришлось отступить, чтобы не оказаться отрезанными. Теперь оставалось захватить возвышающуюся громаду горы Мансуэто с ее массивными железобетонными укреплениями и протянувшуюся на четыре мили холмистую местность по обе стороны от дороги. Корман, который дал нам понять, что он так или иначе руководил сражением, сказал, что отвезет нас в нужное место и к нужным людям, поэтому мы посадили его на заднее сиденье в машину и тронулись по Сагунтской дороге.

Впереди нас растянулись войска и бронемашины. Никто не знал, где находились передовые позиции, так как это была маневренная битва на открытой местности, но перед самым Пуэрто Эскандона нас обогнал грузовик с солдатами, которых везли к месту атаки, и мы потянулись за ним. В машине сидели юноши, бледные и напряженные, как все солдаты перед боем, но они улыбались, махали нам и кричали: «Увидимся за обедом в Теруэле!»

А мы доехали до 9 километра, где готовился к выступлению батальон. Там нам пришлось оставить машину и пойти вперед пешком; если мы попадем в полосу огня, мятежники не преминут тотчас дать нам знать об этом. Три километра мы прошли без приключений и уже почти уговорили себя, что пройдем так напрямик до Теруэля. Артиллерия правительственных войск непрерывно вела обстрел Мансуэто, которая возвышалась справа от нас и которая, как мы знали, была первым и главным объектом атаки. Казалось, овладеть столь мощной позицией в один день невозможно, и мы наконец оставили надежду попасть в Теруэль. Не слышно было ни ружейной, ни пулеметной стрельбы, из чего мы заключили, что атака еще не началась. И только когда мы дошли до 6 километра, начался последний этап наступления.

Солдаты растянулись цепочкой в траншеях справа от дороги и по гребню горы, который тянулся дальше, поднимаясь все выше и выше, и сворачивал на Мансуэто, расположенную напротив через лощину, по дну которой была проложена железная дорога. В центре этого полукруга на возвышенности, доминирующей над местностью, пря-

талась наша пулеметная точка. Сомнений не было: мы на передовых позициях. Это было написано на каждом лице и чувствовалось в каждом жесте. Время — одиннадцать утра, ужасная погода предыдущих дней сменилась ясной и такой теплой, что весь снег растаял. В этом отношении, один из редких случаев в этой войне, судьба определенно благоволила к республиканцам: если бы погода была хуже, они никогда не дошли бы до Теруэля вечером того же дня.

Слева от нас началась стрельба, и мы увидели одетых в хаки правительственных солдат, упорно и неумолимо продвигавшихся вперед по разбитой местности. Ни единого раза мы не видели, что наступающие линии отклонялись назад, ни единого раза мы не видели, что мятежники предприняли контратаку.

Окоп не давал возможности хорошего обзора, и наша группа решила добраться до пулеметной точки. Это был первый из многих в тот день случаев, когда мы попали под прямой пулеметный обстрел, и, пожалуй, один из худших, поскольку во время подъема на холм мы подставили себя под огонь, бивший в нас менее чем за 1000 ярдов. Но либо пулеметчик очень нервничал, либо был плохим стрелком, но каким-то непостижимым образом ему удалось не задеть никого из нас. А пять минут спустя мы с удовлетворением увидели, как он и его товарищи стали отступать под натиском правительственных войск слева. И такого рода сцены нам довелось наблюдать много раз в течение того дня.

В 11²⁰ началась битва за Мансуэто, и мы перебежали на гребень справа от нас в надежде увидеть ее оттуда. Это было весьма рискованным шагом, ибо правительственные войска получили ранее приказ открыть интенсивный ружейный огонь по позициям мятежников через лощину, а мятежники, чьи основные силы уже начали отступление, прикрывали свой отход таким же интенсивным пулеметным заградительным огнем. Войска укрылись от него в неглубоких окопах, нас же защищал только гребень холма. Нам пришлось распластаться по земле, и были моменты, когда шквал огня пролетал так низко, что оторвать голову от земли означало неминуемую гибель. Рядом с нами два солдата были убиты прямым попаданием пуль в голову. В моменты относительного затишья Хемингуэй объяснял неохотно слушавшему его призывнику, как освободить затвор ружья с помощью камня, а Делмер их фотографировал.

Когда огонь несколько ослабел, мы передвинулись чуть правее и здесь наткнулись на двух пленных мятеж-

ников — бледных, небритых, с выражением загнанных животных на лицах, столь характерным для всех пленных. С ними обращались хорошо, уверили их, что на этом этапе войны республиканцы пленных не расстреливают, даже накормили их, выдав хлеб с джемом из своих скудных запасов. Более всего они напугались, когда Корман решил, что человек с таким лицом, как у одного из них, мог быть только фалангистом, и стал просить солдат, хотя и безуспешно, пристрелить его.

Отсюда нам был хорошо виден весь ход наступления на Мансуэто, и мы изменили свое прежнее мнение о невозможности захвата Теруэля в тот же день. Ничто не могло остановить массивный напор войск, тремя колоннами поднимавшихся вверх по восточным склонам этой полугоры. Впереди одной из двигавшихся колонн нелепо резвились две собаки. А ситуация была серьезная, там, наверху, правительственная артиллерия продолжала бить по вершине холма, и войска мятежников уже начали поддаваться натиску, оставляя эти мощнейшие укрепления. <...>

Дом с плоской крышей на краю парка Ретиро в Мадриде, в котором мы жили вдвоем с Сефтоном Делмером, служил нам отличным наблюдательным пунктом во время ночных обстрелов, которые были столь частыми осенью 1937 года. Бессмысленные, бессистемные, да в общем-то и бесцельные, они воплощали методы и приемы тоталитарной войны итальянцев и немцев. Они преследовали лишь одну цель: вселить страх и сломить моральный дух в тылу. Страх вселить им удалось, но надо сказать, к неуязвимой славе Мадрида, что морально город не дрогнул.

Как правило, если я не сидел на своей террасе, следя за разрывами оружейных залпов по всему горизонту за Мансанаресом, слушаю визг приближавшихся снарядов и ощущая, как к горлу от страха поднимается тошнота, то находился в номере Хемингуэя в отеле «Флорида». Почти все мы собирались там чуть не каждый вечер — Ивен Шипмен и Мартин Ориген — американские бойцы Интербригад, выздоравливавшие после ранений, Марта Гельхорн, Альма Хейльбрунн — вдова доктора из Интернациональной бригады, убитого под Уэской, и разные американские друзья, которые оказывались на время отпуска в Мадриде. Хемингуэй был убежден, что его номер — «мертвый угол» и мы там в полной безопасности. Как бы там ни было, хотелось верить в это, и обычно мы открывали окна и ставили пластинку с «Мазуркой» Шопена, точно так же, как это делают героини «Пятой колон-

нь». Пьеса ведь писалась именно в это время под грохот 3-х, 6-ти и 9-дюймовых снарядов, частенько сотрясавших до основания «Флориду», но каким-то непостижимым образом так ни разу и не попавших в наш номер.

К марту 1938 года нам стало казаться, что мы уже все знаем про орудийные обстрелы и бомбежки, но мы были просто наивными. Восемнадцать налетов на Барселону за 44 часа оказалось достаточным, чтобы показать нам и всему миру, каким грозным оружием может быть самолет. Вплоть до следующей войны Барселона являла единственный в своем роде классический пример того, что могла сделать бомбардировка с городом и людьми, которые в нем жили. Никогда еще такой массе людей не доводилось подвергаться таким физическим и духовным мукам, какие выпали на долю жителей Барселоны в те безумные дни, когда бомбардировщики иностранного государства, не имевшего никакого конфликта с Испанией, подвергли наказанию беззащитный город.

Началась она в 10¹⁵ вечера в среду 16 марта 1938 года, при полной луне, которая, казалось, повисла в самом центре неба. Это означало, что у налетчиков была отличная видимость, но в ярком лунном свете были совсем не видны лучи прожекторов. Как бы то ни было, противовоздушная оборона города была настолько жалкой, что с налетами ничего нельзя было поделаться. Премьер-министр Невилл Чемберлен (а за ним и все остальные) отказал испанскому правительству в его просьбе продать хотя бы противовоздушные орудия с гарантией использовать их только в тылу.

И уже в ту ночь мы могли видеть, вернее слышать, как самолеты прилетали волна за волной, хотя никак не могли одни и те же самолеты долететь обратно до Майорки и так быстро снова вернуться. И только позднее, в Италии, я узнал, что самолеты вылетали из самой Италии, из Сардинии, а также из Пальмы. В какой-то степени это был эксперимент. Воздушным силам надо было обучить своих пилотов совершать рейды на большие расстояния и, кроме того, испытать новый тип бомб.

Между 10¹⁵ и 2 часами утра было совершено восемь налетов, но только утром 17 марта город осознал весь ужас случившегося. Ночью разрушительную работу бомб видели только те, кто оказался в непосредственной к ним близости, но при свете дня вы все видели собственными глазами, и увиденное испепеляло вас — как бы вы ни старались потом забыть это и как бы долго вы ни жили на свете, эта картина не сотрется из памяти. Ночью мы сидели в темных комнатах агентства печати, слушая рокот

двигателей, вой бомб, грохот рушившихся зданий и звон стекла и надеясь, что следующая бомба упадет не на нас, что загорится наконец свет и заработает телефон. Хотя бы ровно настолько, чтобы успеть передать материалы. Мы знали, что бомбы сбрасывались по всему городу; что самолеты летели слишком высоко для прицельной бомбардировки, что число смертей и разрушений с пугающей быстротой росло. Но чтобы прочувствовать все это до конца, нужно было увидеть это собственными глазами.〈...〉

Итак, когда ранним утром 15 апреля в Страстную пятницу Хемингуэй, Делмер и я покинули Барселону, отправившись на фронт, мы знали, что мятежники в тот же день спустятся на побережье, но мы знали также, что это еще не было концом войны. В Тортосе было тихо, но когда мы шли через город, как всегда гадая, не попадем ли под бомбежку, впечатление он произвел на нас самое ужасное. Старинный и живописный город переживал последнюю стадию агонии. Ежедневно, а во время наступательных операций и по нескольку раз в день, он подвергался бомбардировкам. В поездках на фронт, и до и во время сражения за Теруэль, я не раз заезжал в этот город, иногда даже ночевал; постепенное его разрушение походило на агонию живого существа. Происходившие в этом трагическом городе перемены вызывали шок. В то утро в городе не осталось ни одного жителя, ни одного целого здания. Бомбы словно косой скосили даже деревья в городском парке.

Мы были уже за несколько миль от города, когда появились первые самолеты. Когда мы высыпались из машины и бросились в укрытие, бомбы стали рваться впереди, на значительном от нас расстоянии — на позициях правительственных войск. Стоило нам выбраться из укрытия и двинуться дальше, послышался рев новой волны самолетов. Они пролетели прямо над нами — шесть сверкающих белых «Савойя-Марчетис», — и в 9¹⁹ начался первый в этот день налет на Тортосу. Еще какой-то момент мы видели лежавший перед нами город, но в следующий миг он исчез в грохоте разрывающихся бомб и клубах серого дыма.

К этому времени воздух уже был заряжен напряжением. Оно было всюду: на каждом лице, на двигавшихся машинах, на людях, в дикой панике разбежавшихся при малейшей угрозе очередного воздушного налета. Мотоциклисты-посыльные сновали туда и обратно, причем многие останав-

ливались, чтобы выяснить у нас, не открыта ли дорога. Именно это нам бы тоже хотелось узнать.

В 10⁰⁵ нас снова остановили. На этот раз была не только бомбардировка, но и обстрел с бреющего полета. Пятнадцать боевых самолетов кружили над Сан-Рафаэлем, стреляя, взмывая вверх и снова заходя на круг, затем разворачивались и опять повторяли маневр. Снова и снова. Радиус круга все расширялся в сторону побережья, и наконец (все это длилось 35 минут) они стали бомбить и **растреливать** с бреющего полета Ульдекону.

Вот это и была та самая информация, которая была нам необходима, и поэтому, как только самолеты улетели, мы поспешили в Ульдекону. В саду на окраине деревни офицеры из штаба бригады работали над картой последних событий. На часах было 10⁴⁵. Майор сообщил, что только что взят Сан-Рафаэль в 4-х милях от побережья. Мятажники, сказал он, идут тремя колоннами. Одна движется прямо на Ульдекону. Другая идет от Черта к Виньяросу. Третья — к Санта-Барбара, где-то позади наших позиций. Где именно сейчас это подразделение, они не знают и только что выслали из деревни отряд на разведку.

Для нас это сообщение представляло не меньшую угрозу, чем для правительственных войск, и мы поспешили обратно, на противоположный склон горы Санта-Барбара. Там мы остановились в оливковой роще, чтобы перекусить. Тут к нам присоединились Винсент Шин и некоторые другие; впоследствии Шин рассказал об этом в своем романе «Не с миром, но с мечом». Мы наблюдали за дорогой, но более всего — за бомбардировщиками, которые тройками и шестерками пролетали в направлении к Тортосу. Заградительный огонь противоздушных орудий вынуждал их лететь на большой высоте. Мы понимали, что их интересовал лишь один объект — не пустынный, лежавший в развалинах город, в котором не было ни войск, ни военной техники, разве что время от времени появлялись редкие автомашины, стремящиеся как можно быстрее миновать его; их целью был мост, огромный стальной мост, который устоял, выдержав неоднократные бомбардировки и три прямых попадания.

Сначала нам казалось, что с такой высоты им ни за что не попасть в него, но туда шли эскадрилья за эскадрилей — дюжина, две дюжины, три дюжины — и еще, и еще. За время между 11⁴⁰ и 12³⁰ шесть раз Тортосу заволакивал дым разрывов — чаще всего слышались не отдельные грохочущие взрывы сбрасываемых бомб, а один мощный, сотрясавший землю взрыв, который означал,

что самолеты сбрасывали свой груз сразу и в одно место. Нам становилось все более не по себе. Насколько нам было известно, это был единственный мост, по которому можно было пересечь Эбро. Рядом были железнодорожный и пешеходный мосты, но вряд ли машина по какому-либо из них проедет.

Но как бы то ни было, надо было проверить, как обстояло с дорогой на Валенсию, поэтому мы поехали снова к Ульдеконе, пытаясь выяснить у командного пункта ситуацию. Мятежники к этому моменту были уже в 5 милях от Виньяроса. Было ясно, что ее падение — дело нескольких часов.

Оставалось одно: выяснить, уцелел ли мост? От ответа, который мы получили, достигнув окраины города, у нас упало сердце. Часовой подбежал к нам с криком: «Мост разрушен! Здесь дороги нет!» — «А можно ли проехать через Ампосту?» — спросили мы. Он пожал плечами и с сомнением в голосе произнес: «Тут сейчас пытаются починить пешеходный мост».

После налета прошло уже полчаса, и самолеты наверняка вот-вот прилетят снова, чтобы покончить с этим последним мостом. Впереди беспомощной кучкой стояли грузовики. И все же надо попытаться.

На разрушения от недавних бомбежек страшно было смотреть. Свежесть ран придавала мертвому городу какой-то новый и зловещий вид: воронки от разорвавшихся бомб, груды развалин, которые только что были домами, расщепленные деревья с яркой весенней листвой, разбитые автомобили, пыль и дым. Наша машина попала в пробку, и мы с Хемингуэем побежали к пешеходному мосту, где сотня рабочих с лихорадочной поспешностью укладывали настил из досок, пытаясь выправить и закрыть дыры от двух небольших бомб, попавших в него за несколько дней до этого. Они утверждали, что хоть он и слабоват, но еще послужит. Мы помахали Делмеру, сидевшему за рулем, и он стал пробираться к мосту по обочине дороги, объезжая грузовики.

И вот тут-то дорогу нам пересекла тяжело нагруженная тележка, запряженная мулом, которую старый крестьянин пытался втолкнуть на мост. Мы с Хемингуэем уперлись в тележку и с помощью двух солдат втоптали ее на мост. Подпрыгивая, она затряслась по мосту, смещая доски настила, и офицер закричал, чтобы больше не разрешали проезжать никаким тележкам.

Самолетов все еще не было. Делмеру довелось пережить несколько томительных минут ожидания, пока тележка не отъехала достаточно далеко. Затем он пополз по

мосту на самой малой скорости. Мы с Хемингуэем шли пешком, чтобы уменьшить нагрузку на мост. В одном месте, где в зияющем проломе от бомбы виднелась вода, мы с ужасом затаили дыхание, но все обошлось, и машина благополучно проскочила. Предстоял последний, похожий на ночной кошмар, бросок через ад этого мертвого города, и самое худшее останется позади. Посредине одной из улиц яростно польхал подбитый снарядом грузовик-бензовоз. Мы не дыша на бешеной скорости промчались мимо.

Еще до наступления темноты мятежники заняли Ульдекону, Вильярос и Беникарло. Республиканская Испания оказалась разрезанной на две зоны. Но в своем репортаже, не подлежащем цензуре, я все же написал в ту ночь: «Война продолжается!»<...>

5 ноября я совершил свою последнюю поездку в район Эбро, описанную потом Шином в романе «Не с мечом, но с мечом».

В тот день Хемингуэй спас всем нам жизнь, умудрившись вывести нашу шлюпку в безопасное место, когда ее несло на острые зубья разбитого моста у Мора. Отступление уже шло полным ходом, но тяжелые бои не прекращались, хотя правительству удалось спасти практически все свои войска и кое-какую боевую технику. Линии фронта постепенно сужались, и единственным путем для отступления был мост у Фликса. Когда в ночь с 15-го на 16 ноября последние отряды перешли его, оставалось только нажать на электрическую кнопку, чтобы положить конец битве при Эбро.

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ В БОЮ»

В Тортосе полным-полно военных, мы едем по городу, по улицам, загроможенным обломками, следами последнего налета, забираем на запад, вглубь от моря, поднимаемся по крутым дорогам.

...Фашисты рвутся к морю, к Тортосе; сейчас они километрах в шестнадцать от города. Нам говорят, что дорога простреливается, но нам надо ехать вперед, и мы едем. Снаряды ложатся далеко от нас. Местность такая гористая, что кажется: поставь здесь пяток пулеметчиков — и они оставят миллионную армию. Мы снова объезжаем все проулки, перекрестки, захолустные городишки и лишь около Раскеры находим трех наших: Джорджа Уотта, Джона Гейтса (он сейчас помощник бригадного комиссара) и Джо Хекта. Они лежат на земле, завернувшись в одеяла, под одеялами на них ничего нет. Они говорят, что на рассвете переплыли Эбро, что с ними плыло много товарищей, но остальные утонули, что они ничего не знают ни о Мэрримане, ни о Доране, но думают, что те попали в плен. Они были под Гандесой, их отрезали от своих, они с боями прорывались оттуда, шли по ночам под артобстрелом. Видно, что им не хочется говорить, и мы молча садимся рядом с ними. У Джо вид совершенно потерянный.

Ниже по холму расположились сотни бойцов из английского и канадского батальона; грузовик привез еду, их кормят. Открытый «матфорд» новой модели огибает холм, останавливается возле нас, из него выходят двое — мы их сразу узнаем. Один — рослый, худой, в коричневом вельветовом костюме и роговых очках, его вытянутое аскетическое лицо с суровым ртом угрюмо. Другой еще выше первого, крупный, с усами щеточкой, краснолицый, на нем очки в металлической оправе; такого великана нечасто встретишь. Это Герберт Мэттьюз из «Нью-Йорк

таймс» и Эрнест Хемингуэй. Они рады нам, мы — им. Мы представляемся, они засыпают нас вопросами. У них есть сигареты, они щедро раздают «Лаки страйк» и «Честер-филд». У Мэттьюза вид недовольный, похоже, что это его постоянное состояние. Хемингуэй по-детски жаден до впечатлений, и я не без улыбки вспоминаю, как увидел его на Конгрессе писателей в Нью-Йорке. Он тогда впервые произносил речь, запутался и, разозлившись, с бешеным напором стал повторять скомканные поначалу фразы. У него вид большого ребенка, он сразу располагает к себе. И вопросами сыплет совсем как ребенок: «Ну а потом? А потом что было? А вы что? А он что сказал? А что потом? А вы потом что?» Мэттьюз ничего не говорит, он что-то записывает на сложенном листке бумаги.

— Как вас зовут? — спрашивает меня Хемингуэй; я называюсь. — Вот вы кто, — говорит он. — Рад вас видеть, я вас читал.

Я чувствую, что он и впрямь рад меня видеть; мне это приятно. Я жалею, что так громил его в своих статьях, надеюсь, что он успел их забыть, а может, и вовсе не читал.

...На Хемингуэя напи рассказы, похоже, не производят особого впечатления, а вот Мэттьюз совсем пал духом. Хемингуэй говорит: фашисты прорвутся к морю — это так, но беспокоиться нечего. Все предусмотрено, приняты меры; разработаны способы, как поддерживать связь между Каталонией и остальной Испанией — по морю, по воздуху — словом, все будет в порядке. Рузвельт, говорит он, обратился с неофициальным предложением — во всяком случае, так ему передали — отправить двести самолетов во Францию, при условии если Франция переправит двести самолетов в Испанию. Это лучшее из всего, что мы слышали о Рузвельте, но только где они, эти самолеты? Война вступает в новую фазу, говорит Хемингуэй; правительство будет с удвоенной энергией бороться с фашистами, испанцы и каталонцы дерутся как звери; политические организации и профсоюзы набирают добровольцев в армию; испанцы полны решимости остановить Франко; не допустить его к морю; испанцы рвутся в контрнаступление. Франция ответила отказом на новое обращение Негрина о помощи; в середине марта Барселону за сорок восемь часов бомбили восемнадцать раз, тысяча триста человек было убито, две тысячи ранено. Фашисты — идиоты, фашисты крупно просчитаются, если они думают, что это им сойдет с рук. Чем больше женщин, детей и стариков они убьют, тем сильнее будет ярость демократически настроенных людей во всем мире.

ИЗ КНИГИ «НЕТ ЧУЖИХ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»

Вечером того же дня я столкнулся в отделе цензуры с Эрнестом Хемингуэем. Он хлопнул меня по спине — настоящий медведь-гризли, все лицо заросло недельной щетиной, — и пригласил меня заглянуть к нему в номер гостиницы «Флорида». Мы и прежде часто ездили вместе по фронтам. 1 мая 1938 года мы возвращались с ним с боевых позиций на Эбро и на извилистой горной дороге были вынуждены замедлить ход, так как впереди нас ехал грузовик, в котором распевали песни совсем молоденькие парнишки. Они приветствовали нас на республиканский манер, подняв кверху сжатый кулак правой руки. Славные ребята! Их смуглые лица блестели под яркими лучами солнца, они пели песни республики, песни рабочего класса. «Красивые парни!» — сказал Хемингуэй. Даже сидевший за рулем мрачный и молчаливый Герберт Мэттьюз из «Нью-Йорк таймс», казалось, был растроган. Внезапно, на крутом повороте, грузовик потерял управление и на наших глазах перевернулся. Сцена веселья сменилась ужасающим зрелищем груды окровавленных тел. Мэттьюз резко затормозил, и мы выпрыгнули из машины. Не вспомню, откуда у Хемингуэя взялась походная аптечка, но уже в следующее мгновение он стоял на коленях, перевязывая и утешая пострадавших. Я присоединился к нему, и мы работали вместе, наши руки были в крови умирающих.

Я заметил, что Мэттьюз ходит среди распростертых тел. Он наклонялся к пострадавшим, но не для оказания им помощи — он интервьюировал умирающих, делая заметки в записной книжке. Он прежде всего был корреспондентом «Нью-Йорк таймс», а для корреспондента этой газеты, даже самого гуманного, несколько строк о трагическом происшествии со смертельным исходом было важнее, чем вопрос жизни или смерти. Кто чему верен. Увидев это, Хемингуэй вскочил на ноги.

— Сукин ты сын! — взревел он. — Убирайся отсюда, а то я убью тебя!

После этого случая я проникся к Хемингуэю уважением и теплым чувством, которые не покидают меня и по сей день. Вспоминая об этом происшествии, я каждый раз думаю о том, что видел настоящего человека: он был гуманист и поборник гуманности, несмотря на то, что напускал на себя свирепый вид.

В сумерки я пришел к нему в выходивший на улицу угловой номер на пятом этаже. Методически била нацистская батарея на горе Гарабитас, словно работал клепальный молоток.

— Снаряды летят оттуда, — сказал Хемингуэй, показав рукой на север. — Я на северо-востоке, номер угловой. Вот смотрите, — он стал в позу боксера, слегка наклонившись и прижав подбородок к груди, — им в меня не попасть, ясно? Ну-ка попробуйте.

Я сделал выпад. Хемингуэй увернулся от удара.

— Вот видите! — восхищенно произнес он.

В нем было столько юношеского задора, что вы невольно чувствовали себя рядом с ним в роли старшего дядюшки. Обычно мне бывает как-то неловко, когда взрослый ведет себя как своенравный ребенок, но рядом с ним я не испытывал этого чувства. Это ему *шло*.

После порции виски Хемингуэй начал восхвалять добровольцев батальона Линкольна, их храбрость, о которой он часто писал. Потом, смерив меня пристальным взглядом, он вдруг сказал:

— Мне нравятся коммунисты, когда они солдаты, но, когда они становятся проповедниками, я их ненавижу.

— Проповедниками? — удивленно переспросил я.

— Да, проповедниками — комиссарами, которые раздают папские буллы, — сказал он, свирепо сверкнув глазами.

Я напомнил Хемингуэю, как он однажды признался, что за всю свою жизнь не прочел ни единого слова, написанного Марксом, и даже не был, в сущности, близко знаком ни с одним коммунистом.

— Этот авторитетный вид, который ваши лидеры напускают на себя! — настаивал он.

Очевидно, лишняя порция виски возбудила в Хемингуэе воинственный дух, и он забормотал себе под нос: «Диалектический материализм, прибавочная стоимость, норма прибыли, диктатура пролетариата», словно пытался разозлить меня этой нелепой литанией. Смешная и огорчительная сцена.

Вдруг меня осенило: да он ведь анархист, а их приверженность мрачным идеям Бакунина окутывает густым ту-

маном их мировоззрение, взгляд на историю. «Анархия — высшая форма порядка», — гласил их лозунг, и Хемингуэй, наверно, был согласен с этим. Мы продолжали спорить, и он повторил свое заявление, что коммунисты — хорошие солдаты, но опасны как проповедники, стремящиеся к власти. Я холодно возразил, что вопросы власти и ведущей роли коммунистов решаются выборами, голосами народа, что здесь, в Испании, как и во всех других странах, коммунисты выросли в большую политическую силу, и как раз по тем причинам, которым он дает такую неправильную оценку. Его разделение коммунистов на категории «солдат» и «проповедников» бессмысленно, ибо коммунист является хорошим солдатом именно благодаря тем самым качествам, которые Хемингуэй приписывает ему как «проповеднику». Коммунист хороший боец потому, что у него есть убеждения и цель.

Хемингуэй шагал по комнате.

— Убеждения! — внезапно заорал он. — Убеждения с большой буквы, Отечество с большой буквы! К черту большие буквы! Великие обманщики, начиная с фараонов, пользовались большими буквами, чтобы мистифицировать таких простаков, как я!

...Хемингуэй стоял передо мной, уперев свои длинные руки в бока, выставив вперед небритый подбородок, и смотрел на меня пристальным взглядом, еще больше напоминая в этот момент огромного медведя-гризли. Вдруг — это было так типично для него — он рассмеялся и потянулся за графином с виски.

— Черт возьми, — сказал он, — я вижу, вы сами — один из этих проклятых епископов. Ну как, *mi padre*¹, — совершим возлияние?

¹ Отец мой (*исп.*).

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

В Ки-Уэст Эрнест вернулся с тяжелым чувством вины. Он оказался в противоречии с выработанным им этическим кодексом. Он окончательно решил, что должен порвать с Полиной и с католической церковью. И то и другое было не легко. Как сказал он сам однажды: «Если по-настоящему любишь кого-то, ты уже никогда не избавишься полностью от этой любви».

Его проблемы отнюдь не облегчились, когда наша мама приехала в Ки-Уэст с визитом.

После того как мама уехала, Эрнест перегнал «Пилар» в Гавану и начал писать «По ком звонит колокол». Он поселился в полубившемся ему издавна номере в отеле «Амбос Мундос» на четвертом этаже в северо-восточном углу здания, неподалеку от Маноло Аспера, владельца отеля.

В Гавану приехала Марта, и Эрнест продолжал успешно писать. Они нашли прекрасный участок земли в шести милях от города, как раз рядом с Кохимаром, где когда-то стояла старинная сторожевая башня, или «вихия». В одном углу участка стоял развалившийся одноэтажный дом. Место было полно очарования, и от него к тому же открывался прекрасный вид. Они купили здесь двенадцать акров земли, оставили за ним старое название Финка Вихия и принялись благоустраивать новое владение.

Летом 1939 года предсказание Эрнеста о приближении большой войны оправдалось. Он с жадностью читал все

газетные сообщения о военных действиях. Но и в этой обстановке всеобщего возбуждения, в промежутках между гостями и политическими спорами Эрнест продолжал работать. В ту зиму Марта поехала от журнала «Кольерс» освещать русско-финскую войну.<...>

Марта вместе с нами любила плавать и выпивать. Когда она вылезала из воды и тянулась за стаканом, Эрнест ухмылялся:

— Моя русалка. Что за женщина!

Марта действительно была обворожительна. Она рассказывала мне потрясающие истории про Финляндию, про войну, которую она увидела в ужасающих условиях суровой зимы, показывала охотничьи ножи, подаренные ей там. Приехала в гости ее мать. Поколение назад она тоже была очень хороша собой. Марта обладала умом, красотой и фигурой Цирцеи. Я был рад, что она станет моей любимой невесткой, хотя и отдавал должное двум первым.<...>

В начале декабря 1940 года развод Эрнеста с Полиной был окончательно оформлен. Через две недели после этого Эрнеста и Марту обвенчал судья в Чейенне, в штате Вайоминг.

Весной 1941 года Эрнест и Марта вылетели в Сан-Франциско, а оттуда в Гонолулу, Мидуэй, Уэйк, Гуам, Манилу, Гонконг и Сингапур. Им удалось побывать в глубине азиатского континента, чтобы посмотреть своими глазами, что делается в Китае после того, как военные действия там заставили правительство переменить местопребывание. В качестве гостей генералиссимуса и мадам Чан-Кайши они побывали в доступных иностранцам местах и проплыли по Янцзы, как пара коннектикутских янки при дворе мандарина. Эрнесту ужасно нравилась вся эта ситуация.

Знакомясь с обороной Британской империи на Дальнем Востоке, а также с американскими оборонительными мерами, Эрнест написал несколько корреспонденций для журнала «П. М.». Для этого он разговаривал с английскими офицерами, с кули, с членами избранных клубов, с иностранными искателями приключений, стараясь свести воедино их оценки предстоящих событий. В этом он оказался удачлив и проницателен. Он предсказал, что война разразится в ближайшие шесть месяцев и что Япония нападет на британские и американские базы на всем пространстве Тихого океана и Юго-Восточной Азии.<...>

ИЗ КНИГИ «ВЫСОКО В ГОРАХ С ХЕМИНГУЭЕМ»

Куперы приехали 28 сентября днем, и, как обычно, их поместили в Охотничьем домике. Куп сразу же явился ко мне и принес ружьище для охоты на крупную дичь. Он действительно умел быть на редкость обаятельным и прекрасно маскировался, ведя наши обычные разговоры. Через несколько дней я должен был отправиться в Сэлуэй снова охотиться на вапити и взять с собой одного гостя. Ну и, поговорив о том о сем, он наконец застенчиво перешел к делу:

— Так куда ты упрятал этого самого Хемингуэя, которого я, по-моему, знаю?

Тилли позвонила Папе, отдала трубку Купу, они поговорили, и Куп сказал:

— Спасибо, Тилли, деточка. Скоро увидимся.

Хотя мы знали, что эти двое придутся друг другу, нам жутко хотелось присутствовать при этой встрече. Однако нам пришлось удовольствоваться выразительным описанием, которое мы услышали от Тейлора: точно двое незнакомых мальчишек, примеривающихся друг к другу над чертой в пыли, пока второпях «с этим всем не покончили». Когда пришли мы, они уже держались как закадычные друзья. На следующий день они нашли ту мерку, которую искали: часа два мы бродили с ружьями по перепелиной тропе, а потом стреляли по тарелочкам с Роки: это была ее специальность, и она могла обстрелять нас всех и каждого.<...>

Величайшим событием для нас в ту осень явилась забываемая возможность прочесть первые двадцать четыре главы «По ком звонит колокол» прямо с машинки и с ав-

торской правкой. До этого Эрнест редко упоминал роман, а мы держали руки при себе, но тем не менее узнали, как зовут двух персонажей. Как-то, когда мы ехали по Адамс-Галчу, Эрнест назвал его «краем Эль Сордо». А через довольно долгое время он явился ко второму завтраку в радужном настроении, и Тилли заметила:

— Папа, ты что-то сияешь! Наверное, утро было удачным.

Он засмеялся и сказал:

— Да, Тилли. Возьми к примеру Пабло. Я понятия не имел, что этот старый сукин сын вытворит завтра или послезавтра, но в конце концов я его разгадал... Ничего хорошего, и я бы не хотел, чтобы он вытворил такое со мной, можете мне поверить... Хотите, ребята, почитать?

— Хотим ли? — сказал Тейлор. — Когда начнем, мистер Автор?

Мистер Автор ухмыльнулся и ответил:

— Вам бы меня к черту послать, но, думаю, еще пошлете, когда прочитаете пару-другую этих стансов.

Читали мы по частям в кровати ночью — двадцать четвертая глава была завершена в начале декабря. Но постепенно стало ясно, что самоубийство отца героя, о котором он упоминает, опирается на факты из жизни самого автора, о которых мы все еще знали очень мало. Затем как-то вечером, когда мы только-только вернулись с охоты, Тилли пришла в Глэмор-Хаус выпить с нами и принесла пачку страниц, которые мы прочли. Разговор у нас шел о тонкостях ружейной охоты, которым нас научили наши отцы, и завязался небольшой спор — оба мы настаивали на правильности своего подхода и со смехом препирались. Папа (я все больше привыкал к этому прозвищу) часто говорил, что его отец прекрасно стрелял влет, но не был таким внимательным и терпеливым учителем, как мой отец, и что для нас обстоятельства сложились очень счастливо — наш отец мог уделять нам гораздо больше времени, чем его — ему. Тут он опять повторил то, что уже говорил много раз:

— И тебе повезло, что ты соревновался со своим старшим братом. Для меня было бы очень полезно, если бы у меня был старший брат и выбивал бы из меня иногда дурь, заслуживал я того или нет, а просто чтобы держать меня в узде... А вокруг меня были одни сестры и брат — совсем еще мальчишка, когда я был уже взрослым и самостоятельным.

Тилли попеняла ему: что-то он очень себя жалеет. Да ничего подобного! И все это с полным благодушием. И тут, почувствовав наш безмолвный вопрос, он рассказал

нам о самоубийстве своего отца. Подробно. О болезни, не слишком в его возрасте серьезной, о мелких финансовых затруднениях, которые в его сознании обрели непомерную величину — и были уже благополучно разрешены, вскрой он только утреннюю почту. Однако, сказал он, в основе всех дилемм его отца лежало господство...

— ...моей матери, которой надо было всем командовать, все делать по-своему, а она была стерва!

Тилли охнула от ужаса, перевела дух и взорвалась:

— Эрнест Хемингуэй! Да как ты смеешь? Как ты можешь так говорить о собственной матери?

— Доченька, и могу, и говорю, потому что это правда... и я это повторяю, рискуя потерять твое уважение. Да, правда, со стороны моего отца это была трусость, — продолжал он, — но ведь если ты не смотришь этими глазами, то не можешь охватить всю панораму. Часть этой панорамы я вижу, и, наверное, ему что-то чудилось... но на такое ты решаешься только, если тебя совсем замучили, как на войне, или неизлечимая болезнь, или когда сам идешь ко дну, потому что не можешь переплыть море.

Чтобы еще больше ее умиротворить, он ее обнял и сказал:

— Прости, что я сорвался, Тилли, конечно, мне следовало бы держать все это при себе, но послушай... ты ведь меня уже знаешь. Попробуй вообразить, что я учусь музыке, что меня заставляют стать музыкантом... Я научился играть первые шесть нот «Родина моя, тебе»... Пф!.. И прощай, моя свобода. Да я бы в поэзии и то достиг бы большего.

— Папа, черт ты эдакий, ну, как я могу тебя взгреть? — сказала Тилли и перевела разговор на то, что мы читали с таким восторгом. С этих пор, если полковник или мы спрашивали его: «Ну, как он сегодня, Папа?»), он ухмылялся и говорил: «О, сегодня наш роман продвинулся, но вот вчера...»〈...〉

Утром двадцать второго сентября не успели мы проснуться, как позвонил Эрнест — он бы позавтракал с нами.

— Доброе утро, Вождь! Ва! Ну и день — настоящее индейское лето.

— Специально по заказу, — ответил я. — Но индейское лето? Ты ведь знаешь...

— Ага. Дымка эта не туман, а где-то горит польнь... Даже плохой индеец такое не допускаяй...

Его скво еще спит, но он сейчас будет — все для ны-

непней экспедиции на лошадь уже навьючено... А я помню, что обещал сесть за руль?

— Новые места толком не разглядишь, если обе руки заняты.

Мы думали найти его в вестибюле, но увидели, что он помогает рассыльному на берегу большой лагуны Виллидж-Сквер кормить зерном «диких» крякв и большое семейство канадских казарок — если родители не успевали перехватить корм, птенцы брали его у детей прямо из рук. Энни, вилорог, — прелестная самочка, которую владелец какого-то ранчо подобрал крохотной сироткой, а потом уступил Тейлору, — тоже клячила зерно. Эрнест сказал, что утки на лагуне совсем рядом с Глэмор-Хаусом нынче заменили ему будильник на солжарии.

— Я проснулся, хватаясь за ружье.

Его бурлящая жизнерадостность не заражала вас, а просто заливала.

Он заснул с моей «Энциклопедией Айдахо» в руках, погрузился в нее при первых лучах рассвета, а теперь вернул мне:

— Этот ваш Айдахо черт те какой штат. А я и не знал.

Ожидая Марти, мы болтали у нас в номере, а я все ждал, когда же Эрнест спросит, куда я думаю свозить их. Мое снаряжение хранилось в нашем обширном стенном шкафу, и, когда я извлек его, включая болотные сапоги, он сказал:

— Так я и чувствовал, что пахивает утками... Свои я тоже захватил.

Листая книги нашей скромной, но хорошо подобранной библиотечки, он заявил, что почел бы за честь получить читательский билет — живет он так близко, что, наверное, мы могли бы рискнуть.

День этот мы провели на Силвер-Крик, и лучшего времени выбрать было бы трудно. Траурные голуби как раз сбивались в стаи для осеннего перелета и воспользовались не по сезону жаркими днями, чтобы поднабрать жирку на мелких семечках диких подсолнухов. Эрнест, стрелявший и голубей, сразу же объявил, что в жизни не видел таких их скоплений. Мы медленно ехали по прямому как стрела семимильному отрезку штатного шоссе № 23 вдоль высокой гряды, окаймляющей впадину с востока — по Монотонной дороге длиной в одну рюмку, как он окрестил эту часть шоссе, и удача нам улыбнулась: голуби как раз кончили утреннюю кормежку и отправлялись на водопой. И, подобно мне, Эрнест был ошеломлен, что наша национальная пернатая дичь номер один никакого видимого

ущерба от охоты не несет. Он только пожалел, что не знал об этом и не приехал раньше.

— Завяжи узелок на память, Марти. И уж следующей осенью...

Во впадине водилось приличное число серых куропаток — прекрасных птах, предпочитающих безлесые нагорья, — и множество полынных тетеревов, больших и тяжеловесных. Самых крупных тетеревов в стране. Ради и тех и других тут стоило порыскать.

Но утки! Главной приманкой были они. Я свернул на заброшенную дорогу, въехал на гребень южной гряды и остановился там, откуда открывался потрясающий вид на сорок с чем-то квадратных миль — подлинный рай для охоты с дробовиком. Я так и выразился, убежденно добавив:

— Если такой рай вообще существует, а если нет, то, пока он не создан, по-моему, и этот сгодится.

Эрнест кивнул, вынул свой бинокль и приставил к глазам. День был почти безветренный, в воздухе ни одной утки, но уши сообщили ему все, что требовалось, и подсказали, куда наводить бинокль. Через четверть часа восклицание «Вот оно!» исчерпало ситуацию.

Тут начались серьезные изыскания, так как мы находились прямо над тем местом, где все родники сливались в ручей, а дальше на милью простирался сочный луг, и ручей петлял по нему от озера к озерку, и на их зеркальной поверхности то и дело появлялись кокетливые ямочки — это кормилась форель, весом в фунтов пять-шесть. У заросших камышом берегов плавали кряквы, поодиночке, парами, втроем. В неумном восторге Эрнест спросил, каким путем мы отправимся дальше. Такая местность была для него открытой книгой, и я сказал, что мы и возьмемся за нее, как за книгу, — с самого начала.

— Наведи-ка бинокль на большое, в квадратную милью, болото в миле к западу отсюда. Потом нашарь чистый плес в юго-восточной его части... Сейчас мы отправимся туда.

Но под таким углом зрения болото выглядело узкой длинной темно-зеленой полосой и больше походило на русло ручья, и он не сразу разглядел плес, который я считал одним из главных наших козырей. Эрнест долго всматривался, потом опустил бинокль, и я никогда не забуду, какое у него было лицо. Это открытое мелководье, площадью акра три, казалось совсем черным от птиц, и их гомон доносился к нам и сюда.

— Черт! Их же там тысячи... большие утки, кряквы, ну, все... Надо, чтобы Марти посмотрела их вблизи.

Подъехать поближе было можно, но с некоторым ри-

ском, по старой колесной дороге, тонущей в солонцовой пыли и пересекающей лужи там, где из земли сочится вода. С более липкой грязью, чем солонцовая, людям стлкиваться не приходится, но колеи в лужах достаточно твердые, если, конечно, «бьюик» не сядет на брюхо... Я заколебался. Эрнест сказал:

— Машина у меня, чтобы ею пользоваться.

По размышлении, долгом размышлении, попытка по-прежнему выглядела очень рискованной. Эрнест углядел ивовый прут и сказал:

— Я пойду вперед, прошупаю... Поддай назад для начала... Я махну, а ты жми.

Получиться получилось, только он махнул рановато и остался стоять, где стоял. Выбора у меня не было — выжать газ и вжимать педаль в пол. «Бьюик» ревел, как парходная сирена в тумане, а впереди я видел только кожаную куртку с отлетающими назад полами, крупную фигуру в ней и ноги, сливающиеся в одно смутное пятно. Однако он успел — только-только, и отдувался точно загнанная лошадь, когда я выехал на сухое место и остановился.

— А вы недурную скорость выжимаете, доктор, из этого вашего заржавелого колена!

— Чего только не забываешь, когда деваться некуда... и мы даже ни одной утки не вспугнули — пока.

На пригорке, где еле видные колеи сворачивали на запад, огибая большое болото, я противозаконно вспугнул их, выстрелив у них над головами из ружья, которое захватил на случай нашествия койотов. Пока мы пили пиво, «новые» утки мало-помалу вернулись на плес. Но Эрнест тем временем оценил всю недоступность этого местечка — добираться до него предстояло на своих двоих по жирной грязи низины: тут требовались подошвы на шипах.

— Хочешь попробовать?

А как же, черт подери! Зажав Марти между нами по правилам взаимопомощи, низину мы преодолели. Охотничьего укрытия на сухой полоске берега у плеса не оказалось, хотя в прошлые годы старый охотник каким-то образом умудрился его соорудить.

— Наверное, добрался сюда с упряжкой, когда тут все замерзло, — сказал Эрнест. — Местечко что надо, лучше я не видывал, но если какое-нибудь четвероногое да упадет на этой грязи... Как олень на льду.

Он спросил, пользуюсь ли я мачете. Чтобы отрубить себе ногу?

— Удобнейшая штука. — Он ухмыльнулся. — Я знаю, где раздобыть настоящее... пошлю за парочкой... Закон

ведь не запрещает нарубить полыни на парочку укрытий, верно? Если мы шеи не переломаем, волоча ее сюда.

Скользья и спотыкаясь на обратном пути, Марти сказала:

— Джентльмены, я бы об этом такое написала... абсолютно непечальное... под заглавием «Низина в грязь лицом».

Но самое главное сулила речка: трехчасовое плавание, мечту всех охотников на пернатую дичь — стрельбу из лодки. Отправлялись от моста на тридцать третьем километре по шоссе от Кетчума. За лето мы выбрали время побывать там несколько раз, засечь продолжительность, все тщательно рассчитать — для самих себя, разумеется. Ну, конечно, старика Эрни мы речкой угостим — только ни гугу! Всего один человек охотится тут с лодки — с маленького одноместного каяка. Эта часть речки — частное владение, но у нас там есть знакомство, и пользуемся мы каноэ.

— Лучше не бывает, — сказал Эрнест, смакуя два-три извива речки, видные с моста, безмятежные и мирные на вид. — Если знаешь, что делаешь... все открыто и удобно.

Просто плыть по ней было чистым восторгом; речка так петляет, что все время сам с собой встречаешься, а о том, куда плывешь, известно только одно — вниз по течению. Форель в Силвер-Крик водилась по той же причине, какая делала его опасным — под водой с почти не меняющейся температурой стлались длинные пряди водорослей, где находили корм пресноводные рачки, которыми питается форель. Запутавшийся в водорослях рыбак назвал их волосами Цирцеи. А меня Эрнест назвал зажимщиком — и с полным на то правом, но откуда нам было знать, захочет ли он прокатиться на коварной лодочке по коварной речке. Черт! Грести он учился, гоняя на каноэ по реке Де-Плейн, которая течет через его родной Оук-Парк в Иллинойсе. И ученье было то еще! <...>

Эрнест «таскал» свою ученицу Марти на охоту как можно чаще, до того как она уехала, но никак своей досады при нас не выражал, если не считать фразы Тейлора, которую он часто повторял:

— Какой старик индеец захочет потерять свою скво, когда подходит суровая зима?

Но эту фразу он повторял так часто, что однажды во время верховой поездки моя прямолинейная жена, рискуя быть поставленной на место, сказала Марти, что она делает большую глупость, бросая сейчас Эрнеста одного.

— Тилли, наверное, ты права, — ответила она, — но это у меня в крови, и я иначе не могу.

Восьмого ноября он весь выложился, устраивая для нее отличный утиный банкет в охотничьем домике на Трейл-Крик. Как намекалось выше, сильной стороной мистера Роджерса было прекрасное обслуживание, и в торжественных случаях он умел вгрызаться в печенки кухонной команды. Если вы хотели кушать утку с кровью или превращенную в угли, вам ее такой и подавали, будь вы местный, именитый гость или король Сиама. Как однажды сказал мне Эрнест: «Мы делаем, что можем», — и это относилось ко всем. Его универсальное средство «бегством ничего не вылечишь» убыстряло процесс, и нам известно, что так бы не было, если бы не он.

Как выяснилось, «Кольерс» посылал Марти в горячую зимнюю точку в ширящемся мировом пожаре — на русско-финскую войну. Эрнест со смехом позволил себе заключительную жалобу по поводу ее отъезда:

— Если бы за оставшуюся коротенькую неделю охоты на фазанов я мог бы каждый день ходить с ней в лес, у нее этот зуд в ногах живо прошел бы.

Уехала она дневным поездом из Шошона, так что достало времени на долгий второй завтрак в «Рэме», а потом они поднялись к нам в номер за маленьким сувениром Марти на счастье. И она сказала:

— Тилли, ты приглядывай за этим остряком, следи, чтобы он брился и приводил себя в порядок, когда вы будете шляться в город и на всякие вечеринки. Я на тебя полагаюсь.

— Черт подери, я буду слушаться Тилли, буду паймальчиком... буду строго соблюдать дисциплину, пока администрация не выпшвырнет меня из этой дыры или снег не вынудит перебраться на юг.

— Может, нам уйти, чтобы вы могли попрощаться? — спросила Тилли с улыбкой.

— О черт, уже попрощались...

— И наступает долгая засуха, так что зовите меня теперь Верблюд Хемингуэй.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Минуло два года, прежде чем мы встретились вновь. Весной 1943 года я был в Англии, Марта оказалась там через шесть месяцев после меня в качестве военного корреспондента «Кольерса». Я устроился на неплохую работу, занимаясь радиоразведкой для нашего посольства и одновременно являясь членом армейской группы кинохроники. Перед тем как уехать весной 1944 года на средиземноморский театр военных действий, Марта одолжила мне двадцать фунтов стерлингов. Вскоре после ее отъезда в Лондоне появился Эрнест. Он был назначен главой европейского бюро «Кольерса». В этом качестве он утверждал расходы корреспондентов, в том числе и Марты.

Когда Эрнест обосновался в Лондоне — это было за шесть недель до высадки в Нормандии, — предстояло очень много дел. Вскоре после его приезда я позвонил ему в отель «Дорчестер», голос его звучал весело. «Приезжай немедленно. Я встречу тебя внизу в баре через десять минут».

Ровно через семь минут я уже входил в маленький бар его отеля и успел заказать пиво, как вошел Эрнест, великолепно выглядевший со своей бородой и в форме военного корреспондента.

— Ну, Стайн, ты выглядишь потрясающе, — сказал я.

— Ты тоже, парень, — ухмыльнулся он и похлопал меня по плечу. Он был полон доброжелательства. — Эти подвесные сиденья в бомбардировщиках «Ланкастер»

пригодны для птичек, но мы их превзошли, я имею в виду птичек. Тех, что мы видели над Ньюфаундлендом и Ирландией. Будь я проклят! Ты когда-нибудь видел с воздуха такой зеленый остров, как Ирландия? Я летел над ним с Королевскими военно-воздушными силами, а эти ребята свое дело знают. Эй, да ты что пьешь? — Он глянул на пиво. — Бармен, сберегите это пиво. В другой раз оно может спасти жизнь. Но сейчас мы, два брата, собираемся выпить несколько глотков самого знаменитого шотландского напитка. Ты согласен со мной?

— Я поддерживаю тебя, Стайн. Сколько прошло с тех пор, как мы выпивали в «Флоридите»?

— Слишком много, — сказал он. — Дьявол потом подсчитает.

Мы получили наше виски, молча чокнулись и выпили. И тогда Эрнест заговорил со мной уже более спокойно:

— У меня есть кое-что показать тебе. Обещаешь никому не рассказывать? Никому, понимаешь?

Я кивнул головой. Эрнест сделал еще глоток, расстегнул свой китель настолько, чтобы залезть в карман рубашки, и протянул мне изрядно потертый конверт. Я открыл его и неожиданно понял, как хорошо должен чувствовать себя человек, когда он завершил работу, на которую долгое время расходовал всю свою энергию.

В маленьком баре в отеле «Дорчестер» было тихо. Большинство постояльцев поднялись в свои номера, чтобы переодеться к вечеру. Эрнест допил рюмку и заказал еще одну, пока я читал. Это была фотокопия документа на фирменном бланке Государственного департамента. Под словами «Соединенные Штаты Америки» я прочитал название посольства и письмо Спрюилла Брейдена, посла США на Кубе, который был еще и личным представителем президента.

Говоря вкратце, письмо утверждало, что предьявитель его, Эрнест Хемингуэй, в течение длительного времени осуществлял опасные и весьма важные операции в ходе войны на море против нацистской Германии, носившие совершенно секретный характер. Подписавший этот документ самым высоким образом оценивал значение этих операций и благодарил за их осуществление.

— Бог мой, ты опять занялся этим!

— Послушай, — начал Эрнест, — дело было не в затраченном времени и не в опасности. Честно говоря, это была лучшая часть операции. Но эти чиновники пару раз испытывали мое терпение.

— Когда это началось? — Я всегда был прямым парнем, но никогда еще не испытывал такого нетерпения.

— Когда они заставили меня дать расписку. Она была на тридцать две тысячи долларов и покрывала только стоимость радиооборудования. У нас была прекрасная прослушивающая аппаратура. Мы так здорово подслушивали, аппаратура была настолько чувствительна, что мы держали по ней курс, если только катер не рыскал по волнам. Мы даже ловили слабые сигналы с Атлантики.

— Кто был у тебя в команде? И какое у тебя имелось снаряжение?

— Все самое лучшее. И его было столько, чтобы каждый мог с ним справиться. И мы его так припрятали, что ничего не было видно. В основном у нас была полная команда — девять человек, включая меня. Ты теперь не узнаешь «Пилар». У нее новые моторы. Команда — лучше не найдешь. Мистер Джиджи и Патрик-Мышонок. И Грегорио. Но у него шестеро детей. Их всех троих я оставлял на берегу, когда мы уходили на операции в такие места, как Ки-Сал и Кайо Конфитес, — помнишь твое излюбленное место? Со мной уходил Патч и еще один игрок в пелоту, сержант морской пехоты, из тех, что охраняли посольство, и кое-кто из местных ребят. Они все вели себя как профессионалы с самого начала. Ты знаешь, несколько кубинских судов были уничтожены совсем неподалеку от нас.

Я знал об этом. Я напомнил ему о колумбийском судне и о шхунах, которые немцы расстреляли из пулеметов, а выжившие рыбаки вернулись спустя несколько недель. Эти люди были нашими знакомыми.

— Мы и надеялись на то, что их подлюдка подойдет к нам совсем близко.

— А ты мог справиться с ними?

— Наверняка никто не мог знать. Но ты бы видел, чем мы были вооружены и как могли защищаться. Один из местных парней пришел ко мне и говорит: «Папа, я не чувствую себя достаточно спокойно из-за того, что наш катер не имеет брони. Почему бы нам не поставить броню? Тогда, если немцы будут расстреливать нас в упор, им не удастся продырявить нас. Я плохо сплю, все думаю, что мы должны иметь броню». Тогда я достал стальные листы. Мы сделали одну секцию, которую не могло бы пробить пятидюймовое палубное орудие. Но она оказалась такой тяжелой, что нос катера стал на ходу зарываться в волну. Судно стало плохо слушаться и оказалось неповоротливым. Значительная часть наших достоинств утратилась. А нам нужна была маневренность. Но я не снимал эту броню. Я понимал, что этот парень переговорил уже со всей командой. В конце концов он снова при-

шел ко мне: «Папа, я плохо сплю, зная, что у нас тяжелая посадка в воде». Так что мы сняли броню и судно опять обрело себя.

— Ну и что ты мог бы сделать с подлодкой? — спросил я. В руках у нас было по новому стакану.

— Очень многое. Помимо легкого оружия у нас были пулеметы, базуки и еще кое-что, чтобы заставить хорошо вздрогнуть их боевую рубку. Кроме того, у нас имелась бомба с коротким запалом и регулятором. Мы держали все это на палубе под парусиной, наготове к броску. Идея заключалась в том, чтобы потихоньку подойти поближе, как только мы услышим их разговоры по радио. Такая подлодка могла всплыть и приказать нам причалить к ней. Тогда Патч и его товарищи приготовили бы бомбу, взяли за регулятор, и, когда мы оказались бы на уровне их боевой рубки, мы очистили бы их палубу огнем наших автоматов, в то время как игроки в пелоту должны были забросить бомбу за край боевой рубки. Бомба либо взорвала бы люк, либо скользнула бы внутрь и взорвала бы перископ. В любом случае мы захватили бы подлодку на плаву. Ты же понимаешь, пифровальные книги, вооружение и команда, захваченная в плен, — все это наша разведка использовала бы в борьбе против немецкого военного флота повсюду.

— Но тебе не удалось войти с ними в соприкосновение?

— Нет. Хотя мы подбирались весьма близко. Мы могли слышать их разговоры по радио у Ки-Сол, и к западу и к востоку вдоль побережья. Я обнаружил, что припоминаю довольно много слов из немецкого языка, но они употребляли жаргон, разговаривая друг с другом. Одну подлодку, которую мы засекали, на следующий день наш самолет забросал глубинными бомбами. Летчик сказал, что он уверен, что попал в нее, но это не могло удовлетворить команду «Пилар». Мы рыскали вокруг, как охотничьи собаки, которые обнаружили зверя, но им не разрешают остаться, чтобы поглядеть на добычу.

— И как долго ты этим занимался? А Марта не скулила?

Эрнест задумался на мгновение.

— Она была занята как военный корреспондент. Здесь однажды мы отсутствовали ровно девяносто дней, и я добрался на шлюпке в Нуэвитас, чтобы поужинать. Да, кстати, твоя старая посуда все еще плавает там. Я видел ее. А в другой раз мы находились в плавании сто три дня. Таким вот образом я и получил эти — как тут не выругаться — раковые пятна на коже. Слишком много солнечных лучей. Доктор посоветовал несколько недель не

бриться. Вот и отросла борода. Мне она нравится. Давай-ка выпьем еще.

Мы поговорили о том, что подельывают наши дети, вспомнили, когда видели их в последний раз, рассказали друг другу, где они сейчас. Потом мы перебрали членов нашей семьи и обсудили их здоровье, выпили еще по стакану виски и перешли к друзьям и их делам. В конце концов я почувствовал, что он готов вернуться к первоначальному предмету нашего разговора.

— А что бы ты делал, если бы попал в плен? — спросил я.

— Это очень деликатный вопрос. Я тщательно продумывал его, — сказал он. — В итоге мы написали каперское свидетельство, как это делалось в давние времена. Оно и сейчас хранится там, дома. В нем утверждалось, что команда состоит из людей разных национальностей, но действует в национальных интересах, имея утвержденный статус. Таким образом, мы надеялись, что нас сочтут военнопленными и не расстреляют, если удача отвернется от нас. Потому что удача поворачивается разными своими боками.

Прежде чем мы расстались, Эрнест взял с меня слово прийти к нему в отель завтра, если я буду свободен. Утром он должен будет повидать кое-кого, но у него много поручений, и я смогу ему помочь.

— Мы с тобой прогуляемся, — сказал он. Ему хотелось познакомиться с городом. Я с удивлением узнал, что он никогда раньше не бывал в Лондоне.

На следующий день Эрнест, как всегда, выглядел возбужденным и полным энергии.

— Очень получилось загруженное утро, — сказал он. — Черт побери, я хотел бы, чтобы здесь объявилась Марти. Она где-то в Италии. Вчера послал ей радиogramму. Ответа нет. Пошли. Будем гулять. Ты покажешь мне город, не прибегая к путеводителям Кука.

Мы дошли до Гайд-Парка, потом прогулялись мимо дворца по Пэлл-Мэлл до площади Пикадилли и затем по Бонд-стрит, все время разговаривая.

— Будь я проклят, — с восхищением говорил он время от времени, — какая богатая страна! Глянь-ка туда. Даже после сильных воздушных налетов эти здания выглядят прекрасно. И клубы и жилые дома! Такой спокойный стиль. Они предпочитают не показывать, что у них есть деньги. Мне здесь нравятся даже магазины. Давай-ка заглянем в «Харди». Я хочу поглядеть на место, где для меня все эти годы покупали рыболовные снасти.

Так мы прогуляли весь день. А когда вернулись в отель, Эрнеста ждала там записка от Капы, и Эрнест ушел к нему на вечеринку.

На следующий день я встретил Капу.

— У Папы неприятности, — ухмыльнулся он. — Эта проклятая борода отпугивает девушек.

— У меня есть идея, — сказал я, припомнив не столь давние времена в Чикаго. — Познакомь его с Мэри Уэлш. Я видел ее здесь недавно, она разговаривала с Биллом Уолтоном. Так что он знает, где ее найти.

— Ну, — рассмеялся Роберт, — найти я сам могу кого угодно.

Через пару дней Эрнест вновь почувствовал, что его обожают, и жизнь стала прекрасной.

По прошествии нескольких дней Капа сказал мне:

— Приходи сегодня ко мне. Я устраиваю вечеринку в честь Папы.

Это было очень смутное время. Только офицеры штаба знали, как близок день высадки, а одного из них отправили обратно в Штаты за то, что он слишком много разговаривал. Лондон напоминал улей с его безумной, зачастую бессмысленной активностью. Корреспонденты и офицеры без конца устраивали вечеринки, и излюбленной игрой на этих сборищах было делать загадочные, но осторожные намеки хорошеньким девушкам. Все друг про друга что-то знали. Журналистика оказывалась весьма ограниченным и довольно хитроумным делом. Те, кто выжил за эти годы, стали закаленными обозревателями, знающими источники, намеки, наострившимися писать материалы, полные предчувствий. Предстоящая высадка должна была стать представлением из представлений. Она должна была либо завершить войну в Европе, либо стать одним из величайших в истории провалов, утверждали собиравшиеся на вечеринки обозреватели.

В квартире Роберта Капы в тот вечер царил атмосфера серьезности, которая, правда, вскоре испарилась под влиянием разнообразных напитков. Капа был большим мастером по их добыванию. В этом городе, где на все были введены всяческие правила и ограничения, он умудрялся доставать лучшие напитки из самых разных офицерских столовых. <...>

Ночь уже кончалась, и у меня стоял звон в ушах. Мы решили уйти из квартиры и стали собираться, то и дело предостерегая друг друга: «Ш-ш-ш», а в холле начали громко прощаться, чтобы все знали, что мы уходим. Не-

ожиданно мы оказались на улице. Питер и его девушка и Эрнест направились за угол.

— Я отвезу вас в «Дорчестер», — сказал Питер Эрнесту, — а то в это время ночи машину не достать. Даже генерал не сможет достать.

Я попрощался со всеми несколько громче, чем полагалось в такие ранние утренние часы. Я отчетливо слышал, как завелся мотор, когда шел в сторону моей квартиры, расположенной неподалеку. Время было примерно три часа ночи.

Спал я меньше трех часов. Вылез из постели, оделся, побрился и выпшел из дома, который был через дом от огромной воронки, оставшейся восле взрыва авиационной бомбы на Найтсбридж. Свежий утренний воздух разогнал остатки похмелья, и через двадцать минут я дошагал до отеля, в котором жил Эрнест. Я позвонил из холла. Телефон не отвечал. Я поднялся наверх. Постель была не тронута. Я спустился обратно в холл и встретил там Капу, который мне сказал:

— Папа попал в аварию, сразу же как они уехали утром. А где ты был?

— Я попрощался со всеми и отправился спать. Где Папа? Он сильно пострадал?

— Не очень. Он в госпитале здесь рядом. Они позвонили мне только что, и я решил зайти сначала сюда, посмотреть, нет ли здесь кого. Пойдем навестим его.

Мы торопливо зашагали. В госпитале на Найтсбридж, мимо которого я только что проходил, была еще ночная смена, дневная не заступила. У дверей не было никакой охраны, не требовалось никаких разрешений, чтобы войти. Нас встретил заспанный дежурный, сообщивший нам, в какой палате Эрнест.

Мы вошли и увидели Эрнеста, полулежащего на подушках. На лбу у него висел полуоторванный кусок кожи. Ниже раны голова была перевязана бинтом. А из-под повязки сверкали эти похожие на птичьи глаза, все примечавшие.

— Привет. Ты упустил прекрасную поездку по свежему лондонскому воздуху. Еще не видел газет?

— Что произошло?

— В конце квартала налетели на цистерну с водой. У Питера ноги в плохом состоянии. Девушка вся изранена. Мне повезло. Как только появятся врачи, они займутся нами. Мне нужно наложить швы. Так ты видел газеты?

— Нет. А что?

— Какой-то репортер оказался в приемном покое. Решил, что ему в руки попал хороший материал. Я хочу

знать, что сообщит пресса. Эти проклятые...— Эрнест напоминал большого медведя, из черепа которого только что вытащили нож охотника. Он, конечно, пострадал. Но еще больше он был разъярен, и ничто уже не могло остановить его. Не стоило говорить ему, что это был несчастный случай. Его выбросило с заднего сиденья машины, и он головой пробил ветровое стекло. Сердило же его то, что в такое критическое время он вынужден валяться в постели.

Как только это стало возможным, Эрнест вырвался из госпиталя и перебрался в свою собственную постель в «Дорчестере». Он ворчал, как медведь, у которого болит коготь. Хотя ему было предписано воздерживаться от алкоголя, он уже через пять дней после аварии стал прикладываться к виски и ворчал, когда горничная медлила или я слишком долго ходил по его поручениям. Он прочитывал множество газет, но, казалось, обращал мало внимания на то, какие там изобретались новости.

Через неделю после аварии, придя утром в его номер, я застал его одетым и полностью готовым к деятельности.

— Как твоя голова?

— Работает нормально. Пульс прекрасный. Прослушивал его сегодня утром на расстоянии. Вот и ты можешь услышать с того места, где стоишь. Пойдем прогуляемся. Я хочу сегодня повидать кое-кого из военной авиации.

Никому и никогда еще не удавалось отговорить Эрнеста от какой-либо из его идей. Либо она надоедала ему, либо он сам отбрасывал ее. Так было и в тот раз, когда он через своих друзей получил разрешение дважды вылететь в воздушные рейды бомбардировщиков «Москито» на оккупированную территорию Франции.

Первый полет он совершил через десять дней после аварии, и, когда он сообщил мне о своей договоренности на этот счет, я как младший брат постарался отговорить его, ссылаясь на то, что резкая перемена высоты может вызвать у него кровотечение — ему ли, сыну врача, не понимать, что необходимо выждать, пока снимут швы.

— Да брось ты!

— Надо подождать.

— Ждать, пока они перестанут летать в эти рейды? А там столько можно увидеть интересного. Ты ведь знаешь меня. Я вернусь.

Он спустился в холл, сказав, что хочет попросить у горничной какой-нибудь маленький сувенир на удачу. Вернулся он с пробкой от шампанского.

ИЗ КНИГИ «СЛЕГКА НЕ В ФОКУСЕ»

С каждым днем множились слухи о вторжении и росло число прибывавших Очень Важных Персон. Одним из последних к членам Малого французского клуба присоединился Эрнест Хемингуэй, почти совсем не видный за огромной шатеновой бородой с проседью. После стольких лет разлуки я был просто счастлив снова увидеть его. Наша дружба началась в прекрасное время. Впервые мы встретились в 1937 г. в Республиканской Испании, где я, еще совсем молодой, работал фотокорреспондентом, а он был уже очень известным писателем. А прозвище у него почему-то уже тогда было «Папа», и я очень скоро стал относиться к нему именно как к отцу. В последовавшие годы ему не раз предоставлялась возможность исполнить свои «родительские обязанности», и теперь он был рад встретиться со своим приемным сыном, по-видимому не нуждавшимся в наличных средствах. Чтобы доказать ему свою привязанность и благополучие, я решил устроить в его честь прием в своей полупустой и дорогостоящей квартире.

В одно из своих ежедневных посещений больницы я рассказал о своей идее Пинки, и она одобрила ее, поставив лишь одно условие: принести ей по такому случаю бокал шампанского. И открыла мне секрет про спрятанные в ее платяном шкафу десять бутылок шотландского виски и восемь бутылок джина, которые она накопила из винно-водочного рациона за десять месяцев моего отсутствия.

Виски и джин для гражданского населения были строго нормированы, но бренди и шампанское можно было легко купить по тридцать долларов за бутылку. В знаменательный день приема я купил коробку креветок, ящик шампанского, немного бренди и полдюжины свежих персиков. Опустив персики в бренди, я полил их сверху шампанским и закончил на этом свои приготовления.

Соблазн принять участие в даровой попойке, да еще в придачу с Хемингуэем, был слишком велик, и все, кто съехался в Лондон в ожидании вторжения, явились на мой прием. Они пили виски, они пили шампанское, и бренди и джин они тоже пили.

А мой почетный гость сидел в углу, беседуя с моим приятелем врачом о незлокачественном раке и о паразитарном сикозе, из-за которого ему и пришлось отрастить бороду.

В четыре утра дошла очередь до персиков. Бутылки были пусты, кровати съедены, и гости стали понемногу расходиться. Врач предложил Хемингуэю подвезти его до отеля. Я съел персик и пошел спать.

В семь утра зазвонил телефон. Звонили из больницы. Кто-то сказал что-то о некоем мистере Хемингуэе и попросил меня приехать в отделение «Скорой помощи». Там, на операционном столе, я увидел все 215 фунтов своего Папы. На его голове зияла широкая открытая рана, борода была вся в крови. Доктора готовились дать ему анестезию и зашить рану. Папа вежливо поблагодарил меня за прием и попросил позаботиться о враче, который врезался ночью в цистерну с водой и тоже, должно быть, сильно пострадал. А также известить детей в Штатах, что с ним ничего страшного нет, несмотря на все что они прочтут в газетах. Ему наложили сорок восемь швов, и голова Папы стала выглядеть лучше новой.

В отделении «Скорой помощи», где слышали, как я называл его «Папой», я стал известен под именем мистер Капа Хемингуэй.

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Джон Стейс устроил нас в зале на третьем этаже за крохотным столиком у самой двери. Мы увидели нескольких знакомых, и Шоу сказал мне на ухо, что крупный мужчина, обедающий в одиночку на другом конце зала,— это Хемингуэй. Он сидел, одетый в суконную форму Британских Военно-Воздушных сил, и было заметно, что ему неудобно и жарко. <...>

Я тоже запарилась наверху в своем новом щегольском жакете, перешитом из пиджака Ноэля, сняла его, и Шоу сокрушенно предрек, что теперь у нашего столика будут останавливаться люди, нарушая наше уединение. Дело в том, что с тех пор, как меня лет в 12—13 мать попыталась было засупонить в бюстгальтер, у меня их никогда в заводе не было.

— Благослови Бог машину, на которой был связан этот свитерок,— произнес Шоу.

— Ты что, никогда не бывал в картинных галереях?

— Тут важна фактура,— возразил он.— А краска — это еще не кожа.

Действительно, двое или трое знакомых по пути из зала задержались возле нас.

— Неплохой свитерок.

— Что делает жара: все так и лезет наружу!

— Мэри, хорошо бы нам с вами почаще видеться.

Мистер Хемингуэй тоже остановился, нерешительно сказал:

— Представь меня своей приятельнице, Шоу,— и робко пригласил меня пообедать с ним в один из ближайших дней. Я увидела, что глаза у него в обрамлении буйной, ключковатой растительности, красивые, живые, пронца-

тельные и добрые. А голос оказался моложе и взволнованнее, чем можно было ожидать по внешности. На миг я ощутила его одиночество, может быть, даже тоску, но поспешила отмахнуться. Он только недавно приехал и не успел обзавестись толпой знакомых, так что мы без особого труда выбрали день, когда оба были свободны в обеденные часы.

Потом Хемингуэй ушел, а Шоу горько вздохнул:

— Ну что ж. Спасибо за приятное знакомство.

— Ты куда-то уезжаешь?

— Разве ты не поняла, глупая? Только что в Сохо родилась новая монополия. Вроде Де-Бировской монополии на алмазы.

— По-моему, ты рехнулся.

В Лондоне держалась удивительно теплая весенняя погода, и Джон Стейс выставил несколько столиков на тротуар перед рестораном. За один из них он и усадил нас с Эрнестом, что отнюдь не благоприятствовало нашему первому свиданию. Из-за угла на Шарлот-стрит то и дело, храпя и скрежеща, выезжали легковые такси и заглушали наши слова, а официанты лишь изредка вспоминали о существовании своих уличных посетителей. Эрнест впадал в лирику, рассказывая о новых знакомствах среди английских летчиков, и смешил меня историями о недоразумениях, которые с ним случались в полетах из-за непонятных авиаторских выражений и неразборчивого британского прононса. Он был аккредитован при Американском штабе как корреспондент «Кольерса», но на удивление плохо разбирался в организации Британских ВВС и мало что знал об их роли в Битве за Англию и в защите Лондона и даже об англо-американских бомбовых ударах по Европе. Некоторые пробелы я постаралась восполнить и посоветовала, что можно на эти темы прочитать, он записывал ссылки и названия, а я смотрела, какие у него красивые руки, не сухие и жилистые, но и не пухлые, и пальцы длинные, с квадратными кончиками. Держался он в тот раз скорее серьезно и даже застенчиво, мне не хватало веселого «трепа», к которому я привыкла в кругу друзей. Он сказал мне, что знаком с Ноэлем, встречался с ним во время войны в Испании и считает, что он отличный малый, «высший класс». Словом, обед прошел в трезвой, деловой обстановке, и я убежала по своим делам, не чая и не гадая еще когда-нибудь увидеться с мистером Х.

Немецкие самолеты продолжали еженощно наведываться в Лондон, и мы с Конни Эрнст решили снять на двоих комнату в отеле «Дорчестер». Говорили, что там —

очень надежная, толстая крышка, и потом страдать и трусить вдвоем все же как-то легче. Там же, в номере окнами на Гайд-Парк, жили Чарлз и Лейел Вертенбейкер, и как-то они зазвали меня с приятелем (мы собирались ехать в город ужинать) к себе на коктейль. Единственное кресло в их номере занимал Хемингуэй, а нам оставалось только плюхнуться на кровать и слушать, как он охает и жалуеться, что потерял свой «счастливым камешек» — талисман, привезенный с Кубы. Лейел дала ему взамен пробку от шампанского, а я ощутила, как во мне поднимается против него враждебное чувство. Может быть, это была досада, что он оказался в жизни не так интересен, как его книги.

Со дня на день ожидалось важные события, мы все это знали, и разговор зашел о жертвах, но в легкомысленном духе, как было принято тогда в Лондоне. Генерал Спаатс персонально запретил мне уламывать его пилотов, чтобы они катали меня во Франции, и я нехотя, но все же дала ему такое обещание. Ни Чарли с Лейел, ни мой кавалер особенно не переживали предстоящее вторжение, а вот Эрнест сказал, что надеется попасть во Францию с одной из американских эскадрилий. При этом он задумчиво заметил: «Моя мать не могла мне простить, что меня не убили в первой мировой войне и она не получила золотую звездочку». Ничего себе шуточка, подумала я, и вновь ощутила подымающуюся в душе враждебность. В последующие годы я неоднократно наблюдала на лицах чужих людей такое же неодобрение, какое испытывала тогда, не отдавая себе в этом отчета.

Когда мы с моим знакомым уходили, Эрнест сказал, что заглянет попозже ко мне и Конни.

— Я должна рано лечь спать, — ответила я ему. Я и в самом деле довольно рано вернулась в наш с Конни номер и застала ее сидящей вместе с нашим общим приятелем Малом Футом на одной из гостиничных широких супружеских кроватей. На улице было очень тепло, поэтому они открыли окна и, соблюдая затемнение, выключили свет. Я взбила стоймя подушку, расположилась на второй кровати, и так мы втроем болтали в полутьме, когда постучался Эрнест. Он уютно устроился подле меня и скоро уже рассказывал, со всевозможными забавными подробностями, про своих родных в Оук-Парке, штат Иллинойс. Например, про сестру Марселину и ее привычки. Если никто из знакомых мальчиков не приглашал ее на школьный бал, обязанности ее кавалера перекладывались на Эрнеста, так распорядилась мать, — мать, которая не желала готовить на семью и покупала себе пятидесяти-

долларовые шляпки, когда пациенты отца не платили гонораров. Эрнест не мог простить отцу, что тот был под каблуком у жены. Единственным светлым лучом в семье была сестра Урсула — умница, живая, хорошенькая и притом талантливейший скульптор.

Эрнест рассказывал все это как грустную вечернюю сказку, а мы трое только охали и поддакивали; и вдруг он резко переменял направление разговора.

— Я тебя не знаю, Мэри. Но хочу на тебе жениться. Ты такая живая. И красивая, как мотылек.

Молчание.

— Я сейчас хочу на тебе жениться и надеюсь, что женюсь когда-нибудь. Когда-нибудь и ты, может быть, захочешь, чтобы мы поженились.

Долгое молчание.

— Если ты не шутишь, то все это глупости, — сказала я в конце концов. — Мы оба состоим в браке и притом совсем не знаем друг друга.

— Не исключено, что война разлучит нас на время, — тихо вел он свою линию. — Но нам надо начать Совместные Операции.

Голос его звучал спокойно, мне даже показалось, что печально. Смирненно, вернее всего.

— Ты очень забегаешь вперед, — сказала я.

Эрнест встал.

— Ты только, пожалуйста, помни, что я хочу, чтобы мы с тобой поженились. И сейчас хочу этого, и завтра, и через месяц, и через год буду хотеть.

Откуда эта внезапная уверенность? — удивилась я.

Мы закрыли окна, опустили шторы, зажгли свет и выпроводили мужчин. Я была совершенно без сил.

— Господи! — сказала Конни, вернувшись из прихожей. — Надо же! Ты почему с ним так сурово обошлась? Могла бы, по крайней мере, выказать капельку милосердия. Доброты. Видишь, человеку одиноко. Не каждый день небось приходится выслушивать предложения от таких мужчин. Разве нельзя было отнестись к нему по-хорошему? Смотри, еще пожалеешь.

Мы почистили зубы и улеглись, снова выключив свет.

— Он слишком крупный, — сказала я, имея в виду и рост и масштаб. <...>

Эрнест был целиком поглощен людьми и делами Британских ВВС и проводил все время за городом, вблизи аэродромов, но все-таки иногда звонил мне в редакцию. Один раз мы с Чарли Вертенбейкером условились пообе-

дать в «Белой Башне» — у него была мысль направить меня на континент, чтобы я дала корреспонденцию о прифронтовой жизни наших частей: как они снабжаются продуктами, где спят, каковы санитарные условия, все это вдобавок к медицинскому обслуживанию, моей узкой специальности, — и тут позвонил Эрнест. Мы пригласили и его. С Вертом они уже к этому времени были свои люди, и я заметила, что Эрнест понабрался разных наших профессиональных выражений, интонаций, подначек, научился пренебрежительно подсмеиваться над социальными устоями, нравами, обычаями, над народными героями, в том числе и американскими. Теперь с ним тоже стало забавно разговаривать.

— Никогда не связывайся с писателями, — посоветовал он мне в тот день.

— Говори от своего имени и не обобщай, — басовито возразил Верт.

— Они все на самообслуживании, — продолжал Эрнест. — Один другого хитрее. Потому что скупы и не хотят платить ни деньгами, ни натурой. Скряги. Не признают старых долгов. И вообще, писатели так любят себя, что не способны оценить женщину. Даже такую красотку, как ты.

— Ну, не так уж она хороша, но годится, — уточнил Верт.

— Я вообще-то котируюсь за ум, — это я сказала.

Вскоре, когда я еще дожидалась, чтобы меня переправили во Францию с санитарными частями, Эрнест снова позвонил и пригласил меня пообедать. Мне пришлось в голову, и я так и сказала, что хорошо бы нам побродить по Челси, я бы показала ему мои любимые улочки, а потом мы бы пообедали, может быть, даже стоя, в одном из тамошних кабаков, в «Шести бубенцах», например, или в «Боулинг грин».

Он ответил:

— Да, конечно, — но как-то с опаской.

— Ты же знаешь один только Вест-Энд, а это еще не Лондон, — принялась было я его убеждать, но вскоре удостоверилась, что к изучению Лондона он совершенно равнодушен, и в конце концов мы оказались во французском ресторане на Джермин-стрит, где очень недурно готовили блюда из нерационированных овощей.

— Я бы хотел побольше узнать о тебе, — сказал Эрнест. — Ты говорила, что любишь корабли?

Я рассказала ему о кораблях, которые были мне знакомы, а он мне о своей горячо любимой «Пилар» — «только одна-единственная женщина к ней по-настоящему

хорошо относились» — и о том, как розовеют воды Гольфстрима в лучах зари.

— У тебя ноги, как у Прюди Боултон, — заметил он. — Крепкие.

И рассказал мне про смуглую индианку-чиппева, первую в его жизни женщину. А я рассказала ему о своих друзьях индейцах-чиппева Бобе Облаке и Джиме Громе, которые лихо управлялись на борту «Нортленда», но мой рассказ не шел так далеко, как его. В одном мы сошлись: что запах толокнянки, или индейского табака, как мы ее оба называли, самый приятный и запоминающийся на свете.

Если считать, что с этого обеда началось его ухаживание, то оно проходило в самой старомодной манере. Мы, как птицы, делали по очереди шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть, лучше усвоить форму и фон. После того вечера в отеле «Дорчестер», когда Эрнест объявил о своем намерении жениться на мне, больше об этом разговора не было. И вот теперь, выпив пару порций горькой и бутылку вина за обедом, он великодушно провозгласил:

— Я посвящу тебе книгу.

— Это что у тебя, такой стандартный прием покорения всех женских сердец? — с натужной иронией осведомилась я. — Ведь у тебя, насколько мне известно, книг не так много, как женщин. И напишешь: «с любовью»? — продолжала я.

— Я еще никому ни одной не посвятил, — сразу стал оправдываться он и добавил: — Да, с любовью, — на мой последний вопрос.

Шесть лет спустя он и вправду посвятил мне книгу — на мой взгляд, самую слабую из всех им написанных.

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Все с нетерпением ждали дня высадки. Когда это величайшее в мире шоу началось, большинство корреспондентов были слишком взволнованы, чтобы получать удовольствие от своей роли. На борту десантного судна Эрнест помог лейтенанту, командовавшему кораблем, установить курс на юг через очищенный от мин Канал. Брызги и пена захлестывали судно и окатывали команду. Эрнест вместе с ними высадился на берег на Фокс Грин Бич под сильным огнем, пробираясь среди противотанковых укреплений. Сзади них американский линкор «Техас» выпускал залп за залпом поверх штурмовавших берег судов. После каждого залпа в небо взмывали белье всполохи, 12-дюймовые орудия «Техаса» громили укрепленные пункты на Шербургском полуострове. Я наблюдал эту картину, находясь позади линии штурмовавших судов.

Эрнест рассказывал мне потом:

— Этот линкор выглядел огромным и грозным. Его вид как-то успокаивал — успокаивало сознание, что эта могучая посудина швыряет свои снаряды через наши головы туда, где нам предстоит высаживаться. Нам казалось, что кто-то может позвонить им по телефону и попросить укладывать снаряды чуточку ближе, хотя осколки могли достать нас.

Я спросил его о вражеской авиации.

— Ни одного самолета, о котором стоило бы говорить. Я думаю, что нас на сотни миль в глубь материка прикрывали истребители. Мы даже высадились в назначенное время. — Эрнест не скрывал своего удовольствия от рассказа. — Насколько я мог видеть, суда были позади нас и по обе стороны от нас. Добраться до берега было нетрудно. Это между Изи Ред и Фокс Грин, к западу от Тьонвилля над нами высились отвратительные обрывы — немцы создали там великолепный сектор для обстрела. И

как только мы дошлепали до берега, они взялись за дело. А целый взвод наших парней выпрыгнул на песок, думая, что это наш огонь прикрытия. Они залегли там под ливнем металла. Похоже было, что они не понимают, что сверху их прекрасно видно и немцы с каждой минутой пристреливаются все точнее. Я обернулся — пули ложились все ближе. Около меня оказался лейтенант. «Вперед, парень, — сказал я ему, — еще минута, и они к нам пристреляются». Он отрицательно мотнул головой. Тогда я сказал: «Мать твою так-то и так-то, надо выбираться на берег, где мы сможем отстреливаться». И я двинул его в зад. Это подействовало. Он, конечно, мог пристрелить меня из автомата, но вместо этого он со своими солдатами побежал вперед, вслед за мной. А те, кто задержался на песке, так там и остались.

Я рассказал Эрнесту о том, как мне самому повезло на побережье, а потом спросил:

— Где Марта?

— Она сделала все возможное, чтобы принять участие в высадке, — сказал Эрнест, воздавая ей должное. — Устроилась на госпитальное судно. Нашла там много интересных людей. Но высадиться на берег ей не разрешили, поскольку она не была аккредитована на эту операцию. Конечно, полное безобразие. Впрочем, она собрала хороший материал и вернулась сюда, в Англию. <...>

Предвидение Эрнеста и счастливый выбор им именно 4-й пехотной дивизии имели своей первопричиной просто его везение и некоторый военный опыт. Он безошибочно следовал своему врожденному инстинкту куропатки. Куропатку редко удается подстрелить, потому что она, похоже, заранее знает, что произойдет.

Эрнест был на месте, когда сражающиеся части разных полков пошли в наступление, как только авиация проделала им дырку в обороне противника. Он сопровождал один полк, когда тот преследовал немцев. Он присутствовал при сильной танковой контратаке немцев, которая угрожала сокрупить эту часть и выбить ее с прикрытых лесом позиций между Вилледу и Авранчем. Генерал Коллинс, прозванный «Молниеносный Джо», командующий 8-м корпусом, похвалил 4-ю дивизию «за ее большой вклад».

После этого, во время быстрого наступления в районе Сен-По Эрнест понял, что именно эта часть может быстрее всех дойти до Парижа и взять его. Когда корреспонденты спросили генерала Бартона, что происходит на его участке фронта, он сказал: «У меня на карте всегда вотк-

нуга булавка, обозначающая местопребывание старины Эрни». Генерал объяснил, что «Эрни находится впереди линии фронта», и добавил, что о таком военном корреспонденте можно только мечтать, чтобы он был с тобой или рядом, когда боевой задачей является захват территории. Эрнест вынюхивал, где можно найти разведывательные сведения, как правило, добывал их и немедленно доставлял командованию. Эти сведения оказывались именно такими, какие мог раздобыть хороший разведчик, и они всегда были точными. Чего еще можно было желать?

Эрнесту недоставало тогда малого: выспаться, отдохнуть, принять горячую ванну. В джипе Эрнеста вместе с ним ехали сначала два, а потом три молодых участника французского Сопротивления. Это были Жан Декамп, бывший кинооператор фирмы «Патэ», Марсель и Ришар, в активе которых были серьезные подвиги в Сопротивлении. Еще один молодой человек, тоже Ришар, присоединился к ним в Сен-По, но позднее был ранен и выбыл. Эти бойцы путешествовали на заднем сиденье джипа, а за рулем сидел Рыжий Пилки из штата Нью-Йорк. Настоящее имя Рыжего было Арчи, но он ненавидел его. Пилки был забавный, но смелый мужик.

В первую неделю августа Эрнест оказался значительно дальше впереди, чем должен был быть. 4-й дивизии приказано было отражать контрнаступление войск генерала фон Клюге, который бросил свои танковые части в западном направлении. Все три полка 4-й дивизии понесли тяжелейшие потери. В батальонах оставалось не более двухсот человек. 12 августа около Мортена контрнаступление захлебнулось, и с этого момента отступление немцев превратилось в бегство.

Перед 4-й дивизией и 2-й французской бронетанковой дивизией путь на Париж был открыт. К тому времени Эрнест находился в Рамбуйе. Здесь он остановился, понимая, что необходимо получить подкрепление и выяснить силы противника в этом районе.

— Жан и Ришар, — рассказывал мне спустя неделю в Париже Эрнест, — приводили ко мне местных жителей, которые знали, что происходит вокруг. Марсель отвечал за пленных. Мы с Рыжим устроили нашу штаб-квартиру в отеле «Гран Венер», где остался превосходный винный погреб. Когда местные жители приходили с важными сведениями, я сам допрашивал их. У нас имелись совершенно бесценные карты.

Его личная система разведки была абсолютно четкой. Он говорил Жану: «Пошли этих людей на велосипедах по всем дорогам. Я хочу, чтобы они непосредственно прове-

рили каждый кусок леса. Мы должны знать, где расположены танки противника, сколько их, какие они и, если возможно, насколько они обеспечены боеприпасами. Скажи им, что мне не нужны приблизительные данные. Пусть они не рассказывают мне о танках, пока не потрогают их собственными руками».

Вскоре Эрнест имел полную картину во всех деталях. Для него работать с этими молодыми бойцами Сопротивления было так же естественно, как писать короткими, ясными фразами. Он всю жизнь участвовал в своем собственном Сопротивлении.

Во время поездок его ребята распевали:

Авеню де Гобелен, дом два,
Авеню де Гобелен, дом два,
Авеню де Гобелен, дом два,
Вот там живет мой Бэмби.

Эту песню Эрнест, живя много лет назад в Париже, заставил своего маленького сына выучить наизусть на случай, если мальчик потеряется.

Полковник Дэвид Брюс, командовавший американской стратегической разведкой в Северной Европе, приехал в Рамбуйе как раз тогда, когда разведывательная сеть начала действовать. У них с Эрнестом оказалось множество общих знакомых, и они легко нашли общий язык. Это была настоящая боевая операция, и без ее успеха Брюс никогда не смог бы использовать Париж для своих будущих разведывательных действий.

— Командовал полковник, — рассказывал мне Эрнест, — но он мне дал закончить то, что я начал, потому что это приносило фантастические результаты. На местных жителей можно было полностью положиться, они вели себя так, как должны вести себя люди в напряженной ситуации, зная, что их могут контратаковать и ликвидировать в любой момент. Кроме того, честно говоря, я ведь работал и для их страны. Они совершенно трогательно доверяли мне.

Потом он рассказал мне о дезертирах из немецкой армии, и о местных девушках, и о крикливом военнопленном, которого они поставили чистить картошку на кухне отеля, предварительно сняв с него штаны, чтобы он не сбежал. Эрнест описал мне, как они обедали с начальником штаба генерала Леклерка и с агентом союзной разведки, оперировавшей в этом районе. Эрнест и Брюс нарисовали схемы и передали начальнику штаба свои карты, утихомирив его таким образом, и почувствовали, что выполнили свой долг.

Однако генерал Леклерк был весьма невысокого мнения о всех пгтатских, а корреспондентов выделял в особую категорию, вероятно считая их еще хуже пгтатских. Эрнесту запретили сопровождать колонну Леклерка, которая была избрана союзным командованием для освобождения Парижа.

Тогда Эрнест пропал с глаз начальства. Никто не видел его. Он просто исчез.

— У меня все еще была та пробка от шампанского, что дала мне горничная в «Дорчестере», когда я собирался лететь на бомбардировщике, — говорил он мне потом. — Такие вещи не имеют денежной стоимости. Они бесценны. Она сказала, что эта пробка принесет мне удачу, и кого же ты видишь перед собой? Самого счастливого парня из всех, кого я знаю!

Он рассмеялся.

Уклонившись несколько в сторону, Эрнест с ребятами из «Сражающейся Франции» на заднем сиденье джипа ехал параллельно одной из колонн Леклерка до окраины Версаля. Отсюда они стали пробираться вперед окольными дорогами, а части Леклерка в тот вечер задержались из-за сильного сопротивления противника.

25 августа Париж был охвачен волнениями. 4-я дивизия быстро продвигалась. Офицеры штаба смогли поспать накоротке только в двадцати милях к югу от города. К утру 8-й и 22-й полки дошли до Бульвар д'Орлеан — отсюда парижане буквально внесли солдат на своих плечах в город. Солдаты разъезжали на реквизированных грузовиках. Они пили пиво, которым их угощали. Временами они стреляли, когда этого требовали обстоятельства. К полудню 3-й батальон 12-го полка дошел до собора Парижской богоматери.

Когда в пятницу вдали стала видна Эйфелева башня, Эрнест совсем расчувствовался, и им завладели воспоминания.

— Вот он, Панам, — задумчиво сказал он.

— Что ты сказал, Папа? — заинтересовался Рьжкий Пилки, лавируя среди возможных огневых точек.

— Это Панам — так называют Париж люди, которые его очень любят.

Их джип вскоре присоединился к группам солдат 4-й дивизии, входивших в этот город, который так любил Эрнест. Он заехал к Сильвии Бич и, найдя ее в полном порядке, показал Рьжему путь к площади Согласия и отелю «Ритц». Взяв оружие на изготовку, они выскочили из джипа и двинулись через подвалы отеля, захватив по дороге в плен двух немецких солдат и отметив, что в подвалах большой запас коньяков. Потом они осмотрели верхние

этажи. Эрнест выбрал себе номер, расставил охрану, проверил служащих отеля и вернулся на улицу, готовый к любой возможной ситуации. Их оказалось много. В основном приятных. Были тревоги, выезды, приветствия прибывших позднее. Приходилось успокаивать толпу, жаждавшую остричь наголо многих местных девушек, общавшихся с нацистами. И случалось довольно много выпивать.

— Наши друзья добрались сюда в добром здравии, — сказал мне Эрнест. — Насколько нам известно, ни один из газетчиков не пострадал. Немцы отступают. Я зарегистрировался в дивизии, и, пока она не вернется на родину, для меня там найдется кусок пирога, как говорят английские летчики. — Эрнест ухмыльнулся. — Это чертовски паршивая работа — добывать информацию о сопротивлении врага, — добавил он и стал рассказывать мне о разведывательной работе.

— Что произошло с Леклерком? — спросил я.

— Он был очень груб и послал нас подальше, что мы и сделали. И обошли его на подходах к городу. Но если уж говорить о шутках, то я здорово посмеялся над одним джентльменом, очень серьезным типом, который появился здесь вместе с начальником штаба Леклерка. Мальчишка, но в чине. Поэтому разговаривал со мной свысока. Долго рассматривал вот это, — Эрнест дотронулся до своего шрама на голове, — а потом говорит: «Что вам помешало дорасти до капитана? В вашем возрасте у вас уже должен быть некоторый опыт. Я думал, наши американские друзья более щедры на присвоение званий». А я ему в ответ: «Друг мой, для этого есть одна простая причина. Я не умею ни читать, ни писать». Ты бы видел его лицо. Сначала он не поверил мне. Потом поверил. Потом стал сожалеть, что завел этот разговор. Вот это было дело», — Эрнест затрясся от хохота.

Вскоре дружеским отношениям между журналистами пришел конец. Желание помогать друг другу уступило место явному стремлению обойти конкурентов и выдвинуться. Эрнест не хотел участвовать в этой борьбе. В последующие несколько дней я услышал много разных толков. Приехали припоздавшие корреспонденты, и начались пререкания.

«Как это получилось, что Хемингуэй оказался здесь первым, а мы были вынуждены ждать?»

Эти люди, обуреваемые ревностью и завистью, стали изыскивать способы причинить Эрнесту неприятности. Вскоре он узнал, что против него начато расследование по обвинению в том, что он нарушил статус военного корреспондента. Эрнест понимал, что это может привести к удалению его с театра военных действий как раз в это трудное, напряженное время.

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

В первый день нашего пребывания в Рамбуэе все мы находились в большом напряжении, потому что немецкие танки стояли у самого города, так что они в любой момент могли вновь войти туда.

Хемингуэя повсюду сопровождал джип, набитый людьми из французского Сопротивления. Они были преданы ему и безоговорочно приняли его лидерство. На второй день, во многом благодаря Хемингуэю, мы создали хорошо организованный, хотя и маленький штаб, помещавшийся в местном отеле, откуда бойцы Свободной Франции делали вылазки, чтобы вызвать вражеский огонь на себя и засечь места сосредоточения противника.

Спальня Эрнеста стала нервным центром этих операций — юноши и девушки на велосипедах привозили ему информацию даже из Версаля. В одной рубашке, без куртки, он принимал разведчиков, беженцев из Парижа, дезертиров из немецкой армии. Весь номер был завален всевозможными армейскими принадлежностями, на постели лежали револьверы самого разного происхождения. Ванна была заполнена ручными гранатами, из таза торчали горлышки бутылок с бренди, а под кроватью хранился склад виски, выдававшегося в армейском рационе.

К этому времени мы наладили несколько несовершенную, но действенную систему контрразведки. На третий день немецким огнем убило одного из наших партизан, а потом к нам неожиданно хлынули американские и канадские корреспонденты. Эти только что появившиеся здесь журналисты очень взволновались, не обнаружив в Рамбуэе на пути в Париж союзных войск. Свое разочарование они старались утопить в виски, сохранившемся в винном погребе отеля. Некоторые из них стали выражать недовольство Эрнестом, главным образом в связи с тем, что

он первым оказался на месте действия. Он был вынужден отшвырнуть в сторону парочку из них, что, в дополнение к разбитым носам, вызвало у них ревнивые обвинения Хемингуэя в том, что он использовал оружие против немцев, что являлось нарушением статуса военного корреспондента. <...>

Я восхищался Эрнестом как писателем, как моим другом, как военным специалистом и стратегом, хладнокровным, находчивым, обладавшим творческим воображением. <...>

Французский генерал Леклерк прибыл в Рамбуе на четвертый или пятый день, и Эрнест, я и Мугар — бесценный и знаменитый разведчик — доложили офицеру его разведки детальные сведения о силах противника между нами и Парижем, вдоль всех дорог, со схемами препятствий, которые могли встретиться на пути к городу.

ИЗ КНИГИ «СЛЕГКА НЕ В ФОКУСЕ»

Эрнест Хемингуэй прислал мне в Гранвиль весточку. С самого начала французской кампании он был причислен к Четвертой пехотной дивизии. Он писал, что пехота на войне — это именно то, что необходимо фотокорреспонденту и что хватит мне валять дурака и тащиться за танками. Он прислал за мной захваченный недавно роскошный «мерседес», и я, хотя и без особой охоты, влез в машину, которая и отвезла меня к нему на боевые позиции.

Сорок восемь швов не оставили видимых следов на черепе Папы, а неописуемую свою бороду он сбрил. Принял он меня суховато. Он стал почетным воином Четвертой дивизии и пользовался всеобщим уважением как за мужество и знание военного дела, так и за свои произведения. В дивизии у него была своя собственная небольшая армия. Главкомандующий генерал Бартон прикрепил к нему офицера по связи — лейтенанта Стивенсона, бывшего помощника Тедди Рузвельта. Ему выделили также повара, шофера, бывшего чемпиона по мотоспорту, который выполнял функции фотокорреспондента, и ко всему этому — персональный запас виски.

Формально все они числились офицерами по связи, однако под влиянием Папы они превратились в банду кровожадных индейцев. Как военный корреспондент, Хемингуэй не имел права носить оружие, но вся его команда была экипирована всеми мыслимыми видами вооружения как немецкого, так и американского образца. Они были даже моторизованы: помимо «мерседеса», они захватили еще мотоцикл с коляской.

Папа сказал, что в нескольких милях от нас шел интересный бой, который, по его мнению, следовало посмотреть. Мы положили в коляску виски, несколько автома-

тов, связку ручных гранат и отправились в том направлении, где шел бой.

Восьмому полку Четвертой дивизии поставили задачу отбить у противника небольшой городок, и Папа все заранее рассчитал и спланировал. К тому времени Восьмой полк уже час как начал атаку с левого фланга деревни, и Хемингуэй был уверен, что если мы срежем путь, то без особых трудностей подьем к деревне с правого фланга.

Он показал мне по карте, как все это просто сделать, но мне это совсем не понравилось. Папа взглянул на меня с презрением и процедил сквозь зубы, что я могу и не ехать. И мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним, дав ему, однако, понять, что я все равно против. Я объяснил ему, что венгерская стратегия состоит в том, чтобы двигаться следом за солдатами и никогда не предпринимать вылазок в одиночку на ничейной территории.

Итак, мы отправились по дороге, ведущей в деревню: Папа с его рыжим водителем, впереди на велосипеде — фотограф, а лейтенант «Стиви» и я — ярдах в 5-ти позади. Мы двигались осторожно, время от времени сверяясь с картой. Наконец мы добрались до последнего крутого поворота, за которым дорога сворачивала прямо в город. Никакой стрельбы со стороны деревни, однако, не доносилось, и я начал чувствовать себя крайне неудобно. Папа презрительно поглядел на меня, и, протестуя еще энергичнее, я снова последовал за ним. Когда он завернул за поворот, в десяти ярдах от него что-то мощно ухнуло: это разорвался снаряд. Его подбросило в воздух, и затем он приземлился в кювет. Рыжий и фотограф, который сразу же бросил свой велосипед, отступили. Мы четверо, застыв по эту сторону поворота, были в безопасности. Но отнюдь не Папа — по ту сторону. К тому же кювет был неглубокий, и его зад высовывался из него по меньшей мере на дюйм. Трассирующие пули взметали грязную землю прямо над его головой, и ни на секунду не прекращал стрельбы стоявший у въезда в деревню легкий немецкий танк. Два часа Папа был пригвожден к этому кювету, пока немцы не нашли более достойную мишень, а именно запоздавший Восьмой полк.

И тут Папа сделал мощный бросок и оказался на нашей стороне. Он был в ярости. И не столько на немцев, сколько на меня, обвинив меня в том, что все то время, когда ему приходилось так туго, я только и ждал момента, чтобы сделать первый снимок мертвого тела знаменитого писателя.

В тот вечер отношения между стратегом и венгерским военным экспертом оставались несколько напряженными.

А дорога звала на Париж. Третья армия достигла Лавала, примерно в 60 милях от Парижа, и я поспешил вдогонку за ней. Немного стрельбы тут и там, еще одна колонна деморализованных пленных немцев, еще один город, названный в сводках, и мы прибыли в Рамбуе. Это был наш последний рубеж перед Парижем, но на нем мы были вынуждены задержаться — на этот раз по политическим мотивам.

В Париже в это время восставшие парижане сражались один на один с немцами на улицах города. Высшее союзное командование приняло решение, что в сложившихся обстоятельствах первой в Париж, как передовая часть Армии освобождения, вступит Вторая французская бронетанковая дивизия, краса и гордость новой армии де Голля, полностью вооруженная американцами.

Дивизия стояла в Рамбуе, готовясь к последнему броску. Это было весьма смешанное воинство. Французские моряки, завоевавшие славу вместе с Монтгомери в Ливийской пустыне, все еще носившие свои старые морские береты с красными помпонами. Испанские республиканцы и черные сенегальцы, французы, бежавшие из немецких концентрационных лагерей, — на всех лицах уверенная усмешка выдавших виды бойцов.

В Рамбуе съехались и писатели из разных стран мира, и аккредитованные военные корреспонденты, и все они всеми правдами и неправдами стремились первыми войти в Париж, чтобы написать свою историю «Огней большого города».

Хемингуэй захватил Рамбуе задолго до прихода французской Армии освобождения, равно как и нашествия армии газетчиков. В его личную армию из четырех человек завербовалось несколько молодых энтузиастов из Сопротивления, и она выросла до пятнадцати единиц. Это разноплеменное воинство во всем подражало Папе, копируя его морскую медвежью походку и выплевывая из угла рта короткие фразы на разных языках. Ручных гранат и бренди у них было больше, чем у целой дивизии. Каждую ночь они делали вылазки, охотясь за оставшимися между Рамбуе и Парижем немцами. На этот раз в армии Папы не нашлось места для венгерского эксперта, и я присоединился к Чарли Вертенбейкеру, у которого был собственный джип для броска в Париж.

Двадцать четвертого августа французы расчехлили танки и умчались. Ночь на двадцать пятое мы провели под дорожным знаком «Порт Орлеан — 6 км». Это был самый лучший дорожный знак, под которым я когда-либо ночевал.

В то утро солнце взошло так рано, что мы не стали утруждать себя чисткой зубов. По мостовой уже грохота-

ли танки. В это счастливое утро, когда мы тронулись в путь, даже наш водитель — рядовой Стрикленд — забыл о своих виргинских манерах и каждые пять минут тыкал в ребро моего высокочтимого босса.

В двух милях от Парижа дорогу нашему джипу преградил танк из Второй французской бронетанковой дивизии. Нам было сказано, что дальше ехать нельзя: генерал Леклерк отдал строгий приказ не пропускать в Париж никого, кроме воинов Второй французской бронедивизии. Старина Вертенбейкер был явно огорчен. Я вылез из джипа и стал объясняться с танкистами. Они отвечали по-французски с испанским акцентом. И тут я увидел название танка: на его орудийной башне было написано слово «Теруэль».

Зимой 1937 года вместе с испанскими республиканцами я участвовал в битве за Теруэль, ставшей одной из их величайших побед. И я сказал танкистам: «No hay derecho¹. Будет очень несправедливо, если вы не пропустите меня. Я же из vosotros — из ваших — и вместе с вами участвовал в той жестокой битве». — «Если это verdad² и ты на самом деле говоришь правду, — отвечали они, — то ты действительно один из nosotros и, конечно, должен въехать в Париж вместе с нами на этом verdadero³ танке из Теруэля!»

Я взобрался на танк. Чарли и Стрикленд последовали за нами в джипе.

Дорога на Париж была открыта. Все парижане вышли на улицы, и каждый хотел потрогать первый танк, поцеловать первого бойца, петь и плакать. Никогда еще не бывало в такое раннее утро в городе так много счастливых людей.

Мне казалось, что этот въезд в Париж был устроен специально для меня. Я возвращался в Париж, в прекрасный город, где я впервые научился есть, пить и любить, возвращался на танке, сделанном американцами, которые приняли меня к себе, и ехал на нем с испанскими республиканцами, вместе с которыми я сражался против фашизма в далекие прошлые годы.

Тысячи лиц в фокусе моей камеры все больше расплывались: мой видеокамерист стал совсем мокрым. Мы ехали через квартал, где я прожил шесть лет, ехали мимо моего дома на Лион де Бельфор. Моя консьержка махала платком, а я кричал ей с катящего мимо танка: «C'est moi, c'est moi!»⁴

¹ Так нельзя (*исп.*).

² Правда (*исп.*).

³ Взаправдашнем (*исп.*).

⁴ Это я, это я! (*фр.*)

Первая наша остановка была у «Кафе де Дом» на Монпарнасе. Мой любимый столик был свободен. Девушки в легких цветных платьях вскарабкались на наш танк, и вскоре наши лица покрылись пятнами губной эрзац-помады. Самый красивый из моих испанцев, которому досталось ее больше всех, однако, пробормотал: «Я предпочел бы поцелуй самой уродливой старухи в Мадриде всем поцелуям самых прекрасных девушек Парижа!»

Около Палаты депутатов нам пришлось принять бой, и помаду с некоторых лиц смыла кровь. Поздним вечером Париж был полностью освобожден.

Я хотел провести свою первую ночь в городе в лучшем из лучших отелей — в «Ритце». Но отель оказался уже занятым. Армия Хемингуэя вошла в Париж другой дорогой и после короткого удачного сражения за свой главный объект — отель «Ритц» — овладела им, освободив его от немецких вояк. Ръдкий стоял на страже у входа, счастливо ослабившись отсутствующими передними зубами. Очень точно имитируя Хемингуэя, он сказал: «Папа захватил хороший отель. Полно выпивки в погребе. Быстро двигай вверх».

Все так и было. Папа помирился со мной, устроил в мою честь прием и к тому же выдал ключ от лучшего номера в отеле.

ИЗ КНИГИ «ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

По утрам, около одиннадцати, нацистские танки появлялись со стороны Люксембургского сада и следовали по бульвару Сен-Мишель, беспорядочно стреляя по сторонам. Для тех из нас, кто стоял в очереди у булочной в ожидании хлеба, это было чрезвычайно неприятно. И еще мне очень не нравилась стрельба вдоль улицы. Дети, занятые нашей обороной, строили баррикады из мебели, печурок, мусорных ящиков и тому подобного в конце рю де-л'Одеон; за ними прятались молодые люди с нарукавными повязками «F.F.I.»¹ и со странным набором вышедшего из употребления оружия и целились в немцев, которые занимали позиции на ступенях театра в начале улицы. Солдаты эти представляли большую опасность, но мальчики из Сопrotивления ничего не боялись и безусловно сыграли важную роль в освобождении Парижа.

В конце концов я ушла из студенческого общежития и вернулась к себе на рю де-л'Одеон. Ходить взад и вперед становилось очень уж неприятно. После одного страшного случая мы с Адриенной вообще перестали выходить на улицу. В тот день мы услышали, что «они» уходят, и присоединились к ликующей толпе парижан, которые, распевая и размахивая щетками для чистки унитазов, шли по бульвару Сен-Мишель. Мы чувствовали себя освобожденными и были настроены очень весело. Но случилось так, что «их» моторизованный отряд, покидая Париж, как раз в этот момент вступил на улицу. «Им» не понравилось наше ликование, «они» разозлились и начали поливать из пулеметов толпу на тротуарах. Мы с Адриенной — как и все прочие — легли плашмя на асфальт и стали ползком продвигаться к ближайшему подъезду. Когда стрельба

¹ Forces Francaises de l'interieur — Французские Внутренние войска.

стихла и мы поднялись, на тротуарах были пятна крови и санитары из Красного Креста укладывали на носилки раненых.

Стрельба на улицах продолжалась, и мы уже начали уставать от нее, и вот как-то днем целая колонна джипов появилась у нас на улице и остановилась прямо перед моим домом. Низкий, густой голос позвал: «Сильвия!», и, вторя ему, все сидевшие в джипах дружно заорали: «Сильвия!»

— Это Хемингуэй! Это Хемингуэй! — закричала Адриенна.

Я кинулась вниз по лестнице, и мы налетели друг на друга. Он поднял меня, закружился со мной и расцеловал под одобрительные возгласы и аплодисменты собравшихся на улице и выглядывавших из окон соседей.

Мы поднялись наверх в квартиру Адриенны и усадили Хемингуэя. Он был в походной форме, очень грязный, запачканный кровью. Попросил у Адриенны мыла, и она отдала ему свой последний кусок.

— Могу ли я что-нибудь для вас сделать? — спросил он.

— Нельзя ли угомонить как-то нацистских снайперов, прячущихся на крышах домов, в особенности на крыше дома Адриенны? — попросили мы.

Он приказал своему отряду высадиться из джипов и повел их на крышу. В последний раз на рю де-л'Одеон слышны были выстрелы. Хемингуэй со своими солдатами спустился вниз, и они укатили — «освободить», по его выражению, погреба отеля «Ритц».

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Я подошла к входу в отель «Ритц» с Вандомской площади и справилась у швейцара, моего знакомого с 1940 года, не проживает ли в настоящее время в отеле месье Хемингуэй?

— Ben sûr! — ответил швейцар и направил меня в 31-й номер. Поднимаюсь в нарядном лифте, честь по чести, с лифтером в униформе и белых перчатках, стучусь в 31-й номер и спрашиваю открывшего мне конопатого солдата, здесь ли сейчас мистер Хемингуэй.

— Папа, тут какая-то пришла! — гаркнул в комнате рядовой 1-го класса Арчи Пилки. Эрнест приветливым вихрем выскочил в прихожую, облапил меня, как медведь, и закружил, так что мои ноги под действием центробежной силы оторвались от пола и чуть ли не задевали стены. В комнате у него на голом полу сидело двое или трое друзей из французского Сопротивления, с которыми он был наразлучен после Рамбуйе. Они попеременно чистили винтовки и попивали шампанское. Да, письмо мое он получил в Нормандии и перечитывал каждый день, покуда оно не потерялось. Мы обменивались накопившимися за месяц новостями, болтая на смачной смеси английских ругательств с французскими литературными и жаргонными оборотами и при этом утоляя жажду шампанским из бутылки, которая возвышалась на изящном сером амбирном столике возле балконной двери. Один из французских друзей Эрнеста кончил работу и уснул, разлегшись на роскошной супружеской кровати отеля «Ритц» и запросто вытянув ноги в пыльных, грязных сапогах на атласном шелковом покрывале. Эрнест возбужденно описывал, как он с французскими добровольцами захватил и удерживал Рамбуйе. Предлагал немедленно туда отправиться и все посмотреть на месте.

Но я должна была закончить какую-то работу и ушла, пообещав скоро вернуться.

¹Разумеется (фр.).

— По крайней мере, давай поужинаем вместе,— сказал мне вдогонку Эрнест.

— А как же,— отозвалась я, что в тот субботний парижский вечер двадцать шестого августа нельзя было считать обязательством в полном смысле слова.

Спустившись в вестибюль отеля со стороны Вандомской площади, я спросила знакомого швейцара, не найдется ли номера для меня?

— Разумеется, мадам,— ответил он.

— Багаж я доставлю ближе к вечеру.

— Ваш номер — 86.

Восемьдесят шестому номеру в отеле «Ритц»,— где имелся парчовый шезлонг в золотых розах, стояли две кровати с медными спинками, над камином была мраморная каминная полка с бронзовым медальоном в виде изящной ампирной головки, на серо-голубой стене висели небольшие точные электрические часы, в углу помещался массивный серый туалет с зеркалом и с розовой оборчатой подушечкой для булавок, а в окно открывался вид на сады позади Министерства Юстиции и долетали детские голоса, когда в школе на улице Камбон бывали перемены,— этому номеру суждено было послужить мне домом начиная со следующего утра и до конца марта. Но не без осложнений.

Отбив на родину телеграмму из тысячи слов: уличные сценки, звуки, песни и обрывки разговоров текущего дня,— я со всех ног бросилась обратно на площадь Согласия. Начиная отсюда, Елисейские поля до самой площади Звезды представляли собой сплошную массу движущегося народа. Перецеловавшись на ходу с сотнями людей и просочившись мимо парижских полицейских, отгеснявших публику на тротуары, я уже почти добралась до Триумфальной арки, когда по Елисейским полям начали свой марш солдаты Леклерка. Я держала в руке блокнот и заносила в него имена участников парада, французов и американцев, их родные города и мирные профессии, а также фамилии деятелей, которые стояли на временной трибуне на площади Согласия рядом с де Голлем и каким-то американским генералом. Я, как новичок-газетчик, ко всем обращалась с расприками и восторженно слушала несмолкавший гул приветствий, аплодисментов, приветственных возгласов «Vive la France!»¹, а часто и «Vive les Américains!»² В тот день в пылу восторга я познакомилась с пятью или шестью парижанами, с которыми позже встречалась во Франции и потом еще долго перепи-

¹ Да здравствует Франция! (фр.)

² Да здравствуют американцы! (фр.)

сывалась.

Возле собора Парижской богородицы строй марширующих растаял, и военные разошлись, но тысячи простых французов хотели непременно присутствовать на благодарственном молебне, который должен был состояться там, в их главном храме, при всем своем грандиозном размере не способном вместить желающих. Мне лично удалось туда провикнуть благодаря штабной нашивке на рукаве и даже услышать под холодными темными сводами голоса певчих, а заодно и несколько винтовочных выстрелов, внесших оживление в торжественную службу. Впрочем, они, по-видимому, были сделаны случайно, и никто не пострадал. Вернувшись в корпус, я настроила еще одну длинную телеграмму, получила «добро» у цензоров и сдала измученным телеграфистам. А потом пришла в гостиницу к Эрнесту и застала его в неосвещенном номере одного. <...>

Ослепительная луна серебрила высокие крыши. Мы перешли через улицу в тень и неторопливо побрели домой, полной грудью вдыхая теплый ночной воздух, в котором уже почти не чувствовалось пороха и гари. Эрнест вполголоса рассказывал о Париже своей молодости.

— Лучший из городов мира.

Мне он придумал ласковое прозвище: «Огурчик».

— Ты согласна стать моим Огурчиком, острым и соленьким?

— С укропчиком и кошерным, ведь ты — Хемингстайн, — отзывалась я. В городе еще могли быть снайперы, но я радовалась отсутствию самолетов-снарядов.

В вестибюле «Ритца», когда мы притопали, уже никого не было, кроме дежурного ночного сторожа. (Этот отель после полуночи превращался в некое подобие пансиона для благородных девиц.) Я чувствовала, что у меня не хватит сил освоить сегодня свой новый восемьдесят шестой номер, взобралась по лестнице на второй этаж к Эрнесту, едва скинув платье, рухнула в кровать и сразу же заснула. Соседняя кровать была завалена грудой французских винтовок, гранат и других металлических предметов.

Утром, сравнительно рано, меня разбудило шипение раскупориваемого шампанского.

— Доброе утро, — сказала я. — Благодарю за ночлег. Сегодня я переберусь к себе.

— Ты всю ночь храпела. Ты очень хорошо храпишь, — без тени неудовольствия проговорил в ответ Эрнест. И вообще он был вполне бодр. Он же не пробегал накануне шестнадцать часов кряду по улицам Парижа.

— Это — неизбежный риск, когда заводишь шашни в

Париже, да еще в августе месяце.

Я с удовольствием выпила бокал сухого шампанского и позвонила в колокольчик, чтобы принесли кофе. От моего наблюдения ускользнуло, что молчаливый Арчи Пилки уже заваривал кофе на армейском примусе, который он развел в пустом очаге камина.

Среди писем Эрнеста ко мне есть датированное 27 августа. Это — его первое написанное на машинке из Франции письмо. На тонкой бумаге, затертое до дыр, неоконченное и неподписанное.

Поскольку я появилась в Париже вечером в пятницу 25 августа, ночевала в дешевой гостинице через улицу от корпункта, а к Эрнесту прибежала на минутку утром в субботу, 26, это письмо он, по-видимому, начал писать в то же самое утро и пометил следующим днем, но недописал, поскольку мы увиделись, а просто сложил и сунул в карман. Он вообще не выбрасывал ни одной бумажки.

«Только что приехал в «Ритц», нашел твое письмо и очень рад», — пишет он. Задолго до того, как мы договорились, не очень определенно, но в принципе, встретиться в «Ритце», я уже писала ему письма из Лондона, наполняя их всевозможными подробностями жизни вперемежку с самыми беспомощными изъявлениями чувств.

Он описывает в этом письме свои приключения с французскими партизанами на подступах к Рамбуе, а потом перескакивает на рассказ о том, как они въезжали в Париж и он находился рядом с полковником С.-Л.-А. Маршаллом, официальным историографом войны, а прежде — детройтским газетчиком, и заканчивает вопросом: «А что бы тебе сюда не приехать?» На протяжении нескольких месяцев на европейском театре военных действий жизнь у всех была такая сумбурная, что невозможно было даже поддерживать нормальную переписку. <...>

Эрнест устроил себе небольшие каникулы — он все эти месяцы по собственной инициативе двигался в авангарде частей 4-й пехотной дивизии, собирая для них с помощью друзей-французов сведения о численности и расположении вражеских войск, — и я, не вняв басовитым полупоощрительным возражениям Вертенбейкера, бросила все дела в корпункте «Тайм инкорпорейтед». День за днем мы либо пировали, либо бродили по парижским улицам, предаваясь обоим восторженным воспоминаниям молодости. И показывали друг другу любимые места и виды.

В горизонтальном положении мы удостоверились в том, что оба знали и раньше: избыток смеха подрывает силу страсти. Но нам это было не важно. Я, бывало, ска-

жу: «Ну, хорошо, а как бишь тебя звать-то, солдатик?» И мы оба покатывались со смеху. Мы прожили эти несколько дней так, будто в нашем распоряжении — вечность, без войн и посторонних забот. И чувства наши были много богаче и острее, чем в обычной жизни. «Вот она какая, — торжественно произнес как-то утром Эрнест, — наша с тобой настоящая жизнь!» <...>

Как-то вечером мы забрели на улицу Флерю. Консьержка дома № 27 сообщила нам, что мисс Стайн и мисс Токлас еще не вернулись после лета в город. Эрнест оставил записку. В другой раз мы зашли в студию Пикассо (французы, как я узнала, произносят его фамилию с ударением на последнем слоге) и застали месье Пикассо дома. Он встретил Эрнеста с распростертыми объятиями, и, пока мы с его любовницей Франсуазой Жило, молчаливой, темноволосой, стройной девушкой с движениями змеи, скромно держались в отдалении, Пикассо водил Эрнеста по просторной, холодной мастерской и показывал работы последних четырех лет.

— Боши меня не трогали, — рассказывал он. — Работы мои им сильно не по вкусу, но мер ко мне не применяли. (А для меня все это было бесценным материалом, из которого вышла статья в разделе искусства журнала «Тайм».)

Он показал нам чуть ли не полгъщи полотен, абстракций, двух- и трехпрофильные портреты, несколько более или менее репрезентативных пейзажей, на картоне и на деревянных досках, и уйму композиций, смысл которых я даже отдаленно не могла угадать.

— Tu sais¹, у меня возникали трудности с холстом и красками, — объяснял он Эрнесту. Они были на «ть». — Но удалось их преодолеть. — Пикассо подвел нас к незавершенному окну, из которого открывался вид на крыши и трубы напротив и внизу. Это была сложная композиция пересекающихся линий и форм в прекрасных, спокойных тонах.

— Вот, — сказал Пикассо. — Самая лучшая картина в моей мастерской.

Позже я убедилась, что этот вид он тоже писал, по меньшей мере однажды.

Собравшись уходить, мы наткнулись за дверью на остов велосипеда с вывернутыми кверху ручками. «Mop taigeau»², — пояснил Пикассо. Действительно, некоторые из виденных нами в тот вечер полотен наводили на мысль

¹ Ты знаешь (фр.).

² Мой бык (фр.).

о бое быков и о бешеном цирковом действе. Мы договорились на днях поужинать вместе в любимом кабаке Пикассо по соседству от его студии.

Возвращаясь пешком в «Ритц», я вслух обдумывала свою будущую статью.

— Его цвета теперь ярче и чище, чем я запомнила, — рассуждала я, обращаясь к Эрнесту, — это уже не Голубой период. Не мягкие песочные тона. Но формы мне часто совершенно непонятны.

— Он идет впереди, — сказал мне Эрнест. — Ты не должна отрицать его работы просто потому, что не понимаешь их. Ты еще, может быть, до них дорастешь. — Мы шли под руку через Тюильри. — То, что понять легко, вполне может оказаться не настоящим искусством.

Мне не пришлось строить из себя знатока живописи — в своей статье для журнала я просто повторила то, что узнала при посещении мастерской Пикассо. <...>

В начале сентября Эрнест снова присоединился к Четвертой дивизии, выступившей из Парижа на север в направлении бельгийской границы. Ему было приятно «опять очутиться в живописном лесном краю», слушать, как когда-то мальчиком в Мичигане, шум ветра в верхушках деревьев, «на этот раз жизнь не обманула и не выкрала у меня осень, как случается, когда живешь в большом городе или в чужой стране, где другой климат». Он с удовольствием убедился, что в дивизии ему рады, «но проку от меня, наверное, будет мало, ведь мы направляемся туда, где у меня нет знакомых»¹.

В этом письме бездны любви: «Любил тебя вчера вечером и сегодня утром, люблю и сейчас, в полдень», — и

¹ После смерти Эрнеста в июле 1961 года мы обнаружили в сейфе в библиотеке Финки Видни документ, датированный 20 мая 1958 года. В нем говорится: «Я выражаю волю, чтобы ни одно из писем, мною в жизни написанных, не было опубликовано, и прошу и поручаю моим душеприказчикам не предавать гласности моих писем и не соглашаться на публикацию таковых другими лицами». Документ был адресован: «Моим душеприказчикам». А в завещании от 17 сентября 1955 года своей «безоговорочной душеприказчицей и распорядительницей всего имущества любого вида и свойства — недвижимости, личных вещей, авторских прав, а также собственности смешанного характера», он назначил меня.

Этот запрет причинил мне немало хлопот, а тем, кто хотел бы опубликовать свою переписку с Эрнестом, — немало разочарований. Объяснить его я не берусь, у меня есть только некоторые предположения. Но, будучи одновременно и адресатом его писем и наследницей, согласно завещанию, я в данном случае позволяю себе слегка отступить от этого запрета двадцатилетней давности и впервые печатаю несколько отрывков. — *Примеч. автора.*

уйма просьб: «Пожалуйста, пиши мне, если будет время и даже если не будет». Еще он просил, чтобы почту, поступающую на его имя, складывали в большой конверт и пересылали ему; но никакая почта на его имя не приходила. И, кроме того, поручал мне купить для него спальные шлепанцы одиннадцатого размера.

Через три дня — еще одно письмо, такое же жизнерадостное, восторженное, он радуется прозрачной, погожей осени и своей нужности товарищам «в этом индейском краю», хотя они уже достигли той границы, «за которой не ступает нога оджибуэя». Где-то ему удалось раздобыть прочную бумагу, не рвущуюся под нажимом его карандаша, поэтому он пишет крупным, разборчивым почерком: «Правда-правда, Огурчик, прошедший месяц был счастливейшим в моей жизни». Эту фразу он всю жизнь повторял каждый Божий день, или каждую неделю, или уж, по крайней мере, каждый месяц. «Благодаря тебе это было не безумное, безумное счастье, а просто человек по-настоящему, надежно, ровно счастлив, знает, за что ему бороться, когда, и где, и для чего. Без дураков. Без подтекста. Без тоски — без обмана и самообмана. Мы крепко любили друг друга, и в нашей любви не было ни лжи, ни тайн, ни недомолвок и притворства, как не было никакой одежды, только по рубахе на брата... Когда я просыпаюсь среди ночи и не могу уснуть, я просто лежу и думаю о дочке Тома Уэлша... Веду дневник, так как жизнь у меня здесь замечательная, как бы что не забылось, один день в индейском краю вытесняет из памяти день предыдущий... Дружочек — мне приятно вспоминать, как мы обедали в «Ритце» и у нас был свой особый мир, а до других с их мирами нам не было никакого дела... Капа с моей почтой и деньгами так и не прибыл. Знакомые почти все деньги разобрали».

В Париже я имела возможность наблюдать его манеру обращения с деньгами. Он держался так, словно, кроме него, их ни у кого нет и быть не может, а у него в кармане штанов работает маленький печатный станок и выдает ему свежие пачки франков по мере растраты прежних запасов. Если и бывало, чтобы счет в баре взялся оплатить кто-нибудь другой, то мне лично такие случаи неизвестны. На чай прислуге в гостинице, внизу и на этаже, он всегда, не афишируя, оставлял вдвое против принятого. И без малейшего колебания, сколько имел, сразу всем, кто ни попросит, давал в долг. Я стала верным адептом в его финансовой политике и практике. Позднее мы с Марлен Дитрих обе подкидывали ему кое-какие суммы, чтобы пополнить его истощившиеся местные ресурсы. <...>

Как-то тихой полночью, в постели, он спросил:

— Ты не согласишься выйти за меня замуж, Огурчик? Согласна ли ты, Мэри Уэлш, взять меня, Эрнеста Хемингуэя, в свои законные мужья?

Я заспорила:

— Это не по правилам. Сначала я должна привести к законному концу мои отношения с Ноэлем.

— Но ведь они на самом деле кончены в твоих мыслях и в твоём сердце?

— Да.

— Тогда я нас повенчаю. Ты же знаешь, я это всерьёз.

— Знаю.

Эрнест стал говорить о том, что мы будем верны друг другу. Постараемся всегда понимать и поддерживать друг друга, и в радости и в беде. Никогда, ни при каких обстоятельствах не станем друг другу лгать. И будем от всего сердца, как только можем, любить друг друга. А я сквозь подступающую сонливость чувствовала, что, пожалуй, такая клятва мне по силам — быть верной, понимать, не лгать, с Божией помощью, и любить — это я могу. Эрнест говорил серьёзным тоном.

— Ну вот, — заворчала я, засыпая. — Опять я стала старой, замужней женщиной. Конец всяким приятным комплиментам. И жениховским нежностям.

Левая рука Эрнеста нащупала мою правую руку. Он поднес ее к губам и поцеловал.

— Бедная моя новобрачная с укропчиком, — умиротворенно пробормотал он.

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

В числе первых корреспондентов, приехавших в Париж, оказалась и Мэри Уэлш, очень элегантная и вполне довольная собой. А через несколько дней появилась и Марта. Мне пришлось возить записки от Марты, которая поселилась в маленьком отеле в верхней части города, Эрнесту в «Ритц» и от него к ней.

Я был занят тем, что перепечатывал корреспонденции и Эрнеста и Марты, доставал копирку, находил машины, выполнял всевозможные поручения. Но мне нравилось обслуживать их обоих. Правда, днем я по-прежнему служил в войсках связи, моя часть занималась подготовкой наградных списков для президента.

На меня произвел сильное впечатление один из материалов Марты, и я сказал об этом Эрнесту, думая, что ему приятно услышать об ее успехах. Когда речь шла о литературе, он всегда старался быть абсолютно справедливым.

— Пусть выкачивает все до капли из своей манеры писать, — зарычал он. — Впереди еще много чего предстоит. А она не может этого понять.

Обвинение, предъявленное ему, тревожило его гораздо больше, чем кто-либо мог предполагать.

Первая неделя после освобождения Парижа походила на приключенческий фильм. Рождались самые невероятные слухи. В городе, в разных районах, вспыхивала стрельба. Люди, сотрудничавшие с немцами, все еще время от времени вели прицельную стрельбу с крыш стратегически важных зданий. Выстрелы звучали, как проколота́я шина.

Каждый вечер Эрнест, Мэри, Капа, Марсель Дюамель, Рьдкий Пилки и я отправлялись ужинать в какое-нибудь новое место. Марсель, который выполнял обязанности переводчика на французский, знал, где найти еду. На второй вечер он повез нас в маленький ресторанчик на Рю де Сен,

где часто бывал Пабло Пикассо. Пабло и Эрнест увидели друг друга на расстоянии футов в двадцать.

— Паблито!

— Эрнесто!

Они крепко обнялись. У старых друзей даже выступили слезы на глазах. Потом они долго и взволнованно разговаривали, пока мы наслаждались красным вином и свежей бараниной. На следующий день мы отправились к Пикассо. Он показал нам то, что делал тогда, провел нас по своей студии. Они с Эрнестом говорили без остановки. Студия Пикассо была превосходным местом для работы.

— Твой коридор в студию напоминает палубу корабля, спускающуюся к рабочим помещениям, с наклоном в тридцать градусов.

— Да уж, когда я иду сюда работать, приходится перебирать ногами, а иначе я скачусь вниз, — рассмеялся Пикассо.

Он показал нам велосипедный руль, который использовал как сюрреалистический знак рогов крупного зверя, и объяснил, как можно использовать бытовые вещи для интересных композиций.

Когда Эрнест выяснил, что расследование его деятельности, судя по всему, затягивается, он немедленно отправился на поиски 4-й дивизии. Он полагал, что если проведет еще какое-то время в боевой части, то узнает еще многое об этой войне, а исход расследования не так уж важен.

Он присоединился к 4-й дивизии в Бельгии, как раз перед наступлением на линию Зигфрида, и стал свидетелем того, как 105-миллиметровые противотанковые орудия использовались для пролома укреплений.

— Эти орудия хорошо служат, — говорил он мне позднее. — Немцы, которые еще остались там живы, выходят, пошатываясь. Они оглушены, не видят ничего, не слышат, от взрывной волны у них кровь идет из носа и из ушей.

Через несколько недель Эрнест вернулся в Париж, чтобы ознакомиться с совершаемыми там тогда политическими махинациями. Расследование его дела все еще тянулось. Он вновь поселился в своем номере в отеле «Ритц», и жизнь пошла своим чередом. Мэри устроилась в номере как раз над номером Эрнеста, и «Ритц» превратился в светское место, куда каждый день заявлялось множество посетителей. Однако через несколько дней Эрнест заскучал по своим друзьям в дивизии, особенно в 22-м полку. Ему не хватало напряжения боев, и он поспешил на фронт.

В это время в Париж приехал художник Джон Грот.

Он хотел побывать на фронте и выбрал 4-ю дивизию. Узнав, что Эрнест там, он просил, чтобы ему разрешили отправиться именно туда. Наш друг Стивенсон все еще был офицером Отдела информации, и он организовал Гроту поездку в полк, потом в батальон и, наконец, в роту. Но Эрнеста он там не нашел, и ему пришлось пешком добираться до фермы недалеко от Блиалфа, на которой обосновался Эрнест.

— Это было замечательно, увидеть Эрнеста в его стихии, — рассказывал Грот. — Он полностью забаррикадировал и укрепил большую ферму. Долина к востоку от фермы была занята противником. Днем мы контролировали территорию. Но ночью она оказывалась спорной. Сюда каждую ночь проникали вражеские патрули, но Эрнест готов был встретить их. Он разработал разные варианты обстрела и вычислил любую случайность, которая могла произойти в течение ночи.

В тот вечер, когда я добрался туда, был устроен большой ужин, все мы много смеялись и много пили. С Эрнестом мы говорили главным образом о тех годах, когда сотрудничали в «Эсквайре», и о давних чикагских днях. Когда я собрался отдохнуть, Эрнест сказал: «Возьми это с собой в постель», — и дал мне столько гранат, сколько я мог унести. «Если кто-нибудь будет около дома, открой окно, вынь чеку и выброси одну из гранат на двор. Я буду следить за обстановкой». Его совет обеспечил мне хорошую бессонницу на всю ночь.

У Эрнеста той осенью была масса возможностей узнать, какова бывает жизнь на позициях. Он ездил по округе на реквизированном мотоцикле, сидя позади Джона Кимбро из спецслужбы, осматривал местность, расспрашивал жителей. Иногда им удавалось реквизировать довольно значительные запасы коньяка и шнапса в ходе проверки наличия незаконно хранящегося оружия и спрятанных солдат вермахта.

В следующем месяце он вынужден был вернуться в Париж, чтобы узнать, как идет расследование его дела. На этот раз он прихватил с собой компанию друзей, взявших временный отпуск, среди которых были капитан Боутон и Джо О'Киф. Когда они проезжали по местам сражений первой мировой войны, Эрнест показывал им следы боев и рассказывал, что тут происходило, кто сорвал атаку и каким образом. Когда они добрались до «Ритца», у него началась сильная простуда, поразившая прежде всего горло.

Я выяснил, что расследование все еще тянется, и занялся выполнением всякого рода поручений. Вскоре простуда Эрнеста прошла, и неожиданно закончилось и рас-

следование. С него были сняты все обвинения в том, что он носил при себе оружие и принимал участие в боевых действиях, что запрещалось корреспондентам Женевской конвенцией.

Вместе с Джимми Кэнноном мы с Эрнестом посетили открытие велосипедных гонок. Мы приехали на велодром в открытом экипаже, то и дело прикладывались к серебряной фляжке Эрнеста и чудесно провели время, ощущая, как мирная жизнь возвращается в город.

— Есть хорошая новость, — сказал мне Эрнест. — Бэмби перевели в Управление стратегических служб. Возможно, что он вскоре будет работать в наших местах.

Эрнест вновь отправился в 4-ю дивизию и стал очевидцем начала невероятно тяжелого, смертоносного фронтального наступления в Хюртгенском лесу 16 ноября. Шел холодный осенний дождь. На крутых холмах и в густом лесу западнее Кёльна нацисты заминировали и затянули колючей проволокой все проходы. Просеки в лесу были перерывы ловушками для танков и усеяны пулеметными гнездами. На холмах располагались огневые позиции. Потребовалось пять дней, чтобы продвинуться вперед на полмили, при этом части несли невероятные потери. Когда солдаты не стреляли, дрожа от холода и дыша себе на руки, чтобы хоть как-то согреть их, у них было два занятия — они пилили деревья и копали себе траншеи. Артиллерийские снаряды расщепляли деревья и осыпали людей щепками. 27-го 22-й полк взял Гроссау, и впереди оставался еще один смертоносный лес. Остальные полки тоже приняли участие в этом последнем броске через линию обороны противника и прорвали ее после трех дней невероятно тяжелых боев. К 3 декабря 22-й полк отвели в Люксембург, а на его место прибыла новая часть. Остальные полки тоже были отведены в тыл в течение следующей недели.

На этот раз Эрнест вернулся в Париж пораженный инфекцией, которая не поддавалась никакому самому совершенному лечению. Он начал харкать кровью. Выплюнув добрых полчашки крови, он отрывисто сказал «Небольшая разгрузка» и печально улыбнулся. Он заболел чем-то худшим нежели воспаление легких. Его лицо под бородой стало совсем бледным. У него была высокая температура, затрудненное дыхание. На этот раз даже он сам убедился, что ему необходим постельный режим. Нашелся превосходный врач, и Эрнест прислушивался к его советам. <...>

Целую неделю Эрнест серьезно болел. Потом дело пошло на поправку, он перестал харкать кровью, и, хотя температура еще держалась, он уже готов был воспринимать мир. Мы болтали о множестве вещей, о докторе, о нашей семье, о наших надеждах и заботах и о женщинах. <...>

Однажды в номер Эрнеста вошел взволнованный Марсель.

— Тебя очень хочет видеть Сартр. И его девушка тоже.

— Ладно, — решил Эрнест. — Скажи им, чтобы пришли около восьми. Листер будет здесь, он сможет выполнять функции бармена.

Сартр пришел в назначенное время. Он оказался коротеньким человечком с близорукими глазами и располагающим смехом. Его девушка, Кастор, более известная как Симона де Бовуар, была выше его, темнее и более привлекательна. Начали мы с шампанского. После третьей бутылки Симона захотела выяснить, насколько серьезно в действительности болен Эрнест.

— Я вот так болен... здоров, как черт, видите? — Эрнест сбросил с себя край одеяла, высунул мускулистую ногу и ухмыльнулся. В течение следующего часа он все время повторял, что чувствует себя превосходно. Он сидел, вышрямившись, весело шутил и пренебрежительно отзывался о своих соотечественниках, которые занимаются тем, что поддерживают огонь в домашних очагах, в то время как восточная часть Франции ниже Вогезов все еще ждет освобождения, и немцы нуждаются в том, чтобы их постоянно били в предсердие за то, что они, как мы видим, опозорили человеческую цивилизацию. После шестой бутылки я вновь наполнил бокалы, чтобы выпить на дорожку, и пошел в свою казарму около площади Этуаль.

— Как прошла ночь? — спросил я на следующее утро.

— Прекрасно, — зевнул Эрнест. — Мы отправили его домой после твоего ухода. Разговаривали всю ночь. Эта Кастор очаровательна.

Спустя годы, когда вышла в свет ее книга «Второй пол», Эрнест говорил друзьям, что книга его разочаровала — он думал, что она может писать лучше.

Когда в Париже появился Андре Мальро, Эрнест немедленно пригласил его к себе.

— Приезжайте, выпьем, — сказал он по телефону. — Я не болен. Они просто говорят, что я болен.

Андре был в форме полковника французской армии. Он был летчиком, офицером авиации во время испанской войны. Теперь он командовал пехотой.

«Mon vieux»¹! — начал он. И потом они обо всем забыли, разговаривая, перебивая друг друга. Я откупоривал все новые замороженные бутылки, наполнял и ополаскивал бокалы, откупоривал новые бутылки и прислушивался к их разговору. Андре владел языком так, что ему могла бы позавидовать любая рыбная торговка в Марселе. Эрнест говорил довольно бегло, используя сленг, и мне было интересно следить и пытаться разгадывать значение слов и выражений.

Эрнест рассказал и даже показал историю о напыщенном немецком офицере, которого они захватили в плен, войдя в город. Когда этот офицер стал требовать соблюдения его прав военнопленного, бойцы Сражающейся Франции из группы Эрнеста были так ошеломлены его наглостью, что сняли с него брюки и заставили в таком виде промаршировать по Авеню де ла Гранд Арми до площади Этуаль.

— Это весьма эффективно порушило его достоинство, — закончил Эрнест.

Мальро действовал на южном участке как лидер Сопротивления в Сражающейся Франции. Перед высадкой союзников его схватило гестапо, его собирались подвергнуть пыткам, но он умудрился взять их на пушку.

— Послушайте, я хорошо знаю ваших начальников, и они уважают меня, — сказал он им. — Если они узнают, что со мной что-то сделали, они казнят вас всех, одного за другим.

Это помогло, к нему стали относиться как к почетному военнопленному, а позднее ему удалось бежать.

Много бутылок было откупорено в тот вечер. Эти двое мужчин поглотили поразительное количество перебродившего винограда. Я дважды выходил подышать воздухом, пока они говорили о войне. Андре командовал воинской частью около Страсбурга. Эрнест рассказывал о проблемах фронта на севере. Было уже очень поздно, когда выпивка и разговоры подошли к концу.

Когда 16 декабря нацисты начали большое контрнаступление на северном фронте, прошло несколько часов, пока сообщение об этом дошло до нас. Внезапно была введена жесткая цензура. Мало кто в Париже знал, что происходило на фронте. Эрнест располагал достаточной информацией, чтобы понять всю серьезность ситуации.

— Немцы осуществили там успешный прорыв. Мне надо немедленно лететь туда. Это может нам дорого стоить! Их танковые части хлынули в прорыв. Они не берут пленных.

¹ Мой друг (фр.).

Он начал звонить по телефону насчет транспорта и через несколько минут сказал мне:

— Генерал Ред О'Хара посылает за мной джип. Погрузишь туда эти обоймы. Хорошо протри каждый патрон. Нам может серьезно достаться по дороге. Там просочились немцы, одетые в нашу форму. Машина придет через пятнадцать минут. Постарайся попасть туда и ищи меня в 4-й дивизии. И береги себя. Желаю удачи.

К концу недели контрнаступление нацистов замедлилось. Но оно принесло нам огромные потери. 4-я дивизия, занимавшая позиции на восточной границе Люксембурга, хорошо сражалась. Я попал к ним после Рождества в качестве помощника и оператора при Уильяме Уайлере, полковнике авиации, который так же хорошо умел снимать документальные ленты, как и голливудские эпопеи. На неделю с лишним я смог присоединиться к Эрнесту и 4-й дивизии, как раз в то время, когда немцы давили на них, и потом, когда их наступление захлебнулось и вообще остановилось.

Эрнест чувствовал себя в 4-й дивизии как у себя дома. Генерал Бартон был переведен из дивизии сразу же после Рождества из-за болезни. Его преемник генерал Блейкли оказался спокойным и знающим командиром, руководившим до того много месяцев дивизионной артиллерией.

В Люксембурге Эрнест поселился в отеле напротив госпиталя, заперся там и стал писать корреспонденции и рассказы. Он выходил из своего номера, только чтобы отдохнуть с друзьями. Он доминировал в этой компании. Он любил рассказывать забавные истории, выпивать и слушать других.

ИЗ КНИГИ «СТУДИЯ — ЕВРОПА»

Была ночь, моросил дождь. Когда мы добрались до фермы, шел артиллерийский обстрел. Дверь быстро открылась и торопливо захлопнулась, и мы оказались в ярко, как нам представилось, освещенной комнате, хотя на самом деле там была только одна керосиновая лампа в углу. Около лампы сидел Хемингуэй, вокруг него солдаты. На столе перед ним лежали гранаты и стояла бутылка коньяка.

Ему было не важно, кто я. Я был просто кто-то в армейской форме. Он не обратил внимания на корреспондентские нашивки — он никогда не обращал внимания на ранги. Он предложил мне коньяк, кюммель, вино. Хемингуэй спросил меня, не тот ли я Грот, который иллюстрировал его рассказы в «Осквайре» в прошлые годы. Он сказал, что рисунки ему понравились, но война на них не похожа на настоящую, вот завтра он покажет мне, что такое война. <...>

«Папа», как называли Хемингуэя солдаты, разрабатывал план обороны на ночь. Он останется бодрствовать всю ночь. Если появятся патрули, он нас разбудит. Если ферму будут атаковать, двое солдат из окон второго этажа откроют перекрестный огонь. Сам же он с остальными будет отстреливаться из окон первого этажа. <...>

Утром он показывал мне войну. На джипе он повез меня к захваченным накануне дотам. Около одного из них он устроил импровизированный бар, вытащив из джипа флягу с коньяком. Проходившие мимо солдаты останавливались около него, чтобы выпить. Они все его знали как Папу, который был вместе с ними в течение всего похода через Францию. Он был везде, где были они. Другой рекомендации ему не требовалось.

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Мы сняли хороший документальный фильм, я попал в Париж только через месяц и сразу же позвонил в «Ритц».

— Приезжай. Есть много новостей, — сказал Эрнест. Чувствовалось, что он в смятении. Когда я приехал в отель, он рассказал мне: — Бэмби попал в плен. Он был на задании по линии Управления стратегических служб, его ранили и захватили немцы. Может быть, нам удастся осуществить операцию захвата и выручить его. Я жду дополнительную информацию.

Он продолжал мерить шагами номер и ударять кулаком правой руки по ладони левой. Его бессильная ярость вызывалась тем, что он не знал, будут ли немцы рассматривать Бэмби как военнопленного или как вражеского агента. Эрнест был полон решимости вызволить своего сына. Но пока что он даже не мог узнать, как далеко в тыл увезли Бэмби.

Прошла неделя, и мы не получили никакой новой информации. Эрнест принимал офицеров из 3-й дивизии, на чьей территории Бэмби был захвачен в плен. Он встречался и с офицерами 4-й дивизии, в которой провел большую часть войны.

Со знанием дела говорил он о том, как могут развиваться военные действия в условиях надвигающейся весны. Мэри была задумчива. Когда ее спрашивали о ее литературной работе, она отвечала очень твердо: «Вот уже некоторое время я работаю над большой вещью о том, что есть истина».

Прошло еще какое-то время. Мой переход был оформлен, и меня прикомандировали к 4-й дивизии. Новости об Эрнесте я получал время от времени от офицеров, которые бывали в отпуске в Париже. Эрнест все еще находился в Париже. Потом наконец пришла добрая весть. Че-

рез Международный Красный Крест Эрнесту удалось выяснить, что Бэмби официально признан военнопленным, и он успокоился.

Марлен Дитрих вернулась в Париж после своих многочисленных поездок на фронт и в очень интимном разговоре с Мэри и Эрнестом убедила Мэри, что та должна попытаться наладить совместную жизнь с Эрнестом, несмотря на его поведение. Эрнест на радостях разрядил свой пистолет в туалете. Это очень огорчило Мэри, и Марлен сказала, что ей потребовалось некоторое время, чтобы восстановить мир.

— Вы оба нуждаетесь друг в друге,— сказала Марлен,— и это будет благо для вас обоих.

Эрнест и Мэри на этом и порешили.

В марте Эрнест уже знал, как будет дальше продолжаться война. Он отправлялся в Нью-Йорк. Он хотел писать. Он увидел эту войну вблизи и говорил, что в ней есть свой смысл. Он утверждал, что первая мировая война была для него бессмысленной. Через двадцать лет после испанской войны, говорил он, чем больше он читал и вспоминал о ней, тем меньше понимал ее. Но во второй мировой войне смысл был.

ХИЛЬБЕРТО ЭНРИКЕС

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ».

Ракеты продавались поштучно и длинными лентами, как пулеметные. Когда Хемингуэй ходил с нами, он надевал свою ленту на шею, а концы засовывал в карман. Ракеты мы поджигали сигаретой, а так как он не курил, каждый из нас рвался нести зажженную сигарету. Обычно это были «Партагас» — сигареты крепчайшие и очень длинные. Конечно, можно было поджигать и спичками, но с сигаретой мы чувствовали себя настоящими саперами. Хемингуэй был большим любителем розыгрышей. Ну, например, подбираемся мы незаметно к парикмахерской, ставим в ряд ракеты и поджигаем. Ракеты взрываются одна за другой, как будто пулемет строчит, и в парикмахерской все валяется на пол. Потом кто-нибудь скажет: «Да нет, это же ребята со своими хлопушками!» А если заметят Хемингуэя, разозлятся: «Нет, вы посмотрите на этого американца: такой большой, а туда же!» Но чтобы по сильнее что-нибудь сказать — нет, никогда. Потому что, во-первых, Хемингуэй был высокий и такой сильный, что мало кому улыбалось потягаться с ним, а во-вторых, очень уж он был симпатичным человеком, и люди охотно прощали ему это ребячество. Он, конечно, не ждал, пока его заметят, — сразу вместе с ребятами бросался наутек. Но как не заметить! Представляете, картина: такой дядя мчится во весь опор по одной из крутых улочек Сан-Франсиско-де-Паула, а за ним дуют человек 15—20

мальчишек. Люди только удивлялись: «Господи, да это ж Хемингуэй!» И тут бахало. «Опять Хемингуэй ракеты взрывает!» А Хемингуэй, взбудораженный, радовался от души, хохотал... Потом он посылал кого-нибудь из ребят узнать, что там было в парикмахерской или где еще, и, когда тот возвращался, с пристрастием расспрашивал его, как после настоящей партизанской операции. «Значит, они все попадали на пол?» — спрашивал он. Разведчик докладывал, и, если что-нибудь в его рассказе Хемингуэю особенно нравилось, он оборачивался к нам, чтобы убедиться, что и мы реагируем точно так же.

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

К Папе в дом нас привело одно обстоятельство, которое помогает понять одну черту его характера. В общем, играли мы как-то с ребятами на улице, а тут Родольф, наш с Рене брат, упал с телеги, груженной южкой, и попал под ее колеса. Он лежал на земле, и ему было совсем плохо. Мы не знали, что с ним делать. Поднялся крик, шум — представляете? — и Хемингуэй там, в доме, очень скоро узнал, что Родольфо переехала телега. Он сразу приехал, сам поднял его и увез на своей машине в больницу. Врачам он сказал — это была частная клиника: «Спасите жизнь парню, сколько бы это ни стоило, я заплачу». Но все было напрасно: телега весила несколько тонн, и мой брат умер. Сейчас мне кажется, что Папа так себя повел, потому что был очень впечатлительный и совестливый. Стучилось-то все в переулке Ля-Вихия, и он чувствовал себя как бы в ответе. Ну да, совестливый он был человек.

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Во время второй мировой войны Хемингуэй воевал сначала здесь, на Кубе. Он действовал в контакте с американскими противолодочными силами и осуществлял связь между ВМС этого района и американским правительством. Тогда у него появилось много новых знакомых в самых разных сферах. Потом он на время уезжает. Сначала в Англию. Принимает участие в высадке союзников на Европейский континент в Нормандии. Отличается в боях, забыв, что послали его на европейский фронт как корреспондента. Присоединяется к партизанам и вместе с ними обгоняет американскую армию. Когда он возвращается в Гавану, американцы награждают его медалью «Бронзовая звезда» — вручение состоялось в американском посольстве 16 июня 1947 года. Все это служило как бы рекламой, и в глазах многих он становился важной птицей: просто так ордена не дают! Как-то Эрнесто нацепил на себя все три награды и заявил, что именно так он будет выглядеть на астигнациях. За этой шуткой скрывалась досада, раздражение. Нет, тщеславие, гонор — все это было ему чуждо, но и сама «Бронзовая звезда», и шумиха вокруг нее вызывали в нем чувство внутреннего протеста. Авторы некоторых заметок, появившихся в кубинской печати в связи с вручением ему этой медали, позволили себе по отношению к Хемингуэю насмешливый тон. Писали, что он явился на церемонию в американское посольство в несвежей гуаябере. Ерунда какая! В тот день за рулем сидел я. Было очень жарко, и при его комплекции он, конечно, обливался потом. Но я прекрасно помню: когда мы заехали на посольскую стоянку, он переоделся в другую гуаяберу, которую специально захватил с собой. Просто жара, в посольстве душно, рубашка стала влаж-

ной от пота. Видимо, это и дало повод газетчикам для зубоскальства: Хемингуэй пришел получать медаль в гуаябере сомнительной чистоты.<...>

Нас связывала истинная близость, ибо что может быть крепче фронтовой дружбы. Случались, конечно, и споры и стычки, иногда даже бурные, на повышенных тонах, но никакая размолвка не могла поколебать нашей дружбы. Вообще характер у Эрнесто был крутой, и самым близким его друзьям это было известно лучше, чем кому-либо. Возможно, именно потому, что он их искренне любил.

Хотя в это трудно поверить, он довольно часто оставался один там, у себя наверху... Но удавалось это ему далеко не всегда, когда хотелось: известность его на Кубе росла — книги, фильмы по этим книгам. Он становился знаменитым. А где слава, там, как известно, расцветает фантазия. Когда выдающийся человек приобретает громкое имя, людская молва либо возносит его до небес, либо приписывает ему самые невероятные истории. В какой-то степени это коснулось и Хемингуэя. О нем тоже ходит немало легенд.

Поначалу он приводил «Пилар» на стоянку в Кохимар. Здесь он быстро перезнакомился и подружился с местными рыбаками. Так его начали узнавать на Кубе. Но это была известность, так сказать, местного значения.

Позже, начиная примерно с 50-х годов, он принимает участие в турнирах ловцов крупной рыбы, даже учреждается премия его имени. Посещает охотничий клуб в гаванском районе Серро. В общем, постепенно круг местных друзей и знакомых заметно расширяется.

Взрыв популярности происходит, когда он получает Нобелевскую премию. Его наперебой приглашают на официальные обеды, приемы в его честь, но он почти всегда отказывается.

Одна из немногих наград, которую он соглашается принять, — это орден святого Христофора Гаванского. Потом уже, в 1954 году, он был награжден орденом Карлоса Мануэля де Сеспедеса, чем очень гордился, считая это выражением признания со стороны Кубы. Орден святого Христофора вызвал совсем другое чувство — он доставил Эрнесто истинное удовольствие. Вручение происходило в гаванском Дворце спорта 17 ноября 1955 года. В штатаниях и колебаниях тогдашней официальной политики награда эта как-то затерялась, забылась. Вручали этот орден — правильнее было бы назвать его медалью — чаще всего водителям, долго проработавшим в

городе — 25 или 50 лет — без единой аварии. Хемингуэй радовался совершенно искренне, что был удостоен, как он говорил, шоферской награды. Как бы там ни было, а орден тоже сыграл свою роль в создании определенной атмосферы вокруг его имени и легенд о нем.

Рассказ о последнем периоде жизни Хемингуэя на Кубе очень интересен, поскольку речь идет о его связях с революцией, которые зачастую не умели оценить должным образом. Он искренне стоял на стороне революционного процесса. Ему была очень симпатична личность Фиделя. Они не были друзьями, но Фидель восхищался Хемингуэем. Я помню, что в году так 49-м Фидель очень просил меня отвезти его в дом Хемингуэя, потому что ему хотелось познакомиться и побеседовать с ним. Визит так и не состоялся, но он мне всегда об этом напоминал. Фидель говорил: «Послушай, мне очень хотелось бы, чтобы ты поехал со мной туда, я бы с удовольствием с ним познакомился, мне страшно интересно поговорить с этим человеком». Я много раз говорил Эрнесто: «Хочу к тебе приехать с одним товарищем, моим другом, который мечтает с тобой познакомиться»; но из-за всех дел, которые его (Фиделя) поглощали, я имею в виду университет и политику, мы никак не могли найти время, чтобы съездить к нему. Они познакомились лишь во время конкурса ловцов агухи, когда Хемингуэй вручил Фиделю приз победителя. Интересно отметить, что Хемингуэй был первым из всемирно известных людей, кто с самого первого момента поднял свой голос в защиту Кубинской революции. Об этом мало кто знает, так как победа революции застала его в Соединенных Штатах.

«ПОРТРЕТ ХЕМИНГУЭЯ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые я встретила с Эрнестом Хемингуэем накануне Рождества 1947 года в Кетчуме, в штате Айдахо. Я возвращалась в Нью-Йорк из Мексики, куда ездила повидаться с Сиднеем Франклином, американским тореадором из Бруклина, о котором я пыталась тогда написать мой первый очерк для «Нью-Йоркера». Хемингуэй познакомился с Франклином, когда тот был тореадором в Испании, — в конце двадцатых — начале тридцатых годов. В Мексике я ходила на корриды с участием Франклина и, впервые посмотрев на арену, была напугана до смерти. Хотя я и отдавала должное работе матадора с быками и красочной, торжественной обстановке, бой быков мне не понравился. Пожалуй, больше всего меня интересовал вопрос, как Франклин, сын полицейского из Флэтбуша, стал тореадором. Когда Франклин сказал, что Хемингуэй был первый американец, который говорил с ним о бое быков со знанием дела, я позвонила Хемингуэю в Кетчум. Хемингуэй любил отдыхать там, ходить на лыжах и охотиться вдали от своего дома в Сан-Франсиско-де-Паула, что возле Гаваны. Позже он купил в Кетчуме дом. Когда я позвонила, Хемингуэй находился в охотничьем домике с женой Мэри, сыновьями Джоном, Патриком и Грегори и с друзьями по рыбной ловле на Кубе. Он радушно пригласил меня заехать к ним на обратном пути.

Моя первая встреча с Хемингуэем произошла в семь утра, вскоре после того, как прибыл поезд. Хотя было около десяти градусов мороза, он стоял перед домиком на утоптанном снегу в ночных туфлях, без носков, в джинсах с индейским поясом и серебряной пряжкой, в легкой спортивной рубашке-ковбойке с открытым воротом и кар-

манами на пуговицах. У него были седеющие усы, но он еще не отрастил бороду, сделавшую его похожим на патриарха и неизбежно придававшую ему оттенок святости и наивности, что как-то не вязалось со всей его внешностью. В то утро он выглядел большим и сильным, живым, дружелюбным и добрым. Я промерзла до костей, хотя на мне было теплое пальто. Когда я спросила, не холодно ли ему, Хемингуэй ответил, что ни капельки. Казалось, что сам он излучал тепло. Я провела чудесный день с Хемингуэями и их друзьями. Мы разговаривали, ходили по магазинам покупать рождественские подарки. Как и ее супруг, Мэри Хемингуэй держалась приветливо, была мила и обходительна, и, кроме того, она прекрасно справлялась с ролью жены знаменитого писателя. Ей нравилось все, что нравилось ему, и мне казалось, что они чудесная пара.

Вскоре после моего посещения Кетчума Хемингуэй написал мне с Кубы, что считает меня наименее подходящим автором для статьи о бое быков. Тем не менее я решила рискнуть и в конце концов написала очерк о Франклине. После того, как очерк был принят, я написала Хемингуэю и попросила его ответить на ряд вопросов, и он очень подробно ответил на них в письме, в конце которого заявил, что с ужасом ожидает появления моей статьи. Тем временем «Нью-Йоркер» поместил несколько моих рассказов; Хемингуэй и его жена, регулярные читатели журнала, вроде бы одобрили их. Когда «Портрет Франклина» был напечатан, я получила от Хемингуэя письмо, нацарапанное карандашом. Оно было из Италии и отправлено из «Вилла Априле» в Кортина д'Ампеццо; в письме говорилось, что очерки о Франклине мне удались. В своей жизни, переполненной встречами с различными людьми, Хемингуэй всегда старался помнить то, что говорил вам когда-нибудь раньше, и если считал себя неправым, то честно сознавался в этом. Его похвала всегда была прямой и искренней, он хотел этим сделать человеку приятно. Он мог назвать вас надежным писателем и сравнить с Джо Пейджем и Хью Кейси — и чтобы понять, что вас похвалили, не обязательно было знать историю этих звезд бейсбола. Его письма и то, как он говорил, сами по себе доставляли радость, так это было свежо и чудесно. Он был щедрым собеседником. Он не навязывал свои идеи, или взгляды, или свой юмор, или свое мнение. Он был настолько изобретателен, что не боялся исчерпать себя. Каково бы ни было его мнение, он все равно высказывал его с большой душевной щедростью. Из того, что он говорил — всегда с таким юмором, пониманием, сочувствием и чуткостью, — можно было почерпнуть бес-

конечно много. Говорил он прямо и откровенно, и это было всегда удивительно бодрым и жизнерадостным.

Весной 1950 года я написала «Портрет Хемингуэя» для того же «Нью-Йоркера». Я с большой теплотой писала о двух днях, проведенных с Хемингуэем в Нью-Йорке, и попыталась как можно точнее описать, каков Хемингуэй, у которого хватает мужества быть не похожим ни на кого на свете; каков он в действии, в разговоре, на отдыхе; иначе говоря, я старалась дать портрет человека во всей его уникальности, жизнеспособности, человека с огромным чувством юмора. Прежде чем очерк был опубликован, я послала гранки Хемингуэям, и они возвратили их со своими замечаниями. В приложенном письме Хемингуэй писал, что находит «Портрет» забавным и интересным и что он предлагает убрать только одно место.

А потом произошло что-то странное и загадочное — в моей писательской практике никогда ничего подобного не случалось. Совершенно неожиданно для меня и редакции журнала и к удивлению самого Хемингуэя «Портрет» вызвал большие споры. Большинство читателей приняли его так, как надо, и мне казалось, что очерк им даже понравился. Другие реагировали очень бурно и сложно. Среди них были люди, которые не любили Хемингуэя, они решили, что я тоже его не люблю, и хвалили мою работу за то, чего в ней не было. Иначе говоря, они считали, что, описывая своего героя с предельной точностью, я либо насмеялась над ним или же нападала на него. Третьим не понравилась манера Хемингуэя говорить (они даже возражали против того, что Хемингуэй иногда в шутку нарочно опускал артикли, подражая ломаному английскому языку индейцев); не нравилась его свобода, не нравилось то, что он сам иногда не принимает себя всерьез, и то, что он тратит время на бокс, зоопарк, разговоры с друзьями, на рыбную ловлю; им не нравилось, что он любил разговаривать с людьми, любил, не окончив работу над книгой, заранее устраивать торжества с шампанским и икрой. Словом, им ничего не нравилось, вернее, не нравилось, что Хемингуэй был Хемингуэем. Они хотели видеть его другим, вероятно, похожим на них. Отсюда они делали вывод, что либо Хемингуэй не был описан таким, как он есть, или если он действительно такой, то я не должна была вообще писать о нем. То ли у них была мещанская предвзятость насчет того, каким должен быть великий писатель, и они отстаивали свое, далекое от действительности представление о нем, то ли они приписывали мне их ханжеское неодобрение Хемингуэя и меня же за это ругали. Некоторые наиболее оголтелые считали

«Портрет» просто «убийственным». Когда об этом узнал Хемингуэй, он прислал мне ободряющее письмо. Это было 16 июня 1950 года. Он написал, что я не должна волноваться и что меня просто не поняли. Он не раз потом писал о людях, которых называл «опустошенными». Некоторые, говорил он, не могут понять, почему он любит жизнь и никого из себя не корчит. Они не хотят понять, что можно быть серьезным писателем, не будучи помпезным.

Смерть заставляет смотреть на вещи другими глазами, в иной перспективе. Нет сомнения, что если бы те, кто так превратно истолковал «Портрет», прочитали бы его сейчас, они восприняли бы его правильно. Когда я писала «Портрет», я старалась изложить лишь только то, что видела и слышала, а не комментировать факты или же высказывать свое мнение и суждение. Однако я уверена, что сегодня, оглянувшись назад, почти любой читатель увидит, что, хотя я прямо и не высказывала свою точку зрения, мой выбор и подача деталей и созданная этим атмосфера были пронизаны любовью и восхищением. Мне нравился Хемингуэй таким, каким он был, и я счастлива, если мой «Портрет» изображает его точно таким, каким он был в течение этих двух дней в Нью-Йорке...

И раз уж об этом зашла речь, я, никогда не старавшаяся ставить Хемингуэю «отметки» за его книги, а просто благодарная ему за то наслаждение, которое я получала от них, хочу сказать несколько слов о тех критиках, которые менторским тоном обсуждали Хемингуэя в поздний период его жизни и считали, что в его творчестве якобы наступил спад. Иногда их суждения можно было понять так, что Хемингуэй будто бы умышленно старался повредить их репутации и тем выставить себя этаким важной общественной фигурой; однако, насколько известно мне, он до самой смерти, изо дня в день героически, неподкупно и бескомпромиссно писал столько, сколько мог, и так хорошо, как только мог. И даже тогда, когда он не мог писать, или в перерывах между книгами он все равно делал то, к чему был призван. Для него это означало жить полной жизнью и постоянно со свойственным ему безграничным великодушием делиться своим опытом с другими, чтобы и они познавали счастье жизни.

Великодушие Хемингуэя проявилось в самых различных формах. В своих письмах и в беседах с друзьями Хемингуэй давал им такой богатейший материал, что из него можно было бы создавать целые произведения. Стиль писем Хемингуэя был каким-то особым, свободным и непринужденным, и (поскольку он знал, что время дорого каждому) в них было много той неповторимой хемингуэ-

евской «скорописи», которой он пользовался здесь гораздо охотнее, чем даже в своих книгах. Он любил писать письма. После того, как «Портрет» был напечатан, я уехала на полтора года в Голливуд писать серию статей о том, как делаются фильмы. Там я получила множество писем от Хемингуэя, в которых он выражал свою точку зрения на кино и о том, как надо делать фильмы, и о своей жизни на Кубе; он держал меня в курсе последних новостей и развлекал рассказами о рыбной ловле и других приключениях. Когда в 1953 году он отправился охотиться в Африку, он писал мне о чудесах этой страны. Жизнь в Африке, говорил он мне, во многом лучше жизни в любом другом месте — мне надо бы поехать и самой убедиться в этом. Обычно он заканчивал свои письма просьбой обязательно ответить. Он не любил прерывать переписку; он однажды прямо написал мне об этом и добавил, что тогда сам перестанет получать письма, а от этого будет чувствовать себя одиноким. Иногда я получала письма от Мэри, на которых лежал отпечаток юмора и жизнелюбия самого Хемингуэя. Она писала из Кении, что там чудесно просыпаться по утрам, и, когда на заре идешь к реке умываться, обязательно увидишь громадных носорогов и только тогда чувствуешь, что такое жизнь. Масса других людей, которых знала чета Хемингуэев и которые знали их лучше, чем я, вероятно, тоже получали приглашение приехать и испытать все это. Хемингуэи всегда были дружелюбны и гостеприимны. Они запросто звали вас приехать к ним в Кению, или в Париж, или в их дом на Кубе. Как жаль, что я так и не смогла воспользоваться этими приглашениями!

Хемингуэй никогда не заблуждался насчет того, как надо писать или каким должен быть писатель. Он знал и то и другое, и знал хорошо. Он ясно видел, когда писатель мало чего стоит или когда он вообще не писатель, будь у него даже громкая репутация, большие тиражи или гонорары от кинокомпаний. 8 августа 1950 года он писал о себе, что всю свою жизнь старался писать как можно лучше, как можно больше знать и понимать. Есть люди, говорил он, которые копируют его недостатки, поддельваются под его музыку и ритм и то, что у них получается, называют школой Хемингуэя, и никто не хочет ему добра. А затем, как бы передумав, он писал, что был не прав: добра ему желают многие, просто не говорят ему об этом.

К труду писателя и литературе он относился исключительно серьезно. Он всегда старался дать то, чего от него ожидали. Начинающим писателям он всегда отвечал без

задержки. Однажды я попросила его порекомендовать мне книги для чтения. Он составил следующий список:

«Пышка» и «Дом Телье» Мопассана.

«Красное и Черное» Стендаля.

«Цветы зла» Бодлера.

«Мадам Бовари» Флобера.

«Будденброки» Манна.

«Тарас Бульба» Гоголя.

«Братья Карамазовы» Достоевского.

«Анна Каренина» и «Война и мир» Толстого.

«В поисках утраченного времени» Пруста.

«Алая буква» Готорна.

«Алый знак доблести» Крейна.

«Геккельберри Финн» Твена.

«Моби Дик» Мелвилла.

«Мадам де Мов» Джеймса.

О чем бы вы ни говорили с Хемингуэем, он всегда пытался — или мне так казалось — дать вам полезный совет. Однажды, окончив большую работу, я сказала ему, что хотела бы писать более короткие и легкие вещи. Он ответил, что я должна писать вещи как можно более трудные и делать это как можно лучше — и так до самой смерти. «Только не умирайте», — добавил он и пояснил, что это самая никчемная вещь на свете. Он помогал даже в мелочах. Когда, будучи в Калифорнии, я пыталась научиться ездить верхом, Хемингуэй посоветовал мне не ездить на больших или раскормленных лошадях, а выбирать маленьких, умных и добрых лошадок. По поводу Голливуда его совет был краток: он рекомендовал мне не задерживаться там слишком долго.

Некоторые «мудрецы» считали Хемингуэя романтиком, а не реалистом. Мне же всегда казалось, что Хемингуэй был объективным наблюдателем реальной жизни и прекрасно понимал ее. Как-то в письме я сообщила, что слышала много хорошего о его сыне Джоне. Хемингуэй мне ответил, что он очень любит своего сына, но тут же добавил, что в своей жизни он любил три континента, несколько самолетов и кораблей, океаны, своих сестер, своих жен, жизнь и смерть, утро, полдень, вечер и ночь, честь, постель, бокс, плавание, бейсбол, стрельбу, рыбную ловлю, любил читать и писать и все хорошие картины.

Незадолго до смерти, находясь в клинике Мэйо в Рочестере, Хемингуэй писал мне, что ему наконец удалось справиться с этой «чепухой» — с кровяным давлением, но что он отстал в работе и они с Мэри скоро уедут в такое место, где люди оставят их в покое и «дадут мне писать».

ПОРТРЕТ ХЕМИНГУЭЯ

Эрнест Хемингуэй — вероятно, величайший в современной Америке романист и мастер коротких рассказов — в Нью-Йорк приезжал редко. Многие годы он почти безвыездно жил в Финке Вихии, в девяти милях от Гаваны, с женой, девятью слугами, пятьюдесятью двумя кошками, шестнадцатью собаками, двумя сотнями голубей и тремя коровами. В Нью-Йорке он бывал только проездом.

В конце 1949 года по дороге в Европу Хемингуэй остановился в Нью-Йорке на несколько дней. Я написала ему, что хотела бы повидаться с ним. В ответном письме, напечатанном на машинке, он сообщил, что не возражает, и предложил встретиться его в аэропорту. «Я не хочу видеть тех, кто мне неприятен, не хочу рекламы, не хочу быть связанным во времени, — писал он. — Собираюсь побывать в зоопарке в Бронксе, в Метрополитэн-музее, Музее современного искусства, Музее естественной истории и хочу посмотреть матч бокса. Хочу увидеть того доброго Брейгеля, что в Метрополитэн, одного, нет пожалуй, двух хороших Гойя и «Тоledo» Эль Греко. Не хочу идти к Тутс Шору. Попытаюсь от приезда до отъезда держать язык за зубами. В ночные кабаки не пойду. Отказ встретиться с прессой не поза. Просто времени у меня хватит только на то, чтобы повидать друзей». Карандашом было приписано: «Чего-чего, а времени у нас в обрез».

В день прилета из Гаваны Хемингуэй не производил впечатления человека, у которого не хватает времени. Он должен был прилететь на аэродром «Айдлуайлд» к вечеру, и я поехала его встречать. Когда я добралась до аэродрома, самолет уже приземлился. Хемингуэй стоял у выхода и ждал жену, которая пошла получать багаж. Одной рукой он прижимал к себе потертый, старый портфель, облепленный ярлыками отелей; другой рукой обнимал какого-то маленького жилистого человечка, на лбу которого выступили крупные капли пота. На Хемингуэе была красная рубашка из шотландки с узорчатым шерстяным галстуком, поверх кирпично-рыжего вязаного жилета пиджак из коричневого твида, тесно обтягивавший спину и с куцыми рукавами, серые фланелевые брюки, клетчатые шерстяные носки и мокасины. Он был похож на добродушного смущенного медведя.

Длинные, зачесанные назад волосы были совсем белые на висках, как и усы и неровно подстриженная короткая борода. Над левым глазом шишка величиной с грецкий орех. Глаза прикрыты очками в стальной оправе, на переносице под дужку был подложен кусочек бумаги. Он

вовсе не торопился попасть на Манхэттен. Крепко обнимая рукой портфель, он сказал, что в нем незаконченная рукопись его новой книги «За рекой, в тени деревьев». Не менее крепко он прижимал к себе маленького жилистого человечка и объяснил, что это его попутчик по самолету. Человечка звали Майерс, если я правильно разобрала его невнятное бормотание, и он возвращался из деловой поездки на Кубу. Майерс сделал слабую попытку высвободиться, но Хемингуэй не ослаблял дружеского объятия.

— В самолет все время читал книга, — сказал Хемингуэй.

Он имитировал английскую речь индейцев, но акцент у него был жителя Среднего Запада.

— Думаю, книга понравилась, — добавил он, слегка встряхивая Майерса, и с улыбкой поглядел на него сверху вниз.

— Будь здоров! — сказал Майерс.

— Книга его замучил, — продолжал Хемингуэй. — Книга начинался медленно, потом набирал скорость, так что мог сбить с ног. Я нагнетаю эмоцию до тех пор, пока ее становится трудно переносить. Потом мы снижаем скорость, чтобы читателю не понадобился кислород. Книга, как машина: надо тормозить помаленьку.

— Будь здоров! — сказал Майерс.

Хемингуэй отпустил его.

— В книге не может быть ничьей, — сказал он. — Выигрыш может быть любым — и 12 : 0 и 12 : 11.

Майерс ничего не понимал.

— Эта книга лучше, чем «Прощай», — сказал Хемингуэй. — Я думаю, что она самая лучшая. Но ведь всегда судишь предвзято. Особенно, если хочешь быть первоклассным. — Он потряс руку Майерса. — Спасибо, что прочитал книгу, — сказал он.

— Пожалуйста, — сказал Майерс и отошел нетвердой походкой.

Хемингуэй посмотрел ему вслед и повернулся ко мне.

— Когда кончаешь книгу, ты словно труп, — сказал он мрачно. — Но ведь никто этого не знает. Зато все уверены, что писателю наплевать на все, когда он кончил работу. Забывают о том, какая это ответственность — писать.

Он сказал, что сильно устал, хотя физически чувствует себя хорошо: ему удалось сбросить вес до 97 килограммов, и давление у него тоже упало. Нужны еще большие переделки в книге, и от твердо решил переписывать ее до тех пор, пока сам не будет абсолютно доволен.

— Романист — это им не игрок в бейсбол, его с поля не выбьешь, — сказал Хемингуэй. — Он должен пройти весь круг, даже если это убивает его.

К нам подошла жена Хемингуэя, Мэри, маленькая, энергичная, жизнерадостная женщина, с коротко подстриженными светлыми волосами, одетая в длинное норковое манто с поясом. За ней носильщик толкал тележку, нагруженную чемоданами.

— Папа, вещи все целы, — сказала она Хемингуэю. — Теперь мы можем идти, Папа.

Своим видом он дал понять, что не собирается торопиться. Он медленно пересчитал чемоданы. Их было четырнадцать, и половина из них — огромные фибровые чемоданы, сделанные, как сказала мне миссис Хемингуэй, по чертежу мужа, и на них стояли вензеля, придуманные им самим. Когда Хемингуэй кончил считать, его жена попросила объяснить носильщику, куда отвезти багаж. Хемингуэй велел носильщику подождать с багажом; затем повернулся к жене и сказал:

— Давай не будем спешить, дорогая. По распорядку дня прежде всего полагается выпить.

Мы зашли в бар аэропорта и остановились у стойки. Хемингуэй положил свой портфель на хромированный стул и пододвинул его к себе. Он заказал виски с содовой. Миссис Хемингуэй попросила того же, а я заказала чашку кофе. Хемингуэй дал знак бармену налить двойные порции. Он ожидал виски с нетерпением, положив на стойку обе руки и мурлыча какой-то неясный мотив. Миссис Хемингуэй сказала, что надеется попасть в Нью-Йорк до темноты. Хемингуэй ответил, что для него это не имеет ни малейшего значения, потому что Нью-Йорк — город грубый, фальшивый, город, в котором ночью все так же, как и днем, и что он вообще не в восторге от того, что они попадут туда. Вот в Венецию ему хочется поехать, сказал он.

— Где я люблю бывать, так это на Западе, в Вайоминге, в Монтане и в Айдахо, и еще мне нравится Куба, и Париж, и окрестности Венеции, — сказал он. — Уэст-Порт наводит на меня ужас.

Миссис Хемингуэй закурила сигарету и протянула мне пачку. Я предложила сигареты ее мужу, но он сказал, что не курит: курение притупляет обоняние, которое он считает совершенно необходимым для охоты.

— Для человека с тонким обонянием сигареты пахнут ужасно, — сказал он и засмеялся, ссутулившись и поднеся тыльную сторону кулака к лицу, словно защищаясь от удара. И добавил, что может отличить по запаху лося, оленя, опоссума и енота.

Бармен принес напитки. Хемингуэй сделал несколько больших глотков и сказал, что прекрасно ладил с живо-

тными, иногда лучше, чем с людьми. Однажды в Монтане с ним жил медведь, и медведь спал рядом, напивался с ним, и они были добрыми друзьями. Он спросил меня, есть ли еще медведи в зоопарке в Бронксе. Я сказала, что не знаю, но совершенно уверена, что медведи есть в Центральном парке.

— В Бронксе я всегда ходил в зоопарк с Гранни Райсом, — сказал он. — Я люблю ходить в зоопарк. Но не по воскресеньям. Я не люблю смотреть, как люди насмеваются над животными, ведь правильнее было бы наоборот.

Миссис Хемингуэй вынула из сумки маленькую записную книжку: она сказала мне, что составила список дел, которые они с мужем должны выполнить до отъезда из Нью-Йорка. Им надо купить крышку для термоса, начальную грамматику итальянского языка, краткую историю Италии, а для Хемингуэя — четыре шерстяные рубашки, четыре пары хлопчатобумажных трусов, две пары шерстяных трусов, ночные туфли, ремень и плащ.

— У Папы никогда не было плаща, — сказала она. — Нам необходимо купить Папе плащ. (Хемингуэй хмыкнул и навалился грудью на стойку.) Хороший, непромокаемый плащ, — повторила миссис Хемингуэй. — И потом ему надо починить очки. Ему нужны очки, которые бы не резали переносицу. Эти причиняют ему боль. Он целыми неделями носит на переносице один и тот же кусочек бумаги и меняет его только тогда, когда хочет как следует вымыться.

Хемингуэй снова хмыкнул.

Подошел бармен, и Хемингуэй попросил принести еще виски. Затем он сказал:

— Мэри, как только мы приедем в отель, мы прежде всего позвоним Капусте.

Он снова засмеялся, поднес кулак к лицу и объяснил мне, что «Капуста» — это ласковое прозвище Марлен Дитрих, его старого друга, и что есть целый обширный словарь смешных кличек и условных оборотов, бытующих в Финке Вихии.

— Нам доставляет удовольствие говорить на этом шутовском жаргоне, — сказал он.

— Прежде всего мы позвоним Марлен, а потом закажем икру и шампанское, Папа, — сказала миссис Хемингуэй. — Я целую вечность ждала икры и шампанского.

— Капуста, икра и шампанское, — медленно перечислил Хемингуэй, как будто запоминал сложный военный приказ. Он опорожнил свой стакан, кивком попросил бармена повторить и повернулся ко мне. — Хотите пойти со мной покупать плащ? — спросил он.

— Купить плащ и починить очки, — сказала миссис Хемингуэй.

Я ответила, что с радостью помогу ему сделать и то и другое, и напомнила, что он хотел посмотреть бокс. Единственный матч на этой неделе, как я выяснила у одного своего осведомленного друга, состоится вечером на ринге Сент-Николас. Я сказала, что у моего друга есть четыре билета и он с удовольствием пригласит нас всех. Хемингуэй спросил имена боксеров. Когда я назвала их, он сказал, что все они лодыри.

— Лодыри, — повторила миссис Хемингуэй и добавила, что у них на Кубе боксеры намного лучше.

Хемингуэй посмотрел на меня долгим укоризненным взглядом.

— Запомни, дочка: лучше вовсе не ходить, чем смотреть плохой бокс, — сказал он. — Мы все пойдем на бокс, когда вернемся из Европы, потому что необходимо, совершенно необходимо хоть несколько раз в году увидеть хороший бой. А если долго не ходить на бокс, то и вовсе отвыкаешь от него, а это опасно... — Он закашлялся. — В конце концов, — закончил он, — приучишься кистнуть дома.

Мы еще немного посидели в баре, потом Хемингуэй пригласил меня поехать с ними в отель. Багаж погрузили в такси, мы же сели в другую машину. Было уже темно. Мы ехали по широкому проспекту, и Хемингуэй внимательно следил за дорогой. Миссис Хемингуэй сказала мне, что он всегда так делает и обычно садится с шофером. Эта привычка у него еще с первой мировой войны. Я спросила, что они намерены делать в Европе. Они сказали, что собираются провести неделю или около того в Париже, а затем поехать на машине в Венецию.

— Люблю возвращаться в Париж, — сказал Хемингуэй, не отрывая глаз от дороги. — Вхожу как бы с черного хода, не даю никаких интервью, и никто обо мне не знает. И, как в старые добрые времена, ни разу там не стригусь. Люблю ходить в кафе, где знакомых у меня — только один официант да его сменщик. Люблю смотреть новые картины и старые тоже, ходить на велосипедные гонки и бокс и знакомиться с новыми гонщиками и боксерами. Я нахожу хорошие дешевые рестораны, где всегда наготове твоя собственная салфетка. Люблю ходить из конца в конец по городу и смотреть: вот здесь мы ошибались, а здесь рождались у нас изредка светлые идеи; в дымные сумерки — изучать программу бегов и пытаться отгадать победителей, а на следующий день ставить на них на бегах в Отейле или Энгигене.

— Папе везет на бегах, — сказала миссис Хемингуэй.

— Когда хорошо знаю программу, — сказал он.

Мы проезжали по мосту Квинсборо, и стали видны небоскребы Манхэттена. Они были освещены. Хемингуэй не обратил на них внимания.

— Не мой это город, — сказал он. — Это город, в который можно только заглянуть. Он убивает. А вот Париж был для меня вторым домом... Я одинок и в то же время донельзя счастлив в этом городе, где мы жили, работали, учились, росли, а потом всегда стремились вернуться туда.

Другим домом для него была Венеция. Последний раз, когда он был с женой в Италии, они четыре месяца жили в Венеции и в долине Кортина, и он ходил на охоту и сейчас, в новой книге, описал это место и некоторых людей.

— Италия так чертовски прекрасна! — сказал он. — Это как если бы ты умер и тут же вознесся в небеса. Просто невозможно себе представить.

Миссис Хемингуэй сказала, что, катаясь там на льжах, она сломала себе правую лодыжку, но они все-таки собираются снова поехать туда кататься на льжах. В Падуе Хемингуэй лежал в больнице с воспалением глаза, но он хочет снова побывать в Италии и повидать своих многочисленных хороших друзей. Он очень хочет увидеть гондольеров в ветреный день, отель «Гритти-палас», где они останавливались в прошлую поездку, и «Локанду чиприани», старый постоялый двор в Торчелло, остров в лагуне к северо-востоку от Венеции, где коренные венецианцы жили еще до того, как построили Венецию. Сейчас всего около семидесяти человек живут в Торчелло, и все мужчины зарабатывают охотой на уток. Там Хемингуэй много охотился на уток с садовником старого постоялого двора.

— Мы плавали по каналам и стреляли уток влет, и я ходил по камышам во время отливов, охотясь на бекасов, — заговорил Хемингуэй. — Через это место проходит путь уток, которые летят из Припятских болот. Стрелял я хорошо и стал уважаемым человеком. Там водится какая-то пичуга, которая, поклевав виноград на севере, летит за ним на юг. Местные люди стреляют их на земле. Мне иногда удавалось бить их на лету. Однажды я выстрелил дулетом по стае, и садовник закричал от восторга. Идя домой, я подстрелил утку, высоко летевшую на фоне восходящей луны, и она упала прямо в канал. Это потрясло моего партнера, и я думал, что он никогда не успокоится. Не помогла даже бутылка кианти. Каждый из нас взял с собой по бутылке. Свою я выпил по дороге, чтобы согреться. Он же выпил свою, когда не мог больше

сдерживать волнения. — Мы помолчали, потом Хемингуэй сказал: — Венеция — чудесная страна.

Хемингуэй остановились в гостинице «Шерри-Недерлэнд». Он заполнил анкету и сказал портье, что не желает, чтобы знали о его приезде. Он никого не желает видеть, ни с кем не хочет говорить по телефону, кроме мисс Дитрих. Затем мы поднялись в приготовленный для них номер, состоявший из гостиной, спальни и маленькой кухни. Хемингуэй задержался у входа, осматривая гостиную. Это была большая комната с кричащими обоями и мебелью под стиль XVIII века. В поддельном камине лежали фальшивые угли.

— Берлога что надо, — сказал он, все еще стоя в дверях. — Они наверняка называют это китайской готикой.

Он вошел, и в гостиной сразу стало тесно. Миссис Хемингуэй направилась к книжному шкафу и исследовала его содержимое.

— Взгляни-ка, Папа, — сказала она. — Они фальшивые. Это не настоящие книги, Папа, а одни корешки.

Хемингуэй положил портфель на ярко-красную кушетку и подошел к шкафу. Затем медленно, с выражением прочитал названия: «Начальная экономия», «Правительство Соединенных Штатов», «Швеция — земля и люди», «Спи спокойно» Феллиса Бенгли.

— Похоже, что мы неуклонно идем к угасанию, — сказал он, стаскивая с себя галстук.

Сняв галстук, а затем и пиджак, Хемингуэй протянул их жене, которая пошла в спальню, сказав, что будет распаковывать вещи. Он расстегнул воротничок и подошел к телефону.

— Позвоню Капусте, — сказал он.

Он позвонил в Плазу и спросил мисс Дитрих. Ее не было, и он попросил передать ей, что ждет ее к ужину. Затем он по телефону заказал в ресторане икру и две бутылки шампанского «Перрье-Жуэ», сухого.

Подойдя снова к книжному шкафу, он постоял в задумчивости, словно не зная, что сказать, потом посмотрел на картонные корешки и сказал:

— Такие же фальшивые, как и город.

Я сказала, что в эти дни о нем очень много говорят в литературных кругах. Критики толкуют не только о книгах, которые он уже написал, но и о том, что он еще напишет. Хемингуэй ответил, что из всех, кого он не желает видеть в Нью-Йорке, на первом месте стоят критики.

— Они похожи на людей, которые приходят на бейсбол и не могут даже назвать игроков, не заглянув в программу, — сказал он. — Мне наплевать, что делают те, ко-

го я не люблю. Какого черта! Если они в состоянии причинить зло, ну что ж, пускай! Это обидно, но игра есть игра.

Хемингуэй сказал, что вслед за критиками, с которыми ему меньше всего хотелось бы встречаться, идут писатели, которые пишут о войне, никогда не понюхав пороха.

— Они похожи на игроков, которые не могут даже поймать хороший мяч, а роняют его на землю и сводят на нет все усилия команды, или же когда подают мяч сами, то стараются вывести из игры как можно больше игроков...

Когда он сам подавал мяч, сказал Хемингуэй, то никогда не выбивал игроков, если не видел, что это совершенно необходимо.

— Этой рукой я сделал много быстрых и точных бросков, — сказал он, — и всегда старался ловить мяч в воздухе или на земле.

Пришел официант с икрой и шампанским, и Хемингуэй попросил открыть бутылку. Миссис Хемингуэй вышла из спальни и сказала, что не может найти его зубную щетку. Он сказал, что понятия не имеет, где она, но что можно купить другую. Миссис Хемингуэй согласилась и пошла обратно в спальню. Хемингуэй налил два бокала шампанского, один подал мне, из второго отпил сам. Официант с откровенным интересом следил за ним. Хемингуэй втянул голову в плечи и что-то сказал официанту по-испански. Оба они засмеялись, и официант ушел. Хемингуэй с бокалом в руке подошел к красной кушетке и сел. Я опустилась в кресло напротив.

— Я помню, что первая мировая война вызывала у меня такое отвращение, что я целых десять лет не мог писать о ней, — сказал он, неожиданно рассвирепев. — Война оставляет у писателя рану, которая очень медленно заживает. Когда-то давно я написал об этом три рассказа: «В чужой стране», «Какими вы не будете» и «Сейчас я себя предал».

Он назвал имя одного писателя, который писал о войне и считал себя вторым Толстым, но напоминал Толстого лишь тем, что бегал по траве босиком.

— Он и выстрела-то никогда не слышал, а хочет тягаться с Толстым, артиллерийским офицером, который сражался в Севастополе и отлично знал свое дело, был настоящим мужчиной, будь то в постели, за бутылкой или же просто в пустой комнате, когда он сидел за столом и думал. Я начал очень скромно и побил господина Тургенева. Затем — это стоило большого труда — я побил господина де Мопассана. С господином Стендалем у меня

дважды была ничья, но, кажется, в последнем раунде я выиграл по очкам. Но ничто не заставит меня выйти на ринг против господина Толстого, разве что я сойду с ума или достигну несравненного совершенства.

Хемингуэй сказал, что новая его книга возникла из короткого рассказа.

— А затем я не мог остановиться. Рассказ превратился в роман, — объяснил он. — Так было со всеми моими романами. Когда мне было двадцать пять, я читал романы Сомерсета Моэма и Стефана Сен-Виксена Бенета. — Он хрипло засмеялся. — У них уже были книги, и мне стало стыдно, что у меня нет ни одной. Так я написал «Солнце». Мне было тогда двадцать семь лет, и я написал книгу в шесть недель: начал в день моего рождения, двадцать первого июля, в Валенсии, и кончил шестого сентября в Париже. Но роман получился дрянной, и я переделывал его почти пять месяцев. Может быть, это послужит примером молодым писателям, и они не станут слушаться советов своих врачей-психоаналитиков. Однажды один из таких врачей написал мне: «Чему вы научились у психоаналитиков?» Я ответил, что очень немногому, и надеюсь, что и они почерпнули не больше из моих книг, если вообще поняли их. Боксер, который только защищается, никогда не выигрывает. Не лезь на рожон, если не можешь побить противника. Загни боксера в угол и выбей из него дух. Уклоняйся от свинга, блокируй хук и изо всех сил отбивай прямые. Папа все это узнал на собственной шкуре...

Хемингуэй налил себе еще бокал шампанского и сказал, что любит писать от руки, хотя недавно купил себе магнитофон, но все не решается его опробовать.

— Я хочу научиться пользоваться говорящей машиной, — сказал он. — Говорящей машине можно рассказывать все и отдать секретарю перепечатать.

Пишет Хемингуэй трудно. И только диалоги даются ему легче.

— Когда люди у меня разговаривают, я не могу быстро записывать их слова, не поспеваю за ними, но всегда делаю это с огромным удовольствием. Я вкладываю в фразу больше, чем она может вместить, потом отпускаю ее в свободный полет, в смелый, даже безумный полет, как летают иногда подлинно хорошие пилоты: большую часть времени они летают спокойно, по прямой, получая удовлетворение лишь от огромной скорости.

Так продлеваешь жизнь. То есть я хочу сказать, так дольше живут произведения. Ну, что вы скажете на это, джентльмены?

Казалось, этот вопрос имел какое-то особое значение для него, но он не стал мне объяснять.

Я поинтересовалась, чем, по его мнению, новая книга отличается от прежних. Он посмотрел на меня тем же долгим, укоризненным взглядом.

— А как вы сами думаете? — спросил он, помолчав. — Не хотите же вы, чтобы я написал что-нибудь вроде нового «Прощай, оружие!» — о солдатах в Аддис-Абебе или о солдатах, захвативших канонерку?

Он сказал, что книга его — о командирах во вторую мировую войну.

— Меня не интересуют все эти «якобы солдаты». — Он снова разозлился. — Или несправедливости, которые терпел лично Я — с большой буквы. Меня, черт побери, интересует жестокая наука войны!

В новом романе, по его словам, много грубых слов.

— Это потому, что на войне разговаривают грубо, хотя я всегда стараюсь выражаться вежливо, — сказал он. — Мне кажется, что в этом отношении роман сильнее, чем «Прощай». — Он дотронулся до портфеля. — В этой книге нет той молодости и наивности. — Потом он спросил устало: — Ну, что вы скажете, джентльмены?

В дверь постучали. Хемингуэй быстро встал и открыл дверь. Это была Марлен Дитрих. Их встреча была радостной. Миссис Хемингуэй вышла из спальни и радушно приветствовала гостью. Марлен Дитрих отступила на шаг от Хемингуэя и одобрительно оглядела его.

— Папа, ты выглядишь чудесно, — медленно сказала она.

— Я соскучился по тебе, дочка, — сказал Хемингуэй. Он поднес кулак к лицу, и его плечи затряслись в беззвучном смехе.

Мисс Дитрих была в норковой шубе. Она громко вздохнула, сняла шубу и отдала ее миссис Хемингуэй. Потом снова вздохнула и опустилась в глубокое мягкое кресло. Хемингуэй налил в бокал шампанское, подал ей и наполнил остальные бокалы.

— Капуста в отличной форме, — сказал он, передавая мне мой бокал.

Затем он пододвинул стул и сел рядом с Марлен Дитрих. Они стали говорить о друзьях и о себе. Говорили о театре и о кинематографистах, одного из которых Хемингуэй назвал «морским пиратом».

Марлен поинтересовалась, почему он называет его так.

— Потому что море больше, чем суша, — ответил Хемингуэй.

Миссис Хемингуэй вышла из комнаты и через несколько минут принесла бутерброды с икрой.

— Мэри, я рассказываю Папе, что, став бабушкой, я себя должна вести по-другому, — сказала Марлен, беря бутерброд. — Мне приходится все время думать о детях. Ты же знаешь, Папа?

Хемингуэй понимающе хмыкнул, а Дитрих достала из сумочки несколько любительских снимков внука и дала их нам посмотреть. Она сказала, что внуку здесь полтора года. Хемингуэй сказал, что мальчиш похож на чемпиона бокса и что, будь он сам боксером, он гордился бы таким здоровьем.

Мисс Дитрих сказала, что у ее дочери скоро будет второй ребенок.

— Я стану двойной бабушкой, Папа, — сказала она.

Хемингуэй невесело посмотрел на нее.

— Через несколько месяцев я тоже собираюсь стать дедушкой, — сказал он. — Жена моего сына Бэмби ждет ребенка.

Миссис Хемингуэй объяснила мне, что «Бэмби» — прозвище старшего сына Хемингуэя, Джона, армейского капитана, находящегося в Берлине. Второй сын, Патрик, по кличке «Мышонок», — студент второго курса Гарвардского университета, ему двадцать один год, он собирается жениться в июне. А Грегори, прозванный «Джиджи», только что поступил в военную академию Сент-Джон в Аннаполисе. Ему всего восемнадцать. Кроме нынешней миссис Хемингуэй, Патрик собирается пригласить на свадьбу вторую жену Хемингуэя, Полину Пфейфер, мать его и Джиджи. Первую жену Хемингуэя, мать Бэмби, звали Хэдди Ричардсон, теперь она миссис Поль Скотт Мурер. Третьей женой Хемингуэя была Марта Гельхорн.

— Все, что мы делаем, мы делаем ради наших детей, — сказала Марлен Дитрих.

— Все для детей, — подтвердил Хемингуэй. Он наполнил ее бокал.

— Спасибо, Папа, — сказала она и вздохнула. — Я живу в Плазе, — сказала она ему, — но большую часть времени провожу у дочери на Третьей авеню. Папа, ты бы видел меня, когда дочь с мужем уходят, — продолжала она и отхлебнула шампанского. — Я нянька. Как только они уходят из дому, я принимаюсь расхаживать по квартире, заглядываю во все щели, закрываю ящики, вытираю пыль. Я не могу быть в доме, если там беспорядок и грязь. Я лазаю по всем углам с полотенцем, которое приношу с собой из Плазы, и убираю во всем доме. Потом они приходят в час или два ночи, а я забираю с собой грязное полотенце и детское белье, которое надо постирать, и с узлом уожу и беру такси. Шофер думает, что я старая

прачка с Третьей авеню, подсаживает меня в машину и сочувствует мне, а я боюсь ему сказать, что мне надо в Плазу. Я выхожу из машины за квартал до дома, и иду пешком со своим узлом, и стираю вещички ребенка, и только после этого ложусь спать.

— Дочка, ты это делаешь не для них, а для себя, — сказал Хемингуэй серьезно.

В дверь позвонили. Рассыльный принес цветы. Миссис Хемингуэй открыла коробку и достала зеленые орхидеи, их прислала ее мать. Она поставила цветы в вазу и сказала, что пора заказывать ужин.

За ужином Хемингуэй и Марлен Дитрих говорили о войне. Все трое видели ее близко. Миссис Хемингуэй, в то время Мэри Уэлш, была корреспондентом «Тайм» в Лондоне, где и познакомилась с Хемингуэем. Оба они довольно часто встречались с Марлен Дитрих там, а позже в Париже. Она работала во фронтовой актерской бригаде и выступала почти на всех фронтах Европы. Она погрузилась, когда заговорила о войне. Она любила выступать перед солдатами, и теплое отношение этих людей, оторванных от дома, по ее словам, было для нее дороже всего.

— Они были такими, какими людям надо быть всегда, — сказала Марлен. — Не подлецами и не трусами, а просто людьми, хорошо относящимися друг к другу.

Хемингуэй выпил за ее здоровье.

— Наконец-то я поняла, почему теперь, когда война кончилась, Папа иногда кажется таким забитым, — сказала миссис Хемингуэй. — Потому что у него нет случая показать свою храбрость в мирное время.

— На войне все по-другому, — сказала Дитрих. — Люди не так черствы, они помогают друг другу.

Хемингуэй спросил у нее о пластинках, которые она записала во время войны, — это были популярные американские песни, переведенные на немецкий язык. Он сказал, что хотел бы их иметь.

— Меняю рукопись своей новой книги на эти пластинки, дочка, — сказал он.

— Папа, с тобой я не меняюсь. Я тебя люблю, — сказала мисс Дитрих.

— Лучше тебя я никого не видал на ринге, — сказал Хемингуэй.

На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Хемингуэй просил меня немедленно приехать в отель. Голос его показался мне встревоженным. Я быстро проглотила чашку кофе, и, когда подошла к его номеру, дверь оказалась открытой. Я вошла. Хемингуэй говорил по те-

лефону. На нем был клетчатый оранжевый купальный халат, который, кажется, был ему мал. В руке он держал бокал с шампанским. Его борода была еще более всклокоченной, чем вчера.

— Мой сын Патрик приезжает из Гарварда, и я просил бы оставить ему номер, — говорил он в телефон. — Патрик, первая буква «П». — Он помолчал и отхлебнул из бокала. — Большое спасибо. Он приезжает из Гарварда.

Хемингуэй положил трубку, достал из кармана халата коробочку с пилюлями, высыпал две на ладонь и запил их шампанским. Он сказал мне, что встал в шесть утра, что жена еще спит, что утром он достаточно поработал и теперь хочет поговорить. Разговаривая, он отдыхает. Он всегда просыпается на рассвете, потому что у него тонкие веки, а глаза очень чувствительны к свету.

— Я видел все восходы солнца, которые были на моем веку, а это полсотни лет, — сказал он.

Этим утром он очень внимательно перечитал рукопись.

— Я проснулся утром, и у меня в голове стали складываться фразы, и мне надо было от них избавиться — выговориться или записать их, — сказал он. — Как вам понравилась Капуста?

Я сказала, что очень.

— Я люблю Капусту и люблю Ингрид, — сказал он. — Если бы я не был женат на мисс Мэри и не любил бы мисс Мэри, я бы попытался подцепить обеих. У одной есть то, чего нет у другой, и мне нравится все, что есть у каждой. — На мгновение он удивился своим словам, а затем быстро добавил: — Никогда не женился бы на актрисе: они должны делать карьеру и работают в очень неудобное время.

Я спросила его, все ли еще он собирается купить себе плащ. Он ответил, что, конечно, собирается, но не желает толкаться в толпе; к тому же на улице холодно.

На маленьком столике возле кушетки в двух ведерках со льдом стояли бутылки шампанского. Он взял бокал, вынул одну из бутылок и заглянул в нее. Она была пуста. Тогда он откупорил вторую бутылку и, пока наливал шампанское в бокал, запел: «Дайте, дайте мне патроны и не выгоняйте меня из Четвертой дивизии. Ты солдат с собачьей пастью, парень мировой». Помолчав, он объяснил:

— Это песня Четвертой пехотной дивизии. Мне она нравится, и я всегда пою ее, когда душа просит музыки. Я люблю всякую музыку, даже оперную. Но у меня нет голоса, и я не умею петь. У меня чертовски хороший слух, хотя по слуху я не могу играть ни на одном инструменте,

даже на рояле. Мать хотела научить меня играть на виолончели. Однажды она для этого даже забрала меня из школы. А я хотел играть в футбол. Ей же хотелось, чтобы у нас в доме звучала камерная музыка.

Его раскрытый портфель лежал на стуле у письменного стола, и из него торчали листы рукописи: казалось, кто-то небрежно засунул их туда. Хемингуэй сказал, что он сокращал рукопись.

— Книгу можно проверить по тому, сколько удачных мест автор может из нее выбросить, — сказал он. — Когда я пишу, я горд, как лев, черт побери! Я пользуюсь самыми старыми словами английского языка. Люди думают, что я дурак и неуч, который не знает более ходовых слов. Я их знаю, но есть слова старше и лучше, они остаются надолго, если их правильно расставить. Запомни: тот, кто цеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни того, ни другого. А еще запомни, дочка, что я перестал укладывать с собой в кровать плюшевого медведя, когда мне исполнилось четыре года. Нынче даже семидесятивосьмилетние бабки норовят найти для себя лазейку в законе о правах военнослужащих, по которому матери павших солдат, награжденных золотой звездой, могут получать бесплатное образование. Я уже подумывал о том, чтобы учредить стипендию и послать самого себя в Гарвардский университет, потому что моя тетя Арабелла очень страдала оттого, что я единственный из Хемингуэев, который никогда не учился в колледже. Но я был настолько занят, что мне было не до этого. Я окончил среднюю школу и два года проучился на ускоренных военных курсах и никогда не занимался французским языком. Я начал учиться читать по-французски по сообщениям «Ассошиэйтед пресс», перепечатанным во французских газетах, после того как я уже прочитал их в американских. В конце концов я научился читать репортажи о событиях, свидетелем которых был сам, а также les événements sportifs¹ и les crimes². После такой практики господин де Мопассан уже не был для меня труден, — ибо он писал о вещах мне знакомых и понятных. Кого бы я ни читал — Дюма, Доде, Стендаля, — я знал, что именно так хочется писать и мне. Господин Флобер всегда подавал мячи абсолютно точно, сильно и высоко. Затем последовал господин Бодлер, у которого я научился подавать особенно трудные мячи, и господин Рембо, который никогда в своей жизни не сделал ни одного хорошего мяча. У господина Андре Жида и господина Валери я ничему не мог научиться. Я думаю, что гос-

¹ Спортивные новости (фр.).

² Уголовная хроника (фр.).

подин Валери был слишком для меня изящен. Так же, как Джек Бриттон и Бенни Леонард.

— Джек Бриттон, — добавил Хемингуэй, — был боксером, и я им восхищался. Джек Бриттон всегда был начеку. Непрерывно двигаясь по рингу, он никогда не позволял нанести себе сильный удар. Я тоже всегда начеку и никогда не дам нанести себе сильный удар. Никогда не лезь на рожон, если не можешь побить противника. Загони в угол боксера... — Хемингуэй принял боксерскую стойку и поднес к груди правую руку с зажатым в ней бокалом шампанского.левой рукой он нанес несколько сильных ударов невидимому противнику. — Запомни. Уклоняйся от свинга. Блокируй хук. И что есть силы отбивай прямые.

Он выпрямился, задумчиво посмотрел на бокал, потом сказал:

— Как-то я спросил Джека, обсуждая его бой с Бенни Леонардом: «Как тебе удалось так быстро расправиться с Бенни, Джек?» — «Эрни, — ответил он, — Бенни — очень опытный боксер. Он не перестает думать во время боя. А пока он думал, я его бил». — Хемингуэй хрипло засмеялся, словно сам услышал эту историю впервые. — Даже двигался по рингу с геометрической точностью, ни на миллиметр в сторону. Никто не мог нанести ему сильный удар. У него не было противника, которого он не мог бы ударить, когда хотел. — Он снова засмеялся. — «Пока он думал, я бил его».

Хемингуэй сказал мне, что этот случай был описан им в начальном варианте рассказа «Пятьдесят тысяч», но Скотт Фицджеральд уговорил его выбросить этот кусок.

— Скотт думал, что все знают об этой истории, хотя знали только Джек Бриттон и я. Джек рассказал ее только мне. Вот Скотт и уговорил меня выбросить этот кусок. Мне не хотелось этого делать. Но Скотт был знаменитый писатель, которого я уважал, и я послушался его совета.

Хемингуэй сел на кушетку и несколько раз кивнул мне, привлекая мое внимание.

— Когда становишься старше, труднее иметь героев, но это необходимо, — сказал он. — У меня есть кот по имени Бауз, который хочет быть человеком, — продолжал он медленно, снижая голос почти до шепота. — Бауз ест все, что едят люди. Он жует таблетки витамина В, горькие, как столетник. Он думает, что я жадничая, когда не даю ему таблеток, которые пью для понижения давления, а перед сном не возволяю ему принимать снотворное. — Он засмеялся коротким, раскатистым смехом. — Я

чудной старик, — сказал он. — Ну, что вы скажете, джентльмены?

— Пятьдесят, — продолжал Хемингуэй, помолчав. — Пятьдесят — это еще не старость. Даже приятно, что в пятьдесят ты чувствуешь, что еще можешь защитить свой титул, — сказал он. — Я завоевал его в двадцатых годах, защищал в тридцатых и сороковых и готов защищать его и в пятидесятых.

В комнату вошла миссис Хемингуэй. На ней были серые фланелевые брюки и белая кофточка. Она сказала, что чувствует себя великолепно — сегодня впервые за шесть месяцев приняла горячую ванну. Она собирается пойти по делам и советует Хемингуэю одеться и тоже идти по своим делам. Он сказал, что уже время обеда и если они уйдут в город, то каждому придется зайти куда-нибудь поесть, а если заказать обед в номер, это сэкономит время. Миссис Хемингуэй сказала, что закажет обед, пока он будет одеваться. Все еще держа в руке бокал, он неохотно поднялся с кушетки, допил шампанское и пошел в спальню. К тому времени, когда он вышел, одетый так же, как и вчера, — только рубашка была синяя, с отложным воротничком и на пуговичках, — официант накрыл на стол. Хемингуэй сказал, что они не могут обедать без бутылки «тавеля», и мы ждали, пока официант принесет вино.

Хемингуэй начал с устриц. Каждую он тщательно прожевывал.

— Хорошо прожуешь, хорошо пройдет, — сказал он нам.

— Папа, пожалуйста, почини очки, — сказала миссис Хемингуэй.

Он кивнул. Затем он несколько раз кивнул мне.

— Когда я состарюсь, я хотел бы быть мудрым, но не нудным стариком. — Он замолчал, пока официант ставил перед ним тарелку со спаржей и артишоками и наливал «тавель». Хемингуэй попробовал вино и одобрительно кивнул официанту. — Я бы хотел видеть всех новых боксеров, скаковых лошадей, балеты, велосипедные гонки, тоreadоров, художников, видеть самолеты, всяких сукиных сынов — завсегдатаев кафе, международных проституток, бывать в ресторанах, пробовать старые вина, читать газетные сообщения и никогда не писать обо всем этом ни строчки. Я бы хотел писать множество писем друзьям и получать от них ответы. Хотел бы быть мужчиной до восьмидесяти пяти лет, как это удавалось Клемансо. И не хотел бы быть Берни Барухом. Я бы не сидел на скамейках в парке, я ходил бы по парку, и иногда кормил голубей, и не отращивал бы себе длинную бороду, чтобы в мире был хоть один старик, не похожий на Бернарда Шоу.

Он замолчал, провел тыльной стороной руки по бороде и задумчиво оглядел комнату.

— Никогда не встречался с мистером Шоу, — продолжал он. — И никогда не был на Ниагарском водопаде. Но с удовольствием снова начал бы играть на бегах. Бега начинаешь понимать по-настоящему, когда тебе стукнет семьдесят пять. Потом я нашел бы себе бейсбольный клуб, состоящий из молодых игроков. Только я не стану подавать им знаки программкой, чтобы изменить ход игры. Я еще не придумал, чем буду подавать знаки. А когда все это кончится, из меня выйдет отличный труп, лучший со времен красавчика Флойда. Только сосунки заботятся о спасении души. Кто, черт побери, заботится о спасении души, когда все дело в том, чтобы по-умному с ней расстаться, так же, как, сдавая позицию, которую нельзя удержать, надо продать ее как можно дороже. Умереть нетрудно.

Он открыл рот и засмеялся сперва беззвучно, а потом громко.

— С меня хватит забот, — сказал он.

Он подцепил длинный стебель спаржи пальцами и безразлично посмотрел на него.

— Только очень сильный человек, умирая, может сохранить ясность мысли, — сказал он.

Миссис Хемингуэй покончила с едой и быстро допила вино. Хемингуэй допил свое не торопясь. Я посмотрела на часы. Было почти три. Официант начал убирать со стола, и мы встали. Хемингуэй стоял, с огорчением глядя на недопитую бутылку шампанского. Миссис Хемингуэй надела шубу. Я тоже оделась.

— Недопитая бутылка шампанского — враг рода человеческого, — сказал Хемингуэй.

Мы снова сели.

— Когда у меня бывают деньги, я не вижу лучшего способа их тратить, чем покупать шампанское, — сказал Хемингуэй, наполняя бокал.

Когда шампанское было выпито, мы вышли из номера. Внизу миссис Хемингуэй еще раз попросила нас починить очки и исчезла.

Некоторое время Хемингуэй нерешительно топтался у входа. Стоял холодный, облачный день.

— Не очень-то хорошая погода, чтобы разгуливать по улице, — сказал он мрачно и добавил, что у него, кажется, болит горло.

Я спросила, не хочет ли он показаться доктору. Он ответил, что нет.

— Я никогда не доверял докторам, которым надо платить, — сказал он, когда мы переходили на другую сторону Пятой авеню.

Взлетела стая голубей. Он остановился, посмотрел вверх, прицелился в них из воображаемого ружья и нажал курок. На лице его отразилось разочарование.

— Очень трудный выстрел, — сказал он и, быстро повернувшись, снова как бы вскинул ружье. — А вот легкий выстрел, — сказал он. — Посмотрите!

Он указал на пятно на тротуаре. Казалось, ему стало легче, но не очень.

Я спросила его, не хочет ли он сперва зайти в оптический магазин. Он ответил, что нет. Тогда я напомнила о плаще. Он пожал плечами. Миссис Хемингуэй советовала поискать плащ в магазине «Аберкромби и Фитч». Поэтому я и упомянула «Аберкромби и Фитч». Он снова пожал плечами и медленно зашагал к такси. Мы ехали по Пятой авеню в послеобеденном потоке машин. На углу 54-й улицы машина затормозила по сигналу полицейского. Хемингуэй заворчал.

— Люблю смотреть на ирландца-полицейского, когда ему холодно, — сказал он. — Ставлю восемь против одного, что во время войны он служил в военной полиции. Очень искусный полицейский. Ловко орудует жезлом. Настоящие полицейские вовсе не похожи на тех, кого мы привыкли видеть в фильмах Хеллинджера. Разве что некоторые.

Мы поехали дальше, и он показал мне место, где однажды переходил Пятую авеню со Скоттом Фицджеральдом.

— Скотт уже больше не был в Принстоне, но он все еще говорил о футболе, — сказал Хемингуэй равнодушно. — Он не мыслил своей жизни без футбола. Я сказал: «Скотт, почему ты не бросишь футбол?» Он сказал: «Ты с ума сошел, парень». Вот и вся история. Если ты не сможешь перейти улицу, как же ты надеешься прорваться через оборону в футболе? Впрочем, я не Томас Манн, — добавил Хемингуэй. — У меня свое мнение.

К тому времени, как мы добрались до магазина «Аберкромби», Хемингуэй опять помрачнел. Он неохотно вылез из такси и так же неохотно вошел в магазин. Я спросила у него, что он хочет прежде всего посмотреть, плащ или что-нибудь еще.

— Плащ, — сказал он упавшим голосом.

В лифте Хемингуэй выглядел еще массивней, чем был на самом деле, а на лице у него было выражение человека, которого подвергают пытке. Стоявшая рядом с ним жен-

щина средних лет с тревогой и неодобрением уставилась на его нечесаную седую бороду.

— О Боже! — произнес внезапно Хемингуэй, нарушая тишину, царившую в лифте.

Женщина стала разглядывать свои туфли.

Дверь открылась на нужном нам этаже, мы вышли из лифта и направились в отдел плащей. Высокий лощеный продавец двинулся нам навстречу, а Хемингуэй, засунув руки в карманы брюк, пошел на него.

— Надеюсь, что в этой лавке я еще пользуюсь кредитом? — сказал он продавцу.

— Да, сэр, — сказал продавец, кашлянув.

— Хочу плащ, — сказал Хемингуэй угрожающе.

— Конечно, сэр, — сказал продавец. — Какой именно плащ вы бы хотели посмотреть, сэр?

— Вот тот.

Он ткнул в висевший на плечиках коричневый габардиновый плащ без пояса, похожий на мешок. Продавец подал плащ и бережно подвел его к большому зеркалу.

— Похож на саван, — сказал Хемингуэй, срывая с себя плащ. — На мою фигуру не годится. Других плащей у вас нет? — спросил он в надежде, что ответ будет отрицательным. И нетерпеливо направился к лифту.

— Посмотрите вот этот, сэр, с пристежной подкладкой, сэр, — сказал продавец.

Этот плащ был с поясом. Хемингуэй примерил его, поглядел на себя в зеркало и поднял руки, как бы вскидывая ружье.

— Вы собираетесь ходить в нем на охоту, сэр? — спросил продавец.

Хемингуэй хмыкнул и сказал, что берет плащ. Он назвал продавцу свое имя, и продавец щелкнул пальцами.

— Разумеется! — воскликнул он. — Ну как же!..

Хемингуэй выглядел смущенным. Он сказал, чтобы плащ прислали в отель «Шерри-Недерлэнд», и попросил показать ему ремни.

— Какой ремень вы желаете, мистер Хемингуэй? — спросил продавец.

— Коричневый, наверное, — сказал Хемингуэй.

Мы прошли к прилавку, где торговали ремнями, и к нам подошел другой продавец.

— Покажите мистеру Хемингуэю ремень, — сказал первый продавец и, отступив назад, стал внимательно наблюдать.

Второй продавец вынул из кармана сантиметр и ска-

зал, что Хемингуэю, наверно, нужен сорок шестой или сорок четвертый размер.

— Хотите пари? — спросил Хемингуэй. Он взял продавца за руку и сильно ударил ею себя в живот.

— Вот это да! Как сталь! — сказал продавец и измерил талию Хемингуэя.

— Тридцать восемь! — сообщил он. — Тонкая талия для вашего телосложения. Вы, наверно, много занимаетесь спортом?

Хемингуэй снова смутился, замахал руками, засмеялся и впервые после того, как мы вышли из отеля, выглядел довольным. Теперь он сам стукнул себя кулаком в живот.

— Куда вы едете, снова в Италию? — спросил продавец.

— В Италию, — сказал Хемингуэй, снова ударяя себя в живот.

После того, как Хемингуэй выбрал коричневый кожаный ремень, продавец спросил, не нужен ли ему пояс для денег. Хемингуэй сказал, что нет: деньги он держит в банке.

Мы еще задержались в обувном отделе, где Хемингуэй попросил показать ему мягкие ночные туфли.

— Туфли для вагона, — сказал продавец. — Какой размер?

— Одиннадцатый, — сказал Хемингуэй застенчиво.

Взглянув на туфли, он сказал продавцу, что берет их.

— Я положу их в карман, — сказал он. — Только дайте мне чек, чтобы не подумали, что я их украл.

— Вы даже не представляете себе, как много у нас крадут, — сказал маленький старый продавец. — Представьте, вчера утром какой-то тип унес с первого этажа большое колесо для рулетки. Просто поднял его и...

Хемингуэй не слушал.

— Вулфи! — вдруг заорал он стоящему к нам спиной здоровенному детине.

Человек обернулся. У него было большое квадратное красивое лицо, при виде Хемингуэя оно озарилось радостью.

— Папа! — кричал он.

Детина и Хемингуэй обнимались и хлопали друг друга по спине довольно долго. Это был Уинстон Гэст. Он сказал нам, что идет наверх покупать ружье, и предложил пойти с ним. Хемингуэй спросил, какое ружье, и Гэст ответил, что винчестер десятого калибра.

— Отличное ружье, — сказал Хемингуэй, беря от продавца свои ночные туфли и запихивая их в карман.

В лифте Хемингуэй и Гэст расспрашивали друг друга, на сколько каждый похудел. Гэст сказал, что сейчас он

весит сто десять килограммов, и то после того, как много ездил верхом и играл в конное поло. Хемингуэй сказал, что после охоты на уток на Кубе и работы над книгой он весит девяносто семь килограммов.

— А как книга, Папа? — спросил Гэст, когда мы выходили из лифта.

Хемингуэй засмеялся, поднес кулак ко рту, и сказал, что он намерен еще не раз защищать свой титул.

— Вулфи, я вдруг понял: вместо того чтобы кусать ногти, я снова прекрасно могу писать, — сказал он медленно. — Наверно, потребовалось какое-то время, чтобы у меня в голове все перестроилось. Для этого вовсе не обязательно раскроить писателю череп, или устраивать ему семь раз сотрясение мозга, или же ломать ему шесть ребер, когда ему всего лишь сорок семь лет, или протыкать голову кронштейном от автомобильного зеркала, да еще так, что чуть не задет гипофиз, или, скажем, много раз в него стрелять. С другой стороны, Вулфи, стоит только как следует цыкнуть на этих сукиных сынов, и они, поджав хвост, спрячутся по своим норам. — Он разразился смехом.

Огромное тело Гэста сотрясалось от хохота.

— Боже, Папа! — сказал он. — Ведь у меня на острове до сих пор хранится твоя охотничья одежда. Когда мы снова поедем на охоту, Папа?

Хемингуэй опять засмеялся и хлопнул его по спине.

— Вулфи, до чего же ты громадный! — сказал он.

Гэст договорился с продавцом, чтобы ему прислали ружье, и мы снова вошли в лифт. Они заговорили о человеке, который поймал в прошлом году черного марлина весом около полутонны.

— Ну, что вы скажете, джентльмены? — воскликнул Хемингуэй.

— Ах, Боже мой, Папа! — сказал Гэст.

На первом этаже Гэст указал на голову слона, висевшую на стене.

— Это же не слон, а пигмей, Папа, — сказал он.

— Разве это слон! — подтвердил Хемингуэй.

Обняв друг друга, они вышли на улицу. Я сказала, что должна уходить, и Хемингуэй попросил меня непременно быть завтра утром пораньше, чтобы пойти с ним и Патриком в Метрополитэн-музей. Уходя, я услышала, как Гэст сказал;

— Слава богу, Папа! Мне краснеть в жизни не за что.

— Как ни странно, мне тоже, — сказал Хемингуэй.

Я обернулась. Они хлопали друг друга по животу и оглушительно хохотали.

На следующее утро дверь открыл Патрик, застенчивый молодой человек среднего роста, с большими глазами и нервным лицом. На нем были серые фланелевые брюки, белая рубашка с открытым воротником, шерстяные носки и мокасины. Миссис Хемингуэй писала письмо.

Когда я вошла, она подняла голову и сказала:

— Как только Папа кончит одеваться, мы пойдем смотреть картины, — и снова принялась за письмо.

Патрик сказал мне, что он с удовольствием смотрел бы картины целый день и что он сам немного рисует.

— Папа должен быть к обеду, он пригласил мистера Скрибнера, — сказал Патрик и добавил, что сам он собирается пробыть в городе до завтрашнего утра, чтобы проводить отца.

Зазвонил телефон, и он снял трубку.

— Папа, это, кажется, Джиджи! — крикнул он в открытую дверь спальни.

Хемингуэй вышел без пиджака и направился к телефону.

— Как поживаешь, малыш? — сказал он и пригласил Джиджи приехать на каникулы к ним на ферму Финка.

— Ты там всегда желанный гость, Джиджи, — сказал он. — Помнишь своего любимого кота? Того, которого ты назвал Ароматом? Мы переименовали его, он теперь Экстаз. Каждый из наших котов знает свое имя.

Положив трубку, он сказал мне, что Джиджи — прекрасный стрелок, и, когда ему было одиннадцать лет, он занял второе место на стрелковых соревнованиях на Кубе.

— «Точная ведка», Мышонок? — спросил он.

— Да, Папа, — сказал Патрик.

Я спросила, что значит «точная ведка». Хемингуэй объяснил, что это английский жаргон, означающий информацию, — «ведка» происходит от слова «разведка».

— Оно разделяется на три класса: просто «ведка», «точная ведка», когда информация не вызывает сомнения, «абсолютно точная ведка», на основе которой можно уже действовать.

Он посмотрел на зеленые орхидеи.

— Мне мать цветов никогда не присылала, — сказал он.

Я узнала, что матери Хемингуэя около восьмидесяти и живет она в местечке Ривер-Форест в штате Иллинойс. Его отец был врачом и умер много лет назад: он застрелился, когда Эрнест еще был мальчиком.

— Надо идти, если мы хотим посмотреть картины, — сказал Хемингуэй. — Я попросил Чарли Скрибнера быть здесь в час. Извините, я умоюсь. В больших городах, наверно, нужно мыть шею.

Он ушел в спальню. Пока его не было, миссис Хемин-

гуэй сказала, что Эрнест был вторым из шести детей: Марселлина, затем Эрнест, Урсула, Мадлена, Кэрол и самый младший, его единственный брат, Листер. Все сестры названы именами святых. Все дети женаты и замужем; Листер живет в Боготе, в Колумбии, работает в американском посольстве.

Через некоторое время вышел Хемингуэй в новом плаще. Миссис Хемингуэй и Патрик надели пальто, и мы спустились вниз. Шел дождь, и мы поспешили взять такси. По пути в музей Хемингуэй говорил очень мало. Он что-то мурлыкал под нос и смотрел на улицу. Миссис Хемингуэй сказала мне, что он не любит такси, потому что не может сидеть рядом с шофером и наблюдать за дорогой.

Выглянув в окно, Хемингуэй показал на стаю пролетающих птиц.

— В этом городе птицы летают, но они не относятся к этому серьезно, — сказал он. — Нью-йоркские птицы не парят.

Когда мы остановились у входа в музей, туда медленно входила группа школьников. Хемингуэй нетерпеливо провел нас мимо них. В вестибюле он остановился, вытаскивал из кармана пальто серебряную фляжку, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Положив фляжку обратно, он спросил миссис Хемингуэй, что она хочет посмотреть сначала: Гойю или Брейгеля. Она сказала, что Брейгеля.

— Я учился писать, рассматривая картины в Люксембургском музее в Париже, — сказал он. — Института я не окончил. Когда у тебя в животе пусто, а вход в музей бесплатный, ты идешь в музей. Смотрите, — сказал он, останавливаясь перед «Портретом мужчины», который приписывают и Тициану и Джорджоне, — эти работы тоже из старой Венеции.

— А мне нравится вот эта, Папа, — сказал Патрик, и Хемингуэй подошел к «Портрету Федерико Гонзаго» (1500—1540) Франческо Франчиа. На полотне на фоне ландшафта был изображен маленький мальчик с длинными волосами, в плаще.

— Когда мы пишем, Мышонок, мы именно это пытаемся изобразить, — сказал Хемингуэй, указывая на дерево в глубине картины. — Когда пишешь, без них не обойтись.

Нас окликнула миссис Хемингуэй. Она стояла перед «Портретом художника» Ван Дейка. Хемингуэй взглянул на него, одобрительно кивнул и сказал:

— В Испании у нас был летчик-истребитель по имени Уитти Дал. Однажды Уитти приходит ко мне и спраши-

вает: «Мистер Хемингуэй, Ван Дейк — хороший художник?» Я отвечаю: «Да, хороший». Он говорит: «Что же, я очень рад, потому что в комнате, где я живу, висит его картина, и она мне очень нравится. Я рад, что он хороший художник, потому что он мне нравится». На следующий день Уитти погиб...

Мы подошли к картине Рубенса «Торжество Христа над Грехом и Смертью». На ней Христос изображен среди змей и ангелов, а из облаков за ним наблюдает какая-то фигура. Миссис Хемингуэй и Патрик сказали, что эта картина не похожа на обычного Рубенса.

— И тем не менее это написал он, — авторитетно сказал Хемингуэй. — Подлинник узнаешь так же, как охотничья собака чует дичь. По запаху. Или если ты научился этому у очень бедных, но очень хороших художников.

Это разрешило спор, и мы отправились к комнате, где висят полотна Брейгеля. Дверь была закрыта. На ней висела надпись: «Закрыто на ремонт».

— Что ж, простим им, — сказал Хемингуэй и снова отхлебнул из фляжки.

— А мне все-таки не хватает хорошего Брейгеля, — сказал он, когда мы пошли дальше. — Он величайший из всех сельских пейзажистов. В жатве у него участвует много людей. А он так точно, прямо геометрически располагает колосья и создает настолько сильное впечатление, что меня это потрясает до глубины души.

Мы подошли к «Виду Толедо» Эль Греко, написанному в зеленых тонах, и довольно долго любовались картиной.

— По-моему, это лучшая картина во всем музее, а здесь немало хороших картин, — сказал Хемингуэй.

Патрик приходил в восторг от некоторых картин, которые Хемингуэй не одобрял. Каждый раз, когда это случалось, Хемингуэй вступал с сыном в сложный технический спор. Патрик только тряс головой, смеялся и говорил, что уважает мнение Хемингуэя. Он старался не спорить.

— Какого черта! — внезапно сказал Хемингуэй. — Я не хочу быть художественным критиком. Я просто хочу смотреть картины, и получать от них удовольствие, и учиться на них. Вот эта картина, по-моему, чертовски хороша. — Он отступил назад и, прищурившись, посмотрел на картину Рейнольдса «Полковник Георг Куссмакер», на которой этот военачальник изображен верхом на лошади, прислонившись спиной к дереву, с поводьями в руках. — Так вот, полковник этот — сукин сын. Он готов был за-

платить деньги лучшему портретисту того времени только за то, чтобы он его написал, — сказал Хемингуэй и засмеялся. — Посмотрите, какой у него высокомерный вид, поглядите на мышцы шеи его лошади и на то, как болтаются его ноги. Он настолько высокомерен, что может позволить себе, сидя в седле, еще опереться на дерево.

На некоторое время мы разбрелись по залу, и каждый смотрел картины в одиночестве. А потом Хемингуэй позвал нас и указал на картину, под которой большими буквами было написано: «Катарина Лориллард Вулф», а маленькими буквами: «Художник Кабанель».

— С такой картиной я попал впросак еще мальчишкой в Чикаго, — сказал он. — Своими любимыми художниками я долгое время считал Бунте и Райерсона, а это фамилии двух крупнейших и богатейших семей в Чикаго. Я тогда считал, что слова, написанные под картинами крупными буквами, — это имена художников.

Мы подошли к Сезанну, Дега и другим импрессионистам. Хемингуэй возбуждался все больше и больше. Он рассуждал на тему о том, чего и как мог достичь каждый художник и что они получали друг от друга. Патрик слушал его с уважением и, казалось, больше не решался говорить о технике живописи. Несколько минут Хемингуэй смотрел на картину Сезанна «Скалы — лес в Фонтенбло».

— Вот чего мы стараемся достигнуть, когда пишем. Вот они, деревья, вот скалы, по которым мы должны карабкаться, — говорил он. — После старых мастеров я больше всего люблю Сезанна. Удивительный, удивительный художник! Дега — еще один удивительный художник. Я не видел ни одной плохой картины у Дега. Вы знаете, что он делал с плохими картинами? Он их сжигал.

Хемингуэй снова глотнул из фляжки. Мы подошли к портрету мадемуазель Вальтес де ля Бинь, написанному Мане пастелью. Это был портрет молодой блондинки с очень высокой прической. Хемингуэй несколько секунд молчал, потом повернулся и сказал:

— Мане умел передавать душевный расцвет юности, еще не успевшей разочароваться.

Некоторое время мы шли с ним вдвоем. Хемингуэй сказал мне:

— Я могу написать пейзаж, похожий на пейзаж Поля Сезанна. У него я учился писать пейзажи, когда тысячу раз бродил с пустым брюхом по Люксембургскому музею. И я абсолютно уверен, что если бы господин Поль был жив, ему бы понравилось, как я пишу пейзажи, и он был бы рад, что этому я научился у него.

Хемингуэй добавил, что многому научился также у Иоганна Себастьяна Баха.

— В первых абзацах «Прощай, оружие!» я умышленно много раз повторял союз «и» — так же, как Иоганн Себастьян Бах повторяет одну ноту, когда подчеркивает контрапункт. Я иногда могу писать почти так же, как господин Иоганн, или, во всяком случае, так, как ему бы понравилось. С этими людьми очень легко иметь дело, потому что всегда знаешь, что у них надо учиться.

— Папа, погляди, — сказал Патрик. Он смотрел на картину «Раздумья о крестных муках» Карпаччо. Патрик сказал, что для религиозной картины в ней слишком много экзотических животных.

— Угу, — сказал Хемингуэй. — Эти художники всегда переносят священные сюжеты в ту часть Италии, которая им больше всего нравится или где родились они сами или их возлюбленные. Они делают мадонн из своих возлюбленных. Предполагается, что это должна быть Палестина, а Палестина, думал художник, очень далеко. Вот он и сует в пейзаж красного попугая, оленя, леопарда. А потом снова прикидывает: это же далекий Восток — и сует туда мавров, старинных врагов венецианцев.

Он замолчал и стал смотреть, что еще художник напишал в картину.

— Потом художник почувствовал голод и пририсовал кроликов, — сказал он. — Черт побери, Мышонок, мы посмотрели массу хороших картин. Мышонок, ты не думаешь, что смотреть два часа картины — это слишком много?

Все согласились, что два часа для картин более чем достаточно. Хемингуэй сказал, что Гойю мы сегодня смотреть не будем, а что мы снова пойдем в музей, когда они с женой вернутся из Европы.

Мы вышли из музея. Не переставая, шел дождь.

— Черт бы его побрал, не люблю выходить на улицу в дождь, — сказал Хемингуэй. — Терпеть не могу быть мокрым.

Чарльз Скрибнер ждал в вестибюле отеля.

— Эрнест, — сказал он, тряся руку Хемингуэю.

Это был почтенный, какой-то торжественный джентльмен с седыми волосами и размеренной речью.

— Мы смотрели картины, Чарли, — сказал Хемингуэй, когда все вошли в лифт. — Там есть очень хорошие картины, Чарли.

Скрибнер кивнул и промывчал:

— Угу, угу...

— Большое удовольствие для такого провинциала, как я, — сказал Хемингуэй.

— Угу, угу...

Мы вошли в номер и сняли пальто, и Хемингуэй сказал, что обедать мы будем прямо здесь. Он позвонил в ресторан, а миссис Хемингуэй села за письменный стол кончать письмо. Хемингуэй уселся на диван вместе с мистером Скрибнером и стал жаловаться ему, что во время работы над книгой ему пришлось нажимать, как гонцику на шестидневной велосипедной гонке. Патрик сидел молча в углу и смотрел на отца.

Пришел официант и принес меню. Скрибнер сказал, что он сейчас закажет самые дорогие блюда, раз уж за обед платит Хемингуэй. Он засмеялся, Патрик засмеялся вместе с ним. Официант ушел выполнять заказ, а Скрибнер и Хемингуэй некоторое время говорили о делах. Скрибнер поинтересовался, не захватил ли с собой Хемингуэй те несколько писем, которые он ему посылал.

Хемингуэй сказал:

— Я вожу их с собой повсюду, Чарли, вместе с книжкой стихов Роберта Браунинга.

Скрибнер кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги — как он сказал, экземпляры договора на новую книгу. В договоре предусматривался аванс в сумме двадцати пяти тысяч долларов.

Хемингуэй подписал договор и поднялся с дивана. Затем он сказал:

— Никогда не считал себя гением, но буду по-прежнему отстаивать свой титул перед всеми хорошими писателями из молодых. — Он пригнул голову, выдвинул вперед левую ногу и несколько раз имитировал удар слева и справа. — Никогда не позволяй нанести тебе сильный удар, — сказал он.

Скрибнер поинтересовался, где можно будет найти Хемингуэя в Европе. Хемингуэй ответил, что легче всего через парижское отделение компании «Гаранти траст».

— Когда мы брали Париж, я попытался захватить этот банк, но получил хороший отпор, — сказал он и смущенно улыбнулся. — А было бы очень здорово, если бы мне удалось иметь свой собственный банк.

— Угу, угу... — пробурчал Скрибнер. — А что вы собираетесь делать в Италии, Эрнест?

Хемингуэй сказал, что часть дня будет работать и встречаться с итальянскими друзьями, а по утрам охотиться на уток.

— Однажды утром мы шестером набили триста тридцать одну утку, — сказал он. — Мэри тоже хорошо стреляла.

Миссис Хемингуэй подняла голову.

— Каждая женщина, которая выходит замуж за Папу, должна научиться владеть ружьем, — сказала она и снова углубилась в свое письмо.

— Я только однажды охотился, это было в Суффолке, в Англии, — заговорил Скрибнер. Все вежливо замолчали, ожидая продолжения его рассказа. — Я помню, как в Суффолке мне на завтрак подали гусиные яйца. Затем мы поехали на охоту. Я даже не знал, как спускать курок.

— Охота — часть хорошей жизни, — сказал Хемингуэй. — Лучше, чем Уэст-Порт или же Бронксвилл.

— После того, как я научился спускать курок, я ни во что не мог попасть, — сказал Скрибнер.

— Я бы хотел успеть на большие стрельбы в Монте-Карло и на первенство мира в Сан-Ремо, — сказал Хемингуэй. — Я в хорошей форме и могу участвовать в любом из этих состязаний. Этот спорт не для зрителей, он захватывает, и приятно, когда можешь с ним справиться. Однажды на больших стрельбах я даже победил Вулфи. А он великий стрелок. Победить его было все равно что усмирить необъезженную лошадь.

— И наконец я подстрелил одного... — закончил Скрибнер робко.

— Подстрелили кого? — переспросил Хемингуэй.

— Кролика, — сказал Скрибнер. — Я подстрелил кролика.

— В Монте-Карло не проводили больших стрельб с 1939 года, — сказал Хемингуэй. — Только два американца выиграли их за семьдесят четыре года. Стрельба создает у меня хорошее настроение. Во многом это зависит от того, что на стрельбах ты вместе с людьми, которые относятся к тебе хорошо, а в других местах все ненавидят тебя и желают тебе зла. Это быстрая игра, быстрее, чем бейсбол, и после первого промаха ты выбываешь из игры.

Зазвонил телефон. Хемингуэй снял трубку, послушал, проговорил несколько слов и затем, повернувшись к нам, сказал, что какая-то рекламная контора под названием «Эндорсментс инкорпорейтед» предлагает ему четыре тысячи долларов за разрешение использовать его имя в рекламе напитков.

— Я сказал им, что не стану пить их бурду даже за четыре тысячи долларов, — сказал он. — Я сказал им, что я любитель шампанского. Я все стараюсь быть покладистым парнем, но это очень трудно. Выиграешь в Бостоне — проиграешь в Чикаго.

ИЗ КНИГИ «ПАЛА ХЕМИНГУЭЙ»

Гавана, 1948

Маленький городок Сан-Франсиско-де-Паула, где находилась Финка Вихия (Сторожевая башня) был захудалым местечком. Но владения Хемингуэя были огорожены и состояли из 13 акров земли, засаженной цветами и овощами, пастбища с полдюжиной коров, фруктовых деревьев, заброшенного теннисного корта, большого плавательного бассейна и невысокого, выстроенного из когда-то белого известняка дома, понемногу разрушавшегося, но respectable. Восемнадцать видов манговых деревьев росли на длинном склоне от главных ворот до дома, который Эрнест называл «очаровательной развалиной». Прямо против дома росла огромная сейба, которую местные жители почитали за священную, связанную с колдовскими таинствами; орхидеи ниспадали с седого ствола, массивные корни взламывали облицованную кафелем террасу, разрушая дом изнутри. Но Эрнест был настолько привязан к этому дереву, что, несмотря на все творимые им разрушения, не разрешал рубить его корни. На близком расстоянии от главного дома стоял небольшой белый сборный домик для гостей. По другую сторону высилась новая белая трехэтажная квадратная башня с внешней винтовой лестницей.

Стены столовой и соседней — в 50 футов — гостиной главного дома были увешаны рогатыми головами животных, на кафельном полу были разложены хорошо выделанные шкуры. Мебель была старая, удобная, неприметная. На внутренней стороне парадной двери висела большая журнальная полка, которая принимала на себя лавину американской и другой периодики.

Большая библиотека за гостиной была забита книгами, полки с которыми высились до самого потолка.

Спальня Эрнеста, где он работал, также была завалена книгами. Всего в доме имелось больше 5 тысяч томов.

На стене над кроватью Эрнеста висела одна из его любимых картин, «Гитарист» Хуана Гриси. Еще один Грис, «Ферма» Миро, несколько картин Массона, Кле, Брака и портрет Эрнеста в юности кисти Уолдо Пирса были среди картин в гостиной и комнате Мэри.

В комнате Эрнеста стоял большой письменный стол, на котором громоздились кучи писем, газет, журнальных вырезок, мешочек с зубами животных, двое неисправных часов, рожки для обуви; незаправленная ручка в корпусе из оникса, вырезанные из дерева зебра, кабан, носорог и лев и куча сувениров, подарков на память и талисманов. Эрнест никогда не работал за столом. Для работы он использовал стоявшую возле кровати конторку, которую он переделал из верхней части книжного шкафа. Портативная пишущая машинка располагалась внутри, а бумаги были разложены на верхней поверхности книжного шкафа на другой стороне. Писал Эрнест на наклонной доске для чтения.

На стенах спальни висело несколько голов животных, кафельный пол украшала сильно вытертая шкура некрупного куду. Большая ванная была завалена лекарствами и медицинскими приборами, которые расползались повсюду, здесь не было картин, да для них и не хватило бы места, поскольку на стенах висели таблички, написанные заботливой рукой Эрнеста: результаты ежедневного измерения давления и веса, рецепты и прочая медицинская и фармакологическая премудрость.

Обслуга Финки состояла из мальчика-слуги Рене, шофера Хуана, китайского повара, трех садовников, двух горничных и смотрителя бойцовых петухов. Белую башню построила Мэри в надежде выселить из дома тридцать кошек и предоставить Эрнесту более удобное место для работы, чем его самодельное приспособление в спальне. Это пошло на пользу кошкам, но не Эрнесту. Первый этаж башни занимали кошки, здесь у них были специальные приспособления для сна, еды и родов, и они жили здесь все, за исключением таких любимцев, как Сумасшедший Кристиан, Одинокий брат и Экстаз, которым позволялось жить в доме. Верхний этаж башни, откуда открывался прекрасный вид на верхушки пальм и зеленые холмы у самого моря, был меблирован импозантным письменным столом, какой подобало иметь писателю высшего класса, книжным шкафом и комфортабельными креслами для чтения, но Эрнест не написал здесь почти ни строки — только время от времени правил гранки...

В тот вечер после ужина Эрнест показал мне дом. С полки в библиотеке он снял книги с дарственными надписями Джеймса Джойса, Скотта Фицджеральда, Гертруды Стайн, Шервуда Андерсона, Джона Дос Пассоса, Роберта Бенгли, Форда Мэддокса Форда, Эзры Паунда и многих других.

Он пробирался сквозь залежи старых фотографий и альбомов с вырезками. В одном старинном альбоме был портрет Эрнеста в возрасте пяти или шести лет. На обратной стороне рукой его матери было написано: «Отец учил Эрнеста стрелять, когда ему исполнилось два с половиной года, а в четыре он умел обращаться с пистолетом».

Мы также натолкнулись на фотографию совсем юной Марлен Дитрих, надписанную «Эрнесту — с любовью».

— Знаете, как мы встретились с Капустой? — спросил Эрнест. — У меня тогда не было ни гроша, и я плыл через океан на пароходе «Иль», а мой приятель, путешествовавший в первом классе, одолжил мне свой запасной смокинг и нелегально проводил меня в ресторан. Однажды вечером мы с ним ужинали в салоне, как вдруг наверху лестницы появилось невиданное чудо в белом. Конечно, это была Капуста. Длинное, облегающее, расшитое белым бисером платье на таком теле. По части того, что называется драматической паузой, она может дать урок кому угодно. Итак — драматическая пауза на лестнице — и она медленно соскальзывает вниз и направляется к тому месту, где Джон Уитни, я думаю, это был он, устраивал банкет. Конечно же, никто в этой столовой не проглотил ни куска с той минуты, как она появилась. Капуста подходит к столу, и все мужчины вскакивают, и стул для нее готов, но она пересчитывает сидящих. Их 12. Конечно, она извиняется и отходит, и говорит, что сожалеет, но очень суеверна и боится числа 13, и уже собирается уходить, но я буквально ухватился за эту возможность и великодушно предложил спасти вечеринку, став четырнадцатым. Так мы встретились. Очень романтично, не правда ли? Может, мне следовало продать эту историю Даррелу Ф. Панику.

По пути в гостиную мы прошли мимо большой фотографии Ингрид Бергман с ее надписью. Я остановился, чтобы рассмотреть ее.

— Могу повесить здесь портрет любой женщины, к которой Мэри не ревнует меня, — сказал Эрнест. — Она ведь могла бы выступать нападающим в бейсбольной лиге «Нет причин для ревности».

Мы спустились в гостиную. Эрнест уселся в Кресло Папы, большое, чересчур плотно набитое, перекошенное простое кресло с выцветшей, сильно поношенной обивкой.

Блэк Дог расположился у его ног. Блэк Дог, который скорее всего был охотничьим спаниелем, забрел однажды в Сан-Вэлли в льжнный домик Эрнеста, замерзший, изголодавшийся, испуганный, одним словом — полупес — охотничий пес, панически боявшийся ружейного выстрела. Эрнест взял его с собой на Кубу и терпеливо, с любовью восстановил его вес, доверие и привязанность. Эрнест говорит, что Блэк Дог считает, что он сам — великолепный писатель. — Ему нужно спать по 10 часов в день, но он очень утомляется, потому что всегда точно следует моему расписанию. Он счастлив, когда у меня перерывы в работе, но, когда я пишу, он очень переживает. Хотя он любит поспать, но тем не менее считает, что обязан вставать и сопровождать меня с рассвета. Как верный друг, он не спит, но это ему не нравится.

Беседа перешла от Блэк Дога к головам зверей на стенах.

— Был у меня приятель англичанин, — рассказывал Эрнест, — который хотел подстрелить льва из лука. Белые охотники один за другим отказывали ему, пока наконец один швед не согласился взять его с собой. А этот англичанин был из тех англичан, что прихватывают на сафари портативный бар. Швед, который был очень хорошим охотником, предупредил, что лук и стрелы не самое эффективное оружие. Но Их Светлость настаивал, и тогда швед сообщил ему, что лев пробегает 100 ярдов за 4 секунды, что видит он только силуэты и стрелять в него надо с расстояния 50 ярдов и все такое прочее. Наконец они выследили льва, загнали его, лев разъяряется, англичанин натягивает лук и поражает льва в грудь с расстояния 50 ярдов. Лев на ходу откусывает стрелу и одним махом отрывает и проглатывает задницу у одного из местных проводников, прежде чем шведу удастся подстрелить его. Англичанин поражен. Он подходит посмотреть кровавые останки проводника и льва, лежащие рядом. Швед говорит: «Что же, милорд, теперь вы можете убрать лук и стрель». Англичанин говорит: «Мне кажется, так и надо сделать».

Это был тот самый англичанин, которого я встретил в Найроби с его женой. Молодая красавица ирландка, которая без всякого предупреждения пришла ко мне в комнату. На следующий вечер англичанин пригласил меня в бар выпить. «Эрнест, — сказал он, — вы джентльмен, так что вы все сделали правильно, но моя жена не должна делать из меня дурака».

Мэри перевела беседу вновь на животных. Эрнест рассказал об огромном нахальном медведе на Западе, кото-

рый отравлял всем жизнь тем, что садился посередине дороги и отказывался сдвинуться с места, когда подъезжали машины. Эрнест услышал об этом и отправился туда, чтобы отыскать медведя. Он появился неожиданно. Это был действительно большой медведь. Он стоял на задних лапах, и его верхняя губа приподнялась в улыбке. Эрнест вылез из машины и подошел к нему. «Ты понимаешь, что ты всего-навсего обыкновенный несчастный медведь, — сказал ему Эрнест громким сердитым голосом. — Скажи мне на милость, сукин ты сын, откуда у тебя такое нахальство — стоять здесь и мешать движению, когда ты всего лишь несчастный и к тому же черный медведь — даже не полярный, не гризли и не что-нибудь в этом роде?» Эрнест говорил, что он действительно все это ему выпалил, и несчастный медведь понурил голову, потом встал на все четыре лапы, и вскоре его уже не было на дороге. Эрнест просто потряс его. С тех пор медведь обычно убегал за дерево и прятался там, едва завидев машину, и дрожал от страха, что Эрнест может оказаться где-то рядом и задать ему головоломку.

Вскоре появился Рене с кинопроектором, мы сели смотреть 2 фильма, которые Эрнест любил больше всего: матч бокса между Тони Зейлем и Роки Грациано и «Убийца» с Бертом Ланкастером и Эвой Гарднер. Вначале шел бокс, за которым Эрнест внимательно следил и активно комментировал, но через 5 минут после начала «Убийца» он уже храпел.

— Еще не было случая, чтобы он не уснул после первых же кадров, — сказала Мэри.

Через три дня нашего пребывания на Финке Эрнест пришел к выводу, что вместо статьи о будущем литературы он напишет 2 коротких рассказа. Он сказал, что некоторые из его рассказов, например, «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» были опубликованы в «Космо», и будет лучше и для него и для журнала, если он даст прозу, в которой силен, а не публицистику, в которой слаб. К тому же он сказал, что одна статья по цене совсем не то же самое, что два коротких рассказа; соответственно издатель увеличивает сумму до 25000 долларов.

Завсегдатаями обедов на Финке в те дни были: Роберто Эррера, лысый, глуховатый, сильный, нерасполагающий к себе, вежливый, преданный своей стране испанец, которому было под сорок и который, по словам Эрнеста, пять лет изучал в Испании медицину и приехал на Кубу после того, как был арестован за то, что сражался на стороне республиканцев в гражданской войне; Сински Дунабейтга, грубоватый, шумный лобитель выпить и пошутить баск,

капитан, водивший грузовые суда из Штатов на Кубу, он всегда появлялся на Финке, когда судно стояло в порту; отец Дон Андрес по прозвищу Черный священник, баск, который служил в кафедральном соборе в Бильбао, когда началась гражданская война. Дон Андрес поднялся тогда на кафедру и призвал прихожан взять оружие и выйти на улицы — стрелять кто как сможет, и будь проклят тот, кто станет торчать в церкви. После этого он пошел автоматчиком в республиканскую армию. Естественно, как только кончилась война, ему пришлось бежать из Испании. Он нашел пристанище на Кубе, но здешняя церковь смотрела с недоверием на его прошлое поведение и отвела ему беднейший приход в самом худшем районе. Отсюда и прозвище Черный священник. Эрнест поддерживал его, как поддерживал десятки людей, бежавших от режима Франко, и Черный священник мог, надев серую спортивную куртку, оторваться от своего прихода, прийти на Финку Хемингуэя и предаться еде, питью, плаванию в бассейне и воспоминаниям в обществе Эрнеста и Роберто. Приходили и другие гости: испанский гранд, с которым Эрнест познакомился во время гражданской войны, картежник со старых добрых времен в Ки-Уэст, боровшийся против Батисты кубинский политик с женой, почти совсем удалившийся от дел игрок в пелоту, когда-то большая знаменитость. «По понедельникам и вторникам я стараюсь, чтобы все было спокойно, — говорила Мэри, — но к концу недели все оказываются на грани приличия, а иногда и за гранью. Папа не любит ходить в гости. Он говорит, что его там не удовлетворяют еда и выпивка. Последний раз он принял приглашение на обед год назад. Там подавали сладкое шампанское, которое он должен был пить из вежливости, и это на десять дней выбило его из колеи. <...>

В то время, не будучи еще близко знакомым с Эрнестом, я не знал, что частое пользование телефоном было непривычно для него. Позже он объяснил мне, что есть лишь несколько человек, говоря с которыми по телефону, он не испытывает дискомфорта. Одной из них была Марлен Дитрих, другим — Тут Шор. Обычно к телефону Эрнест подходил с подозрением, чуть ли не подкрадываясь. Он с опаской брал трубку и подносил у уху, словно проверяя, что это там тикает внутри. Когда он начинал говорить, его голос понижался, менялся ритм речи, как меняется речь американца, когда он говорит с иностранцем. После телефонного разговора Эрнест всегда выглядел из-

мученным, потным, и ему необходима была хорошая выпивка. Но он любил позвонить Туту Шору из Парижа, Малаги или Венеции и поострить, заключая пари о добрых для Туты предзнаменованиях в предстоящем бою или ежегодном чемпионате. Эрнест любил звонить Дитрих, потому что, как он говорил, они любили друг друга очень долго и всегда говорили друг другу обо всем и никогда не лгали, кроме тех случаев, когда это было необходимо, да и то временно.

Позже, когда я познакомился с Марлен ближе, она сказала мне:

— Собственно, я никогда не спрашивала у Эрнеста совета, но он всегда готов к беседе, к переписке, и в разговорах с ним, в письмах я нахожу все необходимое для разрешения своих проблем. Он всегда помогал мне, даже не зная моих сложностей. Он говорит замечательные вещи, и кажется, что он может решить проблему любой сложности. Например, я разговаривала с ним по телефону две недели назад. Эрнест был один на Финке; он уже кончил дневную работу и хотел поболтать. Вдруг он спросил меня о творческих планах, и я сказала, что получила блестящее предложение из ночного клуба в Майами, но сомневаюсь, принимать его или нет. «Почему сомневаешься?» — спросил он. «Ну,— сказала я, — мне казалось, что я должна работать, что не могу попусту тратить время. Но это не так. Я думаю, достаточно один раз в год появиться в Лондоне и один — в Вегасе. Как бы там ни было, я, наверное, просто жалею себя, так что стараюсь уговорить себя принять предложение». Минуту было молчание, и я могла представить себе красивое лицо Эрнеста, погруженное в задумчивость. Наконец он сказал: «Не делай того, что тебе откровенно не хочется делать». В этих словах была целая философия.

Что удивительно в нем — он просто погружается в проблемы своих друзей. Он как огромный утес, где-то далеко, постоянная и прочная опора, тот человек, который так нужен каждому и которого ни у кого нет.

Мне кажется, самое удивительное в нем то, что он находит время для того, о чем большинство людей только мечтают. У него есть мужество, силы, время, желание путешествовать, осмысливать увиденное, писать, сочинять. В нем происходит нечто, похожее на жизнь природы, расцветающей и вновь уходящей в землю, чтобы потом возродиться в некоем ритме, освеженном и полном новой жизни.

Он нежен настолько, насколько должен быть нежным

настоящий мужчина. Без нежности и тепла мужчина неинтересен.

— Все дело в том, — сказал Эрнест после того, как я передал ему свой разговор с Марлен, — что мы с Капустой любим друг друга с 1934 года, с тех самых пор, как встретились на «Иль де Франс», но мы никогда с ней не спали. Странно, но факт. Жертвы несинхронной любви. В то время, как я бывал свободен, Капуста оказывалась погружена в какое-нибудь романтическое приключение, и именно тогда, когда Дитрих выплывала и смотрела этими своими очаровательными, ищущими глазами, я тонул. Мы еще раз плыли на «Иль» спустя много лет после первого путешествия, и тогда что-то могло и произойти, но у меня совсем незадолго перед этим был роман с этой бесстыжей М., а у Капусты было что-то вроде романа со столь же бесстыжим Р. Мы были похожи на двух молодых кавалерийских офицеров, которые просадили все свои деньги на игру и вынуждены быть пайиньками.

Нью-Йорк, 1949

Среди тех немногих развлечений, которым Эрнест безоговорочно радовался в Нью-Йорке, был цирк братьев Ринглинг. Ему казалось, что звери в этом цирке не такие, как другие, что они умнее и у них из-за постоянного общения с людьми более высоко развит интеллект. Когда я в первый раз пошел с ним в цирк, он так страстно хотел увидеть зверей, что пришел в Мэдисон-Сквер-Гарден за час до открытия. Мы пошли в обход к боковому входу с 15-й улицы, и Эрнест стучал там в дверь, пока не появился служитель. Он пытался прогнать нас, но у Эрнеста было удостоверение, подписанное его старым другом Джоном Ринглингом Нортон, в котором было сказано, что предьявитель сего должен быть пропущен в цирк в любое время и в любое помещение. Мы спустились вниз, — оказалось, что Эрнест всегда отправлялся туда до начала представления, и стали ходить от клетки к клетке. Эрнест начал заигрывать с гориллой, и хотя зритель чертовски нервничал и требовал, чтобы Эрнест не стоял так близко к клетке, но тот хотел подружиться с животным. Он стоял рядом с клеткой и разговаривал с гориллой отрывистыми фразами и продолжал говорить, пока горилла, которая, похоже, слушала, разволновалась настолько, что схватила свою тарелку с морковкой, поставила ее себе на голову, и принялась повизгивать, что, как сказал зритель, было явным признаком ее расположения.

Теперь уже все зрители собрались вокруг Эрнеста, предлагая ему поговорить и с их подопечными, но он сказал, что единственное дикое животное, с которым у него есть взаимопонимание, это медведь. Зритель медведя немедленно расчистил ему туда дорогу.

Эрнест остановился около клетки белого медведя и в упор рассматривал ее обитателя, непрерывно ходившего взад и вперед по маленькому пяточку.

— Он очень злой, мистер Хемингуэй, — сказал зритель.

— Я думаю, вам лучше поговорить с бурым медведем, у него есть чувство юмора.

— Я должен войти к нему, — сказал Эрнест, стоя около белого медведя. — Но я уже давно не говорил по-медвежьи и могу ошибиться.

Зритель улыбнулся. Тогда Эрнест прильнул к прутьям и начал говорить с медведем мягким музыкальным голосом, совсем не так, как обращался к горилле, и медведь перестал ходить. Эрнест продолжал, и слова, скорее даже звуки, не были похожи ни на что, что я когда-либо слышал. Медведь отодвинулся немного и зафыркал, а потом уселся и, глядя прямо на Эрнеста, принялся издавать носом звуки, похожие на те, которые издает пожилой джентльмен, больной насморком.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул зритель.

Эрнест улыбнулся медведю и отошел, а медведь, озадаченный, смотрел ему вслед.

— Это язык индейцев, — сказал Эрнест, — во мне есть индейская кровь. Медведи любят меня. Всегда любили.

Париж, 1950

Эрнест и Мэри остановились в своем любимом номере в отеле «Ритц», выходившем на Вандомскую площадь. Джиджи занимал номер двумя этажами ниже, а я, поддавшись ностальгии, остановился в отеле «Опал», маленьком, прелестном заведении на Рю Тронше, где я недолгое время жил во время войны, и тогда все его неудобства не бросались в глаза. Все остальные плыли на «Иль де Франс», а я вылетел самолетом несколькими днями позже, так что прибыли мы одновременно. Эрнест обрадовался, узнав, что скачки с препятствиями в Отейле — изумрудно-зеленом ипподроме в центре Булонского леса — начнутся на следующий день, и он предложил нам то, о чем мечтал всегда, но чего никогда не мог добиться: ходить на бега каждый день, пока длятся состязания.

— Именно так и надо, — сказал он, — ну, как если каждый день играть в мяч, начинаешь разбираться в том, что происходит, так что вас уже не одурачить. А наверху там — прекрасный ресторан, нависающий над треком, там можно отлично поесть, а видно оттуда не хуже, чем если бы сам участвовал в скачках. Три раза в течение каждого забега приносят бюллетень с изменением ставок в тотализаторе, и можно сделать ставку прямо там, не бегая взад-вперед к кассам с недоеденным куском. Это просто замечательно для того, кто хочет разобраться в бегах.

По заведенному во время скачек в Отейле распорядку, мы собирались ежедневно в полдень в маленьком баре «Ритца» и, пока Бертин, чародей этого заведения, подавал каждому из нас свою непревзойденную «Кровавую Мэри», мы изучали бюллетени и выбирали, на какую лошадь ставить. Иногда Жорж или Бертин, или кто-нибудь еще из барменов, ставил на наших лошадей, и мы делали за них ставки. Бертин был неутомимый исследователь ипподрома, обладавший скорее интуицией, чем знаниями. Однажды он вручил Эрнесту список восьми лошадей, которые, как он думал, должны были стать победителями в восьми забегах в тот день. Эрнест изучил его и сказал:

— Отлично, слушай, что я сделаю: я поставлю 10000 франков на каждую, и выигрыш мы поделим. — Все лошади Бертина проиграли, но когда мы вернулись, Эрнест дал Бертину 5000 франков и сказал: — Одну из твоих лошадей сняли с состязания, и мы сохранили проигранное.

Я не могу передать прелесть тех парижских дней. Лошади и жокеи Дега на фоне ландшафта Ренуара. Серебряная фляжка Эрнеста с надписью «С любовью от Мэри», постоянно наполняемая старым кальвадосом, бурный восторг от возможности провожать победителя домой, стаканы, налитые до краев, настойчивые замечания жокею, тихая грусть ностальгии у Эрнеста.

— Знаете, Хотч, больше всего на свете я любил просыпаться, когда в распахнутые окна доносилось пенье птиц и шум бегущих лошадей.

Мы сидели на верху трибуны, день был сырой, Эрнест закутался в большую куртку военного образца, на голове вязаная рыжевато-коричневая шапочка, борода коротко подстрижена. Мы позавтракали в ресторане «Корс»: белонские устрицы, омлет с ветчиной и приятными пряностями, салат, сыр Монгэвек и холодное санкерское вино. Мы не делали ставки на седьмой забег, и Эрнест накло-

нился вперед, взятый напрокат бинокль висит у него на шее. Эрнест смотрит на лошадей, медленно выходящих на дорожку из загона.

— Когда я бывал здесь в молодости, — говорит он, — я был единственным посторонним, кого пускали на частные тренировочные площадки в Ашере, в стороне от Мэзон-Лаффит и Шантильи. Я должен был следить за временем — почти никто, кроме владельцев, не имел права пользоваться секундомером — это научило меня правильно делать ставки. Там я узнал об Эпинарде. Тренер по имени Джон Патрик, американец по происхождению, с которым мы дружили с тех пор, как мальчишками попали в итальянскую армию, сказал мне, что у Джека Лея есть молодой жеребец, который должен стать лошадью века. Это его, Патрика, слова: «Лошадь века». Он сказал: «Эрни, это сын Балайоза-Эпен Бланша, который принадлежит Рокминстеру, во Франции не бывало ничего подобного после Гладдиатора и Гранд Экюри. Послушай моего совета: выпроси, займи или укради столько денег, сколько сможешь унести, и поставь на этого двухлетку в первом забеге. Потом преимущества уже никогда не будет, но пока это имя еще неизвестно, поставь на него».

Это было время абсолютной нищеты — у меня не было денег даже на молоко для Бэмби, но я последовал совету Патрика. Я разыскивал деньги, где только можно. Даже занял тысячу су у своего парикмахера. Я приставал к незнакомым людям. В Париже не было ни су, которое я бы не пытался заполучить. Так что я был в полной зависимости от Эпинарда, когда он дебютировал на скачках на «приз Йакулеф» в Довилле. Ставка была 59 к 10. Он выиграл, и я жил на этот выигрыш 6 — 8 месяцев. Патрик познакомил меня с всегдашними и жокеями французских ипподромов: Фрэнком О'Нилом, Фрэнком Кеогом, Джимом Винкфилдом, Сэмом Бушем и воистину великим мастером скачек с препятствиями Жоржем Парфемоном.

— Как вы можете помнить их имена через столько лет? — спросил я. — Вы видели их с тех пор?

— Нет, я всегда запоминал то, что хотел запомнить. Никогда не вел ни заметок, ни дневника. Я как бы нажимаю кнопку, и все вспоминается. А если не вспоминается, значит, и не стоит помнить. Вот Парфемон, я могу видеть его так же близко, как вижу тебя, и слышать, как слышал его в последний раз, когда мы говорили с ним. Это был тот самый Парфемон, который первым из французов стал победителем на Ливерпульских Больших национальных скачках. Там одни из самых сложных препятствий в мире, а Жорж впервые увидел ипподром за день до забега. Он

рассказывал мне, как английские тренеры водили его и показывали большие барьеры, и он повторил мне то, что сказал тогда: «Размер препятствия не имеет значения, единственная опасность в скачках с препятствиями — это сбиться с аллюра». Бедняга Жорж! Это была его единственная профессия. Он разбился на последнем барьере на плохоньких скачках в Энгиене. Барьер был всего лишь 3 фута высотой.

Старый Энгиен, старый, простецкий, где смотрели сквозь пальцы на нарушения правил, пока там не перестроили заново стойки и не появился этот чужой бетон — это был мой любимый ипподром. Там была раскованная непринужденная атмосфера. В один из последних разов, когда я там был, помнится, со мной приехали тогда Ивен Шипмен, который был профессиональным судьей на скачках, а также писателем, и Гарольд Стернс, который был в то время в парижском издании «Чикаго Трибюн». Так вот, Гарольд и Ивен надеялись на хорошую спортивную форму лошадей и поставили прочерк на своем бюллетене. Я угадал 6 победителей из 8-ми. Гарольд был очень раздражен моим выигрышем и все выспрашивал секрет моего успеха. «Очень просто, — сказал я, — я спустился между заездами в загон и понюхал их». Это правда, если от лошади пахнет, она победит вопреки всем ожиданиям.

Эрнест встал, повернулся и посмотрел на людей, толпившихся возле кассовых окошек.

— Послушайте, как стучат их каблуки по сырому тротуару. Это так красиво при этом туманном освещении. Господин Дега мог бы нарисовать это, и свет на его холсте выглядел бы правдоподобнее, чем мы его видим в жизни. Это и должен делать художник. На холсте или печатной странице он должен схватить предмет так правдоподобно, чтобы все волшебство не исчезло. В этом разница между журналистикой и литературой. Литературы очень мало. Намного меньше, чем мы думаем.

Он выгнул программу скачек из кармана и некоторое время рассматривал ее.

— Вот в чем искусство правды в литературе... Ну, наши дела не слишком хороши сегодня. Если бы у меня был такой нос, как раньше! Но я не могу ему больше доверять. Мой нос потерял свои удивительные способности в тот день, когда мы с Дос Пассосом пришли на этот ипподром на зимние скачки. Мы оба писали тогда свои книги, и нам позарез нужны были деньги, чтобы протянуть зиму. Я убедил Досу в своем безошибочном нюхе, и мы просалили все, что у нас было. Одна из лошадей седьмого забега пахла, как мне показалось, особенно хорошо, а она упала на первом же пре-

пятствии. У нас не было ни су в кармане, и нам пришлось идти пешком всю дорогу до Левого берега. <...>

Приятный молодой человек в военной куртке стоял в проходе, глядя на Эрнеста; потом он подошел, явно смущаясь.

— Мистер Хемингуэй, — спросил он по-французски, — вы помните меня?

Эрнест объяснил мне, что Рики был в том знаменитом отряде, который Эрнест создал после высадки в Нормандии. Хотя Эрнест считался военным корреспондентом журнала «Кольерс», практически он стал воевать и его отряд французских добровольцев оказался первым подразделением союзных войск, вошедшим в Париж. По сути дела Эрнест с его ребятами уже освободили отель «Ритц» и соответствующим образом отмечали в баре это событие огромным количеством шампанского, когда генерал Жан Леклерк вошел в Париж, полагая, что его дивизия первая.

Эрнест расспрашивал Рики об участниках своего отряда, и когда Рики сказал, что один из его любимцев попал в беду, Эрнест записал его адрес, чтобы помочь ему. Пока Эрнест и Рики разговаривали, я вспоминал то, что Роберт Капа, военный фотограф, рассказывал мне как-то о добровольцах Эрнеста. Роберт ездил некоторое время с ними и обнаружил, что люди с трудом верили, что Эрнест не генерал, потому что у него был офицер для связи с населением, помощник в чине лейтенанта, повар, шофер, фотограф и специальный «винный рацион». Капа рассказывал, что отряд был оснащен всем, каким только можно, американским и немецким оружием, и ему казалось, что они возят с собой оружия и выпивки больше, чем целая дивизия. Когда Капа работал с ними, ребята Эрнеста носили немецкую сержантскую форму, которую украсили американскими знаками отличия. Но Капа был с ними очень недолго. Позднее, когда он въехал в Париж на джипе, уверенный, что на много миль опередил всех остальных, он подъехал к «Ритцу» и столкнулся нос к носу с Арчи Пилки, шофером Эрнеста, который стоял на посту у входа в отель с карабином через плечо. «Привет, Капа, — сказал он, подражая Хемингуэю. — Папа захватил мировой отель. Отличные запасы в погребе. Иди наверх». <...>

По дороге в «Клозери-де-Ли́ла» и там, когда мы уютно устроились в темноватом тихом баре, Эрнест предавался воспоминаниям. <...>

Метрдотель подошел к нам с двумя меню и сказал, что двое посетителей просят автограф Хемингуэя. После того, как он ушел, Эрнест сказал:

— Они были очень любезны ко мне, когда я нуждался. Как тогда, с Миро. Мы с Миро были большими друзьями. Мы оба много работали, но ни один из нас не мог ничего продать. Все мои рассказы возвращались с отказом, а непроданными картинами Миро была завещана вся его мастерская. Одну из них я хотел приобрести, но, так как мы были очень близкими друзьями, я настоял на том, что мы должны сделать это через маклера. Итак, мы дали картину маклеру, и, зная, что эта картина наверняка будет продана, он оценил ее в 200 долларов. Невероятная сумма, но я согласился выплатить ее в 6 взносов. Маклер потребовал в залог картину, так что, если бы я не выполнил платежного обязательства, пропала бы и картина, и все выплаченные деньги. Ну, я затянул пояс и решил держаться до последнего взноса. Я не продал ни одного рассказа, ни одной статьи, и на счету у меня не было ни франка. Я попросил маклера об отсрочке, но он, конечно, предпочел, чтобы у него остались и деньги и картина. И здесь на помощь пришла «Клозери». В день, когда следовало вносить деньги, я зашел сюда, очень печальный, чтобы выпить. Бармен спросил меня, что случилось, и я рассказал ему о картине. Он спокойно подозвал официантов, и они вынули для меня деньги из карманов.

— Вы имеете в виду «Ферму», которая висит в вашем доме на Кубе?

— Да, она застрахована на 200 000 долларов. Теперь ты понимаешь, почему я люблю это место. В другой раз я хотел снять квартиру поблизости отсюда, но, не имея ни денег, ни мебели, я выглядел съемщиком с весьма сомнительной кредитоспособностью. Домовладелец был в отъезде, а консьерж, который был моим приятелем, разрешил мне остаться до его возвращения. За день до приезда хозяина один из моих друзей, который занимал солидное положение, обошел всех своих знакомых, у большинства из которых были хорошие художественные коллекции, и принес двух Сезаннов, трех Ван Гогов, двух Ван Дейков и Тициана. Сказал владельцам, что картины нужны для благотворительной выставки. Мы развесили все эти картины по стенам, и, хотя у меня совсем не было мебели, на хозяина моя «коллекция» произвела столь сильное впечатление, что он сдал мне квартиру на год.

Мне было очень хорошо в этой квартире, и я жил там безо всяких проблем, пока меня не пришел навестить Скотт Фицджеральд. Скотт остановился, как обычно, в «Ритце». Он привел с собой дочку Скотти. Пока мы раз-

говаривали, Скотти объявила, что она хочет пи-пи. Но, когда я сказал Скотту, что туалет находится этажом ниже, он ответил, что это далеко и пусть она все сделает в холле. Консьерж увидел струйку, льющуюся по ступенькам, и поднялся наверх. «Мосье, — сказал он Скотту очень вежливо, — не будет ли мадемуазель удобнее сделать это в уборной?» Скотт ответил: «Отправляйся к себе в свою комнату, а то я тебя окуну головой в унитаза!» Он был абсолютно безумен. Он вернулся в мою комнату, и начал обрывать обои, которые были старые и начали отклеиваться. Я умолял его остановиться, потому что, как всегда, задерживал плату за квартиру, но он был слишком безумен, чтобы слушать. Хозяин заставил меня заплатить за ремонт всей комнаты, но Скотт был моим другом, а в понятие дружбы мы вкладывали так много. <...>

24 декабря мы, наконец, отправились, на два месяца позже, чем было запланировано, к намеченной цели нашего путешествия, в Венецию. Мы выехали в большом, сделанном на заказ «Паккарде», который взяли напрокат. Эрнест сел рядом с Чарли, шофером, на место, которое он обычно занимал в машине. Его познания по части окрестностей, погоды, обычаев, истории, сражений, полей, виноградников, садов, певчих птиц, дичи, вин, блюд, скота, диких цветов, нравов, архитектуры, ирригации, правительства, а также по поводу доступности местных женщин, были поразительны, и он часто рассуждал об этих предметах.

Из-за его активного интереса к сельской местности, приходилось ехать довольно медленно. От Парижа до Венеции день езды, но мы ехали пять. Мэри и Джиджи сидели на заднем сиденье, а мы с Питером Виртелем, который присоединился к нам в последний день в Париже, на удобных откидных креслах. Наше продвижение затрудняли утренние туманы, долгие завтраки и уличные карнавалы в маленьких городах. В тирах на этих карнавалах самой сложной мишенью был картонный голубь, с красным глазом величиной с шарикоподшипник. Если стрелок выбивал из старого ружья 22 калибра красный глазок с трех или четырех выстрелов, в зависимости от степени любезности хозяина, он выигрывал «гран-при» — бутылку шампанского. Мы с Эрнестом сразили во время этого путешествия немало картонных голубей, а Мэри преуспела в своей специальности — стрельбе по мишеням, подвешенным на веревке. Эрнест всегда дарил шампанское — весьма сомнительной выдержки — завсегдатаям, которые постоянно толкуются в тирах.

Так мы проехали Озер, Сале, Валенс, Авиньон, Ним, Эгю-Морте, Ле Гро-дю-Руа, Арль, Канны и дальше к Альпам, заедая фруктами розовый «тавель» и круша картонных голубей. Виртель расстался с нами в Каннах, а мы отправились дальше, в Венецию. Я попал туда впервые, и, когда я стоял на набережной, глядя на Большой Канал, Эрнест сказал мне:

— Ну вот, Хотч, этот город называется Венеция. Вы еще не знаете его, но он станет для вас домом, каким он стал для меня. <...>

ХЕМИНГУЭЕВСКАЯ РЕНАТА — ЭТО Я

В один из зимних дней 1949 года я стояла на перекрестке дорог Латисана — Удино в ожидании машины моих друзей. Машина все не появлялась, зато начался дождь, мелкий и частый. Когда венецианские друзья, пригласившие меня на охоту в долину, сказали, что с ними будут Хемингуэй и его жена Мэри, признаться, меня это не слишком взволновало. Или если правду сказать, то и вовсе не взволновало. Для меня, выросшей во время войны, иностранные писатели, особенно англосаксы, оказались как-то вне поля зрения. Я еще была полна Овидием, Платоном, Д'Аннунцио. Хемингуэя я вообще не читала. А потому, стоя в ожидании машины, я вовсе не думала о предстоящей необыкновенной встрече. Ждала долго. С каждой приближающейся машиной во мне вспыхивала надежда, которую тут же гасили струи дождя и жидкой грязи. Но я обещала, что буду ждать на развилке Латисана — Удино.

Когда я увидела тормозившую машину, я не подошла. Быть не может, чтобы в этом огромном синем «бьюике» находились мои друзья. Кто-то высунул из окошка руку, и я сквозь пелену дождя пыталась уразуметь, что им надо, этим американцам. Но тут я услышала свое имя и, наконец, поняла, что это за мной. Когда я уселась в «бьюик», меня спросили: «Ты нас не узнала, правда?» — «Да и как узнать в такой машине... где вы ее раздобыли?» — «Это его, — ответили мне, прибавив: — Адриана, это Хемингуэй». И только тогда я заметила здорового мужчину с чуть седыми волосами, сидящего на переднем сиденье, повернувшегося вполоборота, чтобы взглянуть на меня. «Извините, Адриана, за опоздание. Это я виноват», — сказал он, улыбнувшись.

На следующее утро, когда меня разбудили, дождь еще моросил. Было четыре часа утра. Мы разместились в кре-

стьянском строении, сохранившемся точно в таком виде, каким оно было в старину. Мы должны были в спешке одеться, выйти в лагуну и попрятаться в бочки, врытые в землю, или в лодки, зачаленные в камышах. Сон и усталость как рукой сняло, когда в предрассветной мгле я разглядела тихо скользящие по неподвижной воде канала лодки, силуэты собак и бледнеющие звезды.

Моя бочка находилась буквально в двух шагах от спутника по охоте на крохотном островке. И вот, когда вода в лагуне начала слегка подкрашиваться новым светом, раздался скрежет крыльев, мелькнуло темное облачко, раздался выстрел. Я видела, как рассыпался этот полет, уже недоверчивый, но какой-то смятенный, вспугнутый, услышала отзвук выстрела, отраженный водой... На секунду показалось, что смерть примчалась и за мной. Где-то в этой долине находился и Хемингуэй. Охота продолжалась уже много часов.

Затем великий откат: из камышей, из зарослей высоких трав, из лодок один за другим появлялись охотники, собаки, егеря и толпой двинулись к нашему крестьянскому пристанищу. В просторной кухне-подвале по мере того, как все жарче и жарче разгорался огонь в открытом очаге и вино разливалось по венам, все наперебой пустились рассказывать о всяких удивительных или героических случаях, приключившихся с рассказчиком. У меня мелькнуло подозрение, что именно присутствие нашего необыкновенного гостя так стимулировало фантазию рассказчиков.

Хемингуэй тоже рассказывал о сегодняшней охоте на уток, но потом перешел к рассказам об Африке, Испании, Кубе. Мои мокрые волосы упрямо падали мне на лоб, и я в полной досаде спросила, нет ли у кого-нибудь расчески. Никто меня не слышал, все были увлечены разговором. Я спросила снова. И вдруг рядом со мной вырос Хемингуэй, могучий, широкоплечий. Он сунул руку в карман, выудил оттуда костяную расческу, сломал ее и половинку протянул мне.

Мы начали разговаривать, и длилась наша беседа довольно долго. Когда мы расставались, он предложил мне встретиться на следующий день. А потом мы встречались много дней подряд. Вначале мне было немного скучно с этим куда более старым, чем я, и многоопытным человеком, говорившим медленно и так, что я не всегда понимала ход его мыслей. Но я чувствовала, что ему приятно видеть меня рядом и говорить, говорить.

Едва я появлялась, он начинал улыбаться и покачиваться на своих крепких ножищах, как большой медведь. Он не стремился знакомиться с новыми людьми, но он

приветливо встречал моих юных друзей. Ему приятно было поражать их рассказами об охоте и о войне, но вдруг он выдавал какую-нибудь ироничную реплику, которая приводила моих друзей в полную растерянность. Но замешательство длилось всего какой-то миг. Потом они начинали громко смеяться, и он тоже смеялся, вначале, правда, лишь смущенно улыбался, а потом начинал хохотать, и даже громче всех.

Постепенно этот большущий медведь с усталой улыбкой менялся и вместе с нами, юношами и девушками, тоже становился молодым. Он часто приглашал нас в Торчелло и там встречался с нами либо за столиком кафе, либо на террасе ресторана «Гритти». Потом мы вдвоем отправлялись бродить по улочкам города, открывая для себя Венецию окраин и бедняков.

Однажды вечером, помнится, он захотел рассказать о корриде. Он пригласил в «Джирос» греческую графиню Аспазию, меня и нескольких моих друзей. После обеда он убрал все со стола, снял скатерть и сказал своей жене Мэри: «Ты будешь быком». Стоя посреди комнаты, он стал размахивать скатертью, как плащом тореадора. Мы закричали: «Торо! Вперед! Смелее! Смелее!» и захолопали в ладоши. А Хемингуэй казался нам настоящим тореадором. У него и лицо вдруг стало суровым и взгляд острым. Рядом стояли официанты и с некоторым удивлением наблюдали за этой сценой, а гречанка Аспазия, сидя в уголке, следила за всем происходящим с доброй понимающей улыбкой. Ну, а затем Папа, словно он действительно устал, отер пот со лба и, взяв с соседнего стола гвоздику, вручил ее Мэри со словами: «Какой прекрасный бык! Вот тебе за храбрость боевая медаль. Ты вновь дала мне возможность писать, и я всегда буду благодарен тебе за это».

Мэри, эта маленькая, изящная блондинка, всегда улыбающаяся, была верным и бдительным другом Хемингуэя. Я и не подозревала, что вначале у нее возникли некоторые подозрения на мой счет. Потом она сама мне об этом сказала. Призналась, что ее удивил такой интерес Папы ко мне, и она задавалась вопросом, как ей надо теперь себя вести. Но вскоре она поняла, что я не ищу такой славы, что моя нежная привязанность к Папе не превращается в любовь и что я не представляю опасности для нее, но могу в чем-то помочь Эрнесту.

Каким образом я, такая маленькая и незаметная, могла стать поддержкой и помощью для Хемингуэя, большого человека и великого писателя, я узнала несколько позже. Хемингуэй рассказал мне, что ему после травмы головы и лечения в госпитале так и не стало лучше, и он

вообще не мог писать. Его книга «За рекой, в тени деревьев» так и лежала неоконченной. Но после того как мы встретились, ему от меня передалась какая-то новая энергия: «Ты вернула мне способность писать, и за это я всегда буду тебе благодарен, — писал мне Хемингуэй. — Я смог закончить книгу, и ее героине я придал твой облик. Теперь хочу написать другую книгу для тебя, и она будет моей лучшей книгой. Это будет рассказ о старике и море».

Я радовалась, что оказалась ему в помощь. Но не спросила его, что за история в том романе и что это за девица, которой он придал мой облик. Да он и сам мне об этом не говорил. У нас было так много других тем для разговоров: он мне рассказывал о своем здоровье, о своих детях, об Африке, о Кубе, о пережитом. А я говорила о своих стихах, которые начала сочинять с четырнадцати лет, о маленьких заботах и радостях, которые составляли мой тогдашний мирок.

Рукопись романа «За рекой, в тени деревьев» я не читала, знала только, что действие там происходит в Венеции. Однажды, когда Хемингуэй с Мэри пришли к нам на обед — он по такому случаю всегда одевал синий костюм и даже повязывал галстук, я сказала, что у меня для него есть сюрприз: на полке моей библиотеки я выставила эскизы обложки для романа «За рекой, в тени деревьев». Сделала я их так, почти в шутку, без всякой задней мысли. И очень удивилась, когда он попросил разрешения взять их с собой.

— Зачем? — спросила я.

— А это уж будет мой сюрприз, — улыбнулся он.

Я жила в Париже у моей подруги Моник де Бомон и о рисунках думать забыла, как вдруг нас навестили супруги Хемингуэй. Пригласили меня на обед в ресторан «Ритц».

— Я показал твои рисунки Чарли Скрибнеру, — первое, что сказал мне Папа.

— А кто такой Чарли Скрибнер? — спросила я.

— Мой американский издатель. Они и ему понравились. Я сказал, что это рисовала одна женщина, а он мне не поверил. Я пригласил его пообедать с нами. Вот и он. Ты молчи, ничего не говори. Так как же, Чарли, обстоит дело с обложкой? — спросил он у Скрибнера, предварительно познакомив нас.

— Я тебе уже говорил, что они подходят и что я хотел бы поговорить с художником.

— Так говори. Вот художник перед тобой.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Скрибнер.

— Ха-ха! — нервно засмеялась я.

— Ха-ха! — расхохотался Папа, прибавив: — И тем не менее вот она собственной персоной.

Чарли посмотрел на Хемингуэя, потом на меня и сказал:

— Рисунок сильный, да и цвет не тот, что обычно бывает у женщин.

— Поняла, коллега? — улыбнулся Папа, произведя меня в ранг коллеги. — Ты победила. Сама, без чужой помощи.

Когда в 1950 году вышло американское издание «За рекой, в тени деревьев», я вместе с мамой плыла к берегам Кубы. Мой брат Джанфранко уже несколько лет работал в Гаване, и мы хотели его повидать. К тому же это был подходящий случай снова повидаться с Мэри и Папой, которые не раз приглашали нас к себе в гости. По пути, в Тенерифе, я впервые увидела мою обложку. Нечего и говорить, как я была взволнована, но книгу не купила — знала, что мне ее подарит Папа.

Куба. Скалистый берег, поросший пальмами, обрывающийся в океан, вон профиль крепости Морро, охраняющей вход в гаванский порт, вон мчащийся к нам быстроходный катер — это они, конечно же, они! — на катере в знак приветствия завылла сирена и заплескались на ветру три белых платка на фоне синего неба. «Пилар» делает вокруг нашего корабля один круг, второй, третий, и я уже ясно различаю моего брата Джанфранко и Мэри, а Папа гудит в мегафон:

— Куба приветствует вас! Увидимся в порту!

«Пилар» уносится к берегу.

Гавана. Острый запах чернокожих тел, веселая сутолока машин и людей, долгая дорога среди цветущих деревьев и маленьких деревянных домиков. Наконец Финка Вихия, дом Хемингуэв. Через пять лет Папа напишет мне: «31 марта 1955... Только что вернулся с прогулки вокруг Финки: розовое небо над окрестными холмами, вдали Гавана со сверкающими во мгле огоньками цвета лаванды, наше огромное дерево, которое на прошлой неделе взорвалось фейерверком золотых, розовых листьев и сегодня превратилось в гигантский нежно-зеленый балдахин; каучуковое дерево возле нашего домика все усыпано роскошными почками, бассейн заполнен свежей прозрачной водой, и цветы вокруг него распустились, прибавьте к этому музыку, доносящуюся сюда из поселка. Все так красиво — или кажется мне таковым, — но мне грустно — эх, если бы наши медлительные ленивые тела были способны летать со скоростью наших мыслей! Как бы я хотел, чтобы ты очутилась здесь. Тогда мы смогли бы поговорить о

том, какое, например, действие оказывает окружающая красота на наши характеры...»

Мы с матерью жили в домике метрах в пятидесяти от Финки Вихии. Кругом множество деревьев, орхидей, растущих в открытом грунте. И была Башня.

Башня эта высилась белоснежная на фоне неба всего в нескольких метрах от нашего дома. На первом этаже жили сорок кошек Хемингуэв, на втором этаже работал Папа, на третьем рисовала и писала маслом я. Время от времени Папа подымался ко мне и читал вслух какую-нибудь страничку из новой книги «Старик и море», порой я спускалась, чтобы показать ему мои рисунки. Но мы это делали не часто из взаимного уважения к работе друг друга.

Папа писал прямо на машинке. Стоя. Машинка возвышалась на стопке книг, высившейся на письменном столе. Он отходил от стола на несколько шагов, чтобы обдумать что-то, потом снова подходил, печатал найденную фразу, от силы — две. Сквозь стеклянную дверь я видела, как он ходил взад и вперед, подобно художнику перед мольбертом. По выражению его лица я сразу же понимала — могу я прервать его работу или нет.

Он хотел одного — чтобы я поглядела на океан вместе с ним.

Однажды, открыв дверцу автомобиля с уже заведенным мотором и с шофером за рулем, он сказал мне:

— Хочешь доставить мне удовольствие? Поедем вместе в Кохимар.

У меня, признаться, как раз в тот день было назначено свидание с одним кубинским юношей, в которого я была влюблена, но я сразу же почувствовала, что для Папы очень важно, чтобы я поехала с ним в Кохимар, и именно в этот день. Я села в машину. Пока мы мчались по нежным холмам Кубы, я спросила, что я должна делать там, в Кохимаре.

— Ничего, — ответил он. — Всего лишь посмотреть на океан вместе со мной.

И тут я поняла, что он переживает какой-то очень важный для него момент.

В маленькой бухточке Кохимара слегка моросило. Ветер трепал пальмы, задиравшие свои верхушки вверх, в тщетных поисках солнца. Мы молча разглядывали бескрайнюю синь океана, сливавшуюся на горизонте с синью неба; на черных, в первобытно диком беспорядке разбросанных скалах сидели ястребы, над своими сетями склонились рыбаки. И вдруг даже ветер застыл в молчании. Папа встал. Сколько времени прошло? Какое это может иметь значение! Кажется, ничто не имеет значения, кроме океана. Папа говорит:



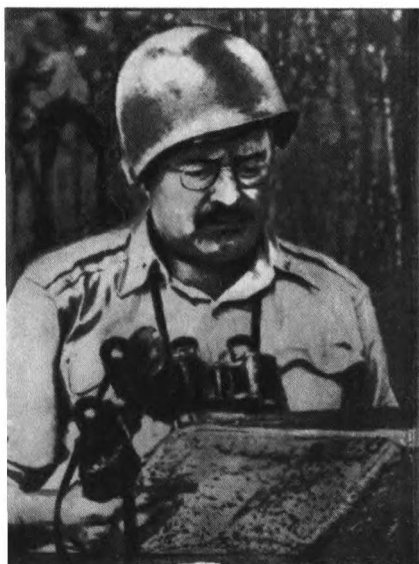
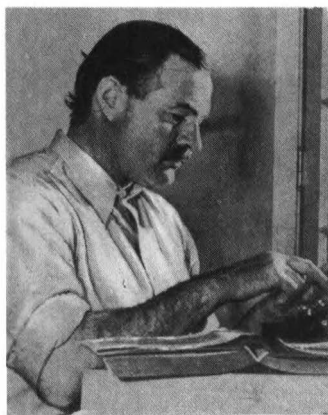
Йорис Ивэнс, Хемингуэй и доктор Хейльбрун в окопах Университетского городка в Мадриде (апрель 1937 г.)

Хемингуэй в разрушенном доме в Университетском городке (1937 г.)

Хемингуэй с генералом Листером около Мара-де-Эбро (ноябрь 1938 г.)



Хемингуэй пишет «По ком звонит колокол» (1939 г.)

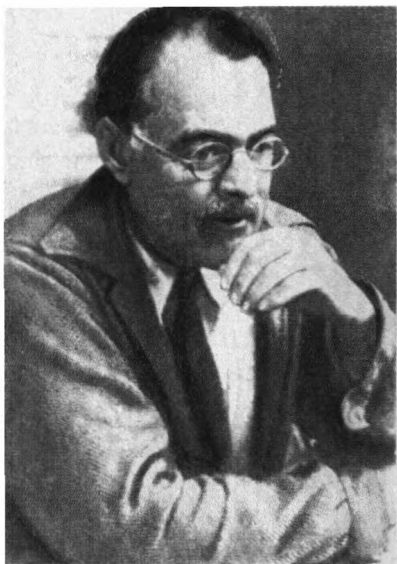


Хемингуэй во время гражданской войны в Испании (1937 г.)



Хемингуэй с Тилли и Отто Брюсом в Сан-Вэлли (1940 г.)

Хемингуэй (1940 г.)



Финка Вихия. Дом Хемингуэя на Кубе



Хемингуэй в Рамбувье расстраивает французского партизана (август 1944 г.)



Хемингуэй читает свои военные стихи Жанет Фланнер (Париж, 1944 г.)



Хемингуэй с английским военным летчиком перед боевым вылетом (1944 г.)



Хемингуэй и полковник Ланхем после прорыва льдины Зигфрида (1944 г.)



Мэри Хемингуэй (1945 г.)



Хемингуэй на Кубе (1952 г.)

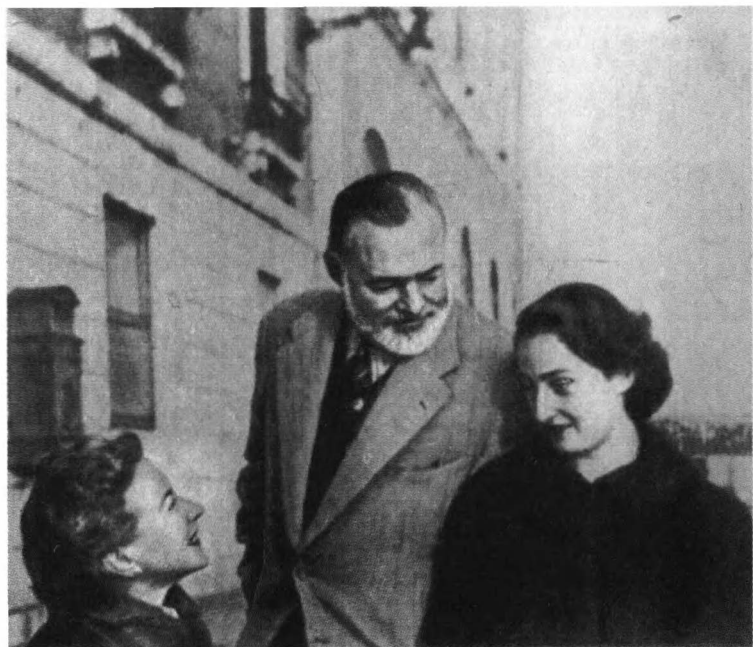


Адриана Иванчич



Хемингуэю вручают американский боевой орден Бронзовую звезду (1947 г.)

Хемингуэй, Мэри и Адриана Иванчич в Венеции (1950 г.)





Хемингуэй со своим средним сыном
Патриком в Сан-Вэлли (1946 г.)



Хемингуэй с Филипом Персивалем и Ри-
чардом Персивалем на сафари (1953 г.)



Младший сын Хемингуэя Грегори
(Джиджи)



Старший сын Хемингуэя Джон (Бэмби)



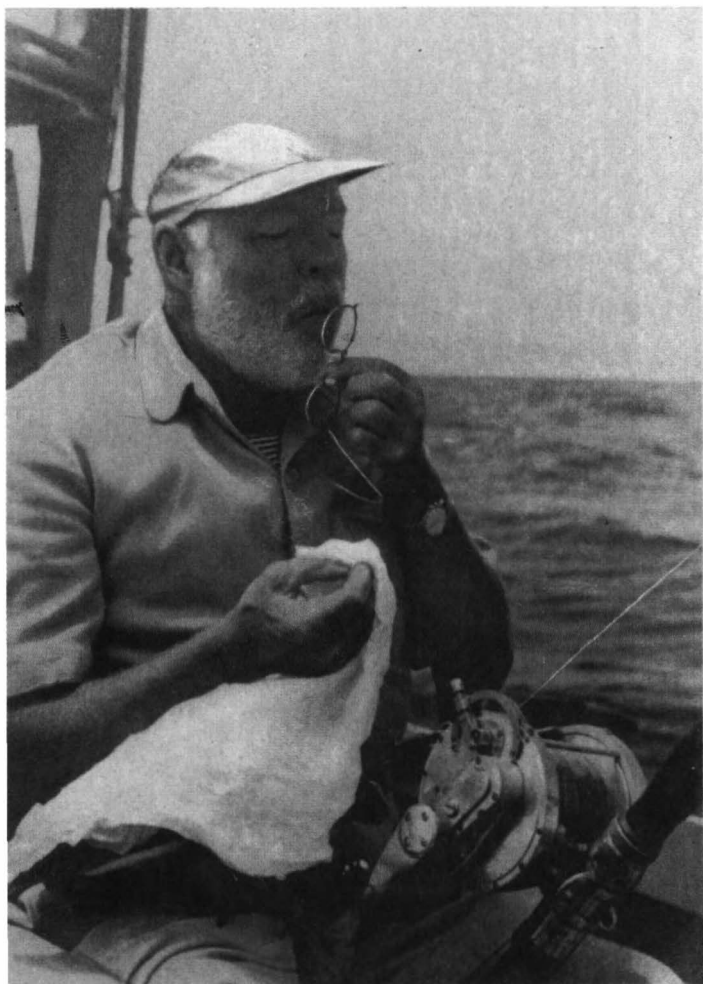
Марлен Дитрих

Антонио Ордоньес (Мадрид, 1959 г.)

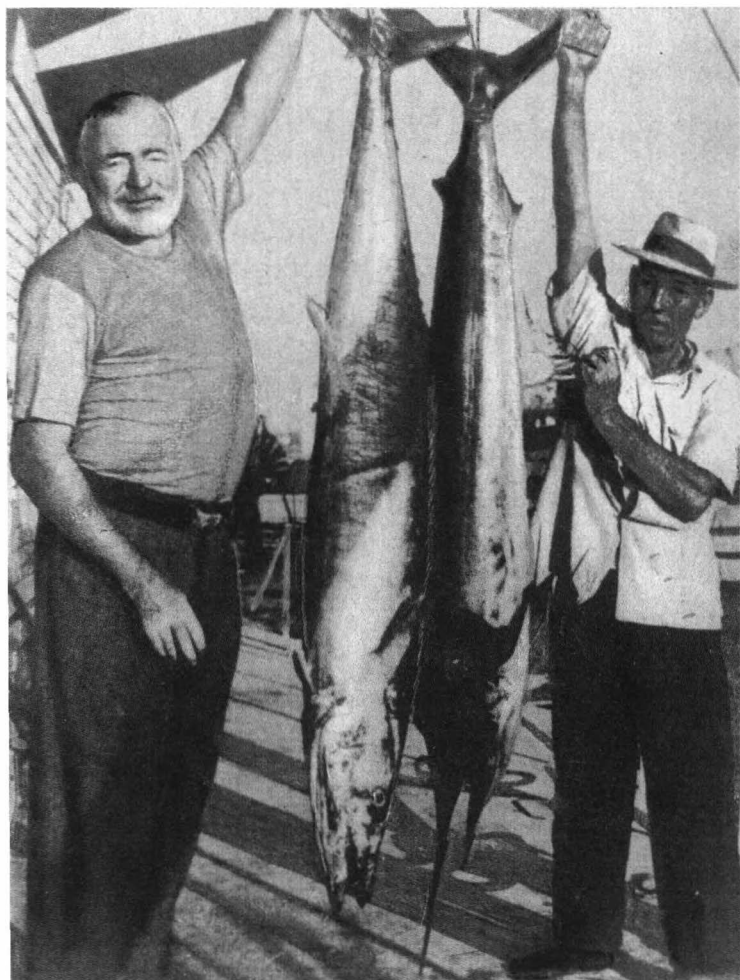




Хемэнгуэй со слоном (50-е гг.)



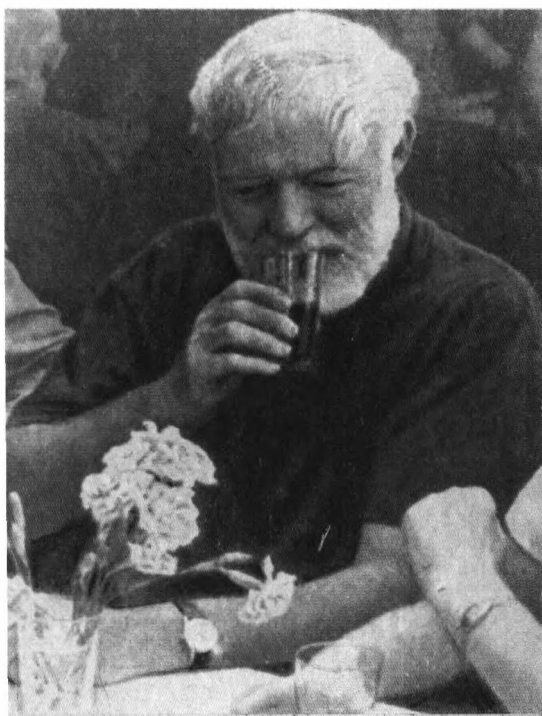
Хемингуэй во время охоты на черного марлина
для фильма «Старик и море» (Перу, 1956 г.)



Хемингуэй после успешной рыбной ловли (1950 г.)



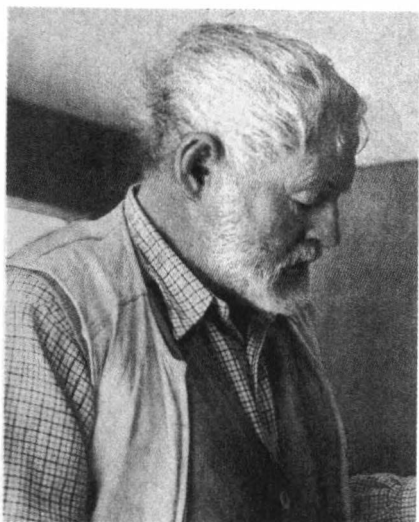
Хемингуэй в Испании (1956 г.)



Хемингуэй в баре в Испании (1959 г.)



Хемингуэй (из последних снимков) (1961 г.)



Хемингуэй в Кетчуме (1959 г.)

Последний дом Хемингуэя.
Кетчум



— Спасибо тебе...

Глаза у него просветленные. Кажется, у меня тоже. Мы молча возвращаемся домой.

В письме, помеченном 12 апреля 1952 года, говоря о «Старике и море», Хемингуэй писал мне: «Как только я закончил его, я понял, что вместо одной книги о море (такой тяжелой, что никто не смог бы ее поднять), я написал по меньшей мере четыре. Это сильно упрощает дело на будущее. Все издатели и многие другие, кто читал «Старика и море», считают, что это классика. Это может показаться хвастовством с моей стороны. Но это не так, ведь сказано это не мной. Это они так говорят. А еще они говорят, что на каждого читателя книга производит странное впечатление, и всякий раз впечатление это иное. Даже те, кто меня не любит, и, возможно, по серьезным причинам, и к тому же не любят мои произведения, в этом случае придерживаются такого же мнения. Если все это отвечает истине, то, значит, мне удалось сделать то, к чему я всю жизнь стремился, и это великое счастье, и мы оба можем испытывать законную гордость. Но я все это должен забыть, чтобы попытаться создать нечто еще более совершенное».

Эрнест решил, что нам хорошо работается вместе, что мы старые и подлинные «компаньоны», и в тот же год основал на Кубе «Общество Белой Башни». Он часто и свои тогдашние письма подписывал «ОББ». Основателями Общества были Папа и я. Почетными членами стали — Мэри, показавшая себя прекрасной журналисткой, мой брат Джанфранко, написавший рассказ о войне, сорок котов, которые были постоянными обитателями Башни, а также Блэк Дог, как очень милый пес. Обычными членами Общества были — Гари Купер как наш друг, а также в порядке компенсации его за печальный итог стрельбы по летающим тарелкам-«голубям», когда Папа и я поразили каждый по одиннадцать «голубей», победив Гари. Ну и, наконец, Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, так как Папа, хорошо знавший обеих, считал их «великими женщинами». Обязанности членов Общества: быть милыми (освобождались от этого только сорок котов и пес), а также подлинными творцами и художниками. И еще — в случае необходимости помогать друг другу. Некоторые члены Общества, жившие далеко от Кубы, так никогда и не узнали о своем избрании. Позднее мы увеличили число рядовых членов, включив в них Дона Андреса, испанского священника, приходившего в Финку Вихию обедать по четвергам, — о нем рассказывали, что он почти не ест всю неделю, чтобы побольше раздать беднякам. Включили мы

еще и «Чудище» — настоящее его имя было Эррера. Услужливый и добрый человек, он совершенно не подходил ни на какое чудище, но Папа однажды в шутку его так назвал, и прозвище осталось. Чудище очень облегчал Папе повседневный быт — избавлял его от назойливых посетителей (каждый американец, приезжавший в Гавану, считал своим долгом позвонить в Финку), заполнял чеки, которые Хемингуэй первого числа каждого месяца подписывал и отправлял многочисленным благотворительным организациям, составлял налоговую декларацию. А еще среди простых членов Общества был Сински, моряк-баск. Когда его судно приходило в Гавану, а случалось это довольно часто, могучий голос Сински заполнял всю Финку. После обеда наш высокий костистый моряк вставал и начинал петь «Садинитас» — баскскую песню, которая пришлась по душе Папе, ну а мы хором ему подпевали. И, наконец, был Грегори — шкипер «Пилар», с лицом, обожженным солнцем, и простодушной улыбкой — он был по-народному мудр.

Ну а мы, основатели Общества, работали только по утрам. Я рисовала, но потом образы Кубы, схватки петухов, рыбная ловля в океане, бухта Кохимар, вдохновили меня на стихи. За год до того, как Мондадори издал мой сборник «Я смотрю на небо и на землю», Хемингуэй написал мне: «Твои стихи очень хороши. Я не литературный критик и потому не могу тебе сказать, почему они хороши. Но думаю, что не ошибаюсь. Ты наделена большим талантом, но он не достиг еще своей зрелости. Ты можешь все и должна стремиться лишь к одному — писать еще лучше». Письмо это было отправлено 1 октября 1952 года.

Как я уже говорила, работали мы только утром, и, если я кончала свою работу раньше, чем Эрнест, то поднималась к нему на крышу Башни, где Мэри загорала на солнце. Потом мы втроем отправлялись в бассейн, или в тир, или же на рыбную ловлю. Часто я высаживалась с «Пилар» в Гаване, чтобы встретиться с моими новыми друзьями или с юношей, в которого была влюблена. У меня всегда было полно дел, и прошло почти два месяца, а я все еще так и не прочитала «За рекой, в тени деревьев».

Когда же я наконец прочла роман, то сразу же сказала Папе, что диалоги не показались мне особенно интересными. Что же касается Ренаты, то девушка такого воспитания и таких семейных традиций, да к тому же такая юная, не могла удирать из дому на любовные свидания и вдобавок глотать бокалы мартини. Нет, это очень противоречивый образ и малореальный.

— Ты слишком уж иная, чтобы понять ее, — защищался Хемингуэй. — Но я ручаюсь тебе, что такие девушки существуют. И кроме того, в Ренате воплощена не одна женщина, а четыре разные женщины, которых я знал.

Больше я его ни о чем не спрашивала.

Еще месяц жизнь в Гаване текла по-прежнему спокойно, полнокровно, не повторяясь изо дня в день. А потом кто-то прислал матери статью, опубликованную во Франции. Рядом с именем Ренаты упоминалось, хотя и не напрямую, мое имя. В этой статье все было представлено в каком-то ложном свете. Я удивилась, но не придавала этому серьезного значения и ни на минуту не задумалась о возможных последствиях. Совсем иначе восприняла эту статью моя мать, что, впрочем, вполне естественно для всякой матери. Она очень обеспокоилась и решила, что нам нужно немедленно возвращаться домой. Отдых на Кубе закончился.

Год спустя, в марте 1951-го, я получила из Финки Вихии такое письмо: «Если я смогу и дальше писать достаточно хорошо, то о тебе и обо мне будут потом вспоминать еще много столетий. Ведь мы работали трудно и плодотворно. Некоторые так и подумают, а знать будем только мы с тобой, но нас тогда уже не будет. Быть может, мне не надо было с тобой встречаться. Может, это было бы куда лучше для тебя. Может, мне не следовало увидеть тебя в Латизане под нескончаемым дождем. Но, к счастью, я увидел тебя до того, как ты промокла насквозь. Но, Девочка, если бы я и не написал книгу о Венеции, ничего бы не изменилось. Люди все равно заметили бы, что мы часто бываем вместе, и что мы счастливы вдвоем, и что мы никогда не говорили о серьезных вещах. А люди завидуют тем, кто счастлив. И потом они заметили бы, что мы работаем вместе, и работаем вместе на редкость серьезно и плодотворно. Помни, Девочка, что лучшее средство против лжи — это правда. Но вот против сплетен оружия нет. И все равно как свежий ветер разгоняет тучи, а солнце превращает их в водяную пыль, так и время прогонит прочь клевету».

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

В Пуэрто-Эскондидо мы отправились вчетвером, Адриана Иванчич с матерью и братом, и я. Очень привлекательная была итальянская графинечка. Я на нее сразу глаз положил. Даже по-испански она как-то так говорила, что внутри все замирало. Но я, конечно, даже виду ей не показывал, потому как она была гостьей Папы. Потом так случилось, что мне пришлось ее привязать, но я это сделал, чтобы она невзначай не свалилась в воду. Мы шли на шлюпке, начинался шторм, и я не хотел потерять никого из моих пассажиров.

Пока Папа ждал нас на борту «Пилар» в Пуэрто-Эскондидо, я воевал с лодкой, с пассажирами и с первыми порывами штормового ветра. Начальник порта в Санта-Крусе предупредил меня: «Будь осторожен. Погода портится». Я ему ответил: «Мне осторожности не занимать». В Санта-Крусе мы еще проваландались: зашли выпить и не заметили, как прошло время. Наконец мы отчалили. Прошло всего ничего, и началось. Ветер, темень. Я сказал своим трем пассажирам: «Мне придется привязать вас, чтобы вы у меня не выпали. Да и волной, того и гляди, накроет, смоеет вас — поди потом, объясни Папе».

Начал я с мамы молодой итальяночки. Обвязал ее веревкой, похлопал по плечу и сказал, чтоб не беспокоилась. А она мне: «Спасибо, спасибо, сеньор». Для брата я взял старый, засаленный, правда, немного конец, что мне под руку подвернулся, протянул ему и говорю: «Привязывайся, братишка, только не больно шебаршись, а то и потонуть недолго». А он себе улыбается спокойно, ничего не понимает. Потом я вынул из кормового рундука новенькую веревку и попросил молодую графиню позволить мне привязать ее для страховки. С ней я дольше провозился. Она мне говорит: «По-моему, мы утонем». Но я ее успо-

коил: «Не бойся. Смотри, как мы хорошо идем». Но тут мне пришлось покинуть гостей и поспешить к рулю, потому что дело и впрямь принимало крутой оборот. Я видел издали сигналы, которые Папа подавал нам с «Пилар» бенгальскими огнями. Я знал, что ответь я, ему было бы спокойней, но я не мог бросить руль. Шторм разыгрался вовсю. Понемногу мы приближались к «Пилар», но ветер дул так сильно, что Папа не услышал шума мотора. В слабом свете я видел, как он стоит на мостике и высматривает нас. Дождь то переставал, то снова начинал лить, и мы промокли до нитки. Как раз когда мы подошли вплотную, и дождь лил, и ветер дул во всю мочь. Я забросил конец на яхту. Папа услышал, как он стукнул по палубе, и сказал: «О, как хорошо, Грегорине приехал!» И пошел за шампанским, чтобы встретить своих гостей. Я их отвязал, и Папа помог им подняться на борт. Бутылку он сразу протянул мне. «Открой, Грегорине. Эта честь принадлежит тебе». Он заметил, что я не спешу присоединиться к общему веселью, отвел меня в сторонку и спросил: «Ты почему не идешь?» Я ответил: «Я думаю о судне». Он знал, что я этим хочу сказать. Так что он оставил меня одного и пошел принимать своих гостей. А я привел судно в более спокойное место, бросил четыре конца — два на буи и два на берег — и приготовился переждать шторм.

Все рано пошли спать, кроме меня, конечно, и Папы, который пришел ко мне на мостик. Я там коротал время вдвоем с бутылкой. Он у меня спросил: «Как, по-твоему, что нам надо делать?» Я показал ему на бутылку и говорю: «Я на месте. С компасом. Жду, пока этот «ветерок» уймется. Но вы не волнуйтесь, Папа, и идите спать». А он мне: «Нет, я тут останусь с тобой на вахте на всю ночь». «Все будет в порядке», — говорю. А он в ответ: «Ну ладно, ладно». <...>

Мы стояли у причала гаванского Международного клуба. К нам пришвартовался катер каких-то буржуев, из этих, у кого денег куры не клюют. Когда Папа поднялся на «Пилар», я увидел, что он немного перебрал. Это он был у этих типов на катере, и они ему настучали, что я отдал нашу рыбу каким-то рыбакам. Я и правда отдал часть нашего улова, но я всегда так делал, потому что Папа сам этого хотел — по доброте души, а я считал, что правильно, ведь люди эти были наши друзья. Рыбаки то есть. А эти с катера увидели и донесли ему. Он ко мне подходит и нехорошо так спрашивает: «Ты отдал рыбу?» — «Да, — отвечаю, — и вы

знаете, что я вам во вред никогда ничего не делал. А коли вы так все повернули, чего судить да рядить. Заплатите мне, что должны, — я с этой работы ухожу». Папа очень разозлился. Ну и давай, говорит, и проваливай, скатертью дорога. Повернулся и пошел. Ушел он часов в одиннадцать утра, а этак в час пришел обратно. «Пошли выпьем», — говорит. «Пошли», — отвечаю. Я сидел на «Пилар», ждал, что он принесет мне расчет. Мы сошли с яхты и отправились в Международный клуб, в бар. Выпили. Он спрашивает: «Ты настаиваешь на своем решении?» — «Настаиваю». — «Ну что ж, воля твоя...» И ушел. Вернулся в три часа. Еще выпили. Еще раз про то самое спросил. Опять ушел. Вернулся в полшестого. Выпили в баре — теперь молчком. Потом выпили на «Пилар». «Ты окончательно решил?» — «Я должен уйти, Папа. Ты здорово обидел меня, Папа». — «Не говори так, не говори больше об этом». Мы смешали себе еще по порции. «Ладно, Папа, это все мелочи», — говорю ему. «Да, ты прав, — отвечает. И добавил: — Послушай, что я тебе скажу. Я прошу у тебя прощения. Но если ты меня не простишь и уйдешь, я сожгу «Пилар», и сожгу Финку, и уеду с Кубы, и никогда не вернусь».

ИЗ КНИГИ «МОЙ ДРУГ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Последний раз я видел Эрнеста в октябре 1957 года. В середине сентября он и Мэри приехали в Нью-Йорк, где он посетил матч по боксу, когда Сахарный Рой Робинсон защищал свой чемпионский титул против Кармена Базилио. Кроме того, он смотрел игры чемпионата США по бейсболу. В эти месяцы пресса уделяла много внимания состоянию его здоровья и описывала строгую диету, предписанную ему его врачами. Эрнест позднее сказал мне, что он прошел совсем недавно тщательную врачебную проверку, в том числе и со стороны его друга, корабельного врача на «Иль де Франс».

3 октября Эрнест позвонил мне из нью-йоркского отеля и сказал, что они через два дня уезжают в Майами и приглашают меня присоединиться к ним в Вашингтоне. Зная его отвращение к разговорам по телефону, я был польщен, что он нашел для меня время, при том, что он загружен делами, обязательствами по отношению к друзьям, и вообще очень жестким расписанием времени.

Я встретил Эрнеста и Мэри в Вашингтоне на вокзале Юнион-Стейшн днем 5 октября, в субботу. Они ехали в пульмановском вагоне роскошного поезда «Сиборд Сильвер Стар». Эрнест проворно, как школьник соскочил со ступенек вагона, и пошел по платформе, широко улыбаясь. Как всегда, он казался наэлектризованным, но сдержанным. Мне пришло в голову, как случалось и раньше, что этот человек остается молодым, потому что у него всегда есть цель, есть куда идти. Он был воплощением наслаждения жизнью и заражал других своим духовным здоровьем.

Эрнест выглядел как нельзя лучше и был в превосходном настроении. Цвет его лица прекрасно контрастировал с аккуратно подстриженной седой бородой и почти белой

головой. На нем был хорошо сшитый темный костюм, белая рубашка и простой галстук, хорошо подходивший к костюму. Он выглядел весьма импозантно со своими широкими плечами, сильной грудью и длинными, крепкими руками. Он сбросил свой вес почти до двухсот фунтов, как сообщил мне позднее во время поездки, и при этом признался: «Когда я перестаяю выпивать, я сбрасываю еще двадцать пять фунтов».

На платформе у своего вагона Эрнест и Мэри болтали с парой друзей, приехавших повидаться с ними. Мэри провела эту ночь в Вашингтоне.

— Билл Сьюард, мой верный друг, который никогда не оставит меня в беде, — сказал Эрнест своим друзьям. Обняв меня за плечи, он добавил, усмехнувшись: — Когда бы кто-нибудь не сказал, что доктора Хемингстайна куда-то заносит, Билл Сьюард всегда поддерживает меня.

Между прочим, когда Эрнест был мальчиком, он писал для школьной газеты заметки в стиле Ринга Ларднера и подписывал их «Хемингстайн». В более поздние годы он, похоже, получал удовольствие, вспоминая в разговорах с друзьями в шутку это имя.

Разговаривали об искусстве, о бейсболе. Потом кто-то затронул тему первого русского спутника, выведенного на орбиту днем раньше.

Эрнест принялся шутливо изображать разговор, услышанный им накануне вечером в Нью-Йорке:

— «Теперь надо добиваться мира! Нам нужен мир!» — вот что говорят люди.

И тут же он посерьезнел.

Пришло время отправки. Попрощавшись с их друзьями, Эрнест, Мэри и я поднялись в хемингуэвский пульман. Там меня познакомили с Деннисом Зафиро, молодым англичанином, который был зрителем охотничьих угодий в Кении, а сейчас гостем Хемингуэв, впервые показывавших ему Восточное побережье Соединенных Штатов. Вскоре Зафиро ушел в свое купе, а Эрнест предложил выпить. Вспомнив, что кто-то из нью-йоркских газетчиков сообщил недавно, что врачи категорически запретили ему пить, я не мог скрыть своего удивления, потому что Мэри воскликнула:

— Вы знаете, для писателей так мы пьем очень мало!

Эрнест открыл один из больших кожаных чемоданов, который оказался набитым новыми журналами и большим набором бутылок с виски. Мэри заявила, что она предпочитает мартини, Эрнест, как всегда, выбрал шотландское виски, а я взял бурбон. Как обычно с друзьями, Эрнест провозгласил веселый тост, и мы выпили друг за друга и за Мэри.

Потом, глянув на свои ручные часы и вспомнив, что началась игра бейсбольного чемпионата, он включил транзистор. Голос комментатора зазвучал сильно и четко. И тут я услышал поразительную по точности лекцию о профессиональном бейсболе, при этом Эрнест отнюдь не выпячивал свою осведомленность в этом деле. Я узнал столько о темпераментах игроков обеих команд, как если бы стал тщательно изучать энциклопедию о бейсболе или справочник «Кто есть кто в спорте».

Его внимание частенько отвлекалось от бейсбола на то, что мелькало за окнами вагона. Особый интерес у Эрнеста вызывали военные сооружения, и я хорошо помню его весьма профессиональные суждения, когда поезд шел мимо военно-морской базы в Куантико. Этот ветеран пяти войн заговорил о том, что он называл «наукой войнь», и о различных видах войн. Я тут же моментально вспомнил слова Эрнеста, написанные им ранее.

«Агрессивная война, — писал он, — это страшное преступление против всего хорошего на земле. Оборонительная война, которая немедленно превращается в агрессивную, становится большим контрпреступлением. И нельзя думать, что война, как бы она ни была необходима или оправданна, не является преступлением».

Вскоре после этого разговора за окном показалось поле битвы около Фридериксберга. Оглядывая густые леса, плотный подлесок, попадающиеся иногда высотки, Эрнест высказал ряд очень убедительных замечаний о местности и о том, как она влияет на стратегию сражения. Он говорил и о том, как большие лесные массивы, водные ресурсы и другие географические особенности влияют на погоду. Это была такая специфическая информация, которую вы вправе были ожидать от профессионального метеоролога. <...>

Мэри решила вздремнуть, заявив нам, что она измучилась прошлой ночью, когда вынуждена была поздно лечь спать. Все это время, не считая еды, мы с Эрнестом потягивали, не торопясь, наши напитки, и разговор теперь сосредоточился на литературе и на его произведениях, предмет, о котором Эрнест редко сам начинал говорить.

— Билл, ты как защитник в бейсболе, который останавливает нападающего, и я в тебе это очень ценю, — сказал он, глядя мне в глаза. — Каждый может играть во второй и третьей линии защиты, но хороший шортстоп встречается очень редко.

Не торопясь и с величайшей серьезностью, он продолжал сравнивать литературу с бейсболом, это была его любимая метафорическая форма разговора о литературе.

— Сейчас ты не видишь во мне писателя. Как тебе известно, когда я на отдыхе, вот как сейчас, я совершенно отключаюсь от творчества. Но, когда я начинаю писать, я уже не занимаюсь ничем другим. Я как подающий в бейсболе, я там, чтобы выиграть, и каждую минуту настроен только на победу.

Через короткую паузу он добавил:

— Я всегда продолжаю работать над рассказом вплоть до того момента, когда он печатается.

Потом он с некоторой осмотрительностью продолжал:

— Не так давно я ответил на вопросник, который должен появиться в следующем номере «Пари ревью». Только они, наверное, исказят то, что я написал, как обычно.

Спустя несколько месяцев он прислал мне из Сан-Франциско-де-Паула экземпляр того выпуска «Пари ревью». И, что было характерно для него, не забыл написать там несколько теплых слов.

Я расспрашивал Эрнеста о его писательских привычках, высказал несколько мыслей по вопросам теории литературы, а он сказал мне с нескрываемой профессиональной гордостью:

— Журнал «Атлантик монсли» попросил у меня два рассказа для их юбилейного сорокового номера. — Он неторопливо продолжал: — Ты ведь знаешь, «Атлантик» в свое время опубликовал первым в Америке мой рассказ.

Я кивнул, что мне этот факт известен.

— Рассказы, которые я послал им, представляют две крайности в моем творчестве, — добавил он с воодушевлением. — Первый рассказ грубый, насколько это возможно. Многим читателям он не понравится. Помнишь мой старый рассказ «Свет мира»? Вот и этот рассказ такой же грубый, хорошее чтение для тех, кто любит шлюх, — сказал он почти шепотом. — Мэри понимает, что я хотел сказать. А другой рассказ совершенно иной — очень деликатный.

Когда я проявил интерес в отношении рассказов, которые будут печататься в «Атлантик», Эрнест сказал:

— Я думаю, что моя следующая книга будет сборником рассказов. У меня их, пожалуй, достаточно. Я работаю сейчас над книгой об Африке, но мне надо еще разок побывать там, чтобы уточнить некоторые детали.

Эта последняя реплика свидетельствовала о его постоянной требовательности к себе, как к художнику.

В этом контексте он упомянул, не уточняя, о своей последней работе, которую он называл «мои парижские этюды», книга, которая была опубликована посмертно под названием «Праздник, который всегда с тобой».

И тут же Эрнест заговорил о моем неоготическом романе «Край мертвой ночи», выпедшем за несколько лет до этой нашей встречи. Вскоре после выхода романа Эрнест в спешке написал мне, что считает его «превосходным», и добавлял: «Я напишу тебе о твоей книге, которая мне очень понравилась». Действительно, когда я еще работал над романом, Эрнест выразил свою готовность прочитать его в рукописи или в корректуре, сказав мне, что я могу рассчитывать на него — он сделает все, что я захочу.

Я не намеревался использовать нашу дружбу и не стал прибегать к его помощи, а только послал ему экземпляр книги, когда она вышла. И вот теперь, спустя несколько лет, в этот октябрьский день он сказал:

— Твой роман хорош. Я с удовольствием читал его. Я не стал писать тебе подробно, потому что я не критик.

По тону и по существу его замечание прозвучало для меня гораздо значительнее, чем самые положительные отзывы, появившиеся в печати.

Через несколько минут Эрнест заметил с оттенком удивления, что одна хорошо известная компания по производству вечных ручек недавно прислала ему одну из своих ручек и предложила 10 тысяч долларов за право использовать его фотографию в качестве рекламы — не требовалось ни письменного высказывания, ни одобрения — только фотография.

— Я не смог заставить это проклятое перо писать, поэтому и не ответил на их письмо. — Он замолчал, потом добавил с мальчишеским ликованием: — Несколько месяцев назад я увидел фотографию Сэндберга в одном из их приложений. Наверное, Сэндберг получил такую ручку, которая писала.

Вошел Деннис Зафиро. Я высказал несколько комплиментов в отношении англичан, и он, явно польщенный, стал рассказывать о своей работе егеря. Потом он сфотографировал несколько раз Эрнеста, Мэри и меня. Упоминание о фотографировании вызвало немедленную напряженную реакцию у Эрнеста. Чувствовалось, что необходимость оказаться перед фотокамерой, даже с друзьями, вызывала у него явную физическую и психологическую боль. Позднее он признавался мне, как без сомнения, и другим, что щелканье фотокамеры звучит для него как трещотка змеи.

Всю жизнь он ненавидел всякую рекламу, будь то словами или фотографией, и это его отношение к рекламе, быть может, не так широко известно. Но любой репортер, знавший Эрнеста, в этом уверен. Эрнест никогда добровольно не позировал и не разговаривал с ними о своих книгах или о себе. Другое дело, когда он общался с друзьями, с теми, кому доверял. С ними он был замечательным собеседником, — мудрым, щедрым, внимательным.

Деннис Зафиро сказал:

— Папа согласился сфотографироваться с вами, потому что вы друг, но он ни за что не согласился бы, если бы вы были газетчиком.

«Удача» — это слово всегда было любимым словом Эрнеста, кстати, так же, как и Марка Твена. Оно часто встречается в опубликованных работах обоих писателей. Но Эрнест часто употреблял его и в разговоре и при этом обычно стучал по дереву. Даже говоря об авторах по-настоящему крупных произведений литературы, он подчеркивал, что успеха можно достигнуть, лишь если писатель достаточно упорно работает и если ему «повезет». <...>

Дружба Хемингуэя со знаменитостями среди профессиональных военных, кинозвезд, журналистов, магарадж, спортсменов, владельцев ресторанов была широко известна. Ненавидя всякую рекламу, Эрнест в течение долгого времени отказывался давать какую-либо информацию о своей личной жизни и о своих друзьях. Не имея подлинной информации, многие газетчики придумывали всякие эпизоды, приключения, персонажи, отношения. Они не соответствовали действительности, но все эти бесконечные слухи добавляли что-то к легенде о Хемингуэе и уже стали частью истории литературы. Но в отличие от того образа, который создали ему газетчики в глазах публики, Эрнест всегда любил маленьких людей не меньше, чем знаменитостей.

Оглядываясь назад, мне трудно поверить, что первая моя встреча с Эрнестом оказалась возможной из-за моего растущего профессионального интереса к его творчеству и его месту в современной американской литературе. Будучи молодым преподавателем колледжа, занимавшимся художественной литературой двадцатого века, я написал ему о своем восхищении его прозой. Его ответ, датированный 10 марта 1940 года, пришел из отеля «Амбос Мундос» в Гаване. Он благодарил, но без всякой сентиментальности, и в конце своего письма высказал желание, такое характерное для него и совпадавшее с его послед-

ними словами, обращенными ко мне из больницы в Рочестере, — желание подарить мне что-нибудь. В том первом письме он сообщал некоторые сведения о своей работе над новым романом и писал, что, когда книга выйдет, он пришлет мне ее с автографом. И он это сделал. Этой книгой был роман «По ком звонит колокол», вышедший в октябре того года. И добавлял, что если ему повезет, то это будет лучший роман из всех, какие он написал. Насколько я знаю, Эрнест всегда считал этот роман своим наилучшим.

В последующие месяцы война в Европе становилась все более страшной. Эрнест и его новая жена Марта Гельхорн, корреспондентка «Колльерса», отправились посмотреть, что представляет собой китайско-японская война. А вскоре случился Пёрл-Харбор. Ну а после этого мировые катаклизмы и склонность Эрнеста к путешествиям и личному участию в событиях привели к тому, что я в течение трех лет ничего о нем не слышал. И только в середине 40-х годов возобновился обмен письмами.

Еще будучи студентом последнего курса, я знал некоторых поэтов и писателей и знал, что художники не очень любят заводить друзей. В те дни я не мог себе и представить, что у меня и у знаменитого автора романа «Прощай, оружие!» могут быть какие-то иные отношения, чем профессиональный обмен идеями и мнениями. Как мало я тогда знал о Хемингуэе-человеке! Тем не менее, на наших ранних письмах уже лежит отпечаток тех отношений, которые через несколько лет позволили мне, подобно другим его друзьям, рассматривать его как свою личную собственность. Даже Марлен Дитрих, которая называла Эрнеста «самым очаровательным мужчиной, какого я когда-либо знала», воспринимала его как «свою личную Гибралтарскую скалу». Я не подозревал в те годы о поразительной способности Эрнеста заводить и хранить друзей.

По мере того как укреплялись наши отношения, я все больше и больше узнавал отличительную черту его характера — его умение вовлекать людей в свою орбиту. Он всегда был человеком действия (и писателем, который воспел действие), и с ним с детства постоянно случались какие-то беды. Однако не требовалось много времени, чтобы убедиться, что этот искатель приключений, охотник и рыболов был великодушным и терпимым в отношении других. Я понял, что выше всего он ценил верность, доброту, честность и мужество, ненавидел предательство, своекорыстие и обман.

В последние годы войны мои письма то и дело задерживались почтой. Впоследствии он шутил, что не знает,

по каким причинам происходила задержка, разве только потому, что цензор не соглашался с моей оценкой его произведений.

Мы тогда обменивались мнениями о книгах, и о писательском мастерстве, и об авторах. Похоже, что ему нравился такой обмен мнениями, он признавался, что там, где он находится, мало говорят о книгах. Он тогда перечитывал «Войну и мир» в новом переводе Ялмара Моуда, который высоко оценил. Его преклонение перед гигантами русской литературы девятнадцатого века хорошо известно. Когда я написал ему, что использую «Преступление и наказание» в своих лекциях в колледже, ему это очень понравилось. Он высказал свое восхищение «Братьями Карамазовыми» и «Идиотом» и упомянул «Игрока», написав, что всегда считал это произведение «поражительным». (...)

В августе 1948 года Эрнест вновь написал мне о книге, над которой работает, высказав надежду, что она получится хорошей. «Однако каждый раз становится все труднее превзойти предыдущую книгу, коль скоро каждый раз пишешь в полную силу, на какую только способен». Похоже было, что возросшие свои трудности он объясняет лишь тем, что хочет превзойти ранее написанные книги, а не писать на том же уровне или повторять найденные приемы. В этом контексте Эрнест отстаивал свое мнение, что ритм для писателя почти так же важен, как и хороший вкус. Никому не дано жить вечно, но, по его убеждению, писатель вообще не останется в памяти людей, если у него нет чувства ритма.

Говоря о своих произведениях, он утверждал, как само собой разумеющийся факт, что читатели понимают, как они хороши, несмотря на то, что критики в течение многих лет доказывают им обратное. Временами он перечитывает свои рассказы и поздравляет сам себя, удивляясь при этом: «Ну какой еще сукин сын мог бы написать так хорошо». И добавлял в типичной для него манере: «Это не тщеславие. Это ощущение своей профессии».

В последующие годы Эрнест время от времени благодарил меня в письмах за признание силы воздействия его произведений. Он был явно доволен, что я продолжаю писать ему — мои письма, утверждал он, делают его счастливым, когда ему это кажется необходимым. «Они всегда приносят мне чувство уверенности, сродни тому чувству, которое испытываешь, когда зачерпываешь в ларе горсть пшеничных зерен и просеиваешь их между пальцами».

Именно тогда он высказал предположение, что его бывшая жена попала в ловушку чувства тщеславия, добавив, что, вероятно, она и всегда была подвержена ему. Видимо, ее популярность в годы войны оказалась ей не под силу. Ссылаясь на некоторые ее последние работы, Эрнест утверждал, что она вполне способна написать хорошую книгу. То был единственный раз, что он упомянул при мне Марту Гельхорн после их развода. Она потом вышла замуж за Т. Мэттьюза (позднее развелась и с ним), обосновалась в Лондоне и продолжала заниматься журналистикой и писать романы.

Эрнест и сам время от времени в это десятилетие занимался журналистикой, публикуя различные очерки; среди них был один очень хороший в журнале «Холлидей» в канун 1950 года. Он всегда четко разграничивал журналистику и серьезную художественную литературу, заявляя порой: «Журналистика это праздник, который всегда с тобой».

Почти десять лет мы обменивались письмами, делись мнениями о французских мастерах прозы и крупных русских романистах девятнадцатого века, которых я включал в свой курс лекций по литературе в моем колледже,— в частности, о Флобере, Достоевском и Толстом. Когда я в конце 1940 года написал Эрнесту, что включил его роман «Прощай, оружие!» в список обязательного чтения студентов, он, похоже, был доволен. Изданию этого романа для студентов предшествовало предисловие, написанное Робертом Пенн Уорреном. Эрнест отозвался об этом предисловии одобрительно. <...>

По выходе в свет его романа «За рекой, в тени деревьев», он был уже сыт по горло глупыми статьями о нем самом и о романе. У меня создалось впечатление, что его выбили из колеи некоторые враждебные критики, слишком уж шумно обвинявшие его в том, что он протитутует себя, печатаясь в журнале «Космополитен», хотя, как известно, он публиковал в этом журнале («Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»), «Под мостом» и еще два или три превосходных рассказа. Подобно мальчишке, который перехитрил своего врага, Эрнест явно радовался, что «какой-то сукин сын», который ненавидит его и не понимает его творчества, потратил деньги на почтовую марку, чтобы обозвать его протитуткой.

— Я сменил много профессий, — говаривал он в раздумье, — но протитуткой никогда не был.

С другой стороны, его очень трогали «боевые ребята», писавшие ему, как много значит для них его роман. Осо-

бенно, мне кажется, его взволновали слова британского генерал-лейтенанта, которого он знал еще с Италии, когда оба они были совсем молодыми. Его друг писал ему о военных аспектах романа: «Хем, откуда ты знаешь вещи, которые знаю только я? Когда ты узнал про грусть и почему никогда не говорил мне об этом?»

Был еще писатель из Венеции, который не высказывал комплиментов, но написал о романе «За рекой, в тени деревьев»: «Никто никогда не писал и никто никогда не напишет так о Венеции».

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Вчера мы с Бэмби, Диком и Марджори Купер ездили слушать чудесного, великолепного, блестящего Иегуди Менухина. После концерта — «Интернациональный клуб», который оказался небольшим кабачком по соседству, и я в нем пела под инструментальный ансамбль. Было замечательно, но Папа по пути домой ныл, что мы помешали ему работать.

Перед сном мы слегка повздорили на эту тему, но утром, когда я позвонила, чтобы принесли завтрак, Эрнест, мягко ступая, вошел в мою комнату и вручил мне собственноручное послание.

«Милый Котенок, — было там написано карандашом его округлым, твердым почерком, — вот что я могу тебе сообщить по поводу ночных клубов. Я их и сам очень люблю. Мне там всегда весело. Но, когда я пишу книгу, я там никогда не бываю, потому что, если я пью и поздно ложусь, я назавтра не могу хорошо писать... Писанье для меня — большая мука, это мой особый, личный ад, в который я не имею обыкновения вовлекать близкого человека. Есть у меня и свои награды и небеса, ими я стараюсь делиться... То есть я хочу сказать, что не существует такого положительного импульса, который бы побуждал человека изо дня в день заниматься писанием. Но за определенный, достаточно долгий промежуток времени хороший писатель непременно научится писать, если только будет правильно обращаться со своим орудием труда...» И дальше в том же духе на семи страницах.

Я напечатала ему на машинке ответ: «Я постепенно обучаюсь искусству сидеть по вечерам дома и получать от этого удовольствие. Не хочу, чтобы ты писал похмельную прозу. Я хочу, чтобы ты писал так же, как Иегуди играет на скрипке». <...>

Кончились людные рождественские праздники, и Эрнест предпринял новую увлекательную затею, теперь в одиночку: сел за повесть о старом рыбаке-кубинце, которую мысленно записал на пленку в своей голове за много лет до того, а один отрывок опубликовал в «Эсквайре» еще в апреле 1936 года. Эта работа складывалась у него счастливо. Каждое утро он проигрывал кусок пленки, и слова сами так и сыпались из его старой портативной машинки на бумагу, не возникало никаких проблем с причисыванием слишком встрепанных чувств, со сглаживанием грубостей и перифразировкой неудачных оборотов, — всем тем, что так его мучило, когда шла работа над романом «За рекой». Ежевечерне, после того как все гости расходились по спальням и в доме устанавливалась тишина, я прочитывала рукопись, каждый раз с самой первой страницы.

Это были отрадные часы. Свет настольных ламп, отражаясь от оранжевого потолка, ложился розовыми бликами на полированное дерево столов и книжных полок. Через открытые окна доносились лишь вздохи морского ветерка, да изредка со стороны шоссе долетало отдаленное урчанье припозднившегося грузовика. Эрнест молча читал, развалился в кресле, или, привлеченный моим невольным одобрительным шепотом, вставал и заглядывал мне через плечо. Все было просто, стройно и прекрасно — как фуги Баха и как рисунки Пикассо, без подштриховки и завитушек. И я, не кривя душой, могла каждый вечер повторять, что, по-моему, это замечательная работа. Я была счастлива через край.

Я писала в ежемесячник «Флэйр»:

«Меня постоянно до глубины души потрясает способность Эрнеста работать среди нашего вечного праздничного безделья. Не то чтобы он вообще не ценил тишину и одиночество, но он может месяцами жизнерадостно существовать в хороводе времени, пространства, движения, шума, животных и людей, близком к полному светопреставлению. Кто-нибудь мог бы назвать это хаосом. Для нас это — свобода. Образ жизни, не более упорядоченный и благопристойный, чем виляние собачьего хвоста, и Эрнест в таких условиях чувствует себя прекрасно... Для меня это очень поучительно, я черпаю в его примере бодрость и не имею свободной минуты...» <...>

Приехал на одну ночь Гари Купер, и мы чуть не до утра проговорили на разные темы, но главным образом об его личных делах, которые обсуждали потом еще це-

льй день. После него объявились Леланд и Слим Хей-уорды и водворились в нашем домике для гостей. Мы ездили с ними ужинать в город, кормили их обедами и ужинами дома, Эрнест возил их на рыбалку, и как-то Леланд взял с собой на ночь рукопись «Старика и моря», чтобы почитать перед сном. На следующий день к обеду он принес ее обратно. Он решил ее судьбу.

— Эту вещь надо срочно публиковать, Папа. Недопустимо, чтобы она и дальше тут валялась.

Мы стояли у порога гостиной, и говоря Леланд похлопывал по папке, которую только что положил на стол.

— Коротковата она для отдельной книги, — задумчиво возразил Эрнест.

— Дело не в длине, а в качестве. Можно и тысячу страниц накропать, а того не выразить, что поместилось здесь, — настаивал Леланд. — Вещь надо напечатать в большом ежемесячнике — в «Лайфе» или в «Тайме».

— Скрибнеру это не понравится.

— Скрибнер получит бесплатно рекламу на миллион долларов. Печатать надо с помпой, на страницах самого известного журнала. Я этим займусь.

— Ишь ты, какой прыткий, мистер, — покачал головой Эрнест. Он смотрел в пол и говорил тихим голосом, слегка обескураженный таким напором.

Леланд, бродвейский продюсер — «Южная Тихоокеанская», «Мистер Робертс», «Называйте меня мадам» — успел стать крупным специалистом по части коммерции. Он мыслил молниеносно.

— Мы подгадаем журнальную публикацию к выходу книги.

— В журнале с большим тиражом? Тогда у Скрибнера не раскупят книгу.

— Глупости. Публика, прочитав отрывок в журнале, бросится приобретать книгу. Кто ведет с вами дела у Скрибнера? Я сам с ним поговорю. Планировать публикацию будем на эту осень.

Когда они дня через два собрались и уехали, Леланд увез с собой экземпляр рукописи. <...>

Когда Эрл Уилсон в нью-йоркском журнале «Пост» написал, что, по мнению некоторых, Эрнест пренебрегает своими обязанностями американского гражданина, проживая за границей, он послал ему ответ: «На Кубе мне всегда сопутствовала удача в работе... Я перебрался сюда из Ки-Уэст в 1938 году, сначала снимал этот дом, а потом, когда вышел «По ком звонит колокол», купил его... Мес-

тожество это удобно для работы — оно за городом и на возвышенности, так что по ночам здесь прохлада. Я просыпаюсь с восходом солнца и берусь за работу, а когда кончаю, то иду купаться, потом выпиваю стаканчик-другой и читаю нью-йоркские и флоридские газеты. После работы можно заняться рыбалкой или охотой, а вечером Мэри и я читаем, слушаем музыку и ложимся спать. Иногда мы бываем в городе, ходим на концерты, или на петушьи бои, или в кино. А потом заглядываем в кафе «Флоридита». Зимой можно уехать в Джай Алай.

Мэри любит копаться в саду, у нее неплохой цветник и огород, отличные розы... Я потерял почти пять рабочих лет, пока не работал во время войны, и теперь стараюсь наверстать их. Обретаясь где-нибудь в Нью-Йорке, я бы работать не мог, не научился. Всякий раз, очутившись в Нью-Йорке, я испытываю то же, что в старину скотогон, добравшийся до Додж-Сити после долгого перехода. Как раз сейчас я гоню стадо, и этот переход долгий и трудный. Но осенью, когда выйдет «Старик и море», вы увидите плоды пяти последних лет моего труда.

Вы найдите мне такое место в Огайо, чтобы я мог жить на горе и при этом в пятнадцати минутах от Гольфстрима, иметь круглый год собственные фрукты и овощи, выращивать бойцовых петухов и устраивать бои, не нарушая законов, — тогда я готов поселиться в Огайо, если согласятся мои кошки и мисс Мэри».

ХЕМИНГУЭЙ

В воскресенье, что-то около шести вечера, я зашел в редакцию газеты и в лифте встретил Герреро. Спросил его о последних новостях. Он сказал, что регату выиграли рыбаки и что погиб Хемингуэй от случайно разрядившегося ружья. Таковы были ударные сообщения для первой полосы.

На пятом этаже я просмотрел телеграфные сообщения и понял, как все это произошло. Вспомнил про давно известную навязчивую мысль Хемингуэя и сопоставил ее с просочившейся недавно информацией о прохождении им курса лечения в двух больницах. И сразу же подумал, что он, должно быть, болен какой-то неизлечимой болезнью и потому покончил с собой.

Впрочем, в тот момент я не был способен в полной мере оценить произошедшее. Лишь смутно догадывался, что уход великого старика далеко не безразличен для многих людей, а не только для литературы. Хемингуэй оказал на меня влияние и своим жизненным опытом, и своими произведениями. Но это было лет шесть-семь назад, а потом я пришел к неприятию многого в нем, и он как-то ушел из литературного моего кругозора.

Спустя два-три дня после его смерти я начал задумываться о его судьбе и вспоминать прочитанное о нем. Само собой разумеется, что к воспоминаниям о прочитанном примешивались и какие-то образы из скверных фильмов, снятых по его романам и рассказам. Мне представилась внутренняя борьба в нем между женским цивилизующим материнским мирком и мужским, спортивным, отцовским. Посещения индейцев в лесных поселениях, война и ранение где-то на берегах Пьяве; его жены: Хэдди, Полина, Марта, Мэри, жизнь в Париже на площади Конгрэскарп впроголодь, в сущности, на жареной картошке, когда, желая обрести творческую свободу, он отказался от денег

Херста. Потом Ки-Уэст и спорт, испанская война, «взятие» парижского отеля «Ритц». Его плохие рассказы и его отличные рассказы, критики, которые его «разрушали», и критики, которые его «созидали». Те, кто писал о нем благожелательно, как О'Хара и Кёстлер, и те, кто писал о нем плохо, как г-жа Стайн и Макс Истмен.

Вспомнил, как я познакомился с ним. Рассказать об этом следует, так как случай весьма характерен для своеобразного его поведения. Однажды вечером мы с моим другом Бернардо Диесом сидели во «Флоридите». Болтая и глядя по сторонам, мы обнаружили Хемингуэя, который сидел, облокотившись на стойку. Перед ним стоял стакан джина, и он писал что-то своим фломастером на листочках газетной бумаги. Когда мы подошли поприветствовать его, он прямо-таки взорвался. «Что, вы считаете, что можно мешать человеку только потому, что он находится в публичном месте?» — грубо оборвал он нас. Бернардо начал было что-то объяснять, но тут кулак Хемингуэя обрушился на подбородок Бернардо. Тот еле увернулся от этого сокрушительного удара. Во избежание скандала мы отошли к другому концу стойки, очень подавленные и, не скрою, слегка обозленные. Хемингуэй продолжал писать, словно ничего не произошло. Через час мы собрались уходить и потребовали счет. Бармен сказал, что наш счет оплатил Хемингуэй. Наше возмущение уступило место удивлению. Хемингуэй подошел к нам, улыбаясь. Демон вспыльчивости испарился. Он сказал, что сожалеет о случившемся, но когда он пишет, то находится в такой прострации, что не контролирует себя во всем остальном, а мы помешали ему. Прибавил еще, что из Бернардо мог бы получиться хороший боксер, и пригласил нас к себе в Финку Вихию.

Искушение было велико, и неделю спустя мы с Бернардо встретились у ворот виллы. Какой-то паренек-служитель спросил наши имена и позвонил в главный дом. Там распорядились пропустить. Двинулись по грунтовой каменистой дороге и вышли к старому типично кубинскому просторному дому прошлого века. Было что-то около полудня. Из дома доносилась гитара, исполнявшая фламенко, канте хондо, слышались голоса.

Хемингуэй уже ожидал нас на террасе. Сказал, что в доме гости, его друзья: актеры, люди из Голливуда или что-то в этом роде, и потому он, к сожалению, не может

уделить нам много времени. Почти все время, которое он был с нами, Хемингуэй говорил о спорте. Мое невежество в этой области побудило меня хранить молчание. Предупрежденный о том, что времени у него слишком мало, я не отважился заговорить о литературе. Он предложил нам выпить. Когда мы отказались, он поднялся с удивительной для его телосложения легкостью. Свидание закончилось. Вот и все.

Все другие «встречи» с Хемингуэем были уже не личными, а интеллектуальными: либо чтение его произведений, либо чтение работ о нем.

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Французы просто сделали нам отмашку, что, мол, можно переезжать через реку Бидассао, но в городе Ирун нам пришлось вылезти из машины для прохождения иммиграционной и таможенной процедуры в новом здании, на фасаде которого, над покрашенными окнами, трижды повторялось одно слово: «ФРАНКО-ФРАНКО-ФРАНКО». Чиновник иммиграционной службы заглянул в паспорт Эрнеста и деловито осведомился: «Родственник?» Потом пристальнее взгляделся в фотографию и в оригинал. «Возможно ли?» — воскликнул он, вскочил и радушно с большим чувством потряс ему руку. С таможенным досмотром автомобиля и всего нашего громоздкого багажа, плюс радио и фотокамеры, не было никаких проблем.

Мы ехали на фиесту Сан-Фермин, забираясь все выше и выше к Пиренейским вершинам, по плечи укутанным в тучи. Дорога была та самая, по которой ездил Эрнест тридцать и двадцать лет тому назад. Дни становились все солнечнее, и растительность менялась на глазах, чем больше мы отдалялись от Франции и от уровня моря. Деревья здесь цвели высокими белыми, как свечи, цветами, к гранитным скалам льнул лиловый вереск, розовел дикий горошек, стеной стоял густой зеленый подлесок. — Страна совсем не изменилась, — сказал Эрнест. — И так же щедра, как раньше.

С перевала снова открылся вид на гряды гор, синих, бурых и голых, и Папа радостно провозгласил:

— Ну вот. Мы в Испании.

7 июля я записала:

«Поднялись в половине пятого и на туманной заре пустились в путь по живописной золотистой дороге. В ма-

шине царило оживление. На центральную городскую площадь мы выкатили, когда ее подвергали ежеутреннему обливанию, и здесь встретили старого друга Папы Хуанито Кингану, лучше которого, по Папиным словам, во всей Испании никто не разбирается в быках и матадорах. Мы проглотили по кружке крепкого черного кофе, повязали на шеи красные платки и замешались в толпу, в которой мне прокладывал дорогу Руперт Белвилл (знакомый англичанин, неизменный джентльмен), а Папа предостерегал Руперта, чтобы он крепче держался за свой бумажник, и успели пробраться на трибуны как раз к тому времени, когда на арену выбегали быки и парни, они немного погонялись друг за другом, а потом появились погонщики и загнали быков обратно в темные стойла под трибунами.

Ярче всего мне запомнилось сокрушенное лицо Папы, когда, выйдя со стадиона, он обнаружил, что украден как раз его бумажник — нарядный новый бумажник, который я незадолго до того купила ему в Нью-Йорке.

— На эту фиесту съезжаются лучшие карманники Испании, — со вздохом сказал он. — Работают только один первый день, и — вон из города, поди сыщи их». <...>

...Позднее я сделала запись:

«У Эрнеста есть хитрые безобидные способы сразу определять, кто из его собеседников воевал в гражданскую войну на одной с ним стороне. Например, по шуточным жаргонным названиям бумажных денег, как было в Сепульведе. Он не делает никаких политических различий. У него есть знакомые и среди тех и среди этих. И все очень хорошо к нему относятся». <...>

Переночевав в Энтеббе, мы полетели на запад над выгоревшей землей, перевалили через горный кряж, за которым начинаются низины и болота, примыкающие к южному берегу озера Альберта, и дальше неспешно двинулись вдоль западного берега, а под нами проплывали живописные рыбацкие деревушки под соломенными крышами. Жители: мужчины, женщины, дети — все работали на воде в долбленых челноках. Чем дальше на север, тем ближе к срезу воды подступали горы, круто обрываясь прямо в озеро и не оставляя места для пляжей. Мы разглядели сверху одного рыболова, у которого на носу челнока лежал выловленный нильский окунь, на взгляд, никак не меньше ста фунтов весом. Потом горы снова отступили от берега, опять пошли заболоченные низины, и по ним петлял, медленно пробираясь к северу, только что

народившийся Белый Нил. Поворот на восток — и под нами уже другая река, тоже медлительная и полноводная: Виктория-Нил, а на обоих ее берегах полным-полно слонов, буйволов, бегемотов.

Постепенно береговая линия становится четче, мы летим над возвышенной равниной, поросшей кустарником и жидкоствольным лесом, равнина постепенно поднимается, и вот под нами водопад Мэрчисон. Самолет описывает над ним круги, я делаю снимки, один круг, еще один, Рой кладет самолет на крыло, чтобы я могла снять самый каскад, и на третьем кругу мы задеваем какую-то заброшенную телеграфную линию. Проволока срезает нам радиоантенну и хвостовую плоскость. Рой лихорадочно дергает все возможные ручки управления и успевает отвести «Сесну» в сторону от водопада и отвесных скал. Но она продолжает терять высоту, и Рой объявляет:

— Придется садиться.

Он из последних сил тянет машину над невысокими деревьями, потом между стволами деревьев повыше, а сам повторяет:

— Мне очень жаль, но мы падаем, всем приготовиться, приготовиться, приготовиться!

Я отворачиваю голову от ветрового стекла и прикрываю глаза локтями. «Сесна» с треском, стуком и грохотом застревает среди кустов и чахлах деревьев. В этот последний миг мое главное чувство — досада: вот дерьмо! Надо же так ни с того ни с сего вдруг разбиться насмерть или переломать все кости! Эрнест потом рассказывал, что испытал точно такую же досаду и даже выругался мысленно тем же самым словом.

Рой распорядился:

— Быстренько вылезаете, — и мы послушно выбрались из «Сесны». Но она вела себя с похвальной благопристойностью: не взорвалась и не загорелась. Убедившись, что с нами ничего страшного не произошло, Рой торопливо бежал самолет, осматривая повреждения. А я принялась собирать вещи, рассыпанные по кабине, — один фотоаппарат сплющило и засыпало землей, зато другой, находившийся у меня на коленях, оказался с виду в полном порядке. Впрочем, линзы не разбились ни в том, ни в другом, и сохранился в неприкосновенности фотографический кофр с экспонометрами, светофильтрами, насадками и прочим. А вот содержимое моей сумки — паспорта, деньги, разные бумаги — разлетелось во все стороны. Был час пополудни на широте в два градуса к северу от экватора, и солнце нещадно било по нашим непокрытым головам, точно забивало сваи в землю.

Эрнест и Рой уселись в тени от крыла «Сесснь» разглядывать карту. На ней был отчетливо обозначен участок телеграфной линии, пересекающий реку (остальной провод туземцы срезали и пустили на собственные нужды, в частности на изготовление серег размерами с колесо). По карте до ближайшей деревни было сорок миль, но не имелось никаких указаний, есть ли там телефон. Вполне возможно, что реального ходу по звериным и охотничьим тропам вышло бы миль, по меньшей мере, шестьдесят. Я с сомнением смотрела на мягкие подошвы своих замшевых туфель.

В переполохе аварии, на радостях, что обошлось без крови, никто из нас не прислушался к собственному физическому состоянию. Но тут я заметила, что Эрнест держится за поясницу, а у меня непривычно часто бьется сердце и болит левая сторона груди. Во всем теле, от шеи и до пяток, было какое-то странное ощущение. Рой сказал, чтобы я легла в тень под крыло «Сесснь». Эрнест подошел посчитать мой пульс. Губы у него сжались в прямую линию. «Не могу нащупать у нее пульса», — сказал он Рою. Но мне лежа стало лучше, и я словно сквозь дымку, из другой реальности, смотрела, как Эрнест, который выглядел совсем неважно, вдвоем с Роем возился, выпрямляя радиоантенну. Рой уселся в пилотское кресло и стал говорить в микрофон: «M'aidez, m'aidez, m'aidez! Я, VLI (позывные нашей «Сесснь»), потерпел аварию примерно в трех милях к юго-юго-востоку от водопада Мэрчисон. Никто не пострадал, никто не пострадал. Ждем наземной помощи». И так много раз подряд. Ответа не было.

Кустарник вокруг нас рос тощий, но такой густой, что за несколько шагов в любом направлении уже ничего не было видно. Из зарослей стали доноситься шорохи, шелест веток. Эрнест решил, что надо подняться из долины реки на вершину гряды, вдоль которой просматривались на фоне неба телеграфные столбы. Прихватив кое-какие пожитки, мы начали медленно подниматься в гору, Эрнест нес ящик с бутылками и консервами, а я волокла фотоснаряжение и аппараты. Пройдя часть пути, сделали привал и откупорили бутылку пива. Когда Эрнест передавал ее мне, я уронила ее, и половина драгоценной влаги вылилась. Помню, как я, потрясенная, но заторможенная, смотрела на льющуюся пенную струю, вместо того чтобы сразу наклониться и поднять бутылку. Эрнест сдержался и не обругал меня, но я знала, что он взбешен.

Пройдя в гору с четверть мили от останков нашего самолетика, мы вышли на ровную, утрамбованную песча-

¹Помогите, помогите, помогите! (искаж. фр.)

ную площадку под осыпанным боком небольшого холмика, увенчанного одиноким деревцем. Вполне подходящее место для лагеря, решили мы. Крокодилы и бегемоты так далеко от воды не заберутся. Эрнест послушал мне сердце, опять попытался пощупать пульс, но не смог его найти и велел мне лечь. Я растянулась на плаще, брошенном прямо на твердый песок. Мы признались друг другу, что все трое страдаем от жажды, отчасти, наверно, от перевозбуждения и от того, что пришлось подниматься по жаре и солнцепеку в гору, но также еще, конечно, и потому, что знали, как мал наш запас воды. Передавая по кругу помятый армейский котелок Роя, мы немного обмочили языки.

Рой, продираясь среди скал и колючек и далеко обходя пасущихся на склоне слонов, раз десять спускался к самолету и подымался обратно, а Эрнест в это время стоял на песчаном холмике и кричал ему, где находятся слоны. Снизу каждый раз еле слышно доносился голос Роя: «M'aidez, m'aidez, m'aidez! Самолет совершил вынужденную посадку, ждем прибытия поисковых партий». И каждый раз, возвращаясь, он приносил с собой еще что-нибудь полезное, например, галлонную жестяную канистру воды с легким привкусом и запахом бензина и с несколькими радужными нефтяными пятнами на поверхности, но тем не менее пришедшуюся очень кстати. (Мы могли брать воду из реки, но она годилась только в кипяченом виде, и надо было найти для кипячения подходящий сосуд, а с этим пришлось потерпеть до утра.) Кроме того, Рой принес виски, о существовании которого мы совершенно забыли, дрова и в последнюю ходку — пластиковые чехлы от сидений «Сесснь».

Всякий раз как я пробовала принять участие в сборе дров, мое сердце начинало колотиться как сумасшедшее, и я со страху снова валилась навзничь. Эрнест один ишарил в поисках дров всю окрестность — на ночь их надо было заготовить довольно большую кучу — но я никогда прежде не видела, чтобы он так осторожно наклонялся и чтобы куча дров под его руками росла так медленно. Впрочем, мы не унывали.

— Непредусмотренная возможность переночевать на свежем воздухе, — с довольной улыбкой говорил Эрнест.

— А мы-то дураки зачем-то спали в палатках, — отзывалась я.

— Сложим на ночь индейский костер, как в Мичигане, — потирал руки Эрнест.

— И как в Миннесоте, — добавляла я.

Когда я стала сетовать, что у меня нет ночного крема для лица, Рой предложил сбегать еще раз и принести из самолета машинного масла, заверяя, что у него «здоровая, чистая машина».

Эрнест восхищенно любовался слонами и бегемотами, которые принимали вечерние ванны на том берегу реки, и оплакивал свой погибший бинокль. Судя по шуму, животные резвились и на нашем берегу, но за деревьями и кустами нам не было их видно.

«Помню, как менялся цвет воды в реке», — записала я спустя несколько дней.

Сначала она была ярко-синей, и в ней бултыхались и фыркали бегемоты, потом поголубела, потом засеребрилась под жемчужным небом, когда зашло солнце, и наконец стала серо-стальной. Последние отблески заката осветили желтую траву справа от нас на высоком склоне. Встал Юпитер. За ним, сверкая в прозрачном воздухе, возшел Орион.

Рой набрал охапки высокой травы для подстилки и ножом Эрнеста выкопал и разровнял ему место рядом со мною. Мы пили виски, разбавленное водой с легкой примесью бензина, и Рой подал на обед консервированную говяжью тушенку на обломках хлеба. Я обедала в постели.

«Засыпая, я видела перед индейским костром черные силуэты: Эрнеста и Роя», — записала я. Под теплой синей вязаной кофтой, снизу защищенная от сырости непромокаемым плащом, я чувствовала себя вполне уютно и радовалась, что в моих бельгийских туфлях можно даже спать, настолько они удобны, и к тому же греют ноги. Но я беспокоилась за Роя: он был в одной рубашке и в шортах, и ему нечем было утеплиться, а ночь становилась все холоднее. А какой жесткой и холодной стала постепенно моя постель, несмотря на травяную подстилку!

Папа похлопал меня по животу и сказал, чтобы я сегодня постаралась не храпеть, а то храп привлекает слонов. Я не поверила и погрузилась в сон, но слышала, как он говорил мне на ухо, что справа от нас слоны в двенадцати шагах, а слева — в двадцати.

Когда, вся закоченев, я часов в пять продрала глаза, то увидела, что Рой бродит вокруг и собирает топливо, а Эрнест, двигаясь тяжело и неловко, переговаривается с Роем и раздувает прогоревший костер. Оказалось, что я лежу строго с севера на юг, потому что Большая Медведица на предрассветном небе опустила свой ковш прямо у меня над ступнями. Я отхлебнула воды, затянулась несколько раз сигаретой и опять заснула, радуясь тому, что

сердце мое при движении уже не так сильно колотится, как накануне.

Проснувшись во второй раз, я увидела, что Рой собрался вниз с чехлами от самолетных сидений, он хотел выложить из них стрелу, указывающую от водопада на наш лагерь. Эрнест дал мне на завтрак ломтик сыру и два маленьких банана, и еще я с удовольствием напилась из крышки термоса давно скисшим кофе с молоком (хватило бы на двоих, но Эрнест сделал мне подарок: уступил мне свою порцию).

Пока длился мой завтрак в постели, Эрнест продолжал собирать дрова, и было видно, что он страдает от боли, главным образом, справа, в плече и руке. Подойдя с охапкой прутьев к костру, он сказал:

— Снизу по реке идет пароход.

Невероятно. Мы же знали, что на озере Альберта регулярного пароходного движения нет. Но через десять минут я тоже его увидела: он двигался, белый, неправдоподобный и тем не менее реальный. Мы замахали руками. Потом Эрнест принялся размахивать плащом. И я тоже. С палубы никакого ответа. Но не могло же нам обоим все это примерещиться.

Я хотела броситься бегом к берегу — потому что пароход тем временем пристал к старым дощатым мосткам, чуть не под самым водопадом. Эрнест уже начал было спускаться, но вернулся обратно, он сказал, что между нами и рекой пасутся слоны и ветер дует от нас в их сторону. Без ружья и вообще какого-либо оружия он чувствует себя перед этими животными совершенно незащитным. Я в отчаянье смотрела, как маленькие человеческие фигурки сходят с парохода и исчезают за деревьями. Неужели нельзя как-нибудь обойти слонов и спуститься к реке, прежде чем пароход отчалил от пристани и уйдет? Но Эрнест условился с Роем, который ушел выкладывать посадочный знак, что будет ждать его в лагере, и велел мне выкинуть из головы мысль о спуске в одиночку.

И тут мы увидели, что к нам с северной стороны по ту сторону обрывистого оврага подымается несколько африканцев. Мы помахали им, и они, как-то перебравшись через овраг, подошли туда, где мы находились. Мой рассказ об упавшем n'dege они выслушали с недоверием — то-то пригодились мои скудные познания в языке суахили! Я сказала, что могу отвести их к самолету, и они с радостью согласились проводить меня до парохода, заверив Эрнеста, что не дадут меня в обиду слонам.

Эрнест остался наверху и указывал нам оттуда, где слоны, а я медленно пошла вниз в сопровождении пяти

или шести африканцев. Оказалось, что это — экипаж парохода, они увидели наш лагерь с воды и отправились разузнать, что бы это значило? Пароход был арендован мистером Йаном Мак-Адамом, врачом из Кампалы (откуда до Энтеббе рукой подать!), который совершал поездку к живописному водопаду Мэрчисон в обществе жены и сына, а также родителей жены, отмечавших свою золотую свадьбу. Мистер и миссис Мак-Адам с сыном отправились по лесной тропе в гору — полюбоваться водопадом сверху, и я изложила наши проблемы капитану-индийцу. Он очень сомневался, что сможет взять нас на пароход. Это было бы не по правилам. У него частный фрахт. И вообще, билеты на пароход продаются в Бутиабе, на восточном берегу озера Альберта, там расположена касса и контора пароходной компании. А на наши сигналы с горы он действительно не ответил, так как подумал, что там просто веселые подвыпившие туристы. Словом, он не вправе принять на борт безбилетных пассажиров. В Бутиабе из-за этого могут поставить под сомнение его распорядительность и даже его служебное соответствие. Как я жалела, что у меня нет ружья или хотя бы шляпной булавки!

Но родители миссис Мак-Адам приняли меня лобезно и выразили надежду, что дело можно будет как-то уладить. Мадам писала акварельный пейзаж в нежной английской манере, и я громогласно восхитилась ее работой, предварительно извинившись за вторжение.

Доктора с женой ждали обратно не раньше чем через полчаса, а пока я пошла к месту нашего падения, чтобы сделать снимки самолета с погнутым пропеллером и обломанным хвостом. Меня сопровождали члены пароходной команды, и я предложила пять шиллингов тому, кто найдет среди обломков мою коричневую кожаную сумку. Один из них залез под брюхо «Сесснь», вытащил сумку и сказал:

— М'унгу (Бог) сохранил ваши жизни и теперь дал мне пять шиллингов.

Вместе с Мак-Адамами спустился с горы Рой, и тогда нескольких матросов послали за Эрнестом. Потом мы узнали, что, пробираясь к реке, мы спугнули пасшихся на склоне слонов, и они оспаривали у Эрнеста верхушку песчаного холма, покуда их не отогнало появление матросов африканцев. Вообще, как нам объяснили, слоны отличают запах чернокожих людей и не так враждебно на него реагируют, как на запах белых. Капитан-индиец получил с Эрнеста полную плату за проезд, и только после этого пароход наконец отчалил. Миссис Мак-Адам проводила

меня в ванную комнату и предоставила в мое распоряжение свою коробку с тальковой пудрой, я приняла душ, а перед обедом доктор Мак-Адам осмотрел меня и не нашел никаких повреждений, кроме нескольких треснувших ребер. Сердцебиение, как он сказал, было просто последствием шока. Эрнест сидел в кресле, смиренный и нахолившийся, но осмотреть себя не просил, а доктор сам своих услуг не предложил.

Плавание по реке оказалось удивительно интересным, мы почти не возвышались над поверхностью воды, а вдоль берегов кормились семьи, группы, стада слонов, крокодилов и бегемотов, и они разевали на нас свои огромные, ярко-розовые пасти. Пароход «Мэрчисон», как выяснилось, был тем самым, которым пользовался Джон Хьюстон со съемочной группой, когда делал фильм «Царица Африки». Жили они, правда, на другом пароходе, колесном, но «Мэрчисон» осуществлял связь между местом натуральных съемок и Бутиабой. Как я узнала от капитана, его фрахт обходится в 500 шиллингов (71 доллар) за сутки и на нем можно плавать по всему озеру и впадающим рекам. Неплохо было бы на нем порыбачить, с кормы, я заметила, вполне удобно спустить удочки с наживкой.

Был тихий январский день, озеро Альберта лежало спокойно. Ближе к вечеру, на подходе к Бутиабе, над нами появился самолет. Мы помахали ему с верхней палубы, и он описал несколько кругов. А когда мы вышли на пристань в Бутиабе, нас уже ждали там пилот этого самолета Реджи Картрайт и мистер Вильямс, полицейский офицер из Масинди, административного центра всего района и ближайшей железнодорожной станции. Мистер Картрайт во что бы то ни стало хотел немедленно посадить нас к себе в самолет и лететь в Энтеббе, где посадочное поле достаточно хорошо освещено и можно сесть после наступления темноты. Меня же манила мысль переночевать на месте, в маленькой Бутиабе, а возврат в объятия цивилизации отложить до утра. Но мистеру Картрайту не терпелось предъявить нас посланцам прессы, ожидающим в Энтеббе. И к тому же, мистер Вильямс объяснил, что гостиницы в Бутиабе нет.

Вильямс отвез нас за город, где находилась взлетная площадка, которой пользовались во время съемок «Царицы Африки». Потом ее забросили и перепахали. В сгущающихся сумерках можно еще было разглядеть старые борозды. На краю площадки стоял древний биплан «Де Хэвиланд Рапид» с парусиновым фюзеляжем на деревянном каркасе. «Рапиды» тогда очень ценились в Восточной

Африке, так как им требовалось для разбега и посадки совсем небольшое пространство.

Мистер Картрайт проехался по летному полю на полицейском грузовике и объявил, что можно разогнаться. Быстро темнело. Мы стали второпях грузиться, окруженные кольцом туземцев из соседней деревни, которые наблюдали за нами и давали советы. Рой уселся на переднем сиденье справа, я — за ним, Эрнест — напротив через проход, а три свободных задних сиденья завалили нашим имуществом. Мистер Картрайт запустил мотор, даже не продувая, и мы понеслись по полю, вскидывая хвост на рытвинах, оторвались было на миг от земли, снова присели, опять подпрыгнули, словно кузнечик, и так, подпрыгивая и дергая хвостом, покатали по полю дальше. Я сидела и безрадостно жевала черствый бутерброд с ветчиной. И вдруг — удар, треск, хруст, грохот. Самолет остановился! Снаружи у меня за окном запрыгали языки пламени. Я немисливо долго провозилась, отстегивая незнакомой конструкции ремни.

Эрнест сказал:

— Открой дверцу.

В отсветах пламени я углядела дверную ручку в стене слева. Но открыть дверь мне оказалось не под силу — хотя она и была из цельного металлического листа, но дверная рама перекосилась. И сколько я ни наваливалась всей тяжестью, пренебрегая большими ребрами, сколько ни пинала мягкими бельгийскими подошвами — дверь не открывалась.

Рой прошел вперед, разбил окно и позвал меня. Эрнест, заменивший меня в сражении с заклинившей дверью, крикнул:

— Лезь за Роем!

Я колебалась. Но Рой настойчиво звал меня, я побежала по проходу и помогла ему просунуться через окно головой вперед. Картрайт все еще сидел на пилотском месте, хотя кабину сзади уже лизало пламя. Я взгромоздилась на окно и пролезла наружу вперед ногами, попутно прикидывая, что Эрнесту здесь не протиснуться. Внизу меня поймал Рой и потащил бегом в наветренную сторону от самолета, с минуты на минуту, как я думала, грозящего взорваться.

Через двадцать шагов мы оглянулись и увидели Эрнеста — он шел по нижнему левому крылу. Когда мы отбежали еще на тридцать шагов, на месте самолета уже полыхал настоящий костер, от него отбегал Картрайт, а Эрнест, освещенный пламенем, стоял справа на краю поля. Удостоверившись, что не может открыть дверь само-

лета никакими усилиями уже разбитых мышц и костей, он решил действовать головой как тараном, получил сотрясение мозга, но избегнул участи сгореть заживо. Теперь он подошел и торжественно поцеловал меня в лоб. Туземцы, окружавшие нас при начале разбега, с громкими возгласами разомкнули свой хоровод и, издавая нечто наподобие жизнерадостного погребального воя, побежали к нам. Они обступили нас со всех сторон, пожимали нам руки, громко вопили:

— М'унгу, М'унгу! М'коно! (Бог! Бог! В руке Божией!)

В пляшущих отблесках пожара Рой вывел меня из толпы и проводил к подъехавшему полицейскому грузовику. Следом подошел Эрнест, и мы вернулись к стартовой точке нашего разгона, где милостивая миссис Вильямс наполнила нас горячим черным кофе. Эрнесту непременно хотелось послушать, как будут взрываться в огне бутылки с пивом и джином, но взрывов так и не было — или мы их не расслышали. Устроившись на заднем сиденье в машине Вильямсов и крепко держась за руки, мы пустились обратно в Масинди. Я чувствовала себя довольно подавленно, а Эрнест болтал с женой Вильямса о политике, племенных делах и урожае, словно в гостях за чашкой чая. В чем мы сейчас больше всего нуждались, так это в бодрящем глотке чего-нибудь крепкого. Но выпить ничего не было.

В грязном баре на железнодорожной станции нас шумно приветствовала группа летчиков, которые весь день нас разыскивали, а также местные завсегдатаи и мистер Мак-Адам, который всем поставил выпивку, а мне купил пачку сигарет. Оказывается, радиопризывов Роя о помощи никто не слышал, но один летчик Британской авиакомпании «Аргонавт», летевший из Энтеббе в Рим, заметил упавшую «Сесну» и сообщил ее местонахождение. Мистер Мак-Адам мельком оглядел рану на голове Эрнеста, сказал:

— Ничего серьезного, старина, царапина. Давайте зальем джином, — что и было проделано.

Поскольку привокзальная столовая была уже закрыта, мы остались без ужина, ели втроем с Роем бутерброды у нас в комнате и подбивали итоги. (Картрайт куда-то незаметно испарился.) Обратились в пепел все документы Роя, включая пилотские права и паспорт «Сеснь». Обратились в пепел и все наши бумаги — паспорта, деньги, банковские книжки. Сгорели оба фотоаппарата. Усталость наша была такой, что мы только сверху немного обмыли кровь и грязь и кое-как улеглись. Эрнест все вре-

мя кашлял. Ночью я захотела встать — и так громко вскрикнула от неожиданной боли в колене, что поневоле разбудила Эрнеста. Под самым окном выли гиены, должно быть, привлеченные запахом нашей запекшейся крови. Утром оказалось, что у Эрнеста вся подушка пропиталась сукровицей.

Позже появился городской доктор-африканец с медицинской сестрой и немного привел нас в порядок — наложил повязку Эрнесту на загноившуюся рану над левым ухом, слегка промыл порезы у него на ногах, а также мое колено, которое я, по-видимому, раскроила, когда самолет с разбега неожиданно остановился. Накануне вечером, 24 января, в воскресенье, вокзальный телеграфист ни за что не согласился принять у нас телеграммы. Запрещено правилами. Только в понедельник удалось наконец отправить успокоительную телеграмму моим родителям.

Индиец-управляющий привокзальной гостиницей дал нам денег под мою расписку, и Рой улетел в Энтеббе, договорившись с вокзальным начальством, что железная дорога выделит автомобиль с шофером и доставит нас туда наземным путем. Ехали мы в относительном комфорте, разглядывая в окна небольшие фермы, выращивающие хлопок и юкку, и любуясь красотой и статностью местных жителей. Но когда с проселка на дорогу неожиданно выехал погонщик с телегой и нам пришлось резко отвернуть в сторону, Эрнест со стоном сказал, что не может больше слышать скрежета металла.

В Энтеббе в вестибюле гостиницы Эрнеста ждали представители Кенийской гражданской авиации, а также толпа репортеров. Я поднялась в номер и легла в постель, а Эрнест еще долго разговаривал сначала с чиновниками, а потом с газетчиками, сочинив в оправдание Рою, что якобы на «Сессну» налетела стая цапель, в результате чего машина потеряла управление. Живописал он и нашу попытку взлететь на «Рапиде». Когда он наконец появился в номере, вид у него был довольно никудышный. Он пожаловался на жажду. Но, подкрепившись несколькими рюмками, мы почувствовали себя в силах спуститься к ужину.

«Энтеббе, вторник, 26 января 1954 года. Я все утро пролежала в постели, а Папа был на ногах и занимался чтением прибывающих отовсюду телеграмм... Многие просят собственноручного описания событий, а один лондонский издатель сообщил, что перевел на адрес местного правительства 300 фунтов стерлингов аванса. Пришло любезное послание от губернатора Кона, в котором он, между прочим, говорит, чтобы мы не приезжали, как бы-

ло условлено, на торжественный ужин в губернаторский дворец, если чувствуем себя недостаточно хорошо.

Около полудня на зафрахтованном самолете из Дар-эс-Салама прилетел Патрик и привез толстые пачки денег — «шикарное прибытие сына пред очи отца», как сказал Эрнест.

После обеда мы оба легли отдыхать, но, к сожалению, у нас не было никакого чтива, кроме забытой мною в номере книги про Бельгийское Конго. Папа явно чувствует себя неважно. Он полночи лежал без сна и не находил себе места, хотя и старался не производить шума».

Прошло двое суток после второй выпавшей на нашу долю аварии, а мы оба все еще были безумно взбудоражены тем, что остались живы, и не могли хладнокровно заняться полученными увечьями и приступить к лечению. Я не представляла себе, как сильно пострадал Эрнест. Он не имел обыкновения жаловаться и ничего не говорил мне о своих ощущениях, и хотя кое-какие его раны мне были известны, но только спустя месяцы, уже в Венеции, был составлен полный список: компрессионный перелом двух позвонков, разрыв печени и одной почки, паралич сфинктера, вывих правого плеча и проникающая рана черепа.

Рой Марш улетел регулярным рейсом Восточно-Африканской авиакомпании в Найроби, с тем чтобы приобрести для нас и перегнать в Энтеббе новый самолет, Эрнест пока отдыхал и читал телеграммы, а мы с Патриком и его деньгами рыскали по всем индийским лавочкам между Энтеббе и Кампалой и делали покупки. Я нашла для Эрнеста голубой свитер и соломенную корзинку вместо сумочки — для себя. Но недомогание Эрнеста не проходило.

Чтобы подчеркнуть свое доверие Рою как пилоту, Эрнест 28 января полетел с ним из Энтеббе в Найроби на новой «Сессне». Там было место и для меня с Патриком, но я, при всем старании, не могла себя заставить присоединиться к этой демонстрации. Как ни верила я Рою и как тепло к нему ни относилась, но я бы скорее пошла за триста миль в Найроби пешком, если бы не было другого выбора, но в самолет не полезла. Однако через сутки я собралась с духом и на рейсовом самолете Восточно-Африканской компании под надзором Патрика прилетела в Найроби.

ИЗ КНИГИ «ПАПА ХЕМИНГУЭЙ»

Гавана, 1951—1953

Ранней осенью 1952 года Эрнест попросил меня прилететь в Гавану, чтобы обсудить претенциозный телесценарий, предложенный одной из студий. Я был удивлен, обнаружив, что Эрнест опять работает над новой книгой — я впервые оказался в Финке, когда он писал, и перемена в нем была поразительная. Утренние часы работы соблюдались строжайшим образом. Дверь его спальни была недоступна до часу дня, когда он появлялся и делал коктейль, чтобы освежиться перед завтраком. Потягивая коктейль, он читал газеты и журналы, так как, по его словам, для разговоров он был слишком опустошен. Вставая для работы в 5—6 утра, после полудня он дремал, но к вечеру был готов для выпивки в приятной компании. Однако к концу обеда он погружался в себя, обращаясь к творческим проблемам следующего утра, и к тому моменту, когда он шел спать — всегда очень рано в период работы, — он уже знал людей, события, места и даже некоторые диалоги, которые он напишет завтра утром <...>

Венеция, 1954

Портье «Гритти-Палас» уже ждал меня, когда я вышел из темноты венецианского вокзала на сверкающую набережную по-дневному людного Большого Канала.

— Как доехали? — спросил он, приподняв за козырек кепи и улыбаясь.

— Неплохо.

— Сеньор Хемингуэй ждет вас в отеле.

— Как он?

— В прекрасном расположении духа.

— А как же катастрофа? Он в порядке?

— Кажется, он получил несколько ушибов, но он человек крепкий и, как всегда, весел.

Он погрузил мои чемоданы на катер, принадлежавший «Гритти», и, пока мы ехали по каналу, я стоял на корме, глядя назад, и сравнивал — насколько этот приезд в Венецию отличается от предыдущего. Четыре года прошло с той первой поездки в Венецию с романом «За рекой, в тени деревьев».

В отличие от тех прекрасных дней, которые были окрашены нашим триумфом в Париже, этот приезд был сравнительно грустным. Эрнест прибыл сюда несколькими днями раньше на пароходе «Африка» после череды драматических событий в густых джунглях возле водопада Мэрчисон-Фоллиз в Уганде. По телефону Эрнест признался, что был ранен гораздо серьезнее, чем об этом было известно. Он попал в две катастрофы, из которых первая была менее серьезна, чем вторая, но именно первая привела ко всеобщему трауру и некрологам, которые потом сменились радостью и даже недоверием, когда Эрнест неожиданно вынырнул из джунглей в Бугиаве (газетчики писали, что он нес гроздь бананов и бутылку джина, но Эрнест отвергал столь изящный вариант своего спасения). Столпившимся журналистам, которые примчались, чтобы взять у него интервью, он сказал:

— Удача со мной неразлучна.

Но через несколько часов удача отвернулась от него. Спасательный самолет «Хэвиленд Рапид», посланный, чтобы доставить Хэмингуэв на их базу в Кении, разбился на обратном пути и загорелся. Эта катастрофа оставила на Эрнесте свои следы.

Я узнал, что он в Венеции, из телеграммы, которую получил в Голландии, где готовил статью о скандале в королевской семье — королева Юлиана призналась, что вела дела, руководствуясь предсказаниями гадалки, которая жила у нее во дворце.

В телеграмме Эрнест просил позвонить ему в «Гритти». Сквозь помехи и треск международной телефонной линии голос Эрнеста звучал на удивление твердо и бодро.

— Как долго вы собираетесь кружиться вокруг этого дворца? — спросил он.

— Похоже, я впал в немилость, — ответил я, — гвардейцы начали наставлять на меня оружие, когда я появляюсь. Это не кажется вам недружелюбным?

— Да. Я думаю, вы должны бросить скорее королевскую жизнь и приехать сюда. Нужно, чтобы вы убедились,

что в Венеции ничего не стряслось с тех пор, как мы уехали отсюда. Я собираюсь в ближайшее время в Мадрид встречать Мэри и думаю, что и вы не прочь прокатиться. У меня замечательная «ланчия» и шофер, который может гнать ее, а может и не гнать. Я предпочитаю ехать помедленнее, раз у нас полно времени до феири Сан-Исидро в Мадриде. Я мог бы поехать и один, но меня здорово покалечило в этих самолетах, которые рушатся по всей Африке. Мы скрыли это от прессы, но пожар во втором самолете наградил меня прободением почки и обычными внутренними разрывами; к тому же у меня сотрясение мозга, двоится в глазах и так далее. Левый глаз теперь совсем не действует, а ко всему прочему загорелся кустарник на берегу, и я должен был его тушить и сильно обжег левую руку, а так как я чувствовал себя хуже, чем делал вид, я упал и подпалил живот, ноги и предплечья. Гениталии в порядке. Но, Хотч, все сейчас так ненадежно! В довершение ко всем этим неприятностям, я взялся написать 15 000 слов для журнала «Люк». Мне не хочется выглядеть больным, но я уверен, что, если вы присоединитесь ко мне в этой поездке, меня бы это порадовало.

Катер причалил возле «Гритти», когда-то palazzo итальянских королей, а теперь — в высшей степени элегантного отеля, в котором всегда останавливался в Венеции Эрнест. Когда я вошел в его номер, он читал, сидя в кресле возле окна, белый теннисный козырек прикрывал ему глаза. На нем был мятый шерстяной купальный халат и кожаный ремень с надписью «Gott mit uns»¹.

Я задержался в дверях, пораженный его видом. Последний раз я видел его в Нью-Йорке осенью 1953-го, незадолго до того, как он уехал в Африку. Меня поразило, как он постарел за эти 5 месяцев. То, что осталось от его волос (почти все сторели), из пегих стало седым, так же, как и его борода. Он, казалось, стал как-то меньше, то есть не физически меньше, но как-то утратилось ощущение его массивности.

За столом в углу комнаты сидел худой человек с ястребиным лицом, который делал вырезки из газет. Эрнест увидел меня и широко улыбнулся:

— Хотч! Черт побери, как я рад видеть вас! — Он снял свой козырек. — Помогите-ка мне.

Я протянул ему руку, и он медленно, морщась от боли, поднялся с кресла.

— Мне кажется, что я выплываю откуда-то из глубины, — сказал он. Когда он прочно встал на ноги, мы по-

¹ С нами Бог (нем.).

испански поздоровались — левая рука вокруг плеч другого — и похлопали друг друга по спине.

— Я надеюсь, я не оторвал вас от работы.

— Нет, — ответил я, — вы вырвали меня из лап несчастной судьбы.

Мы еще поболтали, и, по мере того как привычная бодрость и энергия возвращались к нему, моя тревога утихла.

— Папа, — сказал я, — я чертовски рад видеть вас на ногах. В те дни, когда все газеты только и печатали сообщения о вашей смерти, я начал сомневаться в солидности вашей фирмы. <...>

— Зато теперь у нас есть похоронное агентство.

Он подвел меня к человеку с ястребиным лицом, которого представил как Адамо, первоклассного шофера, которому также принадлежит знаменитое похоронное агентство в Удине. Адамо, кажется, все свое время проводил за просматриванием газет из самых разных стран, вырезая некрологи об Эрнесте, которые появились после катастрофы, и складывал их в специальный альбом. Эрнест рассказывал, что получил массу удовольствия, читая сообщения о своей смерти, и что его новая маленькая слабость — это утренний ритуал, состоящий из стакана шампанского и нескольких страниц некрологов. В доказательство того, что это — прелюбопытное чтиво, Эрнест показал мне вырезку из немецкой газеты, где сообщалось, что трагическая катастрофа — просто исполнение желания Эрнеста. Статья соотносила страшный конец Эрнеста с метафизическим леопардом, которого он поместил на вершине горы Килиманджаро в своем рассказе «Снега Килиманджаро».

Ривьера, 1954

Мы ехали через Альпы, двигаясь строго на север, к французской границе. Эрнест потягивал из бутылки вино «валполицелла», но, когда мы добрались до Канео, альпийского городка с населением 25 000 человек, он решил купить бутылку шотландского виски. Девушка в винном магазине попросила у Эрнеста автограф, и к тому моменту, когда он вышел из магазина, весть об его приезде облетела весь городок, и, прежде чем Эрнест успел сесть в машину, он был окружен внезапно появившимися горожанами. Они атаковали книжный магазин, который был как раз рядом с винным, и мгновенно раскупили все имев-

шиеся в наличии книги Хэмингуэя, а за компанию и все остальные книги на английском языке. Эрнест подписывал все, от «Время страстей человеческих» до кулинарного справочника. Толпа напирала, и он вынужден был отступить, чтобы его не раздавили. Я пытался прикрыть Эрнеста, но толпа напирала. Возникла очень опасная ситуация, и я не знаю, что случилось бы с Эрнестом, и без того израненным, если бы не появился небольшой отряд местных солдат и не помог ему пройти к машине.

Эрнест был потрясен. Адамо рванул с места машину, а Эрнест выпил хорошую порцию виски, чтобы успокоиться.

— Такие операции просто бросают меня в дрожь, — сказал он, — все эта проклятая борода; мало того, что меня могли задавить, так я еще боялся, что какой-нибудь подлец влезет мне в карман. Только и радости, что стянул чью-то шариковую ручку. <...>

— Раньше я жил приятной частной жизнью, мне было чем гордиться, никакой тебе рекламы, а теперь я чувствую себя так, словно кто-то оправился в моей личной жизни, подтерся роскошной мелованной бумагой и оставил все это у меня. Я должен уехать в Африку или чаще уходить в море. Я теперь не могу даже пойти в бар «Флоридита», не могу поехать в Кохимар. Не могу оставаться дома. Все это очень действует на нервы, Хотч. Я знаю, что в чем-то я сам виноват, но в чем-то и нет. Если бы у меня было хоть немного мозгов, то, когда мисс Мэри благополучно спаслась, я должен был остаться после той второй катастрофы в Бутиабе. Во всяком случае, именно об этом я думаю, после того, как эта толпа в Кунео чуть не растерзала меня.

Мадрид, 1954

В Сан-Себастьяне, нашей первой остановке в Испании по пути в Мадрид, Эрнест искал какое-то кафе, название которого он забыл (это был один из немногих случаев за время нашего знакомства, когда память подвела Эрнеста в такой мелочи. У него не было никаких записных книжек и дневников, но его феноменальная память сохраняла места, имена, даты, события, цвета, наряды, запахи и тех, кто выиграл в 1925 году шестидневный велосипедный заезд на ипподроме).

Эрнест так старался разыскать это кафе, потому что

это был единственный способ встретиться с его старым другом Хуанито Кинтаной, которого он описал в «Смерти после полудня», как одного из самых знаменитых знатоков боя быков в Испании. Кинтана до гражданской войны был скромным импресарио в Памплоне, где он ведал аренной для боя быков и владел гостиницей. Но Франко лишил его всего этого и вверг в сословие попрошайек, которое в Испании перенасыщено. Поскольку Хуанито был его старым товарищем, Эрнест оставался верен ему и каждый месяц посылал пенсию, как и еще нескольким старым испанским друзьям.

В конце концов мы нашли Хуанито, невысокого, улыбающегося, излишне румяного человека, которому бы следовало обратиться к дантисту.

Он быстро подхватил свои пожитки и присоединился к нам в нашем путешествии на юг.

В северном городе Бургосе Эрнест попросил Адамо остановиться возле храма, который считается одним из самых больших в Испании. — Если вы видите где-то большой храм, знайте — это страна, где выращивают пшеницу, — сказал Эрнест. С моей помощью он по-черепащью вылез из машины и стал медленно подниматься по ступеням храма, ставя обе ноги на каждой ступеньке. Он коснулся святой воды и вошел в темное, пустынное помещение, его мокасины едва слышно ступали по каменному полу. На мгновение он остановился возле алтаря, его серая военная куртка, седые волосы и очки в стальной оправе придавали ему сходство с монахом. Потом он преклонил колени и положил голову на сцепленные руки. Так он простоял несколько минут.

После, спускаясь по ступеням храма, он сказал:

— Иногда мне хочется быть более прилежным католиком. <...>

Мы зашли выпить в «Cerveceria Alemana»¹ на П्लाца Санта-Ана, излюбленное место встреч матадоров и импресарио корриды, и многие подходили поприветствовать Эрнеста. Мы пили пиво и ели чудесных креветок и лангустов. Потом Эрнест заказал абсент. Его глаза опять стали желтыми. Он стал рассказывать о том, что происходило в Мадриде во время войны, и я спросил, в какой степени «По ком звонит колокол» соответствует реальным событиям.

— Гораздо меньше, чем можно подумать. Действительно взорвали мост, и я видел это. Взрыв поезда, кото-

¹ Немецкая пивная (исп.).

рый описан в книге, тоже был на самом деле. И я не раз проникал через линию фронта в Сеговию, где добывал много сведений о действиях фашистов и сообщал их нашему командованию. Но люди и события созданы совокупностью моего опыта, ощущений и надежд. Когда Пиллар вспоминает, что случилось в их деревне после прихода фашистов, то имеется в виду Ронда, и описание города соответствует истине.

У всех хороших книг есть одно общее свойство — они правдивее того, что случилось на самом деле. Прочитав одну из них, чувствуешь, что все, описанное там, действительно случилось — случилось с тобой и принадлежит тебе навеки: счастье и несчастье, хорошее и дурное, страсть и смирение, еда, вино, амуры, люди и погода. Если ты можешь дать это ощущение читателю, ты писатель. Это я пытался передать в «По ком звонит колокол».

В самом конце войны, когда дела республиканцев были совсем плохи, я вырвался на время в Штаты, чтобы добыть денег. Когда я вернулся, я встретил польского генерала, который тогда был командующим и которого я очень уважал. Я спросил его, как дела. «А как поживает миссис Хемингуэй?» — был его ответ.

Французский полковник, ворвавшись на командный пункт, кричал: «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Летят фашистские самолеты. Скажите, что должен делать я и мои солдаты?» Генерал ответил: «Вы можете пойти и построить высокую башню, чтобы лучше их разглядеть».

Это было примерно в то время, когда Дос Пассос наконец приехал в Испанию. Он все время находился в Париже, писал мне письма, горячо поддерживая наше дело, но теперь он сообщил, что вот-вот присоединится к нам, и мы очень ждали его приезда, потому что умирали с голоду, а он должен был привезти еду. Дос приехал с четырьмя плитками шоколада и четырьмя апельсинами. Мы чуть не убили его.

У него в Париже осталась жена, и по приезде он передал Сиднею Франклину телеграмму для нее и попросил отнести в цензуру. Цензор вызвал меня. Он хотел узнать, не шифровка ли это. Я попросил его прочитать телеграмму. В ней было: «Детка, скоро увидимся». Я сказал цензору: «Нет, это не шифровка. Это просто значит, что мистер Дос Пассос пробудет у нас недолго».

Дос в Мадриде все время искал своего переводчика. Мы все знали, что он расстрелян, но ни у кого не хватало решимости сказать это Досу, который думал, что переводчик в тюрьме, и обходил их одну за другой, просмат-

ривая списки заключенных. Наконец я ему сказал. Я никогда не встречал этого переводчика и не видел, как его расстреляли, но так говорили. Дос посмотрел на меня так, будто это я расстрелял переводчика. Я не мог поверить в перемену, происшедшую в нем с тех пор, как мы виделись в последний раз в Париже. После первой же бомбардировки отеля, в котором он жил, Дос собрался и возвратился назад во Францию. Конечно, мы чертовски боялись во время войны, но не из-за такой ерунды, как несколько бомб, попавших в наш отель. Разбито было всего две-три комнаты. Я в конце концов сообразил, что все дело в том, что Дос разжился деньгами и впервые стал дорожить собственным здоровьем. Страх смерти возрастает прямо пропорционально богатству. Хемингуэй Закон динамики страха. <...>

Говоря о Марте, Хемингуэй вспомнил, как они спали в постели, когда началось землетрясение и кровать поехала. Он рассказывал, что Марта толкнула его в бок и сказала: «Эрнест, перестань, пожалуйста, вертеться!» В этот момент, вспоминал Эрнест, кувшин упал со стола и разбился, потом на них обрушилась крыша, и он был полностью оправдан.

— Марта была самая честолюбивая женщина из всех, живших когда бы то ни было на свете, и была всегда готова мчаться куда-то, чтобы освещать чужие войны для «Колльерса». Она была помещана на гигиене. Ее отец был врачом, так что она старалась сделать наш дом похожим на больницу. Никаких тебе голов животных: как бы красивы они ни были, потому что это негигиенично. Ее друзья по журналу «Тайм» приезжали на Финку в плотных шерстяных костюмах, чтобы целомудренно и пристойно играть в теннис. Играли и мои партнеры по пелоте, но без соблюдения приличий. Они могли броситься в бассейн все потные, не приняв предварительно душ, потому что, как они говорили, только педерасты принимают душ. Зачастую они могли приехать с фургоном льда, вывалить его в бассейн и играть там в водное поло. Так начались ссоры между мисс Мартой и мной. Мои приятели по пелоте оскорбляли ее знакомых по журналу «Тайм». <...>

В первый день ферики лил такой дождь, что бой быков был отменен. В качестве компенсации мы заказали выпивку в баре «Палас», в этом центре мадридских интриг, где каждая женщина выглядит как удачливая шпионка.

В погожие дни мы посмотрели несколько хороших по суждению Эрнеста боев, во второй половине дня почти всегда было пасмурно и ветрено, что очень огорчало Эрнеста.

— Лучший матадор — солнце, — говорил он, — когда погода пасмурная — это как спектакль без освещения. Злейший враг матадора — ветер.

Ему очень понравилось выступление невысокого, очень смелого матадора, которого звали Чикуэло Второй («Хотя теперь уже не принято ударять быка по носу, чтобы раззадорить его»), Эрнест восхищался также мастерством матадора по имени Кортега.

— Он проскальзывает над рогами, ни на что не опираясь. Но его столько раз бодали, что можно было подумать, что у него там внутри все из стали и нейлона.

Эрнест все еще страдал от своих ран, и, хотя он и перестал жаловаться, думаю, что боли мучили его. Наконец он пошел к доктору Мадиноветиа, своему старому другу и одному из ведущих врачей Мадрида, который сказал ему:

— Ты должен был умереть немедленно после авиакатастрофы. Поскольку ты не умер, то должен был погибнуть в пожаре. Ты должен был умереть и в Венеции. Но раз ты все еще жив, ты и не умрешь, если будешь хорошим парнем и станешь соблюдать то, что я тебе скажу.

Он прописал Эрнесту строгую диету и ограничил выпивку двумя коктейлями в день и двумя стаканами вина за едой.

Гавана, 1954—1955

28 октября было объявлено решение Шведской академии о присуждении Нобелевской премии: «За блестящие достижения в области стиля современной прозы, проявившиеся совсем недавно в «Старике и море»... Ранние работы Хемингуэя были полны жестокости, грубости, цинизма, что не отвечает требованиям Нобелевской премии: разработке идеальных тенденций. Но, с другой стороны, его книги полны героизма, что является основой его бесстрашия, мужской любви к опасностям и приключениям, восхищения перед каждым, кто мужественно сражается в этом мире».

Эрнест оправдывал свое отсутствие на церемонии в Стокгольме последствиями авиакатастрофы, но, даже если бы он был здоров, я сильно сомневаюсь, что он бы поехал. Эрнест всего несколько раз в жизни бывал

на официальных церемониях из-за своей невероятной застенчивости и страстной ненависти к смокингам.

— Носить нижнее белье, — сказал он мне однажды, — это формальность, к которой я вряд ли когда-нибудь привыкну. — И, насколько я знаю, никогда не носил.

Однако он послал текст речи, произносимой при получении Нобелевской премии, которую зачитал на церемонии в Стокгольме посол США Джон М. Кэбот:

«Члены Шведской академии, дамы и господа!

Не будучи мастером произносить речи, не искушенный в риторике и ораторском искусстве, я хочу поблагодарить за эту премию тех, кто распоряжается щедрым даром Альфреда Нобеля.

Всякий писатель, знающий, какие великие писатели в прошлом этой премии не получили, принимает ее с чувством смирения. Перечислять этих великих нет нужды — каждый из присутствующих здесь может составить собственный список, сообразуясь со своими знаниями и своей совестью.

Я не считаю возможным просить посла моей родины прочитать речь, в которой писатель высказал бы все, что есть у него на сердце. В том, что человек пишет, могут оказаться мысли, ускользающие при первом восприятии, и бывает, что писатель от этого выигрывает; но рано или поздно мысли эти проступают совершенно отчетливо, и от них-то, а также от степени таланта, которым писатель наделен, зависит, пребудет ли его имя в веках или оно будет забыто.

Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Писательские организации могут скрасить его одиночество, но едва ли повышают качество его работы. Избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред его творчеству. Ибо творит он один, и, если он достаточно хороший писатель, его дело — изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой.

Для настоящего писателя каждая книга должна быть началом, новой попыткой достигнуть чего-то недостижимого. Он должен всегда стремиться к тому, чего еще никто не совершил или что другие до него стремились совершить, но не сумели. Тогда, если очень повезет, он может добиться успеха.

Как просто было бы создавать литературу, если бы для этого требовалось бы всего лишь писать по-новому о том, о чем уже писали, и писали хорошо. Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить столь далеко, за пределы

доступного ему, туда, где никто не может ему помочь.

Ну вот, я уже наговорил слишком много. Все, что писатель имеет сказать людям, он должен писать, а не говорить. Еще раз благодарю».

Ки-Уэст, 1955

Утром 3 июля я прилетел в Майами, где успел на маленький самолет, вылетающий днем в Ки-Уэст, а потом взял такси до улицы Оливия 414 — адрес, который дал мне Эрнест.

Когда такси остановилось, я был уверен, что шофер привез меня не туда. Это была улица грязных, низких домишек, с полуразвалившимися изгородями вдоль тротуаров, за которыми виднелись дворы, заросшие высокими сорняками. Когда Эрнест купил этот участок в 30-е годы, места по соседству были заселены мало, а те несколько домов, которые стояли поблизости, были под стать его собственному. (Фактически у Эрнеста было два дома: большой главный дом и маленький, более современный домик, выстроенный около бассейна.) Но годы были неблагоприятны к соседним домам, теперь перенаселенным и обветшалым, и имение Хемингуэя оказалось оазисом среди запустения. Эрнест не жил здесь с 1940 года, когда развелся с Полиной. После раздела имущества дом стал ее собственностью, и она продолжала жить здесь с их детьми вплоть до своей недавней смерти; тогда имение перешло детям. Но дети не захотели ни жить здесь, ни ухаживать за домом. Так что имение перешло Эрнесту, который старался сохранить для детей доходы с него и занимался связанными с этим вопросами. Домик возле бассейна не был в это время сдан, и Эрнест, помимо того, что он страстно хотел вырваться из Финки Вихии, приехал, чтобы разобраться с денежными проблемами и найти хорошего агента по недвижимости, который бы помог сдать дешезный дом.

У меня был адрес этого домика возле бассейна, и, когда я постучал, никто не отозвался. Я внес чемодан и стал звать хозяев, но вокруг никого не было видно.

Это был двухэтажный дом. Первый этаж состоял из кухни, через которую я вошел, маленькой спальни с одной кроватью и большой, с высоким потолком гостиной, обставленной со вкусом и фантазией. Битком набитые книжные шкафы высились от пола до потолка. Пол был красиво отделан плиткой, комната выходила на очаровательную террасу, возле которой был бассейн, окруженный зелеными,

цветущими экзотическими цветами, тропическими растениями и деревьями. К стене дома примыкала металлическая винтовая лестница — единственный вход на второй этаж, где, как я полагал, находилась спальня хозяина.

Была вторая половина дня, стояла сильная жара, но в гостиной с закрытыми ставнями, плиточным полом, плетеной мебелью и прохладной аллеей перед окнами было очень приятно. Я догадался, что у Эрнеста и Мэри сейчас сиеста. Около шести часов я услышал шаги, спускающиеся по спиральной лестнице, и мгновение спустя Эрнест в плавках вошел в комнату.

Он несколько располнел, особенно в талии. Волосы и седая борода поредели. На его лице виднелись следы шелушения, которые всегда беспокоили его. Достаточно было небольшого раздражения, чтоб кожа начала шелушиться, как от солнечного ожога. Это было одной из причин, по которой он много лет назад отпустил бороду — чтобы прикрыть свою кожу и не раздражать ее бритьем. Эрнест всегда называл это раком кожи, но это был его собственный диагноз, а не медицинское заключение.

Он выглядел постаревшим. На его лице появились морщины, которых я не видел раньше, особенно вертикальные — между глаз. Раньше он ходил легко, наступая на пальцы ног, теперь же наступал на всю стопу, тщательно оберегая правую ногу.

Эрнест устроил меня в маленькой спальне, а потом мы вместе пошли купаться в очень теплой, соленой коричневой воде, производившей впечатление серной ванны. Эрнест входил в бассейн осторожно, несколько раз останавливаясь на ступеньках, чтобы побрызгать на себя водой. Он плыл брассом, очень медленно, держа голову над водой, без особых усилий двигая ногами и вяло раздвигая воду руками. Когда он доплывал до края бассейна, он останавливался и отдыхал по несколько минут. Через некоторое время Мэри спустилась и присоединилась к нам.

После, переодевшись в сухое, мы пили коктейли на террасе, и Эрнест стал жаловаться, что в часы сиесты им овладевает какая-то вялость. <...>

Сапароса, 1956

Я собирался пожить в Риме и именно там получил известие от Хемингуэя, который как раз приехал тогда в Па-

риж. Он собирался ехать в Мадрид на «ланчии», большей, чем предыдущая, на которой мы ехали из Италии. Он хотел знать, не захочу ли я присоединиться к нему, чтобы вместе с ним отправиться на ферию в Сарагосе, где выступал молодой матадор Антонио Ордоньес, который так поразил Эрнеста в 1954 году.

Мы встретились в «Гранд Отеле» в Сарагосе за день до начала ферии.

Сарагоса находится на севере Испании, в 323 километрах севернее Мадрида. Это малопривлекательный перенаселенный индустриальный город, с самым, пожалуй, неприхотливым во всем христианском мире храмом — это выщербленное, квадратное, похожее на крепость сооружение, озаряемое по ночам опоясывающей его неоновой отделкой, а изнутри напоминающее зал ожидания на сверхурбанизированном вокзале в Чикаго. «Гранд Отель», лучшая гостиница в городе, вероятно, была создана тем же гением архитектуры.

Я сидел в холле, когда вошел Эрнест. Казалось, за те несколько месяцев, что я его не видел, он обрел прежнюю бодрость, хотя лицо его и было изборождено глубокими морщинами. Он улыбнулся мне и, когда пошел мне навстречу, я заметил, что он опять, как когда-то, ступает на носки ног. Мы отправились в бар выпить, и он рассказывал о своем путешествии из Парижа.

— Мы остановились в Логроньо и посмотрели два боя. Антонио был великолепен, Жирон очень хорош, а мексиканец по имени Хоселито Уэрта совершил самый потрясающий по зрелищности и разнообразию и самый чистый фенз, какой я когда-либо видел. Они с Жираном посвятили своих быков нам и выложили их рядком. Уэрта отрезал оба уха, хвост и ногу на шумной площади, где у них обычно происходят бои быков. Антонио хочет посвятить мне лучшего быка, которого победит здесь, в Сарагосе, и действительно так сделает. Мы много времени проводили вместе, он чудесный, неиспорченный парень. Боже, как он умеет сражаться с быком! У него есть три качества, чтобы стать великим матадором: отвага, огромное мастерство и изящество в присутствии смерти.

Мне было радостно снова слышать энтузиазм в его голосе — подавленность, владевшая им в Ки-Уэст, прошла — и видеть, как он ждет предстоящей ферии, с таким же предвкушением, как ждал всю свою жизнь новых событий.

Я надеялся, что та первая ночь, когда Эрнест досиделся до закрытия бара, будет исключением, но этого не случилось. Он напивался каждую ночь шотландским виски

или красным вином и был совсем плох, когда соглашался наконец идти к себе в номер. Он не обращал внимания на то, что всегда привлекало его: юные пары, веселые девушки, дешевые кафе, фейерверк, уличный карнавал, — предпочитая часами сидеть, как прикованный, в окружении одного или нескольких слушателей, почти не обращая по-настоящему внимания, кто они, и разговаривал сначала связно, но, по мере того как алкоголь действовал на его сознание, он начинал повторяться, его речь становилась невнятной и бестолковой.

Всю жизнь по утрам он бывал полон энергии, теперь же тихо за чаем с газетой пробуждался к жизни. Эрнест смеялся над собой, когда я заходил к нему.

— Я слегка притомился, — говорил он. — Прошлой ночью сражался пять раундов с бесом по имени Бутылка и в конце концов уложил его.

Выпитая с утра текила или водка частично восстанавливала его силы ко времени ленча, обильного, как это ему нравилось, и он опять был в форме к началу боя быков. И в каком бы состоянии он ни находился — в хорошем или в плохом, — он получал огромное удовольствие от боя быков.

— Однажды я сказал Скотту, — говорил он, — что я представляю себе тот свет в виде арены для боя быков, где у меня два постоянных места у барьера, а рядом протекает ручей с форелями, в котором мне и моим друзьям можно ловить рыбу. Я и сейчас вижу тот свет таким. <...>

Отель «Филипп II» расположен на холмах Эскуриала, с него открывается золотая панорама, простирающаяся до самого Мадрида: золотые пшеничные поля, золотые осенние деревья и обветренные крыши, позолоченные испанским золотом. Для Эрнеста «Филипп II» стал крепостью, где он был «надежно защищен». Гойя был архитектором, Веласкес — садовником здешних пейзажей. Вы стояли на балконе своего номера и вдыхали всей грудью горный воздух, чистый и пронзительно холодный, как вода в стремительном ручье; внизу простирается долина, издали доносится пение рабочих, обтесывающих камни для строительства домов; орлы, соколы, любопытные аисты снуют то вверх, то вниз, их широкие крылья плавно и устойчиво парят в воздухе. Есть старая испанская поговорка: «Ветер с Эскуриала не задует свечу, но может убить человека».

Эрнест присоединился ко мне на балконе и прислушивался теперь к грохоту падающих вдали камней. Много

ниже нас, в маленьком городке Эскуриале, в школе кончились занятия, и детские крики поднимались к нам, легкие, как древесный дым.

— Вы могли бы приобрести здесь дом на средства, полученные от акций электрической компании в Уэстпорте, — сказал Эрнест.

Тут он вскинул руку, словно прицелившись из ружья, и повел ею вслед за кружившим над нами ястребом.

— Я всегда отлично здесь себя чувствую. Словно попал на небеса при самых благоприятных обстоятельствах. В таких условиях невозможно волноваться о чем-либо. И чувствуешь себя в безопасности из-за здепшей поговорки: «Человек с бородой никогда не умрет с голода».

Первые дни в «Филиппе II» Эрнест был деятелен и полон жизни, хотя все так же много пил по вечерам. Большая часть его деятельности сосредоточивалась на подготовке сафари с Антонио, для чего требовалось послать множество телеграмм в Эберкромби и в Кению.

В один из дней по заказу Эрнеста отель организовал для нас пикник, и мы забрались высоко в горы Эскуриала, в те места, где разворачивалось действие романа «По ком звонит колокол». Эрнест показал мне холодный горный ручей, где Пилар мыла ноги, пещеру, где обитал отряд Пабло, мост, теперь вновь отстроенный, ставший центром повествования. Мост был выше и шире, и выглядел более неприступным, чем я себе представлял. Мы прошли по нему, и Эрнест показывал, где на самом деле происходили описанные им события. На одном конце моста был маленький каменный домик, разрушенный артиллерийским огнем республиканцев.

Мы устроили пикник у ручья Пилар, окруженного великолепными соснами, а потом поехали к расположенному неподалеку древнему городу Сеговия, также описанному в «По ком звонит колокол». Достопримечательность этого города — внушающий благоговение римский акведук, безупречно отремонтированный, возвышающийся над городом, замощенным древними булыжниками.

Эрнест купил у старого знакомого охотника четырех куропаток и лотерейные билеты у слепого, пытавшегося всучить их служителям в «Филиппе II». Эрнест всегда был очень внимателен к тем, кто обслуживал его в отеле. В «Филиппе II» был мальчик-рассыльный, который мечтал стать матадором, и Эрнест уже купил ему двух двухлетних быков, чтобы тот мог тренироваться с ними.

Кухня в «Филиппе II» была самая заурядная, так что мы часто обедали в Мадриде, который находился в 32 минутах пути от нас. Мы обычно ели в «Эль Каллехоне», в

шумном, темноватом, размером с пульмановский вагон, ресторане без окон, где была неважная атмосфера, зато отличная кухня.

Эрнест пробовал то, что было на наших тарелках, но сам строго соблюдал диету, исключавшую пиво, крахмал, мясо; он разрешал себе рыбу, салаты, овощи и телячьи потроха, как и виски, без ограничений. Я так никогда и не мог понять, сам он придумал эту диету или она была назначена врачом. <...>

Эрнест любил Прадо. Он входил в него как в собор. Великое искусство всегда занимало огромное место в его жизни. Эрнест говорил, например, что научился описывать ландшафт, изучая пейзажи Сезанна, Моне и Гогена в Люксембургском музее. В Прадо находятся те картины, которые Эрнест любил больше всего.

Иногда Эрнест приходил в музей не посмотреть экспозицию вообще, а только какие-то конкретные картины. Иногда отправлялся только для того, чтобы посмотреть одну картину и сразу уйти. Он мог пройти через всю комнату Тициана, не глянув ни на одну картину, кроме той, единственной, которую хотел увидеть, и потом стоял около этой картины, растворяясь в ней, столько, сколько требовало его настроение.

Однажды мне случилось быть с ним в Академии изящных искусств, когда он двадцать минут стоял возле «Праздника в доме Леви» Веронезе. В другой раз мы пошли в музей импрессионистов в Париже смотреть Сезанна. Эрнест сказал, что это было целью его жизни — писать так же хорошо, как нарисована эта картина. — Я еще этого не достиг, — сказал он, — но мало-помалу приближаюсь.

Он много знал о художниках, творчество которых любил, благодаря тому что поразительно много читал, этому способствовало его собственное чувство формы и цвета, его знакомство с людьми и с местами, изображенными на картинах, а в отношении таких художников, как Миро, Пикассо, Матисс, Брак, Грис, Массон и Моне, проникновение в их внутренний мир, в их устремления, их жизненную философию.

Эрнест всегда старался выделить главное в картине, как он это называл, «чистую эмоцию», истинную сущность, которой хотел добиться художник. Он сравнивал сложность задачи художника с тем, что он делал как писатель, так же борясь за то, чтобы добиться чистой эмоции, с той лишь, однако, разницей, что «у художников есть

все их замечательные краски, в то время как я изображаю все на машинке или карандашом, имея в своем распоряжении лишь черный и белый цвет».

В тот день он взял меня с собой в Прадо посмотреть некоторые работы Босха, Веласкеса, Эль Греко и Гойи, особенно большую картину Гойи, на которой изображена королевская семья Карлоса IV.

— Можно ли гениальнее выразить свое отвращение? — спрашивал Эрнест. — Смотрите, как он словно плюнул на каждое лицо. Каким же нужно было быть гением, чтобы осуществить свой замысел и одновременно угодить королю, который из-за своей тупости не мог разглядеть, какой печатью отметил его Гойя, выставив на обозрение перед всем миром. Гойя верил в движение, в свою внутреннюю силу, во все то, что он когда-либо испытал и прочувствовал. Нельзя смотреть Гойю, если ты равнодушный человек.

Когда мы уходили, Эрнест спросил, не хочу ли я посмотреть на девушку, которую он любил дольше, чем любую другую женщину в своей жизни. Он увел меня из главного зала в маленькую комнату, где эта девушка поджидала его: «Портрет женщины» Андреа дель Сарто. Он постоял поодаль, пока я рассматривал ее, затем подошел ко мне. Эрнест слегка улыбнулся, его глаза были полны гордости. Он глубоко вздохнул и, отведя взгляд, сказал:

— Моя красавица.

Он стоял неподвижно, так углубившись в грезы об этой девушке XVI века, что служительно пришлось тронуть его за руку и дважды повторить, что музей закрывается. <...>

Кетчум, 1958

Осенью 1958 года Эрнест решил вернуться на американский Дальний Запад, где он не был около 10 лет. Место, которое он выбрал, называлось Кетчум, в штате Айдахо, небольшой городок, в котором было 764 жителя, расположенный у подножья горного хребта Сотут, в одной миле от лыжного курорта в Сан-Вэлли. Эрнест однажды катался здесь на лыжах, но с этим было давно покончено — с тех пор когда его алюминиевая коленная чашечка перестала выносить такие нагрузки.

Теперь Эрнест нанял меблированный коттедж у семьи Гейсов, намереваясь побродить по красивым, знакомым горным склонам в поисках мест для охоты. Поскольку в этих

местах водились голуби, венгерские куропатки, фазаны, дикие утки, дикие гуси, зайцы, олени и медведи, Эрнест знал, что у него будет чем занять себя. Кроме того, в Кетчуме у него были друзья, которых он знал уже 30 лет.

В ноябре того года я работал над телефильмом «По ком звонит колокол», и Эрнест предложил, чтобы я приехал посмотреть его новые места и обсудить волновавшие меня вопросы инсценировки. К тому же он сказал, что у него есть новый важный план, который он не хочет обсуждать по телефону.

Легче было добраться до Гонконга, чем до Кетчума. Вы летите до Чикаго, где ждете «Портленд Роуз», единственный приличный поезд, который идет один раз в день в направлении Кетчума.

Самое удивительное, что Сан-Вэлли, возникающая на горной гряде благодаря железной дороге Миссури — Пасифик, расположена в 90 милях от ближайшей станции, которая находится в городе Шошон. И проехать эти 90 миль можно либо на лимузине из Сан-Вэлли, который функционирует только во время лыжного сезона, с декабря по март, или на такси (36 долларов), которое было единственным и которое нелегко было заполучить в охотничий сезон, так как владелец предпочитал проводить время с ружьем в руках, а не за рулем. К счастью, когда я приехал, такси вместе с хозяином как раз возвращалось с охоты на индеек.

Я очень замерз, пока мы доехали по заснеженным полям до Кетчума, картинно красивого городка, словно убавленного в ущелье среди гор. Я забросил свои вещи в комнату, которую заказал для меня Эрнест в мотеле «Эделвейс», в пяти минутах ходьбы от домика Гейсов, симпатичного шале.

Эрнест увидел меня, когда я шел по дорожке, и вышел навстречу. На нем были высокие, до колен, кожаные ботинки на шнуровке, штаны в стиле «вестерн», козья куртка без рукавов поверх шотландской рубашки. Выглядел он отлично.

Внутри в шестифутовом очаге горели березовые дрова. В углу стояли и лежали ружья, патроны, чехлы для ружей и охотничьи сумки, на крюках — одежда для охоты, на полу — медвежья шкура, лосиные головы, полка с винными бутылками, груда книг и журналов и запах тихонько булькающего жаркого из дичи. Два котенка пристроились на диване. Стоило Эрнесту прожить три дня где угодно, и создавалось впечатление, что он живет здесь годы.

Я не мог поверить в его метаморфозу. Он стал подтянут, вялость прошла, он снова улыбался, глаза были яс-

ными, голос звенел по-прежнему, он словно сбросил 10 лет. Он вновь был полон энтузиазма и планов.

Эрнест повел меня в гараж показать свои крылатые трофеи. Он рассказывал об охоте, которую уготовил для нас. Он хвалил Мэри за хорошую стрельбу и за то, как она готовила дичь, которую они подстрелили. Эрнест предвкушал, как будет знакомить меня со своими друзьями. Он увел меня в спальню, чтобы прочитать «прекрасную главу», которую написал в то утро. Это и вправду была чудесная глава, лирическое воспоминание о тех днях, которые он провел в молодости в Париже с Хэдди.

Во время последней поездки в Париж Эрнест обнаружил в подвале отеля «Ритц» старый чемодан, в котором были тетради, где он писал об этих парижских днях двадцатых годов, и он спросил меня, что я думаю о книге коротких эссе, вроде этого, которое я только что прочел. Я был безусловно за. Эрнест сказал, что Мэри тоже.

Все следующие дни Эрнест работал каждое утро и почти каждый день после полудня охотился. Я стрелял по мишеням и тарелкам, но мне так и не удалось подстрелить дичь, а Эрнест, как всегда, получал удовольствие, обучая меня своим секретным приемам. <...>

Когда мы поехали в Пикабо охотиться на фазанов, Эрнест стал изучать местность, расставляя нас, подавая сигналы руками, как будто мы патруль за линией фронта. В стороне от Хейли он как-то заметил на поле остатки засохшей кукурузы, которую стал просматривать с величайшей осторожностью, поскольку с нами не было собак. Нас он расставил по углам поля и наказал с некоторыми интервалами двигаться к центру поля.

Наш маневр заставил невидимых, прижимающихся к земле фазанов скапливаться в центре поля. И, когда мы наконец сошлись, не будучи уверены, что здесь есть что-то, они неожиданно взлетели, словно какая-то парящая фазановая завеса. Мы все выстрелили дуплетом, а Эрнест перезарядил ружье и подстрелил еще одну пару, которая кружила рядом. <...>

Однажды Эрнест ранил большого белоснежного филина, сидевшего высоко на дереве. Он попал ему в крыло. Подняв птицу, Эрнест исследовал рану.

— Будьте осторожны, когда держите филина, — сказал он. — Однажды я неправильно держал филина, и он вцепил-

ся мне в живот всеми своими когтями и не отпускал. Птица с характером.

В гараже Эрнест устроил для филина жилье. Он подобрал коробку, которую обил и выстлал своей охотничьей одеждой, и нашел палочку для насеста. Филин с этого момента стал в доме диктатором. Прежде всего было уделено особое внимание его пропитанию. Эрнест каждую ночь ставил мышеловку, чтобы у филина был свежий завтрак. В полдень ему давали готовых уток и кроликов, потому что Эрнест говорил, что птице необходимы в качестве грубой пищи шерсть и перья.

Я спросил у Эрнеста, зачем он его подстрелил.

— Хочу обучать его. Может, приучу его думать, что он сокол.

Филин, благодаря своей удивительной мудрости, стал домашним арбитром. Однажды вечером, например, между Эрнестом и Мэри начиналась ссора по поводу того, насколько свеж кусок лосиной печени, который она собиралась приготовить. Все его нюхали, но так и не пришли к единому мнению, причем Мэри была твердо уверена в своей правоте, а Эрнест был решительно с ней не согласен. Он вынул свой швейцарский офицерский кинжал и, отрезав кусок печени, предложил его филину. Филин не притронулся к нему.

— Филин знает лучше нас, что свежее, а что — нет, — сказал Эрнест, и печень отдала кошкам.

Филин и Эрнест стали большими друзьями. Эрнест часто разговаривал с ним, посадив себе на руку, и только однажды филин рассердился и попытался клюнуть его в палец. Когда мы возвращались откуда-нибудь в нашу хижину, Эрнест, прежде чем идти домой, заглядывал проведать филина. Конечно, когда крыло филина стало подживать и он смог передвигаться, всю дичь, которая висела в гараже, пришлось вынести. <...>

В разгар наших кетчумских развлечений случилось злое событие, которое Эрнест замыслил примерно в то время, когда я приехал, и продолжал думать о нем все время.

В Хейли, в 12 милях от нас, была католическая церковь, настоятелем которой был некий отец О'Коннор, удивительно обаятельный человек. Он посетил Эрнеста вскоре после его приезда, и после этого визита Эрнест дал столь необходимые деньги на оплату новой кровли для церкви. Эрнест справедливо полагал, что это освободит его на год от необходимости заниматься благотворительностью, но через месяц отец О'Коннор вновь обратился к нему с просьбой, выполнить которую Эрнесту было несо-

измеримо труднее, чем предоставить крупную сумму: приехать в приходскую церковь и побеседовать с сорока подростками-старшеклассниками, которые собирались там каждую неделю.

Эрнест был ошеломлен и по-настоящему испугался, он пытался сопротивляться, но отец О'Коннор в конце концов уговорил его не произносить речь, а только отвечать на вопросы. Эрнест каждый день кипел от злости:

— Почему человек, который дает деньги на крышу, должен еще произносить речь?

— Ты вообще не должен произносить речь, солнышко, — пыталась увещевать его Мэри, — только отвечать на вопросы.

— Когда стоишь перед людьми и говоришь, это называется произносить речь.

Единственно известный мне случай, когда Эрнест появился перед аудиторией и произнес речь, был в 1937 году, когда он выступал на II Конгрессе американских писателей в Карнеги-Холл после своего возвращения с гражданской войны в Испании. Конечно, случалось, что журналисты изредка посещали его группами, но он понимал их и мог говорить с ними, не заботясь о стиле, и это было нечто другое. Теперь же предстояло официальное мероприятие, связанное с пребыванием в приходской церкви, под руководством священника, и Эрнест все время раздражался по этому поводу. Он беспокоился о своем голосе, который обязательно сорвется, боялся, что не может говорить на доступном для подростков уровне, беспокоился, что они знают его произведения лучше, чем он сам.

— Я не читал своего собрания сочинений с тех пор, как оно издано — и не собираюсь.

Когда настал условленный день, разразилась снежная буря и дороги были труднопроходимыми. Пока я ехал по обледенелой дороге, Эрнест сидел тихо, глядя вперед и ничего не говоря. Приехав в Хейли, мы отправились в «Санг-Бар», место, где Эрнест обычно выпивал. Я спросил его, хочет ли он выпить, прежде чем услышит церковную музыку, но он ответил, что нет, ему предстоит серьезный разговор.

Присутствовало примерно поровну мальчиков и девочек, в среднем по 16 лет. Они напряженно сидели на складных стульях и выглядели такими же испуганными и стесненными, как и сам Эрнест, когда он вошел. Отец О'Коннор предложил Эрнесту сесть и попросил чувствовать себя непринужденно. Через несколько минут стало ясно, что у Эрнеста и ребят все складывается отлично.

Мэри попросила меня делать заметки, потому что была простужена и не могла поехать с нами. Эрнест проверил записи на следующий день и внес некоторые дополнения и исправления.

Вот как проходила встреча с подростками:

В. Мистер Хемингуэй, когда вы начали писать книги?

О. Я всегда стремился писать. Начал с заметок в школьной газете. Первая моя самостоятельная работа тоже была связана с журналистикой. После окончания средней школы я поехал в Канзас-Сити и стал сотрудником газеты «Стар». Это была обычная репортерская работа. Кто кого застрелил? Кто совершил ограбление и где именно? Где? Когда? Как? О причинах событий — почему? — мы не писали никогда.

В. Хочу спросить о книге «По ком звонит колокол». Я знаю, что вы были в Испании, но что вы там делали?

О. Я поехал туда как корреспондент североамериканского газетного объединения, чтобы писать о гражданской войне, к тому же захватил с собой несколько санитарных машин для республиканцев.

В. Когда вы начинаете писать книгу, скажем «Старик и море», как у вас возникает ее замысел?

О. Я слышал о человеке, с которым случилась подобная история с рыбой. И вот я взял человека, которого знаю уже двадцать лет, и представил его себе в таких же обстоятельствах.

В. Как вы создали свой собственный стиль? Вы имели в виду коммерческий успех — спрос у публики?

О. Я стремился возможно полно описывать жизнь такой, как она есть. Подчас это было очень трудно, я и писал коряво, вот эту мою корявость и назвали моим собственным стилем. Все мои ошибки и шероховатости очень легко заменить, но их назвали моим стилем.

В. Сколько времени вам требуется для того, чтобы написать книгу?

О. Это зависит от книги и от того, как идет работа. Хорошая книга пишется примерно года полтора.

В. Сколько часов в день вы посвящаете работе?

О. Я встаю в шесть и стараюсь не работать позже двенадцати.

В. Двенадцати ночи?

О. Нет, двенадцати дня.

В. Случалось вам испытывать неудачу?

О. Неудачи встречаются ежедневно, если работа не ладится. Неудач не бывает, только когда начинаешь писать впервые. Тогда все написанное представляется замечательным, и чувствуешь себя прекрасно. Кажется, что пи-

сать легко, и делаешь это с большим удовольствием. Но думаешь о себе, а не о читателе. Ему твои писания особого удовольствия не доставят. Позже, когда научишься писать для читателя, писательский труд больше не кажется легким. В конце концов от любой вещи остается в памяти ощущение того, как трудно было ее писать.

В. Когда вы были молоды и только начинали писать, вы боялись критики?

О. Бояться было нечего. Вначале я ничего не зарабатывал своими сочинениями. Просто писал как умел. Был уверен, что пишу как надо. И если кому-нибудь не нравились мои произведения, меня это не касалось. Я знал, что потом мои книги научатся ценить по-настоящему. Критика меня не замечала, я с ней практически не сталкивался. Когда делаешь первые шаги в литературе, тебя не замечают. Это счастливый удел начинающих.

В. Случается ли вам предвидеть заранее неудачу?

О. Если предвидеть неудачу заранее, она тебя постигнет. Конечно, отдаешь себе отчет в том, что произойдет в случае неудачи, и стараешься ее избежать. Разумный человек не может поступать иначе. Но, берясь за любое дело, обычно не думаешь о неудаче заранее.

В. Случалось ли вам подвергаться запугиванию в связи с тем, что вы писали или собирались написать?

О. Как же, мне не раз грозили смертью после выхода моих книг.

В. Составляете ли вы заранее план всей книги или делаете только предварительные заметки?

О. Ни то и ни другое, я просто начинаю писать. Художественное произведение — это фантазия на основе тех знаний, которыми располагаешь. Если придумаешь хорошо, получается более убедительно, чем когда пытаешься воссоздать факты по памяти. Если бы беллетристы не занялись в свое время художественной литературой, из них бы вышли отличные выдумщики.

В. Сколько книг вы написали?

О. Кажется, тридцать. Это не очень много. Но я долго работаю над каждой книгой. К тому же не пишу непрерывно и часто оставляю работу, чтобы заняться чем-нибудь для своего удовольствия. Кроме того, было слишком много войн, и я надолго отрывался от литературной работы.

В. О вашей книге «Прощай, оружие!». Сколько лет или месяцев вы ее писали?

О. Я начал писать ее зимой в Париже, ранней весной продолжал работу на Кубе и в Ки-Уэст во Флориде, а потом в Пиготе в Арканзасе, где тогда жили родители моей жены; потом мы переехали в Канзас-Сити, где ро-

дился один из наших сыновей. Закончил я роман осенью в Бигхорне, штат Вайоминг. Первый вариант я написал за восемь месяцев, пять месяцев переписывал заново. Всего тринадцать месяцев.

В. Случалось ли вам разочаровываться в написанном и бросать работу над начатой книгой?

О. Иногда разочаровывался, но никогда не бросал работу. Деваться-то некуда! От работы можно убежать, но скрыться от нее нельзя.

В. Ставите ли вы своих героев в безвыходное положение?

О. Стараюсь не ставить, в противном случае можно и самому остаться не у дел.

В. У вас много рассказов об Африке. Почему вы так любите этот континент?

О. Есть страны, которые нравятся, другие — терпеть не можешь. Мне нравится Африка. Здесь, в Айдахо, есть места, которые напоминают Африку и Испанию. Вот почему здесь поселилось так много басков.

В. Много ли вы читаете?

О. Да, я все время что-нибудь читаю. После рабочего дня не хочется думать о написанном, и я принимаюсь за чтение.

В. Изучаете ли вы людей, с которыми сталкиваетесь, чтобы сделать их персонажами своих книг?

О. Я не стремлюсь выискивать людей специально для этой цели. Как правило, я оказываюсь там, куда меня забрасывает жизнь. Есть вещи, которые делаешь потому, что так хочется, другие приходится делать потому, что так нужно. И в том и в другом случае жизнь сталкивает с людьми, о которых потом пишешь.

В. Вам нравятся кинофильмы, сделанные по вашим книгам?

О. Как правило, они отвратительны. Единственный из голливудских фильмов, который мне понравился, — это «Убийць». Остальные я не смог досмотреть до конца, за исключением «Старика и моря». Эту картину снимали под моим наблюдением.

В. Что натолкнуло вас написать «Прощай, оружие!»?

О. Юношей я попал в Италию, там меня захлестнула война.

В. Вы ходите в кино?

О. Да, я видел много фильмов. Из картин последнего времени мне больше всего понравились «Мост через реку Квай» и «Вокруг света в 80 дней». Действие фильма «Вокруг света...» развивается поначалу неинтересно и медленно, но потом начинаешь ощущать одну его удивительную

особенность — он становится похожим на мечту. Это неповторимое ощущение может вызвать только хороший фильм.

В. Вы видели фильм «Прощай, оружие!»?

О. Последний?

В. Да, тот, в котором играет Рок Хадсон.

О. Нет, но насколько мне известно, постановщики издали роман.

В. Вы предоставили им права на экранизацию?

О. У меня никто не спрашивал разрешения на съемку этого фильма. Я не получал за него никаких денег.

В. После того, как книга написана, вы перечитываете ее?

О. Сегодня я перечитал и переписал четыре главы. Сначала пишешь будто в запале, как во время спора, потом, успокоившись, вносишь исправления.

В. Сколько времени вы обычно проводите за работой?

О. Не больше шести часов. После этого слишком переутомляешься и начинаешь писать хуже. Когда я пишу книгу, я стараюсь работать каждый день, за исключением воскресенья. В воскресенье я не пишу. В воскресенье ничего не выходит. Иногда я пытался писать в воскресенье, но из этого все равно не получалось ничего хорошего. <...>

В марте 1959 года после окончания монтажа трехчасового телефильма «По ком звонит колокол» с Джейсоном Робардсом, Марией Шелл, Маурин Стаплтон и Эли Уоллаг (он руководил передачей) я возвратился в Кетчум, чтобы принять участие в задуманном Эрнестом автомобильном путешествии в Ки-Уэст. Я планировал довести его до Нового Орлеана, где я поймаю самолет до Голливуда.

За время моего отсутствия Эрнест купил у Дана Топлинга кетчумский дом, вполне современное жилье, которое Топлинг построил на склоне горы. Возле дома протекала чистая Вуд-Ривер, в которой водилось видимо-невидимо форели. Виды изо всех окон были такие, что захватывало дух.

Прежде чем мы уехали из Кетчума в Ки-Уэст, Эрнест освободил филина, который сразу загрустил. Мы отнесли его на то самое высокое дерево, на котором Эрнест подстрелил его, и посадили на ветку, но, когда мы вернулись к машине, филин тоже прилетел туда.

— Может, мы слишком изнежили его, — сказал Эрнест взволнованно, — и он будет сидеть здесь и ждать, пока кто-нибудь не принесет ему его утреннюю мышку, да так и изголодается до смерти.

— Вы не можете взять его назад, Папа, — сказал я, до-

гадываясь, что у него было на уме, — он предан только вам, и я не думаю, чтобы кто-нибудь из ваших друзей, которых он порой клевал, согласится предоставить ему стол и дом.

— Но что я должен делать? Привязать его к дереву?

Эрнест еще раз попытался уговорить филина остаться на дереве, но тот вновь вернулся к машине раньше самого Эрнеста. Так мы и вернулись к дому Эрнеста, а позже мы с Дюком Мак-Малленом, уже без Эрнеста, взяли филина в машину Дюка и отвезли его к дереву. На этот раз он остался.

Маршрут, который наметил Эрнест, вел нас прямо на юг через Неваду и Техас к мексиканской границе и вдоль Рио Гранде от Эль Пасо к Мексиканскому заливу.

Кетчумская машина Эрнеста была слишком разбитой для такого путешествия, и он нанял единственный в городе автомобиль — четырехдверный «шевроле импала».

Мэри приготовила большое количество дичи, и мы упаковали ее в отдельную сумку. То, что предназначалось для постоянного пользования, лежало в салоне в непромокаемом кожаном чемодане, набитом льдом.

Путь через Юту и Неваду мы проделали с шофером; в марте было очень мало машин, и мы ехали со скоростью 80 миль в час по заросшей польной пустынной местности — горы справа и слева, хребет за хребтом — можно было ставить на автоматическое управление.

Эрнест радовался каждому футу пути. Он вспоминал давние автомобильные поездки, азартные игры в городах, через которые проезжали, дальние охотничьи экспедиции, поездки по горным дорогам вдоль волшебной сверкающей вершин. И в каждом городе, который мы проезжали, он вспоминал, как тут все было в добрые донеоновы времена.

Мы завтракали на обочине куропатками или чирками, приготовленными Мэри, и шипящим холодным «Санчерри», а потом, когда я задавал жару «шеви» и он бросался в галоп со скоростью 80 миль в час, Эрнест дремал, уронив голову на грудь.

Автомобиль был любимым средством передвижения Эрнеста, потому что, говорил он, при этом лучше всего можно рассмотреть окрестности, это очень мобильно и позволяет избежать контакта со случайными попутчиками. Внутренность избранной машины — «ланчии», «паккарда» или «шевроле» — всегда бывала забита дождевиками, одеждой, обувью, едой, картами, биноклями, бутылками с вином и крепкими напитками, лекарствами, фотоаппаратами, чашками, журналами, газетами, книга-

ми, портфелями с начатыми рукописями, чемоданами со льдом, стаканами для коктейлей и запасными носками.

В первую очередь мы остановились в «Стокман-отеле» в Элко, в штате Невада, маленьком гостеприимном городке, полном игорных заведений. У Эрнеста была здесь веселая встреча с двумя старыми друзьями, которых он давненько не видел.

На следующий день мы добрались до Лас-Вегаса, где Эрнест никогда не бывал. Джек Энтраггер, хозяин отеля «Санда», пригласил Эрнеста и ждал его, но, когда мы остановились и Эрнест увидел норку, спующую туда-сюда по порталу, он готов был уже идти дальше, если бы Энтраггер не вышел в это время и не увел его в свои апартаменты, находившиеся вдали от основной крепости.

Мы пробыли в Вегасе два дня, и Эрнест прекрасно провел время, играя в маленькую рулетку, смотря эстрадные номера, собирая вокруг себя поклонников в местном коктейль-холле, где он болтал за игрой с Энтраггером и его мальчишками, обсуждал матчи бокса с парой их устроителей, вспоминал битву при Булдже с официантом, который был там в его отряде, беседовал о литературе с красивой девушкой из кордебалета, которая брала уроки английского языка у преподавателя из Техасского университета и прочитала все его книги.

Дорога через Техас от Игл-Пасс до Ларедо и дальше на Корпус-Кристи проходила по сельской местности, сплошь покрытой всевозможными весенними цветами. В Корпус-Кристи мы остановились в красивом современном мотеле «Сан энд Санд», на берегу залива. Зарегистрировав нас, клерк попросил Эрнеста, чтобы тот дал ему автограф для сына. Эрнест согласился. Конечно, пусть только оставит книгу в его почтовом ящике, и он напишет на ней персональное приветствие.

— А как зовут вашего мальчика? — спросил Эрнест.

— Ник Адамс, — ответил клерк.

Эрнест взглянул на него, но ничего не сказал.

На четвертый день мы выехали из Корпус-Кристи очень рано утром, чтобы посмотреть болотных птиц, которыми знамениты эти места, и Эрнест с радостью, оживлением и удовольствием показывал мне цапель, королевских погоньшей, серых песчаных журавлей и оливковых журавлей, лысух и ширококлювок. Полубоовавшись болотными птицами, мы отправились дальше, миновали долину, покрытую прекрасными дикими цветами, и теперь настала очередь Мэри рассказывать об их разнообразии и красоте. Когда мы остановились на ночь в Шато-Чарльз в Луизиане, мы были переполнены впечатлениями от всех этих чудес.

В ночь, когда мы уже подъезжали к Новому Орлеану, Эрнест заговорил о планах на будущее. Его друг, Билл Дэвис, американец, живущий в Испании, которого Эрнест не видел двадцать лет, пригласил его к себе в Малагу. Эрнест склонен был принять его приглашение и обдумывал идею поездки с Антонио на турне боя быков. Тогда он сможет написать дополнение к «Смерти после полудня», чтобы довести повествование до нашего времени. Если он решится предпринять такую поездку, Эрнест приглашал меня присоединиться к нему.

— Это будет отличное лето, — сказал он. — Съездим в Памплону; я накоротке останавливался там в 53-м году, но по-настоящему не был со времени, когда писал «И восходит солнце»; и посетим все фери, где Антонио и Луис Мигель будут драться *тапо а тапо*¹. Возможно, это самый главный сезон боя быков за всю историю Испании.

Когда он встал из-за обеденного стола, Мэри сказала:

— Ну, мне кажется, ты снова становишься старым Папой, не правда ли?

— Ты хочешь сказать: молодым Папой?

— Ты же мне всегда говоришь: «Не теряй доверия к нашей фирме».

— Я никогда не терял, а ты?

— Нет, — сказала Мэри. — Но иногда я немного волновалась.

¹ Один на один (*исп.*).

ХУАН ГОЙТИСОЛО

ВСТРЕЧАЯСЬ С ХЕМИНГУЭЕМ

Это было летом 1959 года. Мы с женой проводили отпуск в Торремолинос вместе с нашей приятельницей Флоранс Мальро, дочерью писателя и нынешнего министра культуры в правительстве де Голля. В один из дней августовской ярмарки в Малаге мы приехали в этот город и решили пойти посмотреть бой быков. В ту пору газеты много писали о пребывании Хемингуэя в Испании, приводили его высказывания по поводу соперничества между двумя знаменитыми тореро — Антонио Ордоньесом и Луисом Мигелем Домингином. Помню, как, подходя к стадиону, моя жена сказала:

— Что, если мы его тут встретим?

Эта мысль показалась мне абсолютно нереальной: программа вечера была малоинтересной — в афише не значилось ни одного громкого имени. Велико же было мое удивление, когда по ту сторону арены, у барьера, я разглядел хорошо знакомую фигуру писателя. Публика его не узнала (в Испании весьма почитают футболистов, тореро, велосипедистов, но отнюдь не писателей), а он, видимо, так же, как и мы, скучал, глядя на неловких молодых тореро. Рядом с ним была какая-то пожилая пара и молодая девушка; мы видели, как время от времени он прикладывался к фляжке с вином.

В тот вечер мы с большим вниманием наблюдали за Хемингуэем, чем за неуклюжими выпадами матадоров, и по окончании корриды ринулись разыскивать его в холле,

но — тщетно. Я уже готов был отчаяться, когда жена сказала:

— Поедем в бар лучшего отеля Малаги. Ручаюсь, что он там.

Несколько минут спустя мы уже были в холле гостиницы и увидели одного из его спутников. Жена подошла и сказала по-английски:

— Мы желали бы поговорить с мистером Хемингуэем.

— Как вас отрекомендовать?

— Скажите, дочь Андре Мальро хочет поздороваться с ним.

Мы знали, что Мальро и Хемингуэй познакомились на войне в Испании. Расчет наш оправдался. Американец, сопровождавший Хемингуэя, провел нас в бар и представил. Хемингуэй частенько бывал не очень любезен с людьми, но на сей раз проявил неожиданную сердечность. С характерной для него прямоотой он обратился к нашей приятельнице:

— Объясните мне одну вещь. Отчего такой умный человек, как ваш отец, мог соблазниться властью? Художник не должен иметь иного честолюбия, кроме творческого.

Мы подсели к его столу, и он представил нас своим друзьям: мистер и миссис Дэвис — американская чета, уже давно обосновавшаяся в Малаге, вот уже несколько недель он пользуется их гостеприимством, и Валери Смит — ирландская девушка, которая два месяца назад приехала, чтобы с ним встретиться, и с тех пор никак не соберется домой. Мы беседовали о быках, о политике, о литературе. Хемингуэй говорил обо всем с великолепным знанием дела, а его осведомленность в испанской литературе — в литературе молодых — меня просто поразила. Старший брат Домингина пересылал ему наши произведения, и, насколько я помню, он отзывался о них с интересом и благожелательностью. Когда кто-то из присутствовавших упомянул имя итальянского писателя Чезаре Павезе, Хемингуэй покачал головой и сказал:

— Хороший был писатель, а вот покончил с собой. Я не понимаю, как может человек покончить с собой.

Много раз, уже после самоубийства Хемингуэя, я задумывался над этой фразой. Произнося эти слова, Хемингуэй, без сомнения, не кривил душою. Но тогда мы истолковали их неверно. Казалось, Хемингуэй боялся поддаться искушению покончить с собой (его отец застрелился сорока лет от роду) и на свой лад боролся с этим искушением: подобно, что ли, солдату, который в разгар боя шепчет заклинание: «А я не боюсь умереть», стараясь придать себе бодрости и надеясь чудом уцелеть. Выражая

свое мнение о Павезе, Хемингуэй словно обращался не к нам, а к себе, — мы были лишь свидетелями его намерения не уступить дьяволу-искусителю. Только два года спустя, после страшного известия о его смерти до меня дошел истинный смысл его фразы. Не знающий усталости боец Хемингуэй пал в борьбе, которая безмолвно происходила в нем самом. Стучайность? Припадок безумия? Нет. Кульминация жизни. Вспышка ружейного выстрела в Солнечной долине удивительным образом осветила вдруг страшное духовное напряжение, определявшее его двойственную судьбу — человека и писателя.

В тот вечер Хемингуэй перевел разговор на другую тему. Говорил о Кубе (где жил в течение последних лет) и о ее революции. Сравнивал народный энтузиазм с тем, что видел в Испании в 1936 году, и сказал, что дело, за которое сражались Фидель и его товарищи из «Движения 26 июля», — большое и справедливое.

— Американское правительство просчиталось, защищая то, что само по себе незащищено, — добавил он.

Мы не заметили, как прошло время, и, когда прощались, Хемингуэй обнял меня и расцеловал обеих моих спутниц, пригласив на завтра к себе. Его приглашение не было простой любезностью — по той сердечности и настойчивости, с какой он снова и снова повторял его, я понял, что он включил нас в узкий круг друзей и впредь готов считать нас полноправными членами «квадрильи» своих почитателей.

Увлеченные разговорами, мы совсем забыли, что наши друзья из Торремолиноса ждут нас к ужину, и явились к ним чуть ли не к полуночи. Мы с волнением ждали следующего дня и нового свидания с Хемингуэем, но неожиданное обстоятельство нарушило наши планы: Антонио Ордоньес, серьезно раненный быком, который поднял его на рога, был отправлен в мадридскую клинику. Хемингуэй тотчас переселился в Мадрид вместе с Валери и супругами Дэвис. В гостинице нам вручили его записку — он извинялся и просил приехать повидаться на ярмарку в Ниме недели через две.

Мы вернулись в Париж. Несколько дней спустя получили от Хемингуэя письмо. Он подробно рассказывал, как произошло несчастье, и сообщал, что тореро скоро поправится. Вновь упоминал о своем намерении поехать на ярмарку в Ним и со своим обычным великодушием предлагал оплатить наши расходы, связанные с поездкой, если с финансами у нас трудновато.

Мы встретились в Ниме накануне корриды. У Хемин-

гуэя, как всегда, была в кармане фляжка с виски, и после поцелуев и дружеских объятий он предложил нам выпить. Он казался утомленным после путешествия, но обед и доброе тавельское вино его приободрили. Вместе с нами за столом сидел Ордоньес и старший брат Домингина. Выходцу из бедной семьи, Ордоньесу так и не пришлось учиться, и, пародируя манеру власть имущих называть молодых тореро по имени их родного города («мальтй из Пальмь», «мальтй из Уэльвь» и т. п.), он называл Шекспира «мальм из Лондона». Меня вновь поразило и порадовало интерес Хемингуэя к нашей молодой литературе.

Ужин прошел очень весело, а потом Хемингуэй пригласил всех нас в свою комнату. Его неразлучная спутница — фляжка с виски — была, как всегда, с ним. Ордоньеса он отправил спать:

— Надо дать ему отдохнуть. Завтрашня коррида много значит для него. После ранения нужно показать публике, что он умеет делать с хорошим быком.

Я помню, мы говорили о быках, и Хемингуэй поделился с нами некоторыми своими мыслями, которые потом развил в репортаже для журнала «Лайф». Манолете он считал типичным образцом плохого тореро, а Домингина, несмотря на свою с ним дружбу, — слишком холодным и рассудочным.

— Единственный тореро, — говорил он, — искусство которого отвечает классическим канонам, — это Ордоньес.

— Что вы разумеете под словом «классик» применительно к профессии тореро? — спросил кто-то из присутствовавших.

— Абсолютное уважение бычьего достоинства, — не задумываясь, ответил Хемингуэй.

На следующий день мы снова встретились — в саду возле отеля. Мы потягивали тавельское, а Ордоньес со своей квадратной раздалой автографы (в глазах его поклонников он был фигурой куда более значительной, чем Хемингуэй, который интересовал публику лишь в качестве друга великого тореро). Неподалеку от нас расположились с полдюжины американок и француженок, кочевавших вслед за своими любимчиками тореро из одного города в другой, на свой лад заполняя пустоту своей жизни. Хемингуэй знал их всех по имени и дружески называл «каторжницами».

В тот вечер Ордоньес выступил с огромным успехом, и после праздничного обеда я поехал с ним и с Доминго Домингином в Барселону, а Хемингуэй отправился с Валери и супругами Дэвис в Париж. Недели через две я заехал повидать его в имении Дэвис в Чурриане близ Малаги. Хемингуэя я застал за очередным репортажем о бое

быков, но, отложив рукопись, он показал мне комнату, в которой работал, и пригласил распить бутылку тавельского. Он считал, что возраст берет свое и уже заставляет беречься: тавельское, пожалуй, наименее вредно для печени.

— Никогда не надо спешить умирать, — проговорил он задумчиво. — Жизнь всегда что-то дает.

Когда три бутылки были опорожнены, я ушел, а он заперся в своем рабочем кабинете. Еще через несколько недель я снова встретил его в Париже. Жил он в отеле «Ритц». Мы вместе поужинали в китайском ресторане. Сезон корриды окончился, и он собирался вернуться на Кубу.

В ту зиму — 1959—1960 годов — мы получили от него несколько писем, написанных по-английски пополам с испанскими и французскими выражениями и фразами. Он говорил об «income tax»¹ (неизбежная тема разговоров всех американцев) и о своих домашних делах, о любви, о смерти, о самоубийстве. Его последнее письмо датировано июнем 1960 года. Тем летом он был в Испании, но мы жили во Франции и не смогли повидать его. Наши друзья, побывавшие тогда у него, нашли его грустным и постаревшим. Здоровье его ухудшилось, и врачи запретили ему пить.

Известие о его смерти обрушилось на нас в тот самый день, когда — летом 1961 года — мы приехали в Испанию. Прошли первые минуты оцепенения, и смысл его самоубийства вдруг как-то сам раскрылся: Хемингуэй пал, как солдат в бою, — умер в седле. Мы потеряли не только великого писателя, но и близкого друга.

Во время своей первой поездки на Кубу я побывал в доме в Сан-Франсиско-де-Паула, ныне превращенном в музей. Тогда дом был почти заброшен, по саду бродили совсем одичавшие кошки, которых он так любил при жизни. Я вошел в его комнату и над изголовьем кровати увидел фотографию: он — в форме республиканца на мадридском фронте зимой 1939 года.

Снова сорокалетний и молодой Хемингуэй, казалось, смотрел в глаза жизни прямо и мужественно. Мысль о том, что он сдался смерти, больше ко мне не приходила, навязчивая мысль о том, кто кого победил. Он погиб, но слава его осталась жить.

¹ Подоходный налог (англ.).

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

В этот день он пришел ко мне часов в пол-одиннадцатого утра. Это было летом 1960 года. Одет был, как всегда: в шортах, в белой рубашке без майки и в шлепанцах этих своих без пяток. Помню, вошел и остановился в дверях. Вот тут. Я его тогда видел в последний раз. Он мне сказал:

— Постлушай, старина, я в норме. Все у меня проверили. Давление вполне приличное. Вешу я сто девян то фунтов. Для меня это хороший вес. Но книга, которую я пишу, у меня не клеится. Мне нужно отдохнуть от нее, и поэтому я еду в Испанию.

Так что со здоровьем все у него было в порядке. Он еще мне п оветовал:

— Сходи к врачу, проверься и береги себя. Ну, ладно. До возвращения, — сказал он мне, точно так же, как много раз говорил. Он всегда так прощался, когда уезжал.

Я узнал, что он умер, из газеты. Меня не удивила его смерть. Меня удивила его болезнь. Зачем дальше жить на этом свете, если стал обузой? Зачем, если у него и правда белокровие в крови образовалось?

Он мне написал: «Сейчас я вешу сто сорок фунтов». Какой же он стал? Еще он писал, что от братьев Мэйо вышел и теперь в Сан-Вэлли и что дела у него идут на поправку. Нет, по этому письму не скажешь, что он надежду потерял. Пр то давал мне знать, как у него идут дела со здоровьем.

И чего я тогда не похлопотал и не поехал повидать его?

ИЗ КНИГИ «ПАПА ХЭМИНГУЭЙ»

Испания, 1959

Антонио был великолепен в первый день в Аликанте и снискал шумное одобрение возбужденных зрителей. Эрнест повел нас к Антонио в номер, чтобы поздравить его и договориться о совместном обеде в «Ла Пепика», ресторане в Валенсии, на берегу, в 182 километрах отсюда. Дальше мы все должны были добраться за ночь до Барселоны, это 534 километра на север.

Так установился порядок нашего летнего путешествия. Билл, как всегда, за рулем. Непромокаемый парусиновый чемодан со льдом, в котором изрядное количество бутылок светлого Росадо из Лас-Кампаньяс, лежит у Эрнеста в ногах, заднее сиденье забито одеждой, всякими прочими вещами, там же лежит ивовая корзина с сырром, хлебом и другими съестными припасами; мы наносим Антонио перед боем короткий деловой визит; еще один неторопливый веселый визит к Антонио уже после боя; обед перед отъездом в 11 часов вечера с Антонио и его куадрильей.

По пути к Валенсии Эрнест рассказал мне о бое быков в Сарагосе, который я пропустил. Мигель блистательно выступил в этот день с быком, которого купил за 4 тысячи песет после того, как его прежний бык стал хромать.

— Луис Мигель претендует на первое место, поэтому он должен доказывать свое право на первенство каждый раз, когда появляется на арене, — объяснил Эрнест. — Но ему мешает одно — его богатство. Расстояние между пахом матадора и приближающимися рогами быка увеличивается по мере того, как увеличивается его богатство. Но нужно сказать, что Луис Мигель действительно любит сражаться, когда ему это выгодно, и в эти дни он, кажется, забывает, что он богат. Но Антонио-то об этом — о бо-

гатстве Мигеля — не забывает никогда, и здесь косые взгляды становятся более неприязненными. Мигель потребовал за это выступление денег больше, чем Антонио, и он получит их, но это разозлило Антонио, и он старается доказать, что Мигель их не заслужил.

Никто не обладает такой неистовой гордостью, как Антонио, и в этом таится смертельная опасность их поединка. Антонио считает оскорблением, что Мигель не относится к нему, как к равному, и я могу вам сказать, что еще до конца лета Антонио заставит Мигеля из гордости броситься быку на рога и погубит его. Это трагично, но, как и во всякой трагедии, это предопределено.

С 29 июня по 6 июля мы были в Барселоне, потом в Бургосе, затем в Мадриде, вернулись в Бургос, оттуда проехали в Виторию, и в течение всего этого пути Эрнест наслаждался звуками, видами, вкусом и запахами: мясистая сочная спаржа под белое сухое вино; песни рау-рау в Памплоне; деревенский хлеб с большими кусками манчегского сыра размером с колесо, запивается это вином Росадо, нацеженным из бурдюка, обложенного льдом; аисты в своих сплетенных из соломы гнездах; ястребы, летающие низко над вересковыми зарослями в поисках куропаток и кроликов; оливковые деревья, отбрасывающие изломанные тени на красную землю; пробковые деревья, ободранные, как остриженные овцы; жара и возбуждение, которые ощущаешь, стоя на каллехоне среди быстрых служителей, подающих пшаги; потные менаджеры; соскакивающие с коней, задыхающиеся бандерильо и матадоры с серыми лицами и пересохшими ртами, наблюдающие за Антонио в ожидании своей очереди; и неожиданно — Памплон, feria Сан-Фермин, семь дней и семь ночей, слившихся в один 168-часовой день.

Мы приехали в Памплону за день до начала ферии (Энн Дэвис и Мэри Хемингуэй присоединились к нам, приехав из Малаги), потому что Эрнест сказал, что мы должны обосноваться и разведать все притоны до того, как начнется вторжение. Старый друг Эрнеста Хуанито Кинтана, который до войны содержал ринг в Памплоне и был хозяином в отеле, получал от Эрнеста регулярную ежемесячную плату за то, что обеспечивал жилье и билеты на бой быков, когда Эрнест приезжал в Испанию. Эрнест дал Хуанито заказ на Памплону еще в мае, но, когда мы встретились с ним в кафе Чоко, он был очень взволнован и старался оправдаться, но дело было в том, что он ограничился лишь обещаниями вместо билетов и номеров в отеле. Сан-Фермин — самая многолюдная в Испании feria, а в Памплоне меньше гостиниц, чем в любом дру-

гом городе, где проходит ферия, и арена относительно маленькая, и количество мест ограничено, но Эрнест был необычайно добр и вежлив со старым другом. Он прекрасно понимал, в каком затруднительном положении мы находимся, но объяснял Мэри, что это жизнь подвела Хуанито Кинтану, а не он нас. Эрнест нанял спекулянта для поиска билетов, а жилье мы нашли в частных домах.

— На самом деле все, кроме билетов, не имеет значения, — объяснил он, — все равно никто не спит и не переодевается. <...>

После Памплоны мы несколько дней отдыхали в Мадриде, прежде чем отправиться в Малагу отпраздновать день рождения, к которому Мэри готовилась около двух месяцев. 21 июля исполнялось шестьдесят лет Эрнесту, и в тот же день отмечался день рождения Кармен, жены Антонио. Местом праздника должен был стать дом Билла Дэвиса «Ла Консулла» в Чуриане, на южном побережье Испании. Расположенная в центре огромного, окруженного садом поместья, «Ла Консулла» представляла собой изящный особняк с колоннами и походила на дворец младшего дожа. Он был защищен внешними и внутренними воротами, охранявшимися сторожами, мебель в доме была в основном ручной работы испанских мастеров по эскизам Билла Дэвиса, внутреннее изящество дома соответствовало его внешнему виду. Полы и балюстрады, лестницы и столешницы, ваннные комнаты и портики — из мрамора, мрамором выложен и плавательный бассейн. В доме не было телефона.

Мэри действительно знала, как устраивать праздники, а к этому она отнеслась по-особому. Она чувствовала, что все дни рождения Эрнеста из-за его замкнутости скорее отмечались, чем праздновались, и теперь она старалась возместить все его неотпразднованные дни рождения. И ей это удалось.

Она заказала шампанское из Парижа, китайские блюда из Лондона, а из Мадрида — бакалао, сушеную треску, важнейший ингредиент очень острого блюда — бакалао, — она была большой мастерицей готовить это блюдо. Она сняла у бродячего карнавала тир, пригласила специалиста по фейерверкам из Валенсии, этой цитадели пиротехники, танцоров фламенко из Малаги, музыкантов из Торремолино и официантов, барменов, поваров откуда только можно.

В доме Дэвиса могло разместиться только 25 человек, и Мэри заказала номера в новом высотном отеле «Пец

Эспада», на побережье недалеко от Торремолино. Приглашенные съехались отовсюду, собираться они начали 20-го. Помимо членов обычной памплонской квадрильи, Эрнест пригласил из Памплонны еще огромное количество народу и кое-кого из Мадрида. Приехал также магараджа из Джайпура с супругой и сыном, генерал «Баю» Ланхем из Вашингтона, посол Дэвид Брюс с супругой, которые прилетели из Бонна, разные мадридские знаменитости, несколько старых парижских приятелей Эрнеста, тридцать друзей Антонио и Джанфранко Иванчич, брат Адрианы, который приехал из Венеции со своей женой на новой «баратте ланчии» Эрнеста, купленной на деньги из его итальянского гонора. (<...>)

Праздник начался 21 июля в полдень и кончился в полдень 22-го, и Эрнест сказал, что это был лучший из всех, на которых он когда-либо присутствовал. Он танцевал и открывал шампанское, произнося перед своими гостями ужасно смешные тосты, и отстреливал сигареты из рта Антонио и магараджи. Когда оркестр, выступавший на открытой веранде, заиграл музыку памплонской фиесты, Эрнест и Антонио возглавили вереницу гостей в танце рау-рау, которая змеей извивалась по всему имению. В конце обеда был трезвый момент, когда Дэвид Брюс, с которым Эрнест вместе воевал, предложил простой и волнующий тост; Эрнест склонил голову и был заметно тронут.

Огненный волшебник из Валенсии начал пышное и шумное представление, но, к сожалению, во время одного из залпов гигантская ракета застряла в верхушке королевской пальмы возле дома, и дерево загорелось. Попытки некоторых гостей забраться на шестифутовую лестницу и потушить пламя с помощью садового шланга были рискованны и бесполезны, так что пришлось вызвать из Малаги пожарную команду. Прибывшее оборудование и лестница походили на театральный реквизит из шекспировских спектаклей, да и пожарные были такими же. Но они бесстрашно боролись с огнем, так что и дом и дерево были спасены. Пожарные тут же смешались с гостями, в ход пошли и их форма и их пожарная машина, Антонио, надев шлем и плащ командира пожарных, носился на ней по усадьбе с включенной сиреной.

После завтрака гости начали разъезжаться, но последние из них уехали не раньше полудня. Солнце Чурианы было уже жарким, и мы с Эрнестом искупались перед тем, как идти спать.

— Что мне больше всего понравилось в этом празднике, — сказал Эрнест, когда мы шли в свои комнаты, — так

это то, что все мои старые друзья приехали издалека. Проблема со старыми друзьями в том, что их осталось очень мало. <...>

Спустя четыре дня в Бильбао состязание «один на один» закончилось внезапно и трагически, когда нарастающее давление со стороны Антонио в конце концов добило Домингина. Это случилось в тот момент, когда Домингин передавал своего быка пикадору. Это одно из самых элементарных движений в бое быков, и каждый матадор совершает его тысячи раз. Однако Домингин, непонятно почему, вместо того чтобы отойти, двинулся на быка, и бычий рог вонзился ему в пах и отбросил его к лошади пикадора. Когда Домингин был подброшен в воздух, пикадор вонзил свою пику в быка, но тот не обратил на пику никакого внимания, и вновь поймал падающего Домингина, и успел боднуть его несколько раз, прежде чем они успели проделать ките и отнести его в лазарет.

В тот же вечер Эрнест отправился в больницу повидать его. Домингин очень страдал от проникающего ранения рогом в область живота, которое едва не стоило ему жизни. Эрнест о чем-то ему тихо говорил, а Домингин кивал и слегка улыбался.

По дороге обратно в отель Эрнест сказал:

— Он смелый человек и прекрасный матадор. Какого черта хорошие и смелые должны умирать раньше других?

Он не имел в виду окончательную смерть, Домингину предстояло выжить, но то, что было необходимо ему в его жизни, умерло. Я вспомнил, как Эрнест однажды сказал мне:

— Худшая смерть для каждого — это потерять смысл своего существования, то, что составляет твою сущность. Отставка — самое отвратительное слово в языке. Уйти — по своему ли выбору, или по воле судьбы — от того, что ты делаешь, от того, что сделало тебя, это значит отправиться в могилу.

Нависало тяжелое марево, и улицы Бильбао блестели отраженным светом. Я взглянул на Эрнеста. Он поднял воротник своей военной куртки, защищаясь от дождя, меня охватило жуткое чувство, как будто я иду по Лозанне рядом с лейтенантом Генри, который только что оставил в больнице свою мертвую Кэтрин. <...>

Гавана, 1960

На следующий день Эрнест сказал мне, что глаза ему отказывают.

— Я различаю слова на странице только 10—12 минут, —

сказал он, — потом начинается резь в глазах, и я снова могу работать только через час или два.

Мы решили, что я отвезу рукопись в Нью-Йорк и передам ее в редакцию «Лайфа», чтобы они сократили ее — сейчас в ней было 53 830 слов.

— Сказать по правде, Хотч, я стараюсь переносить все как можно бодрее, — сказал Эрнест, — но это смахивает на жизнь в кошмаре, как у Кафки. Я делаю вид, что бодр, как всегда, но это не так. Я смертельно устал и эмоционально измучен.

— Что беспокоит вас больше всего — то, что делает Кастро?

— Отчасти. Лично меня он не беспокоит. Я для них хорошая реклама, и, может быть, они меня не тронут и разрешат жить здесь, как всегда, но я прежде всего американец, и я не могу оставаться тут, когда выгнали других американцев, а мою страну облили грязью.

Мне кажется, я почувствовал, что здесь для меня все кончено, в ту ночь, когда убили Блэк Дога. Батистовский патруль ворвался сюда посреди ночи в поисках оружия, и бедный Блэк Дог, старый и наполовину слепой, пытался охранять вход в Финку, но солдат забил его до смерти прикладом ружья. Бедный старый Блэк Дог. Мне его ужасно не хватает. Ранним утром, когда я работаю, он не лежит на шкуре куду рядом с пишущей машинкой; в полдень, когда я плаваю, он не охотится за ящерицами за бассейном; по вечерам, когда я сижу в моем кресле и читаю, его голова не покоится у меня на ноге. Я ощущаю утрату Блэк Дога так же остро, как утрату любого друга, которого я потерял. А теперь я теряю Финку — нет смысла обманывать себя, — я знаю, что должен все бросить и уехать отсюда. Как можно измерить величину этой потери? Все, что у меня есть, все здесь. Мои картины, мои книги, мое рабочее кресло, мои добрые воспоминания.

— Неужели ничего нельзя сделать с картинами?

— Я договорился в отношении Миро и двух картин Хуана Гриса.

— Может быть, я смогу вывезти их в своем багаже, если их вынуть из рам и скатать в рулон.

— Нет, я не хочу подвергать вас такому риску.

— А что насчет предложения Музея современного искусства выставить их? Вы говорили мне, что Альфред Барр несколько раз просил вас одолжить Миро.

— Я думаю, стоит попробовать. Я ему напишу.

— Я читал прошлой ночью новые главы книги о Париже. Это великолепно, Папа. Мне кажется, что это я там

жил и это было при мне, и, когда я в следующий раз поеду в Париж, я буду ожидать, что все будет именно так. <...>

Эрнест был в затруднении, какую книгу опубликовать первой — «Опасное лето» или книгу о Париже. Он вообще сомневался, будет ли издано «Опасное лето» книгой. После долгой дискуссии, когда к единому мнению так и не пришли, я предложил, чтобы мы оба подумали об этом еще раз и все обсудили, когда он придет в Нью-Йорк. Я попросил его заранее предупредить меня о дне приезда, чтобы я постарался устроить его к специалисту по глазным болезням, к которому очень трудно попасть.

— Ну, не очень переживайте, если не удастся устроить эту встречу, — сказал Эрнест.

Мы собирались на следующий день кататься на лодке с Мэри и Онор, но Грегорио сообщил, что выходить в море не стоит, и никто ничего не предпринимал 4 дня. Мы с Эрнестом поехали в Гавану, выпили по дайкири во «Флоридите», и Эрнест пошел в банк, чтобы взять из сейфа рукопись. Это был небольшой роман под названием «Морская охота». Мэри считала, что из него может получиться хорошая кинокартина, и Эрнест хотел знать, что я думаю по этому поводу. Наверху первой страницы над заглавием он крупно написал: «Море (главная книга № 3)», это означало, что речь идет о морской части произведения, которое он обычно называл своей «большой книгой» или «бомбой большого калибра», произведения, состоящего из трех частей: земля, море и воздух.

Я прочитал рукопись в тот же вечер. Мэри была абсолютно права — в романе имелся напряженный приключенческий сюжет, действие его разворачивалось на Багамских островах во время второй мировой войны, шла охота за спасшимся экипажем затонувшей немецкой подводной лодки. Это было придуманное описание того, что на самом деле могло бы случиться с Эрнестом (он выведен в романе под именем Томаса Хадсона) и командой его катера «Пилар», если бы они в 1943 году напали на след германской подводной лодки. Этот роман все еще не опубликован, но, несомненно, будет.

Когда я высказал Эрнесту свое мнение, он сказал, что ему, наверное, нужно самому перечитать рукопись. После того, как Онор прочитала ему ее вслух, он заметил неуверенно:

— Я должен кое-что доделать. Может быть, после книги о Париже, если зрение позволит мне писать. <...>

Когда я вернулся в Нью-Йорк 22 октября 1960 г. после встречи в Лондоне с Гари Купером, меня ждала телеграмма от Эрнеста. В ней было два пункта: Эрнест сообщал, что Уолд хочет поскорее взяться за фильм о Нике Адамсе, и второе: я должен передать «нашим гостям, если они приедут», что у них не будет «никаких финансовых проблем, никаких забот».

Я не понял эвфемизма «гости» в отношении Онор, которая должна была приехать в Нью-Йорк, но до сих пор там не появилась. Когда-то, еще на Кубе, Онор говорила, что приедет в Нью-Йорк, и Мэри предложила, что, поскольку Онор занималась в театре в Глазго, она могла бы поучиться в хорошей драматической школе, и Эрнест сказал, что он оплатит ее обучение.

Я позвонил Эрнесту в Кетчум, чтобы сказать, что с Купером все в порядке и мы можем заключать контракты в Голливуде. Я начал говорить, что Онор еще не приехала, но он оборвал меня, сказав, что по телефону лучше не называть имен. <...>

Онор прилетела из Мадрида через несколько дней, и я в телефонном разговоре с Эрнестом стал рассказывать ему, что наша гостя устроилась в Барбизоне и уже виделась с людьми из Американской академии драматического искусства, как телефон разъединился. Когда я вновь через несколько минут дозвонился до Эрнеста, он был очень взволнован. Он сказал, что нам нельзя больше разговаривать, но что я должен немедленно выехать к нему — чем скорее, тем лучше.

— Телеграфируйте мне день приезда, — сказал он. — И больше не пользуйтесь телефоном.

Потом я получил от него письмо, в котором он просил меня узнать, не говорил ли кто-нибудь с Онор о том, чем она занимается в Нью-Йорке, или кто оплачивает ее поездку, или что-нибудь в этом роде. Его почерк изменился, буквы стали шире и менее тщательно выписаны.

Поезд «Портланд Роз», который должен был по расписанию прибывать в девять вечера, прибыл в Шошон на несколько минут раньше. Я зашел в бар, который был через дорогу от железнодорожной станции, где мы всегда выпивали перед тем, как отправиться в долгий путь до Кетчума, зная, что Эрнест найдет меня там.

Так он и сделал. С ним был Дюк Мак-Маллен. Но, вместо того чтобы подойти к стойке и, как обычно, вы-

пить, он попросил, чтобы я как можно скорее допивал свой коктейль и догонял их на улице. Говоря со мной, он нервно смотрел на людей, сидящих за стойкой и за столиками. Я оставил недопитый коктейль, расплатился и догнал их возле машины Дюка. Дюк, обычно жизнерадостный, энергичный человек, выглядел на этот раз очень подавленным и поздоровался со мной так, как здороваются, встретив знакомого на похоронах.

Первую половину пути я, чтобы нарушить тягостное молчание, начал рассказывать Эрнесту о наших делах с Купером (большой прогресс) и ситуацию с фирмой «Твенти Сенчюри фокс» (никакого прогресса, если не считать ста двадцати пяти тысяч долларов), когда Эрнест неожиданно прервал меня:

— Вернон Лорд хотел приехать, но я не позволил.

— Почему?

— ФБРовцы.

— Что?

— ФБРовцы. Они следят за нами все время. Спросите у Дюка.

— Вот как... когда мы выехали из Хейли, за нами действительно шла машина...

— Вот почему я хотел увести и вас из бара. Боялся, что они сделают свой ход и подхватят нас здесь.

— Послушай, Эрнест, — сказал Дюк, — но та машина повернула в Пикабо.

— Наверное, поехали кружным путем. Это отнимает у них больше времени, так что я хотел выбраться из Шо-сона раньше, чем они доберутся туда.

— Папа, — сказал я, пытаясь собраться с мыслями, — но зачем федеральные агенты преследуют вас?

— Это ужасно. Дьявольская история. Они все прослушивают. Поэтому мы на машине Дюка. В моей машине подслушивающее устройство. Не могу пользоваться телефоном. Почту перехватывают. Это началось, когда я разговаривал с вами по телефону. Помните, нас разъединили? Это они показали свои лапы.

— Но междугородные телефоны часто прерываются. Может ли это значить?..

— У меня есть приятель в телефонной компании в Хейли. Он проверил для меня, как был прерван наш разговор. Это было сделано здесь, на этом конце, а не в Нью-Йорке.

— Ну и что из того?

— Ради Бога, Хотч, шевелите мозгами: ведь разговор заказывали вы, не так ли? И соединительное реле должно было быть на вашем конце, а оно было здесь, в Хейли, откуда идет к нам телефонная связь. А это значит, что

ФБРовцы зафиксировали звонок здесь, и это объясняет, почему разговор был прерван.

Он был очень возбужден. Я откинулся в темную глубину машины. Поблизости не было других машин, и Дюк ехал очень быстро. Мне хотелось спросить Эрнеста, почему он считает, что его преследуют и подслушивают, и почему Вернон не может приехать на станцию, но вместо этого я сидел в темноте, глядел в белый коридор, образованный светом фар, и чувствовал себя удрученным.

Мы проехали несколько миль в полном молчании. Я думал, что Эрнест заснул, но он неожиданно спросил:

— Что сказала наша гостья? С ней никто не говорил?

Н то не подходил к ней ни с какими вопросами?

— Нет, никто.

— Ее спрашивали о паспорте?

— Нет.

— Н то из Иммиграционного отдела не вызывал ее и не разговаривал с ней?

— Ни одна душа.

— Быть мне сыном, если они не подкупили ее.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что она врет. Она переметнулась к ним.

— О, это невозможно. Я уверен, что никто...

— Она работает на правительство. Давайте вычеркнем ее и забудем. Я не хочу больше о ней слышать. <...>

Работоспособность Эрнеста катастрофически падала. Это было видно уже по тому, как он проводил бесконечные часы над рукописью «Праздника, который всегда с тобой», но в действительности был не в состоянии что-либо с ней делать. Помимо утраты способности писать, Эрнест был чрезвычайно удручен потерей Финки. И хотя Мэри предлагала купить дом в Париже или Венеции, или новую яхту, на которой можно было бы отправиться в длительное морское путешествие, ничто не давало Эрнесту уйти от состояния незащищенности, из которого, похоже, проистекали постоянная депрессия и галлюцинации. Он все чаще говорил о самоубийстве и временами оставался у полки с ружьями, держа в руках одно из ружей и глядя из окна на далекие горы.

Я сказал Мэри, что, по моему мнению, совершенно ясно, что Эрнест нуждается в немедленной и серьезной помощи психиатра, и даже предложил больницу Меннингера, но она высказала опасение, что огласка может ему повредить. Тогда я предложил, если она поручит это дело

мне, немедленно выехать в Нью-Йорк и связаться с хорошим психиатром, которого я знал. Она стала торопить меня и повторять, что опасается, что угрозы Эрнеста покончить с собой могут осуществиться. <...>

Нью-йоркский психиатр, которого я буду называть доктор Реноун, действовал быстро, состояние Эрнеста он определил как депрессивную манию преследования и в телефонном разговоре с Верноном Лордом прописал несколько новых лекарств, которые, как ему казалось, должны были помочь, пока не начнется стационарное лечение. Доктор Реноун сначала остановился на больнице Меннингера, но Вернону казалось, что из-за дурной репутации этого заведения туда не стоит ложиться. Я заметил, что, вероятно, Мэри будет возражать против этой клиники, боясь публичной огласки состояния Эрнеста.

Стало ясно, что единственной приемлемой клиникой может стать та, в которой проводится не только психиатрическое, но и терапевтическое лечение, так что можно будет сделать вид, что Эрнест нуждается в терапевтической помощи, скрывая, таким образом, его настоящую болезнь. В связи с этим доктор Реноун предложил клинику Мэйо. Вернон сообщил, что Эрнест, как мы и предполагали, очень беспокоится по поводу того, что у него повышено кровяное давление, и Вернон сказал, что постарается уговорить Эрнеста лечь в Мэйо под предлогом исследования давления и специального лечения. Доктор Реноун договорился о госпитализации Эрнеста и обсудил по телефону его общее состояние с врачами из Мэйо. 30 ноября Эрнест в сопровождении Вернона прилетел в Рочестер, штат Миннесота, на маленьком, взятом внаем самолете и после полудня был помещен в клинику Мэйо под именем Вернона Лорда, ему выделили комнату в госпитале Святой Марии.

Эрнесту не разрешалось говорить по телефону и писать письма, но в декабре я время от времени говорил по телефону с Мэри, которая жила в отеле «Калер» и виделась с Эрнестом каждый день. Она была очень одинока в этом городе. Для нее было тяжело встречать здесь Рождество, и мои дочери послали ей целую коробку детских подарков, стараясь ободрить ее.

В декабре Эрнесту сделали восемь сеансов электрошоковой терапии, Мэри рассказывала, как ужасно это для Эрнеста, как он страдает, больше морально, чем физически, от этих процедур. Однако Мэри казалось, что Эрнест

неплохо ладит с докторами, которые утверждали, что в его состоянии виден явный прогресс. Мэри, однако, говорила, что они в невыгодном положении, поскольку не знают Эрнеста так хорошо, как она.

Лечение электрошоком внезапно прекратили в первую неделю января. Вскоре после этого Эрнест спросил у врачей, не может ли он позвонить мне по телефону, они разрешили. Это был первый контакт Эрнеста с внешним миром с того момента, когда он оказался в больнице, и, очевидно, этот разговор был для него очень важен. Я спросил, какие будут указания по поводу того, о чем я должен и о чем не должен говорить, но никаких ограничений не было. Звонок был назначен на конкретное время в конкретный день.

Телефонист попросил подождать у телефона: мистер Лорд сейчас подойдет. Поприветствовав меня, Эрнест сказал:

— Чертовски трудно носить имя Бога¹ в католическом госпитале — а я ведь неудавшийся католик. — Голос его звучал бодро, он держал себя в руках, но слышалась в его голосе сердечность, не свойственная ему.

Он сказал мне, что в последние несколько дней впервые со времени приезда смог читать; читал он верстку новой книги нашего друга Джорджа Плимтона. Она называлась «Вне моей лиги», и Эрнест сказал, что ему очень нравится.

— Только трудно получать удовольствие, — сказал он, — в комнате, где тебя обыскивают и запирают за тобой дверь, и у них не хватает приличия доверить тебе хотя бы какой-нибудь тупой инструмент.

Слушать все это было ужасно, просто потому, что я плохо представлял себе его тамошнюю жизнь. Я спросил, как он думает, разрешат ли мне врачи навестить его. Он ответил, что узнает и сообщит мне, но что Рочестер слишком далеко, чтобы просить кого-нибудь приехать.

— Но запретов никаких нет, — сказал он, — я буду чертовски рад вас видеть.

Мы разговаривали пятнадцать минут, и не было сказано ни слова по поводу его прежних галлюцинаций. Эрнест много говорил о парижских зарисовках и о том, что собирается вернуться к работе над ними, поскольку он решил осенью опубликовать их. Телефонист вмешался в разговор и сказал:

— Мистер Лорд, заканчивайте, пожалуйста, разговор, — и Эрнест быстро попрощался со мной. <...>

¹ Лорд (англ. Lord) — Господь Бог.

Я планировал вылететь в Рочестер 13 января 1961 года.

Я остановился в отеле «Калер» и отправился прямо в больницу. Эрнест выглядел страшно худым — 173 фунта, в то время как обычно он весил 210—220. Лицо утратило свою форму и, казалось, даже черты его изменились. Он представил меня своей сиделке, крупной, очаровательной молодой женщине, которой явно нравился ее пациент, а затем своим врачам, которым он уже дал «статус приятелей». Он уже был у обоих в гостях на обеде, и один из врачей сказал мне, что в прошлое воскресенье после завтрака, на котором присутствовали многие друзья доктора, они позади дома постреляли по тарелочкам. Мы сидели в комнате Эрнеста, маленькой, но приятно обставленной, и лишь присмотревшись, можно было заметить на окнах решетки. Эрнест шутил, и смеялся, и вспоминал, чтобы развлечь докторов, разные истории, вроде нашего триумфа в Отейле и моего появления на арене боя быков. Несмотря на то, что он ужасно выглядел, Эрнест, казалось, действительно поправлялся. Но у меня осталось непростое ощущение, что доктора относились к нему скорее как к знаменитости, нежели как к пациенту.

Уходя, они сказали, что Эрнесту можно одеться и пойти со мной погулять. Сиделка принесла ему одежду, и, одеваясь, он указал на кучу писем на туалетном столике, сказав, что он всегда аккуратно отвечал на письма и теперь ему не по себе из-за того, что он не мог ответить на все письма. Он сказал, что ему хотелось бы, чтобы здесь была Нита — Эрнест мог бы ей тогда диктовать. Я предложил ему нанять платного стенографиста в «Калере», чтобы он приходил каждый день на час-два, и эта мысль привела Эрнеста в восторг.

— Хорошо было бы привести в порядок всю переписку, — сказал он. — Тогда, когда я вернусь в Кетчум, я сразу могу начать работать над книгой.

Потом он задал вопрос, который я боялся услышать с тех пор, как выехал из Нью-Йорка:

— Как дела с Купером?

Купер приехал в Нью-Йорк в начале января, чтобы записать передачу об американском ковбое, и пригласил меня на ленч.

— Я не смогу осуществить с Папой мой план, — сказал он. — Врачи рассказали мне об операции, которую я перенес. Это рак. Они сказали, долго мне не протянуть. Я уповаю на Христа, что они правы.

Ему сообщили об этом сразу после Рождества, когда у него начались сильные боли, и он спросил врачей обо всем впрямую. Сейчас боли были настолько сильными,

что, несмотря на все средства, он мог выдержать время от времени лишь час перед камерой.

— Как там дела у Папы в Мэйо?

Уловка с псевдонимом Вернон Лорд не удалась, и газеты по всей стране муссировали слухи о болезни Эрнеста.

— Неплохо.

— Что с ним случилось, Хотч?

— Повышенное давление. Но теперь они держат это под контролем.

Будь я проклят, если я возложу на его плечи и эту тяжесть — правду о болезни Эрнеста.

— Ты лучше расскажи ему обо мне. Мы всегда доверяли друг другу во всем, всю жизнь, и я не хочу, чтобы он узнал от кого-то еще или из газет. Я пытался позвонить ему, но меня не захотели соединить, а писать о таком я не хочу.

И вот теперь я рассказал Эрнесту. Он ничего не сказал. Только посмотрел на меня так, как будто я его предал. Затем взял свою штормовку и медленно надел ее, приладил на голове шапку, и мы вышли из его тюрьмы.

Мы шли от центра города, который резко переходил в предместья.

— Ваши доктора, оказывается, отличные парни, — сказал я.

— Вы так считаете, потому что они доверили мне ружье?

— Ну, это чудесно с их стороны, что они выпускают вас отсюда...

— В чем эти специалисты по психотерапии ничего не смыслят, так это в писателях, и в таких вещах, как угрызения совести и раскаяние, и что с ними делать. Надо заставить всех психиатров пройти курс литературного творчества, чтобы они поняли, что такое писатель.

— Они прекратили лечение?

— Какой смысл в том, чтобы разрушать мою голову, подрывать мою память — мое главное достояние — и выводить меня из строя. Это великолепный курс лечения, но при этом теряется пациент. Это пустое занятие, Хотч, просто ужасное. Я просил руководство клиники лечить меня, но они ничего не знают о возмездии, которое меня ждет. <...>

Я не мог поверить...

Затем снова последовал утомительный, изнуряющий допрос об Онор и иммиграционных агентах и все в таком духе. Мания не изменилась и не ослабела. Его комната

прослушивается, так же как и больничный телефон, и он подозревает, что один из врачей является переодетым агентом ФБР.

Я сократил прогулку как только мог, но, несмотря на это, она казалась бесконечной.

Кетчум, 1961

Это случилось 18 апреля. В 8 часов воскресного утра 23 апреля мне позвонили из Кетчума. Эрнест находится в больнице в Сан-Вэлли, ему дают сильнодействующее успокоительное каждые три часа, круглосуточно дежурят сиделки.

Когда в то утро Мэри вошла в гостиную, она обнаружила Эрнеста стоящим в вестибюле, где была стойка с ружьями; в одной руке он держал охотничье ружье с открытым затвором, в другой руке у него было два патрона. На ружейной стойке лежала адресованная ей записка. Мэри знала, что Вернон Лорд должен был вот-вот приехать, чтобы измерить Эрнесту давление, и она постаралась отвлечь внимание Эрнеста, пока не появится Вернон. Она знала, что Эрнест очень подавлен тем, что не может писать, но она не подозревала, что депрессия зашла так далеко.

Эрнест был спокоен и не сделал ни движения, чтобы вложить патроны в патронник, так что Мэри не стала вообще обращать внимание на ружье, а попросила дать ей записку. Эрнест отказался, но прочитал несколько фраз. Там упоминалось его завещание и говорилось, что он позаботился о том, чтобы обеспечить Мэри и чтобы она не волновалась. Также сообщалось, что он перевел тридцать тысяч долларов на ее текущий счет.

Затем он отложил письмо и перешел к тому, что беспокоило его последнее время — подоходный налог за уборщицу.

Так он говорил и говорил без конца о том, что ФБРовцы хотят заставить его платить налог за уборщицу, пока не приехал Вернон. Когда он взялся за ружье, Эрнест решил забрать его без всякого протеста.

Вернон уже позвонил в клинику Мэйо, и меня теперь спрашивали, не могу ли я связаться с доктором Реноуном и вкратце изложить ему ситуацию.

Вернон позвонил в четыре тридцать пополудни. Он сообщил, что доктора в Мэйо настаивают на том, чтобы Эрнест ехал в Рочестер добровольно, а Эрнест решительно отказывается.

— Я говорил с доктором Реноуном, — сказал я. — Он должен был позвонить в Мэйо и перезвонить вам.

— Он звонил. Он договорился обо всем в Мэйо и обсудил все процедуры, но я думаю, что он не знает об их условии, что Эрнест должен ехать только по собственному желанию. Черт возьми, нет у него никакой своей воли! О чем они говорят? У меня есть ассистент, доктор Осли, он помогает мне с Эрнестом, но мы теряем время. У нас нет никаких возможностей для таких случаев, и, Хотч, клянусь Господом, если мы не поместим его в соответствующее заведение, и *быстро*, он непременно убьет себя. Это только вопрос времени, если он останется здесь, и с каждым часом это становится все более вероятным. Он говорит, что больше не может писать, это единственное, о чем он говорит со мной вот уже много недель. Говорит, что ему больше незачем жить. Хотч, он никогда больше не будет писать. Он не может. Он кончился. И этим объясняется его желание покончить с собой. Но это в конце концов только внешняя причина. И я должен принимать этот довод потому, что у меня нет соответствующего оборудования, чтобы заглянуть глубже. И, что касается меня, это очень серьезный довод, и, честно говоря, я очень волнуюсь. Мы дали ему сильную дозу содиум амитала, но как долго мы можем держать его в таком состоянии? Должен сказать тебе, что это ужасная ответственность для сельского врача. Я говорю все это не потому, что он мой друг, а потому, что он *Эрнест Хемингуэй*. Мы должны сделать все, чтобы отправить его в Мэйо.

Остаток дня мы перезванивались между Нью-Йорком, Кетчумом, Голливудом и Рочестером, но докторов из Мэйо нельзя было вызвать в Кетчум или заставить каким-нибудь другим образом отказаться от их твердой позиции: пациенты должны поступать в клинику добровольно. Доктор Реноун предложил Вернону несколько процедур, чтобы попробовать склонить Эрнеста. Я хотел ехать в Кетчум, чтобы помочь, но доктор Реноун полагал, что мне следует подождать и ехать на смену, если у Вернона ничего не получится.

На следующий день Мэри позвонила в ужасе. Произошел кошмарный инцидент. Вернон наконец склонил Эрнеста к мысли о возвращении в Мэйо. Из Хейли заказали наемный самолет. Но Эрнест сказал, что прежде, чем он поедет, ему надо взять кое-какие вещи из дома. Вернон сказал, что он пошлет за ними Мэри, но Эрнест ответил, что он должен взять их сам и что без них в Мэйо он не поедет. Вернон неохотно согласился, но сначала попросил Дона Андерсона, в котором шесть футов роста и около

двухсот футов веса, пойти вместе с ним. Вернон также взял Мэри и сиделку. Они подъехали к дому все впятером, и Эрнест пошел к двери, за ним — Дон, затем — сиделка, за ней Мэри и Вернон. Внезапно Эрнест бросился к двери, захлопнул ее изнутри и запер на засов раньше, чем Дон смог войти. Дон бросился вокруг дома к другой двери, ворвался в дом и увидел Эрнеста возле ружейной стойки, держащего ружье и вкладывавшего патрон в патронник. Дон бросился на Эрнеста и повалил его. Началась отчаянная борьба из-за ружья. Вернону пришлось помогать. К счастью, ружье было на предохранителе. Теперь Эрнест в больнице, ему дают сильные наркотики.

Он снова говорит, что не вернется в Мэйо, но Вернон держит самолет на взлетной полосе в Сан-Вэлли, надеясь, что ему удастся уговорить Эрнеста. Между тем велись переговоры с сотрудниками больницы Мэннингера.

На следующее утро позвонила Мэри и сообщила, что Эрнест внезапно передумал и решил ехать и что самолет уже вылетел в Рочестер. Вернон и Дон Андерсон полетели с ним. Мэри с трудом приходит в себя. Она обещала, что Вернон позвонит, как только вернется.

Звонок раздался после полудня. Вернон сказал, что ввел Эрнесту сильное успокоительное перед вылетом, но вскоре после того, как они поднялись в воздух, Эрнест попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Дону и Вернону пришлось приложить невероятные усилия, чтобы оттащить его от двери. Затем Вернон сделал Эрнесту большую инъекцию содиума амитала, и вскоре после этого он задремал.

Через некоторое время забарахлил мотор маленького самолета, и он был вынужден сделать посадку в Каспее, в штате Вайоминг. Выходя из самолета, Эрнест попытался попасть под вращающийся пропеллер, но Дон удержал его за руку и встал сам между Эрнестом и пропеллером, хотя Эрнест мог таким образом неумышленно толкнуть Дона под крутящийся винт.

Ремонт занял несколько часов, но Эрнест казался спокоен, пока полет не продолжился, тогда, притворившись, что он спит, в тот момент, когда самолет пролетал над Южной Дакотой, Эрнест предпринял новую попытку выброситься.

Доктора из Мэйо уже ждали их, когда они приземлились в Рочестере, и Эрнест, теперь уже послушный, приветствовавший докторов как старых друзей, был немедленно доставлен в госпиталь Святой Марии и помещен в отделение особой безопасности под постоянный надзор. <...>

В течение мая Эрнест прошел курс электротерапии. Когда к концу мая процедуры кончились, Мэри разрешили побыть у него три дня. Она рассказывала, что Эрнест еще больше возмущался этим лечением, чем в прошлый раз, еще с большей горечью жаловался, что его память разрушена, что он кончился как писатель, и винил во всем этом докторов из Мэйо, которые в конце концов уступили его требованию и прекратили лечение электричеством. Суть этого конфликта между Эрнестом и его врачами заключалась в том, что он не допускал и мысли, что его состояние требует такого сильнодействующего лечения. Было очевидно, что врачи не могли объяснить ему всю серьезность его положения.

Эрнест уже не говорил с Мэри о том, что покончит с собой, и твердо заявил, что перестал думать о самоубийстве, но навязчивые идеи оставались, и теперь они были направлены против Вернона Лорда и против самой Мэри. В первую ночь он обвинил ее в том, что она заточила его в Мэйо, чтобы завладеть его деньгами. Но на следующий день он был к ней нежен и внимателен. Его настроение было подвержено самым диким переменам. У него появилась новая навязчивая идея относительно Кетчума: он не может вернуться в Кетчум, потому что они лежат в засаде и ждут случая схватить его и бросить в тюрьму за неуплату налогов. Он уже подозревал Мэри в том, что она тайно сотрудничает с ними и заманивает его обратно в Кетчум, чтобы они могли поймать его.

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

В квартирке на Шестьдесят Второй улице Эрнест держался вежливым гостем, впервые оказавшимся в этих незнакомых стенах, помалкивал, не слушал новостей по радио, поглощенный собственными проблемами, которыми ни с кем не хотел делиться. Встанет на пороге кухни, где я готовлю обед, поглядит и скажет:

— Надо же, как ты ловко со всем этим управляешься, — словно никогда прежде не видел меня за стряпней. Я пыталась выманить его в зверинец Центрального Парка, чтобы он развлекся, глядя на животных, но он выходил из дома очень неохотно.

— Там кто-нибудь, наверно, сторожит, — говорил он, а когда я сердилась и упрекала его за то, что он ведет себя, как беглец, укрывающийся от закона, он замыкался в себе и молчал.

Джордж Браун посадил нас в дневной чикагский поезд, назавтра на перроне нас встретила Беа Гак и увезла Эрнеста пообедать и отдохнуть к себе домой, пока я распряжусь переброской багажа на Западный вокзал. Еще полдня, ночь и полный день в дороге, и нас встретил на Шошонском вокзале Джордж Сейвиерс, взял наши вещи и отнес через улицу к себе в машину. Пока мы усаживались, из близлежащего ресторана вышли и сели в автомобиль два господина в драповых пальто — а не в парках и унтах, по моде Дальнего Запада.

— Вот и здесь уже меня выследили, — сказал Эрнест.

— Что за чушь, Папа, — ответил Джордж. — Обыкновенные коммивояжеры.

Пока мы ехали с доктором на север, Эрнест рассказал ему о своем воспалении почки и о том, что у него, как ему кажется, очень высокое кровяное давление. Джордж обещал, что сделает ему в больнице Сан-Вэлли все исследования.

Но, оказавшись снова за своей стоячей конторкой для писания, перед широким окном с видом на долину Большой Лесной реки, Эрнест как будто бы немного воспрял духом. Он стал активнее вспоминать Париж времен своей кипучей молодости и заносить эти воспоминания на бумагу, а наша добрая приятельница Бетти Белл, великолепная льбжница и превосходный секретарь, регулярно забирала эти листы для перепечатки и писала, когда было нужно, письма под его диктовку. Но неуверенность, подозрительность и страх преследовали его и здесь. Так, ему внушал тревогу ствол большого тополя, очевидно, поваленный бурей и лежавший поперек реки сразу за домом.

— Кто угодно может перебраться по нему оттуда на нашу сторону, — говорил он мне.

— Зачем? — возразила я. — Кто захочет, всегда может подойти к парадному крыльцу по дороге. И вообще, нас окружают друзья и доброжелатели, милый.

Но он как не слышал.

У него была навязчивая мысль, что он якобы несет ответственность за невозобновленную гостевую визу Валери. Но особенно его терзала забота о плачевном, как он был убежден, состоянии его финансов. Желая немного успокоить его, я позвонила в Нью-Йорк Джозефу Лорду, вице-президенту банковской компании Моргана, с которым Эрнест был лично знаком, и попросила, чтобы он перезвонил нам и доложил Эрнесту о состоянии его банковских счетов — налоговом, сберегательном и текущих расходов. У нас было два телефонных аппарата, один на кухне, другой в гостиной, на расстоянии тридцати футов от первого, и я предложила, чтобы Эрнест, с пером и блокнотом, слушал этот отчет в гостиной, а я, тоже с пером и блокнотом, — в кухне. Когда через полчаса раздался звонок мистера Лорда, я взяла трубку и записала три или четыре цифры, которые он продиктовал. В общей сложности на счетах оставалось больше, чем могло нам понадобиться на ближайший год или два. Я поблагодарила мистера Лорда. Эрнест не произнес ни слова.

— Вот видишь, дорогой, ты вовсе не такой уж неимущий, — с облегчением заключила я. Я никогда не интересовалась его денежными делами, мои заботы не простирались дальше тех скромных сумм, которые я получала на хозяйство.

Но лицо Эрнеста не выразило облегчения.

— Он хочет нас запутать, — сказал он. — Хитрит...

— Да зачем же ему? Ты — уважаемый вкладчик их банка. Они тебя ценят. Для чего им нужно вводить тебя в заблуждение?

— Для чего-то, значит, нужно.

— Для чего, например?

— Не знаю, — говорит Эрнест. — Но я уверен.

Навязчивые мысли о бедности и болезнях, — у него беспричинно прыгало кровяное давление, — вина за просроченную гостевую визу Валери, тем более что она вернулась в Нью-Йорк и думала поступить на курсы драматического искусства, — все эти страхи опутывали его, словно щупальца осьминога. Эд Хотчнер, приехавший к нам на пару дней, предложил посоветоваться насчет Эрнеста с одним нью-йоркским психиатром. Я была согласна на все, лишь бы как-то облегчить страдания мужа. Исподволь, с большим тактом, Джордж уговорил своего пациента, что ему была бы полезна консультация специалиста по неврозам. Но о том, чтобы обратиться в клинику Меннингера в Топике, Эрнест не желал и слышать.

— Они скажут, что у меня уже шариков не хватает, — говорил он.

Тогда Джордж созвонился с клиникой Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, и условился, что Эрнест ляжет к ним якобы по поводу гипертонии, а в действительности для лечения у психиатра. В Рочестере Эрнеста под именем «мистер Сейвиерс» положили во флигеле Святой Марии в светлую угловую палату. Его кровяным давлением занялся энергичный доктор Хью Батт, гений с ангельским характером. А психотерапевтическое лечение было поручено доктору Говарду Роуму из психиатрического отделения клиники Мэйо. <...>

Снова дома. Эрнест, благодаря тому, что Кейт Браун помогала мне по хозяйству и даже возила в своей древней колмаге за покупками в город, смог беспрепятственно вернуться к работе над книгой о Париже, переписывал, правил, менял порядок глав. Я тоже время от времени присаживалась за машинку, я работала над одним небольшим сочинением, правда, урывками. Так как Эрнест теперь ничего не пил, кроме калифорнийского кларета, да и то совсем немного, я хотела, чтобы еда доставляла ему удовольствие, была всякий раз приятным сюрпризом, и для этого изоцрялась в кулинарном искусстве, насколько хватало моих талантов.

Эрнест слишком дорожил тишиной и покоем, благоприятствовавшими его работе, и мы не принимали ничьих приглашений, не ездили к знакомым и к себе гостей звали редко и только избранных. Однако Эрнест чувствовал потребность бывать на воздухе, поэтому я купила две пары

зимних сапог, и мы с ним ежедневно после обеда отправлялись бродить по заснеженным склонам, выглядывая для развлечения лисьи следы и сусличьи норы. Но вскоре безлюдные белые холмы вдали от человеческого жилья стали действовать на него угнетающе. Его тянуло ближе к цивилизации. По деревенским улицам, обычно без тротуаров, из-за большого автомобильного движения ходить было неудобно, и однажды я предложила для прогулок почти заброшенное старое шоссе № 93, которое ведет в сторону Аляски. Каждый Божий день, в свитерах и парках, мы садились в машину, Эрнест — за рулем, доезжали до определенного дорожного столба, машину оставляли на обочине и отправлялись в путь. Шли бодрым армейским шагом, как испокон веку заведено, — четыре мили в час, две мили в одну сторону и две обратно, проверяя себя по часам. Каждый день мы отъезжали на машине на две мили дальше к северу, так что за полмесяца исходили своими ногами все шоссе, миль на двадцать пять, чуть ли не до самого подножия Галины.

В Вашингтоне одна женщина делала сборник рукописных посвящений семейству Кеннеди. В частности она обратилась с такой просьбой и к Эрнесту, оговорив сорт и габариты бумаги. Я разыскала в деревне нужную бумагу и заказала несколько листов указанных размеров. После обеда Эрнест уселся за письменный стол в углу гостиной — писать задуманный текст. Он собирался сначала набросать его на простой бумаге. Я в это время находилась рядом за открытой дверью, в кухне, наводила порядок после обеда и делала некоторые приготовления к ужину, предполагая, что Эрнест освободится с минуты на минуту. Но он все сидел и сидел, низко наклонившись над столом. Я покончила с делами, прилегла на диван, час почитала, потом спрашиваю:

— Может, я могу чем-то помочь, милый?

— Нет, нет. Я должен тут написать...

— Но ведь требуется всего две-три фразы.

— Знаю, знаю.

Но перо у него в руке неуверенно зависало. В комнате стало не продохнуть от какого-то отчаянного, бесплодного напряжения, оно ощущалось почти как запах, и в конце концов я не выдержала, извинилась и пошла гулять. Спустилась по нашей дороге, потом вверх по узкой скользкой тропке мимо дома Сигелей, мимо дома и выгона Грёноров, постояла, дыша полной грудью, и пошла вниз до шоссе Уорм-Спрингс, свернула на восток, затем еще один поворот, на север, и возвратилась домой.

Эрнест сидел в гостиной у стола все в той же сгорбленной позе. Три или четыре простые фразы, посвященные Кеннеди, были готовы только через неделю. <...>

В пятницу 21 апреля я спустилась с помощью палки вниз и застала Эрнеста еще в клетчатом итальянском халате, стоящим у окна в прихожей. В руках он держал свой любимый охотничий дробовик, а на подоконнике стояли стоймя два патрона.

— Я все думаю, не поехать ли нам в Мексику, — тихо сказала я. — Грегорио мог бы привести туда «Пилар».

Эрнест оглянулся, посмотрел на меня. Но смысл моих слов до него не дошел.

— Я где-то читала, что отличная рыбалка на Юкатане. И Париж мы так толком не обсудили. Можно было бы снять там квартирку. Мы с тобой были очень счастливы в Париже, милый.

Эрнест сделал несколько шагов в гостиную к южному окну, откуда была видна подъездная дорога от ворот до крыльца. Должен был приехать Джордж Сейвиерс. Но не приехал. Все так же держа в руке дробовик, Эрнест опять вышел в прихожую. Я села рядом на кушетку. В голове у меня пронеслись мысли о том, что пытаться отнять у него ружье бессмысленно, что он с четырех шагов преспокойно разнесет мне голову, и при этом я не переставала тихо говорить:

— Родной, ты ведь не сделаешь ничего плохого ни мне, ни самому себе, — и о том, как он был бесстрашен на войне, и в море, и в Африке, напоминая ему, что он хотел опять поехать в Африку, и что столько людей его любят и нуждаются в его поддержке, в его силе, разуме, совете.

С опозданием в пятьдесят минут появился Джордж, громко топая, вошел через заднюю дверь в кухню. Я указала ему глазами на Эрнеста, стоящего в прихожей. Со словами:

— Одну минуту, Папа, мне надо с вами поговорить, — он набрал номер телефона доктора Джона Моритца.

Тот немедленно примчался. Вдвоем они убедили Эрнеста, что он нуждается в отдыхе, и увезли его в больницу. Там ему дали успокоительное, и он проспал остаток дня и всю ночь, но утром, когда я пришла, он уже проснулся и сказал, что хочет домой.

— У меня там остались кое-какие дела.

Нельзя ли поручить их мне? Нет.

Годы спустя, обдумывая все это, я задаюсь вопросом, не было ли в тот раз в наших действиях больше жестокости, чем доброты, когда мы не дали ему совершить самоубийство с первой попытки?

Нелетная погода помешала Джорджу сразу отправить Эрнеста самолетом в Рочестер. Через день или два Эрнест все же настоял на том, чтобы съездить домой и взять кое-

какие вещи. Но Джордж отправил с ним вместе в машине здоровяка Дона Андерсона и медицинскую сестру Джоан Хитгонс. Когда подъехали в заднему крыльцу, Эрнест умудрился выскочить из машины на минуту раньше, чем они, пробежал через кухню мимо хозяйничавшей Кейт и успел вставить патрон в дробовик, прежде чем Дон его догнал. Дон переломил дробовик, и Джоан вынула патрон, а уж после этого они отняли у него оружие и уложили его на диван. Я наверху даже не слышала шума потасовки, а когда спустилась, она была уже позади, только все трое тяжело дышали. В больнице Эрнеста уложили в постель, а его одежду убрали под замок. 25 апреля, поскольку погода исправилась, Джордж и Дон вылетели с Эрнестом с аэродрома Хейли в Рочестер. Пилотом был Ларри Джонсон. Я отправила известие о состоянии Эрнеста его любимой сестре Урсуле в Гонолулу. «Он несдвигаемо убежден, что для него не существует исцеления», — написала я ей. Еще раньше я уведомила Джона и Патрика Хемингуэев. Во флигеле Святой Марии доктор Роум выделил Эрнесту палату в закрытом отделении, входные двери в которые заперты на два замка и постоянно стерегутся, а палаты не запираются, и все окна забраны решеткой. <...>

Вечером дня через два мне в гостиницу позвонил доктор Роум. Не могу ли я завтра в 8.30 утра быть у него в кабинете? У него для меня хорошие новости.

Кабинет доктора Роума во флигеле Святой Марии представлял собой небольшую квадратную комнатку с одним окошком, и, войдя туда ровно в указанное время, я с ужасом увидела Эрнеста, одетого и улыбающегося, как Чеширский кот.

— Эрнест в порядке и может ехать домой, — сказал доктор Роум.

Но я-то знала, что Эрнест вовсе не в порядке, что у него остались те же страхи и навязчивые представления, с какими он лег в клинику. Я поняла, что Эрнест пустил в ход хитрость и обаяние и сумел внушить доктору Роуму, что он якобы совершенно здоров. В этой маленькой комнатке, в присутствии Эрнеста, я была не в состоянии что-либо возразить. Ведь могли же еще быть какие-то лекарства, способные исцелить моего мужа! Но время и место не располагали к спору.

Я позвонила из гостиницы в Нью-Йорк нашему другу Джорджу Брауну и спросила, не может ли он прилететь в Рочестер и отвезти нас на автомобиле домой. Он согласился. Эрнест еще ночь или две провел в больнице, а я

тем временем взяла напрокат «бьюик» с твердым верхом, и рано утром 26 июня мы выехали со двора Святой Марии и покатали на запад по 63-му шоссе. В дороге я делала подробные записи, отмечала каждый день количество пройденных миль, описывала проносящиеся мимо пейзажи, регистрировала даже температуру воздуха. По юго-западной Миннесоте мы много миль ехали среди ровных полей, где в фут высотой уже поднялись хлеба, в траве по обочине цвели шиповник и толокнянка, которую мы оба в детстве называли «индейским табаком», и аромат свежескошенного сена проникал в окна «бьюика». В Митчелле, Южная Дакота, мы с Джорджем покупали продукты, и термометр показывал 92, но в мотеле был кондиционер, и спали мы спокойно. День прошел хорошо, и настроение у всех бьюю вполне бодрое.

Во вторник, 27 июня, мы уже катили то в гору, то под гору по сине-зеленым, серо-зеленым, желто-зеленым, золотисто-зеленым, буро-зеленым холмам с серебристыми куполами силосных башен. Остановились поесть в придорожной закусочной вблизи маленького городка Спирфитша. Эрнест хотел в нем заночевать, предрекал, что дальше вообще не будет места для ночлега, а если мы ляжем спать у дороги, нас арестует полиция штата за то, что мы везем в машине вино. У нас в багажнике лежало несколько бутылок, я вынула их и оставила в придорожной канаве, и мы поехали дальше в горы между округлых вершин, оперенных лесами, до города Муркрофта, штат Вайоминг, где поужинали в грязном кафе, и такого отвратительного кофе, как там подавали, я не пробовала со времен второй мировой войны. В среду панорама представляла собой просторное небо над далекими серо-зелеными холмами, и сладко пахло шалфеем. Когда проезжали городок под названием Лошадь-в-Яблоках, мимо раскрашенного лошадиного силуэта, служившего дорожным щитом у единственной бензозаправочной станции, она же — почта, Эрнест сказал:

— Лошадь-в-Яблоках, что это? Пивная?

В Лодж-Грассе, на территории индейской резервации, заправили «бьюик» бензином и сами заправились поздним завтраком, а проехав еще какое-то время, притормозили, не останавливаясь, там, где отмечено невысоким белым обелиском место последнего боя и гибели генерала Кастера. Покрыв расстояние в 409 миль, к четырем часам дня прибыли в Ливингстон, штат Монтана, остановились в мотеле «Островной курорт» и всю ночь через открытые окна слушали певучее журчанье бегущей внизу реки Йеллоустон.

В четверг 29 июня на берегу водохранилища видели из машины семью антилоп — одного старого самца, одного подростка и пять маток, — и горожанин Джордж поинтересовался:

— А где они прячутся, когда дождь?

После этого свернули к югу на наше знакомое извилистое шоссе № 93 и в 5.45, поздно для нас, остановились в гостинице «Херндон Нью Корт» в Сэлмон-Сити, Айдахо, а еще через сутки, устроив сначала пикник на Сэлмон-ривер, подкатили к крыльцу своего дома, проехав в общей сложности от Рочестера до Кетчума 1786 миль. Джордж, безотказный и безупречный, — за рулем, а я — каждый вечер распаковывая и снова запаковывая поутру вещи мужа и всю дорогу напевая ему на ухо наши старые испанские, французские и итальянские народные песенки, да еще любимую американскую «Любовью вертится земля». Не суетясь, разобрали вещи, я на скорую руку собрала обед из запасов, заложенных в холодильник. Все ружья я еще перед отъездом заперла в подвальной кладовке, а ключи от нее, вместе с прочими, оставила в кухне на подоконнике. Подумала было сначала спрятать, но решила, что нельзя лишать человека права входа в собственный подвал, да к тому же едва ли Эрнест о нем и вспомнит.

В субботу 1 июля Эрнест выгнал Джорджа Брауна на прогулку по холмам к северу от дома — низкие городские туфли Джорджа не могли служить защитой от крапивы, выросшей вокруг дома, — а потом они съездили навестить в больницу Джорджа Сейвиерса, который оказался на месте, и Дона Андерсона, которого на месте в физкультурном отделении не оказалось. Заглянул поболтать на солнышке, не заходя в дом, Чак Аткинсон, а вечером Эрнест угощал меня и Джорджа Брауна ужином в ресторане «Христиания», через улицу против Аткинсоновского мотеля и магазина.

Когда мы усаживались в углу за столик, Эрнест обратил внимание на двух мужчин, расположившихся за другим столиком, в глубине зала, и спросил нашу официантку Сузи, кто это.

— Какие-то коммерсанты, кажется, из Твин-Фолз, — ответила Сузи. В городе было полным-полно туристов.

— В воскресенье вечером коммерсанты бы домой уехали, — возразил Эрнест.

Сузи пожала плечами.

— Они из ФБР, — тихо сказал Эрнест.

— Что за чепуха, мальщ, — возразила я. — Они на нас даже и не смотрят. Как насчет бутылочки вина?

Джордж, вина не пивший, бережно отвез нас домой. Раздеваясь в большой спальне, я запела старую итальянскую пес-

ню «Tutti mi chiamano bionda. Ma bionda io non sono»¹. Эрнест из своей комнаты подхватил: «Porto capelli neri»² — и я забралась в свою ароматную, широкую постель, где под розовыми дырчатыми одеялами, Эрнест знал, для него всегда было место.

— Покойной ночи, милый! — крикнула я ему. — Приятного сна.

— Покойной ночи, котенок, — отозвался он ласково и дружелюбно.

Утром меня разбудил стук двух с размаху задвинутых ящичков комода. Спросонья, как в тумане, я спустилась в гостиную и увидела у порога бесформенную грудку: клетчатый халат, кровь, поверх всего — дробовик.

Я не лгала сознательно, когда заявила в прессе, что это был несчастный случай. Прошло несколько месяцев, прежде чем у меня хватило сил осознать правду.

¹ Все называют меня блондинкой, но я не блондинка (*ит.*).

² Волосы у меня черные (*ит.*).

КОММЕНТАРИИ

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Листер Хемингуэй, младший брат писателя — между ними была разница в 16 лет, — оказался единственным членом семьи, с которым Эрнест после того, как в возрасте 21 года навсегда ушел из родительского дома, поддерживал родственные, а временами даже дружеские отношения. Листер гостил у него в Ки-Уэст, потом бывал на Кубе, не раз сопровождал Эрнеста в его рыболовных экспедициях.

Летом 1944 года, вакавуе высадки англо-американских войск в Нормандии, Листер, служивший в Лондоне в киногруппе документальных фильмов армии США, общался с Эрнестом, приехавшим в Англию в качестве военного корреспондента журнала «Колльерс». После освобождения Парижа часто виделся там с Эрнестом.

Их встречи продолжались и после войны, когда Листер приезжал на Кубу погостить у Эрнеста.

Листер с детства преследовался перед старшим братом и старался во всем ему подражать. Он избрал профессию журналиста, однако не очень преуспел в ней, занимался охотой и рыбной ловлей, писал романы, но весьма слабые. В одном из них («Звук трубы», 1953) изобразил себя и Эрнеста во время войны.

В 1962 году выпустил книгу мемуаров «Мой брат. Эрнест Хемингуэй», которая в течение ряда лет служила главным источником сведений о биографии Хемингуэя, тем более, что помимо описания событий, свидетелем которых он был, Листер использовал в своей книге письма брата и его первой жены Хэдди, хранящиеся в семье.

В 1982 году Листер Хемингуэй покончил жизнь самоубийством.

Перевод фрагментов осуществлен по изд.: Hemingway Leicester. My brother. Ernest Hemingway. N.Y., 1961.

Стр. 21. Эрнест же, в том весь вышет из викторианской эпохи 90-х годов. — Имеется в виду царствование королевы Великобритании Виктории (1819 — 1901), правившей с 1837 по 1901 г., отмеченное пуританской строгостью нравов.

Стр. 25. ...*Третьей конгрегационалистской церкви*. — Конгрегационалисты — приверженцы кальвинизма, придерживаются полной автономии церковной общины.

Стр. 27. ...*о сражениях Гражданской войны*. — Имеется в виду Гражданская война в США 1861—1865 гг. между буржуазным Севером и рабовладельческим Югом.

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭВ»

Старшая сестра Хемингуэя. В 1963 году выпустила книгу воспоминаний «В доме у Хемингуэев».

Перевод фрагментов выполнен по изд.: Sanford Marcelline. At the Hemingways: a family portrait. Boston., 1963.

ЛЬЮИС КЛАРАГАН

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА
«ДОЛГИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Товарищ Хемингуэя по школе в Оук-Парке, они вместе охотились, увлекались рыбной ловлей, боксом.

Перевод выполнен по изд.: Brian D. The True Gen. N.Y., 1988. Этот сборник интервью, взятых американским журналистом Дэнисом Брайаном у оставшихся в живых людей — родственников, жен, друзей и просто знакомых Хемингуэя, — существенно дополняет имевшуюся ранее мемуарную литературу о нем.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 39. *Полевая служба американского Красного Креста*. — Имеется в виду Транспортный корпус американского Красного Креста, в который в апреле 1918 г. вступил добровольцем Хемингуэй.

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭВ»

Стр. 42. ...*во время битвы за Булл-Ран*. — 21 июля 1861 г. в ходе Гражданской войны в США армия северян в битве при Булл-Ране потерпела крупное поражение.

ТЕОДОР БРАМБАК

«С ХЕМИНГУЭМ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ БЫЛ НАПИСАН РОМАН
«ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ»

Теодор Брамбак, сын судьи в Канзас-Сити, успел с июля по ноябрь 1918 г. отслужить во Франции в Транспортном корпусе американского Красного Креста, по возвращении в Канзас-Сити стал работать репортером в газете «Стар», где и познакомился с Хемингуэем. Вместе с ним вновь вступил в американский Красный Крест, и 28 мая 1918 г. на борту парохода «Чикаго» они отплыли в Европу, направляясь в Италию на итало-австрийский фронт.

Перевод выполнен по изд.: Hemingway Ernest. Cub reporter. Pittsburg, 1970.

Стр. 49. *Христианский союз молодых людей* — общественно-религиозная молодежная организация в США.

ДЖОН МИЛЛЕР

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЯНА
«ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Джон Миллер вместе с Хемингуэем плыл на пароходе «Чикаго» в Европу, направляясь в Италию на итало-австрийский фронт.

Перевод выполнен по изд.: Brian D. The True Gen.

АГНЕС ФОН КУРОВСКИ СТЕНФИЛД

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЯНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Агнес фон Куровски, американка немецкого происхождения, работала медицинской сестрой в госпитале американского Красного Креста в Милане, куда попал после ранения Хемингуэй. Между ними возникли любовные отношения, и хотя она впоследствии отрицала, что между ними была физическая близость, ссылаясь на то, что была старше его на семь лет, сам Хемингуэй не раз утверждал это. История их любви в сильно трансформированном виде нашла свое отражение в «Очень коротком рассказе» и в романе «Прощай, оружие!».

Перевод выполнен по изд.: Brian D. The True Gen.

ШЕРВУД АНДЕРСОН

ИЗ КНИГИ «МЕМУАРЫ»

Шервуда Андерсона с Хемингуэем познакомил в декабре 1920 года в Чикаго Кингли Смит, в квартире которого одно время жил Хемингуэй.

Андерсон был тогда уже в расцвете славы, в 1919 году вышел сборник его рассказов «Уайнсбург, Огайо», и он не без оснований считал себя одним из основоположников новой американской литературы. Хемингуэй в те годы, по свидетельству Грегори Кларка, редактора торонтской газеты «Стар», в которой сотрудничал Эрнест, постоянно читал Андерсона и много говорил о нем. Андерсон тогда только что вернулся после полугодового пребывания в Париже, охотно делился с Хемингуэем своими восторгами по поводу Парижа и советовал ему уехать туда.

В декабре 1921 года, когда Хемингуэй отправился в Париж в качестве корреспондента торонтской «Стар», Андерсон снабдил его рекомендательными письмами к своим парижским друзьям — Гертруде Стайн и другим.

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Anderson Sherwood. Memoirs. N.Y., 1942.

Стр. 90. *Фолкнер служил в английских военно-воздушных силах* — распространенная ошибка, поддерживавшаяся, кстати сказать, самим Фолкнером. В действительности Фолкнер только был курсантом в школе военных летчиков в Канаде, но война закончилась прежде, чем он был выпущен из школы.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 92. *Сохо или Гривач-Виллидж* — районы в Лондоне и Нью-Йорке, где селилась артистическая и писательская богема.

...*поехать в Геную, чтобы осветить ход европейской экономической конференции.* — Генуэзская конференция по экономическим и финансовым вопросам проходила в апреле — мае 1922 г.

СИЛЬВИЯ БИЧ

ИЗ КНИГИ «ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

Американка, прожившая почти всю жизнь в Париже, Сильвия Бич с 1919-го по 1940 год была хозяйкой книжной лавки «Шекспир и К^о». Она дружила со многими английскими и американскими писателями, жившими в 20-е годы в Париже, в том числе и с Хемингуэем, поддерживала начинающих писателей.

Перевод фрагмента выполнен по изд.: В e a c h Sylvia. Shakerspeare and Company. N.Y., 1959.

Стр. 95. *Хемингуэй поведал мне, что, когда он еще учился в школе... трагически погиб его отец.* — Ошибка: отец Хемингуэя доктор Кларенс Хемингуэй покончил жизнь самоубийством в 1928 г.

...*потом он поехал в Канаду и зачисллся на военную службу.* — По-видимому, эти рассказы Хемингуэя Сильвии Бич следует отнести к его фантазиям.

ГЕРТРУДА СТАЙН

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ
АЛИСЫ Б. ТОКЛАС»

Американская писательница, с 1902-го и до своей смерти в 1946 году проживавшая в Париже, Гертруда Стайн стала одной из зачинателей авангардистской американской литературы. Она много экспериментировала в области формы. Хемингуэй часто бывал у Г. Стайн, прислушивался к ее суждениям и критическим оценкам. Впоследствии он писал: «Ее метод неocenим для анализирования любого явления или для описания человека или места».

В своих мемуарах, стилизованных ею под автобиографические записки ее компаньонки Алисы Токлас, она уделила место и своим отношениям с Хемингуэем, сильно преувеличив степень своего влияния на становление Хемингуэя как писателя, что вызвало его резкое недовольство и привело к разрыву их дружеских отношений. Хемингуэй свел с ней счеты в опубликованных посмертно эссе «Праздник, который всегда с тобой».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Stein Gertruda. The Autobiography of Alice B. Toklas. N.Y., 1933.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 103. ...*во Фраки ожидалось наступление турков на греческую армию.* — Речь идет о греко-турецкой войне 1919—1922 гг., закончившейся изгнанием греческой армии из Анатолии. Хемингуэй в качестве корреспондента торонтской «Стар» наблюдал отступление греческой армии и описал увиденное им в миниатюрах в книге рассказов («в наше время»).

Стр. 104. ...*Лозаннская мирная конференция* — международная конференция, созванная для урегулирования ближневосточных проблем, возникших после греко-турецкой войны, проходила в ноябре 1922 — июле 1923 гг.

Стр. 105. ...*британский Форин-офис* — министерство иностранных дел Великобритании.

Стр. 106. ...*французская оккупация Рура.* — После победы в первой мировой войне Франция временно оккупировала у Германии угольный бассейн Рур.

Билл Бёрд подталкивал его на то, чтобы собрать очерки и рассказы в сборник, который будет назван «в наше время». — В сборник, выпущенный Бёрдом в 1924 г., вошли прозаические миниатюры, которые в следующем сборнике «В наше время», выпущенном американским издательством «Бони и Ливрайт», перемезжали рассказы.

ЛИНКОЛЬН СТЕФФЕНС

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ»

Американский журналист, зачинатель движения «разгребателей грязи», ставившего своей целью разоблачение коррупции городских и прочих властей в США, Линкольн Стеффенс познакомился с молодым журналистом Хемингуэем в ноябре 1922 года на Лозаннской конференции.

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Steffens Lincoln. Autobiography. N.Y., 1931.

ХЭДЛИ ХЕМИНГУЭЙ МОУРЕР

ИЗ КНИГИ ДЖИСА БРАЙАНА
«ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Хэдли Ричардсон родилась в 1891 году в Сент-Луисе, была способной пианисткой. Осенью 1920 года Кэт Смит, с которой она дружила в колледже, пригласила ее погостить в Чикаго. Там, в доме Смитов, Хэдли познакомилась с Эрнестом Хемингуэем, который был на восемь лет ее младше. В сентябре 1921 года она вышла за него замуж, и вскоре они уехали в Париж. В 1923 году родила сына Джона, прозванного в семье Бэмби. Ей и сыну посвятил Хемингуэй свой первый роман «И восходит солнце». Произошло это уже после разрыва между ними, вызванного влюбленностью Эрнеста в Полину Пфейффер, ставшую его второй женой. Развод Хэдли и Эрнеста был оформлен 27 января 1927 года. Они и после развода оставались в дружеских отношениях. Впоследствии Хэдли вышла замуж за Поля Моурера.

Перевод выполнен по изд.: Brian D. The True Gen.

МОРЛИ КАЛЛАГЭН

ИЗ КНИГИ «ТЕМ ЛЕТОМ В ПАРИЖЕ»

Канадец Морли Каллагэн познакомился с Хемингуэем в 1923 году, когда Хемингуэй вернулся из Парижа в Торонто, оба они работали тогда в редакции торонтской газеты «Стар». Хемингуэй при этом знакомстве приободрил начинающего писателя. Потом они встретились вновь в Париже, где завязалась их дружба. Каллагэн одно время был партнером Хемингуэя по боксу. Впоследствии Каллагэн написал об этом периоде книгу мемуаров «Тем летом в Париже. Воспоминания о непростой дружбе с Хемингуэем, Фицджеральдом и некоторыми другими».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Callaghan Morley. That Summer in Paris. N.Y., 1964.

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Стр. 125. *Это был тот самый год, когда Эрнест сопровождал Стеффенса на Женевскую конференцию.* — Марселина спутала даты и события — в действительности Хемингуэй познакомился с Линкольном Стеффенсом на Лозаннской конференции в 1922 г. (а не на Женевской!). Именно тогда у Хэдли на вокзале украли чемодан со всеми рукописями Эрнеста.

СИЛЬВИЯ БИЧ

ИЗ КНИГИ «ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

Стр. 129. *Улисс* — герой древнегреческого эпоса, мифический царь острова Итаки.

Минерва — богиня, отождествлявшаяся с древнегреческой Афиной, в числе ее функций была и помощь путешествуящим.

...экземпляры изданного мной «Улисса» проникли в Соединенные Штаты не без участия Хемингуэя. — Описываемый Сильвией Бич эпизод относится к 1922 г., когда она на свои средства издала роман Д. Джойса «Улисс», однако цензура в Англии и в США запретила его как «безнравственный».

ХЭДЛИ ХЕМИНГУЭЙ МОУРЕР

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЯНА
«ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Стр. 132. *Гарольд Леб так никогда и не смог пережить ту сердечную боль, которую у него вызвал роман Эрнеста.* — Речь идет о романе Хемингуэя «И восходит солнце», в котором Гарольд Леб весьма узнаваемо был выведен под именем Роберта Кона.

Стр. 133. *...то, что он позднее сделал с Шервудом Андерсоном в пародии «Вешние воды».* — Имеется в виду изданная в 1926 г. повесть Хемингуэя «Вешние воды», являвшаяся довольно злой пародией на книгу Ш. Андерсона «Темный смех».

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ,
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 137. *...он и Хэдли с прошлого сентября живут порознь.* — В феврале 1926 г. у Хемингуэя начался роман с Полиной Пфейффер, в августе они с Хэдли расстались, развод между ними был оформлен в январе 1927 г. В мае 1927 г. он женился на Полине.

ГАРОЛЬД ЛЕБ

ИЗ КНИГИ «ВОТ ТАК ЭТО БЫЛО»

Гарольд Леб, сын известного банкира, партнера богатейшего банкирского дома «Кун и Леб». Выпускник Принстонского университета, он решил посвятить себя литературе и выпускал в США журнал «Брум». В 20-е годы жил в Париже и был в дружеских отношениях с Хемингуэем, который тем не менее вывел его не в очень благоприятном свете под именем Роберта Кона в романе «И восходит солнце». В 1959 году выпустил книгу мемуаров «Вот так это было».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: L o e b Harold. The way it was. N.Y., 1959.

РОБЕРТ МАК-ЭЛМОН

ИЗ КНИГИ «ВСЕ МЫ БЫЛИ ТОГДА ГЕНИЯМИ»

Американский поэт, прозаик и издатель Роберт Мак-Элмон в 20-е годы жил в Париже, дружил с Хемингуэем, издал его первую книгу «Три рассказа и десять стихотворений».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Mc Almon Robert. Being geniuses together. N.Y., 1938.

ДЖЕД КАЙЛИ

ИЗ КНИГИ «ХЕМИНГУЭЙ.
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ДРУГА»

Джед Кайли, американец, живший в 20-е годы в Париже, занимался немного литературой, издавал журнальчик «Бульвардье». Одновременно с этим содержал на Монпарнасе ночной бар для американцев, увлекался боксом. На этой почве сблизился с Хемингуэем. Встречался с ним и в 30-е годы на Бимини. Написал книгу мемуаров «Хемингуэй. Воспоминания старого друга».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Kiley Jed. Hemingway: old friend remembers. N.Y., 1965.

ГЕРТРУДА СТАЙН

ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС»

Стр. 166. ...Мак-Элмон издал три стихотворения и десять рассказов Хемингуэя. — Ошибка Г. Стайн: первая книга Хемингуэя называлась «Три рассказа и десять стихотворений».

ДЖОН ДОС ПАССОС

ИЗ КНИГИ «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

Американский писатель. Хемингуэй познакомился с ним летом 1918 года в Италии на фронте, где Дос Пассос тоже водил санитарную машину. Вновь они встретились в 1922 году в Париже, и между ними возникла тесная дружба. Их отношения были порваны во время гражданской войны в Испании, когда Дос Пассос, убоявшись опасностей, спешно уехал из Мадрида.

В 1966 году Дос Пассос выпустил книгу воспоминаний «Лучшие времена».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: D o s P a s s o s John. The best times. N.Y., 1966.

Стр. 179. ...*что делать с ливрайтовским контрактом?* — По контракту с американским издательством «Бони и Ливрайт», выпустившим книгу Хемингуэя «В наше время», Хемингуэй обязывался отдать этому издательству и следующую свою книгу. В случае, если издательство отказывалось принять эту вторую книгу, оно теряло права на третью. Посылая издательству «Бони и Ливрайт» рукопись «Вешних вод», Хемингуэй знал, что они откажутся от издания этой пародии на Шервуда Андерсона, который был их главным автором. Таким образом, он мог отдать роман «И восходит солнце» издательству Скрибнера, которое согласилось издать «Вешние воды», чтобы заполнить роман «И восходит солнце».

МАРСЕЛИНА ХЕМИНГУЭЙ САНФОРД

ИЗ КНИГИ «В ДОМЕ У ХЕМИНГУЭЕВ»

Стр. 193. *Эрнест... еще раньше перешел в веру Полены.* — Женившись на Полине Пфейффер, ревностной католичке, Хемингуэй перешел в католическую веру.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 194. ...*во время испано-американской войны.* — Война 1898 г. между США и Испанией за обладание испанскими колониями.

Стр. 203. ...*тем, что Макс Истмен написал обо мне в «Нью Рипаблик».* — В июне 1933 г. давний знакомый Хемингуэя Макс Истмен опубликовал в журнале «Нью Рипаблик» критическую статью о Хемингуэе под названием «Бык после полудня». В ней он утверждал, что Хемингуэй скрывает свою слабость и чувствительность под маской мужественности. Эта черта, писал Истмен, породила «литературный стиль, если можно так сказать, фальшивых волос на груди».

Хемингуэй был взбешен статьей Истмена, и когда через четыре года, в 1937 г., он столкнулся с Истменом, то устроил ему большой скандал и ударил раскрытой книгой по лицу.

Стр. 205. *Кинтаналья... входил в состав революционного комитета во время октябрьских волнений.* — Испанский художник Луис Кинтаналья был арестован и приговорен к тюремному заключению за участие в волнениях в октябре 1934 г., вспыхнувших в знак протеста против включения Испанской католической партии в правительство Испанской Республики.

ГАРРИ СИЛЬВЕСТР

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Гарри Сильвестр — американский писатель, часто общался с Хемингуэем в 30-е годы в Ки-Уэст.

Стр. 208. *...он крутился вокруг Марты Гельхорн.* — Хемингуэй познакомился с журналисткой Мартой Гельхорн в декабре 1936 г. в баре Джо Расселла в Ки-Уэст, и между ними завязался роман. В марте 1937 г. она приехала в качестве корреспондента журнала «Колльерс» в Испанию, где уже шла гражданская война, и присоединилась там к Хемингуэю. На протяжении войны она не раз сопровождала его в поездках на фронты, разделяла с ним опасности жизни в осажденном Мадриде. После испанской войны Хемингуэй расстался с Полиной (развод был оформлен 3 ноября 1940 г.) и поселился с Мартой на Кубе. Они поженились 21 ноября 1941 г. После окончания второй мировой войны, когда Хемингуэй сошелся с Мэри Уэлш, они развелись с Мартой.

ТОМАС ШЕВЛИН

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Томас Шевлин, богатый американец, увлекавшийся спортом и охотой, познакомился с Хемингуэем на Бикини зимой 1934—1935 годов. Впоследствии они вместе охотились в Вайоминге и Монтане.

ДЖОН ДОС ПАССОС

ИЗ КНИГИ «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

Стр. 222. *Партийность довлела над «Нью Мэссиз».* — «Нью Мэссиз» — журнал либерального толка, близкий тогда к коммунистам. Начало 30-х годов, время великого кризиса, было отмечено резким полевением американской творческой интеллигенции, усилением среди нее влияния коммунистической идеологии.

ЙОРИС ИВЕНС

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА
«ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Голландский кинорежиссер-документалист, Йорис Ивенс снимал вместе с Хемингуэем в Испании документальный фильм «Испанская земля». Перевод фрагмента выполнен по изд.: Brian D. The True Gen.

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

«ОН БЫЛ С НАМИ В ИСПАНИИ»

Русский поэт Алексей Эйснер начал печататься в эмиграции во Франции. Принадлежал к левому крылу русской эмиграции, стремившейся вернуться на родину. С начала гражданской войны в Испании Эйснер отправился туда добровольцем, был адъютантом у генерала Лукача — венгерского писателя Мате Залки. После поражения Республики Эйснер приехал в СССР, где был репрессирован. В 1956 г. реабилитирован, жил в Москве, занимался литературой.

Текст печатается по изд.: Новый мир, 1961, № 9.

Стр. 262. ...*прочитав «Доберто»*. — Имеется в виду роман Мате Залки о первой мировой войне.

...*противопоставляя его роману Ремарка*. — Имеется в виду роман Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» о первой мировой войне.

ХОСЕ ЛУИС ЭРРЕРА СОТОЛОНГО

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА «ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Испанский врач Хосе Луис Эррера в годы гражданской войны в Испании был одним из руководителей санитарной службы XII Интербригады, которой командовал генерал Лукач. Там, на фронте, он познакомился с Хемингуэем. Избежав смертной казни, к которой приговорил его франкистский трибунал, Эррера эмигрировал на Кубу, в течение более 20 лет был близким другом и личным врачом Хемингуэя.

Текст фрагмента печатается по изд.: Фуэнтес Норберто. Хемингуэй на Кубе, 1988.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»

Советский писатель, публицист и общественный деятель, И. Эренбург в годы гражданской войны в Испании был там корреспондентом газеты «Известия». В Мадриде познакомился с Хемингуэем.

Текст фрагмента печатается по изд.: Эренбург И. Люди, годы, жизнь, 1963.

РОМАН КАРМЕН

ИЗ КНИГИ «НО ПАСАРАНЬ»

Советский режиссер и оператор документального кино, Р. Л. Кармен в годы гражданской войны в Испании снимал там хронику боевых действий. На фронте познакомился с Хемингуэем.

Текст фрагмента печатается по изд.: Кармен Р. Но пасарань! 1972.

ГЕРБЕРТ МЭТТЮЗ

ИЗ КНИГИ «СТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТА»

Американский журналист и писатель, Герберт Мэттьюз во время гражданской войны в Испании был там корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс». Неоднократно сопровождал Хемингуэя в поездках по фронтам.

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Matthews Herbert. The education of a correspondent. N.Y., 1946.

АЛЬВА БЕССИ

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ В БОЮ»

Американский писатель, журналист, в годы гражданской войны в Испании воевал добровольцем в батальоне имени Авраама Линкольна. На фронте познакомился с Хемингуэем. Автор книги об испанской войне «Люди в бою», к которой Хемингуэй написал предисловие.

Перевод фрагмента печатается по изд.: Бесси Альва. Люди в бою. 1981.

ДЖОЗЕФ НОРТ

ИЗ КНИГИ «НЕТ ЧУЖИХ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»

Американский журналист, автор репортажей о гражданской войне в Испании. Там, на фронте, познакомился с Хемингуэем.

Перевод фрагмента печатается по изд.: Норт Джозеф. Нет чужих среди людей. 1983.

АРНОЛЬД ЛЛОЙД

ИЗ КНИГИ «ВЫСОКО В ГОРАХ С ХЕМИНГУЭМ»

Арнольд Ллойд — фотограф в Сан-Вэлли, друг Хемингуэя.

Перевод выполнен по изд.: Lloyd Arnold. High on the Wild. Calif., 1968.

РОБЕРТ КАПА

ИЗ КНИГИ «СЛЕГКА НЕ В ФОКУСЕ»

Известный фотожурналист, Роберт Капа, венгр по национальности, познакомился с Хемингуэем в Испании в годы гражданской войны и стал его другом. Потом они встретились в Лондоне летом 1944 года накануне высадки союзных войск в Нормандии и в освобожденном Париже. Автор книги воспоминаний «Слегка не в фокусе».

Перевод фрагмента выполнен по изд.: Capa Robert. Slightly out of focus. N.Y., 1947.

МЭРИ УЭЛШ ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Четвертая (последняя) жена Хемингуэя, познакомилась с ним летом 1944 года в Лондоне, где Мэри Уэлш работала в лондонском бюро журналов «Тайм» и «Лайф», а Хемингуэй прибыл туда в качестве военного корреспондента журнала «Колльерс». После освобождения Франции, когда Хемингуэй обосновался в Париже, Мэри последовала туда за ним, и их отношения продолжались.

После окончания войны Хемингуэй и Мэри уехали на Кубу и там в марте 1946 года оформили свой брак.

В 1976 году Мэри Уэлш Хемингуэй опубликовала книгу воспоминаний «Как это было».

Перевод фрагментов выполнен по изд.: Welsh Hemingway Mary. How it was. N.Y., 1976.

ЛИСТЕР ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «МОЙ БРАТ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 327. ...по объявлено в том, что он нарушил статус военного корреспондента. — Согласно Женевской конвенции, военным корреспондентам запрещалось принимать участие в боях и носить оружие.

ДЭВИД БРЮС

ИЗ КНИГИ ДЭНИСА БРАЙАНА «ПОДЛИННАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Полковник американской армии Дэвид Брюс во время операции по освобождению Франции руководил стратегической разведкой армии США на французской территории. С Хемингуэем встретился в Рамбуйе, где они вдвоем собирали разведывательные сведения, способствовавшие освобождению Парижа. После войны Брюс был послом США во Франции, в Западной Германии и Великобритании.

МЭРИ УЭЛШ ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Стр. 342. ... «Я выражаю волю, чтобы ни одно из писем, мною в жизни написанных, не было опубликовано». — В данной сноске Мэри Хемингуэй пишет, что позволяет себе слегка отступить от этого запрета. Через пять лет, в 1981 г., с ее разрешения и при ее помощи известный американский литературовед, автор фундаментальной биографии Хемингуэя Карлос Бейкер опубликовал том «Избранных писем» Хемингуэя.

ДЖОН ГРОТ

ИЗ КНИГИ «СТУДИЯ — ЕВРОПА»

Американский график Джон Грот в 1933—1936 годах был художественным редактором журнала «Эсквайр», где регулярно печатался Хемингуэй. Грот иллюстрировал некоторые его рассказы. Их встреча произошла в сентябре 1944 года во время боев за линию Зигфрида, на ферме, находившейся в 150 ярдах от немецких дотов.

ХИЛЬБЕРТО ЭНРИКЕС

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА
«ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Хильберто Энрикес мальчиком жил в Сан-Франсиско-де-Паула по соседству с Финкой Вихией — домом Хемингуэя.

ЛУИС ВИЛЬЯРЕАЛЬ

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА
«ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Луис Вильяреаль мальчиком жил в Сан-Франсиско-де-Паула по соседству с Финкой Вихией — домом Хемингуэя.

ЛИЛИАН РОСС

«ПОРТРЕТ ХЕМИНГУЭЯ»

Американская журналистка Лилиан Росс впервые встретила с Хемингуэем в декабре 1947 года в Кетчуме. Ее очерк «Портрет Хемингуэя» был напечатан в журнале «Нью-Йоркер» 15 мая 1950 года.

Текст печатается по изд.: Росс Лилиан. Портрет Хемингуэя. М., Правда, 1966.

Стр. 367. *Тутс Шор* — ресторан в центре Нью-Йорка, где собирались писатели, художники, артисты.

Стр. 375. «*Солнце*». — Имеется в виду роман «И восходит солнце».

Стр. 379. ...*люблю Ингрид*. — Имеется в виду Ингрид Бергман, известная киноактриса.

Четвертая пехотная дивизия. — С этой дивизией американской армии Хемингуэй воевал во Франции, Бельгии и в Германии.

Стр. 380. ...*два года проучился на ускоренных военных курсах*. — Одна из выдумок Хемингуэя.

Стр. 388. ...*отец... застрелился, когда Эрнест был еще мальчиком*. — Ошибка, отец Хемингуэя застрелился в 1928 г.

А. Е. ХОТЧНЕР

ИЗ КНИГИ «ПАПА ХЕМИНГУЭЙ»

Американский сценарист А. Е. Хотчнер познакомился с Хемингуэем весной 1948 года в Гаване. Впоследствии между ними завязались дружеские отношения — Хемингуэй приглашал Хотчнера сопровождать его в поездках по Европе, на ловлю крупной рыбы на Кубу, на охоту в Кетчуме. Хотчнер также принимал участие в хлопотах по устройству Хемингуэя в клинику и консультаций с врачами.

Когда в 1966 году Хотчнер начал публиковать в «Сатердей Ивнинг Пост» свои воспоминания о Хемингуэе, Мэри Хемингуэй, которая в это время работала над своими мемуарами, подала на него в суд, требуя прекратить публикацию, но суд отклонил ее претензии. Хотчнер издал свою книгу «Папа Хемингуэй» в том же 1966 году.

Перевод фрагментов выполнен по изд.: Hotchner A.E. Papa Hemingway. N.Y., 1966.

АДРИАНА ИВАНЧИЧ

ХЕМИНГУЭВСКАЯ РЕНАТА — ЭТО Я

Адриана Иванчиц, венецианка из древнего аристократического далматинского рода, познакомилась с Хемингуэем в 1949 году в Венеции, когда ей было 19 лет. Их дружба растянулась на многие годы. Она стала прообразом Ренаты в романе «За рекой, в тени деревьев».

В 1983 году покончила жизнь самоубийством.

Перевод выполнен по журналу «Ероса», 1965, № 774.
Стр. 418. *Мондадори* — крупное итальянское издательство.

ГРЕГОРИО ФУЭНТЕС

ИЗ КНИГИ НОРБЕРТО ФУЭНТЕСА
«ХЕМИНГУЭЙ НА КУБЕ»

Грегорио Фуэнтес — кубинский рыбак, с 1938 года бессменный шкипер рыболовного катера Хемингуэя «Пилар».

УИЛЬЯМ СЬЮАРД

ИЗ КНИГИ «МОЙ ДРУГ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ»

Уильям Сьюард — американский литературовед, руководитель отделения английского языка в университете Олд Доминион.

Перевод фрагмента выполнен по изд.: S e w a r d W. My friend Ernest Hemingway. London, 1969.

МЭРИ УЭЛШ ХЕМИНГУЭЙ

ИЗ КНИГИ «КАК ЭТО БЫЛО»

Стр. 440. ...*можно переезжать через реку Бидассао*. — Весной 1953 г. впервые после поражения Испанской Республики и установления диктатуры Франко Хемингуэй поехал в Испанию.

Стр. 441. *Переночевав в Эптеббе*. — В конце 1953 г. Хемингуэй с Мэри отправились в Африку.

ХУАН ГОЙТИСОЛО

ВСТРЕЧАЯСЬ С ХЕМИНГУЭЕМ

Хуан Гойтисоло — испанский писатель. В 1959 году в Испании познакомился с Хемингуэем.

Перевод печатается по журналу «Иностранная литература», 1966, № 1.

А. Е. ХОТЧНЕР

ИЗ КНИГИ «ПАПА ХЕМИНГУЭЙ»

Стр. 492. *Мы решили, что я отвезу рукопись в Нью-Йорк*. — Речь идет о рукописи книги «Опасное лето».

Стр. 493. *Этот роман все еще не опубликован, но, несомненно, будет* — Имеется в виду опубликованный посмертно роман, вышедший под названием «Острова в океане».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Андерсон Шервуд (1876—1941) — американский писатель — 9, 10, 87, 90, 92, 94, 99, 117, 146, 148, 165, 167, 168, 172, 179, 202, 203, 397.
- Андреа дель Сарто (1486—1530) — итал. живописец — 469.
- Антейл Джордж (1900—1959) — амер. композитор. В 20-е годы жил в Париже, был дружен с Хемингуэем — 166.
- Арагон Луи (1897—1982) — франц. писатель — 140.
- Аш Натан (1902—1964) — амер. писатель, в 20-е годы в Париже дружил с Хемингуэем — 138.
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, теоретик анархизма — 294.
- Барнс Джуна — амер. поэтесса — 147.
- Бартон Оскар (1889—1963) — генерал амер. армии. В 1942—1944 гг. командовал 4-й пехотной дивизией, сражавшейся во Франции, Бельгии и на территории Германии — 323, 351.
- Барух Бернар (1870—1965) — амер. госуд. деятель, мультимиллионер, советник нескольких амер. президентов — 382.
- Бауэрс Клод — франц. дипломат, работавший в Испании — 238.
- Бах Иоганн Себастьян (1685—1750) — немецкий композитор — 392.
- Бенет Стефан Сен-Виксен — английский писатель — 375.
- Бергман Ингрид (1915—1982) — шведская киноактриса, сделавшая свою карьеру в Голливуде. Играла Марию в фильме «По ком звонит колокол». Была другом Хемингуэя — 17, 379, 397, 417.
- Бёрд Уильям (1888—1936) — амер. журналист и издатель. Создатель издательства «Три маунтин пресс», где он печатал книги амер. и англ. писателей, в том числе и Хемингуэя — 102, 138, 141, 145, 148, 149, 150, 166, 177.
- Бесси Альва (1904—1985) — амер. журналист, писатель. Во время гражданской войны в Испании сражался в бригаде Линкольна. Автор книги об испанской войне «Люди в бою», к которой Хемингуэй написал предисловие — 278, 291.
- Бирбом Макс (1872—1956) — англ. писатель, юморист и карикатурист — 93.
- Бич Сильвия (1887—1962) — американка, литературная деятельница. С 1919 по 1941 г. содержала в Париже книжную лавку, которая стала культурным центром — 10, 94, 127, 197, 326, 335.
- Бишоп Джон — амер. поэт. В 20-е годы в Париже был близок к Хемингуэю — 227.
- Бовуар Симона де (1908—1986) — франц. писательница, жена Ж.-П. Сартра — 349.
- Бодлер Шарль (1821—1867) — франц. поэт — 366, 380.
- Болито Уильям Райалл (1890—1930) — англ. журналист, познакомился с Хемингуэем на Лозаннской конференции — 105.

- Брак Жорж — франц. художник — 396.
- Брамбак Теодор — товарищ Хемингуэя по работе в газете «Канзас Стар», вместе с ним выступил добровольцем в Американский Красный Крест, и они вместе уехали на фронт в Италию — 39, 42, 45, 55, 77.
- Браунинг Роберт (1812—1889) — англ. поэт — 46, 393.
- Брейгель Питер (между 1525 и 1530—1569) — нидерландский живописец и рисовальщик — 389, 390.
- Брейден Стрюйлл (1894—1978) — амер. посол на Кубе в годы второй мировой войны — 307.
- Бромфилд Луис (1896—1956) — амер. писатель. В середине 30-х годов жил в Париже, общался с Хемингуэем — 166.
- Браун Хейвуд — амер. спорт. журналист — 204.
- Брюс Дэвид (1898—1977) — полковник американской армии. Руководитель стратегической разведки армии США на территории Франции во время второй мировой войны. После войны был послом США во Франции, Западной Германии и Великобритании — 17, 325, 328, 490.
- Буллит Уильям — амер. дипломат — 139.
- Бутс Мэри — амер. писательница — 148.
- Валери Поль (1871—1945) — франц. поэт — 380.
- Ван Дейк Антонис (1599—1641) — фламандский живописец — 389, 408.
- Вандербильт Альфред — амер. миллионер, в 30-е годы был дружен с Хемингуэем — 200.
- Веллингтон Артур (1769—1852) — герцог, англ. фельдмаршал, командовал союзными войсками в войне против наполеоновской Франции — 282.
- Вертебейкер Чарльз (р. 1909) — амер. журналист, работавший во время второй мировой войны в Лондоне — 318, 319, 332, 333.
- Вильсон Вудро (1856—1924) — президент США (1913—1921) — 34.
- Вильярель Луис — житель Сан-Франсиско-де-Паула — 357.
- Виртель Питер (р. 1921) — амер. писатель и сценарист — 409.
- Галантье Луи (1895—1977) — парижский секретарь Международной Торговой палаты в 20-е годы — 92.
- Геймбл Джеймс — капитан, служивший в Амер. Красном Кресте начальником полевой розничной службы на итало-австрийском фронте на участке у Фоссалта-ди-Пиаве, где был ранен Хемингуэй — 65.
- Гельхорн Марта (р. 1908) — амер. писательница, журналистка. Третья жена Хемингуэя. Была вместе с Хемингуэем в Испании во время гражд. войны, в годы второй мировой войны являлась военным корреспондентом ряда амер. журналов в Европе — 11, 14, 15, 208, 245, 249, 267, 279, 285, 296, 297, 305, 306, 345, 377, 429, 431, 460.
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель — 366.
- Гойтисоло Хуан (р. 1931) — исп. писатель — 481.
- Гойя Франсиско (1746—1828) — испан. живописец, гравёр — 239, 389, 469.
- Голь Шарль де (1890—1970) — генерал, основатель «Освободной Франции», руководитель Франц. Комитета нац. освобождения. В 1944—1946 гг. — премьер-министр, в 1958—1969 гг. — президент Франции — 481.
- Горелл Хэнк — корреспондент амер. агентства «Юнайтед пресс» в Испании во время гражд. войны — 242.
- Готорн Натаниэл (1804—1864) — амер. писатель — 366.
- Грешпи — граф, итал. дипломат — 60.
- Григорович — советский военный советник в Испании во время гражд. войны — 273.
- Грис Хуан (1887—1927) — исп. художник — 396.
- Грот Джон (р. 1908) — амер. художник — 15, 346, 352.
- Гэт Уиллстон (1906—1982) — амер. миллионер, друг Хемингуэя, с которым он часто охотился. В 1942 г. во время поисковых операций против немецких

подлодок был в команде «Пилар» — 387.

Данби-Смит Валери (р. 1940) — молодая ирландка, с которой Хемингуэй познакомились в Испании в 1959 г. Впоследствии стала секретарем Хемингуэя — 17, 482, 483.

Д'Анжулио Габриэле (1863—1938) — итал. писатель — 411.

Дега Эдгар (1834—1917) — франц. живописец, график и скульптор — 175, 404, 406.

Декамп Жан — боец франц. Сопротивления, член группы Хемингуэя — 324.

Делмер Сефтон — англ. журналист, во время гражд. войны в Испании представлял там лондонскую «Экспресс» — 250, 279, 283, 285, 287, 289.

Дерен Андре (1880—1954) — франц. живописец — 165.

Джекс Генри (1843—1916) — амер. писатель — 366.

Дженкинс Хоуэл — друг Хемингуэя — 82.

Джинрич Арнольд (1903—1972) — создатель и редактор журнала «Эсквайр», в кот. с осени 1933 и по февраль 1939 г. было напечатано 25 очерков Хемингуэя, в основном об охоте и рыбной ловле, и 6 рассказов — 197, 200, 205, 235, 243, 254.

Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель, писавший на англ. языке — 95, 115, 117, 127, 128, 177, 185, 186, 202, 397.

Джорджоне (1476 или 1477—1510) — итал. живописец — 389.

Дитрих Марлен (1901—1992) — известная амер. киноактриса — 17, 252, 343, 354, 370, 376, 397, 400, 417, 429.

Доде Альфонс (1840—1897) — франц. писатель — 380.

Домигния Луис Мигель (р. 1925) — знаменитый исп. матадор — 481, 491.

Дон Андрес — приятель Хемингуэя на Кубе, баскский священник, участник гражд. войны в Испании, бежавший на Кубу — 417.

Дорман-Смит Эдвард (Чинк) (1895—1969) — ирландец, служивший в англ. армии. Хемингуэй по-

знакомился с ним в Милане в 1918 г. Их дружба продолжалась всю их жизнь — 17, 101.

Дос Пассос Джон (1896—1970) — амер. писатель. В 20-е и 30-е годы был дружен с Хемингуэем — 11, 12, 80, 131, 134, 148, 149, 150, 152, 166, 171, 205, 206, 222, 252, 397, 406, 459.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель — 366, 431.

Драйзер Теодор (1871—1945) — амер. писатель — 168.

Дунабейтия Хуан (Сински) — баск из Бильбао, капитан торгового судна, плававшего между Кубой и Америкой. Друг Хемингуэя — 399, 418.

Дункан Айседора (1878—1927) — амер. танцовщица — 147.

Дэвис Натан (Билл) (р. 1907) — богатый американец, живший постоянно в Испании. Знаком с Хемингуэем с 1940 г. Владелец поместья «Ла Консула», где Хемингуэй и его жена Мэри гостили с мая по октябрь 1959 г. Там праздновали и 60-летие Хемингуэя — 480, 482, 483.

Дюма Александр (отец) (1802—1870) — франц. писатель — 380.

Жид Андре (1869—1951) — франц. писатель — 380.

Иванчич Адриана (1930—1983) — итальянская графиня из древнего далматинского рода. Познакомилась с Хемингуэем во время охоты в Италии в районе Латисоны в декабре 1948 г. Они стали друзьями, Адриана с матерью и братом Джанкарло впоследствии гостили в Финке Вихии. После двух неудачных замужеств покончила самоубийством — 16, 411, 420.

Ивенс Йорис (р. 1898) — нидерландский кинорежиссер-документалист. Во время гражданской войны в Испании вместе с Хемингуэем снимал документальный фильм «Испанская земля» — 13, 242, 245, 259, 264, 266, 270, 274.

Истмен Макс (1883—1969) — амер. журналист — 93, 203, 246.

- Кайли Джед (1889—1962) — амер. журналист, в 20-е годы издавал в Париже журнал «Бульвардье» — 153, 211.
- Каллагэи Морли (р. 1903) — канадский писатель. В 20-е годы в Париже дружил с Хемингуэем. Автор книги воспоминаний «То лето в Париже» — 11, 112, 145, 146, 182.
- Каммингс Эдвард Эстлин (1894—1962) — амер. писатель, в 20-е годы жил в Париже — 166, 171.
- Каца Роберт (1913—1954) — венгерский фотожурналист, познакомился с Хемингуэем в Испании во время гражданской войны, потом они встречались в Англии и Франции в годы второй мировой войны — 251, 273, 311, 314, 330, 345, 407.
- Капоне Аль — чикагский гангстер — 251.
- Кармен Роман Лазаревич (1906—1978) — советский режиссер и оператор документального кино. В годы гражданской войны в Испании снимал там хронику боевых действий. Автор книги воспоминаний «Но пасаран!» — 274.
- Карпаччо Витторе (ок. 1455 или 1465 — ок. 1526) — итал. живописец — 392.
- Кастро Фидель (р. 1926) — кубинский лидер — 360, 483.
- Каули Малкольм (р. 1898) — амер. поэт, критик. В 20-х годах жил в Париже, был дружен с Хемингуэем — 9.
- Кейп Джонатан — англ. издатель, публиковавший Хемингуэя — 127.
- Кинтана Хуан — хозяин отеля в Памплоне, знаток боя быков, друг Хемингуэя — 441, 458, 488.
- Кимбро Джон — офицер амер. разведки — 347.
- Кинтавиля Лунс (р. 1895) — исп. художник, друг Хемингуэя — 12, 205, 251.
- Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — англ. писатель, поэт — 99.
- Клараган Льюис (р. 1897) — товарищ Хемингуэя по школе — 7, 8, 34, 36.
- Кларк Грегори — редактор отдела очерков торонтской «Стар» — 85, 119.
- Кле Рудольф (р. 1938) — нем. художник — 396.
- Клемансо Жорж (1841—1929) — франц. полит. деятель — 103, 171, 382.
- Кольцов Михаил Ефимович (1898—1942) — советский журналист. Во время гражд. войны в Испании был там корреспондентом «Правды» и политическим советником republ. правительства — 261, 263, 269.
- Коннебл Ральф — глава сети магазинов фирмы «Уолворт» в Канаде. Помогал Хемингуэю в Торонто — 76, 85.
- Конрад Джексофф (1857—1924) — англ. писатель — 148.
- Корман Мэттью — бельгийский журналист в Испании во время гражд. войны — 283, 285.
- Крейн Стивен (1871—1900) — амер. писатель, автор повести «Алый знак доблести» — 115, 366.
- Купер Гари (1901—1961) — известный амер. киноактер, друг Хемингуэя, исполнял главную роль в фильме «По ком звонит колокол» — 17, 298, 417, 434, 494.
- Куровски фон Стенфилд Агнес (1892—1984) — медицинская сестра в госпитале Американского Красного Креста в Милане в 1918 г. — 9, 64, 66, 75.
- Лангем Чарлз (1902—1978) — полковник амер. армии (впоследствии генерал), командовал 22-м пехотным полком во время боев во Франции, Бельгии и Германии, друг Хемингуэя — 17, 490.
- Ларднер Джеймс — сын Ринга Ларднера, приехал в Испанию в качестве корреспондента, там вступил в Интербригаду. Погиб на фронте — 255.
- Ларднер Ринг (1885—1933) — амер. писатель-сатирик — 8, 53, 146, 255, 424.
- Леб Гарольд (1891—1974) — амер. писатель. В 20-е годы в Париже дружил с Хемингуэем. Выведен под именем Роберта Ко-

- на в романе «И восходит солнце». Автор книги воспоминаний «Вот так это было» — 11, 132, 136, 138, 177.
- Леклерк Филип** (1902—1947) — маршал Франции, командовал войсками «Сражающейся Франции» при освобождении страны — 326, 327, 329, 333.
- Либкнехт Карл** (1871—1919) — деятель герм. коммунист. движения, убит контрреволюционерами — 171.
- Ливрайт Хорас** (1886—1933) — владелец издат. фирмы «Бони и Ливрайт» — 179.
- Листер Энрике** (р. 1907) — один из командиров республиканской армии во время гражд. войны в Испании — 281.
- Литвинов Максим Максимович** (1876—1951) — советский госуд. деятель. В 1921 г. был назначен зам. наркома иност. дел. В 1922 г. в качестве члена советской делегации участвовал в Генуэзской конференции. С 1930 по 1939 г. был наркомом иност. дел СССР — 101, 171.
- Льюйд Арнольд** (1906—1970) — фотограф в Сан-Вэлли. Друг Хемингуэя — 298.
- Льюйд Джордж Дэвид** (1863—1945) — англ. политич. деятель. В 1916—1922 гг. — премьер-министр коалиционного правительства Великобритании — 101, 111, 120, 171.
- Лой Майна** — амер. художница и литератор — 147.
- Лорд Вернон** — врач в Кетчуме, лечивший Хемингуэя — 495, 497, 501.
- Лоуренс Дэвид** (1885—1930) — англ. писатель — 127, 202.
- Лукач, Мате Залка** (1896—1937) — венгерский писатель, живший в СССР. Во время гражд. войны в Испании под именем генерала Лукача командовал 12-й Интербригадой. Погиб на фронте — 252, 260, 262, 268, 271.
- Льюис Синклер** (1885—1951) — амер. писатель — 109, 156.
- Льюис Уиндхем** (1882—1957) — англ. писатель — 128.
- Люксембург Роза** (1871—1919) — деятельница герм., польского и международного рабочего движения. Убита контрреволюционерами — 171.
- Мак-Лиш Арчибальд** (1892—1982) — амер. поэт, драматург, публицист. В 20-е годы в Париже был дружен с Хемингуэем — 6, 133, 230.
- Мак-Элмон Роберт** (1896—1956) — амер. писатель и издатель, живший в 20-е годы в Париже. Дружил с Хемингуэем, издал его первую книгу «Три рассказа и десять стихотворений» — 95, 99, 106, 134, 141, 143, 166, 176, 177.
- Мальро Андре** (1901—1976) — франц. писатель. Во время гражд. войны в Испании сражался в войсках республиканцев. В годы оккупации Франции гитлеровцами был видным участником движения Сопротивления — 349, 482.
- Мальро Флоранс** — дочь Андре Мальро — 481.
- Мамсуров Хаджи** — генерал-полковник Советской Армии. В годы гражд. войны в Испании под именем Ксанги был советником штаба респ. армии, руководил диверсионными группами в тылу фашистов — 270.
- Манн Томас** (1875—1955) — нем. писатель — 366.
- Марриет Фредерик** (1792—1848) — англ. писатель — 94.
- Массон Андре** (р. 1896) — франц. художник — 396.
- Мейсон Фрэнк** — амер. журналист, в 20-е годы в Европе представлял «Интернэшнл ньюс сервис» — 103.
- Мелвилл Герман** (1919—1991) — амер. писатель — 115, 366.
- Менкен Генри** (1880—1956) — амер. критик, публицист — 112.
- Миаха Илия** — военный министр респ. Испании — 279.
- Микоян Анастас Иванович** (1895—1978) — сов. госуд., партийный деятель — 265.
- Миллер Джон** — попутчик Хемингуэя на пароходе из Америки в Европу во время первой мировой войны — 52.
- Миллер Мадлен Хемингуэй** (р. 1904) — младшая сестра Хемингуэя,

- имевшая домашнее прозвище Санни. Автор книги воспоминаний «Эрни» — 26.
- Миро Хуан — исп. художник, в 20-е годы в Париже был дружен с Хемингуэем — 140, 175, 408.
- Монтгомери Бернард (1887—1976) — англ. фельдмаршал. В 1944—1945 гг. командовал 21-й группой армий в Нормандии, Бельгии и Сев. Германии — 332.
- Монье Адриенна — в 20-е годы владела книжной лавкой в Париже, подруга Сильвии Бич — 96, 97, 98, 335.
- Мопссан Ги де (1850—1893) — франц. писатель — 366, 374, 380.
- Мозам Сомерсет (1874—1965) — англ. писатель — 256, 375.
- Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии в 1922—1943 гг. — 13, 93, 106.
- Мэрриман Роберт — амер. профессор, в годы гражд. войны в Испании воевал в звании майора в 15-й Интербригаде. В известной мере послужил прообразом Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол» — 247, 291.
- Мэрфи Джеральд (1888—1964) — амер. богач, в 20-е годы жил во Франции, дружил с Хемингуэем — 171, 176, 180, 206, 228.
- Мэттьюз Герберт (1900—1977) — амер. журналист, в течение многих лет был корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс», в том числе и в Испании во время гражд. войны — 249, 250, 258, 278, 291, 293.
- Наполеон Бонапарт (1769—1821) — франц. император в 1804—1815 гг. — 282.
- Негрин Хуан (1894—1956) — премьер-министр респ. Испании с 1937 г. — 257, 282.
- Норт Джозеф (1904—1976) — амер. публицист, автор репортажей о гражд. войне в Испании. Автор книги воспоминаний «Нет чужих среди людей» — 14, 293.
- О'Брайен Эдвард (1890—1941) — амер. издатель, с 1915 по 1940 г. издал 26 выпусков серии «Лучшие рассказы года» — 111.
- Овидий Публий (43 г. до н. э. — ок. 18 г. до н. э.) — римский поэт — 411.
- Ордоньес Антонио (р. 1932) — знаменитый исп. матадор, друг Хемингуэя — 465, 481, 483, 484.
- Ориген Мартин — американец, боец Интербригады — 285.
- Отеро Лисандро (р. 1932) — кубинский писатель — 437.
- О'Флаэрти Лайм — ирландский писатель — 182.
- О'Хара Ред — генерал армии США — 351.
- Павезе Чезаре (1908—1950) — итал. писатель — 482.
- Паркер Дороти (1893—1967) — амер. писательница — 228.
- Паунд Эзра (1885—1972) — амер. поэт и теоретик искусства. В 1908—1945 гг. жил в Европе. В 1922 г. в Париже познакомился с Хемингуэем. В 1941—1943 гг. вел передачи на США по фашистскому радио Рима. В 1943 г. был осужден амер. судом на пожизненное заключение за измену — 92, 106, 116, 123, 143, 176, 202, 397.
- Паччарди Рандольфо (р. 1899) — итал. журналист, полит. деятель. Во время гражд. войны в Испании командовал батальоном Гарибальди. После второй мировой войны был вице-премьером Италии — 264.
- Пейлтроп Эдвин — товарищ Хемингуэя по школе в Оук-Парке — 85.
- Пилки Арчи (1916—1977) — солдат амер. армии, шофер Хемингуэя во время боевых действий во Франции — 321, 326, 337, 345.
- Пентекост Джек — товарищ Хемингуэя по школе в Оук-Парке — 77.
- Перкинс Максвелл (1884—1947) — редактор издательства Оксфорд. Друг Хемингуэя и редактор всех его произведений, издававшихся изд-вом «Оксфорд» — 17, 179, 183, 246.
- Персиваль Филлип (1885—1966) — охотник, руководивший в 1933 г. африканским сафари Хемин-

- гуэя. В книге «Зеленые холмы Африки» выведен под именем Старика — 198.
- Пикассо Пабло (1881—1973) — франц. живописец, испанец по происхождению. Основоположник кубизма — 341, 346.
- Пирс Уолдо (1884—1970) — амер. художник, друг Хемингуэя — 224, 396.
- Платон (427 г. до н. э. — 348 или 347 г. до н. э.) — древнегреческий философ — 411.
- Плимpton Джордж (р. 1927) — амер. критик и литературовед — 8.
- Прието Индалесио (1883—1962) — министр нац. обороны Исп. Республики во время гражд. войны — 282.
- Пруст Марсель (1871—1922) — франц. писатель — 366.
- Рассел Джо (ум. в 1941) — владелец бара в Ки-Уэст, товарищ Хемингуэя по рыбной ловле. В известной мере послужил прообразом Гарри Моргана в романе «Иметь и не иметь» — 12, 196, 245.
- Реглер Густав (1898—1963) — нем. писатель, антифашист, в Испании был полит. комиссаром 12-й Интербригады. Автор книги об испанской войне «Великий поход», к которой Хемингуэй написал предисловие — 271.
- Рейнольдс Джонс (1723—1792) — англ. живописец — 390.
- Рембо Артур (1854—1891) — франц. поэт — 380.
- Ренн Людвиг (1889—1979) — нем. писатель, антифашист, участник гражд. войны в Испании — 277.
- Ренуар Огюст (1841—1919) — франц. живописец — 404.
- Ришар — боец франц. Сопротивления, член группы Хемингуэя — 324.
- Роблес Хосе (убит в 1937) — профессор исп. языка в университете Джона Гопкинса, переводил Дос Пассоса на исп. язык. Во время гражд. войны в Испании полковник респ. армии. Расстрелян по обвинению в шпионаже — 252.
- Розенфельд Поль — амер. критик — 144.
- Росс Лилиан (р. 1927) — амер. журналистка — 16, 361.
- Рохо Винсент — нач. штаба респ. армии во время гражд. войны в Испании — 280, 282.
- Рубенс Питер (1577—1640) — фламандский живописец — 390.
- Рузвельт Теодор (1858—1919) — 26-й президент США (1901—1909) — 109.
- Рузвельт Франклин (1882—1945) — 32-й президент США (1933—1945) — 292.
- Санфорд Марселина Хемингуэй (1898—1963) — сестра Хемингуэя — 7, 9, 24, 29, 41, 54, 68, 120, 123, 190.
- Санфорд Стерлинг — муж сестры Хемингуэя Марселины — 75, 120.
- Сарабья Эрнандес — командующий одной из армий Исп. Республики во время гражд. войны — 280.
- Сандерс Бра (1876—1949) — владелец рыболовного катера в Ки-Уэст. Товарищ Хемингуэя по рыбной ловле — 195, 226.
- Сартр Жан Поль (1905—1980) — франц. писатель, философ-экзистенциалист — 349.
- Сверчковский Кароль (1897—1947) — польский революционер, участ. Окт. революции в России. Во время гражд. войны в Испании под именем ген. Вальтера командовал Интербригадой — 277.
- Сезанн Поль (1839—1906) — франц. живописец — 185, 391, 408.
- Сендрар Блез — франц. прозаик и поэт — 228, 272.
- Сильвестр Гарри (р. 1908) — амер. писатель, журналист. Много общался с Хемингуэем в 30-е годы в Ки-Уэст — 12, 207.
- Скрибнер Чарльз (1890—1952) — президент изд. фирмы «Чарльз Скрибнер и сыновья» — 17, 179, 388, 392, 414, 435.
- Скрябин Александр Николаевич (1871/1872—1915) — русский композитор — 92.
- Смит Йеремя (1887—1969) — старший брат Билла Смита и Кэт Смит. В 1919—1920 гг. в Чикаго покровительствовал Хемингуэю — 87.

- Смит Билл (1895—1972) — друг детства и юности Хемингуэя. В середине 20-х годов был спутником Хемингуэя в Париже и Испании. Его сестра Кэт была подругой Хэдди Ричардсон. Позднее она вышла замуж за Джона Дос Пассоса — 7, 75, 77, 80, 87, 136.
- Стайн Гертруда (1874—1946) — амер. писательница. С 1902 г. жила в Париже — 10, 11, 92, 99, 102, 128, 135, 144, 146, 156, 161, 164, 169, 174, 177, 202, 203, 341, 397.
- Стендаль (1783—1842) — франц. писатель — 115, 366, 380.
- Стеффенс Линкольн (1866—1936) — амер. публицист. Автор книги воспоминаний «Автобиография» — 93, 108, 125.
- Стирнс Гарольд — амер. журналист — 175.
- Стюарт Дональд Огден (1894—1980) — амер. писатель-юморист, в начале 20-х годов жил в Париже, дружил с Хемингуэем — 134, 136, 148, 150, 177, 227.
- Сьюард Уильям — амер. литературовед, автор книги «Мой друг, Эрнест Хемингуэй» — 17, 423.
- Сэлливан Джим — житель Ки-Уэст — 207.
- Сэндберг Карл (1878—1967) — амер. поэт — 427.
- Твен Марк (1835—1910) — амер. писатель — 18, 165, 366.
- Твисден Дафф (1893—1938) — англичанка, жившая в 20-е годы в Париже. Стала прообразом Брет Эшли в романе «И восходит солнце» — 132, 177.
- Тициан (ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576) — итальянский живописец — 389, 408.
- Токлас Алиса — компаньонка и секретарь Гертруды Стайн — 10, 92, 99, 128, 341.
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — русский писатель — 366, 374, 431.
- Томпсон Чарльз (1898) — друг Хемингуэя по Ки-Уэст, его товарищ по рыбной ловле и охоте. Сопровождал Хемингуэя в охотничьей экспедиции в Африку, выведен под именем Карла в книге «Зеленые холмы Африки» — 195, 198, 207, 223, 224.
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель — 374.
- Уайлер Уильям — амер. кинорежиссер — 351.
- Уайльд Оскар (1854—1900) — англ. писатель — 139.
- Уиллер Джон — председатель Объединения североамериканских газет — 240, 247.
- Уильямс Уильям Карлос (1883—1963) — амер. писатель, поэт — 123.
- Уолферт Айра — амер. журналист — 252.
- Уэрта Хоселито — исп. матадор — 465.
- Ферно Джон — кинооператор, снимавший вместе с Й. Ивенсом фильм «Испанская земля» — 242, 265.
- Феррер Гуардия Франсиско (1859—1909) — исп. просветитель, анархист. Во время восстания в Барселоне в 1909 г. был арестован правительством и расстрелян — 12.
- Фицджеральд Зельда (1900—1948) — жена Скотта Фицджеральда — 131.
- Фицджеральд Франсис Скотт (1896—1940) — амер. писатель. В 20-е годы в Париже был дружен с Хемингуэем — 117, 118, 131, 145, 156, 166, 179, 185, 381, 384, 397, 408.
- Флобер Гюстав (1821—1880) — франц. писатель — 115, 366, 380, 431.
- Фолкнер Уильям (1897—1962) — амер. писатель — 168, 260, 266.
- Форд Мэддокс Форд (1873—1939) — англ. писатель, с 1922 г. жил в Париже, издавал журнал «трансатлантик ревью», в кот. сотрудничал и печатался Хемингуэй — 10, 123, 135, 138, 148, 164, 176, 397.
- Франклин Сидней (1903—1976) — американец, матадор, друг Хемингуэя, сопровождал его в Испанию во время гражд. войны — 241, 361, 459.
- Франча Франческо (1450—1517) — итальянский живописец — 389.

- Фузетес Грегорио** — кубинец, шкипер на катере Хемингуэя «Пиллар» — 17, 420, 486.
- Хейльбрунн Альма** — жена Вернера Хейльбрунна — 285.
- Хейльбрунн Вервер** — немецкий антифашист, нач. мед. части 12-й Инттербригады. Погиб вместе с Лукачем — 267.
- Хейурд Леланд** — амер. кинорежиссер, снимал фильм «Старик и море» — 435.
- Хеллэнджер Марк** — амер. кинорежиссер, постановщик фильма «Убийцы» по рассказу Хемингуэя — 384.
- Хемингуэй Аделаида Эдмондс** — бабушка Хемингуэя по линии отца — 21, 106.
- Хемингуэй Ансон Тайлер (1844—1926)** — дедушка Хемингуэя — 21, 26, 27, 42, 60.
- Хемингуэй Грегори (р. 1931)** — сын Хемингуэя — 195, 197, 257, 377.
- Хемингуэй Грейс Холл (1872—1951)** — мать Хемингуэя — 22, 230, 388.
- Хемингуэй Кларенс Эдмондс (1871—1928)** — отец Хемингуэя — 22, 23.
- Хемингуэй Джон (Бэмби) (р. 1923)** — старший сын Хемингуэя — 109, 120, 127, 135, 172, 192, 353, 377.
- Хемингуэй Листер (1915—1982)** — младший брат Хемингуэя. Занимался журналистикой. Во время второй мировой войны служил в Англии и Франции. Написал книгу воспоминаний «Мой брат, Эрнест Хемингуэй» — 7, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 38, 63, 84, 91, 101, 122, 134, 194, 240, 306, 322, 345, 353.
- Хемингуэй Мэри Уэлш (р. 1908)** — четвертая и последняя жена Хемингуэя. Журналистка, начинала в газете «Чикаго дейли ньюс», потом работала в Англии репортером «Дейли экспресс». Во время второй мировой войны сотрудничала в лондонском бюро журналов «Тайм» и «Лайф» — 15, 16, 17, 244, 316, 337, 345, 365, 433, 440, 505.
- Хемингуэй Патрик (р. 1928)** — сын Хемингуэя — 195, 224, 257, 377, 383, 452.
- Хемингуэй Полина Пфейфер (1895—1951)** — вторая жена Хемингуэя. В 20-е годы работала в парижском издании журнала «Вог» — 11, 15, 133, 177, 194, 197, 224, 228, 238, 249, 257, 377.
- Хемингуэй Хэдди Ричардсон Моурер (1891—1979)** — первая жена Хемингуэя. Разошлась с ним в 1927 г. — 9, 10, 11, 80, 87, 96, 101, 104, 105, 107, 111, 125, 127, 131, 137, 152, 377.
- Хиккок Гай** — амер. журналист — 108, 109.
- Хиндмарш Гарри** — главный редактор газеты «Торонто дейли стар» — 111, 112, 113.
- Холл Каролина Ханкок** — бабушка Хемингуэя по линии матери — 21, 22.
- Холл Эрнест Миллер (1840—1905)** — дедушка Хемингуэя по линии матери — 21, 25.
- Хорн Билл (1892—?)** — служил вместе с Хемингуэем в Америке. Красном Кресте в Италии. В 1920—1921 гг. жил в Чикаго в одной квартире с Хемингуэем — 54, 80.
- Хотчнер А. Е. (р. 1920)** — амер. писатель, драматург. В 50-е годы дружил с Хемингуэем, неоднократно сопровождал его в поездках по Европе и США. Написал книгу воспоминаний «Папа Хемингуэй» — 16, 17, 395, 453, 487, 507.
- Чан Кайши (1887—1975)** — с 1927 по 1949 г. глава гоминьдановского режима в Китае — 297.
- Чемберлен Невилл (1869—1940)** — премьер-министр Великобритании в 1937—1940 гг. — 286.
- Черч Ральф** — амер. литератор — 169.
- Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936)** — сов. дипломат. В 1918—1930 гг. нарком иностр. дел РСФСР, СССР — 101.
- Шевлин Томас (1914—1973)** — богатый американец, увлекавшийся спортом и охотой. Встретил-

ся впервые с Хемингуэем на Бикини зимой 1934—1935 г. — 209.

Шин Виллент — амер. журналист — 258, 288, 290.

Шипмен Ивен (1904—1957) — амер. поэт, журналист. В 1924 г. познакомился в Париже с Хемингуэем, стал его другом. Хемингуэй посвятил ему сборник «Мужчины без женщин» — 200, 285, 406.

Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — англ. писатель, драматург — 316, 382.

Эдгар Карл — друг Хемингуэя по озеру Валун. В 1917 г. Хемингуэй, приехав в Канзас-Сити,

жил у Карла Эдгара, работавшего там в нефтяной компании — 39.

Эль Греко Доменико (1541—1614) — исп. живописец — 390, 469.

Эрикес Хильберто — житель Сан-Франсиско-де-Паула — 355.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — советский писатель, общественный деятель. В годы гражд. войны в Испании был там корреспондентом газеты «Известия» — 13, 269.

Эррера Хосе Луис Сотолонго — испанец врач, во время гражд. войны в Испании был хирургом в 12-й Интербригаде, потом жил на Кубе, был личным врачом Хемингуэя — 267, 358.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Грибанов. Многоликий Хемингуэй	5
---	---

ХЕМИНГУЭЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ. 1899—1918

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	21
Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев». Пер. В. Ефрановой	29
Льюис Кларган. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	36
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	38
Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев». Пер. В. Ефрановой	41
Теодор Брамбал. С Хемингуэем, прежде чем был написан роман «Прощай, оружие!». Пер. В. Ефрановой	45

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 1918

Джон Миллер. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	52
Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев». Пер. В. Ефрановой	54
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	63
Агнес фон Куровски Стенфилд. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	66

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 1919—1921

Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев». Пер. В. Ефрановой	68
---	----

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй».	
Пер. Б. Грибанова	84
Шервуд Андерсон. Из книги «Мемуарь». Пер. В. Ефановой .	90

ПАРИЖ. 1923

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй».	
Пер. Б. Грибанова	91
Сильвия Бич. Из книги «Шекспир и Компания». Пер. В. Ефановой	94
Гертруда Стайн. Из книги «Автобиография Алисы Б. Токлас».	
Пер. Б. Грибанова	99
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй».	
Пер. Б. Грибанова	101
Линкольн Стеффенс. Из книги «Автобиография». Пер. В. Ефановой	108

ТОРОНТО. 1923

Хэдди Хемингуэй Моурер. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	111
Морли Каллагэн. Из книги «Тем летом в Париже». Пер. В. Ефановой	112
Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев».	
Пер. В. Ефановой	120

ПАРИЖ. ИСПАНИЯ. АЛЬПЫ. 1924 — 1927

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	122
Марселина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев».	
Пер. В. Ефановой	123
Сильвия Бич. Из книги «Шекспир и Компания». Пер. В. Ефановой	127
Хэдди Хемингуэй Моурер. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	131
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	134
Гарольд Леб. Из книги «Вот так это было». Пер. В. Ефановой	138
Роберт Мак-Элмон. Из книги «Все мы были тогда гениями».	
Пер. Н. Черепняк	143
Джед Кайли. Из книги «Хемингуэй. Воспоминания старого друга».	
Пер. В. Ефановой	153
Гертруда Стайн. Из книги «Автобиография Алисы Б. Токлас». Пер. Б. Грибанова	164
Шервуд Андерсон. Из книги «Мемуарь». Пер. В. Ефановой . .	168
Джон Дос Пассос. Из книги «Лучшие времена». Пер. М. Мироновой	171
Морли Каллагэн. Из книги «Тем летом в Париже». Пер. В. Ефановой	182

КИ-УЭСТ. ВАЙОМИНГ. АФРИКА. 1928 — 1935

Марселлина Хемингуэй Санфорд. Из книги «В доме у Хемингуэев». Пер. В. Ефановой	190
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Гриванова	194
Гарри Сильвестр. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная ин- формация». Пер. Б. Гриванова	207
Томас Шевлин. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Гриванова	209
Джед Кайли. Из книги «Хемингуэй. Воспоминания старого друга». Пер. В. Ефановой	211
Джон Дос Пассос. Из книги «Лучшие времена». Пер. М. Мироновой	222

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ. 1936 — 1938

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Гриванова	240
Йорис Ивенс. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Гриванова	259
Алексей Эйсер. «Он был с нами в Испании»	260
Хосе Луис Эррера Сотолонго. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хе- мингуэй на Кубе». Пер. Г. Гусева	267
Илья Эренбург. Из книги «Люди, годы, жизнь»	269
Роман Кармен. Из книги «Но пасаран!»	274
Герберт Мэтгъв. Из книги «Становление корреспондента». Пер. Н. Чередняк	278
Альва Бесси. Из книги «Люди в бою». Пер. Л. Беспаловой	291
Джозеф Норт. Из книги «Нет чужих среди людей». Пер. Н. Пау- сова и М. Граховой-Свиридовой	293

ГАВАНА. САН-ВЭЛЛИ. 1939 — 1941

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Гриванова	296
Арнольд Ллойд. Из книги «Высоко в горах с Хемингуэем». Пер. И. Гуровой	298

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. КУБА. ЛОНДОН. ПАРИЖ
1941 — 1945

Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Гриванова	306
Роберт Капа. Из книги «Слегка не в фокус». Пер. Н. Чередняк	314
Мэри Уэлш Хемингуэй. Из книги «Как это было». Пер. И. Берштейн	316
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Гриванова	322

Дэвид Брос. Из книги Дэниса Брайана «Подлинная информация». Пер. Б. Грибанова	328
Роберт Капа. Из книги «Слегка не в фокусе». Пер. Н. Чередяк	330
Сальвия Бич. Из книги «Шекспир и Компания». Пер. В. Ефимовой	335
Мэри Уэлш Хемингуэй. Из книги «Как это было». Пер. И. Берштейн	337
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	345
Джон Грот. Из книги «Студия — Европа». Пер. Б. Грибанова	352
Листер Хемингуэй. Из книги «Мой брат, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	353

КУБА. АМЕРИКА. ЕВРОПА. АФРИКА. 1946 — 1958

Хильберто Энрикетс. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе». Пер. Г. Дубровской	355
Луис Вильяреаль. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе». Пер. Г. Дубровской	357
Хосе Луис Эррера Сотолонго. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе». Пер. Р. Окунь	358
Лириан Росс. «Портрет Хемингуэй». Пер. М. Брука и Л. Петрова	361
А. Е. Хотчнер. Из книги «Папа Хемингуэй». Пер. А. Штейн	395
Адриана Иванчиц. «Хемингуэевская Рената — это я». Пер. Н. Томашевского	411
Грегорио Фуэнтес. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе». Пер. Г. Дубровской	420
Уильям Сьюард. Из книги «Мой друг, Эрнест Хемингуэй». Пер. Б. Грибанова	423
Мэри Уэлш Хемингуэй. Из книги «Как это было». Пер. И. Берштейн	433
Лясандро Отеро. Хемингуэй. Пер. Н. Томашевского	437
Мэри Уэлш Хемингуэй. Из книги «Как это было». Пер. И. Берштейн	440
А. Е. Хотчнер. Из книги «Папа Хемингуэй». Пер. А. Штейн	453

ИСПАНИЯ. КУБА. КЕТЧУМ. 1959 — 1961

Хуан Гойтисоло. Встречаясь с Хемингуэем. Пер. М. Быловой	481
Грегорио Фуэнтес. Из книги Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе». Пер. Г. Дубровской	486
А. Е. Хотчнер. Из книги «Папа Хемингуэй». Пер. А. Штейн	487
Мэри Уэлш Хемингуэй. Из книги «Как это было». Пер. И. Берштейн	505
Комментарии	514
Именной указатель	530

ХЕМИНГУЭЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

Зав. редакцией *М. Климова*
Редактор *Э. Шахова*
Художественный редактор *Л. Калитавская*
Технический редактор *Л. Ковачук*
Корректор *И. Лебедева*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 26.11.93.
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,29. Уч.-изд. л. 31,56.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1004 .

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Издательский центр «ТЕРРА».
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Можайском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации
Российской Федерации.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

